ЛЕТОПИСИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

АЛЕКСАНДР БЛОК
и
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

переписка

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

АЛЕКСАНДР БЛОК и АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

переписка

РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И КОММЕНТАРИИ
В. Н. ОРЛОВА

ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

Вл. ОРЛОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ «ДРУЖБЫ-ВРАЖДЫ»

> Блок — ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе...
>
> **Андрей Белый**

> А. Белый — не нравится мне наше отношение и переписка... Ничего о жизни, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее...
>
> **Александр Блок**

Взаимоотношения Александра Блока и Андрея Белого — один из важнейших эпизодов в истории русского символизма. И не только потому, что Блок и Белый были крупнейшими представителями этого литературного течения, ознаменовавшего в начале XX века идейный и художественный декаданс русской дворянско-буржуазной культуры. Важно отметить, что Блок и Белый, при всем несходстве их личных судеб, наряду с Валерием Брюсовым не разделили исторической судьбы символизма, служившего, в конечном счете, художественной формой реакционной буржуазной идеологии в эпоху подготовки и осуществления величайшего в истории человечества революционного перелома, когда в России рушился старый мир и закладывались основы нового, социалистического мира. И осмысляя русский символизм (в целом) как искусство буржуазного декаданса, как течение откровенно враждебное всем прогрессивно-гуманистическим — демократическим и революционным — традициям русской общественной мысли и классической литературы, мы с полным основанием выделяем из символизма Александра Блока, Валерия Брюсова и Андрея Белого — замечательных художников, осознавших кризис буржуазной культуры, сумевших — с большим или меньшим успехом — преодолеть глубочайшие противоречия своего философского и эстетического мировоззрения и честно связавших свои судьбы с победившим революционным народом.

Александр Блок и Андрей Белый были связаны друг с другом в течение почти двадцати лет (1903—1921). Связь их, закрепленная литературно (взаимными стихотворными посвящениями, частыми выступлениями друг о друге в печати и т. д.), сама по себе стала фактом литературы. Имена Блока и Белого сосуществовали в сознании современников как некое двуединство; они постоянно сближались и объединялись в критике, в сатире, в пародии, в карикатуре. Так, например, в площадной сатире Буренина («Калоши на головах») Андреа Беллогорячино и Блокино — «придворные поэты в доме сумасшедших» — «выступают совершенно, как два Аякса». Еще при жизни обоих поэтов появилась книга, озаглавленная «Александр Блок и Андрей Белый». Один из близких к символизму литературных критиков писал в свое время: «Не случайно в нашем сознании имена Блока и Белого связаны нерасторжимо: как ни различны они и в своем творчестве, и во внешнем облике, и в жизненном поведении, — стихия, вскормившая их поэзию, едина, и одинаково звучат в них [illegible]

струны души. Поэтому полны глубокого интереса их взаимоотношения, а взаимные отзывы их и оценки отличаются особым проникновением, и не надо быть пророком, чтобы предсказать в будущем появление исследований, посвященных их сравнительной характеристике».

Согласно прочной, издавна укоренившейся традиции взаимоотношения Блока и Белого и до сих пор подчас трактуются, как пример идеальной личной и литературной дружбы. Между тем это совершенно неверно. В истории литературы (и не только русской) не много можно найти примеров таких неровных и напряженных отношений, какие сложились между Блоком и Белым. Их пылкая, экзальтированная, а по определению самого Белого, «истерическая» дружба в стиле иенских романтиков или участников станкевичевско-бакунинского кружка — уже к 1906 г. терпит полное крушение и сменяется ожесточенной литературной полемикой, разрывом личных отношений, дуэльными вызовами.

Сам Белый, подробно изложивший в мемуарах историю своей «дружбы-вражды» с Блоком, возражал против идиллической интерпретации этих тяжелых и неровных отношений. «Сентиментально нас парить, — писал он, — в „распре" страстей, дважды схватываясь за оружие, парились мы; лишь к 1910 году мы остыли до дружбы холодно-духовной; в интимную жизнь наших личностей мы не глядели, минуя ее; и на этом основана „дружба", которая есть констатация: в том-то, и том-то, и том-то согласны; а в том-то — расходимся; если бы вглядывались в интимные жизни друг друга, в живое теченье идей, моральной фантазии, то, вероятно, „распарились" бы опять до больших неприятностей...» И в другом месте: «Мало с кем была такая путаница, как с [Блоком]; мало кто в конечном счете так мне непонятен в иных мотивах... Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он: в другие периоды; лишь с 1910 года выравнялась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную... Многое было, одного не было — идиллии, не было „Блок и Белый", как видят нас сквозь призму лет» [1].

Блок, в свою очередь, также не питал никаких иллюзий относительно своей «дружбы-вражды» с Белым. В 1908 г. он записал для себя, что «внутренне» с Белым «разделался навек», и это интимное признание определило весь строй его дальнейшего отношения к Белому, — несмотря на новое примирение и сближение, несмотря на то, что Белый всегда оставался памятен и дорог Блоку как человек и как замечательно одаренный писатель. Но «внутренней», органической связи с Белым у Блока не было.

Можно установить известную закономерность неоднократных сближений и расхождений Блока с Андреем Белым. Если проследить этап за этапом «зигзагистую линию» их отношений до Октября, с очевидностью выясняется, что сходились они в периоды общественного застоя и глухой реакции и, наоборот, размыкались в моменты подъема и обострения революционного движения. Блок сблизился с Белым в начале 1900-х годов, когда, — по собственному его признанию, — он «еще мало видел и мало сознавал в жизни» [2]. 1905 год разветвил их пути: в Блоке, говоря его же словами, «рядом с второстепенным проснулось главное»: [3] чувство реальной жизни, демократическое чувство любви к человеку, чувство общественной ответственности художника и его долга перед народом. Кратковременный рецидив антиобщественных и мистических настроений, овладевших Блоком в 1909—1910 гг., создает почву для его нового сближения с Белым. Но через каких-нибудь полтора-два года индивидуальные пути их снова круто расходятся.

Выступая против идиллической интерпретации своих отношений с Блоком, Андрей Белый создавал другую легенду. Историю этих отношений он изложил дважды: в 1921—1922 гг. в «Воспоминаниях о Блоке», написанных и опубликованных тотчас же после смерти Блока [4], когда он был «охвачен романтикой поминовения» [5], и вторично — десять лет спустя — во втором и третьем томах своих мемуаров («Начало века» и «Между двух революций»). При этом образ Блока, воссозданный Белым

в 1932—1933 гг., столь резко отличался от того «серафического» образа, который был дан в первоначальных воспоминаниях, что Белому пришлось даже особо оговориться, что воспоминания эти «были продиктованы горем утраты близкого человека» и что «в них образ „серого" Блока непроизвольно вычищен». «Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке,— говорил Белый,— стараюсь я исправить промах романтики первого опыта: „вспоминать" в сторону реализма; может быть, — и тут я не попал в цель...» [6]

Достаточно ознакомиться с материалом публикуемой нами переписки, чтобы признать, что Белый, действительно, и на этот раз «не попал в цель». Вспоминая «в сторону реализма», он не только «переосмыслил» образ Блока, последовательно дискредитируя его во всех отношениях (вплоть до наружности), но совершил более серьезную ошибку, совершенно исказив и извратив самую суть своего расхождения с Блоком.

Блестящие мемуары Белого, с редкой широтой и в ряде случаев с огромной разоблачительной силой раскрывающие мир русского символизма, меньше всего представляют собою бесстрастную летопись минувших событий. Это — одновременно — памфлет и реабилитация. Белый писал свои мемуарные книги, субъективно ощущая себя деятелем новой социалистической культуры и соответственно переосмысляя как символизм, так и свою прошлую деятельность в роли одного из вождей символизма.

В искренности, с какой Белый в конце жизни пытался принять участие в строительстве социалистической культуры, нельзя сомневаться. Но при всем том безнадежной и по сути дела одиозной была предпринятая Белым попытка оправдать символизм перед нашей современностью, интерпретируя его как антибуржуазное, бунтарское, чуть ли не революционное движение молодого интеллигентского поколения 1890—1900-х годов, своего рода «разночинцев» XX века, сыгравших, якобы, немалую роль в деле разрушения капиталистической культуры. Не вникая в классовую природу символизма, не раскрывая реального содержания его философской, социальной и эстетической программы, Белый трактовал «бунт», поднятый символистами против окончательно выродившихся к тому времени «идеалов» буржуазного гуманизма и либерализма, как выражение революционных тенденций, и даже мистическую метафизику Вл. Соловьева трактовал как всего лишь «условную и временную гипотезу», служившую целям преодоления унылого позитивизма. Концепция символизма, выдвинутая Белым, разумеется, не состоятельна от начала до конца. При этом естественно, что Белый особенно прямолинейно интерпретировал в духе своей ложной концепции собственную роль в символистском движении, всячески подчеркивая, что именно он, Белый, не в пример некоторым другим символистам, и был главным выразителем антибуржуазного, революционного начала в символизме.

В силу того обстоятельства, что события и люди 1900-х годов изображены Белым в аспекте его зрения 1933 г., историческая перспектива оказалась в его мемуарах в значительной мере нарушенной. В частности искажены Белым и его отношения с Блоком. Речь идет не об изложении фактической стороны этих отношений (здесь Белый почти всегда точен), но о самом их истолковании. Свою полемику и расхождение с Блоком Белый изображает, как борьбу «бунтаря» с «темным мистиком», причем таковым мистиком, в противоречие всем фактам их житейских и литературных отношений, оказывается Блок. «Факт: по мнению многих, — [Сергей] Соловьев и Белый тащили невинного Блока в невнятицу; — говорит он, — корень же „при" между нами: Блок нас усадил в неразбериху свою...» [7] Или в другом месте, еще более резко: «Блок-то и был единственный „мистик", сперва фетишистски относившийся к метафорам жаргона, потом перенесший собственные смещения с больной головы на здоровую; хорошо, что он потом отрезвел: не мы ли трезвили его двухлетней полемикой?» [8]

На деле все происходило как-раз наоборот: Белый и Сергей Соловьев нападали на Блока за его «измену» заветам «соловьевства», за то попирание мистических «заветных святынь», которое со всей силой сказалось в творчестве Блока в 1905—1906 гг. У Сергея Соловьева есть стихотворение, обращенное к Белому:

Кто не плевал на наш святой алтарь?..
И вот заветная святыня та
Поругана, кощунственно открыта
Для первого нахального шута,
Для торгаша, алкающего сбыта.
Каких орудий против нас с тобой
Не воздвигала темная эпоха?..
Глумленье над любимою мечтой
И в алтаре — ломанье скомороха! [9]

Стихи эти, явно направленные в адрес Блока, дают представление о том пафосе, с каким «соловьевцы» нападали на автора «Балаганчика», — равно как и о самом характере их нападений. Переписка Блока и Белого ценна, между прочим, тем, что начисто опровергает мемуары Белого в части, посвященной Блоку; переписка не оставляет камня на камне от легенды о «мистике»-Блоке и «бунтаре»-Белом, которую последний пытался закрепить в своих мемуарах. Именно — закрепить, ибо подошел он к созданию такой легенды (с иным, правда, знаком: не отрицательным, а положительным!) значительно раньше.

Белый в разное время очень много написал о Блоке; если собрать все, что им на эту тему написано, начиная со статьи 1905 г. «Апокалипсис в русской поэзии», получится большой том, включающий высказывания и оценки самого разнородного характера и свойства — от восторженных похвал до полемических выпадов крайне неумеренного тона. Но все, что в разные годы писал Белый о Блоке, проникнуто одной явственно различимой тенденцией — тенденцией б о р ь б ы з а Б л о к а. И тогда, когда Белый ожесточенно нападал на Блока (в 1906—1908 гг.), он, по сути дела, боролся за возвращение его в лоно соловьевства. Впоследствии, когда они внешне изжили свою ссору и «остыли до дружбы холодно-духовной», Белый интерпретировал творчество Блока как единый, цельный и закономерный мистический путь. Эта точка зрения наиболее полно выражена Белым в статье 1916 г. «Поэзия Блока» [10]. Если Блок 1900—1904 гг., то-есть Блок «первого тома», был «идеальным выразителем символизма той эпохи», впервые в русской поэзии приподнявшим покров с «Лика Софии небесной, премудрости древних гностиков»; если в 1905—1907 гг. он «показался (только п о к а з а л с я! — *Вл. О.*) предателем собственных светлых заветов», то последнее десятилетие выявило «подлинный центр качания маятника поэзии Блока» — Россию, в теме которой слились и «Дева неба», и «Маска», «Прекрасная Дама» и «Незнакомка». При этом следует добавить только, что в 1916 г., когда писалась указанная статья, Белый вкладывал в понятие России религиозно-мистическое, антропософское содержание.

После смерти Блока Белый объявил его не больше не меньше как «бессознательным носителем антропософской проблемы» [11], что, конечно, являлось также формой борьбы за Блока — автора уже не только «Балаганчика», но и «Двенадцати». В условиях того времени (1921—1922 гг.) борьба эта приобретала вполне определенный политический смысл. «Антропософизация» Блока проводилась Белым последовательно; устно и печатно доказывал он, что тема ранней блоковской лирики и ранних блоковских писем (к Белому) — суть «антропософская тема», ибо «грунд-линии мировоззрения Соловьева естественно совпадают с антропософией, как она декларировалась Штейнером в 1912 году» [12]. Не существенно, что «антропософия Штейнера в 1912—1920 гг. была Блоку чужда» и что он «не вникал в штейнерианство, чуждался его» [13]. Больше того, не существенно, что сам он «своим скептическим интеллектом был непричастен к «мистическим дуновеньям, сквозь него проходящим», — все равно он был полон «глубокой тайны», был бессознательным антропософом. Отсюда — настойчивое стремление Белого представить Блока «крайним мистиком», «символистом до мозга костей», «понявшим призывы зари Владимира Соловьева, как наступление мировой эпохи, переворачивающей все», думавшим о том, «что есть теократия Соловьева, что есть Третий завет, что есть новая религиозная эпоха» [14]. Оказывается, не кто иной как

Блок «довел соловьевство до идеологии максимализма, почти до секты»[15]. Соответственно «разъяснялся» Белым и весь дальнейший путь Блока, который «незаслуженно осудил в себе» свои ранние чаяния и вместо того, чтобы обратиться к истинному «духовному знанию» (то-есть, к антропософии), — ушел в скепсис, в нигилизм, в осмеяние всего, что ему было ранее дорого, — и через все это — к черному отчаянью, к «потере веры в жизнь», к медленному угасанию. «Позднее я рассказывал Блоку: — говорит Белый, — антропософия мне открыла то именно, что для нас... стояло закрытым; но было уже поздно; стоял опаленным А. А., потому что он ранее прочих стоял перед Вратами... Вы скажете: антропософия! Да, — слишком поздно!.. Я Блока простить не могу!»[16] Такова была фантастическая «концепция» Блока, выдвинутая Белым еще в 1921—1922 гг. и закрепленная в его позднейших мемуарах. Через десять лет изменились только оценочные выводы: Белый превратился в «бунтаря», чуть ли не в революционера, а Блок — остался «крайним мистиком».

Материал переписки Блока и Белого со всей убедительностью исторического документа приводит к противоположным выводам. Переписка помогает выяснить с достаточной отчетливостью истинный характер «дружбы-вражды» Блока и Белого. Переписка свидетельствует также о глубочайшем внутреннем различии корреспондентов, представлявших разные типы сознания. Из переписки видно, как постепенно, шаг за шагом, освобождаясь от груза тяготевших на нем ложных представлений о жизни и об искусстве, порою заблуждаясь и возвращаясь на уже пройденные пути, но в конечном счете твердо и неуклонно шел Блок к вершинам своего творчества, с каждым годом проявляя все более настойчивое стремление к ясности, четкости, определенности, и как в то же время Белый все более и более запутывался в темных абстракциях и мистических отвлеченностях, создавая вокруг себя невыносимо сгущенную атмосферу нервозности, истерии и кликушества, и тем самым окончательно губил в себе художника.

Переписка Блока и Белого — материал первостепенного историко-литературного значения, один из важнейших источников по истории русского символизма. Можно согласиться с Белым, что «это блестящий интимный литературный дневник эпохи»[17]. Странное впечатление оставляют многие страницы этого дневника, относящегося к столь недавнему прошлому. Кажется порою, что читаешь рукопись какого-нибудь средневекового мракобеса, погруженного в пучину дичайшей мистики. Но если отшелушить все «эзотерическое» содержание писем (бредовые рассуждения о цветовой символике, о мистическом значении числа 4, об антропософских «странных явлениях» и т. д.), если преодолеть «эзотеризм» самого стиля переписки (собственно, ранних писем, ибо с годами этот стиль стирается), — остается богатый полноценным историко-литературным содержанием монументальный эпистолярный памятник, ярко и всесторонне освещающий судьбы двух больших художников, поразному отразивших в своей творческой практике целый период развития русской художественной культуры.

«ИСТЕРИЧЕСКАЯ ДРУЖБА»
(1903—1907)

1

Блок и Белый были ровесниками[18]. Узловые события их юности хронологически, примерно, совпадают. Почти одновременно кончают они гимназический курс и поступают в университет (Блок в 1898 г., Белый в 1899 г.), почти одновременно начинают писать «всерьез» (около 1897—1898 гг.), почти одновременно выступают в печати (Белый в 1902 г., Блок в 1903 г.). Обоим довелось начинать сознательную жизнь в крайне осложненной социально-политической и идеологической обстановке, сложившейся в России на рубеже XIX и XX столетий. И Блок и Белый остро ощущали этот рубеж в своих личных судьбах. «Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа...— писал Белый.— В 1900—1901 годах мы подошли к рубежу с твердым знаньем, что рубеж — Рубикон, ибо сами были — рубеж, выросший из

недр конца века»[19]. Блок, «в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения и не совсем косного», утверждал, что XX век «сразу обнаружил свое лицо, новое и непохожее на лицо предыдущего века», что «самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий», которые определили его, Блока, жизненную судьбу[20].

Россия вступала в эпоху империализма и подготовки социалистической революции. В середине 90-х годов явно определился новый революционный подъем рабочего класса, вступившего на путь организованной борьбы, на которую самодержавие ответило жесточайшей политической реакцией. Отошла мертвая полоса «безвременья» 80-х годов — эпохи общественного застоя, ознаменованной идейным банкротством легального народничества. Росло и крепло социал-демократическое движение; в борьбе Ленина с либеральным народничеством оформлялась теория революционного марксизма.

Обострение классовой борьбы определило процесс общественно-политического развития и расслоения русской буржуазно-дворянской интеллигенции. Бо́льшая часть ее, изживая последние остатки своего лучшего прошлого, порывала со всеми демократическими традициями и решительно повернула на путь реакции, шла на союз с капитализмом. Другая, меньшая, часть, смутно ощущая надвигающийся кризис буржуазной культуры, искала иные пути. Однако и из этой меньшей части интеллигенции только немногие одиночки связывали свою судьбу с революционным пролетариатом. Остальные же, не приемля ограниченного и пошлого мира капитализма, пытались обрести спасительный путь вне еще более чуждой и враждебной им революционно-материалистической идеологии, вне подлинно демократической общественной практики.

«Дети рубежа» с презрением отвергали идейное наследство fin de siècle — позитивизм в философии, эмпиризм в науке, беззубый либерализм в политике, плоский натурализм в искусстве,— все, чем жили их «отцы». Нельзя не признать, что в отказе от *этого* наследия «дети рубежа» обнаруживали подлинный пафос отрицания, подлинное стремление к переоценке ценностей, субъективно честное желание создать новые и лучшие формы жизни, познания и культуры. Но высвобождение «детей рубежа» из-под груза наследства, оставленного «отцами», шло под знаком отказа от *реальной* борьбы за счастье и свободу человечества, за революционное пересоздание мира,— и в этом была их историческая трагедия, предопределившая судьбы нескольких высоко одаренных людей, достойных лучшей участи, нежели та, которая их постигла.

Задачи реальной борьбы за переделку мира лжи и насилия они подменяли отвлеченно-умозрительными моральными концепциями и аксиоматическими абстракциями абсолютных начал мировой жизни (Идея, Дух, Мировая Душа и т. п.), обосновывая их на почве идеалистической философии и религии. Порвав с традициями русской революционно-демократической общественной мысли и литературы, они обратились к иным источникам — к социальной утопии Достоевского, к мистике Вл. Соловьева, к Канту и Шопенгауэру, к ницшеанству и теософии. Отрешенность от реальной действительности, сознание собственного бессилия и — как следствие его — общественный пессимизм и глубочайший квиетизм — определяли, в основном, характер и направление идеологических исканий «детей рубежа». Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» сформулировал общий объективный закон возникновения подобных идеологических тенденций. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к „Духу",— говорит Ленин,— есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй „переворотился", и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, *каков* „укладывающийся" новый строй, *какие* общественные силы и *как* именно его „укладывают", какие общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам „ломки"».[21] (Ленин указывает, что такой эпохой ломки в России был период с 1862 по 1904 г.).

«Дети рубежа» ограду от грозивших им «бурь и бед» «грубой существенности» искали в философском идеализме, в философии религиозного откровения, в ми-

стике. Реальная действительность представлялась им миром преходящих явлений, которому они противопоставляли «потусторонний» идеальный мир Абсолюта, трансцендентный мир вечных идей, мир «подлинной» и «высшей» реальности, всего лишь искаженным отображением, «отблеском» которого является видимая и постигаемая опытом действительность. Учение об интеллигибельном мире, уходящее корнями в платоновский дуализм, было разработано неоплатониками и получило дальнейшее развитие в философских сочинениях и поэзии Вл. Соловьева.

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий? —

писал Соловьев в одном из программных своих стихотворений.

В основе метафизических построений Вл. Соловьева лежала религиозно-мистическая идея соотнесенности земного существования в мире преходящих явлений с миром сверхчувственной, «высшей» реальности. Идея эта сочеталась с характерными для религиозного сознания надеждами на «предсказанные» в Апокалипсисе «конец мира» и наступление «эры третьего завета», когда будут благополучно разрешены все противоречия, искони заложенные в природе и человеке. На этой основе Вл. Соловьев утвердил свою концепцию «богочеловечества» и «царства божия» как конечного предела истории человечества, торжества «вечной жизни» и осуществления «нравственного мирового порядка». Путь к «царству божию» лежал, по Соловьеву, через всемирную теократию — установление «свободного богочеловеческого союза», в котором, на почве единой христианской истины, примирятся Восток и Запад, православие и католицизм. В реакционнейшей теократической утопии Соловьева России предназначалась мессианическая роль «третьего Рима» — возродить и спасти Европу, доставить вселенской церкви политическое могущество. Религиозно-мистическая идея обновления мира и преображения человечества была воплощена Вл. Соловьевым в образах Софии-премудрости, Мировой души, Девы радужных ворот и Вечной женственности, заимствованных из мифологии гностиков и других представителей мистической философии древности.

В образе Вечной женственности Вл. Соловьевым была персонифицирована идея любви как мирообразующего начала и основы нового религиозного сознания. На этой почве сложилась и эстетика Вл. Соловьева, целиком подчиняющая искусство религии и мистике. В основе соловьевской эстетики лежит религиозно осмысленная формула «истины, добра и красоты», — формула — вне ее религиозного осмысления — в достаточной мере традиционная, в конечном счете имеющая своим источником эстетические концепции немецкого идеализма, ближе всего — эстетику Шиллера. Задача искусства, по Соловьеву, — в чувственных образах воплощать тот высший смысл жизни, то идеальное содержание, которое заключено в идеях истины и добра. Иными словами, красота, всегда согласующаяся с истиной и являющаяся необходимым условием для торжества добра, воплощает в мире явлений вечные идеи интеллигибельного мира. В предисловии к 3-му изданию своих стихотворений Вл. Соловьев писал, что Вечная женственность вмещает «полноту добра и истины, а чрез них нетленное сияние красоты» и что именно красота ведет человечество «к избавлению от страдания и смерти». Повторяя Достоевского, Соловьев указывал, что красота спасет мир: «...в конце Вечная красота будет плодотворна, и из нее выйдет спасение мира»[22]. Отсюда вырастает соловьевское определение искусства как теургического служения и художника — как творца новой жизни и спасителя человечества, как теурга, в экстатическом созерцании проникающего в «незримый очами» мир вечных идей. Подлинное «боговдохно-

венное» искусство, по Соловьеву, не должно преследовать никаких узко практических целей; оно служит делу истины и добра только своей красотой и более ничем, поскольку все прекрасное уже само по себе содержательно и полезно.

В условиях идейного разброда буржуазно-дворянской интеллигенции и распада идеалистической мысли, соловьевство с его апокалиптическими предчувствиями «конца мира» и мессианическими надеждами на пришествие Вечной женственности, имело все данные для того, чтобы стать символом веры для отдельных представителей «поколения рубежа», ощутивших кризис буржуазной культуры, но неспособных разрешить сложные противоречия окружавшей их действительности. В самом начале XX века на почве увлечения мистикой и эсхатологией Вл. Соловьева образовался в Москве небольшой кружок молодых людей, начинавших в ту пору литературную деятельность в рядах декадентско-символистского движения. Среди них оказался Андрей Белый (Борис Бугаев) — сын ученого-математика, выросший в среде профессоров и доцентов Московского университета. И независимо от Белого и его друзей в Петербурге к соловьевству приходит Александр Блок — также сын ученого-государствоведа и внук ученого-естественника, родившийся в «ректорском доме» Петербургского университета.

Оба они — и Блок и Белый — вышли из самых недр высоко-квалифицированной научной интеллигенции; оба росли и воспитывались в кругу определенных и в высшей степени устойчивых культурных и идейных традиций, источником которых был либерализм 60-х годов (без тени намека на какой-либо разночинский нигилизм); оба, казалось бы, должны были нести на себе особенно тяжкий груз «отцовского» идейного наследия; для обоих, казалось бы, не могло открыться прямых путей в мистику, в идейный и художественный декаданс. Однако они выбрали эти пути, а не иные, и, быть может, главным образом, именно потому, что на их долю выпало быть последними (и слишком поздними) представителями либеральной интеллигенции в ее верхушечной и кастово-изолированной, «профессорской» формации. Именно потому, что они выросли в среде, вся идеологическая практика которой слагалась под лозунгами либерализма и позитивизма,— они раньше и острее других должны были ощутить кризис этой умеренно-аккуратной идеологии.

В своих мемуарах («На рубеже двух столетий» и «Начало века») Андрей Белый подробно и увлекательно рассказал о том, как усомнился он в Герберте Спенсере и Джоне-Стюарте Милле, в Скабичевском и Карееве, и как поднял бунт против идеологических и бытовых устоев засушенного профессорского мирка (в этой части мемуары Белого звучат вполне убедительно). Подобного рода бунтарские тенденции, хотя и в меньшей мере, были присущи и Блоку. Вместе с тем его обращение к мистическим откровениям Вл. Соловьева имело еще и дополнительные предпосылки, лежавшие в самой идейно-психологической атмосфере, окружавшей Блока в годы юности. Профессорско-писательская семья Бекетовых, в которой рос Блок, была и просвещенной и либеральной, но по существу крайне консервативной. В поэме «Возмездие» она очень верно охарактеризована как «заколдованный круг», в котором

Свои словечки и привычки,
Над всем чужим всегда кавычки
И даже — иногда испуг...

В одном из писем 1902 г. (к З. Гиппиус) Блок заметил вскользь, что вся его жизнь — «медленная, ее м а л о, мало противовеса крайнему мистицизму»[23]. Вот эта скудость, обуженность, медленность жизни, ее инертность — безусловно сыграли не последнюю роль в формировании идейных воззрений молодого Блока. В семье Бекетовых господствовали «любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении», «старинные понятия о литературных ценностях и идеалах»[24]. «Ни строки так называемой „новой поэзии"» Блок не знал до первых курсов университета[25]. Но, вместе с тем, бекетовскую семью, со всем ее гармоническим благополучием и культурными традициями, уже разлагал изнутри грибок своеобразного декаданса. Мать

Блока, имевшая на него очень сильное влияние, была человеком болезненной психики, с отчетливо выраженной склонностью к религиозно-мистической экзальтации. Ей, по словам Блока, были свойственны «постоянный мятеж и беспокойство о новом». У нее находили поддержку стремления Блока к «musique», тогда как вообще в семье «преобладание имела éloquence»[26]. Она, кстати, и указала Блоку на стихи Вл. Соловьева. Много лет спустя, вспоминая времена своей юности, Блок сделал важное указание: летом 1900 г. «начинается чтение книг; история философии. Мистика начинается... Начинается покорность богу и Платон». Весной 1901 г. «все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева»; тогда же Блок впервые познакомился с декадентско-символистской литературой[27].

Блок и Белый узнали друг о друге задолго до личной встречи — через дружественную им обоим (а Блоку и родственную) семью Соловьевых. Семья эта состояла из трех лиц: отца — Михаила Сергеевича (младшего брата Вл. Соловьева), матери — Ольги Михайловны и сына — Сергея. М. С. Соловьев — человек широко образованный и незаурядный, однако, единственный из Соловьевых, «не соблазнившийся литературной и общественной славою» (А. Белый), был мистиком и теософом, последователем философских взглядов своего знаменитого брата и редактором посмертного издания его сочинений. Среди московских эстетов 90-х годов он считался, по свидетельству Белого, «арбитром» и сочувственно относился к новым «декадентским» веяниям в искусстве, в частности один из первых оценил стихи Брюсова. О. М. Соловьева — художница и переводчица — совмещала религиозно-мистические интересы с увлечением английскими прерафаэлитами и французскими символистами. Юный Борис Бугаев (не Андрей Белый еще), друживший с еще более юным Сергеем Соловьевым, был в его семье своим человеком. Здесь знакомили его с творчеством Ницше и Уайльда, Бодлера и Верлена, Метерлинка и Бальмонта; здесь поощряли его первые литературные опыты и вообще занимались его философским и эстетическим воспитанием; здесь же придумали ему псевдоним «Андрей Белый».

Еще в 1897—1898 гг. Сергей Соловьев рассказывал Белому про своего петербургского кузена Сашу Блока, который, подобно им, пишет стихи и увлекается театром. Сергей Соловьев с детских лет дружил с Блоком, часто встречался с ним и регулярно переписывался. Много лет спустя, в поэме «Первое свидание», Белый вспоминал, как в доме Соловьевых впервые узнал он о существовании человека,

Которого по воле рока
Послал [ему] жизни бурелом;
Так имя Александра Блока
Произносилось за столом...

«Позднее по-новому воспринимаю я сочетание слов: „Александр Блок", а именно в августе 1901 года», — пишет Белый в мемуарах[28]. К тому времени уже окончательно сложились мистико-эсхатологические настроения и чаяния Белого (только что закончившего «Драматическую симфонию») и других московских мистиков-соловьевцев. И для Блока лето 1901 г. (впоследствии он называл его «мистическим летом») прошло под знаком «острых мистических и романических переживаний», в связи с которыми «всем существом [его] овладела поэзия Вл. Соловьева»[29]. Июнем 1901 г. датировано «соловьевское» стихотворение Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо», заключающее в себе основной лейтмотив всего цикла «Стихов о Прекрасной Даме». В июле 1901 г. Блок гостил в имении Соловьевых и делился с ними своими мыслями о поэзии, мистике и философии Вл. Соловьева. Сергей Соловьев тогда же сообщил Белому, что Блок, как и они, «совершенно конкретно относится к теме Софии Премудрости... проводит связь меж учением о Софии и откровением лика Ее: в лирике Соловьева». «Из письма — выходило: — пишет Белый,— А. А. независимо от всех нас сделал выводы наши же о кризисе современной культуры и о заре восходящей; те выводы он делал резко, решительно, впадая в „максимализм", ему свойственный; выходило, по Блоку, что новая эра — открыта; и мир старый — рушится... Письмо Соловьева о Блоке — событие; понял: мы встретили брата в пути»[30].

Блок посылал Соловьевым почти все свои стихи. У Соловьевых с ними познакомился и Белый. «Впечатление было ошеломляющее. Стало ясно:... А. А. — первый поэт нашего времени, традиционно связанный с линией Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева... Этот огромный художник — наш, совсем наш, он есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устремлений. С первых же строчек А. А. стал мне любимым поэтом... Он был не поэтом для нас, а теургом, соединявшим эстетику с жизненной мистикой, и поднимался вопрос о том, как нам жить, как нам быть, когда явно в мире звучат уже призывы, подобные блоковским... Мы с С. М. Соловьевым решили, что Блок... единственный продолжатель конкретного соловьевского дела, пресуществивший философию в жизнь»[31].

О впечатлении, произведенном на Белого блоковскими стихами, писала матери Блока О. М. Соловьева (3 сентября 1901 г.): «Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно-описуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева (Андрей Белый), мнением которого мы все очень дорожим и которого считаем самым понимающим из всех, кого мы знаем... Боря сейчас же написал по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею [Соловьеву]. Вот они:

Пусть на рассвете туманно,
Знаю — желанное близко! [и т. д.]»[32].

Блока письмо О. М. Соловьевой крайне обрадовало и ободрило; под впечатлением его он, в свою очередь, написал стихи «Мчит меня мертвая сила»[33].

Зимой 1901—1902 гг. в Москве образовался целый кружок горячих ценителей и поклонников поэзии Блока. Стихи его, получавшиеся Соловьевыми (ни одно из них не было еще напечатано), старательно переписывались и распространялись Белым среди его друзей, знакомых и университетских товарищей, передавались из рук в руки. «Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед; — пишет Белый,— отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы»[34]. Тем временем Белый познакомился и вступил в переписку с Д. Мережковским и З. Гиппиус. Блок познакомился с ними несколько позже — 26 марта 1902 г.— и тогда же получил от них рукопись Белого (письмо к Мережковскому) по вопросам мистики и эсхатологии, которую самым тщательным образом проконспектировал в своем дневнике[35]. З. Гиппиус, подобно О. М. Соловьевой, стала своего рода посредницей между Блоком и Белым. Белому она описывала свою первую встречу с Блоком, его облик[36], а Блоку сообщала, что Белый в него «влюблен»[37].

В апреле 1902 г. Блок из каких-то ему одному ведомых мистических соображений сомневался еще, нужно ли ему начать личную переписку с Белым[38], а в декабре того же 1902 г. писал (М. С. Соловьеву): «Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком»[39]. Переписка возникла по инициативе Белого, который через О. М. Соловьеву сообщил Блоку, что хочет писать ему (см. ниже письмо Блока от 15—17 августа 1907 г.— № 152). Блок тотчас же (3 января 1903 г.) написал Белому (внешним поводом послужила статья Белого «Формы искусства»). Одновременно (4 января) и Белый, «пользуясь данным разрешением», послал письмо Блоку. Оба корреспондента мистически истолковали это случайное совпадение. «Письма по всей вероятности, встретятся в Бологом, перекрестились,— говорит Белый,— крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей... Да, пути наши с Блоком впоследствии перекрещивались по-разному; крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг друга»[40].

2

С первых же писем Блока и Белого установился тот совершенно особый, «эзотерический» стиль, печать которого лежит на всей их переписке. Корреспонденты усвоили иератический «внутренний жаргон» — намеренно затемненный, зачастую вообще не переводимый на язык логического мышления. «У нас были свои определения,— говорит Белый,— и очень сложные психологические переживания фиксировались одним

словом, понятным для нас, но не понятным для „непосвященных современников"»[41]. Впоследствии, при личном знакомстве, этот стиль мистической «невнятицы» был перенесен и в сферу житейских отношений Блока и Белого.

Нужно сказать, что в позднейшей интерпретации Белого суть ранних блоковских писем несколько искажена. Верный своей тенденции доказать, что Блок был более глубоким мистиком, нежели он сам, Белый всячески подчеркивал «максимализм», с каким Блок будто бы решал «мистические проблемы», возводя метафизику Вл. Соловьева в «новый религиозный догмат»[42]. Уже первое письмо Блока трактуется таким образом, что он-де упрекает Белого (по поводу статьи его «Формы искусства») в смешении понятий музыки в обычном значении (как искусства) и «музыки» как «символа неизреченного», как символа соловьевской Софии (см. примечание к письму № 1). Больше того: будучи «максималистом-догматиком», Блок не останавливался перед «крайними выводами», размышлял о земном воплощении Софии и учреждении сектантских форм ее культа. «Разумеется, что ничего подобного в письмах А. А. Блока ко мне нет,— оговаривается Белый,— но весь стиль их, весь подход к проблеме таков, что они во́лят к такому выводу. Этого вывода я боюсь и оказываюсь в нашей переписке того времени своего рода меньшевиком-минималистом»[43].

Между тем материал переписки в целом свидетельствует скорее об обратном. Идея «всесветной мистерии», как и вообще вся соловьевская метафизика, воспринималась и переживалась Блоком по преимуществу эстетически; в его соловьевстве меньше всего было догматизма, что и сказалось с полной четкостью в его ограниченном и противоречивом принятии Соловьева, о чем — ниже. Кроме того, как будет видно из дальнейшего, Блок вскоре же стал тяготиться стилем своих отношений с Белым, как сложились они в переписке и при личных встречах. Блок никогда не был столь правоверным соловьевцем, как Белый, а в 1902 г., несмотря на все свое увлечение лирикой Соловьева, он был еще далек от того, чтобы осознать соловьевство как единственный для себя путь. Юношеский дневник Блока (с декабря 1901 по ноябрь 1902 г.) свидетельствует о том, что его увлекала и мистика соловьевского толка, и «неохристианская» схоластика Мережковского, и «темные соблазны» внерелигиозного декадентства.

Знакомство с Мережковским и З. Гиппиус Блок относил к числу событий, особенно сильно на него повлиявших[44]. Почти все размышления Блока в дневнике 1902 г. об эсхатологии, об антиномии языческого и христианского мировоззрений («плоти» и «духа»), о религии и мистике, о мистике и декадентстве, о мифологии, о борьбе с материализмом и позитивизмом и т. д.— восходят не столько к Вл. Соловьеву, сколько именно к Мережковскому. Глубоко переживая поэзию Соловьева и его «Три разговора», Блок, как можно догадываться, был очень поверхностно знаком с его философскими и богословскими сочинениями. В эсхатологической «теории» Мережковского, провозглашавшего грядущий «высший синтез» религии и культуры в апокалиптическом «тысячелетнем царстве», Блок склонен был одно время различать нечто более «объективное» и «конкретное», нежели метафизика соловьевского толка. Но очень скоро он разочаровался в рассудочных, схоластических доктринах Мережковского и обратился к «белой» мистике соловьевства,— пусть менее «конкретной», но несравненно более эмоциональной, открывавшей перед ним значительно более широкие творческие перспективы в плане разработки темы «Прекрасной Дамы».

Крупную роль в отходе Блока от Мережковского сыграло его заочное сближение с Белым. Московские соловьевцы относились к Мережковскому «со все возрастающим разочарованием»[45], в 1903—1904 гг. перешедшим в прямую враждебность (и обратно: в кругу Мережковского — З. Гиппиус Блока особенно порицали за его приверженность к соловьевству). Свой отход от мережковщины Блок рассматривал как «переход от мистической запутанности к мистической ясности»[46]. Доктрины Мережковского представляются ему «тьмой»; по всем своим идеям и настроениям он тяготеет к «чистой, белой, древней Москве», где «цветет сердце Андрея Белого»[47]. Соловьевцы привлекают Блока своими «идеалами», которых он, кстати сказать, не видел в «беспочвенном» декадентстве: «Отсутствие идеалов у декадентов... Противоположность — Соловьевский лагерь» — записывает он осенью 1902 г.[48]

Впрочем, уже в эти ранние годы в сознании Блока порою возникал какой-то внутренний и еще неясный протест подлинного и гениально одаренного художника против «сгущенной атмосферы» мистицизма, которую он сам создавал вокруг себя но которую сам же и «разрежал жестокой арлекинадой»[49]. Весной 1902 г. Блок с некоторым страхом записывает: «Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию?»[50] Несколько позже — в декабре 1902 г. — он признается своему тогдашнему конфиденту С. В. Панченко: «...я уже никому не верю, ни Соловьеву, ни Мережковскому»[51]. Тогда же он писал (Л. Д. Менделеевой), что преодолел декадентство, «затягивавшее бесформенностью и беспринципностью», и что перед ним раскрывается «жизнь светлая, легкая, прекрасная» «Чего только не было — и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и „две бездны" Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов»[52].

Годы 1901—1903 были временем окончательного становления и самоопределения русского символизма. Московские соловьевцы в это же время, в свою очередь определялись внутри символистского движения в качестве автономного литературно философского кружка (организационно никак не оформленного). Членами этого кружка, называвшими себя «аргонавтами», были: Белый, Сергей Соловьев, Эллис (Л. Л. Кобылинский), А. С. Петровский, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель, С. Л. Кобылинский, А. С. Челищев, В. В. Владимиров, Г. А. Рачинский, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нилендер, П. И. Астров, В. П. Поливанов, Н. И. Петровская и некоторые другие. Большинство названных лиц не принимало прямого и непосредственного участия в литературной жизни, но все они, говоря словами Белого, «вынашивали атмосферу, слагавшую символизм», составляли ядро «par excellence символистов» «Думаю, что вся идеология московской фракции символизма, — говорит Белый, — созрела не в „Скорпионе" и не в „Весах", а в интимных беседах и разговорах среди молодых символистов аргонавтического толка... Душою кружка — толкачом-агитатором, пропагандистом был Эллис; я был идеологом»[53].

Художественная идеология «аргонавтов» в основном слагалась из сочетания мистики Вл. Соловьева с философско-эстетическими идеями Шопенгауэра, Ницше и Гартмана. «Аргонавты» представляли в своем лице ту религиозно-философскую линию русского символизма, которая шла в разрез с практикой символистов-зачинателей (в первую очередь Брюсова), обосновывавших символизм в чисто эстетическом плане как автономное художественное течение, свободное от служения как общественности так и религии. «Аргонавты» же, напротив, целиком подчиняли эстетику мистике и религии. Задачи искусства они формулировали по Вл. Соловьеву как теургическое жизнетворчество — создание обновленных форм человеческих отношений и духовное преображение человечества. «В истолковании „соловьевства" мы были конечно же „реалисты", — пишет Андрей Белый, — мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира»[54]. Понимание искусства как жизнетворчества и религиозного служения всегда оставалось основой эстетических взглядов Белого: и в 1910 г., полемизируя с Брюсовым, он писал, что «из искусства выйдет новая жизнь и спасение человечества»[55], а позже пытался обосновать свою эстетическую систему в свете антропософских идей.

Эстетика Шопенгауэра, глубоко усвоенная Белым в молодости и в значительной мере определившая его художественное творчество (симфонии), отлично согласовалась с соловьевской концепцией искусства как жизнетворчества. Искусство, по Шопенгауэру, представляет собою высшую, наиболее совершенную форму познания мировой воли и вечных платонических «идей», объективированных в мире явлений, — посредством «незаинтересованного» чисто субъективного созерцания, расширяющего границы познания за пределы личного опыта. Особо важное значение имело для Белого (как и для других символистов) учение Шопенгауэра о внепрактической и иррациональной интуиции как единственном источнике художественного творчества. Только бескорыстное созерцание, освобожденное от связи с практикой, способно дать адэкватное познание мировой воли как сокровенной сущности бытия. На этой основе Шопенгауэр создал свою схему градации форм искусства, наивысшей из которых является му-

зыка — как искусство, с наибольшей полнотою выражающее бессознательную и алогистическую сущность единой мировой воли.

Наряду с провозглашенным Верленом принципом эмоционально-музыкального выражения лирических настроений, шопенгауэровская концепция музыки как идеальной и абсолютной формы искусства играла огромную роль в системе эстетических воззрений символистов. Популяризации этой концепции была посвящена юношеская статья Белого «Формы искусства», о которой идет речь в первом письме Блока к Белому. Даже если отвлечься от мистических размышлений Блока о ноуменальной «музыке будущего», письмо это имеет чрезвычайно важное значение, поскольку здесь Блок впервые коснулся, быть может, самой центральной темы своего мировоззрения,— темы музыкального восприятия мира. Представлению о музыке как о первооснове и внутренней сущности бытия Блок оставался верен всю жизнь, применяя критерий музыкального начала в решении всех возникавших в его сознании философских, исторических, социальных и художественных проблем (стихии и культуры, народа и интеллигенции, культуры и цивилизации, гуманизма и революции и т. д.).

Друзья Белого — «аргонавты» — относились к поэзии Блока восторженно, считая его своим «аргонавтом» [56]. Они видели в нем главного выразителя своих мистических чаяний, «волею судеб призванного быть герольдом, оповещающим шествие в мир [их] религиозной революции» [57]. Из соловьевских увлечений Блока они делали далеко идущие выводы. С их точки зрения именно поэзия Блока могла служить целям практического осуществления теургического лозунга Вл. Соловьева о Вечной женственности, долженствующей спасти мир лозунг этот был сформулирован Вл. Соловьевым в стихах:

Знайте же: Вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод...).

Идея Вечной женственности, образно понимаемой «женщиной, религиозно осмысливающей любовь», как она была изложена в статьях Вл. Соловьева «О смысле любви», по словам Белого, «наиболее объясняла искания осуществить „соловьевство" как жизненный путь» [58].

Не только поэзия Блока, но и его личность и даже интимные события его жизни были предметом обсуждения в кругу его московских поклонников. Зная, что у Блока есть невеста, они «прослеживали в [его] стихах, как тема его лирики отображает любимую девушку и как она переплетается с другой темою, темою о Прекрасной Даме... и не могли понять, в какой мере нота Софии, Души мира, соединена бытовою, чисто романтическою темою любви» [59]. Они гадали, к кому относятся образы Блока на Ты (с большой буквы) — к Л. Д. Менделеевой, или к Деве-Заре-Купине? Не учитывая (несмотря на совершенно внятные разъяснения Блока [60]) реальных предпосылок блоковской лирики, Белый и С. Соловьев толковали ее по-своему — в крайности прямолинейно: Л. Д. Менделеева в их представлении была не только «вакантной душевных мистерий», но и живым воплощением «Души человечества». Же свадьбу Блока они переживали как некую «священную мистерию». «Соловьев и тут присутствовал» — пишет Белый, а Сергей Соловьев чуть ли не на самой свадьбе «ждал наступления нового теократического периода, мирового переворота» [61]. Свадьбу Блока Сергей Соловьев воспевал в стихах, как событие мирового значения:

Слышишь: гром тревоги бранной
В отдалении затих...
Здравствуй, господом венчанный,
Побеждающий жених!
. . . .
Невыглаголанных свершений
Полна веков грядущих мгла,
И цепь огнистых откровений
Перед очами залегла [62].

Постоянное назойливое проникновение зачастую совершенно посторонних людей в его интимную жизнь, безусловно, уже и в ту пору раздражало Блока (он называл это «незаметным насаживанием на плечи»). Нужно сказать, что впоследствии и Андрей Белый осознал бестактность своего тогдашнего поведения в отношении Блока. В мемуарах он совершенно уместно припомнил в этой связи те трудно выносимые формы «дружбы», которые сложились в станкевичевском кружке: «М. с С. М. Соловьевым, — говорит Белый, — были теми „Мишелями", которые в многостраничных письмах по всем правилам гегелевской философии анализировали интимные отношения Станкевича к одной из сестер Бакунина и довели этим бедного Станкевича до того, что он бежал за границу, может быть, не только вследствие своей болезни, но и вследствие гегельянизирования друзьями его сердечных отношений. И был прав, может быть, А. А. [Блок], выставив впоследствии непрошенных теоретиков воплощения сверхличного в личной жизни — в виде дурацких „мистиков" своего „Балаганчика"» [63].

Внешне заочная дружба Блока и Белого продолжала крепнуть и развиваться. Они продолжали интенсивно переписываться, обменивались стихами, но, как правильно отметил Белый, уже к концу 1903 г. мистические темы в их переписке «как-то отступили на второй план» [64]. В январе 1904 г. Блок побывал в Москве, где, наконец, лично познакомился с Белым и другими «аргонавтами». Белый и С. Соловьев в бытность Блока в Москве всячески выдвигали его как своего кружкового поэта. Они, что называется, забрали его в свои руки — знакомили с московскими символистами, возили к епископу Антонию, на могилу Вл. Соловьева и т. д., и делали все это не слишком ловко, с большим шумом и суетой, которые всегда были органически ненавистны Блоку. Мистериальная взвинченность сплошь да рядом оборачивалась «сценой из „Балаганчика"», от чего Блок начинал «темнеть и каменеть». Многие из друзей Белого произвели на Блока невыгодное впечатление, в частности, истерический и мракобесный Эллис, которого Блок, по собственному его признанию, совершенно не мог выносить [65]. В мемуарах Белого, во всех подробностях описавшего пребывание Блока в Москве, весь этот эпизод окрашен в тона «розово-золотой атмосферы 1901 года» — года соловьевских «зорь», которые на самом деле уже угасали. Впрочем, это видно отчасти из тех же воспоминаний Белого. «Вообще у нас было посягательство на А. А., мы его возили и показывали, а одновременно показывали ему то, что нас занимало в то время, но что, может быть, ему было чуждо» — пишет Белый, упоминая о нескольких встречах и эпизодах, которые ясно показали, что Блок имел «свое мнение» по многим вопросам, волновавшим соловьевцев [66].

И действительно, в Москву приехал вовсе не «герольд» грядущей теократии, каким Блок рисовался в воображении «аргонавтов», а просто мистически настроенный молодой двадцатитрехлетний поэт, только что вступивший в литературу, но уже прошедший к тому времени часть пути, который уводил его в сторону от соловьевства. Даже внешне Блок «разочаровал» Белого. Статный и франтоватый студент, напоминающий «доброго молодца» русских сказок, никак не согласовался с образом «безрадостного и темного инока», «бледного, как снега», каким возникал Блок в представлении Белого. «Нет, все это было не Блоком, давно уже жившим во мне, „Блоком" тех интимнейших, „Блоком" любимых стихов... Скажу: впечатление реального Блока... стало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось... — говорит Белый в воспоминаниях. — Характеризую редчайшую разность меж нами, которую мы ощутили, при первом свидании — в темпераменте, в стиле и в такте» [67]. Нужно сказать, что эту разность в полной мере ощутил и Блок. В 1907 г., в самый разгар своего конфликта с Белым, он признался ему: «С первых же писем... сказалось различие наших т е м п е р а м е н т о в и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я... Знаю одно: м н е б ы л о т р у д н о п о н и м а т ь В а с и п и с а т ь В а м. Ровно через год мы встретились. М н е б ы л о т р у д н о г о в о р и т ь с в а м и...

1903 год был переломным для Блока. Он входил в круг новых идей, тем и интересов, которые сам совершенно верно называл «декадентскими». Это декадентское начало и раньше заметно проявлялось в лирике Блока, дисгармонируя в ней с начал

религиозно-мистическим. Блок неоднократно подчеркивал свою двойственность, «двуличность»:

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.
В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста.
И тихо, с измененным ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом
В сердцах молящихся людей.

Подобные стихи писались одновременно с наиболее «соловьевскими» по духу мистико-романтическими гимнами о Прекрасной Даме [69] и звучали среди них резким диссонансом (сюда же относятся проходящие сквозь раннюю лирику Блока темы «жестокой арлекинады» и «двойника»). Белый и Сергей Соловьев своевременно не ощутили этого диссонанса, слишком прямолинейно истолковывая поэзию Блока исключительно в «соловьевском» плане. Между тем и самое соловьевство Блока следует понимать более или менее ограниченно. Глубоко усвоив мистико-эсхатологическую идею Вечной женственности, он всегда оставался чужд «конкретным» теократическим увлечениям ортодоксальных соловьевцев, какими были Белый и С. Соловьев, «бредившие будущей теократией» [70].

Впоследствии Белый и С. Соловьев настойчиво стремились доказать, что они очень рано стали подозревать Блока в еретических (на их языке — «астартических») уклонениях от соловьевской «истины». Во всяком случае, С. Соловьев в своих воспоминаниях о Блоке утверждает, что уже в 1903 г. настроение Блока «заметно менялось, „белая лилия" его поэзии отцветала. Прежние строгие мистические ноты сменялись чем-то жутко-демоническим, к идеям Соловьева он охладевал», и вместо «Истории теократии», заняться которой «усиленно советовал» ему С. Соловьев,— читал стихи Бальмонта. Однако нужно помнить, что мемуары Белого и С. Соловьева рисуют Блока в аспекте того восприятия, которое сложилось у них в годы полемики и разрыва. Не подлежит сомнению, что они «переосмыслили» Блока подобным образом — позже, а в 1903 и в начале 1904 г. (во время пребывания Блока в Москве)— были еще очень далеки от того, чтобы обвинять его в «ереси», в «отступничестве», в «измене» и т. д. Только в июле 1904 г., когда три «аргонавта» (Белый, А. С. Петровский и С. Соловьев) собрались у Блока в Шахматове, обнаружились первые явные симптомы их будущего расхождения. Почва для этого была уже подготовлена. Накануне приезда «аргонавтов» Блок писал своему новому другу Е. П. Иванову: „Я в этом месяце силился одолеть „Оправдание добра" Вл. Соловьева и не нашел там ничего, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется все делать напротив, на зло. Есть Вл. Соловьев и его стихи — единственное в своем роде откровение, а есть „Собр. сочин. В. С. Соловьева" — скука и проза» [72]. Если бы Белому и С. Соловьеву были известны эти, с их точки зрения, безусловно кощунственные признания,— быть может, они и не поехали бы в Шахматово.

3

Андрей Белый писал, что летом 1904 г. в Шахматове между ним и Блоком стали возникать «минуты неловкости» («так что не всегда мы чувствовали желание остаться с глазу на глаз») и что Блок ясно давал понять «аргонавтам», насколько они «ошибаются в своих истолкованиях его духовного мира» [73]. «Ты же напрасно так думаешь,— убеждал Блок Белого,— вовсе не мистик я; не понимаю я мистики» [74].

Здесь, в деревне, еще более поразило Белого несоответствие реального чело-веческого облика Блока — статного «молодца» в русской рубахе и больших сапогах с тем серафическим «Блоком», который был создан его воображением. «Шах-матовский помещик», не «Фет», писавший стихи о розах и зорях, а «Шеншин», по-груженный в хозяйственные заботы, здоровяк, проявляющий чисто «фламандский» вкус к жизни,— в таком несколько неожиданном аспекте предстал перед Белым «рыцарь Прекрасной Дамы». Между тем «аргонавты» попрежнему тщились вовлечь Блока в свои «теократические гипертрофии». Сергей Соловьев попрежнему шумно раз-глагольствовал о секте «блоковцев», учреждая своего рода мистически-шутовской культ Прекрасной Дамы — Л. Д. Блок. Внешне пародийный культ этот был бы то-лько забавным фарсом, «буффонадой» (как называет его Белый), если бы сами «блоковцы» не придавали ему серьезного значения. Трудно установить, где кончалась для них пародия и начиналась «высокая» мистика: сохранилась фотография Белого и С. Со-ловьева, снятых за столиком, на котором лежит библия и стоят портреты Вл. Со-ловьева и Л. Д. Блок. Известно, что весь этот мистический маскарад раздражал Блока. Он болезненно ощущал, что его отношения с «блоковцами» все более запу-тываются и осложняются. Впоследствии он признался Белому, что именно в Шахма-тове, в июле 1904 г., «почувствовал и пережил напряженно», что они «разного духа», «духовные враги» (см. ниже — письмо № 152).

В дальнейшем взаимное непонимание Блока и Белого росло, несмотря на оживленную переписку с экзальтированными заверениями друг друга в «бесконечной любви» и «нерушимой» дружбе. В январе 1905 г. Белый приезжал в Петербург — гла-вным образом, для того, чтобы повидаться с Блоком. Однако общался он больше с Мережковскими, к которым Блок в это время относился неприязненно. «Что меня соединяло с Мережковскими, в том именно не соприкасались мы с А. А.» — пишет Белый[75]. «Религиозная общественность» и проблема неохристианской церковности, увлекавшие Белого, были глубоко чужды Блоку.

В июне 1905 г. Белый с С. Соловьевым снова посетили Шахматово, и на этот раз между ними и Блоком обнаружилась, говоря словами Белого, «глубокая трещина, ставшая в 1906 году провалом»[76]. Встреча закончилась открытой ссорой всей семьи Блоков с Сергеем Соловьевым, который попрежнему требовал от Блока строгой вер-ности «религиозным заветам» (ссора эта имела и дополнительные — внеидеологиче-ские — причины). Белый взял сторону С. Соловьева. Они сошлись на том, что Блок — «ренегат, падший рыцарь». Блок в свою очередь писал после их отъезда Е. П. Ива-нову: «Я много и долго мучился и падал духом, и были совсем черные дни. Теперь хорошо... Знаешь, что я хочу бросить? Кротость и уступчивость. Это необходимо относительно *некоторых* дел и *некоторых* людей»[77].

После шахматовской встречи 1905 г. отношения Блока и Белого вступили в новую фазу, равно мучительную для обоих. В течение трех лет они неоднократно порывали друг с другом и снова примирялись, покуда (уже в 1908 г.) не разошлись всерьез и надолго.

Разумеется, расхождение Блока с Андреем Белым было вызвано не только несходством их темпераментов, но имело более глубокие и принципиальные основания. Андрей Белый в мемуарах (особенно в позднейшей их редакции) искажает сущность дела, интерпретируя свой разлад с Блоком в плане личного столкновения на романи-ческой почве. Конечно, и личная драма (возникшая, кстати сказать, только в 1906 г.) сыграла свою, и не малую, роль в истории взаимоотношений Блока и Белого. Но основные, принципиальные предпосылки их конфликта лежали в иной плоскости и имели более давнее происхождение. Это была вовсе не личная ссора двух молодых людей, оказавшихся соперниками в любви, а *идеологическое* расхождение двух одареннейших художников, существенное для истории русского символизма. Первые явные симптомы этого расхождения, как видно из вышесказанного, совпали по вре-мени с разочарованием Блока в соловьевстве.

Процесс изживания Блоком соловьевства как религиозно-эстетического миро-воззрения есть явление, конечно, исторически обусловленное.

В переписке Блока и Белого за 1903—1905 гг. поражает почти полная отрешенность их от реальной действительности. Переписка производит такое впечатление, удто корреспонденты жили на необитаемом острове. В России в это время происхо-или великие и грозные события, составившие целую эпоху в истории страны — росло еволюционное движение рабочего класса и трудового крестьянства, шла русско-японкая война, на весь мир прогремела революция 1905 г., но все это не нашло почти икакого отражения в письмах Блока и Белого. Целиком погруженные в свои мистиеские переживания, в личную «невнятицу» и в мелочные литературные интересы, они ак будто были слепы и глухи ко всему, что лежало за пределами их узкого духовного мирка.

На самом деле, конечно, это было не так. И Блок и Белый, при всей «отвлеенности» своих интересов, не могли уйти от окружавшей их жизни и переживали ю-своему, разумеется) развертывавшиеся события. В мемуарах Белого приведено не ало данных, свидетельствующих о том, что и сам он, и его друзья — «аргонавты» другие — в 1904—1905 гг. «сильно сдвинулись влево». Известно, насколько реален ыл этот «сдвиг»: не «левее» кадетизма, либерального пустословия, подписей под протестами», организации «христианского братства борьбы» и т. п. Однако не подлеит сомнению, что субъективно Белый со всей искренностью переживал и 9 января, Красную Пресню. Повидимому, он просто не находил нужным делиться с Блоком тими переживаниями, считая их менее важными, нежели свое ощущение «Вечного» «Несказанного», а если и делился, то в таком, к примеру, тоне: «Политические жасы и война — не обманут меня теперь эти наваждения» (письмо № 76).

Письма Блока носят не менее «отвлеченный» характер; тем не менее из этого е следует делать слишком поспешных выводов. Революционные события 1904—1905 гг. ыграли огромную роль в прояснении социального и художественного зрения Блока. еволюция открыла ему «подлинное лицо проснувшейся жизни», до тех пор задернуое для него флером мистико-романтических представлений. Революция пробудила Блоке присущее всякому подлинному и честному художнику чувство гражданственэсти. Известно, что прежнее равнодушие Блока к окружающей жизни сменилось ивым интересом ко всему происходящему; он жадно следил за ходом революционых событий, за настроениями рабочих и даже участвовал в какой-то демонстрации, еся во главе ее красное знамя.

Блок страстно ненавидел пошлость и мерзость буржуазного мира, и поскольку революция грозила разрушить этот «прогнивший хлев»,— он приветствовал ее ак «важное, великое, радостное» время, как зарю новой истории человечества. И хотя о всему складу своего разорванного и противоречивого мировоззрения, отравленного дами мистики и декадентского субъективизма, Блок в 1905 г. не сумел вникнуть подлинный смысл революции,— всем ходом событий он был вовлечен в круг иных ыслей и чувств, нежели те, что владели им в годы мистико-романтического служеия Прекрасной Даме. Не случайно, после того как была написана поэма «Двенадать», он говорил, что с «друзьями» его «разделил не только 1917 год, но даже 905-ый»[78]. Под «друзьями» в данном случае он, конечно, имел в виду в первую очеедь «соловьевцев».

В конце 1904 г. вышла в свет книга «Стихи о Прекрасной Даме». Она подвола итоги первого периода творческой работы Блока, и в то же время в заключиельных разделах ее уже были намечены новые для Блока тенденции. С конца 1903 г. стихах Блока возникает социальная тема капиталистического города, его повсеневного быта, полного трагических противоречий. Испытывая сильное влияние Брюэва, Блок коренным образом пересматривает свой творческий метод, ищет новых стиистических и языковых возможностей. Самая тема Прекрасной Дамы к тому времени ыла исчерпана Блоком, и дальнейшие вариации ее являлись бы только повторением казанного. Второй свой сборник — «Нечаянная Радость», куда вошли стихи 1904—906 гг., сам Блок назвал «переходной книгой», в которой «душа в буйном восторге эет славу новым чарам и новым разуверениям». Этот «переходной» период ознаменоался в творчестве Блока дальнейшим вовлечением его в сферу типично декадент-

ских идейно-художественных воздействий. Декадентство и эстетизм — вот что характеризует «новые чары» Блока.

Окончательно разуверившись в религиозной мистике, доказывая теперь, что «истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией», Блок находит новую «прекрасную и богатую» тему «мистицизма в повседневности»[79]. Эта тема по преимуществу и разрабатывалась Блоком в стихах 1904—1906 гг.— в двух основных вариантах: эстетизации городской «повседневности», которой присваиваются черты «пошлости таинственной», «страшных и прекрасных видений», и своеобразной «языческой» мифологизации природы (цикл «Пузыри земли»). Тогда же «нашли себе исход» те «приступы отчаяния и иронии», о которых Блок упоминает в автобиографии[80]. Он предает жестокому осмеянию свои прежние идейные ценности. Ироническое переосмысление мистики соловьевского толка на целый период стало одной из его центральных тем — в ряде стихотворений и особенно в драме «Балаганчик» (1906).

В июне 1905 г., в Шахматове, Блок прочитал Белому и Сергею Соловьеву свои новые стихи — о «болотном попике», о колдуне, укачавшем весну, о старушке и чертенятах, о «тварях весенних», олицетворяющих стихийные силы природы, влекущие душу человека к пантеистическому утверждению мира. Тема пантеистического слияния с природой осмыслялась Блоком как выход из замкнутого круга отвлеченных субъективистских переживаний «молчаливой, ушедшей в себя души». Разработка этой темы сыграла в творческой эволюции Блока глубоко прогрессивную роль. Говоря его же словами, он увидел, «как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как свободна душа»[81]. В 1905 г. он писал о «совсем особенном, углубленном и очень цельном чувстве связи со своей страной и своей природой»: «Как будто впервые добыватель руды ощутил на своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился, уйдя, казалось — безвозвратно, в глубь собственной души»[82].

Белый и Сергей Соловьев враждебно встретили новые вдохновения Блока. Белый пишет, что его особенно «озадачило» четверостишие:

И сидим мы, дурачки,—
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Он полагал, что под «дурачками» Блок имел в виду не кого иного как «аргонавтов», к которым прежде обращался «со словами надежды»:

В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

В 1905 г.,— пишет Белый,— Блок «устанавливает: рук — не связали; не отлетели в лазурь; корабли не пришли; нас не взяли; и мы — одурачены, на сырых и болотных кочках; мы — „немочь", игрушки стихий... Стихи возмущали меня; возмущение я не высказывал вслух»[83]. Сергей Соловьев, в свою очередь, говорит, что друзья Блока не могли примириться с его переходом из «мира божественного в «мир тварный»[84]. Прежнее восторженное отношение их к поэзии Блока в 1905 г. отошло уже в область предания. Теперь они рассматривали эту поэзию как открытое «богоотступничество», как измену духу и заветам соловьевства, как «кощунственные издевательства» Блока «над своим прошлым» (которое оставалось их настоящим). Белый прямо пишет, что стихи, прочитанные Блоком в Шахматове, «укрепили и С. М. [Соловьева] и меня в мысли, что Блок перестал быть Блоком... Союз нас трех был безвозвратно разорван»[85].

«Это все показал „Балаганчик", написанный через полгода» — подчеркивает Белый[86]. В «Балаганчике», проникнутом духом опустошительной, «трансцендентально

иронии» немецких романтиков, мистика осмеяна и унижена как особая форма «черной тяжелой истерии», характерная для «маньяков», для «загипнотизированных дураков и дур»[87]. Самые «глубокие» мистические темы и образы переосмыслены здесь по принципу прямой пародии и каламбура: «Дева из дальней страны», прибытия которой трепетно ждут «мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях», оказывается Коломбиной (в черновом наброске — просто «Машей»), «коса смерти» — женской косой, кровь — клюквенным соком, мистерия оборачивается шутовским маскарадом, «балаганчиком». Столь же явно пародирован Блоком «эзотерический» жаргон мистиков.

Белый и Сергей Соловьев восприняли иронию и пародию Блока как личное оскорбление. Соловьев даже узнал себя в одном из карикатурных мистиков «Балаганчика»[88]. Пьеса Блока сыграла очень крупную роль в его расхождении с соловьевцами. Белый в годы своей полемики с Блоком нападал на «Балаганчик» с особенным ожесточением, придавая ему «смысл чудовищный», несмотря на просьбу Блока: «Поверните п р о щ е — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества» (см. письмо № 152). Характерно и то раздражение, с каким много лет спустя Белый писал о «Балаганчике» в своих мемуарах.

Казалось бы, после «Балаганчика» между Блоком и Белым должны были порваться последние связи. Однако отношения их продолжались, запутываясь все больше и больше. Расхождение их долго оставалось невыявленным; оба они избегали объяснений, отмалчивались, что, естественно, только усугубляло путаницу. Правда, в октябре 1905 г. они впервые более или менее внятно заговорили о том, что их разделяло (см. письма № 95—97). Однако и на этот раз дело кончилось примирением,— тем более, что Блок (вероятно, из тех соображений, чтобы не слишком обидеть Белого) сопроводил свои признания целым рядом «нейтрализующих» оговорок. Но из второго — ответного — письма Блока (№ 97), имеющего чрезвычайно важное литературно-биографическое значение, можно и должно сделать более прямые выводы. Они напрашиваются сами собой и в полной мере согласуются с известными нам из других источников мыслями Блока о своем жизненном и литературном пути, делиться которыми с Белым он не решался или не хотел.

Нет смысла останавливаться на всех перипетиях дальнейших взаимоотношений Блока и Белого, — тем более, что они изложены в воспоминаниях Белого (подробнее и вернее в первой их редакции, 1922 г.). Приведем здесь лишь основные факты, существенные для более точного и полного восприятия переписки.

В ноябре 1905 г. Белый получил от Блока «пук его темноватых последних стихов: невпрочет», и «послал свое мнение о них». В ответ Л. Д. Блок уведомила Белого, что прекращает с ним переписку. Белый, в свою очередь, ответил, что навсегда обрывает не только переписку, но вообще знакомство с Блоками[89]. «Этот разрыв был истинным горем моих осенних и зимних месяцев 1905 года, — говорит Белый. — Наконец я не выдержал и, не имея возможности написать А. А. (это была эпоха почтово-телеграфной забастовки), я нарочно поехал в Петербург, чтобы иметь объяснение с А. А.»[90]. 1 декабря, приехав в Петербург, Белый послал Блоку короткое письмо (№ 99), в котором просил о свидании. Свидание состоялось в тот же день (в ресторане Палкина) и закончилось примирением. «Атмосфера расчистилась», но установившиеся отношения «напоминали сношения иностранных держав». «Кроме того, — сообщает Белый, — мы решили: С. М. [Соловьев] не войдет в наше „мы"... А. А. и Л. Д. [Блоки] подчеркнули: они не приемлют его»[91].

Живя в Петербурге, Белый неоднократно встречался с Блоком, однако, не только прежней дружбы, но и подлинной близости между ними уже не было. Блока окружали новые приятели (Е. Иванов, С. Городецкий, В. Пяст, Г. Чулков; как раз в это время он сблизился и с Вяч.. Ивановым). Что же касается прежних друзей, то об отношении Блока к ним Белый мог судить кроме всего прочего по поэме «Ночная фиалка» (черновой набросок которой Блок прочитал ему именно в эти дни); во всяком случае Белый относил к себе и к С. Соловьеву блоковские строки:

...что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей[92].

Около 20 декабря Белый уехал в Москву с тем, чтобы вскоре вернуться (он намеревался прочно обосноваться в Петербурге). Вернулся он в середине февраля, встретился с Блоком «холодно» и «неловко». Именно в этот приезд Белый узнал «Балаганчик», в котором все ему «бросилось вызовом»[93]. В конце февраля и начале марта 1906 г. происходили тяжелые объяснения Белого с Блоком (в это время их личная драма достигла предельного напряжения). К середине марта Белый вернулся в Москву, а через месяц снова появился в Петербурге (несмотря на просьбу Блока не приезжать).

В конце апреля Белый, окончательно рассорившись с Блоками, отправился в деревню. Вскоре (11 мая) и Блоки переехали в Шахматово. Белый «забрасывал» их «залпами писем» (адресованных главным образом Л. Д. Блок), в которых философски «обосновывал» свои упреки и жалобы в свете риккертианской теории жизненных ценностей (к тому времени Белый уже был горячим поклонником Риккерта). Он сам пишет в воспоминаниях, что стремился «построить из Риккерта, Канта, Когэна — экстравагантнейшее биографическое разрешение поединка идеологий, и доказать [Блокам]: они — лицемеры: буржуи, схватившиеся за мещанский уклад»[94]. Белый и С. Соловьев в то время переживали период бурных «народнических» увлечений, меру и глубину которых лучше всего определил сам Белый: «... мы, обозленные, твердо готовые биться за новую жизнь, разжигали друг друга — свершить акт восстанья: женитьба ли[95], бомба ли, посрамленье ли Блоков... Будет, что будет!.. Мобилизовали: я — Ницше и Риккерта; а С. М. [Соловьев] — отцов церкви, эс-эрство, идиллии Феокрита, Некрасова»[96]. Белый намеревался отправиться в Шахматово, к Блоку, «для решительных объяснений», но опасение, что он не будет там принят, остановило его.

В начале августа 1906 г. Белый получил от Блока письмо (до нас не дошедшее), в котором тот сообщал, что приедет в Москву объясниться. Встретились они в ресторане «Прага». Белому был поставлен «решительный ультиматум: угомониться». Он же «ехал совсем на другое; думал, что происходит полнейшая сдача позиций Блоками». Встреча привела к тому, что они «не простились»[97]. 9 августа Блок известил Белого, что решил не посвящать ему сборник «Нечаянная Радость», как хотел сделать. К этому времени относится несколько совершенно истерических писем Белого, опущенных в настоящем издании. Тогда же (примерно около 12—15 августа) Белый вызывает Блока на дуэль. Вызов его передал Блоку Эллис, ездивший для того в Шахматово. Эллис (который, кстати сказать, по словам Белого, «подуськал его послать резкое письмо Блоку»[98]) имел с Блоком длинное объяснение. Блок будто бы заявил, что не видит причин для дуэли, так как Белый «просто ужасно устал»[99]. Около 20 августа Блок вернулся в Петербург, а через несколько дней туда приехал и Белый. Они снова встретились — сначала, как враги, а второй раз примирительно, и решили, что им нужно не встречаться в течение года. Белый сразу же уехал в Москву, а в сентябре отправился за границу — в Мюнхен и в Париж, откуда — уже в ноябре 1906 г. — послал Блоку примирительное письмо и стихи (№ 142—143).

В начале 1907 г. Белый вернулся в Россию. Еще год назад — в феврале 1906 г. — он чувствовал, что его «отчужденье от Блока перерождается в желание: агрессивно напасть»[100]. Однако в течение двух лет он придерживался в отношении Блока выжидательной тактики и перешел к нападению лишь в феврале 1907 г., когда в журнале «Перевал» появилась его пространная рецензия на сборник стихов Блока «Нечаянная Радость»[101]. Рецензия эта дает представление о принципиальной основе и о направлении ожесточенной полемики с Блоком, которую Белый вел в 1907—1908 гг. Но написана эта рецензия была еще в более или менее сдержанном тоне, уснащена комплиментарными оговорками и проникнута стремлением «перевоспитать» Блока, вернуть его на «истинный», соловьевский путь. Блок, в свою очередь, еще благодарил Белого за эту рецензию (см. письмо № 146).

Вскоре положение изменилось.

ГОДЫ ПОЛЕМИКИ

(1907—1908)

1

Из сказанного видно, как круто разошлись пути Блока и Белого. Напряженность их отношений, которая столь явно ощущается в письмах 1905—1906 гг., сгустилась к 1907 г., как туча, готовая ежеминутно разразиться сильнейшей грозой. Это и случилось несколько месяцев спустя. Может быть, Белый и в дальнейшем придерживался бы своей выжидательной и «воспитательной» тактики по отношению к Блоку, если бы тот не сделал новых решительных шагов в направлении, уводившем его еще дальше от Белого. Теперь Белый обвиняет Блока в «измене» уже не только соловьевству, но символизму вообще.

При этом необходимо учесть некоторые привходящие обстоятельства, — в первую очередь ожесточенную полемику, разгоревшуюся среди символистов по преимуществу вокруг теорий «соборности» и «мистического анархизма», выдвинутых в 1906 г. Вяч. Ивановым и Г. Чулковым. Полемика эта явилась первым явным симптомом распада еще накануне, казалось бы, единого и сплоченного фронта символистской литературы. В полемике приняли более или менее активное участие почти все виднейшие символисты. Особую и очень важную роль сыграла она в отношениях Блока и Белого, поскольку Блок на некоторое время оказался плененным идеями «соборности» и «мистического анархизма», в которых Белый усматривал главную опасность «провокации» и «профанации» символизма.

В 1907 г. Белый переходит в открытое наступление против Блока, последовательно и с крайней запальчивостью преследуя его в своих статьях и рецензиях, на которые Блок (долго отмалчивавшийся) в конце концов реагировал достаточно резко (см. письмо № 147).

Идейный и организационный разброд в лагере символистов был неразрывно связан с общим процессом распада и разложения в среде либеральной буржуазной интеллигенции, определившим ее судьбы в годы столыпинской реакции. После поражения революции 1905 г. буржуазная интеллигенция в массе своей вступила на путь самого позорного ренегатства, окончательно порвала с русским освободительным движением и «решительно повернула от защиты прав народа к защите учреждений, направленных против народа»[102]. Реакции политической сопутствовала реакция идейная. В области философии, культуры и искусства полным ходом идет пересмотр всех революционно-демократических традиций, энергично «критикуется» марксизм, пышным цветом расцветает всяческая метафизика, поповщина, мракобесная мистика.

Эта контрреволюционная идеология со всей силой сказалась в символистской литературе. Именно в годы реакции завершается процесс становления символизма как искусства антиреалистического и антидемократического. Символистская литература, по меткому определению Блока, превращается в мистико-эротический «словесный кафэ-шантан» с необычайно пестрой программой разнообразных «теорий» и «учений», свидетельствующих об окончательном распаде буржуазной мысли. Умозрительные концепции, сменявшие одна другую и лопавшиеся, как мыльные пузыри, отличались неслыханным эклектизмом. Анархизм сочетался с религией, апокалиптика и теософия — с народничеством, Маркс — с Достоевским, Платон — с Бакуниным. Познавательная ценность всех этих «теорий» и «учений» была равна нулю; все дело сводилось по преимуществу к более или менее ловкому жонглированию звонкими терминами: «мистический анархизм», «мистический реализм», «соборный индивидуализм» и т. п.

Вместе с тем в годы реакции символизм в лице своих ведущих теоретиков окончательно утверждает принцип эстетизации искусства, начисто отвергая связь его с «жизнью», с «политикой», с задачами социальной борьбы — во имя «свободы творчества». Эстетическая программа и творческая практика символистов слагались под знаком борьбы с традициями русского классического реализма XIX века и с реалистической литературой современности — во имя «чистого», эстетизированного искусства,

свободного от «служения вопросам общественным», — искусства, у которого «есть своя область — тайны человеческого духа» (Брюсов).

Разумеется, было бы глубоко ошибочным определять всю буржуазную литературу эпохи реакции как «словесный кафэ-шантан». Как раз наиболее крупные, наиболее одаренные и честные художники, связавшие себя с символизмом — Блок, Брюсов, Белый — настойчиво стремились разрешить проблему философского обоснования символизма как целостного мировоззрения. Каждый по-своему остро ощущая кризис капиталистической культуры, они мучительно искали выхода из обреченного буржуазного мира, блуждая и заблуждаясь на путях мистики и эстетизма, мелкобуржуазного анархизма и неонародничества, неокантианства и прочих разновидностей философского идеализма. При этом индивидуальные пути одареннейших художников символизма попеременно то сводили их, то разводили друг от друга, и зачастую — очень далеко.

После 1905 г. символизм завоевал полное признание буржуазной общественности. Вчерашние отверженные и гонимые «декаденты», служившие мишенью юмористических журналов, ныне составили ведущий отряд буржуазной литературы.

В течение долгого времени центром русского символизма была Москва. Здесь были объединены вокруг издательства «Скорпион» и журнала «Весы» основные кадры символистов старшего поколения. Другое существовавшее в Москве символистское издательство «Гриф» особой роли не играло. К 1906 г. положение резко изменилось. Границы символизма расширились: из школы он превратился в течение, захватившее множество второстепенных поэтов и беллетристов. Символисты-зачинатели вплотную столкнулись с явлением массового эпигонства, создавшего прямую угрозу дискредитации их идейной и художественной программы. В символистскую литературу после 1905 г. сплошным потоком шли «любители легкой мистической наживы». (Блок).

Попытки Брюсова ввести широко разлившееся течение в проложенное им русло — с самого начала потерпели неудачу. Известную роль сыграло при этом то обстоятельство, что наряду со «Скорпионом» и «Весами» образовались новые центры, притягивавшие молодые литературные силы. Такими центрами были в Москве два журнала: «Золотое руно» (основанное в 1906 г. меценатствующим капиталистом Н. Рябушинским) и «Перевал», а в Петербурге — издательство «Оры», объединившее группу виднейших петербургских символистов с Вяч. Ивановым и Блоком во главе, и примыкавшая к «Орам» группа участников альманаха Г. Чулкова «Факелы». Периферийное положение занимало в Петербурге издательство «Шиповник», выпускавшее с 1907 г. альманахи со смешанным составом участников.

Зарождение новых журналов и издательств знаменовало прежде всего тот факт, что символизм перерос рамки небольших интимных кружковых объединений. Но меньше всего следует рассматривать это явление как признак укрепления символистской литературы. Новые журналы и издательства служили целям размежевки символистов, а не консолидации их сил. К 1907 г. уже окончательно определился разлад между «московскими» и «петербургскими» символистами. Кружки «Ор» и «Факелов» (то-есть, Вяч. Иванов, Блок, С. Городецкий, Г. Чулков, отчасти примыкавший к ним Ф. Сологуб и др.) проявляли сепаратистские тенденции в отношении московского центра. Отчетливую картину создавшегося положения дает письмо Брюсова к отцу от 21 июня 1907.: «Среди „декадентов", как ты увидишь отчасти и по „Весам", идут всевозможные распри. Все четыре фракции декадентов: „Скорпионы", „Золоторунцы", „Перевальщики" и „Оры" — в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят один другого. Слишком много нас расплодилось и приходится поедать друг друга, иначе не проживешь. Ты читал, как мы нападаем на „петербургских литераторов" („Штемпелеванная калоша"): это выпад против „Ор" и в частности против А. Блока. Этот Блок отвечает нам в „Золотом Руне", которое радо отплатить нам бранью на брань. Конечно не смолчит и „Перевал" в ответ на „Трихину"! Одним словом бой по всей линии» [103].

Упомянутая Брюсовым статья «Штемпелеванная калоша» была написана Белым. Таким образом, в результате размежевки символистов, в основном закончившейся к 1907 г., Блок и Белый уже открыто оказались в разных лагерях.

В мемуарах Белый подробно рассказал о своей полемике с Блоком, но рассказал неверно, извратив самую суть спора. В интерпретации Белого все дело сводится к одному из эпизодов «распри», разгоревшейся в 1906—1907 гг. среди символистов, и это вынуждает нас сказать несколько слов о данном эпизоде, в сущности совершенно незначительном. Речь идет о конфликте Брюсова и примыкавшей к нему группы символистов с издателем журнала «Золотое руно» Н. Рябушинским.

Брюсов, озабоченный судьбой созданного им журнала «Весы», как руководящего органа символистской литературы, с первых же дней издания «Золотого руна» принял все меры к тому, чтобы удержать журнал Рябушинского в направлении собственной ориентации. С этой целью он принял ближайшее участие в редактировании «Золотого руна». Однако вскоре же он поссорился с Рябушинским, который, по словам Белого, «просунул свой нос в компетенцию Брюсова» [104]. Уйдя из «Золотого руна», Брюсов настоял на том, чтобы Белый остался ближайшим сотрудником этого журнала («Чтобы туда не внедрились враги» — пишет Белый). Рябушинский, в свою очередь, даже предложил Белому стать редактором литературного отдела вместо С. Соколова (Кречетова), также порвавшего с Рябушинским на почве взаимного неудовольствия и основавшего к тому времени собственный журнал — «Перевал». Белый, по соглашению с Брюсовым, предъявил Рябушинскому ультимативное требование «невмешательства в литературную тактику» и предоставления ему и Брюсову права veto в отношении подбора сотрудников и помещения литературного материала. Пока тянулись переговоры, произошло столкновение Рябушинского с мелким литератором-символистом А. Курсинским, временно исполнявшим обязанности заведующего литературным отделом «Золотого руна». В результате этого конфликта, по словам Брюсова, в письме к Ф. Сологубу от 31 августа 1907 г., «выяснилось окончательно, что отношения Рябушинского к своим сотрудникам и к писателям вообще таковы, что исключается возможность участия в его журнале для людей, себя уважающих» [105]. Белый, возмущенный поведением Рябушинского, послал ему резкое письмо — «с вызовом: с него достаточно чести журнал субсидировать; он, самодур и бездарность, не должен в журнале участвовать» [106].

По словам Белого, это письмо и было причиной его окончательного разрыва с «Золотым руном». Из письма же Брюсова к Ф. Сологубу (цитированного выше) выясняется, что конфликт Белого с Рябушинским имел дополнительные причины: Белый просил поместить в «Золотом руне» свое «Письмо в редакцию» — в ответ на нападки Вольфинга (Э. Метнера), полемизировавшего со статьей Белого «Против музыки». Рябушинский сперва отказал Белому в его просьбе, а позднее согласился, но при условии, что Белый вернется в «Золотое руно». Когда же письмо Белого появилось в «Перевале», Рябушинский печатно оклеветал Белого, после чего Белый и Брюсов окончательно порвали с «Золотым руном», а одновременно с ними — в порядке солидарности — Мережковский, З. Гиппиус, М. Кузмин, Ю. Балтрушайтис и М. Ликиардопуло [107].

Потеря такого количества видных сотрудников, естественно, заставила Рябушинского установить новые связи, и, конечно, в первую очередь он обратился к писателям враждебного Брюсову и Белому лагеря, к группе петербургских символистов — Блоку, Вяч. Иванову и «нейтральному» Ф. Сологубу (цитированное выше письмо Брюсова к Сологубу представляет собой именно попытку склонить Сологуба на свою сторону). Из газетной хроники (см., например, московскую газету «Час», № 24 от 11 сентября 1907 г.) известно, что Рябушинский, «тщетно разыскивая» писателя, который принял бы на себя редактирование литературного отдела «Золотого руна», обращался к Л. Андрееву и Б. Зайцеву. Но «ответ писателей был неизменно один: Н. Рябушинский должен вверить ведение журнала редакционному комитету, сам же фактического участия в идейной стороне журнала не принимать». Рябушинский на эти условия не пошел.

В четвертой книжке «Золотого руна» за 1907 г. (стр. 74) появилось следующее извещение «От редакции»: «Вместо упраздняемого с № 3 библиографического отдела редакция „Золотого Руна“ с ближайшего № вводит критические обозрения, дающие

систематическую оценку литературных явлений. На ведение этих обозрений редакция заручилась согласием своего сотрудника А. Блока, заявление которого, согласно его желанию, помещаем ниже». В заявлении своем Блок писал, между прочим, следующее: «Для того, чтобы успеть отметить своевременно все ценное, я намереваюсь объединить в каждом из первых очерков maximum того, что мне представляется возможным объединить. Так, я думаю, можно говорить о современном реализме, охватывая большой круг очень разнообразных писателей». Реализацией этого плана и явился цикл литературно-критических статей Блока: «О реалистах», «О лирике», «Литературные итоги 1907 года» и «О современной критике» (последняя статья по случайным причинам была напечатана не в «Золотом руне», а в газете «Час»).

В своих мемуарах Белый дает такое освещение всему этому эпизоду:

«„Руно"... повернулось к мистическому анархизму; нам в пику „мешок" [Рябушинский.— *Вл. О.*] пригласил редактировать Блока; и Блок, не учтя, что наш выход есть общее заданье писателей в деле борьбы с обнаглевшим купчиной, идет на условия, мною отвергнутые (я считал их позорными); так петербуржцы ввалились в позиции, нами очищенные; в один день изменилась программа журнала, который теперь стал „народно-соборно-мистическим".

Блок?

С той поры каждый номер „Руна" посвящен его смутным „народно-соборным" статьям, переполненным злостью по нашему адресу и косолапым подшарком по адресу... Чириковых; все — „народушко", мистика, Телешов, Чириков, только — не Брюсов, не Белый...

Блок оказался штрейкбрехером.

С Брюсовым мы все же тщились журнал упорядочить путем обуздывания Рябушинского; Блок же использовал нашу борьбу с Рябушинским, чтобы нам насолить, объясняя аферу „идейными соображениями", делая вид, что ему неизвестен наш взгляд на конфликт; вспомнились слова В. Я. Брюсова мне:

— Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий — одно: в борьбе с хамом, с мешком золотым...

Но Иванов и Блок посмотрели на дело иначе: пошли в „услуженье" к хаму, глядевшему на редактировавших, как на „служащих".

Я разразился посланием к Блоку, который ответил мне... вызовом. Стало быть я попал-таки в цель с обвиненьем в штрейкбрехерстве и с упором на то, что они в социальной борьбе против капиталиста нарушили этику»[108].

Переписка Блока и Белого за 1907 г. полностью изобличает пристрастную несправедливость этого рассказа. Увлеченный реабилитацией своего прошлого, Белый обошел молчанием то, что составляло принципиальную основу его расхождения с Блоком, аргументируя это расхождение внешними и побочными мотивами этического порядка, всячески подчеркивая, что Блок из мелочных (и совершенно не свойственных ему) соображений («чтобы нам насолить») изменил чувству товарищеской солидарности в столкновении символистов с «золотым мешком».

Между тем, если бы Белый, действительно, вспоминал «в сторону реализма» (а память у него была отличная), он должен был бы признать, что истинная причина его нападения на Блока имела иное происхождение, что суть дела заключалась вовсе не в том, что Блок разделял не приемлемое для Белого «петербургское» понимание символизма, а в том, что общественные интересы Блока, вступившего к тому времени в полосу «неонароднических» настроений, уводили его равно и от московских и от петербургских символистов. «В последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — о с т а в а т ь с я с а м и м с о б о й...» — писал Блок Белому 6 августа 1907 г.

Но даже и в пределах примененной Белым аргументации рассказ его опровергается фактами. Прежде всего статьи Блока в «Золотом руне» совершенно не служили целям пропаганды или защиты идей «мистического анархизма»; также ни в одной из этих статей Блок не вступал в полемику с Белым и другими противниками

Г. Чулкова. Во-вторых, Белый существеннейшим образом искажает истину, утверждая, что его необычайно резкое письмо к Блоку от 5 или 6 августа 1907 г. (№ 148), на которое тот ответил дуэльным вызовом, было продиктовано этическими соображениями борьбы с капиталистом Рябушинским и содержало обвинения Блока в «штрейкбрехерстве». Удар Белого был направлен совсем в другую сторону — на статью Блока «О реалистах», которую Белый назвал «прошением»,— то-есть, иными словами, Белый обвинил Блока в заискивании из каких-то тактических соображений перед писателями враждебного символистам лагеря.

2

«Соборность», «мистический анархизм» и «мистический реализм» — эти три понятия (в различных терминологических вариациях) в 1906—1907 гг. не сходили со страниц газет и журналов. Родились они несколько раньше. Первая декларация Г. Чулкова — «О мистическом анархизме» — восходит еще к середине 1905 г. [109] Вслед за нею появилась программная статья Вяч. Иванова «Кризис индивидуализма» [110]. В этих статьях были поставлены все вопросы, послужившие впоследствии предметом шумной полемики — о необходимости преодоления узкого индивидуализма и «поворота к полюсу соборности», о необходимости «найти новый мистический опыт» вне «жалкого декадентства» и «символизма, выращенного в оранжереях мещанской культуры».

Много лет спустя в своих воспоминаниях Г. Чулков охарактеризовал «мистический анархизм» как «попытку идеологически обосновать романтический опыт переоценки ценностей», — попытку, сделанную теми, «кто полусознательно вошел в круг предчувствий, связанных с первым революционным взрывом 1905—1906 гг.» [111] По словам Г. Чулкова, «мистический анархизм» был «бунтом во имя утверждения личности, ее независимости, ее свободы», осознанием «кризиса индивидуализма», «криком о крушении западной цивилизации».

В этом есть доля истины. Теории Вяч. Иванова и Г. Чулкова в известной мере служили выражением того чувства смятения и растерянности, которое овладело после поражения революции 1905 г. частью либеральной буржуазной интеллигенции, еще не окончательно перекочевавшей на откровенно-«веховские» позиции. В 1906 г. Вяч. Иванов, провозгласивший лозунг: «Из уединения к соборности!», заявлял еще, что «анархист-мистик может чуждаться политического строительства, но не может оставаться равнодушным к попранию свободы и к торжеству палачей» [112].

В своей нашумевшей книжке «О мистическом анархизме» (1906 г.) Г. Чулков,— пользуясь его позднейшей терминологией,— ставил вопрос об «утверждении личности в общественности», поскольку «личность не может утверждать себя в своей оторванности от мира». Он призывал «мистических анархистов» заняться решением социально-политических проблем современности и даже пытался «своими счесться» с социал-демократами: «Быть может [социалисты] из всех, не переступивших грани мистицизма, самые нам близкие люди, поскольку они искренно ненавидят с о б с т в е н н о с т ь!» В конечном счете, однако, все рассуждения Чулкова сводились к такой откровенной мистике, что гораздо законнее было бы назвать его «теорию» не «мистическим анархизмом», а «анархическим мистицизмом» (с ударением на последнем слове). «Старый буржуазный порядок,— писал Чулков,— необходимо уничтожить, чтобы очистить поле для последней битвы: там, в свободном социалистическом обществе, восстанет мятежный дух великого человека — Мессии, дабы повести человечество от механического устроения к чудесному воплощению вечной премудрости» [113].

В объявлении «От редакции» альманаха «Факелы», служившего органом группы «мистических анархистов», говорилось следующее: «Мы полагаем смысл исторического процесса в искании человечеством последней свободы. Мы приветствуем социалистическое движение, стремящееся разрушить старый экономический порядок, но социализм не является для нас единственной целью и последней формой общественности. Свободная мысль и свободное творчество поэтов и художников, мудрецов и пророков — вот свет на пути человечества. Мы боремся за освобождение личности от цепей моральной, философской и религиозной догматики и не примиряемся с по-

верхностным миросозерцанием, которое пытается ограничить сферу душевных переживаний. Мы поднимаем наш факел во имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на любви к будущему преображенному миру. В этом смысле мы анархисты...» [114]

Истинный смысл и истинная природа этих буржуазно-анархических рассуждений о «свободной мысли» и «свободном творчестве» — настолько ясны, что не требуют никакого разоблачения. Это — одно из типических проявлений того буржуазного лицемерия, которое заклеймил Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература»: «...господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие... Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как миросозерцание, анархизм есть вывернутая на изнанку буржуазность)» [115].

Не трудно убедиться, что «мистический анархизм» Г. Чулкова, провозглашавшего «непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных норм» [116], и являющаяся «ближайшим определением» чулковской «теории» идея «неприятия мира данного во имя мира долженствующего быть», выдвинутая Вяч. Ивановым [117],—не имели ничего общего с социально-политической доктриной анархизма бакунинского или кропоткинского толка. На это указывали, впрочем, сами авторы «мистического анархизма». Вяч. Иванов придавал термину «мистический анархизм» резко разграничительное значение в отношении, с одной стороны, «тех, кто называет себя анархистами, не делая последних выводов из своего же лозунга, а подчас и первых соображений о смысле анархии как идеи метафизической», и, с другой стороны,— «тех религиозных мыслителей, которые думают, что мистика — ancilla theologiae и что можно быть мистиком, не утвердив прежде всего своей неограниченной внутренней свободы» [118].

В то же время, отвечая на обвинения в эклектической путанице своей программы, в «оксиморности» самого термина «мистический анархизм», Вяч. Иванов писал: «Истинные анархисты не могут бояться, что их идея, в смысле конечного идеала их чаяний, будет ограничена в своей полноте тем или иным сочетанием с мистикой. Мы думаем, напротив, что такой союз единственно ее оправдывает и утверждает до конца» [119]. Аргументация данного положения была слабейшим местом рассуждений Вяч. Иванова; точнее сказать, аргументации никакой не было,— она заменялась громкими, но совершенно голословными утверждениями вроде того, что «не трудно доказать, что мистика, будучи сферой последней внутренней свободы, уже анархия», или: «истинный мистик уже есть eo ipso личность безусловно автономная», «равно, как идея безвластия есть уже мистика».

Органом мистических анархистов был альманах Г. Чулкова «Факелы» (три выпуска, 1906—1908 гг.) со смешанным составом участников. Наряду с символистами (Вяч. Иванов, Блок, Ф. Сологуб, Г. Чулков, А. Ремизов, Л. Зиновьева-Аннибал; в первом выпуске еще приняли участие Брюсов и Белый), в «Факелах» печатались Л. Андреев, С. Сергеев-Ценский, Б. Зайцев, И. Бунин, Л. Шестов, А. Мейер. Редакция пыталась также привлечь к участию в альманахе П. Кропоткина, Л. Толстого и М. Горького. В своих воспоминаниях Г. Чулков пишет, что «этот литературный эклектизм должен был... подчеркнуть, что „Факелы" представляют вовсе не какую-нибудь поэтическую школу, а объединяют ревнителей разных школ на одной идейной теме» [120].

Между тем весь пафос полемики, разгоревшейся в связи с выступлением Вяч. Иванова и Г. Чулкова, заключался именно в том, что символисты-ортодоксы из группы «Весов» усмотрели в «мистическом анархизме» и «соборности» тенденции образования новой литературной школы на основе ревизии символистской доктрины,— и это обстоятельство, главным образом, определило меру их негодования. «Итак,— перед нами новое течение в литературе, до известной степени новая литературная школа» — писал Брюсов в рецензии на первый альманах «Факелы». При этом Брюсов (со своих тогдашних позиций эстета-антиобщественника) презрительно трактовал идею «неприятия мира» как «политическое революционерство», а творческую практику «мистических анархистов» — как «возрождение тенденциозной беллетристики» [121].

Нужно сказать, что на первых порах творцы «мистического анархизма» сами отводили от себя обвинения в «раскольничестве», в стремлении образовать новую литературную школу. Г. Чулков всячески подчеркивал, что «мистический анархизм не противополагает себя декадентству как литературной школе, но он должен и может противопоставить себя декадентству, как психологическому факту»[122]. Вяч. Иванов, в свою очередь, отвечая Брюсову, резко возражал против понимания «мистического анархизма» как нового течения в литературе: «„Факелы" с точки зрения художественной школы, эклектичны — открыто и прямо»[123].

И только в дальнейшем, в ходе самой полемики, «мистические анархисты» повели ответную атаку на представителей «старого декадентства»,— равно на «парнасцев» (Брюсов) и на «богословствующих декадентов» (Мережковский, З. Гиппиус). Исходя из констатации кризиса неокантианского идеализма и индивидуалистических концепций Ницше и Шопенгауэра, они пытались построить некую положительную эстетическую и собственно-литературную программу. Именно в порядке обоснования этой программы и выдвигались идеи «мистического реализма» и «мифотворчества».

Впервые с полной отчетливостью вопросы эти были поставлены в декларативной статье Г. Чулкова «Молодая поэзия»[124], в которой на общедоступный язык газетного фельетона были переведены идеи Вяч. Иванова о «реалистическом символизме» и «мифотворчестве», сформулированные им несколько позже в известном докладе «Две стихии в современном символизме». В статье Г. Чулкова, появившейся в августе 1907 г. (то-есть, как раз в то время, когда отношения Блока и Белого предельно обострились), прямо говорилось о начавшемся в среде символистов «принципиальном расколе» и о «новом литературном течении», возникшем после «Весов» и связанном, в первую очередь, с именами Вяч. Иванова и Блока. С большой энергией напал Г. Чулков на символистов-зачинателей, соглашаясь, что выдвигавшееся против них «тяжкое обвинение в настроении антиобщественном и даже реакционности» имело свои основания. Припомнив «те страницы в статьях г. Мережковского о Толстом и Достоевском, где этот богословствующий декадент защищает идею самодержавия», Чулков ополчился против «манифеста», опубликованного в «Весах» в форме «объявления о подписке» (см. «Весы» 1906, № 12; 1907, № 1). В «манифесте» этом было сказано:

«„Весы" идут своим путем между реакционными группами писателей и художников, которые до сих пор остаются чужды новым течениям в искусстве (получившим известность под именем „символизма", „модернизма" и т. под.) и революционными группами, полагающими, что задачей искусства может быть вечное разрушение без строительства. Соглашаясь, что круг развития той школы в искусстве, которую определяют именем „нового искусства", уже замкнулся, „Весы" утверждают, что дальнейшее развитие художественного творчества должно брать исходной точкой — созданное этой школой».

Высокомерное заявление это в общем довольно точно определяет позицию, которую заняли московские символисты и, в частности, Андрей Белый.

Храбро причисляя себя и своих соратников к «революционным группам» писателей, Г. Чулков отвечал на «кадетское по духу своему» заявление «Весов», что никакой единой школы «нового искусства» нет и что «литературное течение, возникшее после „Весов", ставит себе задачей прежде всего художественное творчество — строительство, а что касается „разрушения", то это революционное стремление хотя и присуще новому философскому движению, но оно направлено не против культуры, а против политической, социальной и эстетической реакции». И далее Чулков указывает, что ревизионистские тенденции «молодых», «не желающих подчиняться „философскому" канону старого декадентства», возникли на почве осознания кризиса «уединенного индивидуализма, характерного для декадентского эстетизма». Устами Вяч. Иванова провозглашается новый и единственно верный принцип отношения к миру — «синтез личного начала и общественности».

«Идейному кризису соответствовал и кризис художественно-литературный,— продолжает Г. Чулков.— Символизм, окрашенный в цвет философского идеализма, стал

эволюционировать в сторону нового реализма, известного теперь под именем „мистического реализма"», который «не отказывается от символизма, но последовательно развивает его принципы». В крайне невнятной интерпретации Чулкова идейная суть «мистического реализма» заключалась в преодолении неокантианского идеализма и означала «исход в область вечных реальностей, „вещей", определяющих природу абсолютного бытия»,— то-есть, иными словами, Чулков попросту экспроприировал теургическую теорию Вяч. Иванова о «реалистическом символизме», идущем от изображения действительности «внешней» к изображению действительности «внутренней» и «высшей» («a realibus ad realiora»). В качестве искусства, возросшего на почве «мистического реализма», Чулков выдвигал лирику Блока.

В полемике вокруг «Факелов» и статей Г. Чулкова и Вяч. Иванова первенствующую роль играли бесспорно «Весы», занявшиеся «решительным избиением соборного гама» (см. письмо Белого к Блоку от 10—11 августа 1907 г.). Выступления З. Гиппиус, Эллиса и других сотрудников «Весов» (участие самого Брюсова в полемике было незначительным) отличались крайней резкостью и зачастую переходили границы элементарного литературного приличия. Но с особенной последовательностью и непримиримостью разоблачал «мистический анархизм» Андрей Белый, возвращавшийся к этой теме буквально в каждой своей статье, рецензии, заметке. Нет смысла сколько-нибудь подробно излагать здесь аргументацию, применявшуюся Белым в разоблачении «мистического анархизма», поскольку в концентрированной форме она представлена в письмах его к Блоку. Ограничимся одной цитатой, которая с доста[точной] ясностью показывает, в каком направлении действовал Белый, требовавший верности «заветам символизма» и призывавший к разработке теории символизма в свете положений и выводов неокантианской философии (Риккерт, Ласк и др.).

«Символизм в широком смысле не есть школа в искусстве. Символизм — это [и] есть искусство. Романтическая, классическая, реалистическая и сама символическа[я] школа — только способ символизации образами переживаемого содержания сознани[я]. И потому-то смешны противоположения реализма символизму, т. е. метода — тому, чт[о] этот метод оформливает. Все слова о смене символизма реализмом напоминают дет[с]кую свистульку, в которую дуют мальчики, воображающие себя мудрецами. Все эт[и] выходки нового стиля против символизма показывают полное невежество с в и с т у н о в в вопросах психологии, психофизиологии и теории познания. Прежде нападал[и] на символизм только справа: это были нападки добродушных людей, часто ничег[о] общего с искусством не имевших...

«Теперь нападают на символизм слева эпигоны символизма, сами обязанные [т]ем развитием своего творчества. Этих с и м в о л и с т о в н а ч а с, вышедших на зо[в] Ницше, Ибсена, Мережковского из своих душных келий, только и хватило на т[о], чтобы похвалить их зовущую зарю; но итти ей навстречу — это уже подвиг! И в[от] они закупорились снова в своих жалких хатах и теперь говорят, что заря угасл[а].

«Они говорят, что цикл развития символизма окончен и ему-де идет на смен[у] нео-реализм. Когда нечего сказать, обыкновенно берут первый попавшийся терми[н] и приставляют к нему пресловутое „н е о". Для этого не нужно творчества мысли. Но вот что мы видим: корни „н е о"-движения в добром старом символизме. Вмест[о] того, чтобы определить эволюцию символизма, раскрыть механизм этой эволюции, по[казать] структуру образования символических понятий, дать классификацию форм сим[во]лизации, — наклеивают, как попало, „н е о"-известные ярлычки и на этой „н е о" глупости строят школу. Мы не восставали бы против такого занятия с клеем (сиди[т] человек — свистит в свистульку, клеит ярлычки), если бы здесь не чувствовал[с]я апломб невежества, теоретически всем обязанного другим и палец о палец не уда[]рившего, чтобы уяснить себе хотя в общих чертах д е й с т в и т е л ь н ы е проблем[ы] символизма...

«Перед нами лежит задача разработки вопросов искусства в свете современно[й] философии... Дается возможность облечь проповедь символизма бронею несокрушимы[х] методов. Но разве подозревают все это современные эпигоны символизма, заняты[е] поставкой на рынок нео-реалистических свистулек? Разве интересно им знать, чт[о]

„красивые" афоризмы Ницше (которые они по обязанности, с зевком, читали) не только „красивы, а и во многих отношениях убийственно верны! Что и вопрос о ценностях в свете школы Риккерта и Ласка становится центральным вопросом и символизма, и теоретико-познавательных выводов?

«Перед нами задача — обосновать независимую эстетику, как точную науку. Наконец, задачи личности и общества только в свете символического миросозерцания получают удовлетворяющее нас решение... Выводы символизма предопределяют единственно верный путь искусству и религии...

«Художники-символисты сознали право художника быть руководителем и устроителем жизни. Но это высшее право нужно приобрести рядом систематических завоеваний и в творчестве, и в знании. Символизм, это — знамя, вокруг которого должны отныне группироваться все силы, борющиеся за высоту искусства, за те всем нужные, тайны мудрости, которые заключены в творчестве. Символизм — кульминационная точка искусства: отклонения вправо и влево в настоящее время ведут к профанации творчества. И не „певчим птицам" [125], не провокаторам символизма, вроде гг. Чулковых, колебать достоинство русского символизма. Пусть себе хоронят детскими свистульками достоинство русского символизма. Они хоронят, прежде всего, себя, свое достоинство, обнажая неподготовленность занимать то место которое не принадлежит им по праву» [126].

3

Теории Г. Чулкова и особенно Вяч. Иванова произвели на Блока известное впечатление и даже оказали некоторое влияние на его творчество, но меру этого влияния преувеличивать не следует. Г. Чулков утверждал, что Блок был доподлинным «мистическим анархистом» и только «под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил» [127]. Это неверно. Блок заинтересовался идеями Вяч. Иванова и Г. Чулкова поскольку провозглашавшиеся ими анархическое «неприятие мира», преодоление индивидуализма в «соборности» и попытки теоретического обоснования связи искусства с общественностью — до некоторой степени отвечали его собственному осознанию кризиса декадентства и кризиса индивидуализма. Никак нельзя сказать, что Блок отступил от «мистического анархизма» под влиянием «всеобщей травли», так как с самого начала он относился к чулковским идеям с явным предубеждением. Уже в июле 1906 г. Блок писал Чулкову: «Почти все, что Вы пишете, принимаю отдельно а не в целом. Целое (мист. анархизм) кажется мне не выдерживающим критики, сравн с частностями его; его как бы еще нет, а то, что будет, может родиться в другой области» [128]. Через год, в июне 1907 г., он писал Чулкову же: «Я все больше имею против мистич. анархизма» [129]. 1 августа 1907 г. (то-есть, еще *до* получения писем Белого) Блок записывает в записной книжке:

«Мое несогласие с Вяч. Ивановым...

«Мое согласие с Андреем Белым.

«Не считая ни для себя, ни для кого позором — учиться у Андрея Белого я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать, который погружает его самого, чисто внешним образом, в безвыходные противоречия.

«Мистический анархизм! А есть еще — телячий восторг. Ничего не произошло — а теленок безумствует!..

«Есть писатели с самым корявым мировоззрением, о которое можно зацепиться все-таки. Это значит, у них есть пафос. А за Чулкова, например, не зацепишься У него, если пафос — так похож на чужой, а чаще — поддельный — напыщенная риторика» [130].

Из этой записи видно, что еще до переписки на данную тему с Белым Блок уже не питал никаких иллюзий относительно «мистического анархизма». Письма Белого произвели на Блока сильное впечатление. 20 августа он записывает: «„Весы" в настоящий момент — самый боевой журнал в России. Действительно, с мистическими анархистами в литературу проникла какая-то негодная струя. Отношение к культуре не бережно. Мистический анархизм неуловим, как справедливо писал мне Бугаев» [131]. И тогда же

Блок пишет письмо в редакцию «Весов», в котором решительно заявляет о своей непричастности к «мистическому анархизму». Однако заявление Блока ни в какой мере не решало еще проблемы его литературных взаимоотношений с Андреем Белым. Строить на почве неокантианства философскую и эстетическую теорию символизма Блок не собирался. «...Упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу» — писал он Белому 6 августа 1907 г., всячески подчеркивая, что «считает себя достаточно сильным, чтобы быть одним».

Блок чрезвычайно остро и болезненно переживал годы столыпинской реакции. Впоследствии он писал, что эти годы «утомили и истрепали душу и тело». Но вместе с тем они и отрезвили Блока, укрепили в нем чувство гражданственности и, наконец, открыли перед ним новые, чрезвычайно широкие творческие перспективы. Именно эти годы, бывшие для большинства участников символистского литературного движения временем застоя и упадка, были для Блока годами мучительных тревог за настоящее и будущее России и русской литературы, годами его колоссального творческого роста. Поэт, отравленный всеми ядами рафинированной буржуазной культуры, долго остававшийся в плену декадентства и эстетизма, долго блуждавший в туманах всяческой метафизики, вырастает в подлинного, «классического» Блока, воодушевленного идеями долга, правды, справедливости, идеями общественного служения художника и его ответственности перед народом.

В условиях постыдного идейного ренегатства, охватившего либерально-интеллигентские круги, Блок занял особую и в высшей степени достойную позицию. Памяти революции 1905 г. была ему дорога, а позорный строй буржуазного общества, осененного столыпинскими виселицами, возбуждал в нем чувство страстной ненависти. Антибуржуазные, «народнические» настроения Блока были проникнуты тем же пафосом романтического максимализма, с каким он встретил и приветствовал революцию. Ни в какой мере не разделял он идей «утешительства», толстовского «непротивления злу» терпения, покорности и оправдания. Напротив, в годы реакции Блоком целиком овладело «неотступное чувство катастрофы» — неизбежной и близкой гибели буржуазного мира, осмыслявшееся им как исторически справедливое возмездие. Это тревожное чувство, это острое и глубоко искреннее ощущение социального неблагополучия, резко отграничивавшее Блока от остальных символистов, носило отчетливо гуманистический характер. Вопрос о личной судьбе художника смещался вопросом о судьбах народа, родины, человечества.

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

Некрасовская печаль и некрасовский гнев — это было именно то, с чем жил Блок в годы реакции. «Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни,— писал он в 1907 г.— Перед глазами нашими — несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах...» А в это время «образованные и обозленные» интеллигенты, забывшие о своей общественной ответственности,— будь это нововременцы, эстеты или богоискатели, «поседевшие в спорах о Христе»,— продолжают свою постыдную «болтовню» — «возвещают гордые истины», «самоуверенно поучают», «надменно ехидствуют», «сладострастно полемизируют с туполобыми попами»,— тогда как «за дверями» стоят «рабочий и мужик», которым нужны не слова, а дела. «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают: а в стране — „реакция"; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хотя бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме „утонченных натур" не нужных,— ничего в России бы не убавилось и не прибавилось» [132].

На почве подобных настроений сложилось романтическое «неонародничество» Блока, на известный период (1907—1908 гг.) окрасившее его публицистику и художественное творчество. В блоковском «неонародничестве» с его концепцией «России» как «темной народной стихии» различима примесь реакционно-националистических элементов, ведущих происхождение от славянофильства и социальной утопии Достоевского. Но с этими тенденциями в сознании и творчестве Блока боролось (и

побеждало их) демократическое начало, объективно выражавшее идею народной революции. Политически эта идея была осознана Блоком неверно — в аспекте народнических и анархо-максималистских представлений (Герцен, Бакунин, Толстой), но его обращение к народу как к единственному источнику всякой «жизненной силы» сыграло для него исключительно важную роль и глубочайшим образом отразилось в его творчестве.

В ряде статей и публичных докладов, в драме «Песня Судьбы» и в стихотворном цикле «На поле Куликовом» Блок поднял вопрос о «пропасти», «недоступной черте», лежащей между буржуазной интеллигенцией и народом, и пытался обрести некую «согласительную черту», на которой интеллигенция могла бы «сойтись и сговориться» с народом. Многократно и настойчиво высказывался Блок в том смысле, что разрыв интеллигенции с народом грозит ей гибелью, окончательным вырождением. Одним из наиболее явных и грозных симптомов этого вырождения Блок считал обнищание буржуазного искусства, зашедшего в тупик декадентского эстетизма и изменившего великим традициям русской художественной культуры.

Примерно в середине 1907 г. Блок пришел к совершенно новому пониманию целей и задач искусства. Эстетизму и формализму, лежавшим в основе декадентско-символистской художественной культуры, он противопоставляет требования «простоты» и «народности». Еще в 1906 г. Блок заявлял, что «искусство должно изображать жизнь и проповедывать нравственность»[133]. В дальнейшем это убеждение все более и более укрепляется в нем. Он зовет к подлинно высокому и правдивому искусству «с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей». Он поднимает запретные для правоверного символиста старинные «проклятые» вопросы о «пользе» искусства и «долге» художника. Он в корне пересматривает свое отношение к современной русской реалистической литературе, поставленной символистами вне границ «подлинного» искусства; единственный в ту пору среди символистов — высоко расценивает роль и значение Максима Горького как великого национального писателя. Он изобличает «кощунственную бесплотность формулы: искусство для искусства», подвергает уничтожающей критике дешевую «красивость» и стилизаторские ухищрения, процветавшие на театре; мечтает о широкой театральной аудитории из «народных масс», из «рабочих и крестьян».

Силу подлинного художника Блок видел в «сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом». Через головы символистов старшего поколения Блок обращается к традициям русской классической литературы. В 1908 г. он развивает мысль о необходимости создать журнал «с традициями Добролюбовского Современника» и со «строжайшей программой»: «Чтоб не пахло никакой порнографией ни страдальческой, ни хамской... Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение»[134].

Самый критерий художественных оценок Блока претерпевает решительные изменения. В статье «Вечера „искусств"» (1908) он писал, что символисты «еще почти ничего не сделали», так как у них «нет ореола общественного» (как у Плещеева или даже у Н. А. Морозова), так как они «еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы»[135]. В другой статье Блок писал: «Всякую правду, исповедь, будь она бедна, недолговечна, невсемирна,— правда Глеба Успенского, Надсона, Гаршина и еще меньшие,— мы примем с распростертыми объятиями, рано или поздно отдадим им все должное. Правда никогда не забывается, она существенно нужна, и при самых дурных обстоятельствах будет оценен десятком-другим людей писатель, стоящий даже не более „ломаного гроша". Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы неискренностью, что сказано не совсем от души, что отдает „холодными словами",— мы отвергаем»[136].

В своем личном плане Блок осмыслял все эти возникшие перед ним проблемы как путь преодоления декадентской психологии и эстетского индивидуализма. Он ищет целостного мировоззрения, «простоты, здорового труда и вольных дум»; «единственно возможным преодолением одиночества» представляется ему «приобщение

к народной душе и занятие общественной деятельностью». Темы «простоты» и «здоровья» красной нитью проходят сквозь письма Блока к Белому (1907 г.): «Желаю трезвого и простого отношения к действительности...», «Хочу вольного воздуха и простора...», «Ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и уменье быть человеком — вольным, независимым и честным...», «Я здоров и прост, становлюсь все проще, как только могу...» и т. д.

В одной из статей 1907 г. Блок в тех же самых выражениях утверждал, что «символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух „келий", им хочется воздуха, широкой деятельности, здоровой работы»[137]. Однако делать подобного рода заявления от имени символистов у Блока не было решительно никаких оснований: к реализму шел он один. Больше того: тенденции, руководившие Блоком, находились в полном противоречии с идейно-творческими установками и общественно-литературной практикой символистов. Критические и публицистические статьи Блока были встречены в их кругу крайне враждебно и расценивались как факт «измены». Брюсов откликнулся на них эпиграммой («Не писал бы ты статей об интеллигенции»); З. Гиппиус печатно заявляла, что Блок «смешон» в своих «детских несчастненьких статьях», что он «ничего ни в какой общественности не понимает»; Мережковский и В. Розанов писали о Блоке в совершенно оскорбительном тоне; утонченный эстет и «религиозный искатель» Д. Философов объявил, что все раздумья Блока о судьбах интеллигенции и искусства — только «игрушки, эстетические „переживания"» и т. д., и т. д.

В 1908 г. окончательно определился глубокий разлад Блока почти со всей символистской литературой и буржуазной общественностью. Открытое столкновение Блока с Белым летом 1907 г. служит одним из наиболее явных симптомов этого разлада, самим Блоком осознанного несколько позже.

К тому времени Блок уже в полной мере ощутил иллюзорность представления о символизме как о будто бы единой литературной школе. Он пришел к убеждению, что символистская «школа» и символистское «направление» — «были только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей „нового искусства", но никогда не существовали в русской действительности», что под именем «символистов» соединяли писателей «крайне различных между собой» и что нелепо говорить о какой-то «диференциации» среди символистов, «потому что никто в сущности ни с кем не соединялся и не разъединялся, и настоящей школы не было никогда». Что же касается символистских «кружков», то из них «давно уже не выходит ничего, кроме разложения и вреда, и потому надо желать окончательного распадения всяких кружков и истребления литературной кружковщины»[138]. Блок открещивался от всех идейных и художественных доктрин символизма. «Не могу принять, — писал он в сентябре 1908 г., — ни двух бездн, бога и дьявола, двух путей добра, — „две нити вместе свиты", — (мистика, схоластика, диалектика, метафизика, богословие, филология), ни теории познания (Белый), ни иронии (интеллигентский мистический анархизм), ни „всех таваней" (декадентство)»[139].

Общественная позиция Андрея Белого во многом носила черты сходства с позицией Блока. Политически Белый был настроен достаточно радикально. Он не менее остро, нежели Блок, переживал годы столыпинской реакции, так же в известной мере был одержим пафосом отрицания капиталистической культуры и официальной русской государственности. Он проявлял интерес к социал-демократическому движению, к марксизму. В 1906—1908 гг. было написано большинство стихотворений, составивших «Пепел» — книгу гражданской лирики, некрасовская «тенденциозность» которой смутила даже ближайших друзей Белого. В предисловии к «Пеплу» Белый писал, что не только «жемчужные зори» и «надзвездная высота», но и «кабаки» и «страдания пролетария» — являются объектами художественного творчества, что «действительность всегда выше искусства», что «художник — прежде всего человек».

Но при всем том Белый не сдавал своих исходных философских и эстетических позиций, оставался ортодоксальным хранителем заветов символизма, теоре-

тически обосновывая его в духе неокантианства, продолжал развивать свои прежние мысли о религиозной природе искусства. В 1907 г. он писал: «Искусство не имеет никакого собственного смысла, кроме религиозного,... отказываясь от религиозного смысла искусства, мы лишаем его всякого смысла»[140]. Парадоксальные, глубочайшие противоречия, попытки примирить непримиримое,— к примеру, соловьевскую мистику с демократическими идеями,— характерны для всего писательского пути Андрея Белого. Всю жизнь он менял свои мировоззренческие вехи и ориентиры, метался от Шопенгауэра к Канту, от Канта к Риккерту, от Риккерта к Ницше, от Ницше к Штейнеру,— и всегда при этом оставался самим собою — убежденным мистиком-соловьевцем.

Так и интерес Белого к социал-демократическим идеям, к марксизму носил специфический и, можно сказать, «служебный» характер. В марксизме Белый искал опору для своих субъективно-идеалистических и, в конечном счете, антидемократических концепций. И показательно в этом смысле, что внимание Белого привлекла не подлинно-марксистская революционная теория, а ее неокантианская фальсификация; «близкими» Белому оказались не идеологи большевистской партии, а всяческие ревизионисты — эмпириокритики и «богостроители». Не случайно в том же 1909 г., когда появился «демократический» «Пепел», Белый радостно приветствовал[141] сборник «Вехи»—эту, по выражению Ленина, «энциклопедию либерального ренегатства».

Даже ликвидировав свои недоразумения по отдельным литературным вопросам, Блок и Белый не могли притти к полному согласию и взаимопониманию. Слишком разные направления приняли их индивидуальные пути, слишком разноприродны были их идейные искания. Если Блок медленно и с трудом, но с каждым годом все успешнее преодолевал глубочайшие противоречия своего мировоззрения, то Белый — при всех своих субъективных устремлениях к целостному мировоззрению — погружался в еще более безвыходные противоречия. При известном сходстве общественных позиций Блока и Белого в отдельных моментах — в них было неизмеримо больше черт, разделяющих обоих поэтов, нежели сближающих их.

Даже проблему исторических судеб России (а эта проблема одинаково стояла в центре их общественного сознания) Блок и Белый решали по-разному. В предисловии к «Пеплу» Белый указал, что «лейт-мотив» его гражданской лирики определяется «невольным пессимизмом, рождающимся из взгляда на современную Россию». Основные мотивы «Пепла» — бессилие, отчаяние, безнадежность. Россия Белого — сплошной темный морок; будущее ее рисуется Белому как некое страшное марево:

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

. . . .

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

. . . .

Над страной моей родною
Встала Смерть...

Блок же в стихах о России писал, что она «не пропадет и не сгинет». Он провидел ее будущее, ее «высокие и мятежные дни», предчувствовал «неслыханные перемены, невиданные мятежи». При всем своем трагическом восприятии «страшного мира» капиталистической действительности Блок верил, что будущее России принадлежит только народу, «лежит в еле еще тронутых силах народных масс». В период самого дикого разгула реакции он писал:

В голодной и больной неволе
И день не в день и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?..

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

В августовские дни 1907 г., получая письма Белого и отвечая ему, Блок многое передумал и многое переоценил (особенно важное значение имеет замечательное «исповедальное» письмо Блока от 15—17 августа). Переписка разъяснила ряд недоразумений, открыла путь к личному примирению. 24 августа Блок приехал из Шахматова в Москву и имел с Белым двенадцатичасовой разговор, о результатах которого Белый пишет следующее: «...во многих вопросах журнальной политики мы разошлись; и решили, что мы — в разных группах; и в них оставаясь, мы будем друг друга всегда уважать». Однако,— продолжает Белый,— встреча эта «оказалась лишь радугой,— предвозвещавшей о встрече,— а вовсе не встречей еще; настоящая новая встреча осуществилась: три года спустя; встреча ж 1907 года скорее была ликвидацией личной драмы меж нами; ее корень вырван был,— правда; но разность во мнениях, в бытах, в обстаниях все же перевесила готовность нас лично друг с другом дружить; я... искренно не понимал дружбы Блока с людьми, мне враждебными, сам дружа с теми, кого Блок не мог выносить; так судьба отношений была этим предрешена; социальные факторы все ж перевесили личные» [142].

Судьбу отношений предрешила, конечно, не разность в «бытах» и «обстаниях», а разность в «мнениях». И хотя после встречи 24 августа Блок и Белый заверяли друг друга, что отношения их установились навсегда (см. письма № 157 и 158),— мир, заключенный ими, оказался очень непрочным. Статья Блока «О лирике», провозглашающая, что «поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома», была для Белого столь же неприемлема, как и статья «О реалистах» (см. письмо Белого от 27 сентября 1907 г.). Меньше чем через год — в мае 1908 г. — отношения их снова прервались и на этот раз надолго — до конца 1910 г. [143] Внешним толчком к разрыву послужило резко отрицательное мнение Блока о «Кубке метелей» — «четвертой симфонии» Белого, в которой содержались довольно грубые выпады по адресу Блока (см., например, стр. 24 и 123). Мнение это Блок высказал Белому с полной откровенностью (см. письмо № 186). Белый в ответ известил Блока, что прерывает с ним сношения.

Одновременно в «Весах» появилась статья Белого «Обломки миров» — о лирических драмах Блока. В статье этой Белый в крайне резкой форме повторил свои прежние обвинения Блока в «кощунстве» и «пустоте мысли»,— как будто никаких объяснений между ними не произошло. «Как атласные розы распускались стихи Блока,— писал Белый,— из-под них сквозило „виденье, непостижное уму" для немногих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его, как созидателя новых ценностей. Но когда облетел покров его музы (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница,— правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попики и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты стих поэта окреп. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого, прекрасного поэта гусениц; но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину, нечто вроде « $\sqrt{-1}$ »); призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти». «Блок — талантливый изобразитель пустоты» — утверждал Белый; драмы его — «обломки рухнувших миров», к ним нельзя подходить «с точки зрения цели, смысла, ценности». «И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его герои — картонные манекены), плачем над драмой самого Блока» [144]. Статью эту сам Белый назвал «запальчивой и ужасно несправедливой» [145].

Разрыв с Белым Блок воспринял как лучшую форму ликвидации их окончательно запутавшихся отношений. «Я чувствую все больше тщету слов,— писал он М. И. Пантюхову 22 мая 1908 г.— С людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и др.— я разошелся; отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической „лжи изреченных мыслей"» [146]. К тому времени Блок разошелся не только с «соловьевцами», но и с Вяч. Ивановым и Г. Чулковым, порвал с Мережковскими. Впрочем, свое литературное одиночество он приветствовал как личную свободу: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и „покровителями" (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек. Наконец-то!» [147].

ПО РАЗНЫМ ПУТЯМ
(1910—1919)

1

Процесс преодоления Блоком декадентской психологии и эстетского индивидуализма вовсе не был бесперебойным и прямолинейным. Блок сам предостерегал против излишне упрощенного толкования его неуклонного, но извилистого пути. В 1909 г. он писал, имея в виду, конечно, прежде всего самого себя: «Писатель — растение многолетнее... Потому путь [его] развития может представляться прямым только в перспективе; следуя же за писателем по всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений» [148]. Таким искривлением пути была для Блока «темная полоса убийственного опустошения», длившаяся примерно с весны 1909 по осень 1910 г., ознаменованная рецидивом антиобщественных настроений, с особенной силой сказавшихся в известной статье Блока «О современном состоянии русского символизма».

Правда, ненависть Блока к «страшному миру» русской действительности нисколько не потеряла в своей искренности и страстности. Гуманистическая идея верности народу и острое ощущение революционных сил, зреющих в «народной стихии», попрежнему владели сознанием Блока. В начале 1909 г. он писал, что «современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик» и что, «если есть чем жить», то уж, конечно, только русской революцией — юной и мужественной, включающей в себя «все вообще непокладливое, одержанное, грозовое, пресыщенное электричеством», с чем «никакой громоотвод не сладит» [149].

Но вместе с тем Блок (отчасти в связи с тяжелыми личными переживаниями) испытывал в ту пору сильнейший упадок настроения и вообще всей жизненной энергии, что сказалось в его стремлении «уйти в самого себя», уйти от лживой и позорной жизни в мире столыпинщины и азефовщины, от социальной борьбы, от «всякой политики», обрести свой чистый и праведный мир в «великом» и «вечном» искусстве. «Я считаю теперь себя в праве умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают подлецы, и околевают в своих помоях» [150]. С такими настроениями весной 1909 г Блок уехал за границу — в Италию и Германию, где его «обожгло искусство» и где жить ему сперва показалось «спокойно и просто». В письмах к матери он радовался что «не слышит и не читает неприличных имен Союза русского народа и Милюкова»: «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую родину — Европу, и Италию особенно» [151]

Впрочем, вскоре же Блок убедился, что европейская жизнь — «такая же мерзкая, как и русская». Мрачный, безысходный пессимизм овладевает им все более и более. «Вся жизнь людей во всем мире» представляется ему «какой-то чудовищно грязной лужей»; люди ему — «отвратительны», жизнь — «ужасна». «Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь, — писал Блок из Италии. — Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция» [152].

Подобные настроения, естественно, приводили к отчаянию, к безнадежности, к трагическому осознанию «бессмысленности» жизни и собственной судьбы. В 1909 г. Блок постоянно возвращается к этой глубоко волнующей его теме своей личной и писательской судьбы, своего «пути». Он приходит к убеждению, что, благодаря своим общественным интересам он силою вещей оказался вовлеченным в совершенно чуждую и органически враждебную ему атмосферу буржуазно-декадентской литературщины и либерального пустословия, в атмосферу «политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства». В одну из своих бессонных ночей он записывает, что «надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно», что нужно жить одним искусством «без Чулкова, без модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров; без истерического смеха», которым отравлена вся буржуазно-декадентская литература, которым отравлен он сам. Он «хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться... Только бы всякая политика осталась в стороне». Ему кажется, что только при этих условиях он сможет «опять что-нибудь создать»[153].

В своем искреннем и честном протесте против лживых, фальсифицированных форм либерально-буржуазной «общественности», насаждавшихся в декадентско-литературных кругах, Блок был до конца последователен и принципиален. Нравы, воцарившиеся в годы реакции в среде буржуазных литераторов, со всей остротой воспринимались им как непристойный и кощунственный пир во время чумы. Но, как обычно, и в данном случае негативная, критическая сторона размышлений Блока была сильнее и глубже его позитивных установок. Осознав порочность буржуазного декаданса и либерализма, он не постигал истинного социального смысла этих явлений и впадал в глубочайшее противоречие, полагая, что ненавистная ему атмосфера дешевого политиканства и «гешефтмахерства» имеет источником своим революцию 1905 г., которая не только оказалась бессильной радикально изменить облик «страшного мира», но больше того: пораженная, разгромленная самодержавием — окончательно развязала все темные силы этого мира. В безнадежном отчаянии Блока перед лицом победившей реакции сказалось непонимание им величайшего исторического значения демократической революции, расшатавшей устои дворянско-буржуазной монархии и явившейся школой политического воспитания для многомиллионных масс русского рабочего класса и трудового крестьянства. Непонимание это было обусловлено, в конечном счете, присущим Блоку ограниченным и затемненным восприятием революции как иррациональной стихийной силы. Увлеченный романтикой революционной «стихии», он не достаточно ясно представлял себе конкретные задачи и цели демократической революции.

В статье «О современном состоянии русского символизма» Блок на языке своих мистицизированных образов переосмыслил революцию 1905 г. как «одно из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака». Революция опустошила, обожгла, испепелила художника, роковым образом изменившего мистическому постижению «Души мира» ради им же самим созданного «лилово-синего призрака» гражданственности. «Произошло вот что: были „пророками", пожелали стать „поэтами",— утверждал Блок.— Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда; то же произошло, ведь, и с народной душой: она прежде срока потребовала чуда, и ее испепелили лиловые миры революции»[154].

В таком отвлеченно-лирическом и иллюзорно-мистическом плане Блок переосмыслял овладевшее им неверие в революционное переустройство «страшного мира» русской действительности. «Русская революция кончилась,— писал он в июле 1909 г., по возвращении из-за границы.— До тла сгорели все головни, или чаши людских сердец расплескались, и вино растворилось опять во всей природе и опять будет мучить людей, проливших его, неисповедимым... Тоскует Душа Мира, опять, опять... Мужики попрежнему кланяются, девки боятся барыни, Петербург покорно пожирается холерой, дворник целует руку,—а Душа Мира мстит нам за всех за них, „Возврат"... Возвращается все, все. И конечно — первое — тьма»[155].

Ничего не изменилось в «страшном мире». В нем, как и прежде, царит «тьма». Революция, потерпев поражение, оставила в сердцах лучших людей одно чувство без-

надежности и отчаяния. В этом — возмездие художнику, поверившему в созданный им «призрак», изменившему «святыне муз» ради «шумящего балагана», из пурпурно-золотого сияния мистических озарений перешедшему в лиловый сумрак здешнего мира. Таков, примерно, ход рассуждений Блока. «Будет еще много. Но Ты вернись, вернись, вернись — в конце назначенных нам испытаний,— заклинает он «Душу Мира».— Мы будем Тебе молиться среди положенных нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять — возвращающийся»[156].

Подобные настроения владели Блоком недолго, но именно на их почве возникли предпосылки его нового сближения с Андреем Белым. В сближении этом была своя закономерность.

Апелляция к «великому» и «вечному» искусству, представляющая собою оборотную сторону правого гнева Блока против «шумящего балагана» либерально-буржуазного декаданса, неизбежно и закономерно возвращала его вспять, приводила обратно в круг покинутых им людей. Отгораживаясь от Г. Чулкова, в котором он персонифицировал все легкодумное, болтливое, фразистое, что было в буржуазной литературной «общественности», Блок заявляет (в июне 1909 г.), что «хотел бы иметь своими учителями» тех же Мережковских, В. Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. В этом перечне еще нет имени Андрея Белого. Больше того: тут же Блок прибавляет, что «без Бугаева и [Сергея] Соловьева обойтись можно»[157]. Перечень «учителей» (включая в их число и тогдашнего Станиславского) достаточно характерный: в представлении Блока, это все — ревнители «великого русского искусства», блюстители его чистоты и бескорыстной «незаинтересованности» в условиях всеобщего «балагана».

Свою убежденность, что только в искусстве можно обрести «спасение», Блок переключает в это время в плоскость защиты и своеобразного лирико-эстетического обоснования символизма, уже находившегося в состоянии глубокого и затяжного кризиса. Впоследствии в предисловии к поэме «Возмездие», задуманной в 1910 г., Блок отметил: «1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию к символизму и друг к другу: акмеизм, эго-футуризм и первые начатки футуризма»[158]. И обратно: именно начиная с 1910 г., было предпринято несколько попыток гальванизировать символизм, создать его философскую и эстетическую теорию. Попытки эти, предпринимавшиеся, главным образом, Вяч. Ивановым и Андреем Белым, как известно, не увенчались успехом: предвоенные годы были временем окончательного распада символизма как художественного мировоззрения и литературной школы. Центральными эпизодами истории русского символизма на этом заключительном этапе его развития были: программные выступления Вяч. Иванова и Блока, вызвавшие полемику в среде символистов, и организация в Москве издательства «Мусагет», в котором роль идеологического руководителя на первых порах принадлежала Андрею Белому.

В 1910 г. при новом петербургском журнале «Аполлон» (ставшем вскоре органом группы акмеистов) образовалось Общество ревнителей художественного слова, в просторечии именовавшееся «Академией». Здесь, 26 марта 1910 г., Вяч. Иванов выступил с докладом «Заветы символизма», в котором, решая вопрос: существует ли символизм как поэтическая школа или его нет более, утверждал, что он может и должен существовать в форме нового «синтетического» символизма («синтетического» в том смысле, что символисты должны обратиться к «планомерному исканию внутреннего синтеза своего миросозерцания»). Эту свою точку зрения Вяч. Иванов обосновывал и аргументировал в отвлеченно-мистическом плане (в значительной мере в пределах метафизики и эстетики Вл. Соловьева), утверждая закономерность теургического искусства, идущего от изображения действительности «внешней» к изображению действительности «внутренней» и «высшей» («a realibus ad realiora» — по формулировке Вяч. Иванова).

Вяч. Иванов говорил, что символизм, являющийся «воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов», не хотел и не мог быть «только искусством», что смысл

его — в теургическом постижении некоего «объективного» мистического бытия, в раскрытии «таинственной сущности» явлений «мира сокровенного», лежащего за пределами «общедоступного опыта». Поэт-символист должен быть теургом, «религиозным устроителем жизни». Отличительными чертами истинно символического искусства Вяч. Иванов считал «сознательно выраженный художником параллелизм феноменального и ноуменального» и «бессознательность» творчества, «не осмысливающего метафизической связи изображаемого», а также «особенную интуицию и энергию слова, каковое непосредственно ощущается поэтом как тайнопись неизреченного».

Прослеживая историю русского символизма, Вяч. Иванов приходил к выводу, что символисты вместе со всей Россией, в согласии с «народной душой», «пережили кризис войны и освободительного движения», после чего «не Голкондой волшебных чудес показался им мир,... но грудой „пепла", озираемого мертвенным взором Горгоны». В творчестве поэтов-символистов «послышались крики последнего отчаянья», поскольку «солнцеподобный, свободный человек оказался... червем, бессильно упорствующим утвердить в себе опрокинутого действительностью бога». В частности, Блоку, — «паладину Прекрасной Дамы» — приснилась она «картонною невестой»[159]. Нет нужды указывать, насколько совпадали эти высказывания Вяч. Иванова с мыслями Блока.

Доклад Вяч. Иванова произвел на Блока сильное впечатление[160]. 8 апреля 1910 г. он выступил в той же «Академии» с параллельным докладом «О современном состоянии русского символизма», в котором заявил о своем согласии с основными положениями Вяч. Иванова и поставил своей целью «конкретизировать» эти положения, раскрыть их «терминологию» и скрывающуюся за ними «реальность» — на примере собственного творчества. В этом смысле особенно важное значение имеет та часть доклада Блока, где он говорит о «тезе» и «антитезе» своей поэзии, приурочивая первую к мистико-романтическим темам «Стихов о Прекрасной Даме», а вторую — к «попиранью заветных святынь» в период «Балаганчика» и «Нечаянной Радости». Вслед за Вяч. Ивановым Блок призывал к верности «внутреннему канону», забвение о котором увело символистов на «погибельные пути», и утверждал истинность теургического постижения «иных миров».

Для нас в данном случае важнее остановиться на другой стороне доклада Блока, на той именно, которая говорит, что путь к истинному искусству («путь к подвигу, которого требует наше служение» — по словам Блока) лежит только через символизм. Еще накануне, в марте 1910 г., в статье «Памяти В. Ф. Коммиссаржевской», Блок заявил, что «искусства вне символизма в наши дни не существует», что «символист есть синоним художника»[161]. В докладе о символизме этот тезис получил дальнейшее развитие и обоснование. «Символистом можно только родиться, — говорил Блок. — Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. Оттого писатели даже с большими талантами не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены „огнем и духом" символизма... Быть художником — значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир»[162]. Указывая, что символисты «прошли известную часть своего пути» и стоят «перед новыми задачами», Блок призывал символистов к единению, к консолидации своих сил: «Нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаем мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины»[163].

Доклад Блока сыграл крупную роль в его примирении с Андреем Белым и другими «аргонавтами». На этот раз, говоря словами Белого, социальные и литературные «факторы», действительно, «перевесили личные». Вчерашние враги, казалось, снова обрели общий язык.

Летом 1910 г., в Боголюбах, на Волыни, Белый прочитал в десятом альманахе «Шиповника» стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом» и «был потрясен силой этих стихов»[164]. Появление в печати доклада «О современном состоянии русского символизма» (в июньской книжке «Аполлона») послужило последним толчком и формальным предлогом к возобновлению переписки: у Белого «с души сорвалось» покаянное и примирительное письмо к Блоку (№ 188)[165]. Вскоре (в сентябре) и Эллис обратился

к Блоку «с чувством примирения и симпатии», послав ему свою книгу с выписанной на титульном листе цитатой из того же доклада о символизме. Сергей Соловьев, в свою очередь, говорит, что в стихах «На поле Куликовом» он «радостно узнал мощные и светлые звуки прежнего певца Прекрасной Дамы» и что в статье о символизме его порадовало «отрицательное отношение» Блока к «поэзии „Балаганчика" и „Незнакомки"». В ноябре 1910 г. он также написал Блоку примирительное письмо, на которое тот «радостно отозвался». «Но прежней дружбе, — пишет Сергей Соловьев, — не суждено было воскреснуть. Мы продолжали смотреть в разные стороны. Встречи наши были ласковы, дружелюбны, но внешни. Вместо первоначальной любви, последовавшей вражды, наступила благосклонная отчужденность» [166].

Эти слова, совершенно верно характеризующие стиль дальнейших отношений Блока с Сергеем Соловьевым, с полным правом можно распространить и на отношения его с Андреем Белым, по-новому сложившиеся в 1910 г. Из ответных признаний Блока Белый, как всегда, сделал слишком поспешные и слишком прямолинейные выводы. Ему представилось, что автор «Балаганчика», как блудный, но раскаявшийся сын, возвращается в отчий дом соловьевства. На самом деле все обстояло совсем иначе.

В октябре 1910 г. Блок, занятый в Шахматове домостроительством, целиком погруженный в хозяйственные заботы, получил из «Мусагета» предложение издать там новый сборник стихов, и кроме того — телеграмму следующего содержания: «Мусагет, Альциона, Логос — приветствуют, любят, ждут Блока» [167]. 1 ноября Блок приехал в Москву, встретился с Белым на его лекции о Достоевском и побывал в «Мусагете», где сговорился об издании собрания своих стихотворений (кроме нового сборника). «Приезд Блока — случайное пятно в моей жизни, — говорит Белый в мемуарах, — но он загрунтовал одиннадцатилетие отношений, в которых не было уже ни одной тени» [168]. С подобной интерпретацией дальнейших отношений Блока и Белого нельзя согласиться. Отношения эти складывались далеко не столь идиллически: они, правда, не прерывались уже до самого конца, но в них были, как увидим, довольно густые и мрачные тени и уж во всяком случае не было полного и ровного света.

Внешне, казалось, между Блоком и Белым воцарились полный мир и согласие. «В Москве все близкие люди (т. е., Мусагет) производят трогательное и сильное впечатление (Боря, Эллис, Метнер, Рачинский, Петровский, Сизов и др. нек.)» — писал Блок матери 10 ноября 1910 г. И в другом письме (29 ноября 1910 г.): «Во многих моих отношениях с людьми — глупое легкомыслие прошлых лет, и я стараюсь, при всяком удобном случае, приканчивать с ними. Нас остается очень тесный круг — прежние (из самых первых) московские, а здесь [то-есть, в Петербурге. — *Вл. О.*] — Вячеслав Иванов и неск. умных дружески-расположенных людей — не хулиганов» [169]. Сближению Блока с «мусагетовцами» способствовало еще одно дополнительное обстоятельство — полемика, разгоревшаяся вокруг статей Блока и Вяч. Иванова о символизме [170]. В полемике этой, ознаменовавшей окончательно определившийся к тому времени кризис символизма, «мусагетовцы» целиком разделяли точку зрения Вяч. Иванова и Блока. Выступление Валерия Брюсова («О „речи рабской" в защиту поэзии») и особенно — грубые нападки Мережковского («Балаган и трагедия») глубоко задели Блока, и он в полной мере оценил поддержку Андрея Белого, горячо выступившего в его защиту (в статье «Венок или венец»).

Именно в связи с этой полемикой в кругу «мусагетовцев», и в первую очередь Андреем Белым, практически ставился вопрос о прочном и широком философском обосновании символизма и о консолидации «истинно-символистских» сил — с целью организации отпора всем ревизионистским и «провокаторским» тенденциям, возникавшим внутри самого символизма. «Сейчас нужна огромная созидательная, подземная работа, — писал Белый Блоку. — Весь „М у с а г е т" есть попытка сохранить символизм, но пересадить его на кремнистую почву подтянутости и энергии из болот „п с и х о л о г и ч е с к и х т у м а н о в". Настроение у нас вот какое: вчера над морем плавали символические корабли; но была „Ц у с и м а". Думают, что нас нет и флот уничтожен. „М у с а г е т" есть попытка заменить систему кораблей системой „п о д-

водных забронированных лодок". Пока на поверхности уныние, у нас в катакомбах кипит деятельная работа по сооружению подводного флота. И мы — уверены и тверды. И без Рождественского (Брюсова) мы только выигрываем» (письмо № 194). Цитата эта дает ясное представление о программных установках «Мусагета» как боевого символистского объединения.

В письмах Белого к Блоку содержится богатый и выразительный материал, всесторонне освещающий данный эпизод истории русского символизма. Программа действий по реконструкции символизма намечалась «мусагетовцами» в очень широких масштабах. На самом «Мусагете», в основном, лежала задача выработки эстетики символизма. Общее философское обоснование символистской теории должны были дать неокантианцы, группировавшиеся вокруг журнала «Логос», вкупе с реакционнейшими христианскими философами, объединенными в издательстве «Путь» и в московском Религиозно-философском обществе. А что касается общественно-политической ориентации «мусагетовцев», то она определялась их альянсом с группой «веховцев». Белый в том же письме к Блоку прямо писал, что «Мусагет», «веховцы» «и еще кое-кто» — «вехи какого-то издали намечаемого единства». К этому времени все «революционные» и «демократические» увлечения бывших «аргонавтов» (увлечения, о которых так настойчиво твердил Белый в своих мемуарах, в связи с революцией 1905 года) — развеялись, как дым. Кадетизм — вот что определяло общественно-политическое лицо группы, в состав которой входили такие люди, как Эллис — вчерашний «марксист» и завтрашний католический монах-иезуит, и Метнер — «православный немец» откровенно черносотенного пошиба. О «веховской», антидемократической позиции самого Белого свидетельствует, в частности, его статья «Венок или венец» («Аполлон» 1910, № 11), где он говорил, что опасность «демократизации знаний и философии» угрожает самому существованию культуры и искусства.

На деле, однако, никакого чаемого «мусагетовцами» единства не получилось. Союз символистов с неокантианцами оказался очень непрочным; вскоре же между ними начались раздоры, да и в рядах самих «мусагетовцев» не было полного единогласия. Широко намеченная программа действий по реконструкции символизма, по существу, осталась не реализованной. Гора родила мышь: тощий литературно-философский журнальчик претенциозно-гелертерского характера — «Труды и дни». Но даже и это мизерное предприятие, не сыгравшее в литературной жизни сколько-нибудь заметной роли, влачило крайне жалкое существование (обильный материал по «Трудам и дням» сосредоточен в письмах Белого к Блоку). Все это с полной очевидностью выяснилось уже в начале 1912 г., но в 1910—1911 гг. Андрей Белый был еще преисполнен радужных надежд на успех предпринятой им «огромной созидательной, подземной работы». Письма его к Блоку за эти годы проникнуты стремлением вовлечь Блока в круг своих интересов, привлечь его к практическому и активному участию в деле строительства символизма.

Между тем индивидуальный путь Блока как человека и как художника, несмотря на его зигзагообразные повороты, порою сближавшие Блока с Белым, лежал в совершенно ином направлении. «Темная полоса убийственного опустошения», пережитая Блоком в 1909—1910 гг., была именно полосой, но не больше, рецидив его мистических и антиобщественных настроений был именно рецидивом, но не больше, — «искривлением пути», не изменившим его **перспективной** прямизны и неуклонности. Характерны некоторые интимные признания Блока (в письмах к матери), относящиеся как раз к тому времени, когда он писал доклад «О современном состоянии русского символизма», и свидетельствующие о тех глубочайших противоречиях, которые всегда уживались в его сознании. Ограничимся несколькими цитатами: «... во мне все крепче полевая мысль. Скоро жизнь повернется—так или иначе, пора уж. Кошмары последних лет — над ними надо поставить крест» (1 апреля 1910 г.); «... мне тошно от рассуждений, хочется быть художником, а не мистическим разговорщиком и не фельетонистом. Мне кажется, что, когда это пройдет, я опять помолодею» (5 апреля 1910 г.); «...всякие теоретизирования — только вредны. Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил, утром видь утро, а вече-

ром — вечер, и я тоже буду об этом стараться изо всех сил в Шахматове — первое время, чтобы потом, наконец, увидеть мир» (12 апреля 1910 г.)[171].

Именно это уклонение от всяческого отвлеченного «теоретизирования», это горячее желание «увидеть мир», эта благородная, человеческая любовь к живой жизни, которая, в конечном счете, всегда была для Блока дороже любых мистических озарений,— именно эти высокие свойства всякого подлинного художника сделали Блока одним из величайших и благороднейших русских поэтов. Этими же свойствами Блока была предопределена судьба всех дальнейших его отношений с Андреем Белым. Пропасть, образовавшаяся между ними в 1907—1908 гг., осталась незаполненной. Вскоре же после примирения выяснилось, что общего языка им не найти, что говорят они о разном — даже в тех случаях, когда говорят на одну тему.

Белый настойчиво увлекал Блока в теорию, в «общее дело» символистов, убеждал его в необходимости «программного выступления». Блок же этому решительно сопротивлялся. Белый был озабочен тем, чтобы установить стройную «согласованность» подобных «программных выступлений», чтобы найти для участников мусагетовского кружка общий и единый «ритм». Блок же говорил о «ритме» в ином, неизмеримо более широком смысле. «Только наличностью пути определяется внутренний „такт" писателя, его р и т м,— говорил Блок.— Всего опаснее — утрата этого ритма... Раз ритм на-лицо, значит творчество художника есть отзвук целого оркестра, т. е.— отзвук души народной. Вопрос только в степени удаленности от нее или близости к ней»[172]. Не о кружковой «согласованности» и не о «ритме» программных выступлений, а о мощном внутреннем ритме художника, творящего в согласии с «народной душой», с родиной, с «мировым оркестром жизни», думал Блок, когда писал:

Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?

Смысл этих замечательных стихов раскрывается в статье Блока о Коммиссаржевской, где он сказал, что «...не должно человеку плакать пьяными слезами, изрыгать богохуления, предаваться истерике, клянчить и нарушать визгливым воем своей расстроенной души важную торжественность мирового оркестра»[173]. И пускай Блок в то время вкладывал в понятия «ритма» и «мирового оркестра» свое, субъективистское и мистицизированное, содержание, утверждая, что художник, «по самой природе своей», проникает духовным взором за «первый план мира» — в ту «неизвестную даль», которая для обыкновенного взора заслонена «действительностью наивной»,— в конечном счете он думал и говорил о гармоническом согласии художника с жизнью — одновременно страшной и прекрасной, ненавистной и влекущей.

2

Уже в третьем письме после примирения Блок как бы предостерегает Белого от слишком прямолинейного толкования своей статьи о символизме (см. письмо № 193). Он разъясняет, что статья эта — «не есть покаяние», всячески подчеркивает, что «остается самим собой, тем, что был всегда», признается, что не может отречься от «Балаганчика» и «Незнакомки», потому что они составляют органическую часть его творчества, закономерный эпизод в истории его «внутреннего развития». «Веришь ли ты мне, в с е м у моему „я",— спрашивает Блок Белого,— или только тому от которого исходит статья о символизме, понятая тобой лишь ч а с т и ч н о?..» Больше того: Блок признается, что, если «Балаганчик» был «гибелью», знаменовал торжество «лилового сумрака» над золотом и пурпуром мистических прозрений,— он все же л ю б и т эту гибель, «любил ее искони и остался при этой любви». Здесь Блок касается самой сути своего трагического миросозерцания, нашедшего выражение в центральной теме его поэзии — теме гибели и отчаяния. Тема эта — во всех многообразных ее модификациях («страшный мир», «возмездие», «погибельные муки»,

«всемирный запой», «цыганские страсти», «смерть» и т. д.) — раскрывает основное идейно-философское содержание творчества зрелого Блока, которое в самой общей форме можно определить как трагизм существования отчаявшегося человека, трагизм человеческих переживаний в условиях распада классового буржуазного общества.

Вместе с тем глубоко присущий Блоку трагизм житейских восприятий ни в малейшей мере не противоречил его стремлению «увидеть мир», познать жизнь во всей ее сложности. «Мир прекрасен и в отчаяньи — противоречия в этом нет»,— сказал однажды Блок; пусть этот мир бывает порою страшным,— быть с ним «странно и сладко»[174].

Идут часы, и дни, и годы,
Хочу стряхнуть какой-то сон,
Взглянуть в лицо людей, природы,
Рассеять сумерки времен —

писал Блок в октябре 1910 г. Путь к миру, к людям, к живой жизни — из туманов всяческих отвлеченностей — он осмыслял в своем личном плане как «воплощение» или «вочеловечение». К этой теме он не раз возвращается в письмах к Андрею Белому, заново пересматривая всю историю их запутанных отношений. В 1911 г. он пишет Белому, что в годы их мучительной «дружбы-вражды» ничего «человеческого» и не было между ними, «было или нечеловечески несказанное, или не полюдски ужасное, страшное, иногда уродливое», и что только теперь они «выходят из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы»,— и выходят по-разному, выходят «чудесно разные, как подобает человеку» (письмо № 219). В том же письме Блок с замечательной отчетливостью характеризует пройденный им путь как «трилогию вочеловечения» — «от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес — к отчаянию, проклятию, „возмездию" и... к рождению человека „общественного", художника, мужественно глядящего в лицо миру».

К этому времени для Блока уже вполне определился новый перелом, не менее резкий, чем в 1907 г. Он окончательно осознает, что «настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром», и это убеждение он пытается творчески реализовать в поэме «Возмездие». В феврале 1911 г., в разгар работы над поэмой, Блок писал матери: «...Я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока — неопределенных... Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-ом году, определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень „декадентства" отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны — я „общественное животное", у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — все более по существу. С другой — я физически окреп, и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна итти наравне с духовной... Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далеко) с этим связалось художественное творчество[175]. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов... Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность расширить круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (за счет должного расширения)»[176].

Эти тенденции Блока к расширению своего жизненного диапазона со всей силой сказались в его письмах к Андрею Белому за 1911—1912 гг. Годы эти прошли для Блока «под знаком Стриндберга». В «человечном», «мужественном» и «истинно-демократическом» облике Стриндберга Блок видел тип «нового человека» — сильного, волевого и честного, свободного от «вялой сентиментальности», размагничиваю-

в свою сферу переживаний (впрочем, Белый, в силу присущей ему экспансивности, усердно посвящал Блока в свои антропософские интересы).

Блок и Белый были чужды друг другу, но из этого не следует, конечно, что у них не оставалось никаких общих тем и что интересы их никак не пересекались. Напротив: именно в это время, в 1911—1913 гг., у них возникали и общие темы и разительно сходные переживания.

Такова, в частности, философско-историческая тема Востока и Запада, арийской культуры и «желтой опасности», занимающая достаточно видное место в их переписке. И в данном случае, как и во всех других, Блок сходился с Белым на том, что составляло объективно-реакционный элемент в его мировоззрении. Общим для обоих источником этой темы была идея «панмонголизма», лежавшая в основе «философии истории» Вл. Соловьева и тесно связанная с его эсхатологическими и теократическими концепциями. Поэтической формулировкой этой идеи служили известные стихи Вл. Соловьева, написанные в 1894 г. под впечатлением японо-китайской войны:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины божией полно.

В эсхатологических тонах Вл. Соловьев рисовал фантастическую картину грядущего монгольского нашествия, угрожающего самому существованию западной цивилизации. В соответствии со всей системой своих религиозно-философских и исторических взглядов Соловьев интерпретировал эту угрозу как «орудие божьей кары», долженствующее обрушиться на «растленный» Запад в порядке возмездия за его измену духу и заветам «истинного» христианства. Призывая к борьбе с «панмонголизмом»,—к борьбе, в которой перед Западом раскрывается путь «очищения» и духовного возрождения,— Соловьев предрекал, что в противном случае Россия — «третий Рим», форпост христианства на Востоке — разделит «судьбу павшей Византии»:

Смирится в трепете и страхе
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

События, развернувшиеся в Китае шесть лет спустя (боксерское восстание, зверски разгромленное западно-европейскими империалистами), вызвали у Вл. Соловьева приветственный гимн Вильгельму II («Зигфриду»), возглавившему интервенционистский поход в Китай:

Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело,—
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.

. . . .

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста.
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая свята.

. . . .

...перед пастию дракона
Ты понял: крест и меч — одно.

Эта же тема была затронута Вл. Соловьевым в «Трех разговорах» и в «Краткой повести об антихристе». Соловьевские вещания о «грядущей монгольской грозе» и кровожадные воинственно-христианские призывы к кресту и мечу — служили одной из форм «религиозно-философского» обоснования расовых «теорий» империалистической буржуазии. В связи с боксерским восстанием 1900 г., а еще более в связи с рус-

ско-японской войной—они воспринимались в определенных кругах буржуазной интеллигенции как прямое «пророчество» о грядущем катастрофическом столкновении «двух миров», о силах «пробудившегося Востока», грозящих затопить христианский Запад. Согласно теократической утопии Вл. Соловьева, России предназначалась в этой грядущей «последней борьбе» особо ответственная роль. Россия — «Восток Христа» — должна была принять на себя нравственно обязательную миссию спасения христианского мира от «низших стихий», идущих на него с «Востока Дракона».

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа? —

восклицал Вл. Соловьев в стихотворении, носящем манифестальное заглавие «Ex oriente lux».

Пугая Европу грядущим нашествием «низших стихий» Востока, Вл. Соловьев выступал проводником тех архиреакционных, человеконенавистнических расовых теорий, которые в практике идеологов западно-европейского и русского империализма приобретали конкретно-политические формы, служили целям кровавого порабощения и хищнической эксплоатации колониальных и полуколониальных народов. В представлении русских символистов—учеников Вл. Соловьева — идея «панмонголизма», полностью сохраняя свой объективно-реакционный смысл, в значительной мере утрачивала свое конкретное содержание и из сферы политической идеологии переводилась в план отвлеченных религиозно-моральных концепций и мистико-эсхатологических размышлений о грядущих судьбах человечества [159а].

Идея «панмонголизма» произвела глубокое впечатление на Блока и Белого еще в пору их юности. В 1911 г. (отчасти в связи с подъемом революционного движения в Китае) она зазвучала для них по-новому и с новой силой. Впрочем, и к этой общей для них теме Блок и Белый подходили по-разному.

Блок по-своему осмыслял «желтую опасность». Он видел ее прежде всего в моральном и культурном одичании торжествующего мещанства, населяющего «страшный мир» буржуазной действительности. «Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю, — записывает он в ноябре 1911 г. — ...Такова вся толпа на Невском. Такова морда Анатолия Каменского.— Старики в трамвае были похожи и на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково все „Новое Время". Таковы — „хитровцы", „апраксинцы", Сенная площадь... Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри („преют"), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного, бескровного и изнасилованного тела. — Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а К и т а й у ж е с р е д и н а с. Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Об этом, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меньшикова (И у д а, И у д а), голое дамское тело под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это произойдет тихо и сладостно, внешним образом. Ловкая куколка-японка положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца, глянет „живыми, черными, любопытными" глазками в оловянные глаза б ы в ш е г о арийца... Надо найти в арийской культуре взор, который бы смог бестрепетно и спокойно (торжественно) взглянуть в „любопытный, черный и пристальный и голый" взгляд 1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Café de France, 3) Меньшикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смеситься с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина, 6) дамы на Невском, 7) немецко-российского мужеложца... Всего не исчислишь. Смысл трагедии — б е з н а д е ж н о с т ь борьбы; но тут нет отчаяния, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение» [160]. Тут же Блок приводит в качестве своего боевого лозунга тютчевские стихи:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

щей душу и тело. Под влиянием стриндбергианской идеи «мужественности» возникает у Блока и тема художника, «мужественно глядящего в лицо миру». Тема эта разработана в прологе поэмы «Возмездие» (написанном в начале марта 1911 г.):

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен...

С увлечением Стриндбергом были отчасти связаны и все размышления Блока о «Новой Америке» и о будущей «великой демократии». Социальное зрение его снова проясняется; неуклонно растут его общественные интересы. Он сообщает матери, что его поэма проникнута «яростной ненавистью» к русскому правительству и «Новому времени»[177]. Он сочувственно приветствует Горького и социал-демократическую «Звезду»: «Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому талантливо)... После эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим»[178]. Из заграничной поездки 1911 г. Блок вывез впечатление о кризисе, о «чудовищной бессмыслице» капиталистической цивилизации — этой «лужи, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду»[179]. В 1911—1913 гг. он снова полон острых предчувствий надвигающихся грозных революционных событий — «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей»; поэма «Возмездие» и отпочковавшиеся от нее гражданские стихи цикла «Ямбы» — полны этих предчувствий:

На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...

В октябре 1911 г. Блок отметил в дневнике: «Пишу Боре[180] и думаю: мы ругали „психологию" оттого, что переживали „бесхарактерную" эпоху.... Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек... Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое, и цыганское»[181]. Как все это бесконечно далеко от аксиоматических моральных абстракций, в бездонные «глубины» которых все более и более погружался Белый и в которые он настойчиво (хотя и совершенно безуспешно) пытался увлечь Блока.

С полным отсутствием «музыкального слуха» (в блоковском смысле), глухой к «мировому оркестру» жизни,— Белый все еще продолжал говорить о «будущей встрече» символистов, об их «общем деле», об их «духовной связи». Блок же окончательно убедился, что «талантливое движение», именуемое символизмом, кончилось («маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло, чем могли, влились в него»[182]). Символизм теперь представляется ему «мутной водой», «несуществующей школой»[183]. С трудом рожденная первая книжка «Трудов и дней» произвела на Блока неприятное впечатление — прежде всего потому, что вдохновители этой затеи (Вяч. Иванов, в первую очередь) опять, как ни в чем не бывало, заговорили об «искусстве» и о «школе искусства», а не о «человеке» и не о «художнике», о которых только и хотел слышать и говорить Блок. Вместо «вочеловечения», ради которого, с точки зрения Блока, стоило сходиться бывшим символистам, Вяч. Иванов, как и раньше, «громыхнул» очередным манифестом о символической школе, — громыхнул не к месту и не во-время, — «над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях» (письмо № 241). С полной откровенностью признавался Блок в это время, что атмосфера Вяч. Иванова

Хотя Белый и заверял Блока, что приемлет его «всяким», и с неизменным сочувствием откликался на его признания,— делал он это, нужно думать, не вполне искренне. 1909—1912 гг. для Белого также были временем перелома, временем напряженных и тщетных поисков пути к целостному мировоззрению. Только поиски эти вели Белого в совершенно иную сторону, нежели Блока, и в конце концов закономерно привели его к антропософии. Меняя свои философские ориентиры, Белый обращается к фрейбургской школе неокантианцев, к Риккерту. В статьях «Эмблематика смысла» и «Проблема культуры» (обе — 1909 г.) он с наибольшей отчетливостью и полнотой попытался дать теоретическое обоснование символизма, как «нового религиозно-философского учения» и «системы мистического и эстетического опыта», в свете понятий неокантианской гносеологии, прежде всего — в свете риккертовского учения о «ценности», служившего наиболее реакционным и антинаучным выражением субъективного идеализма, наиболее откровенной формой «критики» материалистической теории познания. Но и самое риккертианство Белый интерпретировал в теософско-эзотерическом плане, выдвигая трансцендентную норму «ценности» как факт индивидуального, внутренне переживаемого мистического опыта. «Умение пережить нечто ценное»,—по Белому,—«это почти уже магия, за которой кроется мудрость посвященного в глубину живой жизни»[184]. В «Эмблематике смысла» Белый, несмотря на ряд оговорок и околичностей, связывает свое представление о «ценности» с теософскими доктринами, с различными вариациями индийской философии и средневековой астрологии. От Риккерта, через Блаватскую, А. Безант и Ледбитера, к Штейнеру — таков был путь Андрея Белого в 1910—1912 гг.

Естественно, что все, чем жил в это время Блок, было Белому совершенно чуждо и враждебно по самой природе и теме его тогдашних душевных переживаний. Недаром много лет спустя, прочитав дневник Блока, он необычайно злобно отозвался об этом документе, в котором Блок с величайшей искренностью раскрыл свое «тайное тайных». «Могу сказать кратко: читал — кричал! То-есть, прочтешь страничку — и взорешь от негодования,— писал Белый в апреле 1928 г. своему конфиденту Иванову-Разумнику.— Крепко любил и люблю А. А., но в эдаком виде, каким он встает в 11—13 годах, я вынести его не могу: никогда не мог; и всякий намек на такого, показанного в „Дневнике" Блока — вырывает у меня крик страстной, может быть, при-страстной злобы и негодования; если бы в эпоху 11—13 годов я был жизненно посвящен в труды и дни Блока (изо дня в день),— не было бы в этих годах наших встреч и, разумеется, не было бы нашей переписки».

В чем только Белый не обвинил Блока этих лет: и в кутежах, и в «беспросветной, ничем не оправданной злости», и в «бекетовской спеси», и в «очерствении» (!), и в «гнилой мистике» (!!), и в «народофобии» (!!!). В своей запальчивости и абсолютном непонимании Блока он договорился до того, что сравнил его с... Николаем II и с Федором Павловичем Карамазовым (который, как известно, «был зол и сентиментален»). Глубоко присущее Блоку демократическое чувство, ставившее его на десять голов выше всех остальных символистов, Белый трактовал совершенно возмутительным образом: «Это — не любовь, а пьяная икота душевного паралитика, бессильного сбросить с себя прострацию; ему остается, как последняя форма самобичевания, пустить спьяну слезу о народе»[185].

Как бы снисходительно ни относиться к полемическому темпераменту Белого, этот запоздалый взрыв «пристрастной злобы» оставляет тяжелое впечатление. Впрочем, нужно по достоинству оценить «пафос» и откровенность этой злобы, проясняющей многое в отношении Белого к Блоку. В частности, в свете подобных высказываний (а они не исчерпываются приведенной цитатой) понятной становится та интерпретация образа Блока, которая дана Белым во второй редакции его воспоминаний. Можно поверить Белому, что он, действительно, «не мог вынести» такого Блока, каким стал тот в зрелую пору своей жизни. Только потому, что отношения их приняли форму «далековатой дружбы», дело не кончилось новым, быть может, еще более острым, конфликтом. В 1911—1912 гг. оба они отчетливо понимали, что пути их круто разошлись врозь, но, не желая и боясь воскрешать всего «не полюдски ужасного», что было между ними в прошлом, скрывали это понимание друг от друга, уйдя каждый

Там, где есть «борьба и страсть», «огонь и тревога» — там, по Блоку, «кровь не желтеет». И обратно: она «желтеет» там, где остается либо одна резиньяция, либо «эстетический идеализм», либо сытое благополучие[157]. Не трудно убедиться, что идея «желтокровия», несмотря на объективно реакционный смысл самой концепции «панмонголизма», согласовалась в сознании Блока с владевшей им идеей «художника, мужественно глядящего в лицо миру», — хотя, разумеется, вся эта расистская «философия истории», ложная от начала до конца, принадлежит к числу глубочайших идеологических заблуждений Блока. Не следует умалчивать и о том, что в блоковском национализме (а на его почве, в конечном счете, возникали все мысли Блока об «арийстве» и «желтокровии») с элементами демократическими и революционными причудливо совмещались реакционные элементы. Здесь не место касаться этого вопроса по существу и во всем его объеме; нужно только всячески подчеркнуть, что решающую роль для Блока играли отнюдь не его националистические заблуждения, а то, что им противостояло.

Совсем иную роль — при внешнем сходстве — играла соловьевская идея «панмонголизма» для Андрея Белого. В общей системе его тогдашних философско-исторических взглядов и в его творчестве той поры («Петербург») она имела уже не просто объективно реакционный, но неприкрыто контрреволюционный смысл. В «монголизме» для Белого воплощалось все «темное», «стихийно-хаотическое», идущее на Россию и грозящее ей гибелью: отсюда — все «монгольско-эсхатологические» темы и образы романа «Петербург»: и возникающее в химерическом видении «роковое лицо с узкими, монгольскими глазами», и пролетающий по петербургским улицам автомобиль «с желтыми монгольскими рожами», и вещания о том, что «под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега». Борьба, по Белому, безнадежна, потому что микроб «монголизма» проник уже в арийскую культуру и разлагает ее изнутри. Еще в романе «Серебряный голубь» Белый вкладывал в уста одного из персонажей такие рассуждения: «...русские люди вырождаются; европейцы вырождаются тоже; плодятся одни монголы, да негры... у нас всех — монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом» (гл. VI, — «Ловитва»).

В «Петербурге» бессознательными носителями «монголизма» оказываются одновременно и реакционер Аблеухов-отец, и «революционер» Аблеухов-сын, и террорист Дудкин, каждый по-своему воплощающие идею разрушения «арийского мира», идею «всемирного нигилизма». И здесь раскрывается сквозная «подтема» романа: революция есть одно из проявлений мировой «крамолы», «стародавнего монгольского дела». Это — «бесовщина», адская химера, кошмарное «наваждение», нависшее над Россией. В первоначальной редакции романа, не попавшей в печать[158], эта «подтема» выявлена вполне отчетливо. Здесь революция прямо трактуется как «мобилизация темных сил под благовидным покровом социальной справедливости», как «ложь грядущего на нас восточного хаоса (панмонголизм)». Спасение от этого «хаоса», от этой «лжи» — в «духовном очищении», а путем к таковому очищению стала для Белого в 1912 г. антропософская «истина» (целый ряд эпизодов в первоначальном варианте «Петербурга» разработан в аспекте антропософских «теорий»). Впоследствии, как известно, Белый кардинально переработал свой роман, и в результате этой переработки «подтема» революции как явления «монголизма» — оказалась снятой. Произошло это в связи с тем решающим сдвигом в миросозерцании Белого, которого мы еще коснемся.

Из всего вышесказанного, как нам кажется, с очевидностью следует, что идеологическая позиция, которую занимал Белый в 1911—1913 гг., была для Блока неприемлема. Сходных переживаний на некоторые общие темы оказалось недостаточно для того, чтобы по-настоящему закрепить их связь. Обращение Белого к антропософии (в мае 1912 г.) окончательно разветвило их пути.

Белый подробно рассказал о своей «штейнерьяде» в письмах к Блоку (см. № 242 и сл.) и в воспоминаниях[159]. С фактической стороны к его рассказу прибавить нечего; что же касается антропософии по существу, то нужно сказать несколько слов об этой ...хиреакционной мистической доктрине, представлявшей собою конгломерат самых разнообразных мистических и оккультных «учений» древнего и нового времени: греческой (особенно пифагорейской и неоплатоновской) мистики, индийской теософии, еврейской

каббалистики, христианской гностики, манихейства, средневековой астрологии, тайного учения розенкрейцеров, мистических элементов философии Гете, Фихте и Шеллинга, расовых концепций и т. д. По сути дела антропософия являлась вариацией теософии,— хотя Рудольф Штейнер (сам вышедший из Теософского общества) и его ученики ожесточенно полемизировали с теософами из круга Блаватской, А. Безант и Ледбитера. Отличия антропософской доктрины от теософии крайне незначительны; они сводятся, главным образом, к тому, что вместо индийской мистики, особенно выдвигавшейся теософами, штейнерианцы опирались на христианскую гностику, пытаясь связать ее с мистически интерпретированным естествознанием.

В основе антропософской доктрины лежала идея «духовного преображения» человека в его личном мистическом опыте. Отсюда — и самое понятие «антропософия» («человекомудрие»), предлагавшееся в качестве терминологического обозначения учения о «духовном знании», «науки о духе» (Geisteswissenschaft). По Штейнеру,— от антропоса ведет начало всякое познание; изучение собственной сущности, своего «я» — раскрывает сущность мира. «Дисциплинированием духа» и особой, изощренно разработанной морально-религиозной системой «духовного поведения» человек, якобы, способен преодолеть тесные границы своего субъективистского сознания и подняться на более высокую ступень развития, — одухотворить себя. Согласно этому убеждению, антропософы выработали целую градацию различных состояний человеческого духа: физическое тело, эфирное тело, астральное тело, я, дух-сам (Манас), жизненный дух (Будхи) и, наконец, наивысшая форма — духо-человек (Атма).

Вся организационная структура Антропософского общества и вся воспитательная практика Штейнера были основаны на принципах строгой секретности и безусловного послушания. Внутри общества соблюдалась сложная, многоярусная иерархия (созданная отчасти по образцу ритуальной практики масонских организаций). Руководство осуществлялось Штейнером через посредство чрезвычайно узкого круга особо доверенных лиц, составлявших замкнутую верхушечную аристократию секты. Неофиты должны были проходить специальный «подготовительный курс». Никакой критики руководства не допускалось. Выступления Штейнера — устные и печатные — делились на: публичные доклады и книги, поступавшие в общую продажу; «циклы», предназначенные лишь для «посвященных»; строго секретные доклады, читавшиеся в узко ограниченной «эзотерической школе». Ученикам своим Штейнер задавал темы для «упражнений» и «размышлений» (Meditationen), которым они обязаны были предаваться дважды в день (читать одно и то же, садясь на том же месте); об этих именно «медитациях» неоднократно упоминает Белый в письмах к Блоку. Насколько жесткий казарменно-монастырский режим применялся в отношении рядовых членов Антропософского общества, видно из того, например, что Штейнер категорически требовал от своих адептов полной изоляции от близких им людей, от родных, от семьи (если они не были причастны к антропософии). «Не надо придавать цены всему тому, что нас обыкновенно связывает с другими» — учил Штейнер, и эта иезуитская «мораль» методически проводилась им в жизнь. Из писем Белого видно также, сколь деспотически распоряжался Штейнер его временем, то приказывая «быть при себе», то отсылая «работать».

Грустно читать письма Белого, в которых он восторженно и истерически описывал свое приобщение к штейнерианству. Совершенно бредовые описания всевозможных «странных явлений» отдают прямым шарлатанством. Но это было бы еще пол беды. Хуже и печальнее, что Белый искренне верил в созданную им мистико-оккультную химеру. Измученный (по собственному его признанию) «медитациями», доведенный до последней степени болезненно-истерической экзальтации, он утверждал, что антропософия «осветила ему его былые идейные странствия»[100] и открыла перед ним «безмерные горизонты», что «доктор Штейнер стал лучшей частью души Андрея Белого». «Ты спросишь: „А прошлое, искусство, жизнь, связи?..“ (писал он Блоку), отвечу: „Ничего не откидывается: все пресуществляется, все горит в новом свете“ (письмо № 244), и тут же переходил к сомнамбулическим рассуждениям об «эфирном теле» и тому подобной теософской абракадабре. В письме от 19 мая (1 июня) 1913 Белый с полной серьезностью сообщал Блоку об «ореоле, существующем во

Штейнера», о том, что всякий, кто подходит к антропософии «реально», испытывает «гонения и страдания, болезни, недомогания», что он, Белый, «приготовился эфирно гореть», ибо это должно неминуемо произойти с каждым, кто установит оккультный «контакт» с «учителем». Он с полной серьезностью рассказывал Блоку о шарлатанской «тайной вечере», устроенной Штейнером при встрече православной пасхи: «Когда он разрезал кулич и роздал, то вдруг наступило молчание, продолжавшееся 20 минут, во время которого поднялась такая буря астрального света, что нельзя было выдержать (ежегодно около Штейнера по нескольку случаев сумасшествия: не выдерживают страшной напряженности и атмосферы буквальных чудес в его окружении,— кстати: сейчас около него начинает видеть слепой, у которого разрушилась уже клетчатка глаза)».

Дальше итти, поистине, уже некуда: Рудольф Штейнер в роли нового Христа, творящий евангельские чудеса, окруженный «пурпурным ореолом» — здесь мы уже прямо вступаем в область средневекового мракобесия. Не вызывают удивления только «случаи сумасшествия»,— с той поправкой, что вся секта антропософов состояла из людей, страдавших особой формой помешательства. Нужно сказать, что сам Белый испытывал некоторую неловкость, когда посвящал Блока в свою «штейнерьяду». «Саша, голубчик, мне стыдно писать, потому что такое обилие странного может показаться шарлатанством, а что делать: так, как пишу, и было... Скажешь, а слушатель почешет затылок, недоверчиво поглядит и скажет: „даа... знаете ли..." и замнет разговор, чтобы вывести из неловкого положения зарвавшегося...».

Трагедия Белого заключалась в том, что, несмотря на его заверения, антропософия «откидывала» все, что у него было в прошлом,— и искусство, и личную жизнь, и реальные связи с миром. Антропософия, как болото, засасывала Белого и губила в нем художника. После «Петербурга» и до 1916 г. он вообще не писал художественных произведений (если не считать немногих стихотворений); все его время целиком поглощали штейнеровские «курсы» и «циклы», «упражнения» и «медитации», а с 1914 г. — вдобавок еще и работа на постройке антропософского храма в Дорнахе (Швейцария) [191]. Храм этот—«Johannesbau», «Место новой духовной науки», «Теософский Вифлеем», «Пуп мира» или, наконец, «Goetheanum — Вольная высшая школа для науки о духе» — строился на средства и силами членов Антропософского общества. Штейнер «предсказал», что храм простоит семьдесят лет и будет заменен другим, но в новогоднюю ночь 1923 г. при довольно загадочных обстоятельствах он сгорел до бетонного основания.

Для Блока антропософия была совершенно пустым звуком. Относился он к ней враждебно, как к явному шарлатанству. К сожалению, не сохранились письма, в которых он отвечал Белому на его восторженные описания «странных явлений» и «ауры» Рудольфа Штейнера. Нужно думать, что он откровенно и резко изложил свое мнение об этом мракобесном «учении»; во всяком случае, на брюссельские письма Белого (которые тот сам охарактеризовал как «безумные») Блок ответил: «Довольно, слишком» [192], в иных случаях — просто отмалчивался [193]. В конце концов Белый обиделся и перестал посвящать Блока в свои антропософские переживания. 18 февраля (3 марта) 1913 г. Белый писал ему: «Поскольку я нежно слышу музыку Твоих слов (слов ко мне и обо мне), постольку с ледяной холодностью на все Твои суждения о Докторе и пути отвечаю лишь: „Ничего не понимаю; все, что Ты пишешь обо мне в отношении к моему пути, столь же подходит ко мне, как к корове седло"» (письмо № 251).

Последние нити, связывавшие Блока и Белого, порвались. Они разошлись спокойно, без ссоры, как бы по молчаливому уговору, и отношения их приняли совершенно внешний характер. Если в июле 1912 г. Блок еще писал матери о своем «беспокойстве за Борю» [194] и если это беспокойство сплошь и рядом сквозит в тогдашних дневниковых записях Блока,— то в апреле 1913 г. он уже не включает Белого в число близких и понятных ему людей: «...слишком во многом нас жизнь делила» [195].

И на письмах 1911 — начала 1912 гг., в сущности, исчерпывается историко-литературное содержание публикуемой нами переписки. Позднейшие письма Белого пред-

ставляют неизмеримо более узкий (преимущественно биографический) интерес. Они интересны, главным образом, своей деловой стороной, раскрывающей картину тяжелого профессионального положения большого писателя, поставленного, в условиях капиталистического общества, в полную зависимость от произвола буржуазного издателя или мецената (Блока случайно спасло от этого полученное им наследство). Письма Белого интересны также, как выразительный психологический документ, с предельной ясностью свидетельствующий о глубочайшем кризисе и вырождении субъективно-идеалистических концепций, владевших сознанием одного из одареннейших русских писателей XX века, чуждого и враждебного революционному мировоззрению, изолированного от социально-революционной борьбы своего времени. Из этих писем выносится впечатление о жизни трудной, безнадежно запутанной и глубоко трагичной; воочию убеждаешься, как «оккультная работа» и всевозможные темные абстракции губили в Белом художника. И, вероятно, Белый погиб бы окончательно в антропософском болоте, если бы не произошло такое событие всемирно-исторического значения, как Великая Октябрьская Социалистическая революция.

3

В октябре 1917 г. антропософ Андрей Белый оказался вместе с Блоком и Брюсовым, которые приняли и приветствовали Социалистическую революцию, а не с Мережковским, З. Гиппиус и прочими «пророками революции», закономерно очутившимися в лагере ее заклятых врагов. И этот факт, определивший личную судьбу Андрея Белого, определил, в конечном счете, и место его в истории русской художественной культуры. Можно сказать, что Октябрьская революция вывела Белого из состояния глубокого духовного обморока, в котором он пребывал в годы своей «штейнерьяды». Впрочем, предпосылки резкого перелома, происшедшего в общественном мировоззрении Белого, возникли несколько раньше.

Большую роль в процессе отрезвления Белого сыграла империалистическая война, которую он наблюдал в особых условиях — в нейтральной Швейцарии, в пятнадцати километрах от Западного фронта:

И там — в окне — прорезались Вогезы.
И там — в окне —
Отчетливо грохочут митральезы...

«Пушечные взрывы из Эльзаса», сотрясавшие купол антропософского храма, глубочайшим образом потрясли Белого. «Война слишком на мне отразилась; месяца два был совсем, как больной,— писал он матери в ноябре 1914 г. — Только теперь оправляюсь, стараясь отвлечь внимание от преследующей мысли: кровь льется» [106]. Деревушка, где жил Белый, была «опасно поставлена»: она могла попасть под обстрел немецких пушек. Но не только это страшило Белого: «...опасно поставлен не дом, не окрестность, не даже кантон, не страна; вся культура — опасно поставлена; вся — под обстрелом она. Все кумиры культуры — в опасности...» [107]. На этой почве сложился расплывчатый пацифизм Белого, проникнутый пафосом сохранения гуманистической культуры. Не постигая классовой природы империалистической войны, проклиная ее как самый «бесчеловечный миг» в истории человечества, Белый оставался в плену гуманистических абстракций, типичных для буржуазно-интеллигентского пацифизма. Но, вместе с тем, в Белом вырастает и протест против вскормившей его культуры, которая выродилась в капиталистическую «машинно-материальную» цивилизацию, применяющую весь накопленный ею опыт к массовому истреблению человечества: «Преподавание метода убивать своих ближних разработали математики, инженеры, механики, техники культурнейших, цивилизованных стран» [108]. «Гуманизм убит механизмом» — говорит Белый. Поэтому, не предавая всю культуру «костру инквизиции», нужно пересоздать, «одухотворить» ее; нужно вернуться к ее гуманистическим истокам, от «машины» — к «природе»: «Мы должны вернуться к истокам великого Гуманизма: Возрождение, традиции Возрождения, его широкий, вполне гуман

В условиях «нечеловеческой бойни» с новой силой овладевает Белым сознание катастрофического кризиса и жизни, и мысли, и культуры. Именно в 1915—1916 гг., в Дорнахе, он пишет свой дневниковый цикл «кризисов» («На перевале»), проникнутый острым ощущением всеобщего неблагополучия в настоящем и чувством смятения перед неизвестным грядущим. «Рушатся представления о данной действительности; рушатся переживания ее; пропадает в нас строй ощущений... Перед нами восстала картина — разрыва действительности; распадается, разрывается человек — под говором пушек» — писал Белый в «Кризисе жизни» [200]. Эти же темы проходят сквозь его тогдашнюю лирику:

Зачем, за что в гнетущей, грозной гари,
В растущий гром
Мы — мертвенные, мертвенные твари —
Безжертвенно бредем?

. . . .

В грядущее проходим — строй за строем —
Рабы: без чувств, без душ...
Грядущее, как прошлое, покроем
Лишь грудой туш...

Правда, по Белому, есть путь исхода из обставшей человека «гнетущей, грозной гари», и путь этот, конечно, в антропософии. В том же «Кризисе жизни» Белый пишет, что, несмотря ни на что, истинные антропософы, пытающиеся «заложить первый камень к осуществлению в будущем новой духовной культуры», продолжают «утверждать человечность по-новому в бесчеловеческий миг: миг войны» [201]. Подчеркиваем: истинные антропософы, ибо к тому времени, не сдавая своих антропософских позиций, Белый жестоко разочаровался в воспитательной практике Рудольфа Штейнера и в самой идее конкретного осуществления антропософского «братства». И нужно сказать, что обстановка, в которой Белый очутился в Дорнахе, также сыграла известную роль в его отрезвлении. В этом смысле показательно письмо Белого к Блоку от июня 1916 г. (№ 259), где он дает совершенно правильную оценку тому, что происходило с ним за два последних года: «смерть, разложение, зарытие заживо, гроб». Он пишет, что теперь «выгружается из очень многого», во что раньше «погружался»; он признается, что условия его двухлетней жизни в Дорнахе, в «неописуемо враждебно-мерзкой атмосфере», были «морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны». В одновременном письме к Иванову-Разумнику Белый говорил об этом еще более резко. Характеризуя антропософскую общину, как «сумасшедший дом», состоящий из «оккультных старых дев», и «психопатологических» дам, он писал: «Мой голос — голос несумасшедшего из „сумасшедшего дома"; этот голос — просто руки беззащитного ребенка, протянутые к далекой матери России» [202].

В это время в творчестве Белого снова (и по-новому) возникает тема России:

Страна моя, страна моя родная!
Я — твой, я — твой:
Прими меня, родная... И не зная,
Покрой сырой травой [203].

Это — уже не прежняя темная и глухая Россия «Пепла», не отравленная ядом «монголизма» кошмарная Россия «Петербурга», а новая, чаемая Россия, «мучительно ищущая ... духовного самоопределения» [204], которое должно раскрыться ей в свете антропософской истины» (кстати сказать, в антропософии для Белого гармонически разрешалась проблема Востока и Запада). В этой связи у Белого возникает образ России как «народной стихии», призванной одухотворить мир, впавший в грех «машинизма», указать человечеству пути к «новой духовной культуре»:

Встань, возликуй, восторжествуй, Россия!
Грянь, как в набат,—
Народная, свободная стихия

Стихи эти были написаны уже в России, накануне февральской буржуазно-демократической революции (в декабре 1916 г.). При всей своей «отвлеченности» они свидетельствуют все же, что в общественном мировоззрении Белого к тому времени произошел существенный сдвиг, что он (пусть в неясных, мистицизированных образах) ощущал приближение поворотного момента в русском историческом процессе.

Февральскую революцию Белый приветствовал, но принял ее — в соответствии со всеми своими идеологическими представлениями — в определенном аспекте, как своего рода духовный катарсис человечества в грозе и буре революционной «стихии». Осознание революции как стихии связало Белого с группой публицистов, философов и писателей, назвавших себя «скифами» и заявивших о себе двумя выпусками альманаха «Скифы» (1917—1918 гг.). В состав группы входили или были близки ей: Иванов-Разумник, А. Ремизов, Е. Лундберг, А. Штейнберг, Клюев, С. Есенин, Е. Замятин, К. Петров-Водкин и др. Политическая ориентация «скифов» определялась их близостью к лево-эсеровским партийным кругам.

«Скифы» облекали реальное классовое содержание своей мелкобуржуазной программы в пышную и туманную фразеологию. В своем понимании характера и задач русской революции они придерживались утопических идей «духовного максимализма, катастрофизма, динамизма» и трактовали Революцию (конечно, с большой буквы) в абстрактно-романтическом плане, как стихийный процесс «духовного преображения» человечества. Главный теоретик «скифов» — Иванов-Разумник — особенно подробно изложил концепцию «духовной революции» в своих статьях о Блоке и Белом. По Иванову-Разумнику, «скифство», несущее в мир «идею духовного освобождения человечества», целиком направлено против «всесветного мещанина», против духа «минимализма» и всяческой половинчатости. Скиф — «духовно жаден», неукротим в своих желаниях и стремлениях; он — максималист, живущий всей полнотой чувств и внечувствлений. Поэтому и социальная революция не может удовлетворить «скифа». Она — всего лишь первый этап на пути к «чаемому Преображению». Задача «подлинной», «скифской» революции — вовсе не в «социально-политической победе исторического социализма», но в «новом вознесении духа». И здесь возникает проблема религиозного смысла революции. Не следует, — говорит Иванов-Разумник, — заслонять «мертвым скелетом исторического христианства» — «вечно живую мировую идею» духовного освобождения человечества, внесенную в мир Христом двадцать веков тому назад. Церковь исказила эту идею: историческое христианство не освободило, а, наоборот, закрепостило дух человека. «Скифство» призвано снова освободить его — путем утверждения «религиозной идеи социализма», «новой веры и нового знания, идущих на смену старому знанию и старой вере христианства».

В таком «скифском» духе интерпретировал революцию и Андрей Белый. «Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция: предстает ураганом, сметающим формы... Революция напоминает природу: грозу, наводнение, и т. д. все в ней бьет „через край", все — чрезмерно»[205]. Такова — «подлинная» революция, «революция духа», которая «еще только идет из туманов грядущей эпохи; в февральском же режиме она еще не столько различима, сколько предугадываема. Из этого, однако, не следует делать тот вывод, что Белый в какой бы то ни было мере осознавал классово ограниченный характер буржуазной революции и закономерность ее перерастания в революцию пролетарскую, социалистическую. Теория революционного марксизма была для Белого совершенно неприемлемой: «В экономическом материализме — абстракция революции духа; революционного организма в нем нет; есть его уплощенная тень. Революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция»[206]. «Подлинными» революционерами для Белого оказываются Ибсен, Штирнер и Ницше, «а вовсе не Энгельс, не Маркс». Лежащие в будущем «формы общественной жизни» должны возникнуть, по Белому, не на почве «какой-нибудь «большевистской» культуры», а как выявление того «вечносущего», которое несет в себе «революция духа»[207]. Отсюда можно заключить, какая безнадежная путаница царила в представлениях Белого о революции и сколь искаженным было его понимание происходивших в стране событий.

Переключая свои программные установки в политическую сферу, «скифы» испытывали неудовлетворенность «слишком разумной политикой» Временного правительства. Они видели в ней «тинистый обывательский отлив», «мелкое реформаторство», проникнутое «духом компромисса» и заявляли, что снова, как и в глухое время царизма, «чувствуют себя скифами, затерянными в чужой толпе». Верные своему лозунгу «вечной революционности» и непримиримой борьбы с «всесветным мещанином», они выдвигали идею «всемирного народного восстания», «мирового пожара», который только и способен обеспечить дальнейшее развитие русской революции в направлении «духовного освобождения человечества» и разрешить извечную проблему России и Европы, Востока и Запада[208]. Эта типично буржуазная анархо-максималистская утопия, конечно, не имела ничего общего с конкретными и реальными задачами социалистического переустройства мира, выдвинутыми большевистской партией. Но недовольство «скифов» «слишком разумной политикой» Временного правительства привело их к принятию Великой Октябрьской революции, которую они рассматривали со своей точки зрения как мировой катаклизм. И на этой почве путь Андрея Белого еще раз перекрестился с путем Александра Блока.

Путь Блока к Октябрю, его мужественное и бесповоротное отречение от старого мира, признание им всемирно-исторического значения Великой Социалистической революции, открывшей новую эру в жизни человечества,— слишком известны, чтобы говорить здесь на эту тему сколько-нибудь подробно. Блоковское максималистское восприятие революции как стихийного процесса, «мирового пожара», до тла сжигающего ненавистный поэту старый мир,— сближало его со «скифами» и, в частности, с Андреем Белым.

После Октября порвались связи Блока и Белого с подавляющим большинством их соратников по символистскому движению, спешно перекочевавших в лагерь контрреволюции. Они очутились вдвоем, окруженные лютой ненавистью былых друзей и единомышленников (Брюсов, пришедший к Октябрю своим путем, был от них далек). Имена их неизменно объединялись в буржуазной печати в сопровождении всевозможных гнусных комментариев, смысл которых сводился к одному: «Блок и Белый продались большевикам». Особенно неистовствовала З. Гиппиус — в стихах и в прозе, под своим именем и под псевдонимами[209]. Можно было бы привести немало данных, свидетельствующих о той безобразной систематической травле, которой подвергались Блок и Белый со стороны буржуазной интеллигенции всех мастей и оттенков. Вот что записал Блок 22 января 1918 г.: «Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем „утре России" в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему — „изменники". Не подают руки...»[210].

Но мера и характер принятия Великой Октябрьской Социалистической революции у Блока и у Белого были различны, как различны были и их индивидуальные пути, которыми они пришли к Октябрю. Блок с полным основанием мог говорить, что он связывает Социалистическую революцию с «тем потоком мыслей и предчувствий, который захватил [его] десять лет назад»[211]. В революции для Блока разрешались все философские и исторические проблемы, возникавшие в его сознании,— проблемы «музыки», народа и интеллигенции, «великой демократии», стихии и культуры. Он был подготовлен к революции своим острым ощущением ее «подземного хода». Совсем иные чувства, как мы видели, владели в предреволюционные годы Андреем Белым. В то время, когда Блок писал «Возмездие» — поэму, полную революционных предчувствий «грядущего дня», «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей», — Белый, касаясь в «Петербурге» темы «октябрьской песни» 1905 г., утверждал, что «этой песни ранее не было; этой песни не будет: никогда», и обращался к «русским людям» с призывом «разобрать мосты», ведущие к революции. Короче говоря, если для Блока принятие Октябрьской революции было итогом его жизни, логически-завершающим выводом из всего комплекса его многолетних мыслей, предчувствий и переживаний, — то для Белого оно явилось следствием резкого и довольно внезапного перелома, происшедшего в его общественно-политических взглядах, поскольку он, конечно, не мог,— при

всей своей изолированности от революционного движения рабочего класса, — остаться равнодушным к ходу исторического процесса в России.

Различна была и мера принятия революции обоими поэтами, и различие это отчетливо сказалось в тех художественных произведениях, которыми они откликнулись на революцию — в «Двенадцати» и «Скифах» Блока и в поэме Белого «Христос воскрес», написанных примерно в одно время [212]. Подлинно революционная ненависть к старому миру и глубоко присущее Блоку чувство демократизма, его верность «духу революции» — нашли гениальное художественное выражение в «Двенадцати» и «Скифах», с огромной силой убедительности свидетельствующих о признании художником, чуждым пролетариату по своему мировоззрению, великой правды и высшей справедливости Социалистической революции. Совершенно иной, неизмеримо более ограниченный характер носит поэма Белого. В ней нет решительно ничего конкретного, соответствующего реальной действительности октябрьских дней 1917 г., — несмотря на сходство, в отдельных моментах, с «Двенадцатью» (таков, например, образ «очкастого, расслабленного интеллигента», произносящего «негодующие слова о значении Константинополя и проливов»). Все в ней — в соответствии со «скифской» концепцией «духовной революции» — переключено в план отвлеченных морально-религиозных абстракций. Революция изображается Белым, как «совершающаяся мировая мистерия», а революционная Россия — «невеста, приемлющая весть весны» — предстает в поэме в образах «жены, облеченной солнцем» и «богоносицы, побеждающей змия». Сам Белый в позднейшем предисловии к поэме подчеркивал, что «мотивы индивидуальной мистерии» преобладают в ней над «мотивами политическими», что она «живописует событие индивидуальной духовной жизни». Далее Белый пишет, что поэма «подверглась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот «в з д о р» автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени)... Что представитель духовного сознания и антропософ н е м о ж е т так просто присоединиться к политическим лозунгам, — никто не подумал... Современность — лишь внешний покров поэмы» [213]. С этим нельзя не согласиться.

И в высшей степени характерно, что Белый счел нужным предостеречь Блока: «По-моему Ты слишком неосторожно берешь иные ноты... Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знамени Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим» (письмо № 263). Незадолго до того, в письме к Иванову-Разумнику, Белый высказался об октябрьских поэмах Блока более откровенно: «Огромны «Скифы» Блока; а, признаться, его стихи «12» — уже слишком; с ними я не согласен» [214]. Понятна в устах Белого высокая оценка «Скифов», в которых ему импонировала националистическая концепция «России и Европы» с положенной в основу ее идеей «панмонголизма» (идея эта приобретает в «Скифах» иной смысл, поскольку поэтический манифест Блока был направлен против западноевропейского империализма, собиравшего крестовый поход на искоренение русской Социалистической революции). Столь же понятно и несогласие Белого с «Двенадцатью» и «фельетонами» Блока. В статье «Интеллигенция и революция» (которую, вероятно, прежде всего и имел в виду Белый) Блок говорил, что революция ставит своей задачей «переделать все»: «Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» [215]. При этом нужно без жалости и оплакиванья пожертвовать всеми «духовными ценностями» и «идеалами» буржуазного мира, который сумел чудовищно опошлить все высокое и прекрасное. Буржуазный «патриотизм», религия, романтизм — все это для Блока «ложь» и «грязь». «Все, что о с е л о догматами, нежной пылью, с к а з о ч н о с т ь ю — стало грязью. Остается один élan, — записывает он в феврале 1918 г. — Т о л ь к о — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель» [216].

Белый не пошел на такой безоговорочный разрыв со старым миром. Ему оставались дороги многие фетиши реакционного буржуазно-интеллигентского сознания, владевшего им, и прежде всего — религиозная мистика. Он не сумел с таким же успехом, как Блок, преодолеть глубочайшие противоречия своего субъективно-идеалистического мировоззрения и попытался примирить непримиримое: революцию с антропосо-

фией. Это определило позицию Белого в последующие годы, — позицию, свидетельствующую об абсолютном непонимании им движущих сил революции, ее классового характера и реальных перспектив. Вот, к примеру, что вещал Белый в начале 1922 г., когда пытался говорить от имени пролетарской культуры: «Героизм XXI века пред нами — в восстании «Я», Чела Века, загаданного в каждом из нас, в пролетарии. Пролетарская культура естественно завершится культурою «Я», Индивидуума, преодолевшего личностью общество: в Интер-Индивидуале, преодолевающем Интер-Национал»[217].

В течение ряда лет Белый был занят беспрерывной, последовательной полемикой с марксизмом, нападая на него со своих «скифско»-антропософских позиций. Эта полемика привела Белого, вкупе с другими участниками «скифской» группы, к организации в начале 1919 г. Вольной философской ассоциации (Вольфилы). В уставе Вольфилы было сказано, что она учреждается с целью «исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам»[218]. Однако на деле Вольфила оказалась пристанищем для реакционных и воинствующих идеологов разгромленных классов, для которых пропаганда идеалистической философии служила удобной формой борьбы с Социалистической революцией, с марксизмом, с советской властью. Помимо желания Белого (несмотря на всю свою оппозиционность, честно работавшего с советской властью в области культурного строительства), Вольфила превратилась в своего рода идеологическую цитадель «внутренней эмиграции». Другим плацдармом полемической, антимарксистской деятельности Белого в первые советские годы был журнал «Записки мечтателей», выходивший в 1919—1922 гг. и объединивший на своих страницах видных участников символистского движения. С Вольфилой и с «Записками мечтателей» был связан и Блок, но его связь носила, по существу, внешний характер. В Вольфиле Блок дважды выступил с докладами, а в «Записках мечтателей» — печатал старые стихи, «Возмездие» и некоторые статьи, не определявшие политического лица журнала как органа группы писателей, настроенных оппозиционно по отношению к советскому строю. Политическое лицо «Записок мечтателей» определяла, в первую очередь, публицистическая и художественная проза Белого («Дневник писателя», «Записки чудака» и др.).

Последнее письмо в переписке Блока и Белого относится к марту 1919 г. Весной 1920 г. Белый переехал в Петербург. «Он такой же, как всегда: гениальный, странный» — записывает Блок 1 марта 1920 г.[219]. Встречались они редко, от случая к случаю. Вскоре после смерти Блока[220], в октябре 1921 г., Белый уехал за границу. Эта поездка сыграла крупную роль в его дальнейшей судьбе. На Западе он многое передумал, пересмотрел; многое предстало ему в новом свете. Пережив тяжелую личную драму и порвав связи с антропософской общиной Штейнера, он не примкнул к белоэмигрантским кругам, а, напротив, политически окончательно стал на платформу советской власти. Через два года, в октябре 1923 г., он вернулся в Советскую Россию с сознанием «действительного разложения и смерти», царящего в капиталистическом мире. «В запахе тления я задыхался» — писал Белый в остром памфлете «Одна из обителей царства теней» (1924), посвященном его заграничным впечатлениям. «Светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи...[221] Среди голода, холода, тифа... я чувствовал свет: свет победы сознания... А пребывание в Берлине окрашено тенью». Москва теперь представляется Белому «источником жизни, творческой лабораторией будущих, может быть, в мире невиданных форм». Памфлет Белого ценен искренним чувством гордости за Советский Союз, за невиданный размах происходящего в нем культурного процесса, за формы его общественного и политического быта.

Последнее десятилетие жизни Андрея Белого прошло в интенсивной литературной работе. Он создает ряд крупных художественных произведений (романы «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски»), задумывает роман о современной Германии и роман о социалистическом строительстве в советском Закавказье, много работает в области художественного очерка («Ветер с Кавказа», «Армения»),

пишет свою замечательную мемуарную трилогию («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»). Трудным, зигзагообразным путем, медленно преодолевая глубочайшие противоречия своего мировоззрения, переосмысляя весь свой личный и писательский путь, он приходит в конце концов к искреннему желанию «включиться в строительство не ложной, буржуазной, а подлинной культуры», культуры победившего социализма. Смерть (8 января 1934 г.) в самом начале оборвала открывшийся перед Белым новый путь, на котором он, без сомнения, сумел бы широко развернуть наиболее сильные стороны своего блестящего дарования.

Несмотря на все свои многочисленные и тяжелые ошибки и заблуждения на путях ложных и тщетных исканий, уводивших его порою в самые глухие дебри, Андрей Белый пришел к социализму, и это обстоятельство в первую очередь обеспечивает наше внимание и уважение к его имени и к оставленному им художественному наследию. «Правда»—центральный орган Коммунистической партии—писала по поводу смерти Андрея Белого:

«Являясь крупнейшим представителем буржуазной литературы и идеалистического мышления, А. Белый за последнее время искренне стремился усвоить идеи эпохи социалистического строительства. Поворот широчайших кругов старой интеллигенции к советской власти захватил и А. Белого. В конце 1932 г. он выступил на пленуме оргкомитета Союза советских писателей с заявлением о готовности поставить свое творчество на службу социализму. В лице А. Белого в могилу сошел последний из крупнейших представителей русского символизма. Важно отметить, что он не разделил судьбы других вожаков этого литературного течения (Мережковский, Гиппиус, Бальмонт), скатившихся в болото белогвардейской эмиграции. А. Белый умер советским писателем» [22].

Переписка Александра Блока и Андрея Белого существенно обогащает наше представление об индивидуальных путях двух крупнейших и одареннейших художников русского символизма — на широком фоне истории этого движения, его возникновения, подъема и распада. Это — документ большой человеческой искренности и первостепенного историко-литературного значения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Белый. Начало века, стр. 473 и 8.
[2] Ал. Блок. Дневник II, стр. 118.
[3] Там же.
[4] «Записки мечтателей» 1922, № 6; полнее — в «Эпопее» 1922—1923, № 1—4.
[5] А. Белый. Начало века, стр. 335.
[6] А. Белый. Между двух революций, стр. 5—6.
[7] А. Белый. Между двух революций, стр. 26.
[8] А. Белый. На рубеже двух столетий, стр. 381.
[9] С. Соловьев. Апрель, М., 1910, стр. 165.
[10] «Ветвь». Сборник Московского клуба писателей, М., 1917 (вошло в книгу Белого «Поэзия слова», П., 1922).
[11] «Записки мечтателей» 1922, № 6. В январе 1922 г. Белый даже выступил в Берлине с докладом на тему: «Блок как антропософ».
[12] «Эпопея», № 1, стр. 162.
[13] Там же.
[14] См. речь А. Белого, произнесенную в Вольфиле 28 августа 1921 г.— сборник «Памяти Александра Блока», П., 1922, стр. 12.
[15] «Записки мечтателей», № 6, стр. 15; «Эпопея», № 1, стр. 156.
[16] «Эпопея», № 3, стр. 156.
[17] «Записки мечтателей», № 6, стр. 21.
[18] Оба родились в 1880 г.: Белый — 14 октября, Блок — 16 ноября.
[19] А. Белый. На рубеже двух столетий, стр. 3 и 16.
[20] Ал. Блок. Собр. соч., т. VIII, стр. 132.
[21] В. И. Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 102.
[22] Вл. Соловьев. Стихотворения, изд. 6-е, М., 1915, стр. X.
[23] «Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 343.
[24] Ал. Блок. Собр. соч., т. I, стр. 82 и 84 (Автобиография).
[25] Там же, стр. 85.

27 Там же, стр. 274—275.
28 «Эпопея», № 1, стр. 131.
29 Ал. Блок. Собр. соч., т. I, стр. 85.
30 «Эпопея», № 1, стр. 149—150.
31 «Записки мечтателей», № 6, стр. 15.
32 М. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л., 1925, стр. 76—77. Стихи «Пусть на рассвете туманно» часто цитируются в переписке Блока и Белого.
33 Там же, стр. 78.
34 «Эпопея», № 1, стр. 158.
35 См. ниже примечание 6-е к письму № 1 и 4-е к письму № 9. Блок читал и другие письма Белого к З. Гиппиус — см. «Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 328.
36 «Эпопея», № 1, стр. 156.
37 Неизданное письмо от 15 сентября 1902 г.
38 «Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 328.
39 «Письма Александра Блока», Л., 1925, стр. 48.
40 «Эпопея», № 1, стр. 159.
41 «Записки мечтателей», № 6, стр. 21.
42 Там же, стр. 25.
43 «Записки мечтателей», № 6, стр. 29; «Эпопея», № 1, стр. 171.
44 Ал. Блок. Собр. соч., т. I, стр. 87 (Автобиография).
45 «Записки мечтателей», № 6, стр. 30.
46 Ал. Блок. Письма к родным, Л., 1927, стр. 84.
47 «Письма Ал. Блока», Л., 1925, стр. 48.
48 Ал. Блок. Записные книжки, Л., 1930, стр. 20—21.
49 «Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 352 (письмо к З. Гиппиус).
50 Там же, стр. 328.
51 Письма Блока к С. В. Панченко не сохранились; приведенная фраза процитирована Панченко в одном из его ответных писем.
52 «Литературное наследство», № 27—28, стр. 306.
53 «Эпопея», № 1, стр. 149 и 178; «Записки мечтателей», № 6, стр. 35.
54 «Эпопея», № 1, стр. 140.
55 А. Белый. Венок или венец,— «Аполлон» 1910, № 11, Хроника, стр. 3.
56 «Эпопея», № 1, стр. 180.
57 «Записки мечтателей», № 6, стр. 58.
58 «Записки мечтателей», № 6, стр. 11; «Эпопея», № 1, стр. 139.
59 А. Белый. — «Записки мечтателей», № 6, стр. 30.
60 См., например, письмо Блока к Белому от 20 ноября 1903 г. (№ 30).
61 «Записки мечтателей», № 6, стр. 33—34.
62 Из неизданных стихотворений.
63 «Записки мечтателей», № 6, стр. 31.
64 Там же, стр. 37.
65 А. Белый. Начало века, стр. 299; «Эпопея», № 1, стр. 223.
66 «Записки мечтателей», № 6, стр. 64.
67 «Эпопея», № 1, стр. 189 и 194.
68 См. ниже — письмо № 152.
69 Цитированное стихотворение датировано 8 апреля 1902 г., а 4 апреля были записаны известные стихи о «Деве-Заре-Купине».
70 А. Белый — «Эпопея», № 1, стр. 137.
71 «Письма Ал. Блока», Л., 1925, стр. 20—22.
72 «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», М.-Л., 1936, стр. 26.
73 «Записки мечтателей», № 6, стр. 64 и 90.
74 «Эпопея», № 1, стр. 264.— Небезынтересно отметить, что в позднейшей редакции своих воспоминаний о Блоке Белый изменил эту фразу, выбросив слова «мистик» и «мистики»: «Напрасно же думаешь ты, что я... не понимаю я...» («Начало века», стр. 340). Таким примитивным способом Белый строил свою концепцию Блока как «крайнего мистика».
75 «Записки мечтателей», № 6, стр. 99.
76 А. Белый. Начало века, стр. 9.
77 «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову», М.-Л., 1936, стр. 37.
78 Ал. Блок. Дневник II, стр. 118.
79 Ал. Блок. Записные книжки, стр. 55—56.
80 Ал. Блок. Собр. соч., т. I, стр. 84.
81 Предисловие к сборнику «Нечаянная Радость».
82 Ал. Блок. Собр. соч., т. X, стр. 275—276.
83 «Эпопея», № 2, стр. 247.
84 «Письма Ал. Блока», Л., 1925, стр. 32.
85 «Записки мечтателей», № 6, стр. 114.
86 «Эпопея», № 2, стр. 254.

[87] Формулировки первоначального наброска, в котором основная тенденция пьесы намечена более резко, нежели в печатной редакции.

[88] А. Белый. Между двух революций, стр. 25.

[89] А. Белый. Между двух революций, стр. 32; «Эпопея», № 2, стр. 265.— В другом месте («Записки мечтателей», № 6, стр. 114) Белый говорит: «Я написал А. А. письмо, где извещаю его о разрыве наших отношений», — но такое письмо среди бумаг Блока не сохранилось.

[90] «Записки мечтателей», № 6, стр. 114.

[91] «Эпопея», № 2, стр. 273—274. Около этого времени Блок и С. Соловьев обменялись резкими письмами (см. там же, стр. 265).

[92] См. «Эпопея», № 2, стр. 286.

[93] «Эпопея», № 3, стр. 132.

[94] Там же, стр. 179.

[95] С. Соловьев, «вынашивая программу слиянья с народом, внушил себе мысль, что он должен жениться на крестьянке» — пишет Белый.

[96] «Эпопея», № 3, стр. 183.

[97] Там же, стр. 185—186.

[98] А. Белый. Начало века, стр. 48.

[99] «Эпопея», № 3, стр. 189.

[100] Там же, стр. 145.

[101] См. выдержки из этой рецензии в примечаниях к письму № 146.

[102] В. И. Ленин. Сочинения, т. XIV, стр. 219.

[103] «Литературное наследство», № 15, М., 1934, стр. 214.

[104] А. Белый. Между двух революций, стр. 245.

[105] «Литературный Ленинград», 1934, № 51.

[106] А. Белый. Между двух революций, стр. 246.

[107] См. по этому поводу «Письма в редакцию»: А. Белого в «Перевале» 1907, № 10, стр. 58—60 и в газетах: «Столичное утро» 1907, № 58 и 62 и «Час» 1907, № 23; Н. Рябушинского — в «Столичном утре» 1907, №. 60 и 66; Брюсова, Белого, Мережковского и З. Гиппиус — в большинстве московских и петербургских газет за август 1907 г., между прочим, в «Часе» № 7 от 21 августа: — последнее письмо было перепечатано в «Весах» 1907, № 8 в сопровождении письма М. Кузмина, Ю. Балтрушайтиса и М. Ликиардопуло.

[108] А. Белый. Между двух революций, стр. 246—247.

[109] «Вопросы жизни» 1905, № 7, стр. 194—204.

[110] Там же, № 9 (перепечатано в сборнике Вяч. Иванова «По звездам», 1909).

[111] «Культура театра» 1921, № 7—8, стр. 22. Ср. Г. Чулков. Годы странствий, М., 1930, стр. 82, 85—86.

[112] «Весы» 1906, № 6, стр. 54.

[113] Г. Чулков. О мистическом анархизме. СПБ, 1906, стр. 30—31, 77.

[114] «Весы» 1906, № 5 (Объявления).

[115] В. И. Ленин. Сочинения, т. VIII, стр. 389.

[116] «Факелы», кн. I, СПБ, 1906, предисловие; ср. статью Г. Чулкова «Принципы театра будущего», в сборнике «Театр. Книга о новом театре», СПБ, 1908, стр. 21?

[117] В статье «Идея неприятия мира», предпосланной книжке Г. Чулкова «О мистическом анархизме», СПБ, 1906 (перепечатано в сборнике Вяч. Иванова «По звездам», СПБ, 1909).

[118] «Идея неприятия мира», стр. 19.

[119] Там же, стр. 17.

[120] Г. Чулков. Годы странствий, М., 1930, стр. 87.

[121] Аврелий [В. Брюсов]. Вехи. IV — «Весы» 1906, № 5, стр. 54—58.

[122] Г. Чулков. О мистическом анархизме, СПБ, 1906, стр. 69.

[123] Вяч. Иванов. О «факельщиках» и других именах собирательных — «Весы» 1906, № 6, стр. 54.

[124] «Товарищ» 1907, № 337 от 5 августа.

[125] Имеется в виду Блок.

[126] А. Белый. Детская свистулька — «Весы» 1907, № 8, стр. 54—58 (подписано: Борис Бугаев). Ср. другие статьи Белого за 1906—1908 гг., печатавшиеся в «Весах» и частично собранные в сборнике Белого «Арабески», М., 1911.

[127] Г. Чулков. Александр Блок и его время — «Письма Александра Блока» Л., 1925, стр. 110.

[128] Там же, стр. 135.

[129] Там же, стр. 141.

[130] Ал. Блок. Записные книжки, стр. 74.

[131] Там же, стр. 75.

[132] Ал. Блок. Собр. соч., т. VIII, стр. 5—7.

[133] Из письма к С. Городецкому (цитир. по неопубликованному ответному письму С. Городецкого к Блоку).

[134] Ал. Блок. Записные книжки, стр. 88 (цитир. по подлиннику).

135 Ал. Блок. Собр. соч., т. IX, стр. 70.
136 Ал. Блок. Собр. соч., т. X, стр. 153.
137 Ал. Блок. Собр. соч., т. X, стр. 126.
138 Ал. Блок. Собр. соч., т. IX, стр. 43—44.
139 Ал. Блок. Записные книжки, стр. 89.
140 А. Белый. Символизм, М., 1910, стр. 223.
141 В «Весах» 1909, № 5, стр. 65—68 — «Правда о русской интеллигенции».
142 А. Белый. Между двух революций, стр. 329 и 335.
143 Лично Блок и Белый не встречались с 18 ноября 1907 г. до 1 ноября 1910 г.
144 «Весы» 1908, № 5, стр. 65—68; см. в сборнике А. Белого «Арабески», 1911.
145 «Записки мечтателей», № 6, стр. 118.
146 «Михаил Иванович Пантюхов, автор повести „Тишина и старики"», Киев, стр. 30.
147 Ал. Блок. Записные книжки, стр. 81.
148 Ал. Блок. Душа писателя. — Собр. соч., т. IX, стр. 73.
149 Неопубликованное письмо к В. Розанову от 20 февраля 1909 г. (Лит музей).
150 Ал. Блок. Письма к родным, стр. 257.
151 Там же, стр. 260.
152 Там же, стр. 267.
153 Ал. Блок. Записные книжки, стр. 117.
154 Ал. Блок. Собр. соч., т. IX, стр. 82—85.
155 Ал. Блок. Записные книжки, стр. 126—127.
156 Там же, стр. 127.
157 Там же, стр. 117.
158 Ал. Блок. Собр. соч., т. V, стр. 27. — В 1910 г. посторонние символизму итературные критики уже выступали с публичными докладами на тему: «Кризис овременной символической поэзии». Таков, например, был доклад С. Адрианова, очитанный 28 ноября 1910 г.
159 Вяч. Иванов. Борозды и межи, М., 1916, стр. 127—137.
160 См. конспективное изложение доклада в «Записных книжках» Блока (стр. 135).
161 Ал. Блок. Собр. соч., т. IX, стр. 172.
162 Там же, стр. 83.
163 Там же, стр. 76.
164 А. Белый. Между двух революций, стр. 402.
165 Помимо всего прочего Белый нашел в докладе Блока высокую оценку своего Серебряного голубя», названного здесь «гениальной повестью».
166 Письма Александра Блока, Л., 1925, стр. 33—34.
167 Подлинник телеграммы сохранился среди писем Белого к Блоку. — «Альциона» — издательство, организационно объединенное с Мусагетом»; «Логос» — илософский журнал, основанный при «Мусагете».
168 А. Белый. Между двух революций, стр. 403.
169 Ал. Блок. Письма к родным II, стр. 97 и 102.
170 См. примечания к письмам № 191, 192, 193 и 197.
171 Ал. Блок. Письма к родным II, стр. 67, 69 и 71.
172 Ал. Блок. Душа писателя. — Собр. соч., т. IX, стр. 74—75.
173 Там же, стр. 171.
174 Ал. Блок. Дневник I, стр. 92; Записные книжки, стр. 154.
175 Там же Блок замечает, что голландец-борец Ван-Риль вдохновляет его для оэмы гораздо более, чем Вяч. Иванов. Ср. предисловие Блока к «Возмездию».
176 Ал. Блок. Письма к родным II, стр. 124—126.
177 Ал. Блок. Письма к родным, II, стр. 122.
178 Ал. Блок. Дневник I, стр. 84—85.
179 Ал. Блок. Письма к родным II, стр. 162.
180 Это письмо до нас не дошло.
181 Ал. Блок. Дневник I, стр. 28.
182 См. письмо № 219.
183 Ал. Блок. Дневник, I, стр. 96—97.
184 «Проблема культуры» — А. Белый. Символизм, М., 1910, стр. 4.
185 Цитир. по копии, хранящейся в Гос. литературном музее.
185а Помимо этого явно реакционного, идеалистического, философско-исторического толкования «панмонголизма», этот термин имеет совершенно практическое знаение. Во второй половине 19-го столетия в господствующих классах Японии зародиось и постепенно развивалось убеждение в необходимости распространиться на азитский материк. Оно основывалось на требованиях все более и более развивавшегося понского капитализма, искавшего рынки сбыта, рынки сырья и рынки дешевой рабоей силы. Это стремление крупнейшей японской буржуазии вылилось в определенный лан, который некоторые исследователи относят к 1874 году и называют «план Майзи». В силу этого плана внешняя политика Японии приняла и до сих пор носит

вполне определенный, строго выдержанный характер. Все ее устремления были направлены на завоевание Китая, Кореи и наших дальневосточных владений. С момента превращения большей части Китая в свою провинцию или всецело подчиненное ей марионеточное государство, Япония хотела обрести огромные массы населения, милитаризировать их и вместе с своей воинской силой, под своим руководством провозгласить доктрину «панмонголизма» для всей Азии и отсюда диктовать условия гибнущей буржуазной Европе. В этих целях еще в 1894—95 гг. Япония потопила весь китайский флот и проявила стремление утвердиться на материке. Однако Симоносекский мирный договор вырвал у Японии плоды ее побед; ей не удалось закрепить за собой Порт-Артур и проч. Боксерское восстание 1900—1901 гг. явилось плохо организованным националистическим сопротивлением Китая японским стремлениям и, главным образом, желанию европейских держав утвердиться в Китае. Затем последовало активное вмешательство Японии в дела Кореи; организованное японцами убийство корейского императора и завладение Кореею открыло им путь на материк. Русско-японская война 1904—05 гг. в основе является продолжением стремлений Японии на материк и реваншем старой России за то, что она в свое время вырвала у Японии Порт-Артур.

Из этой краткой справки видно, что панмонголизм зародился в Японии давно, как одно из самых реакционных империалистических течений, которое постепенно охватило большинство политических партий Японии и которое привело к той громадной современной войне с Китаем, свидетелем которой мы являемся. Попытки перейти в наступление на Хасане и Халхин-Голе, а также и другие тому подобные проявления японской военной агрессии являются продолжением выполнения того же давно намеченного плана японской захватнической «панмонголистической» политики, которую недавно откровенно выразил автор неумной книги японец Тanучо Кавай «Цели японской экспансии», так хорошо охарактеризованной т. Петровским в «Правде» от 5 июня 1940 г. № 155—*Прим. ред.*

186 Ал. Блок. Дневник I, стр. 38—41.

187 Там же, стр. 44.

188 Она отчасти известна по статье Иванова-Разумника «Петербург» (в его сборнике «Вершины», П., 1923).

189 «Беседа» № 2, Берлин, 1923.

190 См. предисловие Белого к сборнику «Звезда» в однотомнике «Стихотворения», 1923, стр. 409.

191 Белый приехал в Дорнах 1 февраля 1914 г.

192 См. письмо Белого № 244.

193 См. письмо № 249.

194 Ал. Блок. Письма к родным II, стр. 213.

195 Ал. Блок. Дневник I, стр. 209.

196 «Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 620.

197 А. Белый. На перевале, 1923, стр. 12.

198 Там же, стр. 10.

199 Там же, стр. 21.

200 Там же, стр. 12 и 16.

201 Там же, стр. 66.

202 Неизданное письмо от 23 июня 1916 г. (по копии, хранящейся в Лит музее).

203 А. Белый. Стихотворения, 1923, стр. 409.

204 Было написано в 1916 г. в Дорнахе.

205 А. Белый. Революция и культура, М., 1917, стр. 3.

206 Там же, стр. 19.

207 Там же, стр. 25.

208 См. предисловие к первому сборнику «Скифы (1917); ср. предисловие Иванова-Разумника к «Двенадцати» и «Скифам» Блока (1918).

209 См., например, ее стихотворение «Идущий», первая половина которого адресована «А. Белому и А. Блоку» (газета «Новые ведомости», веч. выпуск, № 82 от 10 июня 1918 г.).

210 Цитир. по подлиннику (записная книжка Блока).

211 Ал. Блок. Собр. соч., т. VIII, стр. 45.

212 «Двенадцать» и «Скифы»—в январе; «Христос воскрес»—в апреле 1918 г.

213 А. Белый. Стихотворения, 1923, стр. 349—350.

214 Неизданное письмо от 27 февраля 1918 г. (по копии, хранящейся в Лит. музее).

215 Ал. Блок. Собр. соч., т. VIII, стр. 48.

216 Ал. Блок. Дневник II, стр. 107.

217 «Эпопея», № 1, стр. 13.

218 Цитир. по «Дневнику» Блока, (II, стр. 147).

219 Неопубликованная заметка в записной книжке.

220 Блок умер 7 августа 1921 г.

221 То-есть, в 1918—1921 гг.

222 Ц. О. «Правда» 1934, № 11 (5897), от 11 января.



АЛЕКСАНДР БЛОК

Фотография 1903 г.

Государственный Литературный музей, Москва



Зоря всю ночь. Неведомое озарилось... Ждите с лицом озаренным... Ждите.
Если и не будет солнца, если и зоря станет потухать, — жемчужно матовую улыбку прощания Вы увидите с горизонта.

Бугаев

Борис Бугаев

1903 года мая 9 г. Москва.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Фотография 1903 г. с дарственной надписью Александру Блоку:

«Зоря всю ночь... Неведомое озарилось... Ждите с лицом озаренным... Ждите... Если и не будет солнца, если и зоря станет потухать, — жемчужно матовую улыбку прощания Вы увидите с горизонта Борис Бугаев. 1903 года, 9 мая. Москва»

Институт литературы Академии Наук СССР, Ленинград

ОТ РЕДАКТОРА

В архивных фондах Государственного литературного музея сосредоточено множество документов, являющихся важнейшими источниками для истории русского символизма. Таковы в первую очередь личный архив Андрея Белого и богатейшее собрание писем к Александру Блоку. Государственный литературный музей посвящает очередной выпуск своих «Летописей» наиболее крупному по значению и по объему разделу этих материалов — переписке Блока и Белого.

Публикуемая в настоящем томе «Летописей» переписка дошла до нас, к сожалению, не целиком,—а именно: неизвестны письма Блока от сентября—декабря 1911 г., а также за 1912 и 1913 гг. Возможно, что эти письма были оставлены Белым в Дорнахе (Швейцария), где он жил в 1914—1916 гг., и современем будут еще обнаружены. Есть основания предполагать, что не сохранились также некоторые письма Блока за 1917 и 1918 гг. Можно считать установленным, что до нас не дошло по меньшей мере около 25 писем Блока. Этот пробел только отчасти восполняется тремя письмами от 1912 г., публикуемыми в настоящем издании по черновым отпускам, сохранившимся среди бумаг Блока (два — в составе дневника 1912 г., третий — отдельный автограф).

Письма Белого, нужно думать, были сохранены Блоком полностью. В настоящем издании по различным соображениям опущено 28 писем Белого (в подавляющем большинстве краткие записки, не имеющие сколько-нибудь существенного литературного или биографического значения). Кроме того, в нескольких письмах Белого сделаны купюры, во всех случаях отмеченные в тексте строкой многоточия в угловых скобках: <.....>.

Письма обоих корреспондентов печатаются по автографам. Подлинники писем Блока хранятся в настоящее время в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина, подлинники писем Белого — в Государственном литературном музее. В распоряжении редактора была также копия с писем Блока, снятая в 1921 г.

Письма печатаются с соблюдением некоторых характерных особенностей орфографии и пунктуации подлинников. Вместе с тем редактор был вынужден вносить некоторые коррективы в текст писем — в тех случаях, когда орфография и пунктуация подлинника (или отсутствие пунктуационных знаков) затрудняли понимание текста. Явные описки и пропуски отдельных слов исправлялись и восполнялись без оговорок.

В прямые скобки: [ ] заключены в тексте окончания слов, в подлиннике недописанных. В угловые скобки: < > — все дополнения и замечания редактора.

Письма расположены в хронологической последовательности и снабжены сквозной нумерацией. Даты писем, установленные редактором (приведены в угловых скобках), аргументированы в примечаниях. Даты и наименования мест, откуда посылались письма, во всех случаях систематизированы и унифицированы. Письма, посылавшиеся из-за границы и за границу, датированы и по-старому и по-новому стилю. Письма 1918 и 1919 гг. датированы по-новому стилю.

Примечания к письмам носят исключительно справочный характер. Справки об упоминаемых в письмах лицах, литературных произведениях, периодических изданиях, общественных и литературных организациях и т. д., в целях их систематизации и экономии места, сосредоточены в аннотированном «Указателе имен и названий».

1 января 1938 г.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Арабески — Андрей Белый. Арабески. Книга статей. «Мусагет», М., 1911.

Дневник 1911—1913 — Дневник Ал. Блока 1911—1913. Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.

Записные книжки — Записные книжки Ал. Блока. «Прибой», Л., 1930.

Записки мечтателей, № 6 — Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. «Записки мечтателей», № 6, «Алконост», П., 1922, стр. 7—122.

Золото в лазури — Андрей Белый. Золото в лазури. «Скорпион», М., 1904.

Начало века — Андрей Белый. Начало века. ГИХЛ, М.-Л., 1933.

Омут — Андрей Белый. Между двух революций. Изд-во писателей в Ленинграде [1934]. — Эта книга заключает лишь первую часть III тома мемуаров Белого, озаглавленную автором «Омут» (см стр. 1—2); заглавие же «Между двух революций» обнимает собою весь III том, вторая часть которого осталась недописанной.

Пепел — Андрей Белый. Пепел. «Шиповник», СПБ, 1909. — Издание второе переработанное — «Никитинские субботники», М., 1929.

Письма — Письма Александра Блока. Со вступит. статьями и примеч. С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина. «Колос», Л., 1925.

Письма к Иванову — Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. Ред. и предисловие Ц. Вольпе. Изд-во Академии наук СССР, М.-Л., 1936.

Письма к родным — Письма Александра Блока к родным. С предисловием и примеч. М. А. Бекетовой. «Academia», Л., 1927.

Письма к родным — Письма Александра Блока к родным. II. Под ред. и с примеч М. А. Бекетовой. «Academia», М.-Л., 1932.

Путевые заметки — Андрей Белый. Путевые заметки, т. I. Сицилия и Тунис. «Геликон», М.-Берлин, 1922. — Другое издание этой книги: Офейра. Путевые заметки. Часть первая. «Книгоиздательство писателей в Москве», [1921].

Северная симфония — Андрей Белый. Северная симфония (1-я, героическая). «Скорпион», М., 1904.

Символизм — Андрей Белый. Символизм. Книга статей. «Мусагет», М., 1910.

Симфония — Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). «Скорпион», М., [1902].

Собр. соч. — Александр Блок. Собрание сочинений, тт. I—XII. Изд-во писателей в Ленинграде и «Советский писатель», 1932—1936.

Стихотворения — Андрей Белый. Стихотворения. Изд-во З. И. Гржебина, Берлин-П.-М., 1923.

Урна — Андрей Белый. Урна. Стихотворения. «Гриф», М., 1909.

Эпопея № 1, 2, 3, 4 — Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. «Эпопея». Литературный ежемесячник под ред. Андрея Белого. «Геликон», М.-Берлин, 1922—1923; № 1, стр. 123—273; № 2, стр. 105—299; № 3, стр. 125—310; № 4, стр. 61—304.

1903

1. БЛОК — БЕЛОМУ

3 января 1903. Петербург

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» [1] и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это — «песня системы», которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаяния ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке, как искусстве, ни с какой стороны. Таким образом, я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то — гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с т[очки] зр[ения] музыки-искусства, а с т[очки] зр[ения] интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно — нет. «Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию?» Следующая фраза [2] еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии» [3] и в статье об Алениной [4] И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай бог, чтобы это не было так!) заполонили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и отсутствие в ней внешней действительности наводят на мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия». Ведь Вы хотите слушать музыку будущего! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы обошли в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо во избежание соблазна здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба не «искуссна» (Ваша 344 страница). [5] Вы последнего слова не сказали, и оттого последние страницы — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому Пути», «Миру искусства». Вы гениально достигли

пол-пути и вдруг свернули, улыбнулись Мережковскому с его символом-соединением (δυμ-βᾶλλω — подумаешь, что все дело в предлоге и глаголе! Мертвая филология, «грех, проклятие и смерть», Индийский Дионис с его «символическим» аттрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без «созидающего» хохота Вл. Соловьева, с «разлагающим» хохотом Arlekino-Erl-König! *). Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», инфернальной... о, да! инфернальной! «Она влияет». Тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова «инфлуэнца»—influence! ** (простите за каламбур). Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потомучто Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» остается один Медный всадник на болоте, на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин[аиде] Ник[олаевне] Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в Нов[ом] Пути, но я не видел журнала.[6] В этом письме все белое, целый свод апокалипсической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Нитцше, на Вагнера, на «бессознательного» (конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» — мифологическая глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам (τδου μακάρέδσι ϑέοτδιγ), а других (!) — οωι ἔῦ λσγω οῦτ ἔγ ἄ(ιϑμ.. Ведь у них у всех последнее самоутверждение, Агамемноновские замашки пастырства народов. Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши же цитаты единственного не языческого титана гласят:

«Бывшие мгновения поступью беззвучною»... и т. д. (стр. 359).[7]

Разве это о том? Ведь это вот что:

«Страсти волну с ея пеной кипучей
Тщетным желаньем, дитя, не лови.
Вверх погляди — на недвижно могучий
С небом сходящийся берег любви».[8]

Весь вопрос теперь в том, где у Вас последняя музыка, лучше сказать то, что перестанет быть музыкой-искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искусную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»?[9] Есть ли эта последняя музыка — яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-ая Симф[ония], 4 часть[10]) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»[11])? Есть ли это «грустно-задумчивое»?[12] Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»[13])? Только ли это «пророка ведущие сны»[14], или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов, оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и проч[их][15]. И потому хочу кричать Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам необходимо сказать больше, вопить о границах,

о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот, тем более, что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе — белая, *не* «бездонная», *не* «без-о́бразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон угрюмой»[16], необходимо, чтобы *Вы* сочли число зверя, потомучто Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-ая). Ваши слова гениально прозревают, потому нам нужно их в с е. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги»[17], не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и б е з с к л а д о к. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока».[18] К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих) в статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас Кантовской теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И будет легче, когда будет слышнее цветение Вашего сердца.[19]

Преданный Вам Ал. Блок

[1] В статье «Формы искусства» («Мир искусства» 1902, № 12, стр. 343—361, за подписью: Б. Бугаев; перепечатана в книге «Символизм», стр. 147—174, с обширными комментариями на стр. 507—523) Белый изложил выводы двух своих рефератов, прочитанных в московском студенческом «Философском кружке имени С. Н. Трубецкого» В основу статьи была положена эстетика Шопенгауэра. Впоследствии Белый следующим образом сформулировал свою «основную мысль»: «Форма творчества строится музыкой; внешнее выражение музыки — ритм; форма ритма есть время; градация формообразования строится по нарастанию времени: от безвременности пространственных форм к динамике бессюжетного мира симфонии; крайние точки градации: зодчество, музыка; история мира искусства — метаморфоза моментов, сбрасывающих одеяния косного мира: грубейшее вещество, краску, слово; в музыке слышим мы генерал-бас всей культуры; в ней зерна грядущих искусств, переносящих центр тяжести от форм к самой жизни» («Эпопея», № 1, стр. 159). Представляет значительный интерес комментарий Белого к письму Блока: «А. А. Блок с чрезвычайной чуткостью ухватывает слабые пункты моей юношеской статьи. Она написана академически. Музыка, влияющая на изменение человеческих отношений,— музыка ли? Он ухватывает тот факт, что самой музыкой, как формой искусства, я оперирую двояко: с одной стороны, музыка у меня только музыка, с другой стороны, она „музыка" совсем в ином смысле — она символ души мировой стихии, или той, кого Соловьев называл „Темного хаоса светлая дочь". И вместо того, чтобы смело, с открытым забралом, выбросить свой новый лозунг жизненного преобразования, вместо того, чтобы заговорить о Софии Премудрости... я таинственную Лермонтовскую „полумаску" превращаю в „маску", и этою „маскою" для непосвященных является для меня музыка. Эта подставка тривиального, ничего не говорящего знака эпохи вместо имени и лика самой эпохи, которая несет нам благовестие Девы-Зари-Купины, эта подмена с моей стороны есть слишком осторожное отступление от смелого... боя с рутинным сознанием современности, к которому все истинно новое призвано... Он хотел сказать, что нам, призванным концентрировать до nec plus ultra мистику соловьевства, не следует распыляться в эстетических личинах. Все письмо написано скорее афористическим стихом, дышит игрою и юмором. Оно одновременно и восхитило и озадачило меня: живого Блока я не представлял себе таким. Я его представлял экстатически созерцающим. Ум, юмор, соединенный со скепсисом, показал мне в высоко ценимом поэте, в „мистике", и просто умного человека. Интеллектуалиста я менее всего ожидал встретить в Блоке» («Записки мечтателей», № 6, стр. 20). — Об эстетике Шопенгауэра и понятии «музыка» в системе философских и эстетических представлений Блока и Белого — см. во вступительной статье.

[2] В статье своей Белый писал: «Д. С. Мережковский определяет символ, как с о е д и н е н и е разнородного в одно. В будущем, по мнению Соловьева, Мережковского и других, нам предстоит вернуться к религиозному пониманию действительности. Музыкальность современных драм, их с и м в о л и з м, не указывает ли на стремление драмы стать мистерией? Драма вышла из мистерии. Ей суждено вернуться к ней. Раз драма приблизится к мистерии, вернется к ней, она неминуемо сходит с подмостков сцены и распространяется на жизнь. Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию? — Не собираются ли в жизни разыграть некую всесветную мистерию?..» Ср. в письме Блока к З. Гиппиус от 8 сентября 1902 г.: «Мне странно то, что Вы пишете о сцене, о том, что с нее нельзя говорить о будущем. Мне иногда кажется, что, несмотря на все внешнее опошление современного театра, стоит актеру

иметь талант (а это не так уже редко), чтобы сейчас запахло литургией. И даже в самой закулисной личности актера иногда заметна священная черта, какое-то внутреннее бескорыстие и глубокая важность, медлительность и привычка быть королем, жрецом... и немного пророком» («Литературное наследство», № 27—28, М., 1937, стр. 348).

[3] Здесь и дальше имеется в виду «Симфония (2-я, драматическая)», изданная «Скорпионом» в 1902 г. Духовные стихи — см. на стр. 156—157 «Симфонии».

[4] «Певица» («Мир искусства» 1902, № 11, стр. 302—304; за подписью: А. Белый); в этой статье между прочим упоминается стих-ие «молодого поэта» Блока — «Предчувствую тебя. Года проходят мимо».

[5] Имеется в виду следующее место статьи Белого: «В музыке постигается сущность движения; во всех бесконечных мирах, эта сущность одна и та же. Музыкой выражается единство, связующее эти миры, бывшие, сущие и имеющие существовать в будущем. Бесконечное совершенствование постепенно приближает нас к сознательному пониманию этой сущности. Надо надеяться, что нам возможно приблизиться в будущем к такому пониманию. В музыке мы бессознательно прислушиваемся к этой сущности... В музыке звучат нам намеки будущего совершенства. Вот почему мы говорим, что она о будущем. В откровении Иоанна мы имеем пророческие образы, рисующие судьбы мира. „Вострубит бо, и мертвые восстанут, и мы изменимся"... Труба архангела — эта апокалиптическая музыка — не разбудит ли нас к окончательному постижению явлений мира? — Музыка о будущем...»

[6] Письмо это (по поводу книги Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», печатавшейся в «Мире искусства» 1900—1901 гг.) Блок получил от самой З. Гиппиус 26 марта 1902 г. и тогда же сделал из него обширные выписки в своем дневнике, сопроводив их собственными замечаниями (см. мою публикацию «Юношеский дневник Блока» в «Литературном наследстве» № 27—28, 1937, стр. 325—327). Письмо Белого было напечатано в извлечениях (не целиком совпадающих с выписками Блока) в журнале «Новый путь» 1903, № 1, стр. 155—159 (в отделе «Из частной переписки», за подписью: «Студент-естественник»). См. также «Начало века», стр. 183 сл.

[7] Стихи Вл. Соловьева («Les'revenants»):

Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подошли и сняли вдруг покрывало с глаз.
Видишь что-то вечное, что-то неразлучное
И года минувшие, как единый час.

[8] Стихи Вл. Соловьева («Иматра»).

[9] См. у Вл. Соловьева («Бедный друг! истомил тебя путь»):

Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

[10] См. «Симфония», стр. 220.

[11] Из стих-ия Вл. Соловьева «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений».

[12] См. «Симфония», стр. 221; ср. стих-ие Белого «Вечный зов» («Золото в лазури», стр. 17—20).

[13] Из стих-ия Вл. Соловьева «Иматра».

[14] Из стих-ия Д. Фридберга «Тютчев и Баратынский» («Северные цветы на 1901 год», стр. 118)

[15] Имеется в виду бредовая апокалипсическая «идея» Д. Мережковского (особенно подробно изложенная им в книге «Л. Толстой и Достоевский») о «возможном соединении двух противоположных полюсов христианской святости — святости Духа и святости плоти» (или «Христа» и «антихриста», или, наконец, «верхней» и «нижней» «бездн»), долженствующем наступить после «второго пришествия», в тысячелетнем иоанновом царстве «третьего завета». Молодой Блок некоторое время был увлечен этой «идеей», что нашло отражение в его дневнике 1902 г. (см. «Литературное наследство» № 27- 28, 1937, стр. 299—370), но вскоре же разочаровался в ней.

[16] Из стих-ия Пушкина «Деревня».

[17] См. стих-ие Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи», в первоначальной редакции («Книжки недели» 1898, № 12, стр. 49):

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно лучезарной подруги
Угадаешь ли ты?

[18] Неточная цитата из «Первого послания к коринфянам» апостола Павла (XVI, 51—52).

[19] 23 декабря 1902 г. Блок писал М. С. Соловьеву: «...действительно страшно до содрогания „цветет сердце" Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и

не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком» («Письма», стр. 48). Самое выражение «цветет сердце» встречается в стих-ии Вл. Соловьева «Белые колокольчики» («Наше сердце цветет и вздыхает»); Вл. Соловьев в свою очередь заимствовал его у Фета («И я слышу, как сердце цветет»).

2. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

4 января 1903. Москва

Многоуважаемый Александр Александрович!

Пользуясь данным разрешением, я пишу Вам эти несколько слов. Пусть они служат основанием нашего знакомства.[1]

Лично мы не знаем друг друга. Я затрудняюсь — о чем мне писать? Важно не то, с «погоды» или «непогоды» я начну — важно то, что у меня возникает естественная потребность ближе познакомиться с Вами. Разбросанные здесь и там, мы уже можем не удовольствоваться для самих себя и только нашим субъективизмом. Это уже не бред единичных чудаков, разделенных ото всех глухой стеною, так что солидарность с окружающими достигается единственно при условии внешности... слишком внешности. В бездне индивидуального оказалось нечто и объективное, и «интимно»-личное. Личное не оказалось индивидуальным. В то время, когда каждый думал, что он один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и другие совершали тот же путь. И вот — разными путями прошли какую-то промежуточную зону, лежащую между «внешним» и «внутренним» знанием, соприкоснулись с Одной Истиной, хотя часто и с разных сторон. Значит, существовало то, что заставляло начать бред среди бела дня. Значит, возможно общение друг с другом из «бессмертных далей».

Легче дышать.

Веселей путь. Не чувствуешь себя таким одиноким. Проверяешь себя. Проверяешь других. Просишь помощи. Советуешься. Помогаешь.

Не знаю, это ли внушило мне мысль так прямо обратиться к Вам — но мне приятно ближе узнать Вас.

Вот и Ваши стихи.

Они мне знакомы. Как-то лично заинтересован ими, пристально читаю — не потому ли, что есть в них что-то общее — общее, неразрешенное? Точно мы стоим перед решением вечной задачи, неизменной... и чуть, чуть страшной.

Или это не так?

Я не коснусь подробного изложения всего того, что, как мне чудится, звучит в них. Это, быть может, задело бы Вас, а меня ввело бы в круг вопросов, которых я не желал бы, да и не мог касаться в первом же письме.

Я скажу только то, что Ваши стихи мне чрезвычайно нравятся и с чисто-эстетической стороны. В них положительно видишь преемственность. Вы точно рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьевым, продолжаете их путь, освещаете, вскрываете их мысли. Необычайная современность, скажу, даже преждевременность, тем не менее уживается с кровной преемственностью. Этой преемственности, не говоря уже о бесконечной плеяде «стихистов», не хватает у таких безусловно интересных поэтов, как Бальмонт, Ф. Соллогуб и мн[огие] др[угие]. Скажу прямо — Ваша поэзия заслоняет от меня почти всю современно-русскую поэзию. Быть может, это и не так, но *не* я компетентен в критике.

Надеюсь, Вы простите этот нестерпимо-глупый тон моего письма и оправдаете меня: мне ведь хотелось написать Вам, не касаясь того или другого, а просто так... Мне было бы чрезвычайно приятно, если Вы пожелаете откликнуться на мое «приглашение к переписке».

Остаюсь искренне уважающий Вас и расположенный

Борис Бугаев

[1] На подлиннике помета Блока: «1-ое письмо». О причинах, побудивших Белого обратиться с письмом к Блоку,— см. в его воспоминаниях («Записки мечтателей», № 6, стр. 16 и «Эпопея», № 1, стр. 158—159).

3. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

6 <января>* 1903. Москва

Многоуважаемый Александр Александрович!

Только-что отправил Вам письмо, как получил Ваше. Отвечаю.

Мне приятно, что Вы прямо указали на слабое (незащищенное) место моей статьи. Я прекрасно сознаю, но не окончательно повинен.

Моя статья написана для студ[енческого] общества, где и прочитана с соответствующими нагромождениями. Но скажите,— мог ли я прямо высказаться в студенческом обществе, где довольствуются бескровным, кантовским идеализмом, еще фальсифицируя его? И эту фальсификацию выдают за нео-кантианство!? Моя цель была издали сказать (и между прочим) имеющим уши. Отсюда необычайная популярная общедоступность во внутреннем. С другой стороны: моя статья осколок моих взглядов, конспект (не больше) первой ступени с намеками (не больше) на характер дальнейшего. Если освободиться от этих намеков, останутся именно «Формы искусства». «Мигание» же получается от уклонения из области феноменального под оболочкой реторич[еских] отступлений. Ошибка моя — я поднял уголышек завесы, и подняв, не открыл до конца. «Содержание искусства» — вторая ступень: раскрытие идейности [Платон, Шопенгауэр, Соловьев (идеалисты); Лотус, Лейбниц (монадологи)]. Идеи видовые (объективные и субъективные). Конкретное проявление идейности в формах и направлениях. Музыкальные (родовые) идеи как внутренний акомпанемент к действительности из «глубин духа», как влечение к дальнему, как приближение к последнему обобщению: последнее обобщение — Мировая Идея, Душа Мира, воплощающая божеств[енный] Логос, «Лучезарная подруга». «Искусство с т[очки] з[рения] религии» — теософски-религиозное обоснование и раскрытие вышесказанного. Центр Вашего письма — указание на недостаточно резкую границу у меня между искусством и более чем искусством, т. е. теургией; но мой угол зрения в статье — формы «Искусства с т[очки] з[рения] истории и современности». Взгляд на эволюцию искусства, рассматриваемого 1) формально (дух музыки), 2) идейно (искание Лучесветной Подруги), 3) мистически (последняя музыка Конца).

В статье перспектива не соблюдена. Смутно намекаю «о главном» в чуждой сфере формальности. Свожу пространство к плоскости. Сливаю музыкальность в собственном смысле с мистически переносным. Если захотите придраться, получается прямо абсурд: вневременное и внепростр[анственное], раскрывая тайну движения, оказывается в пространстве и во времени, т. е. в движении. Определение самого себя самим собою!

* У Белого описка: «декабря», исправленная Блоком.— Ред.

Но вещь может определяться собою, если плоскостную проэкцию мы переведем на пространственный язык. Тут теософское воззрение об отношении личного к индивидуальному. Тут вечный вопрос о механизме и организме, о рабстве и свободе, о возвратном и безвозвратном, о круге и прямой (и совмещении их в спирали), о времени и безвременьи, о символизме и воплощении, об искусстве и теургии. Тут о двуединстве в природе человека, о двух и их единении, но в надмирном, потусветном и потуцветном, а не здешне-делательном. Тут об утонченной веселости безмирно-пьянящего, белого аскетизма свободы и о гнетуще-бессильном в своей огненности языческом оргиазме. Тут о самоутверждении в Нем и не в Нем — т. е. в «другом». Тут — скажу избито — о Христе и антихристе.

Тут мы врезываемся в следующую зону о музыке. Тут приходится говорить несколько центральнее.

Музыка как внутренне-звучащее, так и внешнее ее выражение в обычно понимаемом смысле — ближе всего к прозрению запредельного. Здесь явственный отблеск запредельного. Запредельно добро. Но и зло тоже запредельно. Итак, двойственность запредельного, двойственность музыкальных отражений. Музыка — последняя оболочка — Преддверие Храма. Вокруг святыни и вне ее — всегда роится мерзкая туча. Недаром на Соборе Пар[ижской] богоматери изображения демонов.

В музыке, вокруг музыки «старый бой разгорается вновь»[1] и с мучительной силой. Если бы воплотить всю силу музыки в образы, этот бой подавил бы нас своей величиной и мистическим значением. Отсутствие в музыке внешней действительности ослабляет эту силу боя (иначе душа бы не выдержала).

На каждую музыку (в существе своем двойственную) в человеке отзывается преобладающее в нем начало. Помимо разнообразия «музык», одна и та же музыка одних просветляет, других омрачает (увертюра к «Тангейзеру» меня страшит, а других умиляет). Каждый понимает бессознательно, что музыкой решится судьба его. С одной стороны, музыка еще искусство, поскольку она вне добра и зла как женское начало само по себе — «начало двусмыслия». «Душа Мира есть существо двойственное» (Вл. Сол[овьев]). Воплощая Христа, Она — София, Лучистая Дева; не воплощая Христа — Лунная Дева, Астарта, Огнезарная Блудница, Вавилон. Встреча с господом необходим[а] путем искания Лучезарной Подруги, которая в момент встречи явит господа. В этом смысле Она — «Дева Радужных Ворот». Встреча со Зверем — в астартизме. «Конец» — в символическом и воплощенно-историческом смысле понимается или ужасом, или любовью. Апокалипсическая труба — и радость, и ужас. В Апокалипсисе — и жгучесть огня, и белизна холодного снега — убеленность.

Эти противоположные отблески звучат и борются в музыке. «Она — искусство движения». Недаром в «симфониях» всегда две борющиеся темы; в музыкальной теме — она сама, отклонение от нее в многочисленных вариациях, и возврат сквозь огонь диссонанса.

Ритм — как повторность временного пульса — связан с идеей Веч-го Возвращения[2], музыкальной по своему существу (недаром Ницше, …чайший стилист (т. е. музыкант в душе), автор понятия «дух…ки», наконец, сам прекрасный музыкант и даже композитор,— выкрикнул это носящееся в воздухе «Возвращение»). «Коль… — кольцо возврата»[3] — мистический атеизм. Но в самой идее … возвращении есть нечто иррационально недосказанное (это … Шестова и Мережковского). Мистический атеизм — это первая

зона, а за ней нечто мягкое, чуть ли не белое в Возврате... Ведь Ницше тоже сначала белое дитя, задохнувшееся в когтях — козлище отпущения. Он смешал феноменальное с нуменальным. Захотел видеть свечение Вечности там, где существует лишь двусмысленная относительность. Случайно освятил эту двусмысленность. Преждевременно провозгласивший, заголосивший Ницше не совладал с собственным голосом, не узнал в этом ржании кентавра свою дивно-звучную музыку. Утих. Ушел. Быть может, «вернулся».

Борьба Астарты с Лучезарной Подругой (как Вы это прекрасно понимаете), антихриста и Христа — вот одна линия раскола в музыке. Борьба эстетического и мистического в ней же — вот раскол в плоскости как бы перпендикулярной. И вся борьба — вихрь боя, ритм. Недаром величайшие музыканты Бетховен и Вагнер ритмичны, возвратны до невозможности.

Наша музыка только знак. Углубляясь, нам звучат удаленные призывы — чуть-чуть трубы, чуть-чуть петушье пенье. «Тогда прокричал петух».[4] Вы пишете, что я попутно «улыбнулся» Мережковскому, но он — о символах: музыка — символ того, что за музыкой, символ воплощаемого. Я понимаю близко к Мережковскому, но в противоположных смыслах прилагаю.

В музыке все то же, да не то.

О Вагнере Вы правы. Но и Вагнер нет-нет и вспомнит о чем-то, подавляя вздох (я вспоминаю характерные даже не лейт-мотивы, а промежуточные вставки в несколько аккордов, проходящие сквозь все творчество Вагнера). Точно Ницшевский вздох — тоже характерный для Ницше: «Счастье — старая капля золотого счастья, золотого вина» (я на память). Или: «Ты моя родина, возвращение... Теперь грози мне, как грозят матери вернувшемуся ребенку, шепча: „А кто это тогда вихрем умчался от меня?"» (на память).[5]

Что музыка символизирует вообще, то воплощается в жизнь с момента тяготения нашей культуры к духу музыки. Музыкой как бы приглашаются, призываются силы Небесные или Темные «окончательно воплотиться». Поэтому она — магия, и всякая магия — музыкальна. «От тяжелого бремени лет я спасался одной ворожбой. И опять ворожу над тобой, но неясен и смутен ответ» (Ваше).[6] Разве это не музыка? Музыка — созерцание метафизической воли по Шопенгауэру. Вот, что до некоторой степени бросает свет. Еще один просвет!

Музыка связана с будущим, с тем, что еще нисходит в нашу область из высших стадий астрального. Музыка звездиста. «И дал ему звезду утреннюю» (Ап[окалипсис])...

Тут открывается мне еще третья зона о музыке, сюда начинают вкалываться мои слова, но я обрываюсь, потому что... где у меня слова? Тут я говорю системой знаков. Если позволите, я скажу Вам, но на ином языке и не теперь. И так письмо мое непредвиденно разрослось.

Есть ли музыка «грустно-задумчивое»? (спасибо за то, что Вы поняли, где центр моей «Симфонии»!). Обычная музыка — нет, нет и нет! Но она—путь, между прочим, и к «грустно-задумчивому». Обычная музыка—бой, продолжающийся в ней, до возвышения, утончения ее до «креста». А следует помнить, что символ четвертого посвящения египетских мистерий (так кажется) — «крест». Здесь силы тьмы уже не властны. Крест прогоняет тьму. «Да» и «нет», доселе с[...]ные, расходятся в разные стороны. Дальше ослабление тьмы [...]жается, пока на «7-ой» ступени не сверкнет ослепительно бе[...] Мистического Солнца. Если Вы вспомните, что я говорил о дв[...] крестных, перпендикулярных компромиссах в музыке, +, то

кое-что сходственное, а для меня это *кое-что* по моей системе знаков углубляется в *невыразимое, ослепительно видимое. Крест*, находясь в *четвертом, посреди* мистической семерки, разделяет «*трясину ужаса*» от солнца, стоит на границе ветхого и нового завета. Здесь и величайшая радость (совершающееся искупление) и горе (распятие) и смущение (ужас, сгустивши[йся] над Голгофой, старый бой, разгоревшийся с новою силой перед схождением света во Ад).

От оргийного язычества до музыки—вот одна ступень (от грехопадения до начала мирового искупления). В музыке узел, вершина, двузначность, переход, бой и движение, символизируемое беспредметным звучанием. От музыки до богоявления. Исторически-воплощенно оно совершилось раз, в Палестине. Символически совершается в сердце каждого, бывает в каждой культуре, непрестанно живет в веках и народах — это желанное чувство, чувство... христово. Но я молчу.

Музыка на распутье. В ней намеки и на то, что за ней. Музыка безо̀бразна, как переход к новым образам. Символ ее — сведение всякого образа к точке, к безо̀бразности, к дыре, к мистическому колодцу, чтобы сквозь «*колодезь*» восстановить «*старый образ мира*», который проходит в музыке, в «*новый*». Если поэзия символизируется прямой, музыка — точкой, а в точке — внемерность, безмерность (игра слов психологически верная, ибо в музыке *то же, да не то же*). Горчичное зерно сперва погибнет, а потом восстановится в ростке. «Новое небо, новая земля» — *новый образ мира сего* (понимаемый отнюдь не хилиастически — «*хилиазм осужден на Вс[еленском] Соборе*»).

Наглядно:

	b	
Небо		новый образ
музыка		его музыка
земля		образ мира сего
	a	

«a b» — это расстояние мгновенно будет пройдено в «*тот день*». Но оно может и символически разыгрываться, подготовляться, в прохождении. *Вся жизнь мира* мгновенно пронесется перед духовным оком. В «*мгновенном*» и теперь мы иногда провидим не только музыку, но и *новизну оттуда*. «*Преображение возносимого сквозь музыку*» — его печать — *белизна, запечатленность* при созерцании его. Недаром в «*Откровении*» «*новый*» и «*белый*» почти синонимы!

Боже мой, что Вы говорите! Центр может оказаться во мне? Убедительно прошу Вас оставить эту мысль: не во мне, а в нас вообще, недалеко, быть может, от нас. Мы должны прислушиваться друг к другу, к тишине, возмущаемой ныне, молиться — и верить, верить без конца. *Не начинать. Терпеливо ждать*. «*Оно*» — легко и ясно, мило и ласково. Коль скоро двойственность, неотчетливость в *видении*, значит не то, не так. В промежуточной зоне в *первом, втором, третьем* проносятся ужасы Беса; замутится ясность, подернется — будто крыло летучей мыши — здесь осторожность! В *глубине* (4-ое, 5-ое, 6-ое, 7-ое) — такая радость, такое счастье!!

Христос воскрес! Природа медленно очищается в радостном томлении! Искупление недаром! Оно — наш восторг и — с нами, с нами! Розовая улыбка Вечной Подруги, Ее пасха, привет в волнах лучисто-голубого эфира Вечности — знаю я!

«Клятве ты изменил, но изменой своей
«Мог ли сердце мое изменить!»[7].

Не будем же унывать! С нами новый завет!

Остаюсь весь Ваш
Борис Бугаев

Мой адрес: Москва, Арбат, д. Богдановой, кв. № 11.

[1] Из стих-ия Вл. Соловьева «На палубе Торнео».
[2] Ницшеанская идея «вечного возвращения» проходит сквозь всю «Драматическую симфонию» Белого.
[3] Цитата из Ф. Ницше («Так говорил Заратустра»).
[4] Оттуда же.
[5] Оттуда же.
[6] Из стих-ия Блока «Одинокий, к тебе прихожу».
[7] Стихи Вл. Соловьева («У царицы моей есть высокий дворец»).



4. БЛОК — БЕЛОМУ

9 января 1903. Петербург

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Первое письмо мое к Вам было ужасно крикливо. Простите меня за это. Крики объясняются тем, что я только-что перед этим прочел Вашу статью и был внезапно потрясен. Вашим письмом (сегодня получил его) Вы ввели меня в берега и, кажется, мне яснее все. Главное, я твердо уверился в том, что статья Ваша есть «конспект первой ступени», чисто «формальная» эволюция искусства (с намеками, конечно, но нераскрытыми), еще без «идейности», вне «содержания», тем более только намек на «искусст[во] с т[очки] зр[ения] религии», на угол зрения мистико-религиозный. Впрочем, я видел это из самой статьи, теперь же только п о в е р и л. Лучше сказать, некоторое недоразумение произошло оттого, что от Вас я не ждал в этом случае частностей, которые, однако, оказались неизбежными и для Вас по самой громадности темы и невмещаемости ее в рамки «статьи» (особ[енно], журнальной). Испуг прошел.

Ваше письмо говорит о второй «зоне», об «искании Лучесветной Подруги». Кажется, тогда как в первой зоне Вам приходится еще считаться с эволюцией искусств и говорить о многом (5 форм[1]), во второй Вы сразу покидаете первые 4 ступени, от относительного восходите к абсолютному и имеете дело с единством. Содержание едино в противоположность множественности форм. Но это все еще — содержание, идейное. Третья и последняя зона, перед которой Вы пока смолкли (в письме), сколько я понимаю, вводит в последнюю мистическую область, я сказал бы,— в область с у б с т а н ц и и, в противоположность содержанию и форме вместе, их синтез, коренным образом претворяющий то и другую. Нечто «новое», «белое»,— в противоположность тем двум — одно, слитное, а не раздробленное. Это — сфера Познанной Девы. То, что двоится (может быть, десятерится!) в форме и двоится в содержании — оказалось единым. Таким образом, у Вас, очевидно, трихотомия (опять-таки), в которой последний член составляет внемирную сущность. Ваш «синтез» занимает место «вверху», представляет чистый нумен. Все это, сильно опошляя упрощениями, я пишу только для того, чтобы Вы могли судить, понял ли я только схему Вашей системы, вообще трудной для понимания, требующей читателя проникновенного, который «имеет уши», которому чудилось. Перцов и Мережковские говорят, что часто не понимают Вас.

Для того, чтобы поговорить о музыке, мне придется сделать известный компромисс, на который, впрочем, Вы, мож[ет] б[ыть], согласитесь.

Мне придется спуститься ниже — от «искусства движения» к «мосту между временем и пространством», т. е. от музыки к поэзии. При этом попытаюсь говорить о певучем и самом певучем в поэзии для возможно большего приближения ее к музыке. Словом, по возможности закрывать глаза на пространственные элементы для того, чтобы сосредоточиться на временных. Этот компромисс кажется мне возможным потому, что: 1) И в поэзии, как в музыке, в менее совершенном виде лежит эволюция, система, хотя бы новая трихотомия [например: I. Форма (положим — эпос). II. Содержание, идейность, искание Лучезарной Девы (положим, лирика). III. Синтез, мистическая зона (положим — драма-мистерия). Подобная схема, разумеется, только пример]. * 2) Потомучто поэзия, стоя рядом с музыкой, окрыляется ей и сама чует устремленное тяготение к последней, как будто две точки силятся сбежаться, избирая кратчайшее расстояние (символ поэзии — прямая), в одну (символ музыки). В этом представлении — поэзия представляет из себя то, «что нужно преодолеть», для того, чтобы взойти к музыке. Она — уменьшенное движение, отраженное. Она — в пути, и, преклоняя ухо к содрогающейся земле, можно слышать, как «цветет сердце». Она — шатается в противоположность трем первым «формам» искусства, которых не оторвать. Но четвертое уже мост к пятому, близко ему, греется около него и, — кто знает? — не перейдет ли в него, как вышло из него, не возвратится ли, тогда как те три не сделают скачка и отпадут. Может быть, обновленный ученик, очарованный близостью песен, которых он лишь слабое подобие, хоть и не станет «выше учителя», но научится многому и безболезно вернется к нему? От этой мысли то страшно и весело, то гнетуще и тоскливо.

Вся эта аргументация (и подобная), разумеется, зиждется на компромиссе и сама в себе имеет что-то глухое, даже тугое, натянутое, но мне приходится ввести ее просто уже по личному бессилию что-либо выводить из чистой музыки. Веду я к тому, чтобы поставить вопрос, может ли поэзия в своем maximum'е приблизиться к Запредельному настолько, чтобы расслышать и познать? Утвердительный ответ возможен хотя бы только на том основании, что наши времена поэзии ощутили, как никогда, до пророчественного прозрения, двойственную природу вселенной, и именно ощутили музыкально, путем все бóльшего отрицания пространственных образов и все бóльшего прислушиванья к «ритму» (кстати, ритм в Вашем озарении близок к Гераклитовскому «огню-Логосу»?). В сущности, т[ак] н[азываемые] «декаденты» прекратились теперь лишь относительно. Это скорее не смерть, а перерождение из бессознательного в сознательное. Даже еще Коневской не сознавал, не мог еще углубиться в сумрак своего духа и найти в нем неподдельное. Он бросал богатства в кучу, бесформенную, но блестящую, а «личность» жаждала «целомудрия».[2] Но и он уже пел. А Брюсов, например, поет уже так, что, кажется иногда, что «решается судьба» (Ваше выражение о музыке). Тут, мне кажется, играет роль не сознание даже как таковое, а скорее «пора», «возраст», органическая связь с субстанцией собственного творчества, когда эта субстанция не сознается, а просто присутствует. Она здесь, ее слышно. Это — высший расцвет поэзии: поэт нашел себя и, вместе, попал в свою эпоху. Таким образом моменты его личной жизни протекают наравне с моментами его века, которые, в свою очередь, единовременны с моментами творчества. Здесь такая легкость и плавность, будто в идеальной системе зубчатых колес. В этих благоприятнейших условиях для проявлений (творческих) поэзия освобождается, находит русло, притом не старое, а доселе неизведанное. В таком случае

* Прямые скобки — в подлиннике. — Ред.

можно ждать от нее все большего расцвета, эволюции, а следовательно — сближения с музыкой. Тут может зародиться последняя песня поэта, после которой он должен или смолкнуть, или перейти в последнюю область точки как символа музыки. Но в этой последней песне «линия» внезапно исчезнет и... сменится точкой. Две точки, устремленные друг к другу, сбегутся внезапно в одну. Это — аномалия с т[очки] зр[ения] Вашей (и всякой классифицирующей) системы. Но сама система не нарушится. Окажется налицо только чудодейственный факт свершившихся pia desideria * всех поэтов. Тогда фактически исчезнет «четвертое» искусство, но не ранее, чем в нем проявится «дух музыки». И это именно еще в нем, а не за ним.— Я чувствую, что пишу под другим углом зрения, чем Ваш, притом, может быть, абсурдно и слишком теоретично, но позволяю себе это ввиду догматичности Ваших построений, без сомнения неизбежной (хотя бы и до времени), но потому именно и не исключающей постороннего им.

Перечитав письмо, почувствовал его бессилие и вялость. Извините. Теперь другого не написать, потомучто чувствую просто сильнейшую физическую усталость все эти дни. Кроме этого, некоторым оправданием мне может послужить действительная трудность Вашего письма, многогранность воззрений. Здесь есть нечто порой переполняющее чашу жизненной странности, которая неизменно веет кругом, шепчет день и ночь, дышет в лицо неустанно и сладко, будто и сон и явь — одно прекрасное, один голос от Ее Лучезарности:

И к неверному другу — нежданный пришлец
Благодатной стучится рукой. [3]

Все это близится к сказке — и «всесветной мистерии», о которой мне сегодня так сухо и бессвязно довелось говорить Вам. Еще раз — простите.

Преданный Вам Ал. Блок

Петерб[ург]. Петерб[ургская] сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

[1] «Формы искусства» рассматриваются в статье Белого в следующей пятизначной градации: зодчество, скульптура, живопись, поэзия, музыка.

[2] Из стих-ия И. Коневского «Откуда силы воли странные» («Северные цветы на 1902 год», стр. 137):

Ах, личность жаждет целомудрия
Средь пышных рощ, холмов, лугов.
Молюсь на облачные кудри я,
На сонмы вечные богов.

[3] Стихи Вл. Соловьева («У царицы моей есть высокий дворец»).

5. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

15 января 1903. <Москва>

Многоуважаемый Александр Александрович,

Не отвечал на Ваше письмо. Был немного расстроен. Сперва болезнь отца. Потом тяжкий недуг М. С. Соловьева. Я уверен, что Вы не удивитесь тому, что пишу, не засмеетесь. Положение Михаила Сергеевича очень тяжело и сериозно. Нужно помолиться. Я верю молитве.

Помолитесь.

Вот все, что я Вам пишу на этот раз. О Вашем письме особо.

Остаюсь готовый к услугам искренне преданный

Борис Бугаев

6. БЛОК — БЕЛОМУ

17 января 1903. Петербург

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Сегодня получил Ваше письмо. Тогда же узнал все.[1] Обнимаю Вас. Целую. Верно, так надо. Если не трудно, напишите только несколько слов — каков Сережа? Милый, возлюбленный — я с Вами. Люблю Вас.

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок

[1] Имеется в виду смерть М. С. Соловьева и самоубийство О. М. Соловьевой (16 января 1903 г.). Памяти Соловьевых посвящены стих-ия Блока («Отшедшим») и Белого («Могилу их украсили венками» — «Золото в лазури», стр. 216). Подробно о смерти Соловьевых Белый рассказал в книге «Начало века», стр. 199—203. См. также некрологическую заметку о Соловьевых в журнале «Новый путь» 1903, № 2, стр. 202—203.

7. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

19 января 1903. Москва

Дорогой мне Александр Александрович,

Все к лучшему. Все озарено и пронизано светом, и вознесено. На улицах вихрь радостей — метель снегов. Снега. С восторгом замели границу жизни и смерти. Времена исполняются, и приблизились сроки. Мы все вместе и навсегда.

Все к лучшему. Я за Сережу не беспокоюсь. Я знаю Сережу. Он готовился. Говорил мне — чувствует, как поднялась, налетела волна сладких снов — мессианских ожиданий. Приближение.

Все к лучшему.

А кругом все взвывает и кружит — вихрь радостей и метель снегов. Все озарено и пронизано светом, и вознесено. Все мы вместе.

Все к лучшему.

Радостно целую Вас.

Борис Бугаев

8. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

27 января 1903. Москва

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

Только теперь пришел окончательно в себя. Спешу ответить на Ваше второе письмо. Оговариваюсь — впопыхах оно попало в мои бумаги. Я тщетно искал его. Поэтому отвечаю на память.

Если не ошибаюсь, Вы говорите о двойственности природы, двойственности отражения ее у меня. Я сказал бы — не следует упускать неоднозначность противополагаемых элементов, когда приходится разбираться в этой двойственности. Речь не может итти о синтезе разнородных начал природы, а только о преодолении одного начала другим. В искусстве, стремясь к такому преодолению, мы тем самым повышаем темп напряженности между этими двумя началами, резче их контрастируем (контраст необходим там, где нужно выдвинуть одно в ущерб другому); отсюда «старый бой разгорается» с особой силой; отсюда иллюзия равноценности борющихся начал, из которых оба потусторонни (обстоятельство, не предвиденное никакой философией), отчего эта иллюзия получает свою якобы законную санкцию на существование. Но это — фантасмагория. Природа, отражая оба начала, — все еще в самом интимном своем божья, т. е. святая, а извне очернена, затенена (нам, живущим поверхностью, она должна являться особенно черной, как скоро впервые повязка спадает с глаз). До Христа не было средств глубоко

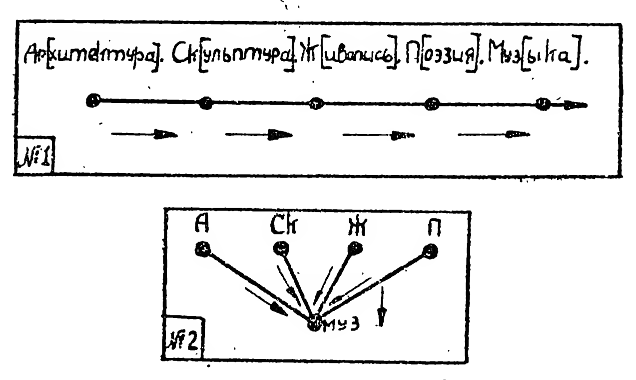
окунуться в интимное мира, чтобы увидеть во всем это извне затененное, божье. Христос помог нам, дал средства к преодолению. Началось медленное искупление. Мировое очищение, продолжаясь, отражается в искусстве именно не путем соединения добра и зла, а путем прохождения от внешности к центру сквозь строй зла.

Но синтез существует в искусстве; это особого рода синтез. Тут мы касаемся зерна моего эзотеризма.

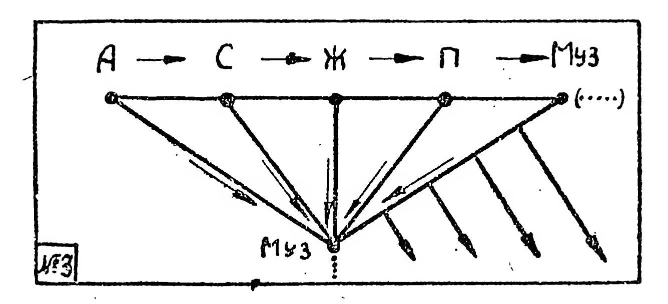
Если позволите мне, я в следующем письме коснусь подробнее этого соединения. Здесь же я пишу и коротко и внешне: устал и занят.

Двойственные элементы могут казаться до четвертого посвящения, до границы между ветхим и новым заветом — равноценными. Стоя по сю сторону ви́дений четвертой стадии можно еще говорить о святом соединении в смысле Мережковского, а выше — невозможно и гибельно.

Вполне согласен с Вашей схемой о возможном взаимоотношении музыки к поэзии. Ничего против не имею. Моя схема не противоречит. Если она и кажется немного неподвижной, то это благодаря фиксации в моем сознании картины соотношений между формами искусств в определенный исторический момент. Моя схема извне очерчивает искусства, не касаясь внутренней связи, их все пронизывающей. Две точки, устремляясь друг [к] другу по прямой линии, могли бы дать новую линию пути. Должен заметить, что эволюция искусств по моему глубокому убеждению протекает сообразно не только с чертежом № 1, но и сообразно с чертежом № 2.



Совмещая ту и другую схему получаем следующее соотношение:



т. е. рождается новый путь, новое направление эволюции, не входящее в мою схему, чтобы не слишком усложнять ее.

Что касается Сережи, то он окончательно успокоился и теперь уехал в Киев. За него я спокоен. Многое ожидаю от него.

Дорогой Александр Александрович, у меня есть к Вам покорнейшая просьба. Не будете ли Вы от времени до времени присылать мне Ваши

1

Многоуважаемый
Борис Николаевич

Только что я прочел Вашу статью „Формы искусства" и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это — „новая система", которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишенный всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке, как искусстве, ни с какой стороны. Таким образом я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не выходило наружу и не перехватило чего-то ни было существенного из музыки

теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное „вдавшим в долг и слабым без труда". И будет легче, когда будет слышно биение Вашего сердца.

Преданный Вам Ал. Блок.

Петербург. 3 января 1903.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО А. БЛОКА к А. БЕЛОМУ ОТ 3 ЯНВАРЯ 1903 г. (№ 1)
Страницы первая и последняя
Уменьшено почти в 1½ раза
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

1-ое письмо · Москва. 1903 года. 4го Января.

Многоуважаемый

Александръ Александровичъ!

Пользуясь даннымъ разрѣшеніемъ, я пишу Вамъ эти нѣсколько словъ. Пусть они служатъ основаніемъ нашего знакомства.

Лично мы не знаемъ другъ друга. Я затрудняюсь — о чемъ мнѣ писать? Важно не то, съ погоды или непогоды начну, — важно то, что у меня возникаетъ естественная потребность ближе познакомиться съ Вами. Разрозненныя „я“ и „мы“, мы уже можемъ не [illegible] для самихъ себя и [illegible] субъективизмомъ. Это уже не средь единичныхъ чудаковъ, разрозненныхъ отъ вѣка глухой [стѣной?] такъ что солидарность съ окружающими достигается единственно при условіи [illegible]... слишкомъ [illegible]. Въ безднѣ индивидуальн[illegible]

[illegible] русской поэзіи быть можетъ это и не такъ, но не я компетентенъ въ критикѣ.

Надѣюсь, Вы простите этотъ непринужденный [тонъ?] моего письма и оправдаете меня: мнѣ вѣдь хотѣлось написать Вамъ, не касаясь того или другого, а просто такъ...

Мнѣ было бы чрезвычайно пріятно, если Вы пожелаете откликнуться на мое „приглашеніе къ перепискѣ“.

Остаюсь искренне уважающій Васъ и расположенный

Борисъ Бугаевъ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО А. БЕЛОГО к А. БЛОКУ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1903 г. (№ 2)

Страницы первая и последняя

Уменьшено почти в 1½ раза.

Государственный Литературный музей, Москва

стихи, которые я так люблю и ценю и которых теперь, со смертью Михаила Сергеевича, я лишился? Надеюсь, память о нем и об Ольге Михайловне тесней нас свяжет.

Остаюсь глубокопреданный и готовый к услугам

Борис Бугаев

P. S. Простите за варварский почерк: устал.

9. БЛОК — БЕЛОМУ

3 февраля 1903. Петербург

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич!

Ваши письма и слова ясны для меня, вероятно, более, чем для многих других. Это происходит, преимущественно, оттого, что наши углы зрения очень часто совершенно одинаковы; потому я часто подозреваю заранее то, о чем вы говорите в системе, но именно подозреваю. Все это уясняет мне очень многое, будучи пока, как сами Вы пишете в последнем письме, экзотеричным (предлагая серьезнее коснуться «зерна эзотеризма» Вашего — синтеза в искусстве. Последнее было бы для меня еще более важно, и я очень прошу Вас, не затрудняясь скоростью ответов, писать мне об этом). Говорю именно, что подозреваю, потомучто сам не умею и не могу уяснить так, а для уяснений себе, когда очень нужно, пользуюсь другими путями, большей частью жду дыхания жизни — «контрастов» извне. И это не только потому, что у меня гораздо меньше специфически Ваших способов уяснения, т. е., например, образования и обусловливающей его «страсти ума», но и потому, что вижу ясно и несомненно сам для себя (исключительно) необходимость уяснять именно так, а не иначе. Все эти «биографические» подробности пишу Вам для того, чтобы показать Вам важность для меня Ваших слов: они составляют необходимое дополнение, «в предвестие, иль в помощь, иль в награду».[1] Также для того, чтобы Вы не стали втупик перед следующей моей просьбой: объяснить мне «четвертое посвящение» и символ его (крест) в египетских мистериях. Мне еще жутко от этого, потомучто число четыре, которому находится чуть не ежедневное подтверждение, смотря по состоянию духа, то мучит, то радостно тревожит меня уже давно. Это же число проходит и в древней Индии. Веды (древнейший памятник) состоят из 4-х книг. У Будды четыре истины — и четвертая — о Пути (?) — последняя близость к Нирване. Знаете ли, что из всякого числа выйдет четыре? У кончающего работу (непременно только при этом условии человек настроен — работа взята в самом широком объеме) открываются глаза — глаза на числа мира. Он умеет считать — это момент прозрения. Тут уже нет речи об ужасе или радости, о стихах оттуда или о прозе отсюда, как в моменты низших прозрений. Тут все достается легко. Начинается счет («здесь мудрость»!). Открываются широкие глаза, не различающие цветов, светов, дня и ночи. Все, «кружась», исчезло.[2] Вырастает число человека. Мое число — 4. Допускаю и другие числа для других — все равно. Это число (хотя бы 4) не субъективно, однако; субъективность — только одна сторона его. Другая — объективная — и она выражается в том, что число остается самим собой, прекращаясь (извините, извините!). Это — образ не зрительный, не слуховой и т. д. Он — без формы и без содержания. Он только субстанциален, довлеет сам себе, заключает в себе все остальные числа. И при этом он необходимо — с *придатком**. В этом-то придатке —

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

малом, или громадном — группируется остальное. Не счесть ли этим путем и число зверя? Может быть вместо придатка и убыль, но какая? Какой-то придаток. Какая-то убыль. Что там?

Все это объяснит Вам один из моментов моих видений. В каком-то пятне (опять не зрительное, и т. д.) мелькает и дрожит, то расширяя, то стискивая самою себя, сущность и цель.

«Я Ей сказал: Твое Лицо явилось,
Но всю Тебя хотел бы увидать:
Чем для ребенка Ты не поскупилась,
В том — юноше нельзя же отказать!» [3]

Рассматриваю и созерцаю Незнакомку. Вот здесь — Ее спокойное, а здесь — вихревое. Это — Ее время — история (так сменялась Она в истории — отдыхала в греческих мраморах и разметала торговые города на Средиземном море во время крестовых походов). Это Ее — пространство — догма (так сменяется Она пространственно — здесь вот взмахнула крыльями и приняла контур горы, а здесь — легла и распласталась в пустыню, манящей позой указав сама свою подчиненность — женское, а не Женственное). Но все это—только одно, и знаю, что это победится Иным. Здесь — мучительные придатки и убыли Вечно-Женственной, когда же и где же Она Сама? Потеряется ли Ее четыре, когда отпадут придатки и убыли? Из Ваших четырех кругов понимания (ненапечатанная в «Нов[ом] Пути» часть Вашего письма [4]) четвертый перестает быть четвертым, когда отпадают от него первые три несовершенства («синтетическое» понимание явления откалывается от «механического», «аллегорического» и «символического» и становится совершенно одиноким, совершенным). Не даны ли нам числа как намек на исход, как символы, того, что за ними? Они — не средство ли? «Счесть» число — не значит ли преодолеть его? Измерить тело — не значит ли воспарить над ним? Счесть свое число, значит познать себя, а, познав, перестать предаваться вечному здесь самоутверждению. И наконец, счесть себя (свое 4, Иоанново 666 — не впадаю ли в последнюю ересь и здесь и вообще?) не значит ли преодолеть смерть, не ощутить границы, замести ее снегами, утонуть в вихрях вселенского восторга, перестать нуждаться, отрешиться от отчаяний? И обратно:

«Громадный город-дом, размеченный по числам.
Обязан жизнию (машина из машин!)
Колесам, блокам, коромыслам,
Предчувствую тебя, земли желанный сын!»

(Брюсов, поэма — «С[еверные] Ц[веты]» 1901)

Ангелы — бесчисленны, а бесам имя — легион. Жена пространства и жена времени — обе расчислились, распластались по истории, по земле. Они — манят. Другая — не манит. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Иоанн. Откровение. XXII, 17).

Много промчалось веков,
Сменяя знамена и власти,
Много сковали оков
Вседнецные мелкие страсти.

Вынырнул снова поток...
Струею серебряной мчало
Только лавровый венок,
Да мчало *Ее* покрывало.

(Фет)

С большим удовольствием посылаю Вам свои стихи.[5] О Ваших давно хочу просить Вас. Знаю только одно: «Пусть на рассвете туманно».[6] Нравится оно мне всем и особенно, как все, что Вы пишете. Пришлите, пожалуйста. Моя мама просила передать Вам, что перечитывает 2-ую «Симфонию» очень часто, а иногда только ее и может читать из всей литературы. Радуюсь за Сережу, не знаете ли, где он будет и что намерен делать, когда вернется из Киева? Память о Михаиле Сергеевиче и Ольге Михайловне, без сомнения, для нас связующа, и нам близка и понятна.

«В царство времени все я не верю,
Силу сердца в себе берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать „навсегда" — не могу».[7]

И вместе:

«Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда».[8]

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок

[1] Из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания».
[2] См. прим. 9-е к письму № 1.
[3] Из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания».
[4] См. прим. 6-е к письму № 1. Привожу соответствующую выдержку из письма Белого (по выпискам в дневнике Блока):

«Каждое явление имеет четыре круга понимания, входящих друг в друга, четыре стадии:

1) Явление, как таковое, т. е. научное его толкование, где прослеживается механическая причинность, породившая во времени данное явление. Отсюда — важность исторического понимания.

2) Явление, как аллегория чего-то, лежащего вне исторического процесса, метафизическое понимание явления, т. е. посредственное знание исторического, как проявление сверх-исторического.

3) Явление, как символ вневременного, как соединение временного и вневременного, соединение еще происходящее, но не происшедшее до конца. Здесь мы имеем непосредственное «знание» явлений, переходим от исторического к сверх-историческому, освобождаясь окончательно от внешних историч[еских] оболочек.

4) Явление, как уже совершившийся синтез, соединение «до конца». Здесь мы низводим сверх-историческую сущность после освобождения ее от внешних механических и аллегорич[еских] оболочек в историю, возвращаемся обратно к пониманию причинности, но уже не механической, но внутренней. Здесь мы свободно читаем в истории ее душу, здесь мы понимаем в каждой вещи ее сущность («вещь саму по себе»).

С т[очки] зр[ения] понимания в явлениях воплощения Вечного стадии научного, метафизического и символического понимания являются чем-то предшествующим, посредственным. Религиозная т[очка] зр[ения] начинается с символизма и кончается воплощением этого символизма в историю...»

[5] Из ответного письма Белого (№ 11) выясняется, что в числе стих-ий. посланных ему Блоком, были: «Запевающий сон, зацветающий цвет», «Целый год не дрожало окно» и «Здесь ночь мертва. Слова мои дики».
[6] «Золото в лазури», стр. 226 (под заглавием «Знаю»).
[7] Стихи Вл. Соловьева («У себя»).
[8] Из стих-ия Вл. Соловьева «Миг».

10. БЛОК — БЕЛОМУ,

19 февраля 1903. Петербург

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Сейчас получил письмо от Перцова, в котором он просит одно из Ваших «наиболее понятных» писем ко мне, для того, чтобы «скрасить» частную переписку мартовской книжки «Нового Пути». Дело в том, что я говорил ему, что есть Ваше письмо ко мне «понятное». Конечно, спрашиваю Вашего позволения; я думаю, дело может идти только о втором письме — самом большом — об искусстве с т[очки] зр[ения] содержания — и, конечно, с большими пропусками. Но, думаю, что это письмо

Перцов все таки не найдет понятным. Во всяком случае, если найдете возможным, сообщите мне. Никому из редакции Ваших писем я не показываю.[1]

Вернулся ли Сережа Соловьев в Москву?

Мое последнее письмо к Вам представляется мне теперь каким-то беспечально выскакивающим из одного мистического колодца и попадающим в другой. Весьма возможно, что я врал в нем еще более, чем «один другому» (Симфония).

Во всяком случае, образ числа, вокруг которого мелькает неисчисленное пятно, таящее в себе нечто, совсем декадентен. Это, однако, не нарушает его реальности, хотя ему бы и следовало принять другую форму, чтобы содержанием своим взглянуть на свет божий.

Тут скорее дело даже не в образе, а именно в беспечальности его. Как первое, так и последнее мое письмо к Вам — неумеренный крик, вызванный «до ланит восходящей кровью».[2] Хотелось бы это перебороть, чтобы Вы нашли во мне хотя бы

«Только ласковой думы волненье,
Разве сердца напрасную дрожь»[3],

выражаясь цитатой; точнее — то, что за криком, то, что покоится, мир за войной — «отмель времен». Хотелось бы писать Вам без недуга, при свете милых возвращений. И последнее просто необходимо, если нужно «ждать».

Еще раз очень прошу Вас прислать мне Ваших стихов. Они меня, конечно, не просто интересуют. Я чувствую в них скорее важное и необходимое — чего нельзя обойти, собираясь в дорогу, собирая цветы для Возлюбленной Царицы, Подруги, неожиданно перенесшей себя на звездные пути.

Любящий Вас и преданный Вам

Ал. Блок

[1] Письмо Белого в «Новом пути» (в отделе «Из частной переписки») не появилось.

[2] Из стих-ия Фета «Весенние мысли».

[3] Стихи Фета («День проснется, и речи людские»); цитировано не точно, первый стих у Фета читается: «Разве ласковой думы волненья».

11. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Февраль — март 1903. Москва>

Многоуважаемый и милый Александр Александрович,

Простите меня за мое долгое молчание. Но теперь до лета у меня такая бездна дел, что решительно нет времени даже и письма толком написать. К тому же у меня накопились письма, на которые нужно было непременно отвечать. Прежде всего о Ваших стихах: как и всегда я в восторге (и это не комплимент — совсем нет). «Запевающий сон, зацветающий цвет» — сколько тут милой ясности и свежести! Врубелевская глубина и *не* врубелевская нежность — слиянно, нераздельно. Скажу откровенно: последние Ваши стихи, по моему убеждению наиболее глубокие и поэтически-прозревающие. «Страх»[1] — небывалое, а это «все забылось — забылось давно»[2] — как оно знакомо там, где мы все знаем друг друга. Большое спасибо за них.
< . . . . >

Дорогой Александр Александрович, мне бы совсем не хотелось, чтобы Вы дали Перцову мое письмо для печатания его в «Новом Пути». Этого обычая я совсем не понимаю. То обстоятельство, что они поместили мое письмо[3], случилось благодаря моему неведению. Мне бы

совсем не хотелось, чтобы мои слова с глазу на глаз были преданы гласности в «Новом Пути». Да и потом: еще раньше получения Вашего письма я написал в отдел «Частная переписка» заметку приблизительно на однородные темы.[4] Так что я бы просил Вас не давать Перцову моего письма.

< . . . . >

Сережа вернулся из Киева через Харьков, где гостил у своей двоюродной сестры. Теперь он оправился, хотя из Киева писал о своем ужасном самочувствии. Он будет жить отдельно, что и наиболее подходит к нему, с прислугой и одной очень хорошей знакомой, которая всячески будет стараться, чтобы ему было хорошо.

Пока до свиданья. Господь да хранит Вас, дорогой Александр Александрович. Остаюсь любящий Вас от всего сердца

Борис Бугаев

P. S. Посылаю Вам стихи, хотя и оговариваюсь, что писать их не умею. Одним словом, в стихах не я сам, а кто-то посторонний мне.

ПРИЗЫВ

<1>

Призывно-грустный шум ветров
Звучит, как Голос откровений.
От покосившихся крестов
На белый снег ложатся тени.
И облако знакомых грез
Летит беззвучно с вестью милой.
Блестя сквозь ряд седых берез,
Лампада светит над могилой
Пунцово-красным огоньком.
Под ослепительной луною
Часовня белая, как днем,
Горит серебряной главою.
Там... далеко... среди равнин
Старинный дуб в тяжелой муке
Стоит затерян и один,
Как часовой, подъявший руки.
Там... далеко... в полях шумит
И гонит снег ночная вьюга.
И мнится — в тишине звучит
Давно забытый голос друга.
И снова веришь прежним снам.
Но ветер северный несется...
Среди могил то тут, то там
Как будто шопот раздается.
Старинный дуб порой вздохнет
С каким-то тягостным надрывом,
И затрепещет, и заснет
Среди полей глухим порывом...[5]

2

Как невозвратная мечта,
Сверкает золото листа.

Душа полна знакомых дум.
Меж облетающих аллей
Призывногрустный, тихий шум
О близости священных дней.

Восток печальный мглой объят.
Над лесом, полные мечты,
Благословенные персты
Знакомым заревом горят.

Туманный, краснозолотой
На нас сверкнул вечерний луч
Безмирноогненной струей
Из-за осенних, низких туч.

Душе опять чего-то жаль.
Сырым туманом сходит ночь.
Багряный клен, кивая вдаль,
С тоской отсюда рвется прочь.

И снова шум среди аллей
О близости священных дней.[6]

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Мы задыхалися от пошлости привычной.
Ты на простор нас звал.
Казалось им, твой голос необычный
Комично прозвучал.

И вот, когда надорванный угас ты
Над подвигом своим,
Разнообразные, бессмысленные касты
Причли тебя к своим.

В борьбе с рутиною свои потратил силы,
Но не разрушил гнет...
Пусть вьюга снежная венок с твоей могилы
С протяжным стоном рвет.

Окончилась метель. Не слышен голос злобы.
Тиха ночная мгла.
Над гробом вьюга белые сугробы
С восторгом намела.

Тебя не поняли. Вон там сквозь сумрак шаткий
Пунцовый свет дрожит.
Спокойно почивай: огонь твоей лампадки
Мне сумрак озарит.[7]

СТАРИННЫЙ ДРУГ

Янтарный луч озолотил пещеры.
Я узнаю тебя, мой друг старинный!
Пусть между нами ряд столетий длинный —
В моей душе так много детской веры.

Из тьмы идешь, смеясь: «Опять свобода,
«Опять весна и та же радость снится...»
Суровый гном, весь в огненном, у входа
В бессильной злобе на тебя косится...

Вот мы стоим, друг другу улыбаясь...
Мы смущены все тем же тихим зовом.
С тревожным визгом ласточки, купаясь,
В эфире тонут бледнобирюзовом.

О этот крик из бездн, всегда родимый!..
О друг, молчи, не говори со мною!..

Я вспомнил вновь завет ненарушимый,
Волной омыт воздушно-голубою...

Вскочил, стуча ногой о крышку гроба,
Кровавый карлик с мертвенным лицом.
«Все улетит... Все пронесется сном...
«Вернетесь вы в свои могилы оба...»

И я проснулся. Старые мечтанья!..
Бесцелен сон о пробужденьи новом...
Бесцельно жду какого-то свиданья...
Касатки тонут в небе бирюзовом.[8]

УЖ ЭТОТ СОН МНЕ СНИЛСЯ

На бледнобелый мрамор мы склонились
И отдыхали после долгой бури.
Обрывки туч косматых проносились.
Сияли пьяные куски лазури.
В заливе волны жемчугом разбились.

Ты грезила. Прохладой отдувало
Сквозное золото волос душистых.
В волнах далеких солнце утопало.
В слезах вечерних, бледнозолотистых
Твое лицо искрилось и сияло.

Мы плакали от радости с тобою,
К несбыточному счастию проснувшись.
Среди лазури огненной бедою
Опять к нам шел скелет, блестя косою,
В малиновую тогу запахнувшись.

Опять пришел он. Над тобой склонился.
Опять схватил тебя рукой костлявой.
Тут ряд годов передо мной открылся.
Я закричал: «Уж этот сон мне снился».
Скелет веселый мне кивнул лукаво.

И ты опять пошла за ним в молчаньи.
За холм скрываясь, на меня взглянула,
Сказав: «Прощай, до нового свиданья»...
И лишь коса в звенящем трепетаньи
Из-за холма, как молния блеснула.

У ног моих вал жемчугом разбился.
Сияло море пьяное лазури.
Туманный клок в лазури проносился.
На бледнобелый мрамор я склонился
И горевал, прося грозы и бури.

Да, этот сон когда-то мне уж снился...[9]

ПРОЛЕТЕЛА ВЕСНА

Пролетела весна.
Лес багрянцем шумит.
Огневая луна
Из тумана глядит.

Или вспомнила вновь
Ты весенние дни.

Молодую любовь,
Заревые огни?..

Пролетела весна.
И былое — обман.
Побледнела луна,
Серебрится туман.

Отвернулась... Глядишь
С бесконечной тоской,
Как над быстрой рекой
Покачнулся камыш...[10]

ЛАСКА

Я знаю — ты загнан людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность.

С тобой, над тобою она.
Ласкает, целует беззвучно.
Омыта лазурью весна.
Над ухом звенит однозвучно.

С тобой над тобою она.
Ласкает, целует беззвучно.

Хоть те же всё люди кругом.
Хоть так же и ты меж людьми сер.
— О, смейся и плачь: в голубом
Рассыпаны тучки, как бисер.

Закат догорел полосой.
Огонь там для сердца не нужен.
Там матовой, узкой каймой
Протянута нитка жемчужин.

Там матовой, узкой каймой
Протянута нитка жемчужин.[11]

ВОСПОМИНАНИЕ

Заброшенный дом.
Кустарник колючий, но редкий.
Грущу о былом.
«Ах, где вы — любезные предки?»

Из каменных трещин торчат
Проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
Над домом шумят.

И лист за листом,
Тоскуя о неге вчерашней,
Кружится под тусклым окном
Разрушенной башни.

Былое, как дым.
И жалко.
Охрипшая галка
Глумится над горем моим.

Посмотришь в окно —
Часы из фарфора с китайцем;
В углу полотно
С углём нарисованным зайцем.

Старинная мебель в пыли,
Да люстры в чехлах, да гардины...
— И прочь отойдешь... А вдали
Равнины, равнины.

Среди многоверстных равнин
Скирды золотистого хлеба.
И небо.
Один.

Внимаешь с тоской,
Обвеянный жизнию давней,
Как шепчется ветер с листвой,
Как хлопает сорванной ставней. [12]

ВСТРЕЧА
(посв[ящается] Сомову)

Вельможа встречает гостью.
Он рад соседке.
Вертя драгоценною тростью,
Стоит у беседки.

На белом атласе — сафиры.
На дочках — кисейные шарфы.

Подули зефиры —
Воздушный аккорд
Эоловой арфы.

Любезен, но горд.
Готовит изящный сонет
Старик.
Глядит вглубь аллеи, приставив лорнет,
Надев треуголку на белый парик.

Вот негры вдали показались — все в красном —
лакеи...
Вот блеск этих золотом шитых кафтанов.
Идут вдоль аллеи
По старому парку...

Под шопот алмазных фонтанов
Проходят сквозь арку...

Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.

Шуршит от шелку. [13]

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
(посв[ящается] Сомову)

Сияет роса на листочках.
И солнце над прудом горит.
Красавица с мушкой на щёчках,
Как пышная роза сидит.

Любезная сердцу картина!
Вся в белых, сквозных кружевах
Мечтает под звук клавесина.
Горит в золотистых лучах.

Под вешнею лаской фортуны
И хмелью обвитый карниз,
И стены. Прекрасный и юный
Пред нею склонился маркиз

В привычно заученной роли,
В волнисто-седом парике,
В лазурноатласном камзоле,
С малиновой розой в руке.

«Я вас обожаю, кузина!
«Извольте цветок сей принять»...
Смеются под звук клавесина.
И хочет подругу обнять.

Целует напудренный локон
И плечи скрывающий шелк.
Глядит из отворенных окон
Подкравшийся муж, точно волк. *

Уже вдоль газонов росистых
Туман бледнобелый ползет.
В волнах фиолетово-мглистых
Луна золотая плывет.[14]

Б. Бугаев

Как видите, все «посторонние» стихотворения — лежащие или по сторонам, или вне Главного. Но я отдыхаю в них от «все той же думы».

[1] Так было озаглавлено в рукописи стих-ие Блока «Здесь ночь мертва. Слова мои дики».

[2] Из стих-ия «Целый день не дрожало окно», впоследствии посвященного Белому.

[3] См. прим. 6-е к письму № 1.

[4] Вероятно, имеется в виду статья «О религиозных переживаниях», отклоненная редакцией «Нового Пути» (см. письмо Блока от 20 марта 1903 г., № 12).

[5] Без предпоследнего четверостишия и с посвящением: «Памяти М. С. Соловьева» вошло в сборник «Золото в лазури» (стр. 223).

[6] Под заглавием «Ожидание», с посвящением С. Соловьеву и с вариантом в 10-м стихе вошло в «Золото в лазури» (стр. 221).

[7] С посвящением М. С. Соловьеву и с вариантами в первой строфе вошло в «Золото в лазури» (стр. 219).

[8] С незначительными вариантами вошло в «Золото в лазури» (стр. 139), в составе цикла «Старинный друг», посвященного Э. К. Метнеру.

[9] С посвящением А. П. Печковскому вошло в «Золото в лазури» (стр. 152).

[10] Под заглавием «Осень» и с вариантом в 10-м стихе вошло в «Золото в лазури» (стр. 171).

[11] С вариантами вошло в «Золото в лазури» (стр. 5), в составе цикла «Бальмонту».

[12] Под заглавием «Заброшенный дом», с дополнительной строфой и с вариантом в 23-м стихе вошло в «Золото в лазури» (стр. 80).

[13] Под заглавием «Менуэт», без посвящения К. Сомову и с вариантом в 17-м стихе вошло в «Золото в лазури» (стр. 68).

[14] С посвящением: «Дорогой матери», без шестой строфы и с вариантом в 20-м стихе вошло в «Золото в лазури» (стр. 66).

12. БЛОК — БЕЛОМУ

20 марта 1903. Петербург

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Прежде всего, должен извиниться перед Вами: сделал вещь неосторожную и, мож[ет] б[ыть], для Вас неприятную. Перцов просил у меня почитать Ваши стихи. Тогда я переписал ему «Встречу» (Сомов). Ему почти понравилось, и он просил еще. Тогда я переслал ему прямо два листа Ваших стихов. Он, конечно, возвратил их мне, но показал и Мережковским. Всем *не* понравилось. Когда я получил их обратно, тут же (в редакции «Н[ового] П[ути]») оказался Сомов, которому пришлось прочесть «Встречу» и «Объяснение в любви». Первая ему немного понравилась, второе — совсем нет. Во всяком случае, виноват я. Все время оговаривался Вашими же словами, — что стихи посторонни и служат отдыхом «от все той же думы», хотя сам бы не сказал ни того, ни другого целиком. Но приходится, потому что ужь очень различны мерки, прилагаемые к стихам разными людьми. Мне более чем знакомы и дороги «восторги вьюги», «пьяные куски лазури», «бирюзовая вечность», «нитка жемчуга». Ушли ли отсюда они? Перешли дальше, или просто забыли? Вторая ли у них молодость — и более зоркая? Или ужь старость? Перцов тут особ-статья, мне кажется, что он не оскорбляет, даже когда ему не нравится. Но Сомов, кажется, умен и сух — последнее настолько сильно, что производит удушливое впечатление. Ужасно боюсь, что это происшествие будет Вам очень неприятно и крайне извиняюсь за свою бестактность. Впредь обещаю этого не делать и надеюсь, что Вы мне еще когда-нибудь пришлете стихов. Мне они нравятся в общем и во многих частностях. Безусловно ценны и, как мне кажется, принадлежат безраздельно Вам мелодии «Воспоминания» и «Встречи», а с другой стороны — «Ласки». При этом два первых даже, пожалуй, менее мелодичны. Зато «Ласка» несомненно слитна и цельна. Ее первая строфа, как помавающий флаг, а переход из 3-ей строки в 4-ую (С тобой бирюзовая вечность) по неуловимой прелести (до дрожи в голосе) так знаком и так несет к «цветущим берегам», откуда «чуется ветр». [1] Эти постоянные, непостижимые 3-4 строки в строфе, мне кажется, всегда что-то объясняют, завершая строфу. Убедительнее этого колыхания миротворства (а у Баратынского, напр[имер], обратно: не миротворство, а обезнадеживанье: «И платим мы за радость крат-кую. Ей без-ве-сель-ем-дол-гих-дней» [2]) для меня ничего нет. Тоже у Брюсова: (И) песен отголоски (из) дальних деревень [3]; у Соловьева: Несут к тебе — желаний пламень бурный. И тайный вздох немеющей любви. [4] Наше сердце цветет и вздыхает... Приходи — и узнаешь о чем. [5] — Эти три стихотв[орения], а также «Ужь этот сон мне снился» и «Вл .Соловьев» (последние два больше по содержанию, а не по «субстанции») мне очень нравятся. В стих[отворении] «Пролетела весна» конец очень хорош. «Призыв», «Стар[инный] друг», «Как невозвр[атная] мечта» и «Объясн[ение] в любви», по-моему, хуже. Некоторые детали, как напр[имер]: «комично прозвучал» [6], «межь людьми сер» [7], «муж, точно волк» [8], я думаю, и Вам не нравятся (но никак не «Шуршит от шелку», о котором я все думал и, наконец, почувствовал, что это прекрасно и вполне по-Сомовски, если не дальше и не глубже еще).

Еще вот одно дело: Перцов нашел статью «О религиозных переживаниях» непонятной и не хочет ее печатать. [9] Отдал мне, чтобы я переслал Вам. Если Вам нужно, я немедленно пришлю, но пока оставляю у себя. Приятно бы ее иметь, как необходимое дополнение к Вашему письму о «цветах». [10]

Несколько слов об этой статье. Она мне кажется очень важной, но именно в смысле некоторого завершения первого (или, во всяк[ом] случае, данного) круга Вашего пути. На это навели меня следующие оговорки: 1) что мы знаем, что такое схоластика и что не схоластика и имеем право ими пользоваться, как *средством**, именно потому, что делаем это и сознательно и откровенно (ясно, как день, нашей душе). 2) Схема внутреннего пути фиксируется в цветах (т. е. «популярнее», образней, лирически?), потомучто в их последовательном изменении *тень** последоват[ельной] смены дух[овных] видений. — Если цвета — только тени истин, то они даже *не* составляют символов (как начала воплощений), а только аллегории (?). Если же так, то цветовая схема обращается в схоластическую, хотя бы и сознательно схоластическую (с объект[ивной] т[очки] зр[ения]). И вопрос, надо ли ей пользоваться, хотя бы и как средством только, вырастает с новым могуществом. Стоит ли за схемой истинное «бытие», реальность—неизвестно (с объект[ивной] опять т[очки] зр[ения]). В письме же ко мне Вы прямо говорите, что тут «весьма субъективны». Помимо последнего, на субъективность прямо указывает 8-ая стадия (внецветное) как нечто произвольное. Тут, собственно говоря, выступает все тот же вопрос, возможно ли каким бы то ни было способом (схемой или даже молитвой) формулировать ясное, как день, нашей душе? Если все это так, то несомненно статья о стадиях видений замыкает данный круг прозрений. Окружность разбежалась, расширилась — и все еще не вместила того, что очевидно просится в еще более широкий круг — и т. д., и т. д. — до желанного и чаемого, свободно ласкового и самого нежного; — до... Вечно Женственного Синтеза (впрочем, мне и «синтез» не совсем по душе).

Прекрасна молчаливая зоркость. Мне чудятся надежды в некоторой уступке нашей всеобщей напряженности. Бросая «эстетизм», необходимо сохранять красоту. Еще рано отбрасывать то, что единственно может приготовить сердце. Всему свой черед — и, думаю, что надо воплощать Красоту, пока не воплотится бог. Радужные Врата необходимо Прекрасны. Пускай те, кто «погряз» в «эстетизме», учатся дрожащей молитве. Но те, кто разгорается, «лишь заметят яркий багрянец» [11], могут отойти на отдых, в узорную тень, и «заглядеться». Все равно, в следующий миг они опять повлекутся в мучительной и сладкой тревоге.

Посылаю Вам еще свои стихи из последних.

Искренно любящий Вас Ал. Блок

«МЕТЕМПСИХОЗ»

Никто не умирал. Никто не кончил жить.
Но в звонкой тишине вставали и сходились.
Они приблизились — черты определились,
Внезапно отошли — и их не различить.

Они невдалеке, и ты в общеньи с ними,
Они звенят в ушах, мерещатся глазам
И, может быть, под масками чужими,
Как ты, обращены к последним временам.

Внимательно следи: толпа многообразна.
Быть может, средь нее мелькнет усопший друг.
Узнаешь ли его под маской безобразной?

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

Там — в гулкой тишине — вертится тот же круг.
Безмолвная толпа — гробница возвращений,
Хранилище вечерних озарений [12].

* * *

Всё тихо у Ней на лице.
И звездная полночь тиха.
С немым торжеством на лице
Открываю грани стиха.

Шепчу и звеню, как струна.
То — ночные цветы — не слова.
Их росу убелила луна
У подножья Ее Торжества. [13]

[1] Цитата из Фета: «Учуять ветр с цветущих берегов» (стих-ие «Одним толчком согнать ладью живую»).

[2] Из стих-ия «Мы пьем в любви отраву сладкую».

[3] Из стих-ия «Дозор» (сборник «Tertia Vigilia», М., 1900); цитировано не точно, у Брюсова: «Из ближних деревень».

[4] Из стих-ия «Зачем слова? В безбрежности лазурной».

[5] Из стих-ия «Белые колокольчики».

[6] В печатном тексте стих-ия «Владимир Соловьев» этот стих читается иначе: «Безумно прозвучал».

[7] В печатном тексте стих-ия «Ласка» четвертая строфа была переделана:

Хоть те же все люди кругом,
ты — вечный, свободный, могучий.
О, смейся и плачь: в голубом,
как бисер, рассыпаны тучи.

[8] В печатном тексте стих-ия «Объяснение в любви» вся строфа, в которую входил этот стих, была исключена.

[9] Статья Белого «О религиозных переживаниях» в печати не появилась (см. прим. 1-е к письму № 14).

[10] В опущенной части письма № 11 (от февраля — марта 1903 г.) Белый излагал изобретенную им на основании различных мистических и теософских сочинений теорию цветовой символики. Согласно этой «теории» белый цвет служит «символом богочеловечества», черный символизирует «цвет ужаса», серый — цвет «ужаса, воплощенного в бытие», огненно-красный — цвет «обмана» и т. д. Цветовая символика играла значительную роль в поэтике Белого и Блока (в их ранних стихах). На эту тему в 1903 г. А. Белый написал специальную статью «Священные цвета».

[11] Цитата из Фета: «Но лишь яркий багрянец замечу» (стих-ие «Чем тоске, я не знаю, помочь!»).

[12] Стих-ие было написано 12 марта 1903 г. и впервые напечатано в кардинально измененной редакции в альманахе «Проталина», СПБ, 1907 (дата переработки — 5 ноября 1904 г.). Первоначальная редакция публикуется здесь впервые.

[13] Стих-ие было написано 19 марта 1903 г. и впервые напечатано в альманахе «Белые ночи», СПБ, 1907 (с вариантами в первой строфе).

13. БЛОК — БЕЛОМУ

<4 или 5 апреля> 1903. Петербург [1]

Милый и дорогой Борис Николаевич!

Христос воскрес! Поздравляю Вас и целую. Пишу только несколько слов, потомучто ужасно занят. [2] Посылаю стихотворение.

Ваш Ал. Блок

У забытых могил пробивалась трава...
Мы забыли вчера... И забыли слова...
И настала кругом тишина...

Этой смертью отшедших, сгоревших до тла,
Разве Ты не жива? Разве Ты не светла?
Разве сердце Твое — не весна?..

Только здесь и дышать, у подножья могил,
Где когда-то я нежные песни сложил
О свиданьи, — быть может, с Тобой...

Где впервые в мои восковые черты
Отдаленною жизнью повеяла Ты,
Пробиваясь могильной травой...[3]

[1] Датировано на том основании, что пасха в 1903 г. приходилась на 6 апреля.

[2] Блок был занят подготовкой к университетским экзаменам, начавшимся 15 апреля («Письма к родным», стр. 83).

[3] Стих-ие было написано 1 апреля 1903 г. и впервые напечатано в «Новом пути» 1904, № 6. В сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) и в последующих изданиях посвящено С. Соловьеву.

14. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало апреля 1903. Москва>

Дорогой и милый Александр Александрович!

Воистину воскрес... Спаси Вас бог! Целую Вас и радуюсь без конца. Какое счастье! Будем же мы заговорщиками счастья: они подслушали, как оно кралось ночною порой... И еще ночь, но в душе у нас неугасимая зоря.

И весело заговорщикам счастья — да?

Умрем за счастье.

Христос с Вами.

Борис Бугаев

P. S. Глубоко признателен Вам за прекрасные стихи. Они мне по сердцу.

Буду писать Вам долго и с удовольствием, но не сейчас, а после экзаменов (у меня государственные).

P. P. S. Мне совсем не нужно моей рукописи в «Новый Путь».[1]

[1] Рукопись статьи Белого «О религиозных переживаниях» сохранилась в архиве Блока.

15. БЛОК — БЕЛОМУ

28 апреля 1903. Петербург

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Не удивитесь, что пишу Вам так. Думаю, что не странно то, что мы с Вами никогда не видели друг друга в лицо. Но ведь видели иначе. Я женюсь этой осенью, в половине августа, в имении Шахматово Клинского уезда. Мою Невесту зовут Любовь Дмитриевна Менделеева. Что скажете Вы на то, что я буду от всего сердца просить Вас быть шафером на свадьбе, и, думаю, что у Невесты? Она также просит Вас. Если будете в Москве, или по-близости, приезжайте с Сережей Соловьевым, который будет шафером у меня. Не только мне, но и всем моим родным будет приятно и радостно видеть Вас. Пишу Вам кратко по причине экзаменов, которые Вы также держите. Если очень заняты, не отвечайте сейчас же, а подождите конца экзаменов. Я уеду из Петербурга в двадцатых числах мая за границу, откуда вернусь в половине июля прямо в Шахматово. Сережа уже знает все, Вам я не писал потому, что срок свадьбы только недавно окончательно назначен.[1] Жду Вашего ответа, очень важного для меня. Не зная Ваших обстоятельств, не вполне надеюсь на Ваше согласие; может быть, Вы, кончив курс, совсем уезжаете из Москвы?

Неизменно Ваш Ал. Блок

[1] Блок известил С. Соловьева о своей женитьбе 20 марта 1903 г.: «Тебе, одному из немногих и под непременной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни... Я женюсь... Пожалуйста, не сообщай этого никому, даже Борису Николаевичу» («Письма», стр. 50).

16. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

9 мая <1903>. Москва

Милый и дорогой Александр Александрович,

Простите — я не сразу Вам ответил. Ваше письмо пришло в те дни, когда у меня был «maximum» напряжения. Следовало быстро сдать 5 экзаменов.

Прежде всего огромное спасибо за честь, оказываемую мне приглашением быть у Вас или у Вашей невесты.

С удовольствием согласился бы, но я должен сопровождать папу на Кавказ и не знаю, вернусь ли к сроку.

Во всяком случае мне хотелось бы быть у Вас шафером и поэтому я не отказываюсь от Вашего предложения. Я предупреждаю только, что вдруг мне бы и не быть им по обстоятельствам посторонним. Но ведь шафером можно быть сверх комплекта (число шаферов не ограничено); поэтому официально не рассчитывайте на меня, но частным образом я постараюсь быть у Вас или у Вашей невесты шафером. [1]

Дорогой Александр Александрович, все никак не соберусь Вам писать: скучные, мелкие дела, да и наконец для меня пришла пора молчания. Слишком все странно «там», я совсем потерял язык; трудно в письме передать то, что и самому-то себе не до конца выяснено. Вот мне хотелось бы ужасно лично видеть Вас. Надеюсь, мы встретимся осенью. После экзаменов подробно буду писать Вам, а теперь лаконичен.

Прощайте. Христос с Вами. Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. Мне бы хотелось иметь Вашу фотографическую карточку. Не пришлете ли мне ее? Буду чрезвычайно благодарен. Чтобы вернее получить Вашу, посылаю Вам свою.

P. P. S. Быть может Вы мне будете писать? Во всяком случае, если за границей остановитесь где-нибудь продолжительнее, сообщите мне адрес, чтобы я мог писать Вам. Мой летний адрес, откуда письма всегда дойдут до меня: Тульская Губерния, город Ефремов, сельцо Серебряный Колодезь.

P. P. P. S. Жду присылки Вашей карточки.

[1] Шафером на свадьбе Блока Белый не был.

17. БЛОК — БЕЛОМУ

$\frac{\text{29 мая}}{\text{11 июня}}$ 1903. <Bad Nauheim>

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Совсем виноват перед Вами. Во-первых, не отвечаю, во-вторых, не посылаю карточки. Карточки пока не имею, как только снимусь, пришлю или передам Вам. За Вашу благодарю от всей души, и за надпись [1], и за письмо. Не писал Вам оттого, что только 20-ого мая кончил экзамены, а после захлопотался. Теперь сижу, minimum на 6 недель (от сегодняшнего числа), в курорте «Bad Nauheim» (близь Frankfurt'a a/M), где мама будет лечиться, а кстати и я — отдыхать.

Спасибо Вам большое за Ваше согласие быть шафером на моей свадьбе. Если Кавказ Вас не задержит, приезжайте, буду ужасно рад

и тронут. Кроме всего остального, лично видеться с Вами очень хочу. Свадьба почти наверное около 15 августа (17?).[2]

Здесь я только еще первый день, но места знакомы, потомучто 6 лет назад уже был здесь же. У окна — поле и гул железного пути.[3] Пишите, прошу Вас. Вот точный адрес:

Германия. Бад-Наугейм. Deutschland. Bad Nauheim. Frankfurter Strasse. Villa Gertrud. Zimmer 6. Herrn A-r Block.

Ваш любящий
Ал. Блок

[1] На присланной Блоку своей фотографической карточке (см. ее воспроизведение в настоящем издании) Белый сделал следующую надпись:

«Заря всю ночь... Неведомое озарилось... Ждите с лицом озаренным. Ждите... Если и не будет солнца, если и зоря станет потухать,— жемчужно матовую улыбку прощания Вы увидите с горизонта.

Борис Бугаев. 1903 года, мая 9, Москва».

[2] Свадьба состоялась 17 августа 1903 г.

[3] Цитата из стих-ия Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы»:

А вдалеке неслось движенье
И гул железного пути.

18. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

10 июня 1903. Москва

Многоуважаемый и милый Александр Александрович;

только сейчас собрался Вам писать. До 23-го меня терзали экзамены. 29-го скончался мой отец. Помимо волнения, которым охватило меня это событие, тысяча мелочных дел обрушилась на меня. Наконец, усталость.

Только теперь оправился. Могу писать. И прежде всего пишу Вам об одном пункте, который важен для меня. Вот мы пишем друг другу о Ней, о Лучезарной Подруге, и между нами такой тон, как будто мы уже знаем *то*, что касается ее, знаем кто Она, откуда говорим о Ней, а между тем, этого не было: мы никогда не глядим прямо друг другу в глаза тут.

Метод символов хорош: он лучше всего. То, что логически неопределимо, определится психологически. На этом основании больше всего люблю я речь образную. Это — наиболее короткий путь в глубину. Но часто бывает важно, чтобы и поверхность дала зеркальное изображение глубины: важно, чтобы логически мы шли тем же путем, каким шли интуитивно. Вот почему обращаюсь к Вам с вопросом прямым и без всякой задней мысли: определите, что вы мыслите о Ней. Мне это очень, очень важно — важнее, чем Вы думаете. Я знаю, такое приглашение, приглашение с вершин в низину, заставит Вас, быть может, содрогнуться брезгливо, но войдите в мое положение: сознавая бесполезность синтеза и всяких мостов — я желаю строить мост для очистки совести. Веря больше всего знанию, я хочу и со-знания, т. е. знания чего-либо в связи с чем-либо. Я желаю проверить свое сознание Вашим — хочу коллективного со-знания о Ней даже в том случае, если оба мы и знаем Ее. Вот почему я спрашиваю.

Чувствуете ли Вы ее, как настроение, неопределенно туманными грезами? Является ли она для Вас Душой Мира, или определенной личностью? (Я знаю одну 48-летнюю даму, считающую себя за воплощение *Ее*[1].) Чувствуете ли Вы приближение ее ко всем, или к отдельным лицам? Ждете ли Вы явления ее всему миру, группе лиц, отдельному

лицу? Как Вы связываете настроение о ней с религиозно-догматическим учением православной церкви? Как Вы толкуете мифы о Ней у язычников? Какое отношение она занимает по-Вашему к божией матери, ко Христу, к вопросу о Конце Мира? Совершается ли явление ее символически или воплощенно в душе народа, общества или отдельной личности? Идет ли навстречу к ней то, что подсматриваете Вы в жизни на лицах людей о Ней или тут только живые образы? Образы эти образы ли только (и ясные) или прообразы? Может ли прообраз стать тем, что он прообразует, или нет? Как переплетается вокруг Нее образ Астарты? Может ли быть разница между духовной Астартой и Артемидой?

Еще, и еще ставил бы я вопросы, но и ответы на вышеозначенные меня удовлетворят. Повторяю: мне важно слышать от Вас логическое высвечивание всего о Ней, потому что тут множество пересекающихся путей. И пути эти ведут к разному. Если же Вы мне поставите логические рамки, то они, как костыли, поддержат меня в понимании Ваших слов. А к Вашим словам хочу я чутко прислушиваться. Важно, так важно коллективное мышление при установлении форм. При таком мышлении, согласном, легче дышится, тверже ступаешь там, где все так ново для нашей культуры.

На каждой плоскости явления отпечатываются различно. Это не мешает суживаться духовно-опытным. Духовно-опытные выбирают главный образ: но для выбора они непременно должны иметь целую коллекцию образов — все проявления различных плоскостей. Только те имеют право на однострунность, которые знают, что такое многострунность. Многострунность — необходимая внешность, одежда; без такой одежды невозможно существовать тому, кто имеет опыт Жизни: остается или уйти, или замолкнуть, или *начать*... *

Если мы не так поступаем — быть многострунными наша прямая обязанность.

Чтобы уметь правильно перекликаться не пророкам, нужно уметь правильно переговариваться. Вот это-то все и обязывает меня спросить Вас: Что Вы знаете о Ней и Кто Она по-Вашему?

Как раз сейчас у нас в Москве Семенов из Петербурга. Мы с ним довольно много беседуем о «Новом Пути», о «Петербурге», «Москве», о «Вас». Он мне нравится. Только чрезмерно осторожен, подозрителен, неуверен и отсюда... часто протестует.

Писала ли Вам Анна Николаевна Шмидт из Н. Новгорода, которая в восторге от Ваших стихов?[2] Буду ждать Вашего письма. Простите, что мало пишу. Но сейчас еще много дел. Из деревни буду опять писать вскоре. И больше. А теперь прощайте. Христос с Вами.

Остаюсь готовый к услугам и любящий
Борис Бугаев

P. S. Мой адрес деревенский. Тульская губерния. Город Ефремов. Сельцо Серебряный Колодезь. Мне.

P. P. S. Так как мой папа умер, то и на Кавказ я не поеду (я должен был сопровождать его). Но теперь новое затруднение: мне нужно бы было остаться в деревне с делами. Но все таки постараюсь приехать: мне нужно с Вами повидаться.

[1] Имеется в виду А. Н. Шмидт (см. о ней в Указателе имен и названий).

[2] В архиве Блока сохранилось письмо А. Н. Шмидт от 12 марта 1903 г., в котором она довольно откровенно намекает на то, что является не чем иным, как земным воплощением «Души мира», соловьевской «Софии-Премудрости». Год спустя, 4 мая 1904 г., Блок сообщил матери: «Анна Ник[олаевна] Шмидт, не смотря на то, что я ей

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

до сих пор не ответил, опять написала «ради бога, устройте нашу встречу» и пр. Рассчитала все свои дни и вышло, что числа 11—12 она приедет сюда [в Шахматово] на день или на два для большого разговора... Анна Никол[аевна] считает себя воплощением Души Мира, тоскующей о боге. К счастью она знает уже от Сережи [С. Соловьева], что мои стихи обращены не к ней. Во всяк[ом] случае положение затруднительное...» («Письма к родным», стр. 120). А. Н. Шмидт побывала в Шахматове 12—13 мая 1904 г. (см. «Записные книжки», стр. 36); по словам Л. Д. Блок, во время длинного разговора с А. Н. Шмидт «Блок больше отмалчивался... Очевидно, поведение Блока сразу показало А. Н. Шмидт, что из ее попытки завязать с ним сношения ничего не выйдет. Блок не признал ее «душою мира» и не заинтересовался ни ее личностью, ни ее теориями» («Письма к родным», стр. 326).

19. БЛОК — БЕЛОМУ

18 июня / 1 июля 1903. Bad Nauheim

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Ваше письмо удивило меня неожиданностью. Я не «содрогнулся брезгливо», потомучто часто думал о таком «логическом высвечиваньи», но, чем дальше, тем больше чувствовал «невозможность синтеза и всяких мостов», а потому хотел молчать. Сначала Ваши вопросы показались мне чисто диалектическими и догматическими, но потом я подумал, что они представляют скорее «психологический вопросник», потомучто вызваны всем предъидущим и не априорны. Потому мне и хотелось бы ответить Вам на них, как на психологические, «подумав», а не «придумав». Молчать необходимо, когда «придумыванья» больше не нужны и когда они в лучшем случае представляют игру, хотя бы и безгрешную. Прежде я *думал* о Ней чаще, чем теперь. Теперь все меньше и все безрезультатнее. Два преобладающие настроения (может быть и у Вас, как у меня?) — мистическое и скептическое (равнодушное) — первое «просит» не отравлять его мыслью (просит, как только может просить «бирюзовая вечность»[1] своего раба, скорее — приказывает), — а второе или обязывает мысль к молчанию, или направляет ее к тому, чтобы она «знала свое место». Потому *мыслить* в этом направлении (о Ней) мне представляется наименее доступным способом проникновения.

Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя. Потому *не пророкам* приходится разбавить вино мистицизма его (скептиц[изма]) водой. Если бы этого не было, то вероятно доступнее было бы и мышление о Ней, оно имело бы притягательную силу, собирало бы под свои знамена больше, чем теперь. Теперь же «мистический разум» только зарождается, повидимому. А потому наличность известного «опыта» отрешает от многих прежних попыток и замыкает, съуживает круг. Без съуживанья невозможно «прожить», нужно по крайней мере углубляться, если нельзя идти вширь. Непременный удел зовущих на брань *народы* или *общества* — стоянье «идолом над кручей, раздирая одежды свои».[2] Потомучто «рано». Это раннее утро, пусть и розовое, не позволяет голосу достигать туда, куда он стремится. Значит — Она — еще только *потенциально* воплощена *в народе и обществе*. Удел зовущего на брань *отдельное лицо* «стократ завидней»[3], потомучто никогда не получится в ответ меньше, чем эхо (а там и эхо отсутствует по причине равнинности и отдаленности гор). Часто же получается в ответе и больше, чем эхо. Потому, мне кажется, Она скорее может уже воплощаться в отдельном лице. Потому-то и доверие (в этом) к отдельн[ому] лицу больше, чем к народу и обществу. Для взываний к лицам можно удержаться в «своей среде», для взываний к народам приходится уродиться гигантом или довести себя до парения и метафизического безразличия на случай окружающей глухоты «спящих». Так[им] обр[азом], я думаю, что при-

...ко всем лишь в потенции, а к отд[ельной] личности уже ...ельности. Вопрос, в какой мере? (настроением, — дуновением, ...од оболочкой зримой»[3]). Я чувствую Ее, как настроение, чаще ...о. Думаю, что можно Ее увидать, но *не* воплощенную в лице, и само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет. Только минутно в порыве) можно увидать как бы Тень Ее в другом лице (и неодушевленном). Это не исключает грезы о Ней, как о Душе Мира, потому что мир для мистика (или находящегося в мистическом состоянии) б л и ж е, чем народ, целое понятнее части, макрокосм (мир), как и микрокосм (личность) ближе, чем все посредствующие между ними звенья (общество — народ — земной шар!). Таким образом — общество (народ) в отнош[ении] к Ней не является мистически-заинтересованным (для моего сознания) и извергается. Здесь, именно, очередной вопрос об Ее отношеньи к Христу, ибо Христос не разделен с обществом (народом). Приидите ко мне в с е труждающиеся — есть знак д о б р о т ы Христа (не один этический момент). Христос всегда д о б р ы й, у Нея же это *не* существенно, ибо «Свет Немеркнущий Новой богини»[4] есть не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее и в «славословии, благодарении и прошении»[5] всегда прибегну к Ней. Из догматов нашей церкви Она, думается, коснулась самых непомерных: троичности лиц и непорочного зачатия. Первый, заключающий в себе «мысль» о св. духе, наводит на замирание души о том, Она ли — св. дух, Утешитель? Второй ясно отмечает Ее след, но не обязывает к вере в тожество Ее и божьей матери, т. е. в полное воплощение Ее в божьей матери. Тем менее обязывают к такой вере примеры других писаний, кроме священного (Офелия, Г р е т х е н, наша современность). [Все это, конечно, говорю от себя]. * Величайшим п о н я т и е м, которое мы можем вместить, является Конец Мира, а потому это понятие несомненно связывается с Ней. В св. писании намеки о Ней также несомненно связаны с Концом. Эти два понятия (Она и Конец) в совокупности бросают более ясный свет на всю картину настоящего и прошедшего. Под их «влиянием» (Ваши слова «Она влияет»), рассматривая, например, лица людей, можно уследить на них мерцанья (помогут ли они «мгле»?) Тут уже начинается не равнодушие, а соблазны: 1) «образы» ли, только, или идущие навстречу «прообразы»? 2) «Может ли прообраз стать тем, что он прообразует»? Чей образ отразился на данном лице — Ее или Астарты? 1) Образ не довлеет Концу. Концу довлеет только прообраз. Мысль о Ней в с е г д а носит в себе зерно мысли о Конце. Значит, если лицо носит *Ее* печать, оно прообразует нечто. Вопрос переходит непосредственно к 3-ему — чей образ отражен? 2) Этот вопрос черпает утвердительный ответ только в к р а й н е м мистицизме. Во всех «меньших» случаях прообраз никак не более «обещания», и напряженность в нем (стремленье стать собственной целью) отсутствует. 3) Вопрос, по-моему, с а м ы й с у щ е с т в е н н ы й, ответ на который может быть не утвердит[ельным] или отрицат[ельным], а утешительным или неутешительным. Соблазны: Астарта незабвеннее Ее в жизни; Астарта, действительно, «переплетается» вокруг Нее. Не утешительно ли здесь констатир[овать] такой факт: Астарта выражена всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия (в широк[ом] смысле, если его выразить прямой): в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике (физиологич[еские] центры — головной и спинной мозг). Первое ясно. Второе подтвержд[ается] примером послесократовских и софистических школ.

О н а изгоняет ту и другую чувственность. Астарта «подвижна», так что одно претворяет (из вышеуказ[анного]) в другое в один миг.

* Прямые скобки — в подлиннике.— Р е д.

Она — Неподвижна. Это — один из главных (если хотите, — символом уже, — может служить разноцветнос и синтезирующая одноцветность Ее). Главным «утешением», одна ется, я думаю, *не* диалектическое развитие различия Ее и Ас а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это — пр мистическом состоянии. Но вопрос столь краеуголен, что необходим ввести скептицизм. Сначала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистиц[изма]) остается «незабвенной» одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе — религиозные краски. На такой, вполне невыгодной, позиции стоит логический угол зрения на Нее. Впрочем, едва ли Вы назовете его истинно логическим, а между тем я затрудняюсь совсем залезть в холодную воду и хочу разбавить логику хоть своей психологией. На Ваши вопросы я не ответил вполне прямо и не знаю, возможно ли это? Все таки, попробую придти к некоторым заключениям. Вы верите «больше всего знанию», непосредственному, как я понял (если не так, то я вполне неудовлетворит[ельно] ответил Вам на вопросы). Если это так, то, пожалуй, на почве этого непосредств[енного] знания нельзя быть более логичным (предмет не соответствует чисто логическому способу его рассмотрения), даже во имя «многострунности».

Итак, мыслить о Ней приходится все реже и реже. Но «усвоенные» мысли о Ней таковы: Она единственна в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет, ощущение Ее странно и в высшие моменты вполне отлично от Астарты. Здесь выступает Ее Неподвижность. Однако же, хотя и по известному мистическому шаблону следует не придавать Ей никаких определений по существу, только уви вая мысль о Ней розами хвалы.

Милый Борис Николаевич! Вы знаете все это. Мне кажется, что ничего нового Вам не уясню. Я ведь только наметил пункты ответов н самые существенные Ваши вопросы. Главное, на чем здесь должна мне кажется, остановиться мысль, — это предварительный скептицизм, даже самый грубый, «оправдывающий» забвения о Ней врожденный нам. Он лежит в основе мистицизма, построенного не на песке, и составляет тот «страх», который «изгоняет совершенная любовь».[6] То, что лежит за гранью скептицизма точнее познается молчаньем логики. «Очистку совести» я понимаю, но не хочу с ней согласиться, именно в силу одного из главнейших моих пунктов: Добр Христос, но не Она, потомучто Она—Окончательна. Совесть же в отношении к Ней явилась бы мерилом Добра. Она, если Добра, то лишь в эстетических воплощениях (у поэтов), напр[имер], у Фета (Пой, добрая[7]) или у Бодлэра (A la très bonne). Сознание же о Ней едва ли углубилось со времен Гете, оно, пожалуй, только расширилось вместо «помещения» Ее Престолов «по ту сторону», теперь «помещают» и по сю сторону. Иначе говоря, «благосклонно» расширяют Ее «территорию» и «сферу власти». Грех этой благосклонности лежит, разумеется, на поэтах, которые молчанию не научатся. Но не нужно ли и *им* замолчать? И это для меня под сомнением. Правда, что поэты дорого платятся за свои хвалы. Пример яркий и недавний:

«Ландыши в долине,
Белый снег на синей,
Синей ризе, пена рек,
Книг невинные страницы —
Только лик моей сестрицы —
Вечный, вечный снег».

(Дм. Фридберг)[8]

Я ничего не слышал об Анне Николаевне Шмидт, и не получал от нее письма. Отсюда я скоро уеду (около 30 июня), так что лучше пишите мне так: Никол[аевской] жел[езной] дор[оги] станция Подсолнечная, сельцо Шахматово, А. А. Блоку. Помните, что если Вы приедете, я буду очень рад, но если задержат дела, — не рассержусь. Я не имею никакого понятия о Сереже. Если напишете, где он, буду Вам очень благодарен. Пишите, пожалуйста, хотя отвечаю Вам часто не по существу Ваших вопросов. Но все так ново и странно, несмотря на частые скептические выходки ума.

Преданный Вам и любящий Вас

Ал. Блок

P. S. Пришло письмо от С. Г. Карелиной, из которого я узнал, что Сережа у нее в Трубицыне.

[1] См. стих-ие Белого «Ласка» (стр. 24 наст. издания).
[2] См. стих-ие Белого «Возмездие» («Золото в лазури», стр. 229):

Но стою я, как идол над кручей,
Раздирая одежды свои.

[3] Из стих-ия Тютчева «А. А. Фету»:

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел,
Не раз под оболочкой зримой
Ты самоё ее узрел.

[4] Из стих-ия Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche».
[5] Слова церковной молитвы.
[6] Цитата из «Первого послания Иоанна» (IV, 18); впоследствии Блок взял это изречение эпиграфом к драме «Песня Судьбы».
[7] Из стих-ия «К музе».
[8] Среди бумаг Блока сохранился автограф стих-ия Д. Фридберга, откуда взята эта цитата; 2-й стих здесь читается иначе: «Белый пух на синей».

20. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

14 июля <1903. Серебряный Колодезь>

Милый, дорогой Александр Александрович,

Только 1-го июля получил Ваше письмо, помеченное 18-тым. У нас долго не ездили в город. Вероятно, оно пролежало на почте. Если я не сразу Вам ответил, так это потому, что отвратительно себя чувствую. Какой-то нервный упадок сил. Впрочем, теперь мне немного лучше.

Многое накопилось у меня сказать Вам, но бумага часто не выдерживает того, что доступно голосу, интонации, жестам, особенно, когда созерцание указывает на все более утонченные оттенки *все того же*, а слова остаются все так застывшими. Вот почему мой девиз — молчание, особенно в печати, выражающийся, если угодно, истерическим «бунтованьем». Я первый знаю, что это и смешно и внешне, но коснувшись того, чему нет названья — умолкаю. И вот роль *юродивого*, анархиста, декадента, шута мне послана свыше. С покорностью принимаю ее. Что же касается *до главного пункта нашей переписки*, то прежде всего — я вопрошающий, вопиющий, обнажающий пристрастие к мысли, к *заветному* души, протестующий, для собственного «закала» подчас срывающий *ви́дения* Вот почему *даже Вам* я задал столько внешних вопросов. Прочтите же без содрогания и нижеследующие мои слова: они — только покров, наброшенный на меня, покров, с которым *еще не* пришло время мне расстаться.

Позвольте возразить Вам прежде всего относительно Вашего понимания скепсиса.

Противоположения между критицизмом и символизмом (внешним термином мистицизма) — не существует для нашей мысли. Второй (т. е. символизм) есть только углубленный критицизм, причем процесс углубления совершался не только в тайниках мысли, но и на протяжении всей истории философии от Канта до наших дней, открыто, среди бела дня. И если спали те, которые не подозревали, куда ведет переживаемый кризис, так в этом не повинна ни мысль, ни критицизм как миропонимание (я не упоминаю о скептицизме как о чем-либо самостоятельном, ибо это — только серединность, не имеющая никакой подкладки, это только «здравый смысл», который учит, например, что солнце ходит вокруг земли, земля неподвижна и т. д.). Кантовская теория познания есть необходимый переход от плоского миропонимания к глубинному — вернее начало перехода, ибо конец его необходимо в символизме и т. д.; это своего рода доказательство от противного или по гениальному определению Шопенгауэра — огромный скачок от посылок к основанию (подразумеваемому у Канта и выясненного лишь после Соловьева, Ницше, т. е. в наши дни). С замечательным остроумием Шопенгауэр подробно останавливается на необходимости рассмотрения Канто-Платоновской системы, а не Кантовской или Платоновской в отдельности, находя, что Кант и Платон — две половинки, которые всегда подразумевали себя (Платон — Канта, Кант — Платона). Если и возможно сомневаться относительно Платона (подразумевал ли он Канта), то многое говорит в пользу существования у Канта чего-то своего интимного с платоновским оттенком. Наша философская система, если официальное существование ее необходимо, не должна обходить ни Канта, ни Платона, а преодолевать того и другого. Мы должны уметь спускаться к Канту, если претендуем на духовное руководство — мы, мистики... В настоящую минуту вот конспект огромного перелома, внешний рычаг, перевертывающий многое:

Кант. Существует мир нуменов, недоступный нам (многие, желая внести поправку, говорят «недоступный мышлению», но они вносят серединную поправку). Шопенгауэр. Кант строго определяет сущность понятия, не останавливается на связи между понятием и тем, что рождает его. Отсюда даже он путает формы закона основания. Следствием является непризнание Кантом интуитивно-психологического (гениального) мышления, на стороне которого все преимущества.

Ницше. Признавая метод психологический, Шопенгауэр не делает всех важных выводов, вытекающих из признания его, что стоит в связи с пониманием воли метафизической — этого абстрагированного понятия — как некоторой сущности. Есть лишь «моя воля». Отсюда «эго-теизм».

Гартман. Бессознательное заключает в себе и волю, и представление. Подстилая явления, будучи их фоном — бессознательное и есть то, что Шопенгауэр неверно считал метафизической волей. В нем (в бессознательном) тонет все личное (и воля между прочим). Отсюда «пан-теизм». Метод откровений (см. о мистиках у Гартмана).[1]

Мой метод — есть откровенный и истинный эго-пан-теизм современной теософии, признающей в личном начале человека вечной сущности, а следовательно и Кантовская теория познания меняется (теория познания Соловьева), соединение личного с вечным в символе (символизм) и наконец высочайшая формулировка новой и вечно-старой тайны о двуединстве...

Вот наше *знание* твердое, уходящее корнями во все системы мысли, но само *оно* не мысль, а именно «*знание*», уверенность, к которой необходимо пришло, приходит и будет еще долго приходить разделенное человечество. Назад пути нет: критицизм, лежащий глубоко в основе этой уверенности, запер обратный выход. Не могут быть теперь разговоры о схоластике и несхоластике, рассудочности и нерассудочности, ибо что такое рассудочность? Воистину она лишь межа между досознательным и сверхсознательным и межа *хорошая, верная, нестираемая*. Не может быть речи о сознании, как о чем-то противоречащем мистике. Может ли противополагаться безотносительное отношению? Речь может итти лишь о ступенях без- и сверх-сознательного, оттененных сознанием, и в этом великая польза его.

«*Два преобладающих настроения — мистическое и скептическое*»... «*Скептицизм лежит камнем на дороге и объехать его нельзя*» (Ваше письмо). А я прибавлю: «Да и пусть себе лежит камнем... Объезжать его совсем не надо»...

Если скепсис и может преградить путь, то это только житейски здравомыслящий скепсис, приводящий к очевидностям вроде: земля неподвижна, а солнце вертится вокруг земли и т. д. Сжечь его — значит углубить его до критицизма и еще далее углубить: привести к символизму. Да для этого великого дела следует объездить все дороги, ища *камней преткновения*, привить себе все сомнения и недоумения, чтобы все преодолеть. Так как человечество растянулось длинной вереницей и в то время как немногие идут от сознания к *знанию*, большинство еще только поднимается от бессмыслия к мысли и сознанию. Следовательно, чем больше скепсиса вокруг нас, тем *все таки* лучше, ибо человечеству нужно пройти «*сквозь строй*» и чем скорее, тем лучше... Слыша о распространении атеизма, о гонении на христиан, я часто радуюсь, ибо все больше и больше подготовляются *они* к пониманию вершинных глаголов.

«*Скептицизм*» — само это слово исчезнет!.. Возьмите древнеиндусские прозрения вроде Веданты и Иоги, или позднейшие вроде Багават-Гиты — там «*уже*» нет наших «*камней преткновения*». С этой точки зрения богословская диалектика для *сознающих и знающих* может осветиться иным светом: все это может оказаться тончайшими *ви́дениями*, противополагаемым тончайшим же *ви́дениям*; диалектика в ви́дениях возникает из желания разогнать существующие в «*методах искренности*» оптические бездны, обманы, аберрации и т. д. (лично, например, я считаю столь излюбленное *ви́дение* бездны под ногами *оптическим феноменом*, где уклон *по ту сторону* принимается за бездну в силу изменения направления уровня в противоположную сторону; точно так же «*безбрежность*» пробуждающегося хаоса — оптический феномен). Вот почему лично я не смотрю на свои вопросы, как на диалектику, схоластику; это даже не *психологический вопросник*, а вопросы о «*ви́дениях*», выраженные намеренно сухо и внешне, но зато сознательно внятней.

< . . . . >

Дорогой Александр Александрович, к моему прискорбию некоторые обстоятельства не позволяют мне покинуть мою маму, которая после кончины отца очень скучает, и я не могу быть у Вас на свадьбе.[2] От души поздравляю Вас и желаю Вам счастия — Христос да будет с Вами.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. Будьте любезны, пришлите мне Ваших стихов, я так *привык* к ним, так люблю и ценю их...

Чтобы получить их наверное, посылаю Вам в свою очередь свои, но предупреждаю — они не интересны (внешни).

P. P. S. Напоминаю Вам о карточке, которую Вы мне обещали.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

I

Пронизала вершины дерев
Желтобархатным светом зоря.
И звучит этот вечный напев:
«Объявись — зацелую тебя»...

Старина в пламенеющий час,
Обуявшая нас мировым, —
Старина, окружившая нас,
Водопадом летит голубым.

И веков струевой водопад,
Вечно грустной спадая волной,
Не замоет к былому возврат,
Навсегда засквозив стариной.

Песнь все ту же поет старина.
Душит тем же восторгом нас мир.
Точно выплеснут кубок вина,
Напоившего вечным эфир.

Обращенный лицом к старине,
Я склонился с мольбою за всех.
Страстно тянутся ветви ко мне
Золотых, лучезарных дерев.

И сквозь вихрь непрерывных веков
Что-то снова коснулось меня, —
Чей-то грустно-задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя...»

2

Проповедуя скорый конец,
Я предстал, словно новый Христос,
Возложивши терновый венец,
Разукрашенный пламенем роз.

В небе гас бархатистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня троттуар,
Удивленно внимали речам.

Хохотали они надо мной,
Над безумно-смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой
Застывала, дрожа над челом.

Гром пролеток, и крики, и стук,
Ход бесшумный резиновых шин —
Липкой грязью окаченный вдруг
Побледневший утих арлекин.

3

Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь.
В голубом
Все застыло, искрясь.

И звучит из дали:
«Я так близко от вас,
«Мои бедные дети земли,
«В золотой, янтареющий час...»

И под тусклым окном
За решеткой тюрьмы
Ей машу колпаком:
«Скоро, скоро увидимся мы»...

С лучезарных крестов
Нити золота тешат меня...
Тот же грустно-задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя!»...

Полный радостных мук
Утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
Сумасшедший колпак.[3]

НАЧИНАНИЕ

Из царских дверей выхожу.
Молитва в лазурных очах.
По красным ступеням схожу
Со светочем в голых руках.

Я знаю безумий напор.
Больной, истеричный мой вид, —
Тоскующий взор,
Смертельная бледность ланит.

Тоске вашей нужно огня:
Дарую огонь свой — тоскуйте...
Целуйте меня,
Целуйте...

Безумные грезы свои
Лелеете с дикой любовью,
Взглянув на одежды мои,
Залитые кровью.

Поете: «Гряди же, гряди»...
Я грустно вздыхаю.
Бескровные руки мои
На всех возлагаю.

Ну, мальчики, с богом,
Несите зажженные свечи!..
Пусть рогом
Народ созывают для встречи...

Ну что ж — на закате холодного дня
Целуйте мои онемевшие руки,
Ведите меня
На крестные муки!..

СМЕРТЬ

1

Гряда облаков
Отходит, как волны событий —
Как яснонемых жемчугов
Далекие нити.

На небо вернусь
Средь ясного часа.
Опять завернусь
В кусок голубого атласа.

Закатом блесну,
Горя в светомирных порфирах.
Опять утону
В эфирах.

Вас будут терзать
Вселенские бури,
Но буду я спать
В лазури.

Я брызну средь ясного дня
На вас золотыми снопами.
Узнаете снова меня,
Я буду над вами.

Когда, заблистав, как снега,
Вновь тучки на вас понесутся, —
Когда жемчуга
Прольются.

2

Для пророка, отца своего,
Мы построили храмы.
Не забудем его
Никогда мы.

Его нет. Он исчез.
Дни бесцветные, полные скуки...
Протянулись с небес
Вдруг снеговые руки;

Опустились воздушным кольцом
Средь тоскующих братий
И забылися сном
Среди облачно-бледных объятий.

Улыбнулись меж солнечных роз
В жемчугах ясных струй.
Ветерок нам принес
Поцелуй. [5]

[1] Белый ссылается на «Философию бессознательного» («Philosophie des Unbewussten») Э. Гартмана (1869). На русском языке философская концепция Гартмана была изложена А. А. Козловым под заглавием «Сущность мирового процесса» М., 1873—1876).

[2] Когда С. Соловьев известил Блока, что не может быть на его свадьбе, тот писал ему (9 августа 1903 г.): «Скажу тебе откровенно: когда отказался быть Андрей Белый, я не почувствовал такого огорчения, как теперь. Потому что его лицо еще в тени для меня...» («Письма», стр. 53).

[3] С посвящением Д. Мережковскому и с дополнительной строфой вошло в «Золото в лазури» (стр. 17).

[4] Под заглавием «Мания» и без третьей строфы вошло в «Золото в лазури» стр. 238).

[5] Вошло в «Золото в лазури» (стр. 54).

21. БЛОК — БЕЛОМУ

1 августа 1903. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Ваше последнее письмо прекрасно. Этим мне хотелось бы выразить Вам все многостороннее впечатление от него для того, чтобы приступить прямо к ответу.

Позвольте отвечать Вам не по порядку, а по мере встречи с излюбленным. И простите «интимности», если таковые встретятся.

Конечно, Вы «слишком рано встали над кручей».[1] Весь стиль звездной плеяды Ваших писем и творений свидетельствует о «бодром» настроении умытого серебряной росой, стоящего в сырости окна, звенящего в стекла, надеющегося на пробуждение... Они спят, Вы знаете сами, спят даже «открыв рот», посвистывая носом. И я говорю об этом именно потому, что Вы знаете это, может быть, лучше меня. «Озлобленный вздох» в миллион раз лучше благодушного позевывания. Ей богу, если они проснутся, у них только расстроятся желудки.

Это — рассуждение чисто «светское». Мне хотелось только начать с него, в виде «вступления». Но мне не выдержать его, и я перейду к «духовному».

Скорее всего, я не так выразился, когда писал Вам о скепсисе. Я хочу понимать его шире, *не* как филос[офскую] систему, *не* как житейскость.

Я думаю о скепсисе, который достоин содроганий. Его не надо «объезжать», но его и преодолевать рано. Что, если на нем строить?

Вечное призывание стóит мéньшего, чем один огненный взгляд, одна улыбка, один жест, застигающий врасплох, кинутый людям, поднявший волосы на их голове. В одном из прежних писем Вы предположили возможность «ухода, забвения и начинания».

Уйти и забыть нам нет сил. В этом — живая основа того скепсиса, о котором я говорю. Хорошо бы, ах, как хорошо, скажу я, остановиться, оглядеться, возрадоваться на все феноменальное, замереть от счастья перед «кажущимся», «являющимся» (φαινῦμευου). Розанову хочется, может быть, устроиться так, но вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т. е., как всегда—борьбе, страдании и беспокойстве). Те, котор[ые] приблизились однажды (хоть однажды!) — не забудут, — и уже этот крест тяжел. Нельзя забыть, и дверь прочна, только златотканный покров, образ на груди, восковая свеча в восковых руках — укажут на вечно-звездный путь.

Я к ночи сердцем легковерней,
И буду верить как-нибудь,
Что жизнь, гася мой свет вечерний,
Укажет мне на звездный путь.

Полонский

Я допускаю возможность нежелания проникнуть. Возможность желания обойти, уйти, забыть, сотворить крестное знаменье, прошептать слова заклятий, слова о пощаде. Невозможно! *«Они»** застигают в пути, застигают в восторге. «Она» — Одна приносит царственность, «они» — клеймо. Тут — мое «виденье», оно другое, чем у Вас. Цветов нет. Поднимается изнутри, застилает окружающее. Я не хотел «скепсиса», теперь — хочу, потомучто знаю неизбежность другого. Помню — не забываю, уходя, не ухожу. Хочу молчать «по-человечески» примитивно, чаще и чаще предпочитаю это «истерическому бунтованью». Благодаря тому, что Вы в Вашем письме поставили окончательные грани (в вопросах о Христе и феноменальности пола) — пишу Вам, по крайней мере, искренно, не то, что «признаюсь», а говорю опять-таки под строжайшим вопросительным знаком: зачем бы мне был подобный вышеописанному скепсис?

Вот зачем:

1) Еще (или уже, или никогда) не чувствую Христа. Чувствую *Ее**, Христа иногда только понимаю.

2) Страдаю (?) крайним *индивидуализмом** (вытекает из первого?): люблю «махать колпаком» и не хочу «крестных мук».[2] Не чувствую участия народа и общества в Ее Благодати. В жизни иногда отделываюсь презрением. Пишу стихи по преимуществу.

3) Вытекает из второго: страдаю ленью (как в узком, так и в широком смысле (обладая малым запасом положительных знаний), не чувствую глубокой потребности в них и нахлобучиваю метафизические фуражки то с тоской, то охотно.

4) *Боюсь еще** (м[ожет] б[ыть], перестану бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня сильно (при жизни Мих[аила] Серг[еевича]). Не переставая «тянуться в голубоватую мглу», рискую встретиться чорт знает с кем. Угрожающие симптомы: никогда не предполагаю феноменальности пола, *хотя** это непременный (с точки зр[ения] единства) вывод из Соловьевских слов, цитированных Вами (о перенесении животн[ых] отнош[ений]... велич[айшая] мерзость[3]). Но...

...Не знаю внезапной причины, —
...Приходят веселые дни
(А. М. Добролюбов!!!)

Вот, это главное.

Однако, я знаю, что Она отлична от Трехвенечной. Знаю внутренно. Каково же отношение аскетизма к обеим — не знаю... Все время ношу в себе неизгладимое подозрение: не исключает ли чистое (?) служение, пребывание «в свете немеркнущем Новой Богини»[4] — необходимость и самую возможность поэтического творчества? Еслибы не стояли на пути постоянно пленительной загадкой стихи Соловьева и, в последнее время, Ваши, — я сказал бы утвердительно: исключает. Скажу даже так: именно Ваши стихи: они удивительны мне особенно по одной причине: при крайнем богатстве формы, еще более крайнем — содержании и, наконец, главное, субстанции (неизреченности) — *полное** отсутствие «натуралистических» образов (при реальности их). Вы купаете вещи в эфире, насыщаете их «горным воздухом». Даже «кентавры» таковы, даже Сомов![5] Я бы сказал, что Ваши стихи безгневны — и сам Соловьев гневнее Вас в стихах. У него «созревший расцвет», «сладкая тоска».[6] Несравненно «бесстрастнее»

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

«Ей машу колпаком:
Скоро, скоро увидимся мы»,[7]

м:

«К нам скорей через запад дождливый —
Для тебя мы безоблачный юг».[8]

И вместе — равно пленительно.

Напрасно сказали Вы, что эти стихи Ваши (последние) неинтересны. По-моему так: первые (в письме) мне понравились далеко не все, дальше в «Сев[ерных] Цв[етах]»[9] — гораздо больше и полнее, эти же всего интереснее (хотя формы в Сев[ерных] Цв[етах] есть лучше). Соловьев и особенно Вы — не задыхаетесь от песен, как Лермонтов, как даже Тютчев, как маленький, но важный Апол[лон] Григорьев, Фет, Полонский — как все, кто поет ныне (Бальмонт, Брюсов, Сологуб). И это — непонятно мне. Соловьев, например, не усумнился в «бесплотскости» «Царь-Девицы» Полонского[10], а я думаю наверное, что «яркий, влажный глаз», роняющий «ключи и капли слез»[11], есть несомненный символ Другой... Ваши образы не имеют ни одной точки соприкосновения с этим. Загадка для меня.

Возвращаюсь к покинутому. Уйти и забыть нельзя. «Начинать?» Или это *то же* *, что «будем делать» из «Судьбы Гоголя», из II тома «Толстого и Достоевского»? Не хочу, не верю, если это то же. Ах, я перечитал «Войну и мир», прочел юношеские творения Достоевского. Этим отрезал себя от II тома, слава богу, не хочу, не боюсь больше. Больше того: *лучше* * скажу крупную пошлость: «его» жена умнее «его» (Мережковские).[12] Извините...

Конечно, мне не хочется этого тона капризной дамы. Но я не трепещу перед «тайновиденьем плоти» и «тайновиденьем духа» — этого нет.[13] Ужаснее открыть окно в лунную ночь. Великолепнее услышать без слуха песню, голос.

Ваше «начинать», думаю, не то. Ваше «начинать» ужаснее, чем в стихотворении «Начинание».[14] Оно неизъяснимо?

Ваш «эсотеризм» я нежно люблю. Не надо дальше. Это просто вытекает из самого важного для меня расхождения с Вами: Вы любите Христа больше Ее. Я не могу. Знаю, что Вы впереди — без сомнений. Но — не могу. Отсюда происходит: у Вас устранена часть мучительного, древнего, терзающего меня часто, мысленного соблазна: «вечной мужественности». Оттого Она мне меньше знакома. Оттого я кутаюсь часто в старый халат (символически). Мне бы место у настоящих декадентов — без дна и покрышки. Но часто не хочется — и отступаю еще назад.

«Там стерегут мое паденье
Веселых ангелов четы».[15]

Милый Борис Николаевич, спасибо Вам за Ваши пожелания. Пожалуй, Вы не захотите писать, ужь очень я высказался во многом «плоско». Я непременно пришлю Вам карточку, когда снимусь (думаю, скоро). Будьте здоровее, мне очень хотелось бы с Вами познакомиться. А вот — стихи, но я-то ужь предупреждаю справедливо, что они неинтересные и внешние, хуже прежних.[16]

Любящий Вас Ал. Блок

P. S. 18-ого я уже буду в Петербурге — на прежнем месте.

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

[1] См. стих-ие Белого «Возмездие» («Золото в лазури», стр. 229).

[2] См. стих-ия Белого «Вечный зов» и «Начинание» (стр. 40 и 41 наст. издания).

[3] См. предисловие Вл. Соловьева к 3-му изданию его стихотворений.

[4] Цитата из стих-ия Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche».

[5] Имеются в виду стих-ия Белого: «Кентавр», «Игры кентавров», «Битва кентавров» и «Песнь кентавра» («Золото в лазури», стр. 124—132) и цикл «сомовских стилизаций — «Прежде и теперь» (там же, стр. 63—103). Ср. заметку Блока в записной книжке (от июля — августа 1903 г.): «Мистический скепсис (задумчивость). Отсутствие натурализма в стихах Бугаева» («Записные книжки», стр. 33).

[6] В стих-иях: «Воскрес[illegible]у» и «Лишь только тень живых, мелькнувши исчезает».

[7] Из стих-ия Белого «Вечный зов» (см. стр. 40 наст. издания).

[8] Из стих-ия Вл. Соловьева «Белые колокольчики».

[9] В альманахе «Северные цветы на 1903 год» (стр. 26—38) был напечатан большой цикл стих-ий Белого — «Призывы».

[10] См. статью «Поэзия Я. П. Полонского» («Собр. соч. В. С. Соловьева», т. VI, стр. 620—622).

[11] Из стих-ия Полонского «Царь-девица», по поводу которого Вл. Соловьев писал: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали... „женственную тень" но немногие... ясно говорят о ней; из наших яснее всех — Я. П. Полонский... Никто, после Шелли, не указал с такой ясностью на сверхчеловеческий, „запредельный" и вместе с тем совершенно действительный и даже как бы личный источник чистой поэзии» (там же, стр. 620).

[12] Речь идет о З. Гиппиус, жене Д. Мережковского.

[13] См. прим. 15-е к письму № 1.

[14] См. стр. 41 наст. издания.

[15] Стихи Блока («Стремленья сердца непомерны»).

[16] Стихи при письме не сохранились, но из ответного письма Белого выясняется, что в числе их были: «По городу бегал черный человек» и «День был нежно-серый, серый, как тоска».

22. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

19 августа 1903. Серебряный Колодезь

Милый Александр Александрович!

Великодушно простите — я не понял Вас: ввиду того, что я понимаю то отношение к действительности, которое у Вас является скептицизмом «в общем смысле», как критицизм (не в философском разумном, а в разумно-мудром смысле), я и позволил себе так много возражать. Меня смутили слова. Так: критицизм Канта я отличаю от критицизма Ницше лишь дальнейшим видоизменением того же Кантовского критицизма. Скептицизм в Вашем смысле обнимает и теоретика Канта, и символиста Ницше. В принципе такого скептицизма уж не существует. Его превзошли. На деле еще предстоит преодолеть, чтобы строить на нем (Ваше: «Но его и преодолевать рано. Что если на нем строить?»). Вот именно для того, чтобы стать на нем, как на фундаменте, его и нужно стараться преодолеть. А то как же строить на непреодоленном? Да и наконец следует преодолеть, чтоб замолчать, отделаться. Смотрите как пыжатся рассуждать философы теоретики (Кант, Фихте, Лотце, Шопенгауэр) о внутренней сущности, и однако при всем богатстве форм ни одного субстанциального определения. Никакого знания. Разве Шопенгауэр. Нет, и это сомнительно. Ницше только усмехнется их стараниям да и в праве не понимать, опровергать их, глумиться: «Что это еще за птица — внутренняя сущность? Что это за журавль в небе?!..» И однако синицу-то в руки он несомненно дает и при этом не заявляет никогда ничего формально (как человек, уличенный в благодеянии, краснеет и сердито бормочет: «Что за глупости! Никакого благодеяния я не сделал. Мне же выгодно»...). А между тем Кант в своем фигурном синтезе (Кр[итика]

Чист[ого] Раз[ума], стр. 111—113) и трансцедентальных схемах (Кр[итика] Чист[ого] Раз[ума], стр. 137, 138[1]) тщетно тщится[2] и потом разражается непримиренностью, оффициально сохраняя за собой роль блюстителя порядка у запертой комнаты Вечности, охраняя Вечность от всяких «мальчишек мысли» (вроде Ницше). Узнаю тебя, папаша Кант, —старая обезьяна!.. Узнаю вас, неокантианцы — «философутики», преждевременно впавшие в детство кретины!

Они спят, живые мертвецы. Нет они делают хуже, чем Вы говорите: они не только расстраивают себе желудки, но они имеют наглость, просыпаясь, подмигивать Вам: «Мы тоже понимаем... И мы декаденты... И мы разлагаемся (??!!??)... Что может быть ужаснее проснувшегося трупа?.. Не знаю, как у Вас в Петербурге... У нас несносен этот многочисленный тип подмигивающих «не о том»... Неврастенические барышни, «несносные декадентские дамы» и всесторонние вьюноши, помешанные на эрудиции... Бывали случаи пробуждения старцев — это ужасно... Утешаюсь, что это только в Москве, а уж давно решено, что Москва — декадентский городок... Я как и Вы враг всяких поспешностей, основанных на легкомысленной позе и глупом желании не дать себя догнать. В теоретическом отношении я консервативен: рано отказываться от философии, как то пытаются Брюсов, Бальмонт и др... Надо суметь преодолеть. Надо, уходя, оставлять вехи. Слишком легко летать без границ с легким багажом: как бы не перелететь, так что и примитивной рассудительности лишиться, и глубины перспективы (эзотеризма) не дать, что и случилось с «Новым Путем» — этой бессодержательной опереткой в журналистике.

Я ценю Розанова, но и он не вытанцовывается ни во что (боюсь как бы не оказался и *он* пустоцветом). В самом деле: хотя бы в вопросе о браке: дает ряд глубинных созерцаний (с которыми я не согласен очень часто), бросает их мимоходом, высвечивает то здесь, то там жизнь; две альтернативы: или совокупность прозрения в одно целое, придают к этому зерну ходы от обыденности, т. е. дать понять и «малым сим», или же молитвенно преобразить себя, на себе показать. А то ведь нельзя же в сотый раз в все в тех же выражениях все то же писать... Брюсов верно пишет мне: «Он (Розанов) прилагает свои откровения, виденные им при „сапфирных" молниях, к вопросу о петербургских мостовых. Не разобрав в чем дело, он при всяком стечении народа начинает кричать: „Что? Пол? Мистическая тайна брака? Центр тяжести в сокровенном месте! Приложение силы в точке деторождения"» и т. д.

Губит, губит Розанова многописание и благодушество. А это редкий, блестящий, несравненный талант... А потом, зачем он религией прикрывается и почтенных протоиереев морочит?

Люблю «махать колпаком» и не хочу «крестных мук»...[3] А ведь после мук-то приятней махать колпаком. Тогда-то и махать... А то ведь можно намахать из голубоватой мглы чорт знает чего и кого (Ваше: «рискую встретиться чорт знает с кем»). Всякой дряни «ноне» бродит «чортова тьма», малюет на полотне «райские прелести» и многие из Ваших петербуржцев никак неспособны отличить светящееся изнутри от намалеванного (говорят кто-то желал полететь в бездну «вверх пятами», а наткнулся на протянутый картон, где оные страсти были старательно разрисованы... Очинно удивлялся...). Нет, слишком рискованно похерить Соловьева, а его ой-ой как желают похерить... Да костист больно — не проглотишь, жиловат — не прирежешь..

Ваши стихотворения мне очень нравятся, хотя и менее, чем те, которые Вы мне прислали в предыдущую присылку (еще зимой).

А странны они... «Черные человечки»[4] — ой знаю, знаю... У Вас в Петербурге, говорят, этого еще больше. Странное дело: стихотворение «День был нежно-серый, серый, как тоска...», изумительное по глубинной реальности, незабвенности, мне напомнило Врубеля — этого никем неоцененного титана русской живописи... А это «Может быть, скатилась красная звезда»[5] — изумительно. И скатилась, скатилась, испугала нас: «И увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездн» (Откр[овение] IX, 1).

Никого нет, кроме Вас, кто бы так изумительно реально указал на вкравшийся ужас. Знаете, я боюсь: куда приведут такие стихи? Что вскроют, что повлекут за собой?...

<. . . . .>

Конечно, центр дела не в петербургских мистиках-символистах, подчас остроумно-талантливо передергивающих тексты и на этих передержках строящих замки. Конечно, не здесь центр дела.

А в народно-воплощенном деле суть. И оно незаметно началось. Суть не в стремлении воспользоваться нищетою духа современных оффициальных представителей церкви, — суть в незамутненном главном русле церкви — в событиях грядущих, носящихся над Саровом и Дивеевом, где почиет он — Серафим, склонявшийся всю жизнь у иконы матери божией умиления — «Всех Радостей Радости», «как он ее всегда называл, пред которой на коленочках во время молитвы и отошел, словно будто и не умер» (Летопись Серафимо-Дивеевского монаст[ыря], стр. 207). Стоит только узнать, какими великанами духа был окружен этот великан — маленький тихий старичок, убогий Серафим, чтобы центр исканий перенести от религиозно-философской болтовни в центр воплощения — к судьбам Ее Последней Обители (к Дивееву). Тут встают образы людей — то как огненный столб горящих, то как вознесенное веселье мчащихся в жизнь бесконечную. Тут дела. А не там дела, где искры несомненных прозрений перемешаны с позой, сомнительностью, двусмысленностью, так что слова о белых делах раздаются подчас из шафранных болот и трясин ужаса.

Серафим, Серафим!..

Только там мир, где тигры и леопарды ластятся, усмиренные у ног, только там счастье, Серафим, где пунцовый огонек твоей лампадки засвечен пред драгоценной могилой...

Серафим, Серафим!..

Только там истина, где Серафим радость уносит! Только там, Серафим, любовь, где твой голос призывно поднимается из бездны безвременья:

«Гряди ко мне, радость моя!..»

Да. Это так.

Милый, дорогой Александр Александрович, не бросайте же церкви, ни Соловьевских «костылей». Подай боже всем такие «костыли»

Христос с Вами!

Любящий Вас Борис Бугаев

P. S. Прилагаю несколько стихотворений. В обмен жду Ваших. Пожалуйста.

УСМИРЕННЫЙ

Молчит усмиренный, стоящий над кручей отвесной,
Любовно охваченный старым, пьянящим эфиром,
В венке серебристом и в мантии бледнонебесной,
Простерши свои онемевшие руки над миром.

Когда-то у ног его вечные бури хлестали,
Но тихое время смирило вселенские бури.
Промчались столетья... Яснеют безбурные дали.
Крылатое время блаженно утонет в лазури.

Задумчивый мир напоило немеркнущим светом
Великое солнце в печали янтарно-закатной.
Мечтой лебединой, прощальным, вечерним приветом.
Сидит, умирая с улыбкой своей невозвратной.

Вселенная гаснет... Лицо приложил восковое
К холодным ногам, обнимая руками колени,
Во взоре потухшем волненье безумно-немое...
Какая-то грусть мировых, окрыленных молений.[6]

ЗОЛОТОЕ РУНО

Э. К. Метнеру

Золотея, эфир просветится
И в восторге... сгорит;
А над морем садится
Ускользающий, солнечный щит.

И на море от солнца
Золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
Среди всплесков тоски.

Встали груди утесов
Средь трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
Полон крик альбатросов:

«Дети Солнца! Вновь холод бесстрастья
Закатилось Оно —
Золотое, старинное счастье —
Золотое Руно».

Нет сиянья червонца...
Меркнут светочи дня...
Но везде вместо Солнца
Ослепительный пурпур огня...[7]

ВЕЛИКАН

Потянуло грозой.
Горизонт затянулся.
И над знойной страной
Его плащ протянулся.

Полетели, клубясь,
Грозно-вздутые скалы.
Замелькал, нам искрясь,
Из-за тучи платок его алый.

Вот плеснул из ведра,
Грозно ухнув на нас для потехи:
«Затопить вас пора.
«А ужо всем влетит на орехи!..»

Вот нога его грузным столбом
Где-то близко от нас опустилась,

И потом
Вновь лазурь просветилась.

«До свиданья», кричал,
«Мы увидимся летними днями!..»
В глубину побежал,
Нам махнув своей шляпой с полями.[8]

БИТВА ГИГАНТОВ

В лазури проходит толпа исполинов на битву.
Ужасен их облик всклокоченный, каменнобелый.
Сурово поют исполины седые молитву.
По воздуху носятся красно-пурпурные стрелы.

Порою товарищ, всплеснув мировыми руками,
Бессильно шатается, дружеских ищет объятий.
Порою, закрывши лицо боевыми плащами,
Над телом склоняются медленно гибнущих братий.

Дрожала в испуге земля от тяжелых ударов.
Метались в лазури снега их воинственных бород.
И нет их... Зажженный огнем мирозлатных пожаров,
Плывет дымовой, многобашенный, тающий город...[9]

СТАРУШКА

Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
Сухая известка блестит
Запущенных барских строений.

Все те же стоят у ворот
Чугунные тумбы.
И нынешний год
Все так же разбитые клумбы.

В покоях стоит тишина.
На кресле потертом из ситца
Старушка глядит из окна.
Ей молодость снится.

Все помнит себя молодой—
Как цветиком ясным, лилейным
Гуляла весной
Вся в белом, в кисейном.

Он шел позади,
Шепча комплименты.
Пылали в груди
Ее сантименты.

Садилась, стыдясь,
Она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
Смотрел он, счастливый и гордый.

Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Все это уж было давно»...
Кукушка,

Хрипя,
Кричала...
А время, грустя,
Над домом бежало, бежало...

На старом балкончике хмель
Качался, как сонный,
Да бархатный шмель
Жужжал у колонны...[10]

P. P. S. Здесь я пробуду до 14-го сентября, а с 18-го адресуйте, если будете писать, на московский адрес. Думаю проехать в Саров. Зимой постараюсь быть в С.-Петербурге. У меня план — прочесть там две лекции. Если напишу, приеду прочесть.

[1] Ссылки на первое русское издание «Критики чистого разума» (перевод Владиславлева, СПБ, 1867).
[2] Из «Новогреческой песни» Козьмы Пруткова.
[3] См. стих-ия Белого «Вечный зов» и «Начинание» (стр. 40 и 41 наст. издания).
[4] См. стих-ие «По городу бегал черный человек».
[5] См. стих-ие «День был нежно-серый, серый, как тоска».
[6] Вошло в «Золото в лазури» (стр. 45).
[7] Вошло в «Золото в лазури» (стр. 7) в качестве первой части стих-ия «Золотое руно», служившего своего рода манифестом московского кружка «аргонавтов» (см. «Начало века», стр. 107—113). Об «аргонавтизме» см. во вступительной статье.
[8] Вошло в «Золото в лазури» (стр. 111).
[9] Под заглавием «Битва» и с вариантами вошло в «Золото в лазури» (стр. 117).
[10] Под заглавием «Воспоминание», с вариантами и с посвящением Л. Д. Блок вошло в «Золото в лазури» (стр. 86). Блок назвал это стих-ие «великолепным» («Письма», стр. 55).

23. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 сентября 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Сергей Алексеевич Соколов просил меня Вас уведомить, что ему было бы приятно получить от Вас стихи для декабрьского альманаха «Гриф». Книгоиздательство «Гриф» просит меня Вас уведомить, что за вещи, помещенные в альманахе, оно не платит гонорара. Высылайте или так: Знаменка, д. Фетисова, 20, в Книгоизд[ательство] Гриф. Сергею Алексеев[ичу] Соколову, или на мой адрес.

Срок высылки 15-го ноября.[2]

Весь Ваш Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] Блок переслал С. Соколову (Кречетову) 15 стих-ий (и несколько позже, в декабре, еще одно), которые все и были напечатаны в альманахе «Гриф» на 1904 г.

24. БЛОК — БЕЛОМУ

13 октября 1903. Петербург

Милый и дорогой Борис Николаевич.

«Осень озолотила»[1] и прошла.

В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде»[2]) идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать этого, а если бы имел, то не был бы в праве сообщать об этом даже Вам. Но теперь, теряясь в области предположений, хочу известить о них Вас непременно. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева. Лично у нас с ним как-то (даже когда-то, хотя я и знаю когда) нечто переплелось — большое и синеватое, потерявшееся потом в «лазурно-безмирном своде».[3]

Были кроткие взгляды, сторожевые окрики, кто-то подавал нам невидимые руки, когда мы шли над пропастью. Мне бы хотелось, чтобы и к Вам стекались похвалы этому человеку, хотя бы безъименные. Вы постоянно говорите (в статьях), что «многие не поймут, откуда Вы говорите». Признаюсь, что и я не понимаю, потомучто не знаю, откуда Вы вообще появились, и к Вам, по преимуществу, приложил бы Ваши слова:

«В венце из звезд, над царством скуки,
Над временем вознесены —
Застывший маг, сложивший руки,
Пророк безвременной весны».[4]

Я бы устыдился, сообщая Вам все мои мысли о Вас. Многого и сам угадать не могу, и из своих мыслей. Одно время я думал написать о Вас статью, но теперь мне кажется, что рано, потомучто все слова о Вас сплетутся с Вашими. В общих чертах, отдаленно-холодным взглядом окидывая, гипнотизируя дрожь Ваших слов, заставляя их хоть на мгновенье застыть, можно еще сказать (с грехом пополам), что Вы еще больше «лирик», чем «мыслитель». Но такое определение страдает ненужностью. Еще одно время я думал о Ваших «повторениях». Но думаю теперь, что нет повторений там, где совершается Ваше «литературное» шествие. С одной стороны, у Вас в руках очень тяжелая палка, которой Вы колотите нещадно многие из прежних «литературных образов», в том числе многие из современных. С другой — прозрачная кротость и песни задумчивой девушки. Едва ли кто-либо из наших современников внутренне синтетичнее Вас — столь небывалое сливаете и о столь невозможном поете. Ваши лекции, о которых Вы мне писали, и прежде еще говорил Сережа[5], были для меня сначала странны и дики. Мерещилось в них «обдуманное самоубийство» — обречение себя на невероятную усталость, на полную, может быть, усмиренность. Теперь, мне кажется, что и в лекциях Вы правы: они нужны. Тот «скептицизм», о котором я писал (мистический), лучше сказать ту задумчивость (так точнее) я простирал на что-то внешнее. Между тем, строго говоря, можно быть «задумчивым» и под градом камней, разумеется, неудачно брошенных (что и предполагается). «Застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны»...

Можно бояться сознательно только одного: своего ужаса. Нечто случилось. Может быть, новый звездный мост перекинулся, может быть, друга подняли замертво чужие люди. Тогда и ночью, как «среди белого дня», в складках завесы образуется неожиданный разрез. Он может испугать — Вы знаете.

Только этот испуг страшен. Он ведет к неизгладимому. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещены ручки и ножки. Они так высохли, и из лица, некогда прекрасного, стало «личико», сморщенное, маленькое. И голова ушла в плечи.[6] Ему останется одно в жизни: весенним утром, в оттепель зимы, — бегать по улице с лесенкой, тушить фонарики, плакать на дворе: Ах, какой серый город![7] А из города ему не выехать, в деревню не попасть — даже на билет III-го класса не хватит «средств». Он одиночествовал, он предавался лазурному плесканью, голубки ворковали жалобно, а ему, старому от рожденья лгуну, не пришло в голову зажечь лампадку. Красная лампадка, услышать тенор священника из струящихся седин бороды, чтобы «в сердце, сжавшемся до боли — внезапно прослезился свет...»[8] Не успел. И не всякий успеет зажечь свою лампадку. Потомучто лампадка у каждого

своя — и, увы! мы в этом еще глубоко, нескончаемо индивидуальны, да еще чтобы «продолжить удовольствие» носим маски и масочки. К чему? Я говорю, например, про Семенова. Зачем он никогда не решится «плакать при чужих». А, может быть, и решится? «Нос, как свечка» многое обещает. У многих из нас есть и были «носы, как свечки» — «восковые черты». Надо оживить, растопить. Если сам не растопишь, растопят другие. Это и будет страх, будет ужас. На такого человека испуганно взглянут сверху нежные личики, милые лилии ангелов. Пусть поскорее зажигает свою лампадку.

Так я женился.

Милый Борис Николаевич. Ваша «Старушка» так изумительна [9], что я даже откладываю писание Вам о Ваших стихах, кот[орые] Вы мне прислали. То же — про «Великана». Покорнейше прошу прислать еще. Благодарю Вас за краткое открытое письмо с кентавром, я уже послал стихи Соколову. Благодарю Вас вообще. Посылаю Вам два стихотв[орения], потомучто больше не написал еще. В обостренные мгновения, когда приходится «измерять глубину» своей и других жизней, Ваши слова помнятся. «Еще напевами объята душа светла и жизнь легка». [10] «Образ Возлюбленной, Образ Возлюбленной — Вечности». [11] Не рассердитесь, что пишу Вам всегда меньше, чем Вы мне. Это — оттого, что я не понимаю своих слов, когда их много, лучше, когда мало. А Ваших слов люблю много. Напишите, когда лекции, вообще напишите, если некогда, не торопитесь. Целую Вас и крепко обнимаю, люблю.

Ал. Блок

P. S. Пишу Вам на Сережин адрес, дорогой Борис Николаевич. Может быть, у Вас другая квартира.

Мой месяц в царственном зените,
Ночной свободой захлебнусь
И там — в серебряные нити
В избытке счастья завернусь.

Навстречу страстному безволью
И только будущей Заре —
Киваю синему раздолью,
Ныряю в темном серебре...

На площадях столицы душной
Слепые люди говорят:
— Что над землею? — Шар воздушный.
— Что под луной? — Аэростат.

А я — серебряной пустыней
Несусь в пылающем бреду.
И в складки ризы темно-синей
Укрыл Любимую Звезду. [12]

ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вечерние люди уходят в дома,
Над городом синяя ночь зажжена,
Боярышни тихо идут в терема.
По улице веет, гуляет весна...

На улице праздник, на улице свет,
И вербы, и свечки встречают зарю.
Дремотная сонь, неуловленный бред —
Заморские гости приснились царю...

Приснились боярам...— Проснитесь, мы здесь...
Боярышня сонно склонилась в окно...
Там кто-то тихонько ей шепчет: — Я здесь...
Но там — только утро... только утро одно...

Весеннее утро... Там утро... Там сон...
Влюбленные гости заморских племен —
И, может быть, поздних, веселых времен...

Влюбленная тучка... Жемчужный узор...
Там было свиданье... Там был разговор...

И к утру лишь бледной рукой отперлась,
Чуть розовым светом заря занялась.[12]

[1] Слова Белого (из опущенной части письма № 22, от 19 августа 1903 г.).

[2] Из стих-ия К. Бальмонта «Испанский цветок».

[3] Имеется в виду граф Александр Иванович Розвадовский, в то время студент физико-математического факультета Петербургского университета, товарищ И. Д. Менделеева (брата Л. Д. Блок). С. Соловьев, познакомившийся с Розвадовским на свадьбе Блока, пишет о нем в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке»: «Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским... Граф готовился к пострижению в монахи» («Письма», стр. 18 и 20). Слова Блока об «испанской звезде» имели особый смысл, поскольку у Розвадовского, по словам Белого, был «какой-то особый религиозный культ восходящей звезды» («Записки мечтателей», № 6, стр. 33). Блок называл Розвадовского «петербургским мистиком» («Письма», стр. 18) и 30 августа 1903 г. писал матери: «Розвадовский обладает крупной „Неподвижностью" и в сильной степени неприкосновенен. Надо от него ждать доброго. Он в высшей степени ободрительно тяжеловесен. Он внесет в кровь нашей священническо-немецкой мистики большую долю польско-политико-религиозной породистости и долю религиозного либерализма. Для синтеза (!!!) — важно» («Письма к родным», стр. 92—93). Вскоре после свадьбы Блока Розвадовский уехал в южную Европу. В январе 1904 г. Блок получил от него письмо, которое целиком переписал в письме к С. Соловьеву («Письма», стр. 67—68); в письме этом Розвадовский вспоминал свои «длинные разговоры и прогулки» с Блоком. В другом письме (от 14 марта 1904 г., из Рима), сохранившемся в архиве Блока, Розвадовский развивал крайне реакционные идеи воинствующего католицизма. «Испанская звезда» закономерно привела его к монашеству (см. письмо Блока к С. Соловьеву от февраля 1905 г.— «Письма», стр. 80). Дальнейшая судьба Розвадовского неизвестна (в 1915 г. Блок сообщал его адрес С. Соловьеву). Весной 1921 г. Блок рассказывал Белому «о каком-то польском епископе, очень реакционно настроенном и действующем в Польше, припомнив, что его светская фамилия — граф Розвадовский. Тут А[лександр] А[лександрович] улыбнулся мне,— пишет Белый,— и сказал: „Знаешь, ведь это, вероятно, тот самый Розвадовский"» («Записки мечтателей», № 6, стр. 34; «Эпопея», № 1, стр. 176—177).

[4] Из стих-ия «Маг», посвященного В. Брюсову («Золото в лазури», стр. 123).

[5] См. письмо № 22. В записной книжке Блока № 6 имеется неопубликованная запись, относящаяся, повидимому, к 15 августа: «Сейчас ворвался в комнату Сергей Соловьев. Об Андрее Белом — газеты московские, его лекции (программа)». Проект Белого выступить в Петербурге с лекциями осуществлен не был.

[6] Эта тема была разработана Блоком несколько дней спустя (18 октября 1903 г.) в стих-ии «Сижу за ширмой...» (см. стр. 61 наст. издания), в рукописи и во 2-ом изд. «Стихов о Прекрасной Даме» (1911), озаглавленном: «Испуганный» (с подзаголовком: «Иммануил Кант»). Как указал сам Блок в примечании во 2-ом изд. «Стихов о Прекрасной Даме», стих-ие это было внушено «Трансцендентальной эстетикой» Канта. Самый образ человека, сидящего за ширмой, Блок заимствовал у Белого, в «Драматической симфонии» которого описан «молодой философ», прочитавший в «Критике чистого разума» Канта о пространстве и времени как априорных формах познания и думающий, «нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись от времени и от пространства» («Симфония», стр. 24). См. также прим. 10-е к письму № 30.

[7] См. стих-ие Блока «По городу бегал черный человек», посланное им Белому 1 августа 1903 г. (см. прим. 16-е к письму № 21).
[8] Источник цитаты установить не удалось.
[9] См. прим. 10-е к письму № 22.
[10] Стихи Фета («Ревель»).
[11] Из стих-ия Белого «Образ вечности» («Золото в лазури», стр. 38).
[12] Стих-ие было написано 1 октября 1903 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).
[13] Стих-ие было написано 1 сентября 1903 г. (черновой набросок относится к апрелю 1903 г.) и впервые напечатано в «Вопросах жизни» 1905, № 6 (с вариантами).

25. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<24 октября 1903. Москва>[1]

Дорогой, горячолюбимый Александр Александрович,

спасибо за письмо. Пишу Вам не в ответ на него, а просто вне всего: мне хочется Вас уведомить, что я не стану Вам отвечать, пока не окончится во мне период внутренней опустошенности, когда хочется убежать в пустыню... там раздается убийственный голос: «пустыня ростет: горе тому, в ком таятся пустыни» (Ницше). И вот бежишь оттуда, где поет «умирающий лебедь Аполлона»[2], вон там среди печального сумрака трепещут, колыхаясь, две алмазных волны — два белых крыла умирающего лебедя — лебедя Аполлона... Его сражают неугомонные повторения: «пустыня ростет: горе тому, в ком таятся пустыни» — и прощальная песнь, лебединая!.. Возвращаясь из пустыни, я встречаю одни только маски. Я когда-то все думал, что знаю людей. Но когда обнаружилось, что то, что преображало черты, искажало, — двигало чертами мне незнакомых знакомцев — я сам, колеблемый и отраженный на поверхности хаоса.

Теперь я узнал, что у меня нет зрения. Я — слепой, разве слепые не должны остерегаться? Все подозрительно им. Вот и я чувствую себя таким брошенным среди толпы слепцом. Сколько отсюда недоразумений! Выпукло-стеклянный, незрячий взор, устремленный во тьму, может смотреть в упор на кого-нибудь. И не зная, что я — слеп, они (зрячие) обратятся ко мне с вопросом, почему я смотрю все на них в то время, когда я (они не узнают того) смотрю в вечную тьму. (Их поразит мой стеклянно-задумчивый взор... Они найдут еще нескромным, что я все смотрю на них)...

Поймите положение слепца, который сознал, что не видит. Он еще в задумчивости. Он осваивается со своим положением. Потом он сам обратится к друзьям, когда переживет первые минуты одиночества. А теперь не требуйте, чтобы слепой Вам подробно писал! Эти слова — только уведомление, только просьба о молчании.

Горячолюбящий Вас

Борис Бугаев

P. S. А Вы, Вы напишете мне, быть может?.. Вы не оставите меня?

А. БЛОКУ

Суждено мне молчать.
Для чего говорить?..
Не забуду страдать,
Не устану любить.

Нас зовут
Без конца...
Нам пора...
Багряницу несут.
И четыре колючих венца.

Весь в огне
И любви
Мой предсмертный, блуждающий взор.

О, приблизься ко мне —
Распростертый, в крови
Я лежу у подножия гор.

Зашатался над пропастью я
И в долину упал, где поет ручеек.
Тяжкий камень, свистя,
Неожиданно сбил меня с ног —
Тяжкий камень, свистя,
Размозжил мне висок.—

— Среди ландышей я,
Зазиявший, кровавый цветок.

Суждено мне молчать...
Для чего говорить?
Не забуду страдать,
Не устану любить.[3]

А. Белый

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получил 26 окт[ября] 1903».
[2] Цитата из Ф. Ницше («Так говорил Заратустра»).
[3] С другим заключительным четверостишием вошло в цикл «Блоку» («Золото в лазури», стр. 245).

26. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

Ноябрь <начало> 1903. <Москва>

Милый Александр Александрович,

вот я опять хочу Вам сказать так много — и все обрывается, и опять на ум приходят все такие ненужные, все такие посторонние слова. Я потерял способ выражения своих мыслей, что знал — все забыл и жив только неуловимо-пленяющим, вечно-милым и всегда грустным. Но то несказанно, а в сказанном и сказанном возвращаюсь к поверхности, застегиваюсь на все пуговицы... А еще умею быть самим собой, но люди говорят тогда, что я безумен...

Но вот ловлю себя на том, что я все о себе...

Дорогой Александр Александрович, напишите мне о себе. Кто Вы? Как Вы поживаете? Я же буквально ничего не могу писать еще пока, а может быть и навсегда... Область слова для меня есть предмет ненужный. Говоришь ежедневно столько слов, что слова давно примелькались... Начинаю относиться с судорогой презрения ко всем словесному и прежде всего к своим словам...

Тут —

И ночи и дни примелькались,
Как дальние тени волхву...
В безжизненном мире живу,
Живыми лишь думы остались.
И нет никого на земле
С ласкающим, горестным взглядом,
Кто б в этой томительной мгле
Томился и мучился рядом...
Часы неизменно бегут
Бегут и минуты считают...

О, стук перекрестных минут!..
Так медленно гроб забивают...
(Брюсов. «Meeum esse»)

Вот настроение, которое охватывает меня, когда я обращаюсь к проявлениям, вот кожа моего пьяного веселья — похмелье после такого же былого пьянения. Я счастлив в то время, когда говорю о примелькавшихся днях и ночах. И потому я не могу в словах отразить степень моего счастия — слишком оно глубоко пустило корни. Я устал выражать его в прямой форме «+» на «+» дает «+». У меня неодолимая склонность говорить о нем в формуле иной: «—» на «—» дает «+». И поскольку «+» неописуем словами, постольку всплывают на поверхность условия его «—» на «—»... Стало быть —

«И ночи, и дни примелькались,
«Как дальние тени...» и т. д.

Время чертит ломаную линию. Здесь и там прямолинейность обрывается. Время обращается на себя. Сейчас была осень. Сейчас зима, камни замерзли, свинец распластался над городом, пылевые кручи разносили по городу инфлуэнцу, тиф, воспаления, синий карлик (только в эти дни и дерзающий показываться на улицах нашей столицы) опять разгуливает в калошах и с зонтиком, подруку с супругой. А вот сегодня все услышали весеннее приближение, на могилах раздавался радостный шелест берез, — «не верю, не верю обетам коварным»...[1]

Или время ищет единой формулы для всех времен года... Неужели и мне не найти лик своим ликам? Когда я молчу, я спокоен и счастлив, когда я начинаю проявляться, из меня поет целый хор несогласованных (несогласных голосов): музыкальная фраза, пропетая в одном тоне, продолжается непосредственно из оперы другой...

Вот почему я боюсь проявлений... Ах, нужны ли они?.. Разве нельзя все забыть ради своего счастия.

«В бездне бесцельности
«Цельность забвения»...
Бальмонт

«Но ветер, зовущий с севера,
«Мое детское сердце нашел...»[2]

Вот именно нужно что-то постороннее, чтобы в проявлениях душа услышала запах клевера и холодный ветерок нашел мое бедное, затерянное сердце — детское. Но прежде всего:

«И ночи, и дни примелькались...»

Потом:

В бездне бесцельности
Цельность забвения.

И, наконец:

«Но ветер, зовущий с севера,
«Мое детское сердце нашел».

И больше ничего... Да, молчат всякие слова! Здесь тайна!..

«Ты следила вдали
«Облаков розоватых волокна...»[3]

Или: «Вскоре не увидите меня. И потом вновь увидите меня... В тот день Вы не спросите Меня ни о чем...» (Иоанн).

Вот и все... И нет больше слов... Будут дни (если будут), не я, а «что-то» *возвращенное* * обратится к Вам с огненным вопросом. И не Вы, не Вы, *«другое»* * ответит мне...

А пока я слежу «облаков розоватых волокна», не веря, не веря «обетам коварным».

Будьте счастливы. Я ужасно несчастен — конечно большое мне послано счастье.

Христос с Вами, мой дорогой Александр Александрович.

Остаюсь Ваш
Борис Бугаев

P. S. Спасибо за стихи. Наслаждался и теми, которые Вы мне прислали. Здесь в Москве есть люди, которые ставят Вас во главе русской поэзии. Как-то раз Бальмонт несказанно радовался, что появились Вы, когда я читал Ваши стихотворения. Особенно ему понравилось то, где «о клевере»...[4] Мое глубочайшее убеждение, что Вы и Брюсов нужнейшие поэты для России. В Брюсове сила законченности, в Вас еще бо́льшая сила непосредственности и современем Вы будете (очень скоро) первым русским поэтом.

Читали ли Вы «Urbi et Orbi»: после этого сборника о Брюсове не может быть споров: к именам Пушкина, Лермонтова, Майкова, Полонского, Тютчева, Фета, Ал. Толстого, Некрасова, Вл. Соловьева с полным правом присоединяю и Брюсова.

P. P. S. Что Вы думаете о Верхарене?

Посылаю Вам стихи.

КОШМАР СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Солнце жжет. Вдоль троттуара
Под эскортом пепиньерок —
Вот идет за парой пара
Бледных, хмурых пансионерок.

Цепью вытянулись длинной,
Идут медленно и чинно
В скромных черненьких ботинках,
В снежнобелых пелеринках.

Лица скромные, простые,
Заплетенные косицы, —
Точно все не молодые, —
Точно старые девицы.

Глазки вылупили глупо,
Спины вытянули прямо...
Взглядом мертвым, как у трупа,
Смотрит классная их дама.

«Mademoiselle Nadine, tenez-vous
Droit!»...** И хмурит брови строже...
Внемлет скучному напеву
Обернувшийся прохожий.

Покачает головою,
Удивленно улыбаясь...
Пансион ползет, змеею
Среди улиц извиваясь...

1903 года июль[5]

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

** Мадемуазель Надин, держитесь прямо! — Ред.

P. P. S. Вероятно у Вас будет на днях Соколов. Вы, вероятно, знаете, о постановлении «Скорпионов» против «Книг[оиздательства] Гриф». Сначала я после разговора с Мережковскими присоединился к тому, чтобы участники «Скорпиона» не раздроблялись, имея в виду более сериозную постановку дела в «Скорпионе», когда же «Скорпионы» сделали из свободного почина нечто обязательное, я, подумав, вопреки «Скорпиону», решил все таки участвовать в Грифе, ибо неуместн[ым] решением участн[иков] Скорпиона нарушается свобода отношений.[6]

[1] Источник цитаты не установлен.
[2] Из стих-ия Блока «Погружался я в море клевера».
[3] Из стих-ия Блока «Слышу колокол. В поле весна»; цитировано не точно, у Блока: «Ты следила одна».
[4] «Погружался я в море клевера».
[5] С вариантом в третьей строфе вошло в «Золото в лазури» (стр. 101).
[6] Символистские издательства «Скорпион» и «Гриф» конкурировали друг с другом. В октябре 1903 г. руководители «Скорпиона» — В. Брюсов и С. Поляков — ультимативно потребовали у своих сотрудников отказа от участия в альманахе «Гриф». «Мы с Бальмонтом,— пишет Белый,— отвергли такой ультиматум; поэтому Брюсов косился на нас; говорили, что Гиппиус интриговала; [Блок] меня спрашивал письмами, как быть ему; но узнав, что я с „Грифом", он тотчас же присоединился к ослушникам, сопровождая письмо свое шуточным стихотворением, изображающим разоблачение гиппиусовой интриги...» («Эпопея», № 1, стр. 181; ср. «Записки мечтателей», № 6, стр. 36.— Речь идет о письме № 30). Конфликту «Скорпиона» и «Грифа» посвящены отчасти и следующие письма Блока и Белого.

27. БЛОК — БЕЛОМУ

<8 или 9 ноября 1903. Петербург>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Благодарю Вас за «Симфонию».[2] Прочитал и, больной от радости и печали, намарал т[ак] назыв[аемую] рецензию, которую, по справедливости, не хочет печатать «Нов[ый] Путь». Увы! Она еще более «непромокаема», чем первая.[3] Посылаю.

Дорогой Борис Николаевич! Что значит история с «Грифом»? Живу далеко от Москвы, ничего не знаю. Вдруг приезжают Мережковские, говорят, что Вы и все остальные (кроме Бальмонта) ушли из «Грифа».[4] Между тем, Вы передали мне предложение Соколова. Я послал Соколову стихи, он ответил, обещая «напечатать и выслать гонорар», но предупреждая, что Скорпион «вероятно разошлет всем своим сотрудникам „ультиматумы" относит[ельно] того, что все участвующие в Грифе не будут приняты в „Скорпион"». Далее говорится, что все это — «дело моей совести», что ясно, кто прав, потомучто, чем больше способов распространения одного и того же, тем лучше, и т. д. Что есть несогласные со Скорпионом, напр[имер] Бальмонт. Наконец, «есть и другие». Таково письмо Соколова.[5] Это — ужасик. Сразу я подумал, что тут замешаны какие-то деньги. Новый Путь отрицает это и страшно ругает Грифов. Уйти из Грифа я готов, хотя это сделать трудновато, боюсь, что стихи в наборе. «Сев[ерным] Цветам» я больше сочувствую, чем Грифу. Наконец, м[ожет] б[ыть], правда, что Гриф мешает, я не могу судить, ибо одинок, ибо оторван от Москвы, сижу и пишу стихи, распеваю вне партий, страстно хочу так и продолжать. Каково же Ваше мнение? Напишите, прошу Вас. Я не верю одной Зин[аиде] Никол[аевне], потому что имею несчастие знать ее прошлые поступки, напр[имер] с Ольгой Михайловной. Все это дико и странно тем более, что вокруг ревмя ревут позитивисты. Право, они часто готовы вцепиться мне в волосы — да и всем нам. Я подозреваю, что Грифы «подмигивают не о том». Так ли? Жду письма от

Вас и Сережи об этом. Прилагаю записку Ефима Александров[ича] Егорова, который просит карточек с Огыгами. Ограничусь замечанием, что он хохочет животом, остальное предоставляю Вам. [6]

Любящий Вас нежно Ал. Блок

Андрей Белый. Северная Симфония (1-я героическая). Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1904.

Патология. Бред. Сумасшествие. Чепуха. Пасквиль. Декадентство. Все это уже есть у французов. Так завтра напишут в газетах. Напишут в журналах.

Зевнул. Болтаю ногами, сидя на балконе в гостях. Захотел вернуться домой. Захотел есть. Захотел спать.

Распрощался. Иду по дорожке, машу палочкой. Встречаю знакомых. «Читали?— Читал — Поняли? — Нет, не понял»... Иду франтом. Насвистываю, как все.

«...И вот, наконец, я услышал словно лошадиный ход... Кто-то мчался на меня с далекого холма, попирая копытами бедную землю... держал над головой растопыренные руки... Улыбался молниеносной улыбкой... Чуть-чуть страшной». [7]

И тогда мне стало бесконечно тяжело, бесконечно больно, потому что я узнал старого друга, и понурил голову, чтобы никогда больше не встречать знакомых.

Все уставились на меня. Мутные зрачки. Еще никто не раскаялся. Они смотрят на меня жадно и безобразно. А я читаю северную сагу, печальный сердцем, бунтую и плачу. И плачу. «Испугался... Убежал с королевой из этих стран». [8]

Кто-то нежный взглянул на меня. Кому-то ласковому захотелось меня утешить. «Кто-то милый мне шепчет: Я знаю. Поцелуем смыкает глаза». [9] Поднимаю взоры, мучительно-медленно поднимаю взоры. Ах, как мало, как мало я знаю! Как мало успел сказать!

«Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо»... [10] Господи! Неужели я ничего не успею? Господи! Сжалься над ребенком! Я — черный человечек, я — ласковое созданье Твое! Рассветает. Гашу огонь.

«И пока бледнела ночь, бледнели и гасли светильники, а короли расплывались туманом. Это были почившие короли, угасавшие с ночью. Дольше всех не расплывался один, чья мантия была всех кровавей, чья борода всех длинней...» [11]

Было утро. Было лучшее время. Была пора любви. Тогда неуловимые сны приснились. Тогда зашумели волны. Кто-то розовый взбежал на скалу, весело пожал мне руки, шептал. И кинулся в залив, разбился белеющей пеной, рассмеялся с зеленого дна. И я остался один на скале — шаловливый — веселый — свободный.

«И когда рассеялись последние остатки дыма и темноты, на горизонте встал знакомый и чуть-чуть грустный облик в мантии из снежного тумана и в венке из белых роз... Поднимал голову. Улыбался знакомой улыбкой... Чуть-чуть грустной». [12]

Ах, как мало мы знали! Как мало успел я сказать! Как много свершилось. Милый. Я люблю тебя.

Александр Блок

Стихов бы мне Ваших!

* * *

Крыльцо Ее, словно паперть.
Вхожу,— и стихает гроза.

На столе — узорная скатерть.
Притаились в углу образа.

На лице Ее — тихий румянец.
В очах Ее — утренний свет.
В душе — кружащийся танец,
Каких у нас в мире нет.

Я давно не встречаю румянца,
И заря моя мутно тиха.
А в каждом движении танца
Я вижу пламя греха.

Но таких, как Она, я не знаю
И не стану больше искать.
Я с Ней мою жизнь встречаю,
С Ней буду мою жизнь провожать» ... [13]

* * *

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня!
Такое темное окошко.—

Тепло и тёмно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу...
Меня давно развлечься просят,—

Но эти ручки... Я влюблен
В мою морщинистую кожу.
Могу увидеть сладкий сон,—
Но я себя не потревожу.—

Не потревожу забытья,—
Вот этих бликов на окошке...
И ручки скрещиваю я,
И также скрещиваю ножки.

Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь кто-то есть. Не надо свечки.
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной колечки. [14]

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ АНДРЕЮ БЕЛОМУ

I

Я бежал и спотыкался,
Обливался кровью, бился
Об утесы, поднимался,
На бегу опять молился.

И внезапно повеяло холодом.
Впереди покраснела заря.
Кто-то звонким, взывающим молотом
Воздвигал столпы алтаря.
На черте горизонта пугающей,
Где скончалась внезапно земля,
Мне почудился ты, умирающий —
Истекающий кровью, как я.

Неужели и Ты отступаешь?
Неужели я стал одинок?
Или Ты, испытуя, мигаешь,
Будто в поле кровавый платок?

И я увидел его, несчастный...
Увидел красный платок полей...
Заря ли кинула клич свой красный?
Во мне ли грянула мысль о Ней?
О, я увидел! Ты — тот — несмелый,
Ему подобный, Ты — дух толпы...
Я думал в страхе — то брат мой Белый,
Но там воздвиглись Ее столпы —

Столпы, убегающие
Ее алтаря,
Во мне воздвигающие
Все, что убила заря... —

То — заря бесконечного холода,
Что послала мне сладкий намек...
Что рассыпала красное золото,
Разостлала кровавый платок...
Ты, что думала, веяла, реяла,
Отражала в себе мою кровь,
Что меня с колыбели лелеяла,
Без конца нашептала любовь...

Из огня душа твоя скована
И вселенской мечте предана,
Непомерной мечтой взволнована
Угадать Ее Имена. —

Ах, какие в поле яркие цветочки!
Черный человек их рвет и поет;
Это я — иду, спотыкаясь о кочки:
В сердце человеческом дождик идет. [15]

II

образ Возлюбленной —
образ Возлюбленной —
Вечности [16]

Так. Я знал. И Ты задул
Яркий факел, изнывая
От тоски.
В бездне — мрак, а в небе — гул.
Милый друг! Я снова знаю
В синем небе огоньки.

Неразлучно — будем оба
Клятву Вечности нести.
Поздно встретимся у гроба
На серебряном пути.

Там — сжимающему руки
Руку нежную сожму.
Молчаливому от муки
Шею крепко обниму.

Так. Я слышал Весть о Новом!
Маска траурной души!

В оный день — знакомым словом
Снова сердце оглуши.

И тогда — в гремящей сфере
Небывалого огня —
Дева-мать откроет двери
Ослепительного Дня. [17]

Александр Блок
Окт[ябрь] — Ноябрь 1903. Петербург

[1] Датировано по связи со следующими письмами, по упоминанию о посещении Мережковских (8 ноября) и дате приложенного стих-ия «Крыльцо Ее, словно паперть».

[2] «Северная симфония (1-я, героическая)», «Скорпион», М. (вышла в свет в октябре 1903 г.— см. «Письма», стр. 55).

[3] Имеется в виду рецензия на «Драматическую симфонию», напечатанная в «Новом пути» 1903, № 4 (вошла в «Собр. соч.», т. X, стр. 212—213). Рецензия Блока на «Северную симфонию» публикуется здесь впервые.

[4] Блок был у Мережковских и в редакции «Нового пути» 8 ноября (неопубликованная заметка в записной книжке). Два дня спустя он писал С. Соловьеву: «Был я у Мережковских. Он был мил и мягок. Она необычайно суха. Я только и делаю, что падаю в ее глазах! Прежде всего женился, а теперь еще участвую в Грифе. Даже не приглашает!» («Письма», стр. 58).

[5] С. Соколов (Кречетов) писал Блоку 3 ноября 1903 г.: «Идя навстречу одной возможности, я считаю долгом сообщить Вам следующее. „Скорпион", недовольный развивающейся деятельностью „Грифа", намерен потребовать от всех своих сотрудников, чтобы они воздержались от участия в „Грифе" на том основании, что „Гриф", будучи в общем аналогичен „Скорпиону" по направлению, является, по его мнению, „лишним"... Как бы то ни было, более чем вероятно, что в скором времени Вы получите ультиматум в том смысле, что все, печатающие свои вещи в „Грифе" не будут приняты в „Северные цветы". — Как отнестись к этому,— дело Вашей совести, но я хочу думать, что Вы отнесетесь так, как только и может отнестись человек, которому дорога его внутренняя свобода. — Считаю нужным заметить, что точку зрения „Скорпиона" разделяют далеко не все его сотрудники. С ней, например, вполне несогласен К. Д. Бальмонт, стоящий очень близко к „Грифу" и являющийся его внутренним руководителем. Есть и другие» (неизданное письмо).

[6] При письме сохранилась записка Е. А. Егорова. Карточки с Огыгами — шуточные визитные карточки, заведенные Белым и, повидимому, рассылавшиеся им знакомым. С. Соловьев в неизданном письме (от осени 1903 г.) сообщал Блоку: «Недавно Бугаев наделал переполох своими Огыгами, Единорогами и т. д. К нему чуть не призвали психиатра, и много было тяжелого и для него самого и для нас». Среди писем Белого к Блоку сохранились две такие карточки (отпечатанные типографским способом):

Виндалий Левулович
Белорог
Единорог
Беллиндриковы поля, 24-й излом, № 31

Огыга Пеллевич
Кохтик-Ррогиков
Единоглаз
Вечные боязни. Серничихинский тупик, д. Омова

О происхождении этих и подобных имен — см. в книге Белого «Возвращение на родину» [Отрывки из романа «Записки чудака»], М. [1921], стр. 72—74. Изобретение подобных имен и шуточное использование их в быту следует поставить в связь с увлечением Белого образами «кентавров» и «фавнов» (отчасти под влиянием живописи Бёклина, Штука и Клингера и музыки Грига),— увлечением, сказавшимся в его ранней лирике и в «Северной симфонии». «Гротеск», каламбурный «мифологический жаргон» и прочая «арлекинада» последовательно проводились Белым и его друзьями как в литературе, так и в быту (см. «Начало века», стр. 11).

[7] «Северная симфония», стр. 12—13.

[8] Там же, стр. 19.

[9] Из стих-ия Белого «Возмездие» («Золото в лазури», стр. 230).

[10] «Северная симфония», стр. 13.

[11] Там же, стр. 97—98.

[12] Там же, стр. 102.

[13] Стих-ие было написано 7 ноября 1903 г. и впервые напечатано (в переработанной редакции) в «Вопросах жизни» 1905, № 6.

[14] Стих-ие было написано 18 октября 1903 г. и впервые напечатано в киевском журнале «В мире искусств» 1909, № 1. См. прим. 6-е к письму № 24 и прим. 10-е к письму № 30.

[15] Стих-ие было написано 18 октября 1903 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905), без 21—28, 33—36 и 41—44-го стихов. В беловой рукописи (архив Блока) озаглавлено: «Символы».

[16] Из стих-ия Белого «Образ вечности» («Золото в лазури», стр. 38).

[17] Стих-ие было написано 1 ноября 1903 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) без эпиграфа и с вариантами в первой и пятой строфах.

28. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<До 10 ноября 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

пользуюсь случаем поблагодарить Вас за присланные стихотворения и за посвящение. На-днях буду писать Вам обстоятельно и долго. Если я молчу сейчас, то только от сложности всего при неумении передать эту сложность. Духом с Вами так часто. Ужасно хочется Вас видеть. Буду в С.-Петербурге вероятно в декабре. Эту записку вероятно Вы получите от С. А. Соколова, который очень хочет с Вами познакомиться.[2] Целую Вас. До свиданья.

Любящий Вас брат

Б. Бугаев.

[1] Датировано на основании данных о посещении Блока С. Соколовым (Кречетовым).

[2] В записной книжке Блока № 6 имеется запись от 10 ноября 1903 г.: «Был Соколов». В тот же день Блок писал С. Соловьеву: «Написал было тебе письмо в отчаяньи — по поводу Грифов и Скорпионов. Часть его уже лежала в столе, когда пришел сам Соколов. Передал письмо от Бугаева и известие, что он, смущенный было Мережковскими, теперь остается в Грифе. Впрочем, письмо от Бугаева кратко. Он говорит о сложности всего этого и что напишет подробнее. Во всяком случае, я обещал Соколову стихи и участие в Грифе, несмотря на Скорпионов. Завтра поеду с ним к нескольким студентам-декадентам. Соколов был ужасно любезен, показался мне простым, но очень по-редакторски ловким. Вообще, сейчас, после его ухода, чувствую себя взвинченно, но не слишком тонко. Все было и будет, кажется, довольно громко, голосисто и разговористо. Это ничего и к лучшему» («Письма», стр. 57—58).

29. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Первая половина ноября 1903. Москва>

Милый, дорогой Александр Александрович.

Спешу ответить относительно «Скорпиона» и «Грифа». Вот как было дело.

В прошлом году три лица, понимающие и любящие новое искусство, захотели учредить книгоиздательство, чтобы дать молодым силам возможность высказываться. Так возник «Гриф», и все радовались его появлению, полагая, что вот будет новый орган для новой фракции все того же нового искусства. Не к чему прибавлять, что первый альманах[1] вышел неудачен, что «Грифы» — люди (это между нами), не имеющие столь определенного внутреннего пути, как например Брюсов, Балтрушайтис и т. д.

Но случилось следующее: молодые «Грифы» перессорились и остался единственный представитель «Книгоизд[ательства]» Сергей Алекс[еевич] Соколов, очень симпатичный, добрый, честный... (чуть-чуть внешний)... Человек, против которого ничего не имею сказать кроме всего лучшего. Когда оказалось, что 1) собственно нет молодых сил, отличных от «Скорпиона», а что предстоит тем же «Скорпионам» делиться на «Гриф» и «Скорпион» и 2) что сам



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ

Фотография 1904 г.

На столе стоят портреты Л. Д. Блок и Владимира Соловьева

Государственный Литературный музей, Москва



АЛЕКСАНДР БЛОК

Фотография 1909 [?] г. (Шахматово)

Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

«Гриф» (Соколов) может иногда смешать новое, действительное искусство со «style modern[e]» порядком-таки опошленным — у многих явилась мысль: для чего же существует «Гриф». Это смутное сознание просто не тревожило меня до тех пор, пока приехавшие в Москву Мережковские не развели целую теорию относительно того, что «Гриф» — пародия Скорпиона, что нельзя смешиваться оригиналу с пародиями и т. д. (Смотри «Лев Толстой и Достоевский»). Этот гипноз на меня подействовал, и я решил, скрепя сердце, разорвать с «Книгоиздательством», любя и привыкнув к С. А. Соколову. Тут же я написал письмо, а потом узнал о состоявшемся решении «Скорпионов» не принимать участников «Грифа» в «Сев[ерные] Цветы». Размыслив, я пришел к убеждению, что это — несправедливое решение, особенно когда узнал, что человек (а не книгоизд[атель]) мной обижен.

Теперь я принял намерение непременно участвовать в «Грифе», ибо 1) прежде всего люди, а потом измышления и партии, 2) не желаю стеснять своей свободы постановлениями, не касающимися существа моих убеждений, 3) весь «Гриф» еще в будущем, кроме неудачного «Альманаха» и прекрасной книги «Только — любовь» Бальмонта. Следовательно: судить о том, вреден или полезен «Гриф», я не имею основания и потому вопреки всему остаюсь в «Грифе», что бы участники «Сев[ерных] Цветов» ни говорили. Ко всему присоединяется еще и то, что «Гриф» материально слабее, беспомощнее «Скорпиона» и потому убивать его жестоко, да и не мое дело, ибо я ни «Гриф», ни «Скорпион», а человек.[2]

Стало быть Вы немного правы: Грифы не то что «не о том подмигивают», а еще только учатся подмигивать без разбора чему.

А всему виною Мережковские.

Несмотря на все, я ужасно люблю их. Дм[итрий] Сергеевич мне дорог бесконечно за то, что у него есть «христово» и «Оно» зла не мыслит и все покрывает. Когда они были в Москве, мы все вместе ездили к еп[ископу] Антонию (который мне очень близок) и Антоний понял Мережковских в глубочайшей их сущности. Отнесся легко и просто, ясно, но с чуть заметным оттенком добродушного юмора.

Дорогой Алекс[андр] Александрович! Очень рад был получить Ваше письмо и рецензию на «Симфонию», от которой я отошел на такое расстояние, что почти не узнаю ничего...[3] Просто безразлична мне она — и не знаю, хорошо она написана, или дурно! Что знал, все забыл. Что же касается карточек, то проезжие гости г[оспо]да единороги свидетельствуют свое почтение Ефиму Александровичу Егорову. Вообще им приходится удивляться на отсутствие сочувствия со стороны людей. Принадлежа к интеллигентному сословию инородного для нас племени, они захвачены все теми интересами (как то: кантианством, ницшеанством, — есть между ними и поклонники франц[узского] мыслителя Кузена), как и мы; вот почему они спешат засвидетельствовать почтение всем тем, кто вопреки роговатым свойствам этого племени не чуждается общения с ними.

Прощайте милый Александр Александрович, не взыщите на меня за молчание мое! Стихов при всем желании не могу прислать кроме одного стихотвор[ения], уже посланного Вам, которое я запомнил наизусть. Де... в том, что стихи в рукописи, рукопись в типографии[4], а черно... у меня нет. Стихов не пишу. Зачем? Прощайте. Целую Вас.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

¹ «I альманах Гриф», М., 1903.

² В дневнике М. И. Пантюхова имеется следующая запись от ноября 1903 г.: «В „Скорпионе"... Белый подошел к Брюсову и сказал: „В[алерий] Я[ковлевич], верните мне, пожалуйста, мой рассказ, который я отдал в „Скорпион". Я его обещал Соколову". Брюсов взволновался... „Но вы мне тоже дали слово! Вы нарушаете ваше слово!" и т. д. Брюсов говорил ему довольно резко. Он говорил, что Белый портит дело, что „Гриф" бесполезен и проч. Но Белый был непоколебим: „Я дал слово Соколову". Брюсов был очень возмущен... „Если вы не участвуете в „Северных цветах", то не можете участвовать и в „Весах" — сказал он. — „Что же делать!" — ответил Белый и ушел» (М. И. Пантюхов — автор повести «Тишина и старик», Киев, 1911, стр. 16—17). Сам Белый в мемуарах пишет, что «обещал взять из „Грифа" все, отданное для печати; взяв, сдал в „Скорпион" и потом внезапно потребовал рукописи обратно, чтобы снова их вернуть в „Гриф"; Брюсов наговорил мне обидностей; я заявил, что уйду из „Весов"» («Начало века», стр. 283). Вскоре, впрочем, Белый и Брюсов «умилительно примирились» (см. В. Брюсов. Дневники, М., 1927, стр. 134).

³ «Северная симфония» была написана в декабре 1900 г.

⁴ В это время готовился к печати первый сборник стихотворений Белого «Золото в лазури».

30. БЛОК — БЕЛОМУ

20 ноября 1903. Петербург

Милый Борис Николаевич.

Спасибо Вам за все сведения о Ваших отношениях к Скорпиону Грифу. Мне было очень важно знать это, потомучто верю в Вас глубоко. То, что Вы пишете *не* об этом, мне в высшей степени понятно «Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со все сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими людьми. Потому кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить Чувствую себя виноватым и все-таки молчу по странному чувству дав лишней известности моих возможных слов для тех людей, с кот[орыми в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходи действительно похоронно как будто, — хотя у меня внутри редка ясность, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самы близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я вну тренно кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало на столько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне пока залось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно и поставили Ваше состояние молчанья для себя на первый план. А я уже мирюсь с этим потомучто не вижу к р а й н е й необходимости тратить пять лошади ных сил на второстепенное... Вот и я «в с е о с е б е». Только, мне ка жется, это ничего. Вам может быть интересно обо мне так же, как мне всегда захватывающе интересно все о Вас. Да и как же нам раскрыться если не писать о себе. Ваша оговорка, мне кажется, напрасна, потому что мы понимаем уже навязчивость и ненавязчивость, так же как схоластику и не схоластику, как когда-то сказали Вы, и потому можем пользоваться свободно тем и другим для единой цели.

Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, к т о я, ч т о я? Разве Вы не знаете? То же и то же опять, милое единое, вечное в прошедшем, настоящем и будущем. Дойти до напряженного проникновения — «и след мечты опять стряхнуть с чела».¹ И что такое эти наросты окружающих толков, а prior'ных определени шаблона жизни — для всех одинаковой — так ли? Чем лучше то, что ходит т о л ь к о из кабинета, чем то, что выходит т о л ь к о из бу То и другое — метафизическая сплетня. Я говорю о самом близ ружающем меня. Один из Петерб[ургских] поэтов пишет мне с ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи» Мережковская кажется решила это заранее. Что же это зна-

M-me Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в эту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, вот снова пишу стихи, и милое прежде осталось милым; и то, что мне во сто раз лучше жить теперь, чем прежде, не помешало писать о том же, и даже об Иммануиле Канте, как оказалось впоследствии из анализа стих[отворения] «Сижу за ширмой». А тут «сложилась легенда»...[3] Это порой кажется просто глупым, отдаленным от смысла. Извините за откровенность, она *не* цинична (как Вы, я думаю, знаете), мне хочется только сказать Вам то, чего во вся[ом] случае не скажу Мережковским, если даже их еще увижу. Не отнеситесь только к этому с «судорогой презрения», хотя это тоже «словесное», не особенно нужное, разумеется. Таковой же мне кажется размолвка Скорпиона с Грифом. Я совершенно понимаю, если хотите, Брюсова, восстающего на Грифов. Хотя — зачем? Мне кажется, что это не навсегда, даже может быть ненадолго. Тому доказательство — Urbi et orbi. Это — бог знает что — только в обратном смысле. Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем Вы об этой книге. Долго просижу еще над ней, могу похвастаться и поплясать по комнате, что не всю еще прочел, не разгладил всех страниц, не пронзил сердца всеми запятыми. При чтении могут придти на ум мысли круглого идиота о том, как много на свете делается, сколько на небе звезд, какая бывает хорошая погода — и прочие.[3] Возвращаю с охотой и страстью, не отнимаю у Вас, Ваши слова — автору:

В венце из звезд...[4]

Бальмонт тоже натворил чудес, выпустив ~~последние две~~ книги.[5] А Вы!!! Молчание. Милый Борис Николаевич, мне Вы написали столько незаслуженно[го], что я краснел, читая.

Вы говорите, что может быть навсегда замолчите. Это невозможно. Вам не о чем молчать, потому что Ваши богатства неисчерпаемы и повторения Вас не будет... Однако, однако, мы обмениваемся разговорчиками! Я боюсь, как бы с моей стороны это не кончилось полнейшим отсутствием словесных знаков. Вы будете печатать, а я в ответ, вместо никуда негодных «рецензий» — мычать.

Вы знаете, наверно, что разрывание от понимания окружающего иногда еще болезненнее скуки. Потому, вероятно, как и я, не всегда позволяете себе понимать. Впрочем, часто этого предотвратить невозможно, а потому начинается усиленное заглядывание в зеркала и на перепутья, где веет снеговой ветер, — не появится ли там к своему весеннему юбилею какой-нибудь морщинистый Кантик, или напротив — Кантище на соломенной табуретке.[6] Или, может быть, в пальто, на извозчике, с поднятым воротником. Разумеется, мы его узнаем и придется приглашать, чего доброго... доброго-доброго... старичка. Бывает и так. Но поймите же, наконец, *Вы* *, московский и *не* * петербургский мистик, что мне жить во *сто* * раз лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что мои стихи — препоганые.

Как бы это Вам приехать в Петербург? Мы с женой кажется поедем в Москву в нач[але] января. Страшновато мне встречаться с Вами. Как-то это выйдет «оффициально»... Немножко пахнет могилкой, в которой похоронили этой весной маленькую девочку в голубом платьице.[7] Этот факт мне известен из достоверных источников, едва ли не иноземных,

* Подчеркнуто дважды. Ред.

полученных от «влюбленных гостей поздних веселых времен».[8] Оказывается, они дальние родственники Виндалия Левуловича...[9] А может быть — привез на извозчике маленький Кантик? Тррах! Грохнулся с извозчика, ушибся; его поднимали дворники под ручки, ввели в горницу, поставили на колени, накрыли полотенцем. Думали, что молится, оказалось — пропал без вести, пришел к невесте и провалился на месте. Только его и видели.

Все это все-таки ужасно не нравится. Чего доброго, — старичка где-нибудь и повстречаешь. Юбилей — немудрено!

До свиданья, милый Борис Николаевич, — по-настоящему прошу Вас, когда можете, пишите, не забывайте. Спасибо за все. Я люблю Вас, как свою тишину и сон на яву — «среди белого дня».

Преданный Ал. Блок

Петербург — город, по улицам которого на-днях, по случаю наводнения, проплыли на ялике двое в колпаках, ухмыляясь, с ящиком, на кото[ром] написано было: «Осторожно!!!». На перекрестке из ящика просунул голову Иммануил! Он сказал: здравствуйте! Нынче хорошая погода и приятно покататься на лодке. Постарайтесь к вечеру доставить меня в Кенигсберг.[10]

* * *

«Опрокинут, канул в бездну»
Зинаидин грозный щит.
Ах! сражаться бесполезно
С той, которая ворчит.

Завтра буду с Соколовым
На извозчике — вдвоем!
Мы Семенова с Смирновым
И с Кондратьевым найдем!

Жду Московского ответа
И еще — Вас самого,
Чтоб Вы видели поэта
Прежде гнусного портрета,
Коий будет снят с него.[11]

Ал. Блок

[1] Из стих-ия К. Павловой «Думы», опубликованного в альманахе «Северные цветы на 1901 год», стр. 71—74.

[2] В июне 1903 г. Блок писал отцу: «[З. Гиппиус] со всеми своими присными не сочувствует моей свадьбе и находит в ней „дисгармонию" со стихами Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории. которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я, будто бы, „не чувствую конца", что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств» («Письма к родным», стр. 86).

[3] Восторженное отношение Блока к стихам В. Брюсова, особенно к сборнику «Urbi et Orbi» (изданному осенью 1903 г.), засвидетельствовано в его двух рецензиях на этот сборник, из которых одна была помещена в «Новом пути» (1904, № 6), а другая предназначалась для «Весов», но не была напечатана Брюсовым, чтобы избежать упреков во взаимных восхвалениях (см. обе рецензии в «Собр. соч.», т. X, стр. 224—232). 26 ноября 1903 г. Блок писал Брюсову: «Каждый вечер я читаю „Orbi et Orbi". Что же Вы еще сделаете после этого? Ничего, или — ?. У меня в голове груды стихов, но этих я никогда не предполагал возможными. Все, что я могу сделать (а делать что-ниб[удь] необходимо), — это отказать себе в чести печататься в Вашем Альманахе, хотя Вы и позволили мне это. Быть рядом с Вами я не надеюсь никогда. То, что Вам известно, не знаю,

доступно ли кому-нибудь еще, и скоро ли будет доступно» («Литературный современник» 1936, № 9, стр. 199; ср. письма Блока к С. Соловьеву — «Письма», стр. 61, 62, 71, 73).

4 Из стих-ия «Маг», посвященного В. Брюсову («Золото в лазури», стр. 123).

5 «Будем как солнце. Книга символов» («Скорпион», М., 1903) и «Только любовь. Семицветник» («Гриф», М., 1903). См. рецензии Блока на эти книги («Новый путь» 1904, № 1; «Собр. соч.», т. X, стр. 215—217).

6 Весной 1904 г. исполнялось сто лет со дня смерти Канта.

7 См. стих-ие Блока «У берега зеленого на малой могиле»:

Белые священники с улыбкой хоронили
Маленькую девочку в платье голубом.

8 См. Стих-ие Блока «Вербная суббота» (стр. 53 наст. издания).

9 См. прим. 6-е к письму № 27.

10 Белый пишет в «Воспоминаниях о «Блоке»: «Письма А[лександра] А[лександровича] были так же многосторонними, как прежде; но не было слов о Подруге уже; была мягкая грусть, растерянность. Помню, в одном из посланий А[лександр] А[лександрович] упоминает о сплетнях, которые распространяются по поводу его брака; и восклицает, что жить ему стало и легче, и проще. В одном из тех писем он пишет о страхе: что страх перед страхом есть самый действительный страх; таким страхом испуганным он считает философа Канта; он все возвращается к Канту, как к испугавшемуся во веки веков; темы страха и темы Канта не раз повторяются; не оттого ли, что столетняя годовщина со смерти философа приближалась в то время, иль оттого, что вопрос о границах познанья впервые решительно выступает перед А[лександром] А[лександровичем]; переплетение темы Канта и темы о „страхе"— весьма показательно; мысль о границе, черте — есть продукт потрясенья, страха; граница сознанья— тень, мной отброшенная; А[лександр] А[лександрович] посвящает свои стихи Канту; рисуется Кант весь в тенях, скрещивающий и ручки и ножки; химера преследует Блока; творит он мифологему о Канте; по петербургским каналам какие-то люди везут в лодке ящик, а в ящике — Кант; он увозится к юбилею в родной Кенигсберг подозрительными колпачниками; этот „шарж" увозимого Канта и шаловливо, и жутко выглядывает в одном из объемистых писем в нешаловливых, скорее грустных страницах» («Эпопея», № 1, стр. 183—184).

11 Стих-ие имеет в виду интриги З. Гиппиус против издательства «Гриф» (см. прим. 6-е к письму № 26). Точная дата написания стих-ия — 10 ноября 1903 г.— устанавливается из письма Блока к С. Соловьеву от этого числа: «Завтра поеду с ним [С. Соколовым] к нескольким студентам-декадентам» («Письма», стр. 58).— «Опрокинут, канул в бездну» — неточная цитата из стих-ия Вл. Соловьева «Три подвига»:

И опрокинут — в бездну канул
Себя увидевший дракон.

31. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец ноября 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович!

Уведомляю Вас о своем окончательном решении относительно «Скорпионов» и «Грифов». В альманахе я участвовать не буду, но в «Грифе» вообще —да. У них будет печататься моя третья Симфония.[2] Это потому, что Скорпионы обижаются, если я не буду участвовать в «Сев[ерных] Цв[етах]».

Сегодня долго говорили мы с Поляковым и он убеждал меня в том, что Скорпион не питает к Грифу никакой вражды, но только не понимает raison d'être Грифа, ибо Скорпион способен печатать все, что сейчас разделяется между Грифом и Скорпионом — и «Только Любовь», уже вышедшую книгу, и мою Симфонию. Но я не хочу обижать Соколова и оставляю ему Симфонию. Вообще все это — буря в стакане воды, не понимаю Зин[аиды] Николаевны, как это ей не скучно во все совать нос.

Остаюсь любящий Вас
Борис Бугаев

P. S. За стихи спасибо и спасибо. За портрет, который надеюсь получить от Вас — то же.

P. P. S. У нас в Москве будут Весы. Присылайте туда что-нибудь (журн[ал] крит[ики] и библиогр[афии]).[3]

[1] Датировано по связи с другими письмами.
[2] «Возврат. III симфония». «Гриф», М., 1905.
[3] О «Весах» Блок был оповещен следующим неопубликованным письмом В. Брюсова от 21 ноября 1903 г.: «С января [1]904 года Скорпион издает ежемесячный научно-литературный журнал «Весы» (статьи, корреспонденции, рецензии — без стихов и без беллетристики). Участники многие из Н[ового] Пути: Д. С. Мережковский, З. Н. <Гиппиус>, Перцов, Бальмонт, Розанов, Сологуб, вероятно, Минский наш Белый. Можно считать и Вас в числе сотрудников? От Вас (кроме общих статей) ждем особенно рецензий на новые русские книги и корреспонденций о Петербургской литературной и художественной жизни».

32. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец ноября 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович!

Вот и опять пишу Вам, и опять о внешнем. Уведомляю Вас, что я решил не считаться с Скорпионами совсем (как бы ни любил их как людей) и печататься в альманахе Гриф.[2] Дело в том, что приехавший из Петербурга Соколов передал мне поступок Зин[аиды] Ник[олаевны] и я в совершенном негодовании. Только что и еще раз поверил я в искренность их пути, и опять какие-то ненужно-внешние козни, граничащие со сплетней... На-днях напишу им, что не желаю иметь с ними никакого дела. Как я рад, что Вы будете в Москве, приезжайте, приезжайте... Буду ждать.

Весь Ваш
Борис Бугаев

[1] Датировано по связи с другими письмами.
[2] В альманахе «Гриф» на 1904 г. Белый поместил рассказ «Световая сказка» и ряд стих-ий («Битва исполинов», «Поединок», «Предание», «Осень»).

33. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Ноябрь—декабрь 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович!

Зеркало свое я превратил в ниспадающий водопад по способу странных дел мастера Добролюбова.[2] Зеркало мое стало водопадом, и поток разбился снежной пеной. Казалось, вечно слетало море душистых белых фиалок и гиацинтов. Когда я собрал корзину чудесных цветов — корзину чудно-белой пены, я выбросил пенную массу на зоре из окна — белый, воскликнувший лебедь понесся в море бирюзы.

Разве Вы не видали, как белое облачко перерезало закат на зоре. Это мчался мой белый, тоскливоликующий лебедь с приветом к Вам от меня. Вот почему я не пишу теперь писем.

Ах, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой
Перед тайною нездешней нашей встречи,
Перед вечною, недвижною судьбой...[3]

Да, конечно, я московский, а не петербургский мистик. Московские мистики не обладают нахмуренной эрудицией петербургских мистиков и всегда чуть-чуть ленивы и легкомысленны. Они не берутся решать всемирно-исторических вопросов и грешны празднословием и неумеренной шуткой. Петербургские мистики — теоретики в мистицизме, насколько я это сумел понять, а московские — больше практики, реалисты, наблюдатели. Если в Петербурге заняты пересмотром всех существующих и

несуществующих постановлений вселенских синодов, в Москве или близ Москвы уже завелись юрисконсульты безмирных дел. Будучи московским мистиком и патриотом, я склонен полагать, что Москва наиболее центральное место и что, пожалуй, вне Москвы невозможно практическое решение многих вопросов.

Я ужасно люблю Мережковских за одно реальное знание (я сторонник реализма в мистицизме), а во всем прочем меня искренне удивляет их схоластичность, отсутствие часто у них понимания юмора, являющееся некоторым следствием духа тяжести, и пожалуй приговором, и вместе с тем что-то до оскорбительности распахнутое. Они взялись опрощать мистицизм и странных дел знания никогда не будут им доступны. В этом совмещении духа тяжести, слепоты, тенденциозной и недалекой нетерпимости (пожалуй, некультурности) провинциализма с действительным знанием, трогательной искренностью и готовностью пожертвовать собой есть что-то детское, неразумное, облегчающее. Это ужасно, что они думают: продолжать на свой страх «Новый Путь»... Многое им простится за это самопожертвование.

Что это Вы говорите — будто страшно нам встретиться из-за оффициальности! Вот уж нет! Я совсем не оффициальный человек. Приезжайте скорее! Гораздо легче говорить, чем писать. Хорошо бы, чтобы Вы приехали не на несколько дней, а по крайней мере недели на две. Москва только тогда начинает нравиться, когда рассеется первый дурман новизны, который неизбежно окутывает всякого нового человека, заставляя фиксировать свое внимание не на основных чертах, а на блещущей мишуре — пене. Когда неопытный человек в поэзии берет Пушкина после Надсона он поражается обыденностью и бледностью там, где все горит откровением. Так и у нас в Москве: даже зоркий человек многого не увидит в Москве, потому что многое запрятано в глубину, а сверху брыжжет поток обще-оффициального декадентизма, — своего рода форма, в которой соединены люди диаметрально-противоположные (быть может, в будущем враждебные друг другу).

Ну вот меня опять оторвали от письма. Моя жизнь теперь в днях, а дни — в клочках. Пестрый, примелькавшийся маскарад. Описываю сегодняшний день: утром был по делам в Университете и... в Грифе. Потом говорил с Волошиным. Сейчас был у меня один теософ по делам. Сейчас выпали свободными 1½ <часа>. Вот и пишу Вам. В 3 часа придет проездом появившийся Философов и мы с ним отправимся в «Гриф», а потом в «Скорпион». После же мне нужно отдать вечер знакомым. И так каждый день вот уже 2 месяца. В свободные промежутки нужно писать для «Весов», корреспонденция и проч... Нет возможности сохранить себя. Думаю скоро затвориться от людей. Вот почему я пишу Вам сейчас так внешне, отрывисто и неопределенно.

Лучше я подойду к своему зеркалу, подставляя к нему корзину изпод цветов. Несколько зеркальных струй, кипя, наполняет корзину, вспенясь. Это будет корзина белоснежных цветов. Я отворю окно. Я выброшу бесконечность цветов и аромата на воздушный атлас, протянутый в воздухе, и вот помчится к Вам мое белое, светлое облачко привета.

Может быть, белый лебедь забьет к Вам в окна. Может быть, Вы догадаетесь впустить к себе тоскливовосторженную птицу—птицу Снежной Радости... чуть-чуть грустную, застывающую в грусти...

Прощайте. Христос да будет с Вами. Любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. Спасибо, спасибо за стихи.[4] Буду ждать письма — и стихов, стихов. Как-нибудь напишу Вам специально о стихах. Так люблю их!..

[1] Датировано по связи с другими письмами.
[2] См. «Образы» А. М. Д[обролюбова] в альманахе «Северные цветы на 1902 год», стр. 90—91.
[3] Стихи Вл. Соловьева (цитировано не точно; у Соловьева: «О, что значат...»).
[4] В конце ноября Блок, как видно это из неопубликованной заметки в его записной книжке, переслал Белому еще три стих-ия: «Ты у камина, склонив седины», «Облака небывалой услады» и «Спустись в подземные ущелья».

34. БЛОК — БЕЛОМУ

12 декабря 1903. Петербург

Милый Борис Николаевич.

Все это время я был занят рецензиями и т. п., потому не отвечал. Теперь, после крайнего напряжения нравственных сил, что-то упало во мне, но шевелится, шевелится в мозгу, и ранним утром приходят в голову пронзительные мысли. После больших приемов стихов Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гиппиус странно чувствуешь себя все еще самим собой. Так быстро спадает первоначальное очарование и остается объективная радость и благодарность. Но пока надо пройти сквозь усталость.

А как Вы думаете? Не мы ли с Вами — люди в будущем враждебные друг другу, о которых Вы говорите? Я говорю это, потомучто слишком люблю Вас. Между тем я боюсь, что с Вами что-то случится и со мной что-то случится. Иногда, пресыщаясь и уставая, как бы пропустив мимо себя любимую фалангу со слезами на глазах, я чувствую, что слезы высохли, осталось глухое утомление и удушье. Тогда нет в мире ни одной черты, которую мне не хотелось бы перевернуть вверх дном. Все валится в одну груду, в которой ищешь того, чего никогда еще не находил. Когда мы оба затворимся от людей (я, как и Вы, хочу этого), с нами и случится. А пока один день я раздуваю ноздри, а другой — брожу, как сонная муха. Должно же что-то треснуть и разбиться, чтобы под этим «что-то» оказалось единое.

Со всем, что Вы пишете о Мережковских, я согласен. Но стихи, стихи З[инаиды] Н[иколаевны]! И уморительны и гениальны! Если кто устал, то это она и Сологуб. За эту усталость ей все простится. Не знаю, как Вы относитесь к ее стихам, я постоянно вижу, что действительно будет чудо, если их поймет хоть один. Я не понимаю, но чувствую, что надо остановиться; а ранним утром пронзительно визжат в мозгу и ее стихи. Иногда приходит в голову, что Петербургская теоретичность и схематичность может обратиться в практику. Эта практика будет иная, чем в Москве. Под Вами — голубая вода, легкий хрустящий песок на твердом дне. Здесь под нами ничего, ничего, ничего, голова кружится, когда оступишься, рабские мысли приходят: только бы не увидать, — лучше совсем опять надолго съежиться.

О Вашем голубом дне я говорю только в противоположность нашему. Вы — над провалами и кручами, но что-то есть у Вас, за что ухватиться. У нас — ничего. Никто и руки не протянет. Полное одиночество, беспомощность, скудость сердца. Я слышал, что Вас зовут в Петербург. Не ездите, милый, не переселяйтесь. Едва ли Вы хотите этого, впрочем. Мне очень хотелось бы хоть ненадолго убраться отсюда по-добру по-здорову, к Вам в Москву. А здесь не наладить ни с Медным Всадником, ни с Таврической Венерой.[1]

Вот я опять написал Вам скудное письмо. Поверьте мне, что я Вас люблю теперь уже совершенно просто, даже помимо всех драгоценно-

стей, которые Вы расточаете в стихах и прозе. Пошлю Вам хоть стихи.[2] А в Москву, вероятно, мы с женой приедем. Вы приедете к нам в Петербург?

Ваш преданный друг

Александр Блок

[1] Под «Таврической Венерой» Блок, повидимому, подразумевал памятник Екатерине II в Петербурге.

[2] Стихи при письме не сохранились, но из неопубликованной заметки Блока в записной книжке выясняется, что 12 декабря 1903 г. им были посланы Белому следующие четыре стих-ия: «Темная, бледнозеленая», «Фабрика», «Что с тобой — не знаю и не скрою» и «Символ» (так было озаглавлено в рукописи стих-ие «Мне гадалка с морщинистым ликом»).

35. БЛОК — БЕЛОМУ[1]

<Конец декабря 1903. Петербург>

Милый, дорогой Борис Николаевич. Поздравляю Вас с праздником и надеюсь познакомиться с Вами лично в Январе.

[1] Записка на обороте визитной карточки.

1904

36. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<13 января 1904. Москва>[1]

Многоуважаемый, дорогой Александр Александрович,

поджидал Вас, чтоб отправиться в «Весы». Но не дождался. Я в «Весах» (мне хотелось бы застать В[алерия] Я[ковлевича], который может рано уйти: вот почему решил отправиться к Вам).

К Вам я уже, перед тем как итти в «Гриф», не зайду, ибо мы отправляемся туда с мамой.

Остаюсь весь Ваш

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании письма Блока к матери от 14—15 января 1904 г., являющегося своего рода дневником его пребывания в Москве: «13-ое, вторн[ик]... Мчусь на изв[озчике] к Бугаеву, чтобы ехать в „Скорпион". Не застаю, приезжаю один...» («Письма к родным», стр. 104—105).

37. БЛОК — БЕЛОМУ

<19 января 1904. Москва>[1]

Милый Борис Николаевич. Можно Тебе придти к нам завтра вечером? Будет Сережа. Мы уедем вероятно в четверг.[2] Поэтому в среду будем делать прощальные визиты. Хорошо бы нам еще раз увидеться вместе еще один вечер. Я пойду только ненадолго в «Скорпион» и вернусь часам к 8-ми.

Твой Ал. Блок

Понедельник

[1] Датировано на том основании, что понедельник, которым помечено письмо, приходился на 19 января (ср. «Письма к родным», стр. 110).

[2] Отъезд был отложен на два дня — до 24 января (суббота).

38. БЛОК — БЕЛОМУ

<Около 28 марта 1904. Петербург>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич. Христос воскрес! Целую тебя крепко. Поклонись от нас с женой твоей маме.

Твой Александр Блок

Пасха 1904 года.

[1] Датировано на том основании, что пасха в 1904 г. приходилась на 28 марта.

39. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Около 28 марта 1904. Москва>

Христос воскрес!

Дорогой, милый Александр Александрович, если бы Ты знал, с какой любовью и горечью я обращаюсь к Тебе с этим приветствием! Молюсь о том, чтобы Ты спокойно и счастливо «существовал» среди весенних «струек», «брызг», «опрокинутых кадок».[1] Чувствую я, что Ты находишься на каком-то «междудорожьи» и молю господа о ниспослании Тебе сил. Помолись и Ты обо мне: мне трудно, очень трудно. Злые тучи льдяных вихрей—неожиданно встали вокруг — и помчался на вихревых кругах, не знаю куда. Лик безумия сходит в мир, и все мы стоим перед страшной опасностью. Опасность, грозящую мне, я усмотрел и в веянии, исходящем от Твоего стихотворения: «плывут собачьи уши, борода и красный фрак»...[2] Вот «оно», вот именно...

Я ужасно одинок. Я ушел туда, откуда мой голос, и прежде глухой, совершенно не слышен. Вот почему я молчу и не пишу Тебе. Писать о «внешнем» можно в «Весах» и т. д. А писать о том, что я переживаю, слишком трудно — не сумею. Дорогой, напиши два слова. Буду рад.

Христос с Тобой. Мой привет, уважение и искреннюю преданность передай Любовь Дмитриевне, а также и поздравление с праздником.

Остаюсь любящий тебя

Борис Бугаев

P. S. На-днях вышлю Тебе «Золото в Лазури».

ОДИНОКИЙ

Учителю и врагу

1

Бегут года, летят планеты,
Вонзаясь в холод ледяной.
Завороженный маг, во сне ты
Повис над страшной пустотой.

Не раз — не раз, сражаясь с богом,
Десницей ввысь грозил — о пусть —
В изгибе уст безумном, строгом
Я узнаю немую грусть.

За эту грусть о тайне звездной
Люблю тебя, мне дорог ты.
Несись, несись над страшной бездной,
Над вечной пастью пустоты.

О маг, отдайся своеволью!..
И вот летит за мигом миг —
Скажи, над чем ты с острой болью
Склонил свой бледный, гордый лик?

К тебе слетел твой верный филин,
Глаза вперяя в пустоту.
Безводны дали. Воздух пылен.
Не пригвождай себя к кресту.

2

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Сух. Сериозен. Строен. Прям.
Иль над грудой книг изогнут,
Весь отдавшийся трудам.

Ты со всеми одинаков.
Да, ты замкнут, как пророк.
Пламень уст — багряных маков —
Оттеняет бледность щек.

Быстрый. Острый. Как иголка.
Зуб скрывая жемчуга,
Жалишь мстительно и колко
Косолапого врага.

Иль бежишь. Легка походка.
Вертишь трость. Готов напасть.
Пляшет черная бородка.
В острых взорах дышит страсть.

3

Ты одинок. Один средь нас —
Средь тех, кто ищет, тех, кто молод,
Сквозь дым, сквозь мглу в горящий час
Познал вершин священных холод.

Да. Ты один. Один — ничей —
Среди кривляний, смехов, свиста.
Здесь на горах поет ручей,
Струной натянут серебристой.

Здесь вечный холод, звездный день.
Застыл орел во взмахе смелом.
Твоя распластанная тень
На леднике зеркальнобелом.

Ты создал мир, горящий в снах,
Туманы дум, картины оргий.
Ты развернешься лишь в веках
И пред тобой падут в восторге.[3]

УСПОКОЕНИЕ

Ушел я раннею весной.
В руке моей пылали свечи.
Линючей, красной пеленой
Повил опущенные плечи
Священный, царский плащ — кумач.
В очах ни слез, в груди ни вздоха...
К челу больному я — палач —
Прижал венок чертополоха.
Мой ум был ясен, как стекло,
Но я для сутолоки замер.
И время медленно текло

Средь одиночных, буйных камер.
Сложивши руки без борьбы,
Покорно ждал судьбы развязки.
Там... за стеной... безумств рабы
Свершали мертвенные пляски...

И вновь повеяло весной.
И я бежал из душных камер.
Украдкой шел по мостовой
И средь полей блаженно замер.
Горела нежно бледность дня,
Пушистой вербой кто-то двигал;
Но вихрь танцующий меня
Обсыпал тучей льдяных игол.

Пришли, и видят, как брожу
Средь мётел я чертополохов.

Вот за стеной опять сижу.
В очах нет слез, в груди нет вздохов.
Мне жить в застенке суждено.
О, да!.. застенок мой прекрасен.
Я понял все. Мне все равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен...[1]

БЕЗУМЕЦ

А. С. Челищеву

1

«Вы шумите. Табачная гарь
«Дымносиние стелет волокна.
«Золотой мой фонарь
«Зажигает лучом ваши окна».

«Это я в заревое стекло
«К вам стучусь в час вечерний.
«Снеговое чело
«Разрывают, вонзясь, иглы терний».

«Вот скитался я долгие дни
«И тонул в предвечерних туманах.
«Изболевшие ноги мои
«В тяжких ранах».

«Отворяют. Сквозь дымный угар
«Задают мне вопросы.
«Предлагают, открыв портсигар,
«Папиросы».

«Ах, когда я сижу за столом
«И, томясь, замираю
«В неземном,
«Предлагают мне чаю».

«О, я полон огня
«Предо мною виденья сияют...

«Неужели меня
«Никогда не узнают?»

2

Помним все. Он молчал,
Просиявший, прекрасный.
За столом хохотал
Кто-то толстый и красный.

Мы не знали тогда ничего.
От пирушки в восторге мы были.
А его,
Как всегда, мы забыли.

Он, потупясь, сидел
С робким взором ребенка.
Кто-то пел
Звонко.

Вдруг
Он сказал, преисполненный муки,
Побеждая испуг,
Взявши лампу в дрожащие руки:

«Се дарует нам свет
«Жизнедатель...
«Я не болен, нет, нет:
«Я — „м е ч т а т е л ь!..“»

Так сказав, наклонил
Он свой лик многодумный.
Я в тоске возопил:
«Он — безумный».

3

Здесь безумец живет...
Среди белых сиреней
На терассу ведет
Ряд ступеней.

За ограду на весь
Прогуляться безумец не волен...
Да, ты здесь!..
Да, ты болен!..

Втихомолку, смешной,
Кто-то вышел в больничном халате,
Сам не свой,
Говорить на закате.

Грусть везде...
Усмиренный, хороший,
Пробираясь к воде,
Бьет в ладоши.

Что ты ждешь у реки,
Еле слышно колебля
Тростники,
Горьких песен зеленого стебля?..

Что, в зеркальность глядясь,
Бьешь в усталую грудь ты тюльпаном?
Всплеск, круги... И, смеясь,
Утопает, закрытый туманом.

Лишь тюльпан меж осоки лежит
Весь измятый, весь алый...
Из больницы служитель бежит
И кричит, торопясь... запоздалый. [5]

Февраль 1904 года

[1] См. стих-ие Блока «Обман», посланное им С. Соловьеву 9 марта 1904 г. (неопубликованная заметка в записной книжке).

[2] Из стих-ия Блока «Обман».

[3] Стих-ие обращено к В Брюсову (о взаимоотношениях с ним как с «учителем и врагом» Белый подробно рассказывает в книге «Начало века» — см. стр. 153—168 и 276—287). Отдельные строфы этого стих-ия в кардинально переработанной редакции вошли в стих-ия «Поэт», «Созидатель» и «Маг», помещенные в сборнике «Урна» (стр. 15—19).

[4] Отдельные строфы этого стих-ия разошлись по двум стих-иям, помещенным в сборнике «Пепел»: «Успокоение» (стр. 168—170) и «В темнице» (стр. 173—174). Во 2-м изд. «Пепла» (1929) Белый снова объединил их в одно стих-ие «Безумец», отчасти вернувшись к первоначальной редакции.

[5] С незначительными вариантами вошло в «Золото в лазури» (стр. 231—235).

40. БЛОК — БЕЛОМУ

7 апреля 1904. Петербург

Милый дорогой друг Борис Николаевич.

Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг сознал... и утешился. «Лик безумия сошедший в мир» — и притом н ы н е ш н е г о нашего безумия — грозил и прежде. Но знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит. Я с п а л и видел холодные сны (в букв[альном] см[ысле]). Не далее как сегодня во сне мне явился наконец Брюсов в ужасающей простоте его внутренних «потемок» и в физической красоте — нежный, как мальчик с черной бородкой. Тут был и твой «Одинокий» и вчерашний рассказ, слышанный мной у Мережковских (..!..) о пьяном Брюсове в «Грифе». Среди бела дня снился мне кошмар об «опрокинутых кадках» и девушке с карликом. [1] Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшие гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнурку, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Прежних лиц я уже не вижу, страх перед н и м и отошел в милую память о собственной юности. Б о л ь ш е н е к о г о б о я т ь с я. И люди уже не страшны. *Зато* * («в предвестие, иль в помощь, иль в награду» [2]) возвращается древняя и бурно-юная боязнь с т и х и й — изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности:

«Меня зовет к безвестным высям
В горах поющая весна,

* Подчеркнуто дважды.— Р е д.

А эта груда женских писем
И не жива и холодна!»[3]

Мы поняли слишком много — и потому перестали понимать. Я не добросил молота — но небесный свод сам раскололся.[4] И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник положим расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил[5]), — а с другой — нашей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, еслиб был титаном, а теперь только заглажу ее.— Как видишь я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, *но* часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень волны, которая меня несет. Потому — пронесет, а что дальше — опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать Тебе окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я должно быть знал это всегда. Есть на Тебе такая печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в Твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!» А извозчик — В. В. Розанов — едет, едет — день и ночь — с трясущейся рыженькой бороденкой, с ямой на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: «Мы с Бор[исом] Никол[аевичем]...» Но все-таки, я не знаю, что с Тобой теперь. И едва ли пойму. Впрочем, скорее всего, что временами знаю. Не могу написать Тебе о «Золоте в лазури», как писал о «Симфониях». Слишком важная вообще и для меня лично книга. Спасибо Тебе![6] Не посылаю Тебе стихов, потому что их нет больше (пока). Получил письмо от А. Н. Шмидт. Она просит определенно отвечать...[7] Сумею ли — не знаю. Но об этом (о Софии) я пожалуй все-таки всего определеннее могу сказать.

В Мережковских больше нет огня.

В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов. Он юродивый, нищий духом, потому будет блаженным.

Обращаюсь к Тебе с очень нахальной просьбой: один очень милый математик (и ученый)—студ[ент]-технолог Гущин просил меня написать Тебе, не можешь ли Ты прислать ему (через меня) следующие книги Твоего отца: 1) Учение о числовых производных, 2) из 5-ти брошюр о «приближенном исчислении» — следующие три: а) Способ последовательных приближений. Прил[ожение] к разложению функций в непрерывные ряды. б) Спос[об] послед[овательного] прибл[ижения]. Приложение к выводу теорем Тейлора и Лагранжа в преобразованной форме. в) Спос[об] послед[овательного] прибл[ижения]. Приложение к интегрированию дифференциальных уравнений.

Если можешь, пришли (не к спеху), а если почему-нибудь нет — ради бога напиши, что не можешь.

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Не имею сил так утешить Тебя, как Ты меня утешил. Приветствуй от нас Твою маму и пожелай ей всего самого лучшего от нас. Люба Тебя приветствует от всей души.

Любящий Тебя нежно
Александр Блок

[1] См. стих-ие Блока «Обман».
[2] Из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания».
[3] Из стих-ия В. Брюсова «У себя» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 6).

ПИСЬМО А. БЕЛОГО к А. БЛОКУ (№ 23)

На открытке репродукция рисунка А. Бёклина «Кентавр в кузнице»

Слегка уменьшено

Государственный Литературный музей, Москва

ПИСЬМО А. БЕЛОГО к А. БЛОКУ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1905 г.

На открытке репродукция рисунка М. Добужинского «Троицкий мост»

На репродукции рисунок чернилами А. Белого. Слева — чорт, который говорит: «Неужели он идет к Блокам? Надо его не пустить». Посередине — А. Белый, спрашивающий: «Где живут Блоки?» Справа — другой чорт, отвечающий: «Пойдем, я покажу, где живут Блоки».

Текст письма: «Я постоянно возвращаюсь к Вам по этому мосту, ведомый Орлом. Постоянно радуюсь, что увидимся. Мне так хочется перебросить мой смех — горсточку цветочков, потому что весна приближается не смотря ни на что. Когда я растаю, я встану голубеньким подснежником из травки. Снег»

Слегка уменьшено

Государственный Литературный музей, Москва

КАРИКАТУРА А. БЛОКА НА А. БЕЛОГО

«Андрей Белый рассказывает маме о гносеологических эквивалентах»

Институт литературы Академии Наук СССР, Ленинград

КАРИКАТУРА А. БЛОКА НА А. БЕЛОГО

«Андрей Белый читает люциферьянские сочинения Риля и Когэна»

Институт литературы Академии Наук СССР, Ленинград

[4] См. стих-ие Белого «Осень» («Золото в лазури», стр. 249—250):

В небесное стекло
С размаху свой пустил железный молот...
И молот грянул тяжело.
Казалось мне — небесный свод расколот.

[5] Речь идет о гибели броненосца «Петропавловск», потопленного японской эскадрой 31 марта 1904 г.

[6] Из неопубликованной заметки Блока в записной книжке видно, что сборник стихов Белого «Золото в лазури» был получен им 4 апреля 1904 г.

[7] Это письмо А. Н. Шмидт в архиве Блока не обнаружено. См. прим. 2-е к письму № 18.

41. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

8 апреля 1904. Москва

Милый, милый Александр Александрович,

Спасибо за письмо. Мне стало тепло от него и уютно — стало уютно в бесприютности. Я вспомнил огневые закаты, зеленые травы и много синеньких колокольчиков. Аромат полей и несказанное блаженство приближений ушло от меня теперь, весной, а еще осенью, в ноябре, приходила весна и пела. Но почему-то я знаю, что когда разбитый и усталый, убегающий от безумия, я приду в зеленую чащу и в изнеможении замру весь в цветах, Ты меня поймешь и не станешь расспрашивать н и о ч е м. Я Тебя нежно люблю за это, как будто уже все это произошло. Я не могу сейчас говорить умных вещей о боге, о людях — я устал и хочу думать о цветах, о «н и о ч е м»...

Я хочу з а б ы т ь, я хочу быть не человеком, а «с у щ е с т в о м», вот что спасет людей и вольет свежую волну в их души. Цветов, цветов — ландышей! Мы будем бродить в лесах. Струевое серебро заблещет звоном между осоками. Мы укроем безумие в холодном серебре. Мы опояшемся серебряной лентой и, молясь, прострем ее, как орарь. Мы поймаем луну — маленький, горький кружок,— в зеркальный орарь и спрячем серебряную ленту вместе с луной между травами. Тонконогий журавль выйдет из лесного сумрака и постучит добродушно нам в спину своим тонким, алмазным клювом. Мы начнем журавлиные игры и потом холодный туман запахнет нас... до утра. Утром нам покажут душившее нас безумие. Громовым комом оно, раздутое, повиснет в утреннем небе. Синебледные зарницы пригрозят нам стрелами, но журавль скажет, указывая клювом на тучу: «Тщетно тщилась».[1]

И мы узнаем праматерь чернодымной молниеблещущей угрозы. Это будет струевое серебро. Согретое жаром, это оно ринулось ввысь и, затерявшись в голубых пустынях, нахмурилось. Тщетно грозило оно... и вот настал день: оно прольется перлами над серебряным озером, чтобы вернуться в первобытную, хаотическую прохладу...

Друг, ничего не надо. Будем отдыхать, бездумные, бездымные. Пока не нужно знать, существуем мы или нет, пусть этим занимаются неуклюжие проходимцы счастья. Само счастье ни в чем не нуждается. Оно слишком аристократично. Оно от безмыслия. Оно, только оно, как и цветы, успокоит, забаюкает...

Прости меня, Александр Александрович, за эти ненужные слова, но я сел писать Тебе по какому-то мгновенному влечению, не зная что сказать (я разучился говорить), зная только, что если я сейчас не напишу, то не напишу долго. Я очень ярко ощущаю, что мы соединены чем-то очень сильно. Должно быть, будущим. У меня большая потребность Тебя видеть. Семенов мне передавал, что Ты будешь недалеко от Москвы.[2] Неужели не заедешь? Может быть, Ты приедешь к нам летом в Тульскую губернию. Я был бы ужасно счастлив Тебя видеть. Мне вообще

кажется, что мы должны видеться в близком будущем. Здесь, в Москве, я начинаю себя чувствовать ужасно одиноким. Не будь Сережи, я бы мог сказать, что совершенно одинок, хотя «друзей» сколько угодно.

В настоящее время у нас начинает процветать «аргонавтизм» и несмотря на его проэктивность, я уже с грустью убеждаюсь, что догматизму в нем еще больше, чем у «Скорпионов» и «Грифов».

В настоящее время — шепну Тебе — «аргонавтизм» у меня невольно отождествляется с «сахариновым производством»... так что бесчинность «Скорпионов» после столького количества сахара начинает прямо-таки привлекать.

Ты не даром видел во сне Брюсова. Брюсов значительней кого бы то ни было. В то время как другие выставляют на показ свою глубину, он все усилия употребляет на то, чтобы спрятаться.

Был у меня Семенов. Какой он бедный! Ходит вокруг да около, ни во что не попадая прямо. Зато он, кажется, очень хороший, честный человек. Показывал стихотворения Фридберга. Очень понравились.

Вышел перевод Бодлера Эллиса. Перевод убийственно плох. Он меня очень просит написать рецензию.[3] Увы, увы!..

Дорогой Александр Александрович! Может быть, Ты мне напишешь. Твое письмо меня согрело. Если будут стихи, не забудь меня.

У меня теперь стихов нет. Поэтому я ничего не посылаю. Мой привет, искреннее расположение и уважение Любовь Дмитриевне. Мама просит меня передать свой привет и уважение Любовь Дмитриевне и Тебе.

Христос с Тобой. Остаюсь горячо Тебя любящий

Борис Бугаев

[1] См. стих-ие К. Пруткова «Новогреческая песня».
[2] В Шахматове.
[3] Эллис. Иммортели. Выпуск I — III. Бодлэр. М., 1904. Рецензия Белого на эту книжку неизвестна.

42. БЛОК — БЕЛОМУ

9 апреля 1904. Петербург

Милый, дорогой Борис Николаевич!

Твои письма и книга[1] помогают мне ужасно. Я совсем устал и на всех окружающих лицах заметил усталость и забвение. Но все так прекрасно кругом и я, как Ты, думаю о ландышах. Мы с Любой уедем нарочно рано в деревню, именно для ландышей и даже для самых ранних почек, чтобы совсем отдохнуть и покончить с городом всякие счеты. Я думаю теперь даже лучше мне будет не заезжать в Москву — весной, а прямо с поезда в деревню. А в Ваш Серебряный Колодезь[2] мне хочется и спасибо Тебе за Твой призыв, кажется, что соберусь, хотя наверное не могу обещать. Ты же пожалуйста непременно приезжай к нам в Шахматово летом, там хорошо, уютно и глухо. Кроме того, мы все Тебя очень любим, а я, в частности, «только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я Тебя» — и не спрошу, «где был и откуда идешь».[3] Мне было за это время действительно ужасно скверно (см. прилагаемые стихи). Я до такой степени «пожелал ругаться среди лапчатых листьев»[4], что оставил в душе своей какой-то горький осадок от метания стрел в позитивистов; «голосил низким басом»[5], за что и был окачен, но не светопенным потоком, а... совершенным равнодушием. Не раз палил из 12-ти дюймовой пушки по трясогузкам. «Запалился», как старая кляча, так что должен собственно ехать теперь по железной

дороге в обществе «8-ми лошадей» (что, впрочем, гораздо приятнее «40-ка человек»[6]).

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Благодарим Тебя с Любой за посвященные нам с Любой стихи.[7] Пожалуйста передай наши приветствия Твоей маме.—Знаешь, я до сих пор не знаю, что делать с «Грифом». Как Ты думаешь, издавать мне стихи, или подождать? Мне и хочется и нет, и как-то не имею собственного мнения на этот счет.[8]

Преданный и любящий Тебя
Ал. Блок

I

Я восходил на все вершины,
Смотрел в иные небеса,
Мой факел был и глаз совиный,
И утра божия роса.

За мной! За мной! Ты молишь взглядом,
Ты веришь брошенным словам,
Как будто дважды чашу с ядом
Я поднесу к своим губам!

О нет! Я сжег свои приметы,
Испепелил свои следы!
Все, что забыто, недопето,—
Не возвратится до Звезды!—

До Той Звезды, которой близость
Познав, — сторицей отплачу
За все величие и низость,
Которых тяжкий груз влачу![9]

II

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Павиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны налету
Бледно-белым прозрачным цветком.
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи!
Я огонь для тебя сберегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.

В церкви встанешь ты, бледен лицом,
И к царице небесной придешь,—
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почуять знакомую дрожь...

Над тобой — как свеча — я тиха,
Пред тобой — как цветок — я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Все Невеста — и вечно Жена.[10]

III

МОЛИТВЫ

1

Наш Арго! Наш Арго!
Андрей Белый"

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим. Выси мерим.
Вечно ждем трубы.

Вечно — завтра. У решотки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.

Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд.
Высь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.

Разгорится — разорвется
Черных туч гряда.
Кто нам сверху улыбнется?
Ты? Весна? Звезда?

Просветленной вереницей
Глянем в небеса.
Встретят весны, встретят птицы,
Встретят голоса.

Ангел розовый укажет,
Скажет: Вот Она:
Бисер нижет. В нити вяжет.—
Вечная Весна.

Не поймем — услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь. [12]

2

УТРЕННЯЯ

До утра мы в комнатах спорим,
На рассвете — один из нас
Выступает к розовым зорям,
Золотой приветствовать час.

Высоко он стоит над нами —
Тонкий профиль на бледной заре,
За плечами его — за плечами —
Все поля и леса в серебре.

Так стоит в кругу серебристом —
Величав, милосерд и строг.
На челе его бледно-чистом —
Мы читаем, что близок срок. [13]

3

ВЕЧЕРНЯЯ

Жизнь была решенная задача.
Смерть пришла, как радость встречи с Ним[14]

Солнце сходит на Запад. Молчанье.
Задремала моя суета.
Окружающих мерно дыханье.
Впереди — огневая черта.

Я зову тебя, Смертный Товарищ!
Выходи! Расступайся, земля!
На золе прогремевших пожарищ
Я стою, моя жизнь утоля.

Утомилась она, задремала...
Спит, решенной задаче верна.
И вчера мне из тучи кивала
Светозарная — Сказка — Жена.

Приходи, мою сонь исповедай,
Причасти и уста оботри.
Утоли меня тихой победой
Распылавшейся алой Зари...[15]

4

НОЧНАЯ

Они Ее видят! Они Ее слышат!?
Брюсов[16].

Тебе, Чей Сумрак был так ярок,
Чей Голос Тихостью зовет! —
Приподними небесных арок
Все опускающийся свод.

Мой час молитвенный недолог.
Заутра обуяет сон.
Еще звенит в душе осколок
Былых и будущих Времен.

И в этот час, который краток,
Душой измученной зову:
Явись! Явись! Продли остаток
Минут, мелькнувших наяву!

Тебя, Чья Тень давно трепещет
В закатно-розовой пыли,
Пред Кем томится и скрежещет
Великий маг моей земли,—

Тебя — племен последних Знамя!
Ты, Воскрешающая Тень!
Зову Тебя! Склонись над нами!
Нас ризой Тихости одень![17]

5

НОЧНАЯ

«... Не можешь быть стражем кедров Ливанских...»
Новиков, „Утренний свет". [18]

Спи. Да будет Твой сон спокоен.
Я молюсь. Я дыханью внемлю.
Я грущу, как заоблачный воин,
Уронивший панцырь на землю.

Бесконечно легко мое бремя.
Тяжелы только эти миги.
Все снесет золотое время:
Мои цепи, думы и книги.

Вся тоска моя — ужас вещий.
Бьюсь в пыли над серебряным кладом.
И со мной бунтуют все вещи,
Как вакханты, полные ядом.

Кто бунтует — в том сердце щедро.
Но безмерно прав молчаливый.
Я томлюсь у Ливанского кедра.
Ты — в тени — под мирной оливой.

Я безумец. Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка!
Ветви мира Тебя осенили...
Непробудная!.. Спи до срока. [19]

[1] «Золото в лазури».
[2] Имение матери Белого в Ефремовском уезде Тульской губ.
[3] Стихи Вл. Соловьева («Бедный друг! истомил тебя путь»):

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

[4] См. «лирический отрывок в прозе» Белого — «Ссора» («Золото в лазури», стр. 188).
[5] Из стих-ия Белого «На горах» («Золото в лазури», стр. 120).
[6] Норма провоза «живого груза» в товарных вагонах определялась в «8 лошадей или 40 человек».
[7] В сборнике «Золото в лазури» Блоку посвящено пять стих-ий («Опала», «Полунощницы» и три стих-ия цикла «Блоку»), а Л. Д. Блок — одно («Воспоминание»).
[8] Очевидно, еще в ноябре 1903 г., будучи в Петербурге, руководитель издательства «Гриф» С. Соколов (Кречетов) предложил Блоку издать сборник стих-ий. В конце декабря 1903 г. Блок писал отцу: «[„Гриф"] обещает издать мою первую книжку. Мне хочется издать ее осенью, не знаю наверное, сможет ли сделать это „Гриф". Однако, объявление уже сделано» («Письма к родным», стр. 98). Однако, к деятельности «Грифа» Блок относился с известным предубеждением: 8 марта 1904 г. он писал С. Соловьеву: «1) Гриф выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда. Все издано более или менее скверно. 2) Редактор ничего не понимает. 3) Скорпион сделал бы все это гораздо лучше. 4) Гриф не имеет никакой реальной почвы под ногами. 5) Я попал в грязную историю, и мне ужасно не хочется печатать сборник в Грифе. 6) Самое ужасное: Грифы...— очень хорошие люди и искренно не понимают и не видят, что им гораздо лучше не издавать ничего. 7) Мало того — Гриф — п о л о ж и т е л ь н а я подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора „Гриф" и „не Гриф". В последнее время подделки фабрикуются в неописуемых дозах — на картинных выставках (вся Акад[емия] Художеств) и.. в Грифе.— Все это заставляет грустить и предвидеть какие-то дурные последствия» («Письма», стр. 72). Отчасти по совету Белого Блок все же решил передать свою книгу «Грифу»; летом 1904 г., в Шахматове, он приступил к составлению сборника и к сентябрю закончил эту работу.

В конце октября 1904 г. первый сборник стихов Блока — «Стихи о Прекрасной Даме» (помеченный 1905 г.) — вышел в свет. История издания его прослежена в моей статье «Литературное наследство Александра Блока» («Литературное наследство», № 27 — 28 1937, стр. 514—516).

[9] Стих-ие было написано 15 марта 1904 г. и впервые напечатано в альманахе «Корона», СПБ, 1908.

[10] Стих-ие было написано 26 марта 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[11] Из стих-ия «Золотое руно» (см. прим. 7-е к письму № 22).

[12] Стих-ие было написано в марте — апреле 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) без стихов 13—20 и с вариантом в 25-м стихе. Белый, рассказывая о кружке «аргонавтов», писал: «„Аргонавты" восторженно относились к поэзии Блока, считая поэта своим, „аргонавтом". Впоследствии он посетил „воскресенья" мои (в свою бытность в Москве) и, вернувшись в Петербург, он прислал мне стихи, посвященные „Арго" с эпиграфом из стихов „Аргонавты" (моих) и написанных, как гимн, аргонавтам... Стихотворение [Блока] пронизано аргонавтическим воздухом; переживанья искателей Золотого Руна отражает оно; строчки же „молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь" передают ту идею конкретного братства, которую мы пытались осуществить» («Эпопея», № 1, стр. 180—181).

[13] Стих-ие было написано в марте — апреле 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[14] Источник эпиграфа не установлен.

[15] Стих-ие было написано в марте — апреле 1904 г. и впервые напечатано без третьей строфы и без эпиграфа в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[16] Из стих-ия «Младшим» (сб. «Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 167), обращенного к Блоку и Белому и снабженного эпиграфом из Блока: «Там жду я Прекрасной Дамы»:

Они Ее видят! Они Ее слышат!
С невестой жених в озаренном дворце!
Светильники тихое пламя колышат,
И отсветы радостно белщут в венце.

А я безнадежно бреду за оградой,
И слушаю говор за длинной стеной.
Голодное море безумствовать радо,
Кидаясь на камни, внизу, подо мной.

За окнами свет, непонятный и желтый,
Но в небе напрасно ищу я звезду...
Дойдя до ворот, на железные болты
Горячим лицом проникаю и жду.

Там, там за дверьми ликование свадьбы,
В дворце озаренном с невестой жених!
Железные болты сломать бы, сорвать бы!..
Но пальцы бессильны, и голос мой тих.

Стих-ие это служит документом негласной полемики, которая велась между Брюсовым и «младшими» символистами-мистиками (Белый, Блок, С. Соловьев, Эллис). Брюсов возражал против тенденции «младших» сделать поэзию служанкой мистической философии Вл. Соловьева· «Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова,— все бо́льшее довершите вы, молодые, младшие»— писал он Блоку в ноябре 1904 г. («Печать и революция» 1928, № 4, стр. 43). «Ночная молитва» Блока и является ответом на вышеприведенное брюсовское стих-ие, относительно которого Белый писал следующее: «Да, тут смесь подозрения, недоверия, страха ко всей нашей линии, чуждой для Брюсова; на подозрение это А[лександр] А[лександрович] отвечает посланием к Музе: „Тебе, чья тень давно трепещет"... Брюсова А[лександр] А[лександрович] называет здесь магом не в реторическом смысле,— в реальном: в то время В. Брюсов особенный интерес проявлял к спиритизму и всевозможным сортам „оккультизмов" (до самых сомнительных), интересуясь эксцессами магии... А[лександр] А[лександрович] был осведомлен о[б] этих занятиях Брюсова, и потому он назвал его — магом. Но почему же „скрежещущий" маг? „Скрежетанье" Брюсова по отношению к А[лександру] А[лександровичу] и ко мне из вовсе конкретных причин: „Грифа" мы предпочли „Скорпиону"» («Эпопея», № 1, стр. 185—186). В кругу Белого и Блока за Брюсовым упрочилось прозвище «маг» (ср. посвященное ему стих-ие Белого «Маг»).

[17] Стих-ие было написано в марте — апреле 1904 г. и впервые напечатано в альманахе «Белые ночи», СПБ, 1907,— с вариантом в 16-м стихе: «Суровый маг моей земли». Эта поправка, отменяющая эпитет «великий» в отношении Брюсова, объясняется тем, что восторженное отношение Блока к автору «Urbi et Orbi» впоследствии

существенно изменилось. Уже в октябре 1904 г. он писал С. Соловьеву: «Почему ты придаешь такое значение Брюсову? Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но, ведь, „что прошло, то прошло". Год минул как раз с тех пор, как „Urbi et Orbi" начало нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого. „Маг" ужасен не вечно, а лишь тогда, когда внезапно „в разрыве туч" появится его очертание. В след[ующий] раз в очертании уже заметишь частности „острую бородку", а потом и пуговицы сюртука, а потом, наконец, начнешь говорить: — А что, этот черноватый господин все еще там стоит?» («Письма», стр. 75;— в кавычках — цитаты из стихов Белого).

[18] Эпиграф из масонского журнала, издававшегося Н. И. Новиковым, объясняется тем, что в 1904 г. Блок был занят изучением жизни и деятельности Новикова (для кандидатского сочинения «Болотов и Новиков»).

[19] Стих-ие было написано в марте—апреле 1904 г. и впервые напечатано без третьей строфы и эпиграфа в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

43. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

15 апреля <1904>. Москва

Милый, дорогой Александр Александрович,

Спасибо за письмо и за стихотворения, которые мне страшно понравились, сами по себе, и как нечто удивительное по нежности и мягкости. В них чувствуется омытость лазурью. Хожу и все повторяю:

«Павиликой средь нив золотых
«Завилась я на том берегу»...

Опять *Ее* дыханье, *Ее* ласка, *Ее* улыбка. Ее ланиты — розы Вечности, Ее губы — коралл, узкий и тонкий, как багряное облачко, растянутое у горизонта, а между кораллом зубы ее — жемчужные —...ожерелье жемчугов протянулось на западе. А на востоке:

«В золотистых перьях тучек
«Танец нежных вечерниц»...[1]

Это двустишие не дает мне покоя. Читал Семенову Твои стихи. Он в совершенном восторге. Он мне больше и больше нравится как за то, что откровенен, так и за то, что очень любит Тебя и Любовь Дмитриевну. Говорили о Мережковских, и он соглашается, что Дм[итрий] Сер[геевич] сказался весь и что дальше от него ждать нечего.

Вот хорошо было бы, если б Ты приехал к нам в деревню. Я не знаю — это было бы нечто прямо неизгладимое. Я с охотой заехал бы к Тебе, но только вот что: мне удобнее это было бы сделать в начале июня, 1-го, 2-го, ибо в конце мая я буду в Москве для подачи прошения. Постараюсь отыскать книги, нужные для математика (твоего знакомого), но не уверен, что найду их среди хаоса других книг (надо искать в кладовой среди кое-как сваленных и покрытых пылью книг). Но не в пыли дело. Она развеется. Догорит «злое пламя земного огня»[2] и опять, и опять «вся в лазури» явится София... Вот Она:

«Бисер нижет. В нити вяжет
«Вечная Весна.
«Не поймем — услышим звуки
«Отходящих бурь,
«Молча свяжем вместе руки,
«Отлетим в лазурь.[3]

Целую Тебя. Христос с Тобой.
Крепко обнимаю Тебя.

Любящий тебя Борис Бугаев

P.S. Мой привет Любовь Дмитриевне, мое расположение и уважение.

P.P.S. Признаюсь Тебе, что я написал стихотворение, в котором встречаются Твои рифмы: товарищ и пожарищ.[4] Так непроизвольно вышло. Прости. Разрешишь ли воспользоваться ими, или нет?

Посылаю стихи:

Крыши. Камни. Пыль. Звучит
Голос бархатного альта.
К небу едкий жар валит
Неостывшего асфальта.

Стен горячих вечный груз.
Вечный смрад летит в окошко.
Оборванец снял картуз.
Глаз подбит, а нос картошкой.

«Сударь, голоден, нет сил,
«Не оставьте богомольца.
«На руках и я носил
«Золотые кольца...»

«На чаек швырял не раз
«Оборванцам рупь я...»
Озаряет желтый газ
Мертвенные струпья.

«Коль алтын купец дает,
«Провожу в ночлежке ночь я...»
Ветерок, дохнув, рванет
На плечах иссохших клочья.

На танцующую дрянь
Посмотрел купец сурово.
«Говорят тебе, отстань,
«Позову городового!..»

Стены. Жар. В зубах песок.
Люди. Тумбы. Гром пролеток.
Шелест юпок. Алость щек
Размалеванных красоток.

«Милостивый государь,
«Очень вами благодарен...
«Был и я когда-то встарь
«Барин!....»[5]

P.S. Ты спрашиваешь моего мнения о Твоем сборнике.[6] 1) Или Ты еще не хочешь печатать, 2) или Ты не хочешь печатать в Грифе. В первом случае, мне кажется, может итти лишь речь о том, хочешь ли Ты сразу же занять в поэзии место наравне с Лермонтовым, Фетом, Тютчевым, чтобы в будущем стремиться стать над ними; Твой будущий сборник будет сразу почти на одном уровне с Брюсовым, если мы будем смотреть с чисто формальной точки зрения, и превзойдет его существенностью и интенсивностью настроений. Во втором случае, мне думается, можно и очень печататься в «Грифе». Одно дело неудачный альманах, другое дело — книгоиздатель-

ство. Альманах преподносил «Ярковых, Койранских, Табеницких» и т. д., а книгоиздательство выпустило еще только «Бальмонта и Уальда».[7]

[1] Стихи Блока («Светлый сон, ты не обманешь»).

[2] См. стих-ие Вл. Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась».

[3] Стихи Блока («Сторожим у входа в терем»).

[4] См. стих-ие Блока «Солнце сходит на запад. Молчанье» (стр. 85 наст. издания).

[5] Под заглавием «Попрошайка» и с вариантами было напечатано в альманахе «Гриф» 1905 г. (стр. 12—13). В сб. «Золото в лазури» не вошло.

[6] См. прим. 8-е к письму № 42.

[7] Первыми изданиями «Грифа» (кроме двух «Альманахов» на 1903 и 1904 гг.) были: сборник стихов К. Бальмонта «Только любовь» и драма О. Уайльда «Саломея» (перевод Л. и С. Андрусон, под ред. К. Бальмонта).

44. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Апрель — май 1904. Серебряный Колодезь>

Дорогой, милый Александр Александрович,

пишу Тебе как «существо»-«существу». Я все забыл. Я не знаю, где я. Сладко мне мчаться на сонных волнах. Сладко забыться на крыльях Вечности. Она домчит нас на родину. Какой простор там, какая свобода, какое тихое, блаженное веселье! Вижу отсюда улыбки, приветы, смехи — вижу тех, с кем связан навеки судьбой. Вот качаются ароматно-сиреневые аметисты, повитые свежим, холодеющим, как ветр, пурпуром. Вот знакомое, розовое облачко тает на горизонте. Милый, разве Ты не знаешь это облачко? Вижу трепет крыл серафических, вижу Ее, пронизанную лазурью золотистой.[1] Там встречаю я Твою улыбку, Твое доброе, ласковое пожелание. «В добрый путь» — говорю я себе, и мчусь, и мчусь. Ты не можешь себе представить, до чего мне радостно чувствовать Тебя там... Там так мало знакомых. Почти никого из «здешних» я не встречаю. Чем больше я думаю и переживаю, тем яснее мне, что знакомство с Тобой и с Любовью Дмитриевной для меня неспроста, точно так же, как неспроста для меня Брюсов, который изнутри (я это чувствую, а также имею некоторые внешние и веские сведения) ведет против меня атаку. Но в то время, как Брюсов, встречаемый там — всегда оборотень — злая собака, лающая из белоснежных, росистых левкоев, или нетопырь, прилипающий к груди, чтобы пить кровь, — в это время Ты и Любовь Дмитриевна — ласковые, мягкие, утешающие. Ты думаешь, я не чувствую того мягкого, тихого успокоения, которое облаком находит на меня от времени до времени, и в котором я узнаю знакомые мне приветы. Я это знаю, знаю (я теперь многому научился). Слов мне не нужно. Спасибо Тебе, дорогой друг, за ласковое отношение ко мне. Знай, что оно мне несказанно дорого, как дорог был Ты мне, еще когда я не переписывался с Тобой. Бесконечно дорога мне и Любовь Дмитриевна. Я пишу все это неожиданно для себя, может быть, оттого, что, вырвавшись из города, я ушел в милое блаженство, откуда мне виднее внутренние, обитающие в тишине людские мысли.

Как было бы хорошо, если бы Ты ко мне заехал? Что касается до меня, то я постараюсь летом быть у Тебя вместе с Сережей, если ты позволишь. Ты не то что Антоний, который в меня бросил камнем суровости в тот миг. когда я, и без того разбитый и уничтоженный, ждал от него слов утешения. Кроме всего: он выказал такое незнание меня и в то же время так грубо определил насильно, чем мне нужно быть, что я из гордости решил не подходить к нему ближе, но застегнуться на все пуговицы. Больше мне нет смысла бывать у него.[2]

Из того обстоятельства, что волны ужаса с глухой яростью разбивались недавно о скалы, которые воздвигнуты изнутри для защиты, я заключаю, что в будущем мы все будем нужны. Такой бури, такой ярости вражеской, которая разразилась недавно над многими, я не запомню. Из этого заключаю, что враг обеспокоился. А поэтому будем твердо встречать страхи, наметаемые врагом. Утешением мне остается только то, что мы — любимые дети любящего отца, который сумеет защитить нас, так что нам нечего опасаться безмерно. О, я чувствую, что *он* — любит меня, и мне бывает так мило и так тепло в бесприютной суровости тишины. *Он* — показывает мне солнечную страну, и сад, и много цветов. А когда мне покажется, что *он* оставил меня, я начинаю плакать и капризничать, пока кто-то, любящий, не склонится надо мной. И вся надежда моя не на меня самого, не на поступки мои, а на его любовь ко мне, на мою любовь к нему. Я говорю себе в дни испытания: «Куда я пойду, если он меня прогонит от себя». И когда я так говорю, я уже чувствую, что он — со мною. Больше я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Счастливый и успокоенный я плыву, плыву — уплываю на родину. Милый, там увидимся! Прощай, прощай, прощай!

Остаюсь готовый к услугам уважающий Тебя

Борис Бугаев

P.S. Мой привет и уважение Любовь Дмитриевне. Не пришлешь ли мне стихов? Я теперь в деревне. Напиши что-нибудь. Мой адрес: Тульская губерния. г. Ефремов. Сельцо Серебряный Колодезь. Напиши точно свой адрес.

[1] Слова Вл. Соловьева (поэма «Три свидания»)

[2] О встречах с жившим «на покое» епископом Антонием Белый упоминает в книге «Начало века» (см. по указателю имен). В бытность Блока в Москве, в январе 1904 г., Белый и его возил к Антонию: «Помнится, свидание А[лександра] А[лександровича] с епископом Антонием вышло столь тусклым, что я ничего не запомнил — ни одного слова Антония, ни одного слова А[лександра] А[лександровича], оба были весьма не в своих тарелках, весьма не в подлинном виде. Епископ Антоний не обратил на А[лександра] А[лександровича] никакого особого внимания. А[лександр] А[лександрович] сидел молчаливый... несколько страдающий, и вышло, что мы... его затащили насильно. Вообще у нас было посягательство на А[лександра] А[лександровича],— мы его водили и показывали, а одновременно показывали ему то, что нас занимало в то время, но что, может быть, ему было чуждо» («Записки мечтателей» № 6, стр. 64). Сам Блок писал матери 14—15 января 1904 года о посещении им Антония: «Говорит много и хорошо... Прекрасный, иногда грозный, худой, с горящими глазами, но без „прозорливости", с оттенком иронии» («Письма к родным», стр. 105).

45. БЛОК — БЕЛОМУ

16 мая 1904. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Твои письма, за которые крепко Тебя обнимаю, я получил недавно — мне прислали первое из П[етер]б[ур]га. Спасибо за совет, книги [1], а главное за любовь. В стихах — лучшие строки:

На руках и я носил
Золотые кольца.

А вообще — сочинение если не Вал[ерия] Яковлевича, то по крайней мере — Валерия Николаевича Бугаева. То же все время происходит со мной, но в еще большем размере, так что от моего имени остается разве окончание: *ок* (В. Я. Бр...—ок!). Я в отчаяньи, и усиленно надеюсь на исход из асфальтовых существительных. [2] Как только подашь прошение —

приезжай в Шахматово, милый. Я надеюсь, что Тебе теперь лучше, мне гораздо лучше, чем было в городе, где все стало томительно непонятным. Дело в том, что в начале июня приедут позитивисты-родственники, но не в самых первых числах, так что хорошо бы нам некоторое время пробыть без них. Тут дело идет, конечно, не о нас, которым все время будет свободно, но например, о маме, которая очень захочет видеть и слышать Тебя, и вдруг окажется связанной, так что ей не удастся поговорить.

Напиши, пожалуйста, можешь ли Ты приехать и когда именно. Если Тебе ничего — приезжай на ямщике от станции, так как это может совпасть с приездом родственников, а назад мы Тебя отвезем на наших лошадях. Кроме того, если захочешь, приезжай любого числа мая, м[ожет] б[ыть] — перед подачей прошения. Впрочем, как Тебе удобнее. А мне хочется к Тебе приехать и, думаю, что исполню это. Кроме того, вдруг Ты приедешь еще раз летом! Это будет недурно! Я думал пригласить из П[етер]б[ур]га Евг[ения] Иванова, человека очень замечательного, который очень хочет с Тобой познакомиться. Мне кажется, что он понравится Тебе, он очень добр и искренен, кроме ума и пр. К нам приезжала А. Н. Шмидт. Впечатление оставила смутное, во всяком случае, хорошее — крайней искренности и ясности ума, лишенного всякой «инфернальности» — дурной и хорошей. Говорила много тонких вещей, которые мне только понятны.[3] Знаешь ли — у меня не (анти?) христианское сознание... Много мучительного... Ночь еще не «на исходе».[4] Но, — чувствую опять временами:

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут Тебя опять за дымкою туманной, —
Я плачу сладостно, как первый Иудей
На рубеже земли обетованной;
Не жаль мне детских игр...[5]

Написал первую часть пробрюсованной поэмы «Три свидания». Лучше прочту при свидании с Тобой — длинно и... в отношении стихов ужасно недоволен собой.[6] Ты меня очень поддержал своим сочувствием последним стихам о павилике и «Молитвам».

Целую Тебя крепко и жду, милый. Приезжай. Все Тебя очень ждем.

Твой Ал. Блок

Шахматово — 17 верст от ст[анции] Подсолнечной Н[иколаевской] Ж[елезной] Д[ороги].

[1] Очевидно, речь идет о брошюрах Н. В. Бугаева по математическим вопросам (см. письмо Блока от 7 апреля 1904 г. № 40).

[2] «Асфальтовыми существительными» Блок называл стихи В. Брюсова.

[3] См. прим. 2-е к письму № 18.

[4] См. стих-ие Белого «Знаю» («Золото в лазури», стр. 226):

Знаешь ли — ночь на исходе?

[5] Стихи Фета, о которых Блок в 1919 г. сказал, что они «некогда» были для него «путеводной звездой» (предисловие к сборнику юношеской лирики — «За гранью прошлых дней», П., 1920).

[6] См. стр. 96 наст. издания и прим. 9-е к письму № 47.

46. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

Май <вторая половина> 1904.
Сер[ебряный] Кол[одезь]

Милый, дорогой Александр Александрович,

К сожалению я никак не могу приехать к Тебе в конце мая и начале июня. Время ж у меня свободное будет в конце июня, в начале июля.

.а непременно приеду. Ты же приезжай, пожалуйста. Мы ужасно м рады. Может быть, Ты приедешь в июне? До моего приезда в матово? Это было бы совсем хорошо.

Прости, что ограничусь этими несколькими словами. Ничего писать огу — полная апатия. Вместо письма присылаю Тебе несколько стихо-ений, под Твоим и под Брюсовским влиянием написанных. Прощай, эдь с Тобою.

Любящий Тебя Борис Бугаев

P.S. Мой привет и уважение Любовь Дмитриевне.

ВОСПОМИНАНИЕ

Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы!
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.

Била ливнем нас гроза,
И одежда перемокла.
Шел Ты, вдаль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.

За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили:
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.

Ты не раз меня будил:
Приносил нам сторож водки...
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Как с убийцей, с босяком,
С вором
Запевали вечерком
Хором!

Здесь на воле меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Арестантские халаты.[1]

ПОКОЙ БЕЗБРЕЖНЫЙ

Покинув город, мглой объятый,
Пугаюсь шума я и грохота.
Еще вдали звучат раскаты
Как бы насмешливого хохота.

Там я года твердил о вечном.
В меня бросали все каменьями.
И в опьянении беспечном
Моими тешились мученьями.

Я покидаю вас, изгнанник,
Моей свободы вы не свяжете!..
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых, хлебных пажитей.

Бегу во ржи межой по кочкам
Необозримыми равнинами.
Перед лазурным василечком
Ударюсь в землю я сединами.

Коснись меня, ты — цветик нежный!..
Кропи, кропи росой хрустальною!..
Я ухожу в покой безбрежный
Моей душой многострадальною.

Заката теплятся стыдливо
Жемчужнорозовые полосы,
И ветерок уж рвет лениво
Мои серебряные волосы. [2]

ПОБЕГ

Как дитя, мы свободу лелеяли,
Проживая средь душной неволи.
Минул срок. Мы былое развеяли.
Убежали в пустынное поле.

Там, как в тюрьмах, росло наше детище.
Здесь приветствовал стебель нас ломкий.
Ветерок нежно рвал наше вретище —
Мы взвалили на плечи котомки.

И пошли. Силой крестного знаменья
Ты бодрил меня, бледный товарищ. *
Над простором приветствовал пламень я
Догоравших, вечерних пожарищ.*

И утешенный облачком розовым,**
Мой юродивый, бедный ребенок,
Ты смотрел, как <над> лесом березовым **
Серп луны был и снежен, и тонок.[6]

БЕЗЗАБОТНЫЙ

Полно сердцу томиться заботою.
Среди жаром расплавленных камней.***
От ночи до ночи я работаю
И работа, как песня, легка мне.***

Ветерок молодыми побегами
Прошумит мне о сказочной были.
День погас. Отдыхаю. Телегами
Поднимают столбы серой пыли.

---

* Бессовестный плагиат у Тебя. [3]
** Плагиат у Семенова. [4]
*** Бессовестный плагиат у Брюсова. [5]

Встало облако длинными башнями...
С голубых, бледнотающих вышек
Над далекими, черными пашнями
Дышит свет златоогненных вспышек.

Блеск и трепет. Зигзаги воздушные
Чьих-то светом пронизанных сабель.
Ровно стелятся травы послушные
Между влажными зубьями грабель.[1]

Писал Александр Яковлевич Сбелоброк.[8]

[1] Под заглавием «Арестанты», с посвящением В. П. Поливанову, с вариантом в седьмой строфе и с дополнительной восьмой строфой вошло в «Пепел» (стр. 41—42; 2-е изд., стр. 109—110).

[2] Под заглавием «Изгнанник», с посвящением М. И. Сизову и с вариантами вошло в «Пепел» (стр. 223—224); во 2-м изд. (стр 114—115) — без второй строфы.

[3] См. стих-ие Блока «Солнце сходит на запад. Молчанье» (стр. 85 наст. издания).

[4] См Л Семенов. Собрание стихотворений, СПБ, 1905, стр. 40 (рифма: «розовые — березовые», в стих-ии 1903 г.).

[5] Под заглавием «Странники», с посвящением А. С. Петровскому, с вариантами и добавлением двух строф из следующего стих-ия («Беззаботный») вошло в «Пепел» (стр. 200—201)

[6] См. стих-ие В. Брюсова «Искушение» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 45).

[7] Вторая и третья строфы в измененном виде вошли в стих-ие «Странники», помещенное в сб «Пепел» (стр. 200—201).

[8] Имя — Блока, отчество — Брюсова, а фамилия составлена из четырех: Семенов, Белый, Брюсов, Блок.

47. БЛОК — БЕЛОМУ

5 июня 1904. Шахматово

Дорогой, милый Борис Николаевич.

Спасибо Тебе за нежные слова. Я ценю, понимаю и принимаю их. В прошедшие годы изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был склонен минутами сказать: здравствуй. Чаще всего — это был всадник в голубом. Иногда хотелось принять его за Христа, но он был так близок мне, что я ни разу не решился сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездил мимо. Но я наверное знаю, что это — не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет, он ходит где-то очень далеко.[1] Пускай даже в этих странах. Но меня это не касается, потомучто я живу и жил главным образом в тех странах, а из этих «убежал с королевой».[2] Страна, в которой я теперь живу — «голубая тюрьма» и «зеленая планета»[3] (то и другое явственно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и делать забор. От этого у меня исчез даже «почерк», и руки дрожат от топора и лопаты. Я надеюсь на еще бо́льшее забвение и тишину.

Что восстанут за вопросы,
Опьянят что за слова,
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?[4]

Мне очень хочется развивать мускульную силу, как каждый год, восстановляя утраченное зимой. От этого в буквальном смысле часы становятся неведомыми и день за днем тонет — голубой, зеленый, белый,

золотой. Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей.

Позволь мне счесть установленным, что Ты приедешь в конце июня или начале июля. Тогда я позову милого и нежного Евг[ения] Иванова, который очень хотел тебя видеть.[5] Напиши мне, пожалуйста, о расстоянии от станции до «Серебр[яного] Колодца» и от Москвы до Ефремова (Курской дороги?). Можно к тебе приехать невзначай? Только я не могу еще решить — когда и приблизительно. Но легче решить, не назначая точно дня,— только напиши, милый, не стеснит ли это в чем-нибудь Вас с мамой?[6]

Видевшая Тебя и не видевшие приветствуют Тебя и ждут. Целую тебя крепко.

Твой любящий Ал. Блок

NB. Вот масса стихов, в которых я затрудняюсь определить,— что у кого похищено. Но часть — собственная.

P.S. Адрес ты пишешь совершенно точно:

Никол[аевская] ж. д. Ст[анция] Подсолнечная, им[ение] Шахматово.

Для всякого другого было бы очень хорошо, но Блок один может в этом сюжете итти дальше и дальше*.

BAD NAUHEIM 1897
(первая часть из поэмы «три свидания») *

Несколько принужденно.

Я видел огненные знаки
Чудес, рожденных на заре.
Я вышел — пламенные маки
Сложить на горном алтаре.

Прекрасно.

Чуть-чуть неясно.

Со мною утро в дымных ризах
Кадило в голубую твердь.
И на уступах, на карнизах
Бездымно испарялась смерть.

Для наполнения стиха.

Чутко.

Дремали розовые башни,
Курились росы в вышине,
Какой-то призрак — сон вчерашний —
Кривлялся в голубом окне.

Непринужденно мистически: хотя и не вполне воплощена мысль в стих.

Еще мерцал вечерний хаос —
Восторг, достигший торжества,
Но все, что в пурпур одевалось, —
Шептало белые слова.

В общем оборот под влиянием Брюсова.

Прелестно.

И жизнь казалась смутной тайной.—
Что в утре раннем, полном сна,
Я вскрыл, мудрец необычайный, —
Чья усмехнулась глубина?

Чутко и ново.

Там — на горах — белели виллы,
Алели розы в цепком сне.
И тайна смутно нисходила
Чертой, в горах неясной мне.

* На полях петитом — пометы Белого. — Ред.

«*Кроток*» исключительно для «*пролеток*».
Под влиянием Брюсова.

О, как в горах был воздух кроток!
Из парка бешено взывал
И спорил с грохотом пролеток
*Веками стиснутый** хорал.

Дивно и по-блоковски.

Там — к исцеляющим истокам
Увечных кресла повлеклись,
Там — в парке, на лугу широком,
Захлопал мяч и lawn-tennis.

Прелестно и воплощенно.
«*Пламенное тело*» у Брюсова.[7]
«*Утра бирюза*» у меня.[8]

Там — нить железная гудела,
И поезда — вверху, внизу —
Со свистом пламенное тело
Вонзали в утра бирюзу.—

Прелестно.

И в двери, в окна пыльных зданий
Врывался крик продавщика
Гвоздик и лилий, роз и тканей,
И cartes postales и «kodak»'а.

Я понял: — шествие открыто, —
Узор явлений стал знаком.
Но было смутно, было слито,
Терялось в небе голубом.

Она сходила в час веселый
На городскую суету.
И тихо возгорались долы,
Приемля Горную Мечту.

И я не знал, что вечер близок,
Что день мелькнул мне одному,
Что там, где дух безмерно низок, —
Готовятся изведать тьму,

Гениальное выражение. В общем типично и знаменательно для Блока (поворот к социализму, уже не раз мелькавший).

Что в диком треске, в зыбком гуле
День уползал, как сонный змей,—
Что счастью в очи не взглянули
*Миллионы сумрачных людей.**

Смутно.

И город шопотом далеким
На возрастающей заре
Манил свиданьем одиноким,
Воздвигшим Утро на горе.

Прекрасно.

Я шел свободно-утомленный. —
Бродил в вечерней синеве
Мелькнувший день завороженный,
И росы прятались в траве.

Обще — прекрасно, как *прозрение* и безусловно хорошо, как стих.

И вот — сверкнут на утро снова,
И встанет Горная — средь роз —
У склона дымно-голубого,
В сияньи золотых волос.

Александр Блок

Шахматово, 8—12 мая 1904[9].

---

* Подчеркнуто Белым.— *Ред.*

* * *

Безусловно хорошо и самостоятельно по разработке. Выбор темы несколько мой.

Фиолетовый запад гнетет,
Как пожатье десницы свинцовой.
Мы летим неизменно вперед —
Исполнители воли суровой.

Нас немного. Все — в дымных плащах —
Брыжжут искры и блещут кольчуги.—
Поднимаем на севере прах.
Оставляем лазурность на юге.

Очень метко.

Ставим троны иным временам.
Кто воссядет на темные троны?
Каждый душу разбил пополам,
И поставил двойные законы.

Чисто по-блоковски.

Никому не известен конец.
И смятенье сменяет веселье:
Нам открылось в гаданьи: *мертвец*
Впереди рассекает ущелье. [10]

* * *

В общем дивное стихотворение.

Удивительно.

Чистый Блок.

Ты оденешь меня в серебро.
И, когда я умру,
Выйдет месяц — *небесный Пьерро*.
Встанет красный паяц на юру.*

Мертвый месяц беспомощно нем.
Никому ничего не открыл.
Только спросит подругу — зачем
Я когда-то ее полюбил?

Можно бы и иначе.

Смутно.

В этот *яростный сон** наяву
Опрокинусь я мертвым лицом.
И паяц испугает сову,
Загремев под горой бубенцом.

Знаю — сморщенный лик его стар —
И бесстыден в земной наготе.
Но зловещий восходит угар —
К небесам — к высоте — к чистоте. [11]

* * *

Пьяный вздох одичалой весны
Дышит с моря, где серый маяк
Указал морякам быстрины,
Растрепал у поднебесья флаг.

Там зажегся последний фонарь,
Озаряя таинственный мол.
Там корабль возвышался, как царь,
И вчера в океан отошел.

Чуть серели его паруса,
Унося торжество в океан.

* Подчеркнуто Белым.— Ред.

Я покорно смотрел в небеса,
Где Она расточала туман.

Я увидел Глядящую в твердь
С неземным очертанием рук.
Издали мне привиделась смерть,
Приносящая тягостный звук.

Там живет среди серых камней,
В отголосках причудливых пен —
Переплеск отдаленных морей —
Голоса корабельных сирен.[12]

ВРУБЕЛЮ

День мой тускл, мой вечер скуден,
В очи смотрит даль.
Сон царевен непробуден,
Греет сны печаль.

Смотрит в очи в час полдневный,
Смотрит синева.
В непробудном сне царевны —
Сном душа жива.

Шепчет высь тоске уроки, —
Даль превозмогла.
Кротко смотрит синеокий
Из глубин стекла.

В глубине лазурной дали
Можешь вспыхнуть Ты.
Все мы сумрачно сжимали
Скорбные персты.

Но сомкнувшиеся дуги
Размыкались вновь.
Снова в голосе Подруги
Плакала любовь.

На распутьях с теремами
Сочетал закат,
Нежно белыми словами
Кликал брата брат.

Брата брат из дальних келий
Извещал: «Хвала!»
Где-то голуби звенели,
Расплескав крыла.

С золотистых ульев пчелы
Приносили мед.
Подходил к окну веселый
Праздничный народ.

В пестрых бусах, в алых лентах
Девушки цвели...
Кто там скачет в позументах
В голубой пыли?

Белый конь, как цвет вишневый, —
Блещут стремена...
На кафтан его парчевый
Пролилась весна...

Пролилась и сгинет в тучах,
Вспыхнет за холмом. —
На зеленых встанет кручах
В блеске заревом...

Где-то перьями промашет,
Крикнет: Берегись!
На коне селом пропляшет,
К ночи — канет ввысь...

Только в лентах, в косах русых
Вспыхнет жар весны. —
Всколыхнет на пестрых бусах
Заревые сны...

Ночью девушкам приснится,
Пролетит из туч —
Конь — мгновенная зарница,
Всадник — беглый луч...

В белом битвенном наряде,
В золотой парче. —
Светлых кудрей бьются пряди,—
Искры на мече. —

И, как луч, пройдет в прохладу
Узкого окна.
И Царевна, гостю рада,
Встанет с ложа сна. —

Иль он глянет, пьян от власти,
В полноводный пруд, —
И его, дрожа от страсти,
Руки заплетут. —

И потом обманут — вскинут
Руки к серебру, —
Рыбьим плесом отодвинут
В струйную игру...

И душа, летя на север
Золотой пчелой,
В алый сон, в медовый клевер
Ляжет на покой. —

И опять — в венках и росах
Запоет мечта...
Засверкает на откосах
Золото щита.—

И подымет щит девица,
И опять вдали —
Всадник встанет, конь вздыбится
В голубой пыли. —

Будут весны — в вечной смене
И падений гнет...
Вихрь исполненный видений,
Голубиный лёт...

Мы опять приkличем братий
Счастьем без конца,
И опять к крестам распятий
Пригвоздим сердца!..

Что мгновенные бессилья!
Время — легкий дым!..
Мы опять расплещем крылья,
Снова отлетим!

И опять — в безумной смене,
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений —
Встретим жизнь и смерть! [13]

* * *

В час, когда пьянеют нарциссы
И театр в закатном огне,
В полутень последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...

Арлекин, забывший о роли?..
Ты, моя тихоокая лань?...
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений легкую дань?

Я — паяц — у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк...
Это — бездна смотрит сквозь лампы —
Ненасытно-жадный паук. —

И пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутясь и звеня. —
Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня. —

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов. —
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов... [14]

[1] 15 июня 1904 г. Блок писал Е. Иванову: «Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я его не знаю и не знал никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то желчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, „как прах могильный"» («Письма к Иванову», стр. 25).

[2] «Убежал с королевой из этих стран» («Северная симфония», стр. 19).

[3] Выражение «голубая тюрьма» встречается в стих-ии Фета «Памяти Н. Я. Данилевского». Ср. в статье Блока «О лирике» («Собр. соч.», т. X, стр. 64) и в статье Белого «Химеры» («Весы» 1905, № 6, стр. 14).

[4] Из стих-ия В. Брюсова «Работа» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 10).

[5] 15 июня 1904 г. Блок писал Е. Иванову: «Не навязывая и не затрудняя вас, прошу... приехать в Шахматово. Хотите так: А. Белого и С. Соловьева можно не встретить, Белый приедет в конце июня или начале июля. Мы спишемся, когда я буду наверно знать, что в Шахматове никого не будет из них» («Письма к Иванову», стр. 26).

[6] В Серебряный Колодезь Блок не ездил.

[7] В стих-ии «Знойный день» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 137).

[8] Выражение «утра бирюза» в стихах Белого найти не удалось, но слова: «бирюза», «бирюзовый» и т. д. встречаются в них часто (см., например, «Золото в лазури», стр. 5, 112, 140, 163).

[9] Стих-ие было впервые напечатано в альманахе «Хризопрас», М., 1906—1907, с вариантами и эпиграфом из Вл. Соловьева: «Подруга вечная, Тебя не назову я».

[10] Стих-ие было написано 14 мая 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[11] Стих-ие было написано 14 мая 1904 г. и впервые напечатано в «Вопросах жизни» 1905, № 6.

[12] Стих-ие было написано 26 мая 1904 г. и впервые напечатано в альманахе «Гриф» 1905 г., с вариантами и под заглавием «Взморье».

[13] Дата начала работы над этим стих-ием уточнена в рукописи — 22 апреля 1904 г.; окончательно обработано оно было в конце мая 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) в сильно сокращенной редакции, с вариантами и без заглавия. В примечании во 2-м изд. «Стихов к Прекрасной Даме» (1911) Блок указал, что стих-ие это «написано под впечатлением живописи Врубеля».

[14] Стих-ие было написано 26 мая 1904 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905). В рукописи посвящено Е. П. Иванову.

48. БЛОК — БЕЛОМУ

4 июля 1904. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Что же Ты не едешь? Мы прождали Тебя 1-го, 2-го, и 3-го, все надеялись и много раз слышали звонки.[1] Я продолжаю Тебя ждать ежедневно и прислушиваться. Приезжай, милый.

Письмо Твое[2] получил и не ответил, потомучто думал, что Ты приедешь, и оно с Тобой разойдется. Еще, если хочешь, потомучто думы мои так часто и так болезненно черны. Кто-то покинул, не обернувшись. Усталость.

Письмо Твое совпало с известием о циклоне, разрушившем Трубицыно, где жил и Сережа. Все спаслись — живые.[3] Ты, впрочем, знаешь это, я думаю. О Сереже — давно ничего не знаю.

Все мы приветствуем Тебя, милый друг. Прости, не могу писать много от глупого расстройства вследствие неурядицы с работником.

Целую Тебя крепко, обнимаю и продолжаю ждать в любой из следующих дней.[4]

Твой Ал. Блок

[1] В опущенном письме от 20 июня 1904 г. Белый писал: «Наверное буду у Тебя 1, 2, 3 июля».

[2] Опущенное письмо от 20 июня.

[3] 28 июня 1904 г. Блок писал Е. Иванову: «Смерч московский разорил именье сестры моей бабушки, где жил С. Соловьев. Вековой сад вырван с корнями, крыши носились по воздуху. Все люди и скоты спаслись» («Письма к Иванову», стр 29).

[4] Белый приехал в Шахматово со своим другом А. С. Петровским в начале июля (точная дата приезда неизвестна); несколько позже туда приехал и С. Соловьев.

Уехали все трое из Шахматова 15 июля. Об этой поездке Белый подробно рассказал в своих мемуарах («Записки мечтателей», № 6, стр. 75—93; «Эпопея», № 1, стр. 230—273; «Начало века», стр. 331—347).

49. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<19 июля 1904. Москва>[1]

Вчера для меня совершился перелом в жизни.[2] Молю господа об укреплении духа, чтобы достойно пройти мне назначенный путь. Никогда не забуду дней, проведенных в Шахматове, где зазвучал мне благовест Вечного Покоя... Сегодня день Серафима, голубой и прозрачный... Ласточки кричат. Уезжаю.[3]

Б. Бугаев

Низкий поклон и привет всем. Еще раз спасибо за гостеприимство.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Очевидно, в данном случае Белый имел в виду свои крайне напряженные и запутанные отношения с Н. Петровской, обозначенной в его мемуарах литерой: «Н **» (см. «Начало века», по указателю имен).

[3] В Серебряный Колодезь.

50. БЛОК — БЕЛОМУ

25 июля 1904. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Спасибо Тебе за все, что пишешь. Дай бог, чтобы исполнилось. Я ничего не могу сказать о настоящем. Ничего не было чернее его. Ничего не вижу, перед глазами протянута цепь, вся в узлах. Мне необходимо, чтобы это была снасть корабля, отходящего завтра. Когда он уплывет — яснее откроется далекое море.

Когда-то (здесь все мои надежды) я шел по городу, и такой же цепью был застлан горизонт. Но корабль отплыл в тот самый час, когда открылся глаз неба, и в нем явственно пошли звезды. И тогда я также не ждал.

Корабль стал строен, как вечернее облако (тогда). И тогда же повсюду появилась «Она» — отходящая, как корабль и как вечернее облако. И появлялась еще. Невероятность откровений искупляла меня. Теперь — я сослан в каменоломню.[1] Искра из камня — да будет! Есть еще связь с прошлым. Я хочу вспомнить забытое. Спасибо за Твои дуновения, за напутственный шелест. И, конечно, — «лучше рыдать в грустной оставленности»... [2]

Знаешь, я может быть не приеду к Тебе в «Серебряный Колодезь», а приду в Москве. Во-первых, что-то тяжкое, хмурое, смрадное идет от меня, и я боюсь развозить эту атмосферу, пусть сама претворяется. Ты мог заметить это в Шахматове, я все время чувствовал из-за этого угрызения совести. Потом, в начале августа, приезжает Сережа; кроме того, я получил письмо от С. А. Соколова, и вижу, что должен заняться изданием сборника в «Грифе». Не имею ни сил, ни веских причин отказаться.[3]

Не рассердись и пойми, что самая действительная причина — первая. Победить ее не могу, хотя и из-за этого в свою очередь угрызаюсь совестью. Но тут есть какая-то натруженность — внешняя ли, временная ли, — бог знает.

Поздравляю тебя с днем Серафима. Крепко целую Тебя, чтобы ни произошло. Все Тебя приветствуют. Люба гостит у своих, но завтра вернется.

[1] См. стих-ие В. Брюсова «Раб» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 62):

Вот сослан я в каменоломню.

[2] Источник цитаты не установлен.

[3] 21 июля 1904 г. С. Соколов (Кречетов) писал Блоку: «Готовите ли Вы к печати сборник? Имейте в виду, что он намечен первым осенним изданием „Грифа"». Получив это письмо, Блок приступил к составлению книги «Стихов о Прекрасной Даме» (см. прим. 8-е к письму № 42).

51. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<20 августа 1904. Ефремов>[1]

Милый Александр Александрович,

неужели мы с Тобой не увидимся вот теперь? Я с мамой еду в Саров. Вернусь наверное числа 30-го августа. А может быть в первых числах сентября (будет зависеть от мамы). Мне это ужасно обидно. Напиши мне. Приезжай непременно зимою в Москву. Ужасно жаль, что Ты не приехал в августе. Христос с Тобой.

Целую Тебя крепко. Весь Твой Борис Бугаев

P.S. Мой привет и уважение Александре Андреевне, Любовь Дмитриевне и вообще всем Вашим.

[1] Дата почтового штемпеля.

52. БЛОК — БЕЛОМУ

23 августа 1904. Шахматово

Милый, дорогой Борис Николаевич!

Спасибо за васильки и письма. Если бы Ты не уехал в Саров, нам бы все-таки не удалось увидеться. Завтра мы едем в Петербург и уже не вернемся в Шахматово. Будет трудная зима — трудная многим.

Но вчера, в золотой осенний вечер, пролетело тринадцать журавлей. Стало тихо и очень хорошо — «сладкая весть о кончине безбурной», «вздох ветерка улетевший».[1] Осень ужь золотит листья и сердце.

Все так тихо и прекрасно, дай бог отдохнуть. Мне не хочется плакать и сожалеть, редко хочется хлопать крыльями.

«В царство времени все я не верю.
Силу сердца в себе берегу»...[2]

До свиданья, милый друг, не знаю — зимой ли? Может быть ведь и Ты приедешь в Петербург?

Твой Ал. Блок

[1] Из стих-ия С. Соловьева «Свете тихий!» (С. Соловьев. Цветы и ладан. Первая книга стихов, М., 1907, стр. 39).

[2] Из стих-ия Вл. Соловьева «У себя»; цитировано не точно: у Соловьева: «Силу сердца еще берегу».

53. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Август — сентябрь 1904. Москва>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

Пишу Тебе тоже в золотой день осени, когда руки, грустно опущенные, не складываются в жесты решимости, но тем сильней, тем настойчивей встает вечно та же песнь успокоенной лазури. Я усомнился во всем. Я все забыл. Но спокойно гляжу на будущее. Жизнь так прекрасна, так животворна, воздушна. Мне хочется петь, веселиться, проливать радостные слезы, потому что я победил жизнь в страдании. Страданием звонит

мне радость. Страданием улыбается этот белый, ослепительный день, и эти ослепительные зубы промелькнувшего лица, которое я видел сейчас на улице, так весело скалятся! О, я благодарю за день своего рождения. Моя жизнь такая прекрасная: прав учитель из «Трех Сестер», когда он кричит: «Я доволен...» О, да!

700 японцев взлетело от Порт-Артурских фугасов.[2] Ура! Да здравствует русское оружие! Родился Алексей-младенец — звезда наша![3] Наконец звон дивеевских колоколов — сладкий, призывный. Кругом такая радость, золото и вино, а мы — неужели мы не созданы восхищаться. Неужели мы не оценим жизни (хотя бы тех оранжевых клювов гусей, о которых Ты мне писал летом).

Я доволен.

О как бы я хотел вырвать кусок холодного, закатного золота — застывшего как леденец, чтоб растопить его своим восторгом. Пусть струится оно — расплавленное, — пусть оно греет плечи нежной задумчивостью — золотая благодать осеннего вечера.

Прости меня за эти безумные слова, но обращаясь к Тебе, мне хочется передать что-то, что волнует меня — и ничего не нахожу, кроме этих косноязычных фраз. И все таки через все пишу их.

Мне все труднее быть внешним. Хочется поделиться несказанной грустью, несказанным счастье — и нет слов. О, если бы слова мои ожили, загорелись, прозвенели, чтобы вырвалось из души наружу все то, что просится — ласково-ласково просится, с нежностью тихой кружится...

Христос с Тобой. Любящий Тебя.

P. S. Пиши. Пришли стихов, пожалуйста.

P. P. S. Мой привет и уважение Александре Андреевне и Любовь Дмитриевне.

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Имеются в виду августовские — сентябрьские бои во время осады Порт-Артура.

[3] Рождению (30 июля 1904 г.) у Николая Романова сына Алексея Белый и его друзья придавали какой-то особый смысл: «Задумались мы, ощутив, что убийство [министра Плеве] — рубеж,— писал он впоследствии.— Начиналась иная эпоха: рожденье наследника и заключение мира воспринимали иначе, чем прежде» («Эпопея», № 1, стр. 273).

54. БЛОК — БЕЛОМУ

29 сентября 1904. Петербург

Милый друг.

Я потому не писал Тебе давно, что мало имел слов в запасе. И теперь их немного (хотя на деле все еще слишком много) — но я помню Тебя и люблю. Осень проходила хорошо, я мог радоваться. У меня поглощала время и «жар души»[1] физическая усталость каждого дня, очень занятого учебным делом. И теперь то же дело — и пусть оно будет так зимой — до лета, пусть многое тонет в том, в чем есть своя тишина. Изредка я начинаю понимать Твое возвращение в университет.[2] Ты написал мне о конкретно-жизненном, у меня было его много теперь, и я хочу сохранять это дольше и больше. За сеткой тихой суеты проходят, как в калейдоскопе, многие люди — и там же меняется нрав души — то буйно-золотой, свободный, захлебывающийся жизнью, то бездумно-тихий. Иногда поднимается глухое беспокойство,— что это: слишком мало или слишком много изживается в каждом моменте. Но и это тонет. Мне все хочется теперь меньше «декадентства» в смысле трафаретности и безвдохновенности. Я пробовал искать в душах людей, живущих на другом берегу — и много находил.

Иногда останавливается передо мной прошлое: «Я изменил, но ты не изменила» [3]. Но я живу в маленькой избушке, на рыбачьем берегу, и сети мои наполняются ужь другими рыбами.

Приезжай в наш город зимой. Это — город хороший, дремучий. Крепко целую Тебя, до свиданья. Вот и стихи. Пришли своих.

Твой Алекс. Блок

P. S. Пожалуйста, когда будешь писать, припиши адрес Сережи, у нас никто не знает.

ГИМН

(Особенно в начале подражание Тебе)

В пыльный город небесный кузнец прикатил
Огневой переменчивый диск.
И по улицам — словно бесчисленных пил
Смех и скрежет и визг.

Там — расплавленной медью плеснул
В синеву этих окон, умчавшихся ввысь...
Луч ответный из дымного неба метнул —
И кричит: — Берегись!

Вот в окно, где спокойно текла
Пыльно-серая мгла, —
Луч вонзился в прожженное сердце стекла,
Как игла.

Все испуганно пьяной толпой
Покидают могилы домов...
Вот — всем телом прижат под фабричной трубой
Незнакомый с весельем разгульных часов...

Он вонзился ногтями в кирпич
В умоляющей позе греха...
Но небесный кузнец раздувает меха
И свистит раскаленный пылающий бич...

Вот — на груде горячих камней
Распростерта не смевшая пасть...
Грудь раскрыта — и бродит межь темных бровей
Набежавшая страсть...

Вот — зовущая взглядом самца,
Вся — в изломе закинутых рук...
В тесно сжатых губах, в очертаньи лица
Просыпается звук...

Вот — монах, опустивший глаза,
Торопливо идущий вперед...
Но и тех, кто безумно обеты дает,
Кто бесстрастные гимны поет, —
Настигает гроза!

Всем — раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь
На распутьях, в подвалах, на башнях — хвала!

Солнцу — дерзкому солнцу — пробившему путь
Наши гимны, и песни, и сны без числа!
Золотая игла!
Исполинским лучом побежденная мгла!
Опаленным, сметенным, сожженным до тла —
Хвала! [1]

ПРИШЛЕЦЫ

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов.
Голоса незнакомых наречий.

Скоро прибыли толпы других.
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутинною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Потянулись по лестницам ввысь.
Разнесли известковые своды.
Муравьиной тропой полились,
Заплели и задвинули входы...

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
И незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как море.

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...
Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна...

Не стерег исступленный дракон.
Не пылала под нами геенна...
Поглотили нас волны времен.
И была наша участь — мгновенна. [2]

(ПОДРАЖАНИЕ ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ)

В высь изверженные дымы
Застилали свет зари.
Был театр окутан мглою.
Ждали новой пантомимы, —
Над вечернею толпою
Зажигались фонари.

Лица плыли — и сменились —
Утонули в темной массе
Прибывающей толпы.
Сквозь туман лучи дробились,
И мерцали в дальней кассе
Золоченые гербы.

Гулкий город, полный дрожи
Выростал у входа в зал.
Звуки бешено ломились...
Но, взлетая к двери ложи,
Рокот робко замирал,
Где поклонники толпились...

В темном зале свет заемный
Мог мерцать и отдохнуть...
В ложе — вещая сибилла,
Облачась в убор нескромный,
Черным веером закрыла
Бледно-матовую грудь.

Лишь в глазах таился вызов,
Но в глаза вливался мрак...
В этом воздухе горячем
С позолоченных карнизов —
Отраженный и бродячий —
Свет мерцал в глазах зевак.

Ты в паденьи сохранила
Целомудренную власть!
Ты — на очереди смертной
Вдохновенная сибилла!
Все должны с тобою пасть!
Взору смерти — взор ответный!

Я покину сон угрюмый,
Буду первый пред толпой!
Буду пьян вечерней думой!
Встану в очередь с тобой![6]

[1] Из стих-ия Лермонтова «Благодарность».

[2] Осенью 1904 г. Белый (окончивший в 1903 г. Московский университет по естественному факультету) поступил на историко-филологический факультет.

[3] Из стих-ия В. Брюсова «Mon rêve familier» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 106).

[4] Стих-ие было написано 27 августа 1904 г. и впервые напечатано (без второй строфы) в альманахе «Гриф» 1905 г.

[5] Стих-ие было написано 10 сентября 1904 г. и впервые напечатано (без четвертой строфы и с вариантами) в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[6] Стих-ие было написано 25 сентября 1904 г. и впервые напечатано (с вариантами, под заглавием «Вечер» и без подзаголовка: «Подражание Валерию Брюсову») в альманахе «Гриф» 1905 г.

55. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Октябрь 1904. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович.

Спасибо за письмо. Очень понимаю Твое настроение и во многом разделяю. Сержусь на декадентов. Задыхаюсь, когда бываю в их обществе. Ненужно расставляющий во все стороны иглы, талантливый Брюсов, натянутый Бальмонт, пухлый Соколов, глистовидный Ланг и омер-

зительные Койранские — и в результате все не то, не то, все как-то ненужно. Вообще я заметил, что гораздо лучше себя чувствую с не-декадентами. Знаешь, я думаю от времени до времени совершенно порвать всякие отношения как с Грифом, так и со Скорпионом. Думаю всецело погрузиться в университетские занятия, а по окончании курса или уехать в Дивеево[2], построить себе избу, перевезти книги — и тихо жить, или же думаю... учительствовать; порой мне хочется стать светлой личностью и пострадать за убеждения, да кажется поздно спохватился: со Святополком-Мирским недалеко уедешь на этом поприще. То ли покойник Плеве!

Быть может приеду в С.-Петербург. Приезжай и Ты в Москву.

Остаюсь готовый к услугам

любящий тебя Борис Бугаев.

P. S. Посылаю стихи.

P. P. S. Кажется случится так, что я приеду в Петербург в начале Ноября.

БЕГСТВО

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу — обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ

Вот ночь своей грудью прильнула
К семье облетевших кустов.
Во мраке ночном потонула
Уж сеть телеграфных столбов.

Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.
Привязанность, молодость, дружба
Промчались — развеялись сном.

Застыла холодная лужа
В размытых краях колеи.
Целует октябрьская стужа
Обмерзшие пальцы мои.

Ужели я в жалобах слезных
Ненужный свой век провлачу?
Улегся на рельсах железных.
Затих. Притаился. Молчу.

Блеснул огонек еле зримый.
Протяжно гудит паровоз.
Взлетают косматые дымы
Над купами чахлых берез.

Зажмурил глаза. Но слезою —
Слезой увлажился мой взор.
И вижу — зеленой иглою
Пространство сечет семафор. [4]

МЕЛАНХОЛИЯ

Глухая ночь. Но в ресторан
Идут разряженные феи.
Блистает зал. Поет орган.
Стоят надменные лакеи.

Средь ярких комнат я, как тень,
Брожу в волокнах дымной сети.
Уж скоро, скоро белый день
Ударит светом в окна эти.

Пересечет перстами гарь.
На зеркалах блеснет алмазом.
Еще темно. В окне фонарь
Глядит из мрака желтым глазом. [5]

НА ВОЛЬНОМ ПРОСТОРЕ

Здравствуй, желанная воля — свободная,
Воля победная, даль — осиянная,
Холодная,
Бледная...
Ветер проносится, желтые травы колебля,
Цветики поздние, белые.
Пал на холодную землю.
Странны размахи упругого стебля,
Вольные, смелые.
Шелесту внемлю...
Тише,
Довольно —
Цветики
Поздние, бледные, белые —
Цветики,
Тише —
Я плачу, мне больно... [6]

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] Село возле известного монастыря.
[3] Под заглавием «Шоссе» вошло в «Пепел» (стр. 17), «Стихотворения» (стр. 119 и 2-е изд. «Пепла» (стр. 16).
[4] Под заглавием «На рельсах», с посвящением А. А. Кублицкой-Пиоттух (матер Блока) и с вариантами вошло в «Пепел» (стр. 19—20; 2-е изд. стр 50—51)
[5] В кардинально переработанной редакции вошло в «Пепел» (стр. 127—128)
[6] Вошло в «Пепел» (стр. 18), «Стихотворения» (стр. 120) и 2-е изд. «Пепла» (стр. 18—19).

56. БЛОК — БЕЛОМУ

21 октября 1904. Петербург

Милый Борис Николаевич.

Твои стихи по-новому прекрасны, особенно первые три (Бегство, На полотне, Меланхолия). В них и не то, что было летом, и не то, что в «Золоте в лазури». На меня повеяло осенней прелестью, вроде того, как, когда Ты посылал «Из царских дверей выхожу»...[1]

Хожу по улице и напеваю. «И на море от солнца золотые дрожат языки».[2] Почему-то, когда Рожественский стрелял в Северном море[3], напевалось «в изгибе уст безумно-строгом я узнаю немую грусть».[4] Все это сливается, переплетается, но каждый раз совершенно определенно — одно. Твои стихи именно поются этой осенью.

Но ужь снег намелся; а я все еще почти не пишу стихов... Посмотрим, как Ты пойдешь с книгой, в шапочке по Петербургу. Ждем Тебя к нам, ты придешь? Милости просим!

Я боюсь новой философии «Нового Пути», хотя интересуюсь. Говорят, что Булгаков своеобычный мистик. Идеалисты в восторге от Мережковского.[5]

Ни Твоей[6], ни Флоренского[7] статьи я не могу осилить, Тебя, вероятно, просто не пойму. Должно быть, мне даже не нужно уходить туда, или, м[ожет] б[ыть], время прошло. Я все время занят кандидатским сочинением[8], потом буду утопать в славянских языках. Конца до лета не предвидится, и поездка наша в Москву верно не устроится. Пока я даже боюсь ехать в Москву в этом году, вдруг будет хуже прошлого года. Конечно, это — так, некоторый консерватизм.

До свиданья, милый,— в ноябре?

Любящий Тебя Ал. Блок

[1] См. письмо Белого от 14 июля 1903 г. (№ 20).

[2] Из стих-ия Белого «Золотое руно» («Золото в лазури», стр. 7).

[3] Имеется в виду «инцидент» 8 октября 1904 г., когда Вторая тихоокеанская эскадра, посланная под командой адмирала Рождественского на Дальний Восток, потопила в Северном море два судна английской рыболовной флотилии, приняв их за японские военные корабли.

[4] Из стих-ия Белого «Маг».

[5] В сентябре 1904 г. в редакции журнала «Новый путь» произошли большие перемены: прежнее руководство (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, В. Розанов) в силу многих, отчасти внешних, причин вынуждены были допустить в журнал своих противников — так называемых «идеалистов» (участников нашумевшего сборника «Проблемы идеализма», М., 1903) во главе с С. Булгаковым и Н. Бердяевым, к тому времени уже проделавшими свою «эволюцию» от легального марксизма к реакционной метафизике. Этот альянс определил изменение программы журнала, сказавшееся с полной ясностью уже в октябрьской книжке, вышедшей при обновленном составе сотрудников. «Идеалисты» выдвигали на первый план обсуждение общественных вопросов и пропаганду идеалистической философии; из журнала был вытеснен В. Розанов, а впоследствии и Мережковские (утверждение Блока, что «идеалисты в восторге от Мережковского»—является неоправдавшимся прогнозом). Последние три книжки «Нового пути» за 1904 г. подготовили журнал «Вопросы жизни», заменивший в 1905 г. «Новый путь» и служивший органом группы Булгакова — Бердяева. На отношениях Блока с журналом реорганизация его не сказалась: в 1905 г. он активно сотрудничал в «Вопросах жизни». Внешняя история реорганизации журнала прослежена в работе Д. Максимова «Новый путь» (В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики, Л., 1930, стр. 131 — 234). Белый, бывший в ту пору безусловным сторонником «неохристиан» (группа Мережковских), высказался по поводу реорганизации журнала в заметке «„Идеалисты" и „Новый путь"» («Весы» 1904, № 11, стр. 66—67).

[6] Статья Белого «О целесообразности» («Новый путь» 1904, № 9, стр. 139—153), которой он пытался дать философское обоснование символизма, изложена чрезвы-

чайно усложненным языком и изобилует ссылками на труды различных философов, математиков и т. д.

[7] Статья П. Флоренского «О символах бесконечности» («Новый путь» 1904, № 9, стр. 173—235) представляет собой образец псевдонаучной «метафизической» тарабарщины.

[8] «Болотов и Новиков».

57. БЛОК — БЕЛОМУ

10 ноября <1904. Петербург>

Милый Борис Николаевич.

Получил ли Ты мои стихи? [1] Когда Ты приедешь?
Здесь Тебя ждут многие. Я очень жду. Приезжай.

Любящий Тебя Алекс. Блок

[1] «Стихи о Прекрасной Даме», изданные «Грифом» в конце октября 1904 г.

58. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<14 ноября 1904. Москва> [1]

Милый Александр Александрович.

Получил книгу. [2] Спасибо, большое спасибо! Получил громадное удовольствие. Читал и тонул — и ничего больше не хотелось. Хотелось «одного — все того же». Буду писать, если позволишь, статью «Прекрасная Дама в русской поэзии».[3] В С.-П[етербург] не приеду: 1) сейчас я в опустошенном настроении: мне надо отдохнуть, а в Петербурге не отдохнешь, 2) Да и в денежном отношении мне теперь неудобно приехать.

Неужели мы не увидимся?

Прощай. Не забывай меня. Буду писать, когда соберусь с силами. На-днях вышлю Тебе свою книжку.[4]

Остаюсь любящий Тебя
Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] «Стихи о Прекрасной Даме».

[3] Статью под таким заглавием Белый не написал, но коснулся творчества Блока в статье «Апокалипсис в русской поэзии» («Весы» 1905, № 4, стр. 11—12; перепечатано в книге Белого «Луг зеленый», М., 1910, стр. 222—247).

[4] «Возврат. III симфония». Книгоиздательство «Гриф», М., 1905.

59. БЛОК — БЕЛОМУ

<Ноябрь—декабрь 1904. Петербург>[1]

Милый, я прочитал это.[2] Читал долго, может быть тысячу лет. Так не было давно. Вот и все.

Что значит — забыть Тебя? Этого никогда не будет. Где-то у меня там, в многочисленных книжных шкапах, где много пыли, затерялась Библия. А то бы я Тебе выписал: «Горе, кто оставил первую любовь свою»... Это — относительно меня и Тебя — только этого не может быть. Я существовал, читая Твою Книгу.

Не правда ли — ничего не произошло? 1904 год = 1902... Сегодня падает снег так же мягко. Я такой же молодой сегодня и розовый мальчик, как... даже в 1888 году. У меня только в бороде ужасно смешная серебряная ниточка. А картинки в сказках Андерсена для детей означают то же самое. Скоро будет елка, и Ты подарил мне заранее книжк

с картинкой — орел и змея.[3] Мы с Любой ее читаем, а на елке повесим золотые орехи и золотой дождь, который режет пальцы. Так и всегда будет.

Твой нежно и без конца Тебя любящий

Ал. Блок

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] «Возврат».
[3] На обложке «Возврата» (работы художника В. Владимирова) изображены орел и змея.

60. БЛОК — БЕЛОМУ

16 дек[абря] <1904. Петербург>

Милый, напиши — что? Говорю, конечно, издали. Но в последнее время, много думал о Тебе, чувствовал Тебя, и иногда, как никогда прежде, знал, что Ты — «один знаешь обо мне то, что я один знаю о Тебе». Сейчас пришла телеграмма.[1] Ты — бесконечно дорог. Люблю Тебя и крепко обнимаю. Господь с Тобой. Беспокоимся. Помолюсь — и Люба тоже. Храни Тебя бог. Трудное время. Крепко целую Тебя, объясни...[2]

Твой Ал. Блок

[1] Телеграмма Белого среди бумаг Блока не обнаружена.
[2] В тот же день, 16 декабря, Л. Д. Блок писала Белому, желая ему «силы и счастья»; А. А. Блок сделал к ее письму следующую приписку:
«Если нельзя объяснить, конечно не надо. Крепко обнимаю Тебя».
К тому же времени относятся две телеграммы, подписанные А. А. и Л. Д. Блок: «Любим молимся» и «Беспокоимся ответ». Весь этот эпизод (как видно отчасти и из ответного письма Белого) был связан с напряженными отношениями Белого с В. Брюсовым и Н. Петровской (см. «Начало века», стр. 351—352; «Эпопея», № 2, стр. 158—159; «Записки мечтателей», № 6, стр. 95 — 96). «К концу 1904 года я был и нервно и физически измучен» — пишет Белый.

61. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<18 или 19 декабря 1904. Москва>[1]

Милый, я не знаю, как мне Тебя благодарить! Как благодарить мне Любовь Дмитриевну! Передай ей мою глубокую благодарность: я никогда этого не забуду.

Милый, я ужасно Тебя люблю — и помню, помню. Так нуждался в помощи. Но уже 16-го декабря в $8^1/_2$ часов вечера (т. е. когда была подана Твоя и Любовь Дмитриевны телеграмма) рухнули стены лабиринта, и я очутился опять на вольном просторе, мне было тихо и мягко. Я почувствовал голубиный лет усмиренной печали — спасибо, спасибо: я никогда этого не забуду. Сейчас вот сижу и пишу. И думаю о Тебе и Любовь Дмитриевне. И ясно. Передо мной весна. И белые стены Вечного Монастыря, и золотые луковки обители, и часы, и деревья — их неподвижные стволы, и ветви их, зеленые, нежные, раздуваемые и уносимые ветром — и вода тишины, и серебряный серп, точно карандаш, начертивший струистые отблески — и Время.

Время!

Пора. Что-то пришло ко мне опять — Милое, Ласковое. Милый, я слышу Вас — спасибо, спасибо: я никогда этого не забуду.

А недавно был ужас.

Не знаю, сумею ли рассказать «это» — ужасное «это», собирающееся меня пронзить бычьими рогами в лабиринте. То яростно смеется и блещет огоньками глаз бычья морда в ночной пасти лабиринта, то — о ужас — нежно мычит и лижет руки кровавым языком, уговаривая до-

бровольно сдаться, бросить меч, с которым я сознательно вступил в биринт, и поселиться здесь навеки.

Не знаю, сумею ли рассказать это.

Каждого человека с рождения до смерти сопровождает его му: кальная тема. В мою тему входит один мотив ужаса, который я долж преодолеть, иначе он погубит меня. Детство мое выросло из ужа Когда я еще не сознавал себя, я уже сознавал, помнил свои сны. Э все были Химеры. Помню два сна. Они определили мелодию ужас всю жизнь преследовавшего меня. Один: будто мы сидим в садике. Вдали ворота, увенчанные не то крестом, не то иконой (потом оказалось, что это был церковный садик, принадлежавший св. Троицкой церкви, что на Арбате). Мы сидим на лавочке. Как будто весна. Меня держат на руках. Уютно. Вдруг в ворота ползет на четвереньках бледный, бесконечно длинный человек, припадая на землю. Вползает в ворота, огражденные иконой, наподобие змей или ящерицы. У него рыжие бакенбарды, гнилые зубы (он смеется, кивая мне) и фуражка, какие носят служащие из Казенной Палаты. Я замер... И дальше ничего не помню.

Другой сон: помнится мне, видал его не раз. Комната. Горит свеча. В глубине мрак. Там все комнаты: кажется что нет им конца. Дверь, точно пасть, точно вход в лабиринт. За столом старушка бабушка (теперь покойная). У нее была лысина и она носила головной убор. Но вот она сидит без убора — лысая, и набивает папиросы, сотню за сотней, обвязанной в бумажный кружочек. Я беру бумажный кружок и хочу им щелкнуть, но лысая бабушка угрожающе предостерегает, чтоб лучше я уж не щелкал, а то беда. И я понимаю, что это так. И ночная пасть лабиринта угрожает. Но что-то приказывает мне щелкнуть — и... в глубине черных комнат на стук, раздавшийся оттого, что я щелкнул бумажкой, раздается ответственный стук. Еще. И еще. И уже это шаги. Идут. Т... открывается мне, что если я не добегу до кровати, не закрою голо... одеялом, произойдет несказанный ужас, ибо шаги раздаются уже ряд... и из лабиринта, из черной пасти выйдет «это». И вот я сознаю, что у... это все бывало, и что надо бежать. Помнится — десятки раз я уже сп... сался. Но я медлю. А шаги ближе — ужас подходит. Мгновение — и и... лабиринта вырисовывается коренастый, низкорослый мужичок с красны... мясистым лицом, в золотых очках, воспаленно-изумленным не злым лицом, с золотой бородкой и толстым животом. Руки сложены на животе, пять красных пальцев торчат из рукава сюртука с правой стороны, пять красных пальцев с левой. Красные пальцы сплетаются и «это» — добродушно посмеивается. Только в этом смехе больший ужас, нежели в злобе (впоследствии я узнал, что это был доктор Родионов, в детстве лечивший меня от скарлатины).

Сначала было «это». А потом уже начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гёте, из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю.

Вот моя музыкальная тема.

Когда я подростал (мне уже было 6 лет), вырос день и днем ужасы отхлынули и обуревали ночью. Каждую ночь говорили (я не помню хорошенько), что я кричал, будто пришел «Афросим». Я только помнил иногда, что все вокруг меня обрывалось, или что я зашел в подземелья (в лабиринт) и уже не вернуться мне обратно, и тогда приходило «это». И я начинал кричать «Афросим», и меня успокаивали. И ходили какие-то силуэты, и когда я приходил в себя, это были: мама, гувернантка. Впрочем раз мне казалось, что я видел Афросима, и он почему-то напомнил мне доктора Родионова. А днем было солнце, и я бегал по аллеям

в платье с длинными волосами, и меня дразнили, что я «девченка», «мамин сынок», товарищи стреляли из револьверов, пугали пистонами, а солнце меня любило; но иногда среди солнца березы начинали свистеть «сссшшссс» и начиналось «это». Мне хотелось тогда с кем-нибудь заговорить, чтобы «это» не росло. И «оно» проходило.

Доктора запретили, чтобы мне читали сказки, но это все было «не о том». Милый, я нарочно пишу все это, чтобы Ты хоть сколько-нибудь понял, что со мной было теперь, а то «это» пожалуй будет лишь относительно понятно.

Тогда же я глухо понимал, что меня любят и берегут «там», но что есть другое «там», и из этого другого (из лабиринта) от времени до времени выползает ужас и грозит меня растерзать.

Потом настали дни, когда все это ушло. Ужас, бунтующий в ночи, ушел. Тогда появился преподаватель латинского языка Казимир Клементьевич Павликовский. Он семь лет мучил каким-то несказанным ужасом, вызывая меня на истерические припадки исступленности, которые он смирял единицей. Право, это не смешно, а ужасно, потому что я узнал мое «это», наплывавшее в шелесте берез «сссшшссс», приходившее ко мне коренастым Афросимом Родионовым (кстати: тут я узнал, что Афросим по-гречески значит: «Безумец»). «Оно» ушло изнутри, и вот появилось извне.[2]

Я поступил в университет. Усердно занялся естествознанием. Стал писать стихи и читать рефераты об «одноклеточных организмах». Изнутри все улеглось. Извне я избавился (кончил гимназию).

И вот весной возвратилось. Опять я ждал страшного незнакомца. Внутри произошло то, что описано событиями 1-й симфонии. Тут же я узнал Вл[адимира] Серг[еевича] Соловьева, и потом увидел на одном из концертов среди звуков бетховенской симфонии два глаза — и больше ничего. Начались огненные откровения. На зверя, посылавшего мне из лабиринта Павликовских, Родионовых и др., опоясанных «этим»,— на зверя восстала «Жена, облеченная в Солнце». Всадники зверя боролись с всадниками Жены (2-я симфония).

Я понял, что ужасы Хаоса в конце концов (Павлик[овский], Афросим) (в окончательности) воплотятся в Лик Безумия, в Зверя, а моя ласковая усмиренность детских дней — в Ее веяние, голубиный лет усмиренной печали, св. дух, сходящий на нас. После борьбы придет полнота времен и приблизится господь. В Мережковских послышалась мне нота полноты, но еще я не мог разобраться какой — здешней, или Той, Окончательной. От них шло это веяние, или они зажгли во мне христово, но вдруг я попал в лазурь: на горизонте было видно. Я думал борьба кончена. Ласка, и усмиренность «Огненными довека» со мной. Я почувствовал, что я «спасенный ребенок». Я не знал, что это еще только отдых, что еще времена окончательной борьбы впереди. Я еще не понимал, что тема, звучащая в «Возврате» (3-ья часть) и в «Золоте лазури» — «Все тот же раскинулся свод» и т. д.[3], что эта тема — трагическая, нечто в роде «Пира во время чумы». Я думал, это — счастье. Но все это было лишь замаскированное.

«Затуманены сном
«Наплывающей ночи
«На челе снеговом
«Голубые безумные очи...»[4]

А моя тишина была та тишина в которой «Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки».[5] «Солнечность» «Золота

в лазури» — вот какая солнечность: «Есть в осени первоначальной» и т. д."

Опять началось. И на этот раз самый страшный бой: «зверь» набелился, нарумянился и незаметно присоединил свой голос к пиршеству лазури (цыганство, цыганский хаос) («Не тот» и т. д.). Пахнуло «жертвенным врубелизмом», а потом вдруг появились отовсюду радостные единороги, затанцовавшие вальс, они кричали: «Здравствуй» и радовались, что я проглядел их под маской безбурности. Но это был первый порыв бури; еще настоящая гроза только приближалась.

Я стоял в голубых пространствах. Вдруг туча белых миндальных и бледнорозовых облачных лепестков закружилась вокруг меня. Мне было хорошо в этом неожиданном пришедшем круговороте, застилавшем лазурь. И я шел в круговороте. И лепестки сплетались в один шатер — бело-розовый, озаренный голубым лучом месяца. И думал, что это храм. И в Храме стоял Он с улыбкой кроткой безбурности: только не было того веяния, которое с Ним приходило. Но вдруг он распялся и посреди храма взвилась пепельная ракета. Взвилась и рассыпалась пеплом. И пепел начал кружиться вокруг. И тогда открылся лабиринт. Идя в белом и розовом водовороте миндального цвета, я незаметно спустился в лабиринт, повитый ласковым облаком; но когда я уже был внутри лабиринта, пелена развеялась — и помчался бычий лик Минотавра. Тут я понял, что роковая тема ужаса, всю жизнь змеившаяся вокруг меня, но не смевшая вступить в бой, теперь ринулась на меня. Мне предстоит или умереть или убить Минотавра, защищая себя. Ужас еще не вселился в мир. Зверь еще не имеет определенного Лика, но уже на многие Лики падает тень. Теперь тень пала для меня на Лик Валерия Брюсова, и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук.

Еще в прошлом году он начинал «творить марево» вокруг меня, прикидываясь обозленным вепрем. Мне удалось его разбить внутри, но он нырнул слоем глубже и явился передо мной под личиной дружбы; но когда я пошел навстречу его видимой искренности, она приняла вид какой-то исступленности, так что я недоумевал, что «сие» означает. Порой прорывались нотки стародавней ярости и он стал творить род ужасов. Из-за его спины выступил Ужас. И вот Брюсов снял маску. Он объявил, что уже год «творит марево» и когда его просили удержаться от «марева» он прямо заявил, что «теперь это не в его власти». Гипнотизер он сильный: стал ломиться извне и изнутри. Я понял, что воздвиг его мой враг, и что «это» — посланный подвиг. Помолился: разбил его внутри при помощи «посланной свыше помощи», а он в ответ стал обливать меня потоками грязи извне, все под видом «нашей дружбы». Все это сопровождалось рядом гипнотических и телепатических феноменов. Были и медиумические явления: у нас в квартире мгновенно тухла лампа, когда ее никто не тушил, полная керосину, раздавались стуки.[8] Маме в уши что-то шептало (она не могла разобрать что) и кто-то говорил «Валерий Брюсов» (мама тогда ничего не знала о нашей борьбе). Наконец, я призвал силы, опоясался «молньей» и ударил в Брюсова; это происходило «там внутри», но он ответил извне стихотворением, посвященным мне, «Бальдеру-Локки», где прямо говорит о «молнье» и много дру[гого] фен[оменального].[9] Наконец приехал Флоренский и Петровский из Академии[10] и отнесли в «Скорпион» стрелой сложенную записку Брюсова в знак объявления войны.[11] Тут пришли «белые купола и старцы» и укрыли меня, дали отдых на два, три дня. Потом Вал[ерий] Брюсов опять начал свои странно-страшные нападения. Он стал постукивать как Хунхуз: не будучи в состоянии напасть открыто, он стал тревожить ложными вылазками, не

давая отдыху. И поскольку «во внешнем» прямо заявлял, что во что бы то ни стало убьет меня (нравственно, духовно и даже физически), вынуждая взяться за меч, постольку я решил «все это покончить», вызвав его на дуэль.[12] Едва я это подумал, как мне стороной передали, что он видел сон, что я его убил на дуэли после ссоры в кабачке в Кёльне в XVI веке (он теперь пишет роман из Кёльнской жизни[13]), причем в числе присутствующих при этой ссоре был и Бальмонт.

Это мне открыло глаза. Дело в том, что я только-что перед этим решил твердо, что после лекции Бальмонта[14], когда мы будем проводить с ним прощальный вечер (он уезжает в Мексику) в одном из «кабачков» (в Большом Московском) я вызову Брюсова на дуэль, потому что был твердо уверен, что он подаст к тому повод: только-что разбитый внутри «на голову», он должен перенести весь тон кампании «во вне», и я знал, что под маской дружбы на меня польются потоки грязи. Я решил не спустить ему ничего и дать пощечину. Все это я решил — и вот Брюсов рассказывает мне свой сон и всячески старается мне дать понять, шутя, что драться на дуэли он готов. Тут я понял, что в его «марево» входит и дуэль, и что мой вызов, «извне эффектный», изнутри — «срыв», ненужное бегство после генеральной победы над врагом. Тут я и послал телеграмму Любовь Дмитриевне, глубоко веря в силу Ее молитвы и в силу Твоей любви ко мне, и зная, что Ты помолишься за меня.

Спасибо, спасибо: все прояснилось, и я увидел, что «дуэль—марево», и что пусть лучше я буду испытывать «крестные муки»,— ведь мучение, клевета, поругание суждено мне. И я пошел на страдание. И получил его. И счастлив.

Спасибо, спасибо милый за письмо: оно пришло в день лекции Бальмонта, и утешило меня.

Строчки, написанные Любовью Дмитриевной[15], вызвали во мне молитвенное благоговение, и я понял «я сильнее, чем сам предполагал». Сегодня вечером у меня будет Бальмонт, Брюсов, Соколов и пр[очие] «упадочники». Мучение возобновится.

Пусть.[16]

Я счастлив и радостен.

Милый, если бы Ты знал, как мне дорого получить каждое Твое письмо. Напиши мне. Если я не писал, то это оттого, что совсем разучился писать письма. Нежно и глубоко любящий Тебя

Борис Бугаев

P.S. Мое глубокое почтение, благодарность, мою искренюю любовь передай Любовь Дмитриевне и Александре Андреевне.

P.P.S. Пусть то, что я писал останется в небольшом круге лиц «между нами».

P.P.P.S. Во внешнем решил не печататься больше в декадентских журналах «Нов[ый] Путь», «Весы», «Гриф». «Мир искусства», т. е. совсем не печататься. Пусть допечатают «Весы» и «Гриф» что имеется у них. Сил моих нет прикидываться «декадентом».[17]

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получено 20 дек[абря] 1904».

[2] Много лет спустя Белый описал свои детские «химеры» в романах «Котик Летаев» (альманах «Скифы» I—II, П., 1917—1918; отдельное издание—П., 1922) и «Преступление Николая Летаева» («Записки мечтателей», № 4, П., 1921; отдельное издание — «Крещеный китаец», М., 1927), в которых фигурируют и «бесконечно длинный человек», ползающий «на подобие змеи», и бабушка, набивающая папиросы, и гувернантка, читающая сказки, и доктор Родионов («Дорионов»), и «Афросим». Преподаватель латинского языка К. К. Павликовский упоминается под именем «Казимир Кузьмич Пепп» в повести Белого «Возвращение на родину» [отрывки из романа «Записки чудака»], М., 1922, стр. 68 сл. Подробно обо всех этих лицах и о своих детских патологических впечатлениях Белый писал в книге «На рубеже двух столетий», М.,

1930; 2-е изд., М., 1931 (главы III — «Боренька» и IV — «Годы гимназии»; см. также по указателю имен: Каролина Карловна, Раиса Ивановна, Родионов, Павликовский).

[3] Стих-ие 1902 г. («Золото в лазури», стр. 22):

Все тот же раскинулся свод
над нами лазурно-безмирный,
и тот же на сердце растет
восторг одиночества пирный.

Опять золотое вино
на склоне небес потухает.
И грудь мою слово одно
знакомою грустью сжимает.

Опять заражаюсь мечтой,
печалью восторженно-пьяной...
Вдали горизонт золотой
подернулся дымкой багряной.

Смеюсь — и мой смех серебрист
и плачу сквозь смех поневоле.
Зачем этот воздух лучист?
Зачем светозарен... до боли?

[4] Стихи Белого («Золото в лазури», стр. 34).

[5] Из стих-ия Фета «К Офелии» (VI).

[6] Стихи Тютчева.

[7] Заглавие цикла стих-ий Белого («Золото в лазури», стр. 27—34).

[8] Характеризуя свое подавленное состояние осенью 1904 г., Белый писал: «К причинам, способствовавшим моей нервной усталости, отнесу и начавшиеся вокруг меня медиумические явления (стуки и шопоты)» («Эпопея», № 2, стр. 159).

[9] В стих-ии В. Брюсова «Бальдеру Локки» (впервые напечатанном в альманахе Северные цветы Ассирийские», 1905 г.,— с посвящением Белому) слово «молнья» не встречается. Сам Белый относил к себе следующие строки этого стих-ия:

На тебя, о златокудрый,
Лук волшебный наведен.
В час веселья, в ясном поле
Я слепцу вручу стрелу,—
Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу!
И когда за темной Гелой
Ты сойдешь к зловещим снам,—
Я предам, со смехом, тело
Всем распятьям! всем цепям!

(ср. «Начало века», стр. 352). Белый ответил Брюсову стих-нем «Старинному врагу», где писал:

Моя броня горит пожаром.
Копье мне — молнья, солнце — щит.
Не приближайся: в гневе яром
Тебя гроза испепелит.

(«Вопросы жизни» 1905, № 3, стр. 100; в сборники Белого не вошло).

[10] Из Духовной академии.

[11] В мемуарах Белый говорит обратное: Брюсов «бумажку со стихами [«Бальдеру Локки»] сложил стрелой, посылая их мне» («Начало века», стр. 352).

[12] Дуэль не состоялась.

[13] «Огненный ангел».

[14] 18 декабря в аудитории московского Исторического музея К. Бальмонт прочитал публичную лекцию о мексиканской поэзии «Поэзия стихий» («Весы» 1905, № 1); 27 декабря Бальмонт выехал в Мексику.

[15] См. прим. 2-е к письму № 60.

[16] Конфликт Белого с В. Брюсовым был обусловлен не только личными их отношениями: «В те месяцы [осенью — зимой 1904 г. — *Вл. О.*] как-то особенно напряглись отношенья мои с В. Я. Брюсовым,—писал Белый; — в разговорах, во встречах с ним напряжение выростало; с особенной остротою вычерчивалась наша прямая противоположность во всем; прежде Брюсов старался ко мне подойти (мы обменивались часто письмами); но в подходе ко мне ощущал постоянно я некоторую предвзятость и обостренное любопытство, меня заставляющее как-то сжиматься; теперь, точно скинул он маску; весь стиль наших встреч — откровенное, исступленное нападение Брюсова на устои моего морального мира; и я отвечал не предвзято на это — перчаткою, брошенной Брюсову; между нами господствовал как бы вызов друг друга на умствен-

ную дуэль; все-то чувствовалось, что между нами в глубинах туманного подсознания нашего назревает конфликт; и порою мне было не по себе в „Скорпионе"... Борьба с Брюсовым мне далась не легко: предо мною порой ракрывался „маг" Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь, по лесам, за отысканьем приемов весьма подозрительного психологического эксперимента; открылся мне внутренний „л и к" е г о, т е м н ы й, н а п о м и н а ю щ и й л и к д у ш и т е л е й, изображенных им в драме „Земля". Мне был чужд, неприятен и, более того, отвратителен этот „Б р ю с о в", сидящий в Валерии Брюсове, делающий порою большого поэта носителем бесноватого из Гадарры» («Эпопея», № 2, стр. 158—159). Впоследствии Белый признал, что эта характеристика Брюсова была продиктована «субъективизмом объективно не вскрытой обиды» («Начало века», стр. 472). Подробно о своих отношениях с Брюсовым в 1904—1906 гг. Белый рассказал в книге «Начало века» (см. по указателю имен; особенно стр. 283—287, 351—352 и 469—473); см. также его воспоминания «Валерий Брюсов» («Россия» 1924, № 4 (13) стр. 263—280). В письме от конца февраля — начала марта 1905 г. (№ 74) Белый писал Блоку: «Теперь я узнал некоторое чисто биографические подробности, почему Брюсов по отношению ко мне был так жесток. Прощаю ему охотно. Я бессознательно делал ему много зла. Он мне мстил. Теперь я все понял. Как хорошо, что все относительно него яснеет».

[17] В 1905 г. Белый продолжал активно сотрудничать в журнале «Весы» и участвовал в альманахе «Гриф». Журнал «Новый путь» с 1905 г. был заменен «Вопросами жизни», где печатался Белый. «Мир искусства» в 1904 г. прекратил свое существование.

62. БЛОК — БЕЛОМУ

23 декабря 1904. Петербург

Спасибо Тебе, милый друг, что написал обо всем. Скажу Тебе на это, прежде всего, что верно Ты знаешь, к а к поймет все это тот, который сидит во мне помимо всех остальных сидящих там же; многие из них — пренеприятные, господа, которых Твое извещение заставило поугомониться — и вот протянулся ряд хороших дней, более тихих, более глубоких, самообсуждающих. Когда начинаются эти дни, — возвращаются обыкновенно настроения, очень давно покинувшие, совсем забытые, которые, казалось, были похоронены. М[ожет] б[ыть], я даже присутствовал на похоронах и ставил свечки, но удивительно, что встретился опять с покойником, нисколько не удивился и принял его в круг самых живых и самых близких. Этот год с осени был особенный в этом смысле. О с о б е н н о резко и старательно было забыто осенью, во время обычного после лета укрепления «нервов» и «просияния» по этому поводу, — все из прошлого. Летняя земля помогла пожалуй выковать очень хороший замок, который наглухо закрыл двери, и когда створки окончательно сдвинулись, пробудилось стремление писать зачетное сочинение и рефераты.[1] Все это было выполнено успешней чем когда-нибудь, стало приятно и лестно чувствовать свою «работоспособность» и возможность историко-литературных обобщений. Все это длилось до очень недавнего времени, до рождественских вакаций. Вероятно, это было полезно и укрепительно, потомучто позади этого, когда створки приоткрываются (только теперь). оказывается в о с п о м и н а н и е о днях, когда «постигал я первую любовь»...[2] Дело в том, что кто-то о ч е н ь Д о б р ы й (слава богу! слава богу!) заставлял п р и д у м ы в а т ь то, что было п е р е ж и т о раньше. Конечно, это шло туго. Говорю о «Прекрасной Даме» (о, обоюдоострое название! надоело...) Придумыванье шло довольно давно. Может быть теперь, когда о т м н о г о г о приходит пора отказаться (говорю о м о л о д о с т и; знаешь?), все меньше и меньше станут затемнять И с т и н н о с т ь мгновенные, ребячливые построения. Ведь они были нужны, пока существовали какие-то странные, к а з а в ш и е с я нужными связи с несовсем реальным. Очень вероятно, что поезд мой сделает еще только последние повороты — и придет потом на станцию, где останется надолго. Пусть станция даже с р е д н я я, но с нее можно будет оглядеться на путь пройденный и предстоящий. В ны-

нешние дни, при постепенном замедлении хода поезда, все еще просвистывают в ушах многие тревожные обрывки, но странно: прежде мне хотелось писать Тебе и говорить вообще об этих вечно свистящих обрывках, а теперь хочется «остаться в границах» положительного письма. Такое же впечатление производят на меня и Твои последние письма. Ты пишешь все реальнее и все углубленнее; я принимаю это совсем просто и реально. С прежними письмами могли происходить случайности — в дороге слова еще шевелились и могли искривиться. Теперь они все закрепленнее изнутри. Все это происходит как-то помимо сознания. Правда — приближается страшное время, я бы сказал, что «носом и глазами впивается» непривычная стихия средней полосы жизни, как когда-то — первая юность. Несмотря на всю эту положительность, — я знаю, кто Брюсов, и что — именно тот, о каком Ты пишешь. Прочтя Твое письмо, я подумал, что он сейчас заглянет и к нам, но почти не боялся. Ничего не случилось. Читал вслух Любе, она сказала, что ей это «близко». Иногда я боюсь за себя. Кое-какая «пронзительность» есть на моей душе. Странно, что я почти не встречал в жизни «этого» лицом к лицу. Предположить могу только одно из двух: или — окончательную бездарность в «переживаниях», — но это не так, потому что переживания «Прекр[асной] Д[амы]» были слишком несомненны; или — бессознательное уменье гонять чертей соответствующими средствами — их же оружием. Последнего-то я и боюсь иногда. Слишком мало пугаюсь. Но может быть, ведь — я исчерпался. «Песне конец». Впрочем «странно веселые думы мои» [3] — налицо. Если бы Ты знал, как я всегда *не верую!* * Но иногда, как, закинув руки в «голубое», могу простоять я над бездной — и почти полет! До сих пор есть эта возможность. Пусть не верую даже, потомучто иногда еще даже возможность покаяния какбудто брежжит. Впрочем, я не могу исповедаться у священника. Я думаю: «верно нужна конституция» — искренно и часто с серьезной злостью на правительство. Тут-то подбегает «ребенок-я» и протягивая на меня палец кричит, заливаясь смехом: «Он хочет конституции!» Этого ребенка я беру на руки и целую — и «я и Он одно»... опять одно. — Туго, гладкими стихами, часто старательно пишу поэму. [4] Дошел наконец до части, где должна явиться Она. Знаю, как надо..., но тут идет одна золотая нитка, которую перервать нет ни нужды, ни сил, продолжить, — может быть, — тоже. Дело в том, что на корабле должна прибыть Она. На корабле — бочка, самая простая, так — среди других тюков и боченков. В бочке — ребенок. Все это только канва, но на канве появился самый реальный, страшно глупый, Добрый, мохнатый щенок с лиловым животом, по которому ходят блохи. Если я останусь правдивым — то заменю ребенка в бочке именно таким щенком... Впрочем пишу Тебе все это скорее, чтобы бросить поэму и разбить ее на отдельные стихотворения.[5] Я не посылаю Тебе стихов — стоющих нет пока. О твоих очень соскучился, — если есть — пришли, пора опять испить из этого Твоего кубка.

Ведь я нарочно, почти, не отвечаю на Твое письмо. Слов не найду, все равно, но знаю, знаю... Относ[ительно] слов все более становлюсь нищим, но иногда головокружительно какое-то богатство. Видишь, и я не умею, по-прежнему, писать письма. Но пусть хранит Тебя господь. Знаю о Твоем *страдании* *, страдающий и сильный — «сильнее, чем сам предполагал». Крепко обнимаю Тебя, и целую, и нежно люблю. Люба и мама благодарят Тебя и приветствуют. У нас елка стоит и пахнет смолой — чисто и бело. Поздравляю Тебя с праздником! Поздравь, пожалуйста, Твою маму. До свиданья, милый.

Твой Ал. Блок

---

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

[1] Зачетное сочинение — «Болотов и Новиков» (впоследствии представленное Блоком в качестве кандидатской работы). Осенью 1904 г. Блок представил проф. А. И. Соболевскому «скучный фонетико-морфологический» реферат «об апокрифе о путешествиях Иоанна Богослова» («Письма к родным», стр. 133).

[2] Из стих-ия Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней».

[3] Из стих-ия Д. Мережковского «Веселые думы» (альманах «Северные цветы на 1902 год», стр. 105).

[4] «Прибытие Прекрасной Дамы». Поэма закончена не была; к середине декабря 1904 г. были написаны семь фрагментов, составивших впоследствии в сборниках Блока цикл «Ее прибытие». Никаких следов реализации намеченного Блоком плана продолжения поэмы в его бумагах не обнаружено.

[5] Блок так и поступил: все семь фрагментов поэмы были напечатаны им в различных журналах в виде отдельных стих-ий.

63. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<24 декабря 1904. Москва> [1]

Милый, поздравляю, целую, помню. Передай всем Твоим мое поздравление, желаю счастья, помню, верю. Весь Твой

Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

64. БЛОК — БЕЛОМУ

<Конец декабря 1904. Петербург>

Спасибо за жемчужные вести. Поздравляем Тебя все мы с праздником и Новым Годом. Будь счастлив.

Твой Ал. Блок

1905

65. БЛОК — БЕЛОМУ

4 февр[аля] <1905. Петербург>

Милый мой!

Как было хорошо с Тобой в Петербурге! [1] Сейчас мы узнали об убийстве Сергия Александровича.[2] В этом — что-то очень знаменательное и что-то решающее. Это случилось, когда мы прощались с Тобой на платформе. У нас обоих ужасно тяжелое чувство, и что будет — не знаем.

Сейчас, узнав об убийстве, целый вечер шатался по улице. Представление Гибели богов было отменено. Чувствовал на улице одиночество и потерянность. Толкнулся к Иванову [3] и Городецкому, и не застав их, почувствовал, что о д и н (многолетняя служба... [4] с е р ь е з н о). Нет почти людей, с которыми легко. Подумал о Мережковских — и не захотелось идти к ним... Ты незаменимый и любимый. Обнимаю Тебя крепко, Боря. Мы близки.

Твой Саша

[1] Белый пробыл в Петербурге с 9 января по 4 февраля. Подробно об этой поездке он рассказал в мемуарах («Записки мечтателей», № 6, стр. 96—109; «Эпопея», № 2, стр. 159—232; «Начало века», стр. 416—459).

[2] Великий князь Сергей Александрович Романов был убит в Москве 4 февраля.

[3] К Е. П. Иванову.

[4] См. стихи Белого (стр. 109 наст. издания):

Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.
Привязанность, молодость, дружба
Промчались — развеялись сном.

66. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<6 февраля 1905. Москва>[1]

Вчера Она бросилась с разбега в голубое море весенних эфиров — волосы ее, вздутые ветром, рассыпались вверх. Тысячи златозарных нитей протянулись вдоль горизонта. Каждая нить горячее огня — волос певучий и сверкающий — расплавил замерзающие льдинки. И все сверкало звездным золотом. Потом все успокоилось. Звезды погасли. Настала тишина, невозмущаемая ничем. Серебряная звезда взошла. И сияла.

Вечером был у Кобылинского. Капитан Култышко [2], выгнанный из Порт-Артура за разоблачения Алексеева, кричал о революции, хромой и длинноволосый, ковыляя. Артист Петрушко декламиров[ал] ужасы. Мы сидели молча с рыжим апокалипсическим всадником (Сизовым). Мы молчали. Рыжий всадник кротко возразил Култышко на тему об «о б щ и н е». [3]

После мы шли с рыжим всадником. Была тишина. Весна. Ласка искристых фонарей... Он говорил: «Смотрите, повторяется. Она опять близко»...

Сегодня день сияет — голубой, золотой, не простой.

Пряди ее волос, как золотистая паутина — всюду, всюду.

Вечером опять Она бросится с размаха в голубое море весенних эфиров — волосы ее, вздутые ветром, вверх ринутся.

Звонят о убийстве великого князя. Звон Весны покрывает печаль. Милый, люблю Тебя.

Твой Боря

[1] Датировано по содержанию. Белый вернулся в Москву 5 февраля.

[2] Имеется в виду драматург А. Полевой (см. о нем в Указателе имен и названий).

[3] Говоря о возвращении своем из Петербурга в Москву, Белый пишет: «Я застаю в кружке моих близких товарищей сильный сдвиг влево; Эллис, ушедший от своих прежних, как он любил выражаться, нелегальных связей, возобновил эти связи... Из щелей, как вода в наводнение,— подымался протест; и месть за расстрелянных сжимала горло: мне, Эллису, А. С. Петровскому, С. Соловьеву; Эллис организовал... ряд вечеров (в пользу ссыльных)» («Начало века», стр. 459—460). О том, насколько реальным был «сдвиг влево» друзей Белого вроде Эллиса в 1905 г.,— см. во вступительной статье.

67. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Между 6 и 8 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша.

бесконечно обрадован Твоим письмом. Все то же испытываю я. Одиночество было бы полное, если б не было Сережи. Был у него. Он то же. Я не знаю, что: но он — то же. Когда я ему сказал о лете, об одеждах, он закричал, что пол-года только и думает об этом, что дальше жить нельзя, что нужно расстаться с грузом и тяжестью, что наступает пора блаженных островов.[2] Рассказывал и то, как он бросил Астрову в ответ на общественное значение Христа, что дело христово бесконечно больше в танцах Дёнкан. Он таки вручил ей свое стихотворение по-гречески с переводом по-английски, упав на колени перед ней, за что и удостоился цветов от нее.[3]

Помню, очень скучаю о Тебе, О Любови Дмитриевне, об Александре Андреевне и Франце Феликсовиче. Утешаюсь цветами. Думаю о цветах.

Только цветы!!

Все остальное в Москве мучительно, грузно и нудно. Был у Котляревского, говорил о революции, видался с Эрном, Свентицким, едем в Троицу, где сходками студентов руководит... Петровский, который стал писать... прокламации!!!!!!

Но все это о другом!

Милый, милый — мир нас должен возненавидеть, потому что мы не должны быть от мира, но от «золота», роз, лазури, снега и пурпура». Лазурнозолотые, снегопурпурные, розы Вечности!

Христос с Тобой.

Милый, будь счастлив, не забывай — помни, помни!

Любящий Тебя бесконечно

Боря

P.S. Как странно! В тот приезд из Шахматова узнал о смерти Плеве. Теперь — опять смерть.[4] Но ни о чем не беспокоюсь. Жду лета.

[1] Датировано по содержанию.

[2] Имеются в виду выдвигавшиеся Вяч. Ивановым проекты установления «мистериальных» форм быта, свободных от условностей буржуазного общежития.

[3] Имеется в виду стих-ие С. Соловьева «Мунэ Сюлли и Айседора Дёнкан», имитирующее строфические формы древнегреческой поэзии (см. С. Соловьев. Цветы и ладан. Первая книга стихов, М., 1907, стр. 108—110).
[4] Убийство великого князя С. А. Романова.

68. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<8 февраля 1905. Москва>[1]

Милый,

я еще не надоел Тебе письмами? Можно писать хотя бы два слова каждый день?

Весь Твой
Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

69. БЛОК — БЕЛОМУ

<10 февраля 1905. Петербург>[1]

Милый дорогой Боря, пожалуйста не извиняйся. Все, что Ты пишешь — всегда очень хорошо и своевременно. Крепко обнимаю Тебя. Твои письма не дают погрязнуть в думах о сходке — и пр.[2] Люблю Тебя нежно.

Твой Саша

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] О своем инертном отношении к политическим событиям, в частности к студенческим сходкам, Блок писал в январе 1905 г. С. Соловьеву: «Я политики не понимаю, на сходке подписался в числе „воздержавшихся" но... покорных большинству. Не знаю, что из всего этого выйдет. Читая „Красный смех" Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда всех нас перережут... Иногда „бормочу" и о политике, но все меньше. Осенью был либералом более. Но, когда заговорили о „реформах", почувствовал, что деятельного участия в них не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить» («Письма», стр. 77).

70. БЛОК — БЕЛОМУ

19 февр[аля] 1905. Петербург

Милый Боря. Хорошо получать Твои письма.[1] У нас было разное — и хорошее, и дурное. Все время какое-то выжидание по поводу внешних событий. Хожу в квартиры профессоров для чтения Саввиной Книги, Летописи и пр. Профессора (из небастующих) — в розовом настроении, надеются на земский собор... Студентам же кажется, что профессора, будучи начитаны в церковнослав[янской] палеографии, могут лучше всех объяснить положение дел. У Мережковских был журфикс с высовыванием Бердяевского языка[2] и др[угими] ужасами. Мы сидели с Татой и Ивановым и смотрели альбом Kindisch, результатом чего было мое послание к чертям из Татиного альбома.[3] Спрашивали,— правда ли, что ты вернулся с вокзала к нам? Я твердо сказал: нет, так как помню, что с вокзала приехал Снег, а не Ты. Завтра может произойти на улице то же, что было в день Твоего приезда в П[етер]б[ург] — 9 января.[4] Спасибо Тебе за письма, милый. Я Тебя очень люблю.

Твой Саша

Люба и мама кланяются и благодарят за письма. Вчера наконец была великолепная Гибель богов. Ершов был незаменим!.. Мешали: знакомые, слухи о Варфоломеевской ночи — и две кухарки, сидевшие за нашей спиной.

[1] Опущено несколько кратких писем Белого, совершенно незначительных по содержанию.

[2] Н. Бердяев страдал конвульсиями языка.

[3] Стих-ие «Твари весенние» (в рукописи озаглавлено: «Послание к лесным тварям из альбома „Kindisch" Т. Н. Гиппиус»). Белый засвидетельствовал, что Блок «очень любил и с удовольствием долго рассматривал» рисунки Т. Гиппиус («Эпопея», № 3, стр. 214).

[4] Накануне, 18 февраля, был опубликован царский манифест, призывающий к борьбе с «крамолой», и в Петербурге снова начались массовые забастовки.

71. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<20 февраля 1905. Москва>[1]

Саша, милый, спасибо за письмо. Грустно. Слышу музыку Шумана. Тихо ей улыбаюсь. Знаю, что есть *«Вы»* — Ты, Любовь Дм[итриевна], Алекс[андра] Андреевна; а то — мрачно. Кругом меня реют черные птицы и даже грозятся «внешностями», но я позабыл бояться угроз «извне». Если что удручает, так это то, что есть люди, которых люблю я очень и которым грустно-грустно, и, знаю, не может быть весело. Я знаю, что мог бы их успокоить, но не хочу, ибо это может повлечь за собой всякие возможности для них. А еще более извне — ужас с армией [2], «Курское побоище» [3], и т. д.

И на душе вуаль.

Милый, люблю Тебя. Не забывай.

Твой Боря

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Имеются в виду сражения под Мукденом.

[3] Избиение учащихся полицией и черносотенцами в Курске (12 февраля).

72. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

21 февраля [19]05. <Москва>

Милый Саша,

Ты ужасно мне близок. И я сижу. И говорю с Тобой.

Здравствуй. Кто знает, что я сейчас в Петербурге? Ну и пусть.

А я все-таки в Петербурге разговариваю с Тобой в то время, когда многие думают, что я только и занят Москвой. Они ничего не понимают во всем этом. С чем их и поздравляю — московских. Они думают, что я занят общественностью, и не пишу стихов. Да, я не пишу стихов, потому что я в стихах — в стихиях. Они думают, что я гражданин, а я мирогражданин. Но мое мирогражданство рассматривается как российское гражданство. Мы граждане — Ты, я, и Тучи, и Зоря. И все. Только не Сережа Слепой. Он понимает, видит.

Милый, милый!

Я радуюсь, веселюсь, и... грустно.

Твой Боря

P. S. Мое глубокое уважение передай Францу Феликсовичу.

73. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша!

Безумно хорошо. Думаю о Тебе. И вот что: Ты ужасно не декадент, преодолевший частью существа декад[ентство], а другой частью никогда не расстававшийся с Пушкиным, Лерм[онтовым] и др... Пишу о Тебе для март[овской] книж[ки]. [2] Христос с Тобой.

Твой Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Имеется в виду статья «Апокалипсис в русской поэзии», напечатанная не в мартовской, а в апрельской книжке «Весов» (перепечатана в книге Белого «Луг зеленый», М., 1910). В этой статье Белый поставил Блока в ряд замечательнейших русских поэтов: «Два русла определенно намечаются в русской поэзии,— писал он.— Одно берет свое начало от Пушкина. Другое—от Лермонтова. Отношением к тому или иному руслу определяется характер поэзии Некрасова, Тютчева, Фета, Вл. Соловьева, Брюсова и наконец, Блока. Только эти имена и западают глубоко в нашу душу: талант названных поэтов совпадает с провиденциальным положением их в общей системе развития национального творчества».

74. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец февраля—начало марта 1905. Москва>[1]

Милый, милый!

Это—безумие. Я отправляю письмо за письмом.[2] Но что же мне делать, если я освежаюсь письмами. Я спасаю себя, оттого и пишу. Хочу себя, себя, себя спасать, потому что во мне — Тайна. Я не о себе только. Я должен благоговейно держать в руках чашу горящей, но не явленной глубины. Буду сторониться всех, кто толкается: в руках моих чаша и плат:

«Причасти и уста оботри»

А. Блок[3]

Мой восторг заликовал огнем, но я не хочу явного ликования.

Сережа просит передать, что на-днях напишет. Он бесконечно мне близок. Все ближе и ближе. Как Ты — мне. Ты — близкий. Ты — радостен. Ты умеешь говорить о цветах. Я хочу только одних разговоров о цветах.

Брюсов написал гениальные стихи. Все идет дальше и дальше.

Марево разорвалось. Ничего не осталось. Теперь я узнал некоторые чисто биографические подробности, почему Брюсов по отношению ко мне был так жесток. Прощаю ему охотно. Я бессознательно делал ему много зла. Он мне мстил. Теперь я все понял. Как хорошо, что все относительно него яснеет.[4]

Милый, милый,

Целую Тебя.

Твой Боря

[1] Датировано по связи с предыдущими письмами.

[2] Опущено несколько кратких писем Белого (от февраля 1905 г.), незначительных по содержанию.

[3] Из стих-ия «Солнце сходит на запад. Молчанье».

[4] См. «Начало века», стр. 281—286 и 469—470. Ср. прим. 16-е к письму № 61.

75. БЛОК — БЕЛОМУ

7 марта <1905. Петербург>

Милый, милый Боря. Люблю тебя и не забываю, спасибо за твои письма.[1] У нас все разное, каждый день все спутано, спутано. Тетя Маня заболела очень серьезно и мож[ет] б[ыть] — надолго. К ней приехать нельзя. Вообще, лучше не приезжай теперь; как-то растерянно и грустно. Я набрал много работы в «Вопросы Жизни» и «Слово» и хочу получать за это деньги, потому все пишу и хожу по редакциям. Что будет с экзаменами — до сих пор не знает никто. Иногда чувствую, что все на Дальнем Востоке — кошмар и ужас вслед за ужасом. Чувствую себя «литературным поденщиком» и на косом клочке бумаги пишу тебе ночью и в сером тумане. Мы тебя все вспоминаем, говорим. Напишу тебе еще, когда

пройдет серость. Я видел человека в грязном воротнике, который «увлекался спиритизмом» с Брюсовым. И все — теперь — так. Тебя очень любящий, всегда не забывающий

Саша

[1] См. прим. 2-е к письму № 74.
[2] М. А. Бекетова, у которой предполагал поселиться Белый, собиравшийся приехать в Петербург.

76. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало марта 1905. Москва>[1]

Милый,

почему такая утомленность в Твоем письме?

Разве серая птица с атласными крыльями занавесила все кругом?

Может быть можно снять вуаль грусти и утомления?

Я знаю — впереди «полна бесстрастья, холода и света бледнеющая высь»... [2]

Политические ужасы и война — не обманут меня теперь эти навождения.

Куропаткин «знает» в чем дело, и я рад, что он остался соглядатаем японцев.

«Японцев» нет, не в них дело, а в «господине чёрте».

Ну, а с ним берусь бороться.

Милый, не унывай. Христос с Тобой. Ведь есть же на свете Айседора Дÿнкан.

Горячо Тебя любящий

Боря

P. S. Мой поклон и глубокое уважение Любови Дмитриевне. На-днях напишу Александре Андреевне.

Ужасно скорблю о здоровье Марьи Андреевны. Желаю ей скорейшего выздоровления.

Мой привет и уважение Францу Феликсовичу.

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] Из стих-ия З. Гиппиус «Вечерняя заря» («Собрание стихов», М., 1904, стр. 45).

77. БЛОК — БЕЛОМУ

<Конец марта 1905. Петербург>[1]

Милый, милый Боря!

Теперь стало лучше. Я набрал себе разной работы в «Вопросах Жизни» и даже, может быть, буду писать фельетон в «Слово»! [2] В этом есть своя томительность, потомучто пишу я очень бездарно. К тому же «господин чорт», в котором единственно все дело, конечно, и тут творит разные шутки. Политика стала поперек горла и, конечно, есть только *одна* * область, в которой можно не устать (было бы), и туда мы все возвратимся. Изредка и отчасти возвращаюсь туда. «И снится, снится — мы молоды оба». [3] — Видел массу людей за эти дни, и все — литературных, из которых особенно мне понравился Ремизов, не считая прежних знакомых. Из этих последних — с Зинаидой Николаевной опять что-то творится, неприятное, тяжелое, так что уже вполне начинаешь верить, что это не она и что настоящее — впереди. Она громко кричит и попросту скандалит на приличных раутах, и именно не тем способом, каким это было бы недурно. Все-таки, она еще желает достичь цели, — по отношению к «земным гостиным».

---

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

Я заметил, что твое пребывание в Петербурге ужасно украшало Зин[аиду] Ник[олаевну] — и утишало. Карташов поет песенку и заливается землистым хохотом — рядом с нею. Подражая тебе, я заметил, что у него (а, м[ожет] б[ыть], у кого-ниб[удь] другого!?) есть ковер в виде табель-календаря. По красной шерсти писаны белые цифры, и обладатель, блуждая по кабинету, «неустанно попирает года, недели и месяцы». — Тетя Маня — в больнице, ей было ужасно. Теперь, м[ожет] б[ыть], будет лучше. Люблю тебя нежно.

Твой Саша.

[1] Датировано по связи с письмом Блока к отцу от 28 марта 1905 г. («Письма к родным», стр. 132—135).

[2] Фельетон о французских символистах; — написан не был (см. «Письма к родным», стр. 133).

[3] Из стих-ия Фета «В тиши и мраке таинственной ночи».

78. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец марта — начало апреля 1905. Москва>[1]

Милый Саша, спасибо за письмо. Оно меня успокоило. Я беспокоился за Тебя. Ну вот.

Ужасно хохотал, читая Твои слова о Карташеве. Ты проник в его сущность, если вообще у него она есть. Если он «попирает дни, недели, месяцы», — то я подозреваю, что «его сущность» — чужая. Впрочем мне любезно теперь это настроение. Я тоже в известном смысле «попираю дни, недели, месяцы»... Оторвался от окружающего. Теперь в окнах текут времена, а я часто сижу у окна и любуюсь течением времени. Иногда мне удается подметить восторг времен и, если никого нет в квартире, я начинаю бесцельно кружиться, пародируя бег планет. Ужасно были бы удивлены «добрые знакомые», еслибы застали меня за этим занятием. (Вечером из окон видна полоска зори). Я живу одной зоревой мечтою. Все прочее отошло. Мне кажется, что ничего не существует иного. Упиваюсь Шеллингом (в изложении К. Фишера). Ничего не пописываю, не почитываю: вечером из окон видна полоска зори...

Нет, впрочем Статью «О Прекрасной Даме» кончил. Она теперь называется «Апокалипсис русской поэзии». Появится в апрельской книжке «Весов».[2] Я живу в четырех стенах и мне кажется, что «все иное» отходит. Сижу бесцельно у окна. И потом бесцельно кружусь по пустым комнатам, устраивая круги. За спиной у две[ри] стоит знакомец и читает дощечку с надписью «Б. Н. Бугаева можно в[и]деть ежедневно от 2 до 3 кроме праздничных дней» — читает, уходит, думая:

«А Белый пишет».....

Вечером в окнах блестит Зоря.

Целую Тебя нежно.

Твой Боря.

P.S. Пришли ради бога стихов. В залог посылаю свои.

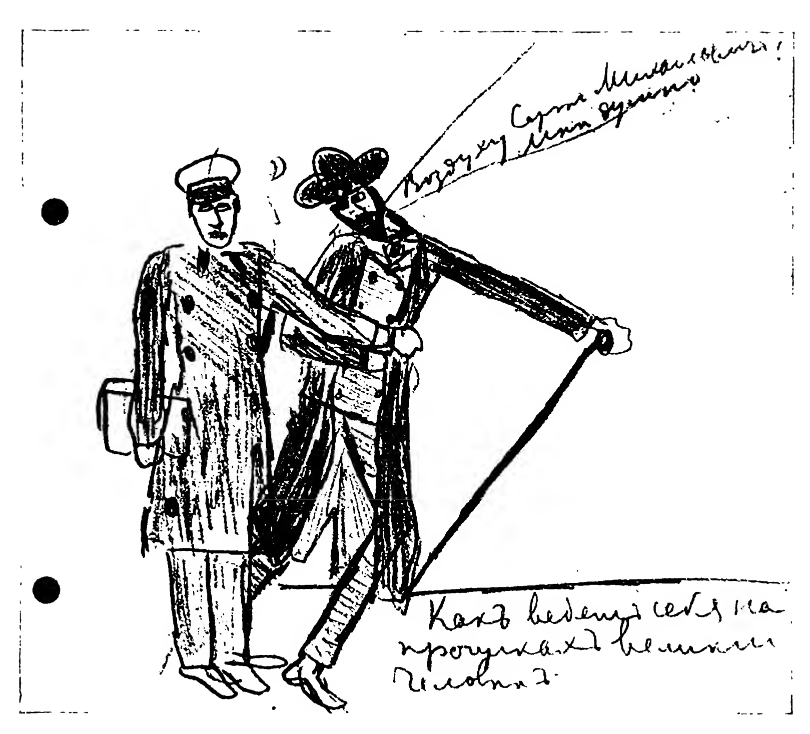
РАНЕНЫЙ

1

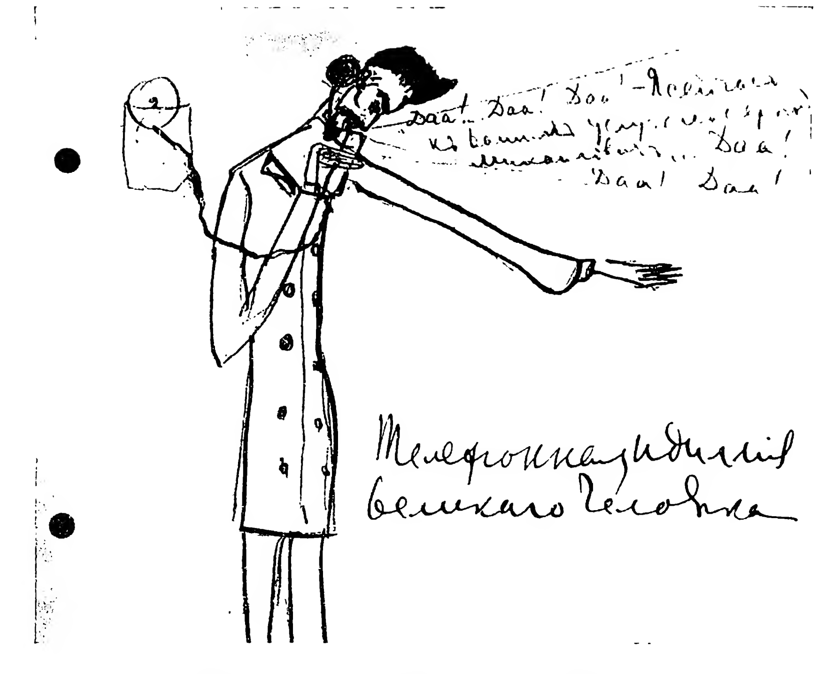
Я стал похож на паука.
Ползу — влекутся ноги-плети.
Там, под кустом, издалека
За мной следят в испуге дети.



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА
«Как смеется великий человек»
Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА
«Как ведет себя на прогулках великий человек»
(В. Брюсов и Сергей Соловьев)
Слова В. Брюсова: «Воздуху, Сергей Михайлович! Мне душно»
Государственный Литературный музей, Москва

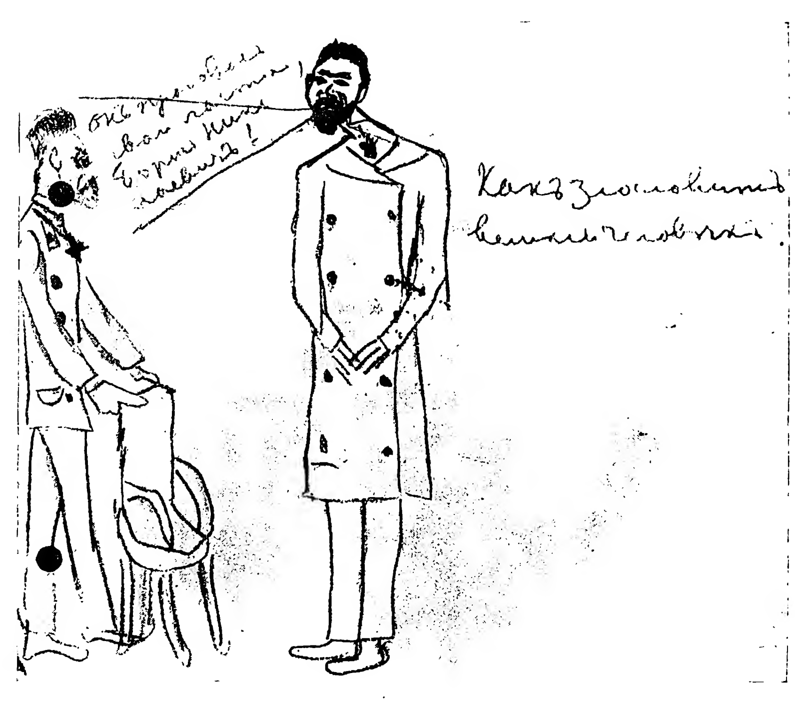


КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

«Телефонная идиллия великого человека»

Слова В. Брюсова: «Даа!.. Даа!.. Даа! — Я сейчас к Вашим услугам... Сергей Михайлович... Даа! Даа! Даа!

Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

«Как злословит великий человек!»

(В. Брюсов и А. Белый)

Слова В. Брюсова: «Он продавал свои ласти, Борис Николаевич!»

Государственный Литературный музей, Москва

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острый,
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый.

Так волен уток диких лёт
Над что-то шепчущей березой.
На костылях ползу — мой рот
Кривит бессильная угроза:

Пусть в вольных далях ветерок
Взметает прах на перекрестках —
— Бесцельно плещет мотылек
На кружевных, сребристых блестках.

Я стал похож на паука.
Ползу — костыль мне вздернул плечи.
Ко мне летят издалека
Детей испуганные речи.

2

Моей невестой ты цвела.
И был жених, красив и молод.
Теперь — в очах потухших мгла,
В улыбке уст безумных холод.

Дитя, я рад: полей и рощ
Родные виды вновь воскресли.
В весенний вечер, слаб и тощ,
Сижу — дремлю в спокойном кресле.

Пусть на войне и кровь, и крик,
И желтый дым удушлив, едок —
Мне сладко нежить бледный лик
В лучах, блеснувших напоследок.

Ловлю Твой взор — дитя, дитя:
Вот кисти рук — изящных лилий,
Вот шелк кудрей, цветя, блестя,
Снопы лучей озолотили.

Вложила Ты, глядя сквозь боль,
Как облака плывут — скитальцы, —
Цветок весны, желтофиоль,
В мои трясущиеся пальцы,

И вдруг сказала: «Страшно мне»:
«Там, где ветвей скрестились дуги,
«Паук-крестовик в вышине
«Повис на серебристом круге.

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острый:
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый.[3]

ПИР

На буйном пире я шутил
И легкомысленно, и метко.
Потом свой бледный лик склонил
Над сумасшедшею рулеткой,
Меж тонких пальцев нежно взяв
Благоуханную сигару.
Мой друг запел, к груди прижав
Вдруг зарыдавшую гитару.
Вокруг широкого стола,
Где мы сидели в тесной куче,
Венгерка юная плыла,
Отдавшись огненной качуче.
Из-под склоненных темных вежд
Очей метался пламень жгучий —
Плыла — и легкий шелк одежд
За ней летел багряной тучей.

К столу припав, заплакал я,
Провидя перст судьбы железной:
«Ликуйте, пьяные друзья,
«Над распахнувшеюся бездной!
«Заутра солнца луч блеснет.
«Пройдет на фабрику рабочий.

«Но вихрь безумий нас сметет:
«Бесследно канем в ужас ночи.
«Пусть голос вьюги, нам родной,
«Для мертвых плясок руки свяжет —
«Заутра саван ледяной,
«Виясь, над нами мягко ляжет.

И — проигравшийся игрок —
Я быстро встал. Надменно строгий,
Плясал безумный кэк-уок,
Под потолок бросая ноги.
Ударил в стену каблуком,
Преображенный пляской свыше —
И колким прыснули дождем
Куски зеркальной, бледной ниши. —

Суровым отблеском покрыв,
Печалью мертвенной и блеклой
На лицах гаснущих застыв,
Влилось сквозь матовые стекла
Рассвета мертвое пятно.
И я молчал бессильный, робкий...

И гуще пенилось вино.
И в потолок летели пробки. [4]

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] См. прим. 2-е к письму № 73.
[3] Впоследствии (в 1908 г.) это стих-ие было кардинально переработано и р[азде]лено на два самостоятельных: «Калека» и «Паук» (см. «Пепел», стр. 97—99 и 1

106: «Стихотворения», стр. 44—46); во 2-м изд. «Пепла» Белый снова свел их в одно, сократив количество строф и озаглавив: «Паук» (стр. 139—141).

[4] В переработанном виде вошло в «Пепел» (стр. 132—134); новая редакция — во 2-м изд. «Пепла» (стр. 78—79).

79. БЛОК — БЕЛОМУ

<Начало апреля 1905. Петербург>[1]

Милый, милый Боря.

Спасибо Тебе за письмо, стихи и статью.[2] Очень тебя люблю и благодарю. Правда ли, что «концерт» Мережковских и др., от которого я отказался, — в пользу твоего (Астровского?) кружка? Люба очень не хотела, чтобы я участвовал, меня приглашали читать стихи! Дама шуршала передо мной пятнадцать минут какие-то слова шолковыми юбками. Я испугался. Произошел скандал, я написал З[инаиде] Н[иколаевне] осудительное письмо об этой даме. Она родственница Ф[илософо]ва, но я не боюсь. На все это даже совершенно наплевать.[3] Пишу много рецензий и изумительно бездарную статью о Вяч[еславе] Иванове — в «Вопр[осы] Жизни».[4] Стихов не пишу, потому тебе не посылаю. Знаешь что? Чулков очень милый, у него совсем не прыгают волосы так, как ты заметил. Его жаль. Его жена тоже очень милая, и Любе нравится. Они бедные. Рядом с ними обзавелись домком еще Ремизовы — хорошие Ремизовы. Мы с Любой были у всех них в редакции[5], под условием не встретиться там с литераторами. Долго сидели и пили красное вино. Было хорошо. Какую ты хорошую вывесил бумажку на двери! Идет «снег» ежедневно, но иногда начинает идти Снег. Это приближает меня к тебе особенно. Крепко целую тебя.

Твой Саша

Есть и хорошее и дурное. Т[етя] Маня поправляется. А в сущности — хорошо.

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] См. прим. 2-е к письму № 73.

[3] О своем отказе от участия в литературном вечере, организованном Мережковскими, Блок писал Е. Иванову 29 марта 1905 г. («Письма к Иванову», стр. 34). З. Гиппиус в неизданном письме от 29 марта резко упрекала Блока в «некрасивом ломаньи» и отсутствии у него «чувства солидарности».— Об «Астровском кружке» см. в книге Белого «Начало века», стр. 357—363.

[4] Статья «Творчество Вячеслава Иванова» была напечатана в «Вопросах жизни» 1905, № 4—5 (перепечатана в «Собр. соч.», т. X, стр. 19—30).

[5] В редакции журнала «Вопросы жизни».

80. БЛОК БЕЛОМУ

<Около 16 апреля> 1905. <Петербург>[1]

Милый Боря. Христос воскрес. Как ты? Мы м[ожет] б[ыть] скоро уедем в Шахматово. Трудно... За тебя немножко боюсь. Напишу и пришлю стихи, которые надеюсь кончить — «без лика».[2] Пиши. Давно забываю поклониться тебе от Евг[ения] Иванова. Все любим и помним. Обнимаю тебя.

Твой Саша

[1] Датировано по упоминанию о пасхе, которая в 1905 г. приходилась на 16 апреля.

[2] Вероятно, имеется в виду стих-ие «Ты в поля отошла без возврата», дописанное Блоком 16 апреля и посланное им Белому 19 мая (см. письмо № 83).

81. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<18 апреля 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

спасибо, спасибо. Христос воскресе! Люблю нежно. Много суто-локи — но не унываю. Христос да будет!

Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

82. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Апрель — май 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

бесконечно извиняюсь. Молчал. Не мог писать. Нашла безгласность. И великое утомление. Пришлось организовать неожиданно лекцию Мережковского.[2] Тут в Москве месяц перед пасхой каждый день где-нибудь происходило по несколько собраний в 200—400 человек. Было переслушано все, что можно слушать. Наконец к пасхе все затихло. Никто уж не хотел итти на лекцию. И вдруг еще лекция, да еще о «церковной реформе». Пришлось спешно мобилизировать 300—400 человек. Хлопоты все упали главным образом на меня. Неделю я только и мог, что бегать из места в место. Ни строчки не мог писать.

А потом утомился смертельно.

Милый, так часто думаю о Тебе, о Любови Дмитриевне, об Александре Андреевне. Спасибо, спасибо Любови Дмитриевне за письмо. Был ужасно тронут, его получив, и обрадован. Александре Андреевне и Любови Дмитриевне на-днях напишу.

Будь здоров. Христос с Тобой.

Нежно любящий Тебя

Боря

P. S. Пишу в Шахматово.

[1] Датировано по содержанию.

[2] Лекция Д. Мережковского «Теперь или никогда. О церковном соборе»; была напечатана в «Вопросах жизни» 1905, № 4—5, стр. 295—319.

83. БЛОК — БЕЛОМУ

19 мая 1905. Шахматово

Милый Боря, спасибо, получил Твое письмо в Шахматове. Приехали опять рано, в апреле, и уже опять копаюсь в земле. Впрочем, больше еще бродим кругом. Грозовая весна, были дни сплошь грозовые с ливнями, а вообще сухо и сильный ветер. На горизонте такая мгла, что говорят, будто Москва горит. И в то же время на закатах такой ветер, что ясно, откуда он — от солнца, окруженного парами.[1] Вообще ясно многое, в чем сомневаются соседние естественники.[2] Но иногда грустно, и до того все забылось, что может вспомниться при неожиданных обстоятельствах, врасплох. Весной писал стихи, часть которых пишу Тебе. А я не простился с Мережковскими, и, вообще, кончилось с ними как-то глупо и досадно, из-за З[инаиды] Н[иколаевны]. Что Ты думаешь о «жертве» у Минских? (не скандал ли это?). Я думаю, что это было нехорошо, а Е в г [е н и й] Иванов писал, что почувствовалась близость у всех, вышедших на набережную из квартиры Минского в белую ночь. Но Люба сказала, что близость чувствуется также после любительского спектакля.[3] — Напиши, когда ты можешь к нам приехать? Напиши вообще. Крепко Тебя целую.

Твой Саша

МОЛИТВА

Ты в поля отошла без возврата,—
Да святится Имя Твое.
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели,—
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире,—
Ужь не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излучённый путь.

О, исторгни ржавую душу,
Со святыми меня упокой,
Ты — держащая море и сушу
Неподвижно тонкой рукой. [4]

* * *

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там — в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И приметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
— Ты, красавица, верно ко мне?
— Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,
С бородою зеленой сплелась,
И с туманом лесным поднялась.

Так — тоскуют они об одном.
Так — летают они вечерком.
Так — венчалась весна с колдуном. [5]

* * *

Л. Д. Б.

На весенней проталинке
За вечерней молитвою — маленький
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой
Чернеется
Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь красноватых
Не видать чертенят бесноватых,
Но вечерняя прелесть
Увила вкруг него свои тонкие руки.
Предзакатные звуки.
Легкий шелест.

Тихонько он молится,
Улыбается, клонится,
Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей
Травой исцеляющей
Перевяжет болящую лапу.

Перекрестит и пустит гулять:
— Вот, ступай в родимую гать.
— Душа моя рада
— Всякому гаду
— И всякому зверю
— И о всякой вере.

И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится,
За больную звериную лапу
И за римского папу.—

Иди по пучине тряской:
Спасет тебя черная ряска.[6]

[1] Ср. письмо Блока к Е. Иванову от 23 мая 1905 г. («Письма к Иванову», стр. 36).

[2] Менделеевы.

[3] См. выдержку из письма Е. Иванова к Блоку от 9—10 мая 1905 г., где тот описывает организованный Н. Минским и Вяч. Ивановым вечер-«радение» с «ритмическими движениями, танцами, кружением, наконец, особого рода ритмическими символическими расположениями». Блок в ответном письме Е. Иванову писал: «С жертвой у Минского не мирюсь, не хочу, присутствие его одного может все испортить...» и т. д. («Письма к Иванову», стр. 35 и 109).

[4] Стих-ие было написано 16 апреля 1905 г. и впервые напечатано (без заглавия) в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[5] Стих-ие было написано 24 апреля 1905 г. и впервые напечатано в «Вопросах жизни» 1905, № 6.

[6] Стих-ие было написано 17 апреля 1905 г. и впервые напечатано в «Весах» 1906, № 5. Предпоследний стих в окончательной редакции читается: «Не бойся пучины тряской». Посвящено Л. Д. Блок.

84. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

22 мая 1905. <Москва>

Дорогой Саша,

Спасибо за письмо и за милые стихотворения. Они мне очень нравятся. Первое из них, пожалуй, наиболее совершенно, второе — мне по настроению наиболее близко, третье — наиболее неожиданное. Я в Дедове. Сейчас на 1 день в Москве. Нашел Твое письмо. Обрадовался. Очень тронут Твоим приглашением. Постараюсь заехать в Шахматово. Вероятно придется заехать с Сережей. Но теперь я буду очень много писать. Начал работать над большой романтической

поэмой. Пишу ее белыми стихами. Только жаль. Написал 1-ю песнь и ½ второй, страниц 60. И рукопись потерял. Придется начать писать сызнова.[1] Может статься впрочем, что мне и не придется быть в Шахматовое, что было бы мне очень «огорчительно». Во всяком случае — спасибо за любезное приглашение.[2] Пиши мне в Дедово. Там мы вероятно числа до 10-го июня.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Твой Боря

P. S. Мой привет и глубокое уважение Любови Дмитриевне, Александре Андреевне, а также всем, кто в настоящую минуту в Шахматове — Марье Андреевне, Софье Андреевне.

[1] Поэма «Дитя-Солнце», из которой было написано две песни (около 3 000 стихов), потерянных Белым в 1907 г. (см. «Омут», стр. 19—21 и 84).

[2] Белый и С. Соловьев приезжали в Шахматово в июне 1905 г. (между 10 и 20 июня). Об этой поездке, закончившейся первым серьезным расхождением Блока с Белым и С. Соловьевым, см.: «Записки мечтателей», № 6, стр. 113; «Эпопея», № 2, стр. 240—265; «Омут», стр. 21—32 (Белый ошибочно относит поездку к началу июля). См. также вступительную статью.

85. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<20 июня 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

изловивший меня С. А. Соколов просил Тебе передать, что он вступает в редактирование журналом «Искусство» и просит Твоего благосклонного сотрудничества. При этом он «бахваляется» изгнать гофманов[2] и пр[очую] К° из журнала и вообще сокрушить «Болвана Тьмутараканского» в виде дешевого декадентства. Показывал мне список сотрудников. Вообще же по-моему ввиду прекращения «Мира Искусства» и на том основании, что «Искусство» теперь единственный худ[ожественный] журнал (кроме Весов) в России, стоит от времени до времени поддерживать его. Пока там были мальчики вроде Гофмана, я всячески уклонялся от сотрудничества. Ввиду того, что теперь там мальчик побольше, я согласился участвовать. Будет там конечно и Бальмонт, обещал Андреев, Мережковский, Минский и т. д. Соколов сам Тебе напишет, а пока просил меня Тебе передать, все. С[ергей] А[лексеевич] грозится со временем переименовать журнал в «Золотое Руно».[3] Боюсь все же, что Руно останется... Бараньим. Но барашки барашкам — рознь. Мериносы — очень почтенная порода, и я согласился даже на то, что буду систематически проводить там свой взгляд на символизм.

Прости за феноменальность тона. Пиши в Дедово. Там буду до начала июля. Потом в Москву и в деревню. Пиши.

Остаюсь глубоколюбящий Тебя

Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] Имеется в виду поэт Виктор Гофман.

[3] Имеется в виду стих-ие Белого «Золотое руно» (см. прим. 7-е к письму № 22).

86. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<25 июня 1905. Дедово>[1]

Дорогой Саша,

Тихо летаю в беспредметной ясности, подобной снегу. Снег — тихий, ласковый, близок моему сердцу. Я могу и умею кружиться, где хочу, ибо «дух дышет, где хочет, и голос его слышен, а не знаешь, откуда

приходит и куда уходит» (Иоанн). Кротко, безболезненно покрываю пространства, завиваюсь вьюгой по зимам, завиваюсь вьюжным ласточкиным визгом в голубых пространствах. Кроткая беспредметность — моя стихия. Таков снег. Но когда туча снежинок попадет в душную тишину, неизвестно откуда возникающую, глухого пожара угрозы — не тает туча снежинок, не дождем изливается она на травы — тяжким градом.

Я могу быть всегда побивающим градом, и всегда не хочу, и всегда не хочу, всегда хочу безвольно, бесцельно, просто носиться в пространствах, носиться в несказанном, завиваясь вьюжным визгом в ласточках, рвать вместе с ними пространства во имя «нового пространства»[2] — «нового неба и новой земли».

О, если б мне быть всегда снегом!

Верю, что промчатся дни политических движений в России и факты, подобные одесским событиям[3], скоро исчезнут, когда соберутся народные представители.

Пока еще верю в будущую Россию — снежную, мятельную, зимнебодрую, веселую, здоровую.

Да будет!

Люблю Тебя Саша, хочу послать Тебе снежного забвения, которое тихо разливается вокруг меня. Аминь.

Твой Боря

Пиши мне до 1 июля в Москву а после: Тульская губерния. г. Ефремов. Сельцо Сер[ебряный] Кол[одезь], мне.

[1] Датировано на основании пометы Блока.
[2] См. «Симфония», стр. 141.
[3] Забастовки, столкновения рабочих с войсками и восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

87. БЛОК — БЕЛОМУ

19 июля 1905. Шахматово

Милый Боря,

люблю Тебя очень нежно и часто вспоминаю Тебя и Твои слова и задумываюсь над ними. А почему не пишу Тебе — не знаю. Спасибо Тебе за снежное забвение и за извещение об «Искусстве». В прошлом и, может быть, в будущем — многое, так что иногда улыбаюсь странности или тоскливости жизни. Видел во сне, что мы с Тобой — в росистом и тенистом лесу — зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать Тебе, как я умею летать всяческими манерами, и сидя и стоя на воздухе; ощущение было приятное и легкое, а Ты удивлялся и завидовал. Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.

Ваш приезд с Сережей — последний — был, пожалуй, для меня важнее всех остальных — очень окрылил меня. Я чувствую в нем много Нечаянной Радости. Но теперь я беспокоюсь внутренно о Сереже, мне все кажется, что здесь что-то не так, и как бы не заменили одну пьесу — другой «по болезни артиста и лошади».[1] Действие же пьесы ужь пожалуй происходит именно в цирке, по силе критического момента и по трагизму его. — Я читаю Достоевского[2], и потому стараюсь составить корявые фразы. — Как будет с Сережей? Обнимаю Тебя и не знаю, плохо или хорошо Тебе.

Твой Саша

Вальс в Твоей поэме[3] — для меня откровение.

Вот стихотворенье:

Посвящается Григорию Е.*

Побывала старушка у Троицы,
И все дальше идет на Восток.
Вот сидит возле белой околицы,
Обвевает ее вечерок.

Собрались чертенята и карлики,
Только диву даются в кустах
На костыль, на мешок, на сухарики,
На усталые ноги в лаптях.

— Эта странница, верно, не рада нам
— Приложилась к мощам — и свята;
— Надышалась божественным ладаном,
— Чтоб увидеть Святые Места.

— Чтоб идти ей тропинками злачными,
— На зеленую травку присесть.
— Чтоб высоко над елями мрачными
— Пронеслась золотистая весть...

И мохнатые, малые каются,
Умиленно глядят на костыль,
Униженно в траве кувыркаются,
Поднимают копытцами пыль.

— Ты прости нас, старушка ты божия,
— Не бери нас в Святые Места!
— Мы и здесь лобызаем подножия
— Своего, полевого Христа.

— Занимаются села пожарами,
— Грозовая над нами весна.
— Но за майскими тонкими чарами
— Затлевает и нам Купина... [4]

[1] О размоловке Блока с С. Соловьевым см. «Омут», стр. 21—32. Ср. письма Блока к Е. Иванову от 25 июня 1905 г («Письма к Иванову», стр. 37) и Г. Чулкову от 23 июня 1905 г. («Письма», стр. 128—129).

[2] О своем увлечении Достоевским Блок писал Е. Иванову 6 и 19 августа 1905 г. («Письма к Иванову», стр. 40 и 42).

[3] См. прим. 1-е к письму № 84. Поэму «Дитя-Солнце» Белый, очевидно, читал Блоку во время своего пребывания в Шахматове в июне 1905 г.

[4] Стих-ие было написано в июле 1905 г. и впервые напечатано (под заглавием «Старушка и чертенята») в газете «Слово» 1906, 2 апреля (с незначительными вариантами).

88. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Июль 1905. Серебряный Колодезь>[1]

Милый Саша,

так хорошо, что Ты мне написал. Мне было радостно получить от Тебя письмо, потому что Ты — один из немногих, которых я люблю истинной любовью. Радуюсь Твоему письму: так хорошо... Из Твоего письма пахнет ароматом зеленого леса, окропленного слезами,

* Ежу, который живет у нас и назван Григорием.

а я живу в степях, сухих и жарких, и вот уже скоро две недели, как не было росы: спасибо Тебе, милый. Я брожу по полям, сухим и жарким и обдумываю введение к кирпичу, которое должен закончить к осени. Но оно растягивается в самостоятельную книгу... чуть ли не в кирпич, а самый кирпич удаляется от своего воплощения.[2] Милый, я ушел из жизни и верю чуду, верю важности переживаемых моментов, которые — всегда трагизм; поэтому трагизм наполняет мою душу готовностью умереть, чтобы вознестися... Я забыл мир эмпирической действительности, ибо пришел к тому, что бытие есть категориальная форма для одного из видов суждений относительных. Я умер для *действительности* *, которую постигаю в понятиях, но зато отношение суждения гносеологического к трансцендентному понятию о ценности — отношение, имеющее форму метафизического суждения о реальности трансцендентного постулата — являясь суждением, предопределяющим гносеологическое суждение, открывает для меня возвращение в мир бытия, понятый как трагический долг; тут оживаешь Ты, пробираясь в душу «тайного трагического, скорбного и милого» — живешь, дышишь ароматом лесов несказанных, летаешь сидя, и стоя — и всячески... Еще вчера я постулировал в своем введении трансцендентной Идеей, а уж сегодня читал Твои нежные строки. Милый, спасибо Тебе. Вижу, вижу Тебя — Вечная, Бессмертно живущая Идея, которую примат практ[ического] разума реализирует в категорическом императиве. Милый, пиши мне.

Бесконечно любящий Тебя. Всегда Твой

Боря

P. S. Знаешь ли, что в статье моей «Химеры» Ты — Меркурий, спасаешь меня от В. Иванова.[3]

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Вероятно, имеется в виду ненаписанная Белым книга «Теория символизма», о которой упоминается в его мемуарах («Омут», стр. 205).

[3] Статья Белого «Химеры» была помещена в «Весах» 1905, № 6, стр. 1—18. В образе «феоретика дионисизма» Белый вывел здесь Вяч. Иванова, а в образе «безумного юноши» — самого себя. О «безбородом прохожем с лицом Меркурия с палкою из двух сплетенных змей в руках» см. на стр. 11-й журнала. По поводу этой статьи возникла полемика между Вяч. Ивановым и Белым — см.: Вяч. Иванов «О „Химерах" Андрея Белого» («Весы» 1905, № 7, стр. 51—52) и ответ Белого — «Разъяснение В. Иванову» (там же, № 8, стр. 45). О своем расхождении с Вяч. Ивановым Белый пишет в книге «Начало века» (стр. 317)

89. БЛОК — БЕЛОМУ

8 авг[уста] 1905. Шахматово

Милый Боря.

Сейчас смотрели на лунный туман. Ночь. Удивлялись. Твое письмо мне близко, близко. Спасибо. Мне хотелось именно быть Меркурием, когда я узнал что я Меркурий в Химерах; более близкой мне статьи Твоей я давно не читал. Я сам извещаю себя эти дни, и сам не знаю того, но извещаюсь о чем-то как бы в последний и в первый раз, как всегда бывает в острое время жизни. Извещает меня о чем-то легкая юность. с перевитым жезлом, но иногда эта юность бывает косматая, разбойничья, и все-таки — легкая. Все это лего я отвечаю Тебе на Твою любовь. Как-то учащенно все думаю о Тебе, узнаю Тебя, может быть, почти не проходит дня без мыслей о Твоей единственности для меня и мира. Я совсем разлюбил стихи Валерия Брюсова, почти без исключений. Над ним жестоко посмеялся кто-то. Впрочем, я хотел сказать

Тебе вовсе не об этом, так как это изумительно потеряло смысл. Я ужасно молодею и, чувствуя это, очень радуюсь этому. Узнаю Тебя, говорю о Тебе, и душа прильнула к Тебе. У меня нет религии, но мне завещано: да не смущается сердце ваше. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно.[1]

Глубоко Твой Саша

[1] Из стих-ия Белого «Знаю» («Золото в лазури», стр. 226—227).

90. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

14 августа [19]05. <Серебряный Колодезь>

Дорогой Саша —

Милый, спасибо за письмо. Очень порадовало. Из далей улыбнулось.

Когда получил, то сорвал белых цветов, сделал букет и поставил у себя.

Теперь подарили много жемчугу. И плывут, и тают —

— жемчужины...

Жемчуговой день, росяной, холодный, ясный.

Ясно улыбаюсь Тебе. Верю, что все мы «будем»...

Ясно Твой

Боря

P. S. С 20—22 я у Сережи.[1] Около 1-го или в первых числах в Москве.

[1] В Дедове.

91. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало сентября 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Пишу Тебе из Москвы. Здесь все бурлит. Настроение боевое. Но я живу на острове. Не допускаю никого на него. Живу среди знакомых веяний — один с собой. Тихо, ясно.

Осень не будет трудная. Это я знаю. Что-то улыбнулось. Пусть.

Есть к Тебе поручение. Прости, что не писал, все собирался. Hans v. Guenther просит Тебя сообщить ему Твои биографические сведения. Ты кажется имеешь с ним сношения. Он мне писал, что перевел некоторые из Твоих стихов. Живет он попеременно то в Мюнхене, то в Митаве. Теперь, кажется, в Митаве. Адрес его следующий. Курляндская губерния. Митава. Константиновская улица № 8. То же поручение у меня к Бальмонту, Иванову, Сологубу, Минскому, Мережковскому, Рафаловичу, Смирнову. При случае, если увидишь кого-нибудь из оных господ, передай им про Гюнтера и его просьбу.

Милый, не забывай меня. Напиши два слова о себе, когда будет время. Не забывай Весы, присылай, пожалуйста, что-нибудь. «Весы» теперь нуждаются в помощи. В[алерий] Я[ковлевич] не хочет принимать деятельного участия, а ведь он один все выносил. Надо дружно, сообща поддержать, а то паразитирующее на современном искусстве «Искусство» нежелательным образом приблизится к Весам; надо проводить грань между Весами и Искусством. Я отказался от участия в Искусстве, имея в виду централизоваться в Весах.

Нежно любящий Тебя

Боря

[1] Датировано по связи с ответным письмом Блока.

92. БЛОК — БЕЛОМУ

9 сентября <1905> Петербург

Милый Боря.

Я — женщина словачка.[1] Это меня часто удручает. Мой государственный экзамен, может быть, протянется весь октябрь. А, мож[ет] быть, будет только к рождеству. Почти нигде не бываю, занимаюсь науками. Твое поручение буду исполнять понемножку. Я совсем никогда не слышал о Гюнтере и очень изумляюсь своей биографии. Относительно «Весов» — пока совсем не могу писать, из-за экзамена. Чулков просил Тебе передать свою сконфуженность по поводу того, что «В[опросы] Ж[изни]» не могут напечатать Твою статью. Все они находят, что она «не для их публики», — слишком догматичная и сжатая.[2] Булгаков царит на новой квартире «В[опросов] Ж[изни]» и оберегает свой журнал от символистов. Можно попросить Тебя когда-нибудь напомнить Скорпионам, что у них лежат присланные им обложки и картинки для «Весов» Городецкого (того, чьи стихи я Тебе летом читал), а Городецкий недоволен тем, что их ему не возвращают, хотя он приложил марки на пересылку. Пожалуйста, как-нибудь осведомись о судьбе этих картинок. Вот все о делах. Помню Тебя всегда и люблю всегда — глубоко и нежно.

Твой Саша.

[1] По разъяснению М. А. Бекетовой, словом «словачка» Блок обозначал все экзамены по славяноведению, самое же слово есть намек на некоего московского профессора, которого изображал в лицах С. М. Соловьев» («Письма к родным», стр. 330).

[2] Вероятно, имеется в виду статья «Сфинкс», напечатанная в «Весах» 1905, № 9—10, стр. 23—49.

93. БЛОК — БЕЛОМУ

22 сентября 1905. Петербург

Милый Боря!

Вот стихи Hanz'a von Guenther'a, которые он просил меня передать Тебе и обоих нас просил сообщить свое мнение. Я ужь написал, что мне многое нравится. Они написаны ужасно неясно, трудно разбирать. Гюнтер переводит мои стихи. Просьбу о биографии я уже передавал Бальмонту, но он гордо ответил, что она — в словаре Венгерова.[1]

В Петербурге очень много бодрости. Меня очень интересуют события. Университет преобразился — все оживлено. Слежу за газетами. Мои экзамены будут в ноябре и декабре. Как Ты, — напиши мне несколько слов. Я Тебя люблю сильно и нежно попрежнему. Крепко целую Тебя.

Твой Саша

[1] См. С. А. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. VI, СПБ, 1897 — 1904, стр. 375 — 377.

94. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Сентябрь 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Спасибо за присыл стихов.[2] Гюнтер — идиот, в этом я убедился из нескольких писем, которыми мы обменялись. Не имею время разбирать его стихи. Если будешь ему писать, напиши что знаешь от моего имени ему. Надоело с ним иметь дело. Он переводит меня и из этого делает что-то неимоверное. Чуть ли не переход на *«Ты»*...

У нас в Москве спокойно и хорошо: легкие маневры перед войной раздули, судя по петербургским газетам, в нечто грандиозное.

Спасибо Александре Андреевне за письмо. Передай, что я на-днях ей напишу. Знаешь ли, я посвятил ей статью «Сфинкс», которая появится в следующем № «Весов». Статья написана, быть может, для нее. [3]

Дорогой Саша, желаю Тебе успеха в экзаменах. Не пришлешь ли Ты мне своих стихов. Буду рад.

Если увидишь В[ячеслава] Иванова, передай ему, что я никогда не хочу с ним полемизировать, ибо в теоретическом отношении более чем с кем-либо из «декадентов» чувствую связь. [4] Пусть он не сердится на меня — положит гнев на милость. Если можно, сообщи его адрес: буду ему писать.

Люблю Тебя очень. Имею много сказать. При случае выберу время и пришлю Тебе целую рукопись вместо письма; сейчас же все время занят. Иду на «Пиковую Даму». «С[ен]-Жерменствую» — только и остается это проделывать в Москве. [5] Душно мне у «декадентов» — душно, душно!

Нежно люблю. Всегда помню.

Весь твой

Боря

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Г. Гюнтера.

[3] Статья «Сфинкс» была помещена в «Весах» (№ 9—10, стр. 23—49) со следующим посвящением: «Посвящаю статью А. А. Кублицкой-Пиоттух, которой обязан возникновением этой статьи».

[4] См. прим. 3-е к письму № 88.

[5] Ср. высказывания Белого по поводу оперы П. Чайковского «Пиковая дама» — в статье «Химеры» («Весы» 1905, № 9—10, стр. 45—47).

95. БЛОК — БЕЛОМУ

2 октября <1905. Петербург>

Милый Боря.

Мне вдруг захотелось послать Тебе много всяких моих стихов, и плохих и получше. Напиши мне когда-нибудь, как они Тебе вообще кажутся и покажи Сереже. Кроме того, можно посвятить Тебе стихотворение, приложенное здесь же? Я изумился, читая «Зеленый Луг». [1] Дело в том, что все это время я писал статью, в которой последняя глава называется «Зеленые луга». [2] И вдруг! Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего. [3] Почти никто не знает об этом ничего, кое-кому известно навыворот. Но я более или менее часто вижу людей. Осень легкая. Часто хорошо и радостно. Спасибо Тебе за письмо. Совсем не знаю, что написать от Тебя Гюнтеру? Очень возможно, что он идиот. Он пишет мне все открытки, где говорится: сегодня я перевел 26-е стих[отворение]... Сегодня 40-е. Нельзя ли назвать все «Die Frau in Sonne bekleidet»? Эти извещения и вопросы сыплются мелким дождичком из Мит[illegible]вы — с Балтийского побережья — культурно и неукоснительно.

Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но как ты думаешь, знаю ли я Тебя? По кр[айней] мере, я этого всегда хочу. Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно [illegible]кное. Я изменился, но радуюсь этому. Говорить об этом могу пок[illegible]лько с непосвященными. Но посвященным можешь быть раз[illegible] никто кроме Тебя не услышит и знать не захочет. Но рядом с[illegible]совсем перестал бояться людей внутренно и доброжелателен [illegible]больше, чем прежде. Куда-то совсем ушли Мережков-

ские, и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Можно сказать, наплевали. Не знаю, надо так или не надо. Надрыва же никакого нет. У меня и вообще нет надрыва. Я больше не люблю города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Часто из нее исходят все только одни гармоничные ощущения. Я никогда ничего не забуду в прошлом. Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер повеет и колючие мои руки запляшут свободно.

Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю. Если иногда в этом сиротливость, то я — «сам господь своих вериг». Пришли рукопись.[4] Мы тоже пойдем в «Пиков[ую] даму». Спасибо за московск[ие] известия. Вяч[еславу] Иванову передам; я еще не был у него. Вот его адрес: Спб. Таврическая 25, кв. 24.

Вечером. Сейчас вернулся от Сологуба, где видел Вяч[еслава] Иванова и передал ему, что Ты просил. Он просит передать Тебе, что не сердился теоретически, но был оскорблен лично тем, что Ты писал Чулкову. Но вообще говорил мягко и доброжелательно. Может быть, не могу передать Тебе точно, что он говорил,—ужасно устал.[5] А мне трудно еще с Вяч[еславом] Ивановым. До свиданья, милый. Неужели, правда, Сережа в Риме? Как Ты думаешь — если я кончу статью (довольно длинную) и пришлю ее в «Весы» — напечатают ли ее и заплатят ли что-нибудь?[6] В «Иск[усство]» я написал все-таки две статьи, потому что обещал Соколову.[7]

Где Сережа? в Москве или в Дедове?

* * *

Пристань безмолвна. Земля близка.
Земли не видно. Ночь глубока.
Стою на серых мокрых досках.
Буря хохочет в седых кудрях.
И слышу, слышу — будто кричу:
— Поставьте в море на камне свечу!
— Когда пристанет челнок жены,
— Мы будем вместе, мы будем спасены.
И страшно и тяжко в мокрый песок
Бьют волны, шлют волны седой намек.
Она далеко. Ответа нет.
Проклятое море! Неси ответ!
Далеко... там камень! Там ставьте свечу!
И сам не знаю, — я ли кричу.[8]

* * *

Я — меч заостренный с обеих сторон —
Я правлю, архангел, Ее Судьбой.
В щите моем камень зеленый зажжен.
Зажжен не мной, — господней Рукой.

Ему непомерность мою вручу,
Когда отъиду на вечный сон.
Ей в мире оставлю мою свечу,
Оставлю мой камень, мой здешний звон.

Поставлю на страже звенящий стих,
Зеленый камень Ей в сердце зажгу.

И камень будет Ей друг и жених —
И Ей не солжет, как я не лгу. [9]

* * *

Ранним утром, когда люди старались не шевелиться,
Предчувствуя однообразие серого дня зимы,
В комнате проснулись мужчина и блудница.
Проснулись в пьяном запахе, среди мглы и тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи.
Оплывший огарок мелькал в оплывших глазах.
Сквозь холодное кривое стекло дрожали белые женские плечи,
Мужчина перед обломком зеркала расчесывал пробор в
волосах.

Она была в рубашке. Утро не обмануло —
И была она сегодня, как смерть, бледна.
Еще вечером под фонарем ее лицо блеснуло,
И в этой комнате была она влюблена и пьяна.

А сегодня так безобразно повисли складки рубашки.
И на линиях тела был утренний серый налет.
Углами торчала мебель. Валялись окурки и бумажки
И ужасен был в комнате красный комод.

И внезапно — быстрее вьюги — ярче пожара —
Сверкнуло сознанье, разбивая утренний лед.
Женщина выпрямилась, освобождаясь от угара.
И в окне под обнаженной рукой зазвездился пролет.

Влетели звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась под ветром, осыпая последние снега.
В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки.
И вверху и внизу зашевелилась стена.

Под окнами во дворе выбегали за ворота.
Улицу скрывал дощатый забор.
Мальчишки, женщины, дворники — заметили что-то:
Махали руками, чертя незнакомый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
И на грязном снегу, среди улицы, где люди собрались,
Женщина-блудница — от ложа пьяного желанья —
На коленях — в рубашке — поднимала руки ввысь.

Там — над домами — в тумане снежной бури,
На месте полуденных туч и полунощных звезд,
Розовым зигзагом — в новоявленной лазури
Тонкая рука распластала тонкий крест. [10]

Февраль 1904

* * *

Все бежит, — мы пребываем,
Вервий ночи вьем концы,
Заплетаем, расплетаем
Белых ландышей венцы.

Все кружится, — крутогорий
Месяц щурится вверху,

Мы, расчислив все дороги,
Утром верим петуху.

Вот — из кельи Вечной Пряхи
Нити кажут солнцу путь.
Утром сходятся монахи,
Прикрывая рясой грудь.

— Всю ли ночь молились в нишах?
Всю ли ночь текли труды?
— Нет, отец, на светлых крышах
Ждали Утренней Звезды.

Мы молчали, колдовали,
Ландыш пел, Она цвела.
Мы над прялкой тосковали
В ночь, когда Звезда пряла.[11]

1904

* * *

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков,
Были солнца в сверканьи витрин!
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
— Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?

— Ты им дал разноцветные шубки?
— Ты зажег их снопами лучей?
— Ты раскрасил пунцовые губки,
— Синеватые дуги бровей?

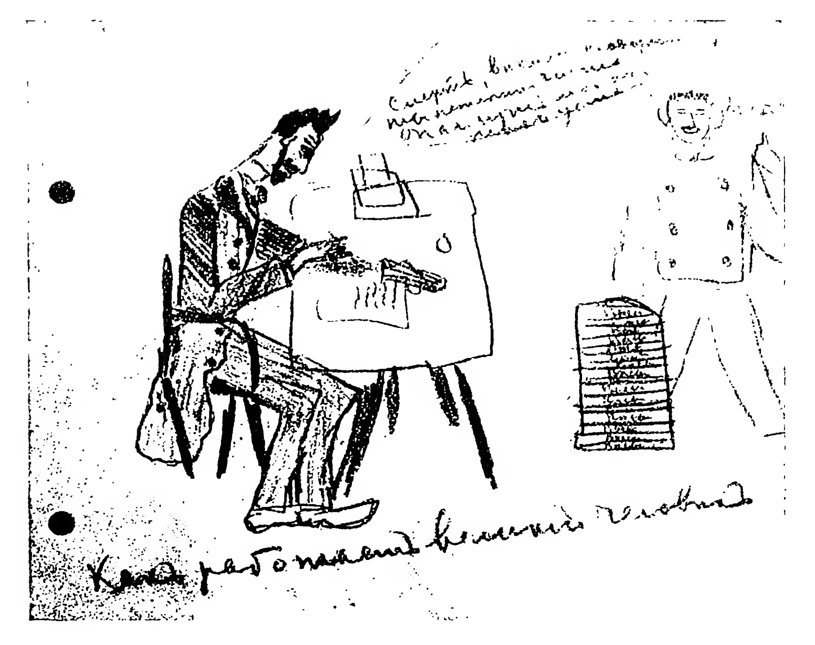
Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать...
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать

А они проходили всё мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем несравнимой,
Отлететь в голубые края...

И мелькала за парою пара...
Ждал я Светлого Ангела к нам,
Чтобы здесь — в ликованьи тротуара —
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном —
Тихо съежившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.[12]

1904



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

«Как работает великий человек»

(В. Брюсов и работник редакции «Весов» — Василий)

Слова В. Брюсова — цитата (не точная) из его трагедии «Земля»:

«Смерть, внемли славословью!
Ты нетленно чиста!
Опаляют любовью
Твои уста!»

Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

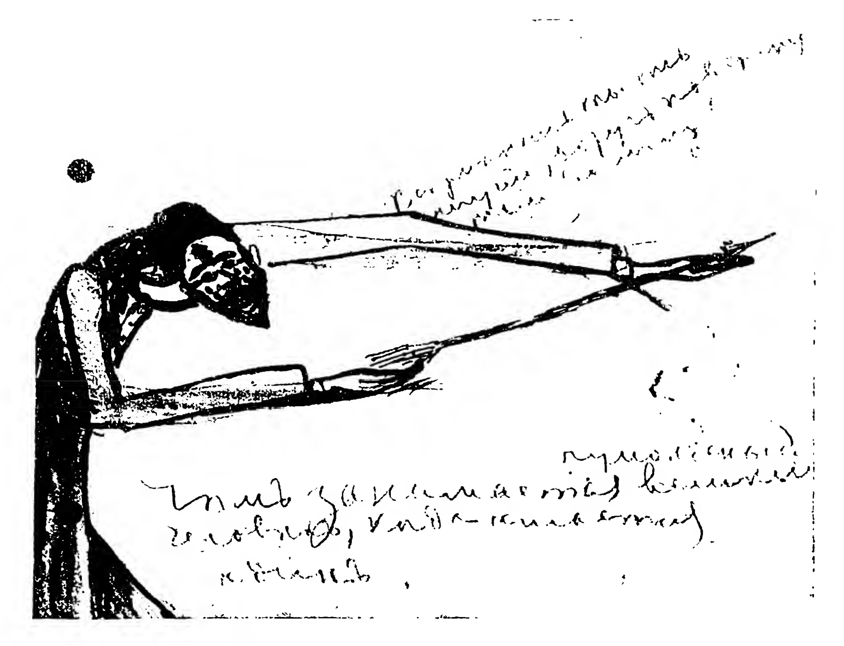
«Уходя в лучах зари»

«Мир тебе, Юлия, супруга моя»

Слова В. Брюсова — цитата (не точная) из его трагедии «Земля»:

«Смерть, внемли славословью!
Ты нетленно чиста!
Опаляют любовью
Твои уста!»

Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

«Чем занимается чумоносный человек, когда остается один»
Слова В. Брюсова — цитата из его стихотворения «Бальдеру Локи»:

«Вскрикнешь ты от жгучей боли,
Вдруг повергнутый во мглу!»

Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА И Н. ПЕТРОВСКУЮ

«Скончалась Юлия, раба божия...»
Карикатура иллюстрирует следующие строфы стихотворения В. Брюсова «Орфей и Эвридика»:

Эвридика

Ты — ведешь, мне — быть покорной,
Я должна идти, должна...
Но на взорах — облак черный,
Черной смерти пелена.

Орфей

Выше! выше! все ступени —
К звукам, к свету, к солнцу вновь!
Там со взоров спадут тени,
Там, где ждет моя любовь!

Государственный Литературный музей, Москва

* * *

Иду — и все мимолетно.
Вечереет — и газ зажгли.
Музыка ведет бесповоротно,
Куда глядят глаза мои.

Они глядят в подворотни,
Где шарманщик вздыхал над тенью своей...
Не встречу ли оборотня?
Не увижу ли красной подруги моей?

Смотрю и смотрю внимательно...
Может быть слишком упорно еще...
И — внезапно — тенью — гадательной —
Вольная дева — в огненном плаще...

В огненном! Выйди за поворот.
На глазах твоих лежит повязка еще...
И она тебя кольцом неразлучным сожмет
В змеином логовище...[13]

* * *

Она поет в печной трубе.
Ее веселый голос тонок.
Мгла опочила на тебе.
За дверью плачет твой ребенок.

Весна! Весна! Как воздух пуст!
Как вечер непомерно скуден!
Вон — тощей вербы голый куст —
Унылый призрак долгих буден!

Вот вечер кутает окно
Сплошными серыми тенями.
Мое лицо освещено
Твоими страшными глазами.

Но не боюсь смотреть в упор, —
В душе — бездумность и беспечность.
Там — вихрем разметен костер,
Но искры улетели в вечность.

Глаза горят, как две свечи.
О чем она тоскует звонко?
Поймем. Не то пронзят ребенка
Безумных глаз твоих мечи.[14]

9 апреля 1905

А. М. РЕМИЗОВУ

В весеннюю полночь колдунья увела девушку за город и там сдала с рук на руки чорту. Но ангел Утренней Грозы восхитил ее к себе.

Латинская рукопись XVI века.

Господь, Ты слышишь? Господь, простишь ли?
Весна плыла высоко в синеве.
На глухую улицу в полночь вышли
Веселые девушки. Было — две.

Но Третий — за ними... за ними следом
Мелькал неслышный в луче фонаря.
Он был неведом... Одной был неведом:
Ей казалось... Казалось, близка заря.

Но синей и синее эта полночь мерцала,
Тая, млея, сгорая полношумной весной.
И одна сказала... Ты слышишь?.. сказала:
О, как страшно, подруга... быть с тобой.

И была эта девушка в белом... в белом,
А другая — в черном... Твоя ли дочь?
И одна задрожала слабеньким телом,
А другая смеялась... убежала в ночь.

Ты слышишь, господи? Сжалься! О, сжалься!
Другая, смеясь, убежала прочь...
И на улице мертвой, пустынной остались —
Остались: Третий, она и ночь.

Но казалось — близко... Казалось, близко
Трепетно бродит, чуть белеет заря.
Но синий полог упал так низко
И задернул последний свет фонаря.

Был синий полог. Был сумрак долог.
И ночь прошла мимо них, пьяна.
И когда в траве заблестел осколок,
Она осталась совсем одна.

И первых лучей протянулись нити,
И слабые руки схватили нить.
Но ужь город, гудя чредою событий,
Где-то там, далеко, — начал жить.

Был любовный напиток — в красной пачке кредиток.
И заря испугалась. Но рукою Судьбы
Кто-то городу дал непомерный избыток,
И отравленной пыли полетели столбы.

Прибежали, стояли и шептались докучно.
Дымно-сизый старик оперся на костыль.
И кругом стало душно. А в полях — однозвучно
Хохотал Невидимка, — и разбрасывал пыль.

В этом огненном смерче — обняла она крепче
Пыльно-грязной земли раскаленную печь.
Боже правый, соделай, чтоб твердь стала легче!
Отврати твой разящий — и карающий меч!

И откликнулось Небо: среди пыли и давки
Появился архангел с убеленной рукой.
Всем казалось: — он вышел из маленькой лавки,
Показалось, что был он — перепачкан мукой.
Но ужь твердь разрывало. И земля отдыхала.
Под дождем умолкала песня дальних колес.
И толпа грохотала. И гроза хохотала.
Ангел белую девушку в Дом свой унес. [15]

15.IV.1905

НЕВИДИМКА

Веселье в ночном кабаке,
Над городом — синяя дымка.
Под красной зарей — вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.

Танцует над топью болот,
Кольцом окружающих до́мы,
Протяжно зовет и поет
На голос, на голос знакомый.

Запачкав мечтой небеса,
Ласкает вечернюю прелесть,
И слышит в тени голоса,—
И шопот, и вздохи, и шелест.

Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые прода́жные твари?
Кто небо запачкал в крови,
Кто вывесил красный фонарик?

Кто воет, как брошенный пес,
Мяучет, как сладкая кошка?
Пучки вечереющих роз
Швыряет блудницам в окошко?

Она и в пожарном дыму,
И в храме, просящем о мире,
И в каждом публичном дому,
И в каждой несветлой квартире.

Бессилен домашний уют,
Очаг отпылавший дымится.
По улицам — тени плывут,
Межь них — Невидимка вертится.

И вот ужь стучится в притон
Ватага веселых и пьяных,
И каждый во мглу увлечен
Толпой проституток румяных.

Вечерняя надпись пьяна
Над дверью, отворенной в лавку,
На Звере багряном Жена
С расплеснутой чашей вина
Вмешалась в безумную давку.

В тени гробовой фонари;
Смолкает докучливый грохот.
На красной полоске зари
Беззвучный качается хохот.[16]

1905. 16.IV. Страстная суббота

* * *

Вот на тучах пожелтелых
Отблеск матовой свечи.
Пробежали в космах белых
Черной ночи трубачи.

Пронеслась, бесшумно рея,
Птицы траурной фата.
В глуби меркнущей аллеи
Зароилась чернота.

Разметались в тучах пятна,
Заломились руки Дня.
Бездыханный, необъятный —
Истлевает без огня.

Кто там встанет с мертвым глазом
И с серебряным мечом?
Невидимкам черномазым
Кто там будет трубачом? [17]

Лето 1905

* * *

Королевна жила на высокой горе,
И над башней дымились прозрачные сны облаков.
Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре,
И тревожил законы суровых отцов.

Над зелеными рвами текла, розовея весна.
Непомерность ждала в синевах отдаленной черты.
И Влюбленность звала — не дала отойти от окна,
Не смотреть в роковые черты, оторваться от светлой мечты.

— Подними эту розу — шепнула — и ветер донес
Тишину улетающих лат — бездыханный ответ.
— В синем утреннем небе—шепнул—ты найдешь—
купину расцветающих роз—
И шепнул — и взлетел — и сверкнул — и она полетела вослед.

И за облаком плыло и пело мерцание тьмы,
И Влюбленность в погоне забыла, забыла свой щит.
И она, окрылясь, полетела из отчей тюрьмы:
На воздушном пути королевна полет свой стремит.

Ужь в стремнинах туман — и рога созывают стада,
И заветная мгла протянула плащи и скосила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.

Не смолкает вдали властелинов борьба,
Распри дедов над ширью земель.
Но различна Судьба: здесь мечтанье раба,
Там — воздушной Влюбленности хмель.

И в воздушный покров улетела на зов
Навсегда... О, Влюбленность! Ты строже Судьбы!
Повелительней древних законов отцов,
Слаще звука военной трубы! [18]

* * *

Она веселой невестой была.
Но Смерть пришла. Она умерла.

И тихая мать погребла ее тут.
Но церковь упала в зацветший пруд.

Над зыбью самых глубоких мест
Плывет один неподвижный крест.

Миновали десятки и сотни лет,
И в старом доме юности нет.

И там, где юность устала ждать,
В зеркалах осталась старая мать.

Старуха вдевает нити в иглу,
Тени нитей дрожат на светлом полу.

Тихо, как будет. Светло, как было.
И счет годин старуха забыла.

Как мир стара, как лунь седа.
Никогда не умрет, никогда, никогда...

А вдоль комодов, вдоль древних кресел
Мушиный танец все так же весел.

И красные нити дрожат на полу,
И мышь щекочет обои в углу.

В зеркальной глуби — еще покой
С такой же старухой, как лунь седой.

И те же нити, и те же мыши,
И тот же образ смотрит из ниши.

В окладе темном — темней пруда,
Со взором скромным — всегда, всегда...

Давно потухший взгляд безучастный.
Клубок из нитей — веселый, красный.

И глубже, и глубже покоев ряд.
И в окна смотрит все тот же сад.

Зеленый, как мир, высокий, как ночь,
Нежный, как отошедшая дочь.

— Вернись, вернись, нить не будет тлеть.
— Дай мне спокойно умереть. [19]

* * *

Потеха! Рокочет труба.
Кривляются белые рожи.
И видит на флаге прохожий
Огромную надпись: «Судьба»...

Палатка. Разбросаны карты...
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
«Слова слаще звуков Моцарта».

Кругом возростающий крик,
Свистки и нечистые речи,
И ярмарки гулу — далече
В полях отвечает зеленый двойник.

В палатке все шепчет и шéпчет,
И скоро сливаются звуки,
И быстрые, смуглые руки
Впиваются крепче и крепче...

Гаданье! Мгновенье! Мечта!..
И быстро поднявшись, презрительным жестом
Встряхнула одеждой над прóклятым местом,
Гадает... и шепчут уста...

И вновь завывает труба,
И в памяти пыльной взвиваются речи,
И шопот... и плечи...
И быстрая надпись: «Судьба»! [20]

Лето 1905

* * *

ИЗ СКАЗОК

1. У МОРЯ

Стоит полукруг зари.
Скоро солнце совсем уйдет.

— Смотри, папа, смотри!
Какой к нам корабль плывет!

— Ах, дочка, лучше бы нам
Уйти от берега прочь...

Смотри: он везет по волнам
Нам светлым темную ночь.

— Нет, папа, взгляни разок,
Какой на нем пестрый флаг!

Ах, как его голос высок!
Ах, как освещен маяк!

— Дочка, то сирена поет.
Берегись, пойдем-ка домой...

Смотри: ужь туман ползет,
Корабль стал совсем голубой...

Но дочка плачет навзрыд,
Глубь морская ее манит.

И хочет пуститься вплавь,
Чтобы сон обратился в явь.

3. ПОЭТ

Сидят у окошка с папой,
Над берегом вьются галки.

— Дождик, дождик! скорей закапай!
У меня есть зонтик на палке!

— Там весна. А ты — зимняя пленница,
Бедная девочка в розовом капоре...
Видишь, море за окнами пѐнится?
Полетим с тобой, дочка, за море?

— А за морем есть мама?
— Нет.
А где мама?
— Умерла.
— Что это значит?
Это значит: вот идет глупый поэт:
Он вечно о чем-то плачет.

— О чем?
— О розовом капоре.
— Так у него нет мамы?
— Есть. Только ему нипочем:
Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама.

— А эта Дама — добрая?
— Да.
— Так зачем же Она не приходит?
— Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе.

Подошла ночка.
Кончился разговор папы с дочкой. [11]

* * *

Тихо. И будет все тише.
Флаг бесполезный опущен.
Только флюгарка на крыше
Сладко поет о грядущем.—

Ветром в полнебе раскинут,
Дымом и солнцем взволнован,
Бедный петух очарован,
В синюю глубь опрокинут.

В круге окна слухового
Лик мой, как нимбом, украшен.
Контур лица воскового —
Правилен, прост и нестрашен.

Смолы пахучие жарки,
Дали извечно туманны...
Сладки мне песни флюгарки.
Пой, петушок оловянный! [12]

Лето 1905

* * *

Старость мертвая бродит вокруг,
В зеленях утонула дорожка.
Я пилю наверху полукруг —
Я пилю слуховое окошко.

Чую дали,— и капли смолы
Проступают в сосновые жилки.
Прорываются визги пилы,
И летят золотые опилки.

Вот последний свистящий раскол,—
И дощечка летит в неизвестность...
В остром запахе тающих смол
Подо мной распахнулась окрестность...

Все закатное небо — в дремé,
Удлиняются дольние тени,
И на розовой гаснет корме
Уплывающий кормщик весенний...

Вот мы с ним уплываем во тьму,
И корабль исчезает летучий...
Вот и кормщик — звездою падучей...
До свиданья!.. летит за корму...[23]

Лето 1905

* * *

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат,
Причастный Тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.[24]

Август 1905

* * *

В лапах косматых и страшных
Колдун укачал весну.
Вспомнили дети о снах вчерашних,
Отошли тихонько ко сну.

Мама крестила рукой усталой,
Никому не взглянула в глаза,
На закате полоской алой
Покатилась к земле слеза.

— Мама, красивая мама, не плачь ты!
Золотую птицу мы увидим во сне:

Всю вчерашнюю ночь она пела с мачты,
А корабль уплывал к весне.

Он плыл и качался, плыл и качался,
А бедный матросик смотрел на юг:
Он друга оставил, и в слезах надрывался,—
Верно есть у тебя печальный друг?

— Милая девочка, спи, не тревожься.
Ты сегодня другое увидишь во сне:
Ты к вчерашнему сну никогда не вернешься:
Одно и то же снится лишь мне...[25]

Лето 1905

* * *

Посвящается Б. Н. Бугаеву

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля Твоя.
Радость ждет сокровенного слова.
Но ужь ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса отлетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый Твой голос звенит,
Но молчишь Ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За Тобой в хороводах расплещут
Осенни́цы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила Ты пряди волос.
Хороводов Твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою Твоей не сгорать.

С нами, к нам легкокрылая младость.
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора,
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —
На земле — на зеленой поляне —
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину;
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну,

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заравняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля Твоя.[26]

1 окт[ября] 1905. Спб.

[1] Статья Белого — «Луг зеленый», напечатанная в «Весах» 1905, № 8, стр. 5—1 (перепечатана в книге Белого «Луг зеленый», М., 1910, стр. 1—18).

[2] Имеется в виду статья «Безвременье», законченная лишь в октябре 1906 г («Золотое руно» 1906, № 11—12; «Собр. соч.», т. IX, стр. 3—18); один из разделов этой статьи озаглавлен: «С площади на „луг зеленый"». См. первоначальный план статьи (под заглавием «Краски и слова») в «Записных книжках», стр. 43—44.

[3] Пани Катерина — героиня повести Гоголя «Страшная месть». В статье «Луг зеленый» Белый писал: «Еще недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти были одинаково далеки от нее. Россия уподоблялась символическому образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать и мучить ее в чуждом замке... В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины, — Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью запада и первобытной грубостью» («Весы» 1905, № 8, стр. 7—8). По свидетельству Белого, это место статьи явилось «отзвуком» его разговоров с Блоком в Шахматове, летом 1904 г. («Записки мечтателей», № 6, стр. 83; «Эпопея», № 1, стр. 250).

[4] См. предыдущее письмо Блока.

[5] См. прим. 3-е к письму № 88. Содержание письма Белого к Г. Чулков не известно.

[6] Имеется в виду либо «Безвременье» (см. выше прим. 2-е), либо «Девушк розовой калитки и муравьиный царь» («Золотое руно» 1907, № 2; «Собр. соч.», т. IX стр. 19—30).

[7] Для журнала «Искусство» Блок написал статью «Краски и слова» и рецензию на книгу Н. Минского «Религия будущего» (из них в «Искусстве» была помещена только рецензия).

[8] Стих-ие было написано 22 июля 1903 г. и впервые напечатано в «Образовании» 1908, № 1.

[9] Стих-ие было написано 25 июля 1903 г. и впервые напечатано в сб. «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[10] Впервые было напечатано в «Перевале» 1907, № 7 (под заглавием «Последний день» и со многими вариантами).

[11] Стих-ие было написано в сентябре 1904 г. и впервые напечатано в журнале «В мире искусств» 1907, № 13—14.

[12] Стих-ие было написано в декабре 1904 г. и впервые напечатано в «Весах» 1906, № 5.

[13] Стих-ие было написано 9 марта 1905 г. и впервые напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[14] Впервые было напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[15] Впервые было напечатано в альманахе «Шиповник» II (1907), — под заглавием «Легенда», без посвящения и эпиграфа.

[16] Впервые было напечатано в альманахе «Белые ночи», СПБ, 1907, — с вариантами, без третьей, шестой и седьмой строф.

[17] Стих-ие было написано 28 мая 1905 г. и впервые напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[18] Стих-ие было написано 3 июня 1905 г. и впервые напечатано, под заглавием «Влюбленность» и с вариантами, в «Золотом руне» 1906, № 1.

[19] Стих-ие было написано 3 июня 1905 г. и впервые напечатано с вариантами в «Золотом руне» 1906, № 4.

[20] Стих-ие было написано в июле 1905 г. и впервые напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907). По свидетельству Белого, в этом стих-ии отразились напряженные отношения Блока и С. Соловьева летом 1905 г. в Шахматове, в частности их «трех дневное сражение в карты» (см. «Эпопея», № 2, стр. 260—261; «Омут», стр. 32).

[21] Цикл «Сказки», состоявший в рукописи из трех стих-ий (3-е — «Балаганчик») был написан в июле 1905 г. и впервые опубликован в сб. «Нечаянная радость» (1907)

[22] Стих-ие было написано в июле 1905 г. и впервые напечатано в сб. «Нечаянная радость» (1907).

[23] Стих-ие было написано в июле 1905 г. и впервые напечатано в газете «Слово» 1906, 20 марта.

[24] Впервые было напечатано в газете «Наша жизнь» 1906, 18 февраля.
[25] Впервые было напечатано, под заглавием «Сон», в «Золотом руне» 1906, № 4.
[26] Впервые было напечатано, под заглавием «Пляски осенние», в «Золотом руне» 1906, № 6. Посвящение впоследствии было снято.

Все стих-ия, приложенные Блоком к этому письму, сохранились в разрозненном виде и, поскольку порядок их установить невозможно, расположены здесь в хронологической последовательности (№ 1 — 21), за исключением последнего («Пляски осенние»), о котором Блок пишет в письме как о заключительном. Два стих-ия («Молитва» и «На весенней проталинке») здесь опущены, так как уже были посланы Блоком раньше — при другом письме от 19 мая 1905 г. (см. стр. 133 наст. издания).

96. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<13 октября 1905. Москва>[1]

Дорогой друг,

как мне благодарить Тебя за присылку стихов: давно у меня не было таких приятных, радостных минут, как в тот день, когда Ты мне прислал стихи. Что мне сказать о стихах? Что они мне нравятся? Это было бы общим местом: ну, конечно, нравятся. Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы вплетается в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя: этим выразителем, думается мне, являешься Ты. Как совместится Твой призыв к «Прекрасной Даме» с этими новыми для Тебя темами, как совместится «долг» рыцаря с «просто» бытием хотя бы сил даймонических, как совместится долг творчества жизни (теургизм) с параличом долга жизни (шаманизмом) — я не знаю. Между тем это важно — важнее всего. Но прежде чем говорить с этой точки зрения о присланных стихах, я коснусь Твоего письма ко мне, и свяжу его с тем, что мне хочется формулировать.

Ты пишешь мне: «Надеюсь, что она (душа)... приготовится к будущему». Дорогой друг, о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее — общественное обновление России, рассвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или что? Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее. Любя очерченность и точность хотя бы и символических переживаний, а также заинтересованный (столь важным для меня) Твоим путем, я решительно спрашиваю: какое содержание Ты мыслишь, когда ссылаешься на «будущее»? Ссылкой на будущее можно себя и навеки связать определенностью целей и средств (реального пути) — связать долго ли; и развязать, уклониться, вынырнуть в другом можно ссылкой на то же будущее. Действительно ли Твое будущее (есть ли оно — конституция, всеобщая и тайная подача голосов, синтез науки, философии и религии) или оно — литературная фигура речи — скобки пустоты (или пустота с скобках, под которыми можно предполагать все, что угодно, необязательное, нереальное, пустое)? Ты — «захлопнул заслонку своей души» — для чего? Для того, чтобы готовить избирательные списки, или для чего-нибудь иного? Насколько я Тебя понимаю, Ты много надеешься на преображение личности, но есть ли преображение без ясно[го] сознания средств (реализации пути), поставленных целей? Ты так и полагаешь, говоря, что надеешься стать «Купиной». Но купина — символ богоматери. Итак Ты надеешься стать символом богоматери — Ты, студент императорского С.-Петербургского Университета, сотрудник «Вопросов Жизни»? Тут или я идиот, или — Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому. Мистика всегда реальна, если она есть, если вместо нее не даются удобные для жизни, не оформленной долгом, — скобки. Для меня путь мистического будущего определенно реален. Неопределенность

пути есть лишь выбор мотивов долга, борьба средств, из которых каждое — реальность. Ты пишешь, что готовишься к будущему — стать купиной. Я года умираю, истекаю кровью, подвергаюсь оскорблениям, непониманию, грубым подменам, ища средств пути. Ты спокойно знаешь, что нужно для того, чтобы стать «купиной». Ради бога, научи, выскажись. Пока же Ты не раскроешь скобок мне, все будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь, называя себя Купиной (а такие кощунства не прощаются — знай), или говоришь «только так». Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая... А я ведь всегда, с прочтения первого Твоего стихотворения, полагал, что Ты работаешь во имя долга перед «Прекрасной Дамой».

Может быть Ты рассердишься на меня, но я не писал бы Тебе всего этого, если бы не глубоко любил Тебя, не ждал от Тебя... Летом, когда мы с Сережой были в Шахматове, мы оба страдали от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном мистическом пути, о котором я много и долго говорил Тебе в свое время и против которого Ты *не возражал** (почему?). Многое определилось и реально приблизилось с тех пор (и если хочешь, одно время полагал, что это приблизившееся связало нас, ибо Ты всегда во всем прежде молчаливо соглашался). Когда же нужно было совершить отплытие в сторону долга и Истины, а не бытия просто за чаем и мистическими разговорами, все запуталось: тут без сомнения Твоя неподвижность оказала влияние. Все осложнилось. Мы с Сережей почти обливались кровью... Кто-то грубо клеветал в это время, а Ты — Ты потом мне писал, что ждешь несказанного(?!). Ты эстетически наслаждался чужими страданиями. Ведь тут абрикосовым компотом пахнет (помни Достоевского).— Ты, во время наших реальных мучений, сам не вступил на путь реальной мистики (от слов и беспочвенных переживаний не приближался к делу).— Ты должен тогда был бы вступить в борьбу с моим мнением о пути, со всеми моими разговорами, Ты должен был бы все это проклясть, или делом принять — ни того ни другого Ты не сделал: созерцал наши мучения и они возбудили Твою «эстетическую» природу. Ты ничего не сделал для пути и в то же время рассматривал нас с Сережей как актеров, писал про Сережу, что он кажется не туда попал и т. д.[2]

Знай: я не мальчик, и мистические мои «выходки» — не выходки экстатического гимназиста. Меня не соблазнишь мистическими скобками, ибо я — искушенный теорией познания. И то, что для меня мистика и путь, оно вполне ясно, просто и неопровержимо.

Ты летом отказался от будущего, которое мне ясно до очевидности — почему же Ты определенно не вступаешь на путь бытия, путь прошлого (ибо настоящего нет: оно — или долг перед будущим, либо инстинкт прошлого, т. е. зверство): это путь растительной жизни, имеющий свое основание. Там зверь. В долге — «Жена». Третьяго нет: или зверь, или жена. Смешение — производит Сфинкса, психологическую мистику (я проклинаю «психологию» мистицизма). Зверь завивается в символ.

Если Ты о будущем, или спорь против моего будущего, переубеди меня, а не то я склоню Тебя к моим представлениям о будущем, или же — обернись на Содом и Гомору, т. е. на прошлое.

Но Ты пишешь о будущем, называешь себя купиной, говоришь, что Аполлон будет преследовать Тебя (?!!) — это насмешка надо мной, скобки, или реальный путь?

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

Откройся, наставь, научи. Я не ребенок, чтобы мне всяким словам удивляться и верить.

Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны «скобок» и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны.

Дорогой Саша, прости мне мои слова, обращенные к Тебе от любви моей, но я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — Тайну. Нельзя быть одновременно и с богом и с чортом.

Да помогут Тебе силы. Прости за прямоту. Но сейчас ничто не мешает мне сказать, ибо я —

властный.[3]

[1] Датировано на основании пометы Блока.
[2] См. письмо Блока от 19 июля 1905 г. (№ 87).
[3] О том, как встречено было в семье Блока это письмо, см. у М. А. Бекетовой — «Александр Блок и его мать», Л., 1925, стр. 81—82 (здесь письмо неверно отнесено к октябрю 1906 г.).

97. БЛОК — БЕЛОМУ

<14 или 15 октября 1905. Петербург>[1]

Милый Боря.

Сегодня я получил Твое письмо — такое, какого я ждал. Это последнее (т. е., что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего Ты спрашиваешь о том, буду ли сердиться, и объясняешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно),—кроме одного: я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережиными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) — все это — речи идиотски бессвязные, понахватанные чорт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потомучто все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4[2]), и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, никогда, даже когда писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то мож[ет] быть, не совсем с Тобой Провидцем, знающим пути, а с М. Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декад[ентами] и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда) и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, мож[ет] быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно так и надлежит студенту имп[ераторского] Спб. университета и сотруднику «Вопр[осов] Жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относит[ельно] мистики я знаю, что она р е а л ь н а и страшна, и что накажет меня. Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым, или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность — во мне ее много. Когда Ты командовал «про-сияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А ты сказал, что мне не нужны экзамены. Но я совсем не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потомучто я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, который имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Мож[ет] быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто развертывается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, но на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать — я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я Тебя «соблазняю пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания, и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой — значит меня не знать. Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься на меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю т е п е р ь, потому что я в с е г д а был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить — уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить — научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить Тебя? Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно не «преображенная», хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преображаюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больнее всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Некто во мне смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или, просто, гово-

ришь о ней?), но скорее — переворачивает острые камни. Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста не выуживай Аполлонов и не задавай о них вопросов, Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же — боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).

О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство — «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение, я тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради бога, все прямо), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потомучто теперь я таких слов никому, кроме Тебя, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель — прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность, научи. Я знаю, что Ты — властный.

Твой Саша

Все, что я писал, во многом — не то. Мне важнее сказать Тебе, наконец: о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (должен быть) второй и третий — преодоление дракона и смерти. Второго подвига я, мож[ет] быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответь: распинаю ли я Тебя? Существую ли я? Ведь

Предо мною куст терновый
Огнем горел и не сгорал*[3]

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще большую боль, или — совсем никакой боли.

* * *

Вот он Христос — в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот агнец кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо,
Но лик и синее небо — одно.

Единый светлый — немного грустный,—
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя.

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.[4]

[1] Датировано на основании упоминания Блока о получении письма Белого от 13 октября 1905 г.

[2] См. письмо Блока к Белому от 3 февраля 1903 г. (№ 9).

[3] Из стих-ия Вл. Соловьева «Неопалимая купина».

[4] Стих-ие было написано 10 октября 1905 г. и впервые напечатано в «Весах» 1906, № 5.

98. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

30 октября 1905. <Москва>

Милый, милый,

что мне сказать на Твое письмо? Читал. И читал, и опять перечитывал. Значит было у нас недоразумение в понимании друг друга. Ты не виноват, но пойми, что не виноват и я тоже. Ты писал о Прекрасной Даме. Я ощущал всегда Ее веяние. Я хотел и пути, соответствующего веянию. Я не знал определенно, есть ли люди, идущие путем, предносящимся взору моему. Я слишком уверовал в выражение Твоих строчек и полагал, что Ты можешь и пути знать. Потом, при личном знакомстве с Тобой, я понял до дна, почему мог бы Ты (если не знаешь) вести по путям, Тебе известным, и я хотел проверить, то ли предносится в будущем взору моему, что Ты можешь знать. Вот основание к тону всех моих отношений к Тебе и Твоей поэзии. Ведь стихи Твои сыграли бог весть сколько в моей жизни. Вот почему тон вопросительный моего письма, и если была в этом тоне стремительность (увы — часто не[такт]ичная и всегда мне свойственная) — прости мне. Дело в том, что всегда (или по крайней мере в лучшие моменты жизни) не только испытывать веяние Тайны хотел я, но и всю жизнь свою реально положить на престол Тайны, и когда что-то мешало мне до конца раскрыть душу Тайне, я терзал нарочно свою душу.

Вот и все. Больше ничего не умею ответить Тебе. Еще я скажу только одно: одно время я во имя Путей мне предносящихся хотел выйти к людям и в мир моих видений заключить мир предметов и отношений (даже внешних, светских, позитивных и т. д.), идя навстречу, я неизменно терял ядро своей души и обессиливал в праздных судорогах психологии; на все это я смотрел как на средство во имя Цели.

Кажется теперь я ухожу в себя для Себя.

И если я в моих (по всей вероятности ложных) попытках реально найти одно мерило для Истины, Добра и Красоты случайно задевал других людей словом, делом и чувством, я приношу мое извинение.

Люблю Тебя неизменно, сильной, испытанной любовью.

Если бы ушел и от Тебя в одиночество, и там бы всегда любил Тебя.

Вот все, милый, что я хотел Тебе сказать.

Прости. Прощай. Не забывай меня.

Твой Боря

P. S. Податель сего письма Лев Львович Кобылинский. Я люблю его за Вечность, которая в сердце его. Мне хотелось бы, чтобы письмо мое к Тебе передал именно он. Пользуясь случаем, что он едет в Петербург, я просил его передать письмо.[1]

[1] Л. Кобылинскому (Эллису) не удалось лично передать Блоку это письмо (см. следующее письмо Белого).

99. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<1 декабря 1905. Петербург>[1]

Милый Саша,

не знаю, получил ли Ты мое письмо, написанное к Тебе в ответ на Твое длинное. Я послал его в Петербург с товарищем, а он передал его с посыльным.

Хочу просто обнять и зацеловать Тебя. Люблю Тебя, милый.

Но *

пока ** не увижу Тебя вне Твоего дома, не могу быть у Тебя, не могу Тебя видеть. Вообще, я могу или ясно улыбаться, быть снегом, или быть угрюмым.

Не хочу Тебя видеть, когда душа угрюма. Хочу Тебя видеть, когда душа ясна, потому что ясно люблю Тебя, милый.

Непременно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов. (На Невском. Буду в главном зале).

Будь, милый.

Если бы Любовь Дмитриевна ничего не имела против меня, мне было бы радостно и ее видеть.

Мой глубокий привет Александре Андреевне.

Остаюсь любящий Тебя

Боря

P. S. Если же у Тебя в душе есть хотя бы малейшее недоверие к ясности моей души и это препятствует непосредственному чувству Твоему мне просто улыбнуться без слов и рассуждений, не приходи.

Я пишу это совсем сериозно. Хочу Тебя видеть в ясности или никак: Ты ведь так дорог мне.

P. S. Пока я невидим в Петербурге. Завтра намерен объявиться. До свидания или несвидания с Тобой и Любовью Дмитриевной не хочу никого видеть и слышать.[2]

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] О своем приезде в Петербург 1 декабря 1905 г., о встрече с А. А. и Л. Д. Блок в ресторане Палкина и о последующих встречах с ними Белый рассказал в книге «Омут», стр. 57—60.

100. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Декабрь 1905. Петербург>[1]

Саша,

брат мой пред лицом Вечности. У меня не было друга-брата. Будь им.

Одиноко в одних снах мы увидели зори. И зори снова в закат вечный соткались.

Когда я получил письмо Твое, стихи Твои, Тебя не зная, я сказал себе: «Да, я знаю, знаю». Я знал Тебя всегда.

Когда мы встретились, я встретил Тебя иным, не снов моих, полюбил Тебя, но еще не так, как надо. Больше любил стихи, меньше Тебя. По-разному любил. Тебя по-одному, стихи по-другому.

Всегда хотел в жизни Тебя в стихах Твоих любить.

Понял все, *теперь* ** понял.

Узнал в Тебе завещанного брата мне.

Будь, будь всегда образом, заплетенным зорей, милый брат мой, из тумана ближе лицо свое покажи мне.

Вижу, лик Твой близко склонился ко мне, а плечи уж тонут

* Подчеркнуто трижды. — Ред.

** Подчеркнуто дважды. — Ред.

в гаснущем блеске вечера. Мой вечерний брат: воистину Ты брат — всегда им будешь для меня, пока мы все не канем — не пройдем.

Милый, милый, так страшно, так горестно в одиночестве: братское чувство ко мне не затеняй, верь:

я еще раз — *раз навсегда, в последний раз** уверовал в Тебя, во всю жизнь Твою, в правду Твою, в мужество Твое.

Вижу свет непомерный: плывет облако, белое облако — когда ни ночь, ни день, а все так ужасающе прекрасно: лиловые, розовые пятна вечера сетью зыбкой покрыли облако.

Вижу образ Вечности, застывший на облаке. И Ты образом, заплетенным зорей, милый брат,— Ты, склоненный у ног Вечности.

И плывет облако.

И я, доселе застывший в эфирах голубых, с поднятыми к небу очами, я увидел проплывающее облако, узнал Вечность, узнал и Тебя, озаренного Вечностью, взор свой отвел от бездонной синевы, тихо тронулся за облаком, когда облако было уже вдали. С тех пор, если Ты обведешь взором горизонт, Ты увидишь, как я летаю вдоль горизонта, сияя восторгом пред облаком, пред Вечностью, пред склоненным — и восторг мой родит быстрых, белых коней. Я собираю одиноких летунов и на белых конях мы проносимся вдоль горизонта, по горизонту, чертим круги вокруг тихо плывущего облака. И не надо мне больше ничего, кроме облака. Я сторож дозорный, стою на горизонте, трубу золотую приложив к устам, извещаю мир: «Летит облако верное и истинное во веки веков». Размахиваю мечом, вижу врагов, посылаю на них свои ясные отряды. Когда же утомлен битвой, прилетаю и сажусь на край плывущего облака, братски целуя Тебя, молюсь, склоняюсь у ног Вечности...

Чтоб потом вновь сорваться на горизонт и с края горизонта трубить и блистать зорницами.

Я белый всадник, посланный Кем-то, чтоб исполнить веление, но по дороге встретивший облако, и последовавший за ним. Для облака, я, быть может, изменил Пославшему меня, но второй раз не буду изменником.

Буду летать вокруг.

Так будет всегда, до окончания века — в жизни, и после жизни, и еще потом, и потом...

Милый, брат ли Ты мой, брат ли, посланный мне (у меня не было брата) — будь, будь, будь!

Да или нет?

[а] Датировано на основании пометы Блока.

101. БЛОК — БЕЛОМУ

<Декабрь 1905. Петербург>

Милый Боря.

Почти ничего не могу сказать Тебе на Твое письмо. Все так, как Ты пишешь; я был, есть и буду Твоим братом. Первое, что я узнал о Тебе:

Спит кипарис онемевший.
Знаешь ли, ночь на исходе.[2]

Это было осенью, когда уезжали из Шахматова мы с мамой — и стало необыкновенно легко и радостно.[3]

* Подчеркнуто трижды.— Ред.

Пусть ничто нас не обманет, потомучто мы такие, как есть. Пусть нам обоим будет просто и хорошо вечно любить друг друга. Крепко Тебя обнимаю.

Саша

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.
[2] Из стих-ия Белого «Знаю» («Золото в лазури», стр. 226).
[3] 6 сентября 1901 г., уезжая из Шахматова в Петербург, мать Блока получила письмо О. М. Соловьевой, которой посылала стихи сына. В этом письме сообщалось: «Мне хотелось поскорее сообщить тебе одну приятную вещь: Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно описуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева, мнением которого мы все очень дорожим и которого считаем самым понимающим из всех, кого мы знаем... Боря сейчас же написал по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею [Соловьеву]. Вот они...» Далее приведено стих-ие Белого «Пусть на рассвете туманно» («Знаю»), откуда Блок и цитирует в данном письме две строки. В печати стих-ие Белого было посвящено не С. Соловьеву, а О. М. Соловьевой. — Под впечатлением письма О. М. Соловьевой Блок тогда же (в поезде) написал стих-ие «Мчит меня мертвая сила». Весь этот эпизод рассказан в книге М. А. Бекетовой «Александр Блок и его мать», Л., 1925, стр. 76—78.

102. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Декабрь 1905. Москва (?)>[1]

Саша,

Ты близкий мне навсегда.

Спокойный.

Звенящая грусть опоясала Тебя.

Я ее слышу.

Мне хочется часто умалиться в своем, чтоб мои страны не мешали мне все о Тебе безраздельно принять в свою душу.

Прости меня, если до последнего времени я Тебя не умел понимать.

Боже, как я раскаиваюсь.

Я все больше, все больше, все глубже Тебя люблю.

Мне страшно писать это, разве прежде я не любил Тебя?

Любил всегда, но не чувствовал такой близости, как теперь. Усталый, разбитый, полуживой я теперь хочу сидеть рядом с Тобою — без слов, без мыслей, без движений.

Я теперь беззащитный, безвольный, ослепший от мучительных переживаний осени.

Бога ради, не переставай меня любить.

Я теперь в положении нищего, отдавшего свои богатства, — обнищавшего в тоске так легко незаметно отвергнуть. Тоска меня сокрушила — тоска желтой осени, деревья облетали, листья кружились, облаков «меркли края».

Милый, брат мой, не покидай, не покидай, когда я, нищий, — отдыхаю!

Боря

[1] Датировано по связи с предыдущими письмами. Письмо было написано, очевидно, уже из Москвы, куда Белый вернулся сразу после подавления вооруженного восстания и разгрома Пресни, т. е. не раньше 20 декабря (см. «Омут», стр. 71—72).

103. БЛОК — БЕЛОМУ

26 дек[абря] <1905. Петербург>

Милый Боря.

Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чудесно близки и некуда друг от друга удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег и бледное лиловое небо над нами. Это бывает на лесной поляне у железной дороги, а на краю лилового неба зеленая искра семафора между

двух еловых стен.[1] Там я провожу многие дни и наблюдаю смену времен года. Там ничто не изменится, и я не изменюсь тоже, все буду бродить там и наблюдать. Я Тебя полюбил навсегда спокойной и уверенной любовью, самой нежной, неотступной; и полюбил все, что Ты любишь, и никогда Тебя не покину и не забуду.

Твой Саша

[1] См. обращенное к Белому стих-ие Блока «Милый брат! Завечерело» (стр. 169 наст. издания и примечание к письму № 115).

104. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<26 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый,

нет, как я счастлив, как счастлив, что наконец понял в Тебе Тебя.

Неизгладимо, вечно я — Твой. Если Ты меня не отвергнешь от души своей, Тебя никогда не покину в мыслях, чувствах, переживаниях: всегда буду с Тобой, мой истинный брат.

Саша, милый, нет, не забуду Твой смех, он все мне открыл о Тебе, и это все — сонная легкость, сонная тишь. В сонной тиши, на морском берегу я Тебя полюбил, полюбил Тебя на краю земном. И теперь уж больше не забуду.

Пиши мне. Буду ждать Твоего письма.

Я теперь уйду в работу и сонное счастье.

Только это и остается мне.

Милый брат, Ты все во мне понял, я это чувствую, а меня почти никто не понимает кроме Любови Дмитриевны, Сережи и Мережковских. Как же мне не любить Тебя, не радоваться на Тебя, не улыбаться.

Христос с Тобой

Боря

P. S. В Москве все унывают, но я залит счастьем. В нашем доме есть раненые и убитые.[2] Сережа в Дедове. Письмо передам.[3]

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] После Московского вооруженного восстания.

[3] Письмо Блока к С. Соловьеву от декабря 1905 г. в печати не появлялось.

105. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<27 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый!

Напиши мне что-нибудь.

Помню, верю, надеюсь, люблю. Ты весь — несказанный, несказанно овеянный. Не забывай меня.

Мы близки друг другу. Всегда так было. Но всегда я немного тут грезил. А теперь воочию все мне открылось.

Твой Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

106. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<27 декабря 1905. Москва>[1]

Саша,

я сидел с Владимировым. Пил кофе. Вдруг звякнул звездистый цветочек. Звякнул в стеклянном воздухе. Стекла осыпались. Влага лучезар-

ная хлынула. Волны пошли. Я пустил по волнам к Тебе цветик. Милый, целую Тебя.

Снег.

[1] Дата почтового штемпеля.

107. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<28 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый,

как хорошо было получить от Тебя письмо. Радуюсь. Тихо провожу время. Еще никого не видал в Москве. Сережи нет: не показывается в Москве. Все время сидел с иллюминированными зубами: все зубы болели. Знаешь — электрические лампочки: бессветны. Поверни кран: и засияют. Так у меня засияли болью все зубы. Сидел несколько дней с сиявшим ртом. Ужас.

Милый, хорошо было получить Твое письмо: такое тихое, такое ясное. Ясности, ясности не нужно забывать никогда. Как забудешь, все затуманится. Милый, Ты такой ясный.

Много стал понимать я в Твоей шапке: хорошая шапка. Вижу в ней обет метелей. Серебряные метели будут. Люблю музыку метелей. Ты — метельный. Я не знал, что Ты можешь быть метельным. Еще более полюбил Тебя за это.

Мне, как детям, хочется захлопать в ладоши, засмеяться, обнять и поцеловать Тебя.

Потом долго бегать по улицам, подпевать метелям.

Не забывай меня, милый.

Любящий Тебя
брат Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока.

108. БЛОК — БЕЛОМУ

30 декабря <1905. Петербург>

Милый Боря.

Люба получила 8 писем от Тебя, мама — 1, а я 3; думаю, что почта исправна. Спасибо Тебе, милый, за письмо. Крепко обнимаю, целую Тебя, брат. Я знаю метель. Тогда бывает весело.

Твой Саша

109. БЛОК — БЕЛОМУ

30 дек[абря] 1905. <Петербург>

Милый Боря.

Всегда помню Тебя, радуюсь, и учусь у Тебя. Все, что важно для меня в Петербурге, теперь полно Тобой, смягчено и улегчено. Вчера я встретил Философова и, несмотря на то, что это было в редакции газеты «Наша Жизнь», он говорил со мной несколько слов так хорошо и нежно, в первый раз, и я увидел, что всякого, кто только захочет открыться, Ты научишь этому. Через Тебя я теперь опять особенно люблю всех Мережковских, которых осенью начинал забывать, и знаю теперь, как это было нехорошо. На моей маме после Твоего отъезда я замечаю все время Твое влияние, она способна радоваться на Тебя, как ни на кого и ни на что в свете. Нечего и говорить обо мне, которому

Ты близок и нужен бесконечно и в самом глубоком. Ты знаешь, что я только почти никогда не умею этого выражать, а прежде не всегда был в этом уверен. Теперь я знаю ясно и уже спокойно и просто, как совершившееся твердо,— что Ты первый и единственный, показавший мне, что такое братское: что это *не* есть совместное, но истерическое захлебыванье «глубинами», которые быстро мелеют, и не литературное подмигиванье,— а тишина и безмолвная помощь. Мне больно, что я не умею помочь Тебе, а, если иногда и помогаю, то бесконечно меньше, чем Ты мне. Но, может быть, поняв эту помогающую тишину, я и научусь помогать. В этом смысле Ты первый, вытащивший меня из самодовления, в котором я вечно пребывал, не нуждаясь в братстве, пока не узнал, что это такое.

Крепко целую Тебя и обнимаю бесконечно дорогого и любимого. Спасибо. С Новым Годом.

Саша

Милый Боря, пожалуйста, поздравь от меня Твою маму и Сережу. Пожелай им всего самого лучшего.

110. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

31 <декабря 1905. Москва>

Милый, милый,

как мне Тебя благодарить за письмо. Оно меня так поразило. «Да, да — это о том» — хочу я сказать и радостно улыбаюсь. Сегодня весь день был в истерическом, нервном настроении; хотелось плакать от злости, от тех уколов, которые мне нанесли здесь в Москве. Кроме того: я отправил в «Весы» и «Золотое Руно» известие о том, что за деньги продается душа Андрея Белого, и в ответ тотчас же получил от С. А. Соколова спрос на душу с гарантией приблизительного ежемесячного гонорара за 50—75 рублей. От «Весов» еще не успел получить ответа, и потому я продался «Золотому Руну».

Буду главным образом работать на «Руно» и второстепенно на «Весы».

Милый, милый — и вот получаю Твое письмо и радостно предаюсь мыслям о Тебе.

Милый, вчера я сортировал Твои письма и все их перечел, и почувствовал к Тебе такую нежность, такую близость; захлебывался от избытка слов к Тебе, и потому-то не сумел ничего написать. Милый, Ясный — целую Тебя, с «Новым Годом». Счастья ясного, тишины неизреченной, снов несказанных!

Ты обещал мне написать про Твою жизнь. Милый, напиши когда-нибудь. Хочу знать о Тебе — ведь не даром Ты мне брат. Я это серьезно на всю жизнь принимаю.

Любящий Тебя восторженно и тихо

Боря

P. S. Мой привет и любовь и уважение Александре Андреевне. Ей буду писать скоро.

1906

III. БЛОК — БЕЛОМУ

3 янв[аря] 190[6]. * <Петербург>

Милый брат Боря,

я все ближе и ближе к Тебе, все больше понимаю все, что Тебя касается, и все нежней и заветней тебя люблю. Мне сейчас тоскливо. Только-что вернулся с большого собрания, где Факелы и Жупелы обсуждали свои театры. [1] Там я молчал, как всегда молчу, но выяснилось что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, «развивая стихотворение Балаганчик». [2] Все это строительство таких высоко культурных людей, как Вяч[еслав] Иванов, и высоко предприимчивых, как Георгий Чулков и... начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить что-то из меня операционным ножичком. Все это Ты знаешь гораздо лучше меня, потому я пишу Тебе, чтобы облегчить душу. Самое ужасное для меня (отчего и тоскую), что не умею быть самостоятельным. Уже я дал всем знакомым бесконечное число очков вперед, и они вправе думать, что я всей душой предан мистическому анархизму, я не умею опровергнуть этого и не умею выразить, особенно при публике. Напиши, надо ли мне высказаться по отношению к лицам, признающим меня за бунтаря и мистика? Ты-то знаешь, что это не так.—Вчера я был на минуту у Мережковских. Тата была проста, она скоро придет, а Зин[аида] Ник[олаевна] опять ломалась и литературничала.— Дм[итрия] С[ергеевича] не видел. Шапка его нашлась. [3]—Вчера я написал С. А. Полякову предложение издать мой сборник в «Скорпионе» и сотрудничать в «Весах» (стихами). Не надеюсь на его согласие. [4] Перевожу Байрона — единственная отрада.— Сегодня, из всего многолюдного собрания, мне понравился только Максим Горький [5], простой, кроткий, честный и грустный; я думаю, если бы около него не было такой гадости, как ***, он был бы еще лучше. Где-то в нем брежжит и «Максимка», а грусть его происходит во многом оттого, по-моему, что он весь захватан какими-то руками — полицейскими что ли?

Я получил вчера Твое письмо, спасибо Тебе, родной мой Боря. Потом я буду писать Тебе о себе много, я хочу, чтоб Ты знал обо мне много. Теперь еще не могу, потомучто сам не знаю всего, и буду стараться скорей узнавать — Ты мне бесконечно помог в этом, ужасно важном и для меня самого, деле. Пиши мне, милый, я уже не могу нормально существовать без Твоей поддержки от времени до времени. За эти дни, из приносимого почтальонами и мной из чужих квартир,— настоящими были только Твои письма. Милый мой, брат, обнимаю Тебя. Мне теперь гораздо лучше, стало тихо и опять бережно вокруг.

Твой брат Саша

* У Блока описка: «1905». — Ред.

[1] Факелы и Жупелы — группа сотрудников альманахов «Факелы» и сатирического журнала «Жупел» (выходившего в 1905—1906 гг. под редакцией художника и издателя З. Гржебина). В этом кругу в конце 1905-начале 1906 г. обсуждался проект организации театра под названием «Факелы». Инициатором этого дела был Г. Чулков, сплотивший вокруг своего проекта группу писателей и художников (Вяч. Иванов, Блок, В. Брюсов, А. Ремизов, Ф. Сологуб, А. Белый, К. Сомов, И. Билибин, М. Добужинский, И. Грабарь и др.); а труппу составить предполагалось в основном из актеров неосуществленного «Театра-студии» (который в 1905 г. предполагал организовать К. Станиславский и др.). Самая идея нового театра возникла на «средах» Вяч. Иванова, призывавшего к созданию культового театра «дионисова действа», который воскресил бы формы древних мистерий—с «разрушением рампы», с уничтожением зрительного зала и объединением актеров и зрителей в единый «хор мистов». Вяч. Иванов и Г. Чулков тесно связывали свой театральный проект с проповедью идей «соборности» и «мистического анархизма». Театр «Факелы» осуществлен не был.

[2] В конце 1905 г. Г. Чулков, имея в виду создание специального репертуара для будущего театра «Факелы», предложил Блоку разработать в драматической форме тему его небольшого стих-ия «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик»). Блок охотно принял это предложение и в короткий срок (к 23 января 1906 г.) написал свою первую «лирическую драму» — «Балаганчик» (см. Г. Чулков. К истории «Балаганчика» — «Культура театра» 1921, № 7-8; «Письма», стр. 131—132.

[3] В ночь на 29 декабря 1905 г. в квартире Вяч. Иванова, где происходило литературное собрание, полиция произвела обыск, в результате которого из прихожей пропало несколько шапок (см. «Золотое руно» 1906, № 1, стр. 133).

[4] Писем С. Полякова в архиве Блока не обнаружено. Предложение Блока издать в «Скорпионе» второй сборник его стихов («Нечаянная радость») и сотрудничать в «Весах» было принято.

[5] М. Горький, по словам Л. Андреева, «весьма сочувствовал Факелам» («Письма Л. Андреева к Г. И. Чулкову», Л., 1924, стр. 25). В письме Б. К. Пронина, приведенном в неопубликованных «Театральных воспоминаниях о Блоке» В. П. Веригиной (рукопись находится в Гос. литературном музее и будет напечатана в его «Летописях»), говорится, что организаторы «Факелов», стремясь привлечь на свою сторону М. Горького, вступили с ним в переговоры (см. также «Театр и искусство» 1906, № 9, стр. 189). 3 января 1906 г. М. Горький присутствовал на «литературном утре» у Вяч. Иванова, где о будущем театре докладывали Вяч. Иванов, Г. Чулков и Вс. Мейерхольд; к теоретическим установкам докладчиков он отнесся отрицательно (см. Б. Бялик. Горький в борьбе с театральной реакцией, Л.-М., 1938, стр. 82—83).

112. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<6 января 1906. Москва>[1]

Дорогой, милый брат,

пишу Тебе, единственному. Хочу сказать что-то нежное, нежное, а вместо этого что-то сжимает горло. Милый, как я понимаю грусть Твою и оставленность Твою, когда они хотят операционным ножечком выскоблить из души «им» нужное. Саша, скажу Тебе тайну: я ее давно, давно понял: все они — пауки, высасывают соки из души, я их всех боюсь, не верю им: верю простым милым людям, или людям, преданным науке и литературе, которым нет времени быть высоко предприимчивыми. Высоко культурные, предприимчивые люди — пауки или паразиты.

Но зная их ужас, зная, на что идешь, я бы позволил им собой распоряжаться. Зная, что они такое, становится легче: они не проведут, по крайней мере.

Их надо преодолеть изнутри, а не убегать от них извне. Вот все что я могу сказать Тебе о культурной предприимчивости.

Милый, мне жаль Тебя, потому что мне жаль себя — жаль нас, обреченных на паучьи наклонности окружающей литературной среды.

Я продался: к 10-му должен хоть треснуть, а представить фантастический рассказ, к 20-му цикл Сомовских стихов и длинную статью и т. д., и т. д. Чуть ли не плачу от жалости к себе и к Тебе. Милый люблю Тебя,— хочется тихо, тихо закрыть руками Твои глаза, чтобы

Ты заснул, уплыл в страну — отдохнул. Мы все отдыхаем: «Мы услышим ангелов, мы увидим небо в алмазах»... (Чехов).

Христос с Тобой, мой брат. Будь весел.

Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] В «Золотом руне» за 1906 г. (но значительно позже, в № 7—9) был помещен рассказ Белого «Куст» (помеченный 29 мая 1906 г.). Под «длинной статьей» имеется в виду, вероятно, «Мировая ектения» (о «Трилогии» Д. Мережковского) — в № 3, стр. 72 — 83. Цикл «сомовских стихов» в «Золотом руне» не появился.

113. БЛОК — БЕЛОМУ

8 янв[аря] <1906. Петербург>

Милый брат Боря.

Твое письмо (4-ое [1]) получил вчера, оно меня успокоило и утешило. Когда Ты со мной, мне мягко и нежно и хорошо жить. Сейчас немного беспокоюсь: завтра 9 января [2], до сих пор все было спокойно, как в те дни, когда Ты был у нас. Была мокрая метель. Я шел по набережной и по мосту в тихую ночь и сгребал толстый снег с перил пол-версты, потом отряхал со стриженных кустов.

Твое письмо пришло как раз тогда, когда я вернулся из долгих и томительных скитаний, и понимал о них все, как Ты пишешь. — Сегодня днем была Тата. Было хорошо и совсем просто. Она будет ходить рисовать меня [3], а потом, может быть, Любу.

Ты, Боря, не думай, что «продался». Продавшие себя не такие, как Ты. Ты — самый дорогой и самый нужный. Люблю Тебя и обнимаю крепко. Я буду стараться делать так, как Ты пишешь: преодолевать изнутри, а не убегать извне. Так совесть будет чище и будет особенно хорошо и легко одному думать и смотреть на снег.

Твой брат Саша

[1] Предыдущее письмо Белого, от 6 января, помечено им № 4.

[2] Годовщина «кровавого воскресенья» — 9 января 1905 г.

[3] См. известный портрет Блока работы Т. Гиппиус (Т а т а).

114. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<10 января 1906. Москва>[1]

Саша, милый мой брат,

грустно мне стало сейчас и горько. Обнаружилось сейчас, что близкие люди не любят меня. Хочется сказать, что я Тебя люблю, люблю. Больше нет слов. Такая полоса нашла. Завтра или послезавтра напишу. Милый брат, прости, что я пишу в таком «стихе».

Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

115. БЛОК — БЕЛОМУ

<14 или 15 января 1906. Петербург>[1]

БОРЕ

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Проплыла она и стала,

И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Межь двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.

Небо в зареве лиловом,
Свет лиловый — на снегах.
Словно мы — в пространстве новом,
Словно в новых временах.

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная мятель.

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна.
Скоро Финнского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,
И какие гаснут зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре.
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре.

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Молвит каждому: — Будь весел.
— За окном лежат снега.[2]

13 января 1906

Саша

[1] Датировано по связи с ответным письмом Белого.

[2] См. письмо Блока от 26 декабря 1905 г. (№ 103). Впервые это стих-ие было напечатано в альманахе «Корабли», СПБ, 1907, под заглавием «Брату», а в сборнике «Земля в снегу» (1908) — под заглавием «О несказанном» и с эпиграфом из Вл. Соловьева:

В царство времени все я не верю,
Силу сердца еще берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать «навсегда» не могу.

Смысл этого эпиграфа раскрывается, если учесть, что в 1908 г. Блок был в ссоре с Белым.— Строки «Словно мы в пространстве новом, Словно в новых временах» имеют своим источником «Симфонию» Белого: «Это будут новые времена и новые пространства» (стр. 141). Под «сестрой» в стихах имеется в виду Л. Д. Блок. — См. об этом стих-ии в мемуарах Белого: «Записки мечтателей», № 6, стр. 52; «Эпопея», № 1, стр. 205 и № 3, стр. 141—142.

116. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

17 <января 1906. Москва>

Милый брат,

дорогое, нежное, прекрасное дыхание Твоего стихотворения, посвященного мне, радостно осветило мне 2 дня. Вместо утомления (у меня было много дел) чувствовалась легкая радость. За что мне такое счастье, что у меня есть *такой* брат и *такая* сестра?

Милый Саша, чувствую себя незаслуженно счастливым. На дворе снежная буря. В зорях — весна. В замыслах — полет. И это от Твоего стихотворения. Милый брат, Ясный Ты. Знаешь ли, я должно быть поеду за границу на 2 года и отъезд преисполнил сердце мое легкострунной грустью оттого, что буду вдали от тех, кого я люблю. Но хочу работать: в России работать нельзя, в Москве по крайней мере невозможно: в Москве я разучился ходить один по улице: точно в клубе встречаешь потоки знакомых. Не преувеличивая, иногда хочется крикнуть с отчаяния, что у меня пол Москвы добрых знакомых, зазывающих к себе в гости; вчера на улице по крайней мере раз двенадцать приходилось умоляюще складывать руки и кричать. «На-днях приду, приду!»... В такой атмосфере остается одно: погибнуть. Я удивляюсь, что у нас в России не уважают чужое раздумье и труд. Работать означает одно: ходить в должность: это уважается, прочее же все игнорируется.

Милый брат, и вот среди ненужных гор радостное дыхание Твоего письма. И потянуло на Финский залив, и потянуло к Тебе, в безмолвие, в неизреченность.

Прости убогость письма: мне приходится ежедневно вытряхивать из себя такой запас нервной энергии, что в голове остается пустота, и самые нежные чувства складываются в самые банальные формы речи. Одно скажу: все сильней Тебя люблю.

Боря

117. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Между 17 и 23 января 1906. Москва>[1]

Милый брат.

Ласковая волна прилетела. Плеснуло в лицо Финским Заливом — морем.

Ты был в лодке. Ты указывал веслом на зорю: зоря было золотая. От весла капали смоляные, искрящиеся капли. Сильными движениями рук Ты оттолкнулся веслами, когда я прыгнул в лодку с края земли. У меня закружилась голова. Я лежал на дне лодки. Было приятно и радостно видеть оттуда Твой четкий профиль, обложенный золотом. Это было золото зори. Ты указывал путь. Было уютно в лодке с Тобой, милый, милый брат. Это все я как бы увидел, и захотелось Тебя обнять — обнять и поцеловать. Море было беспредельное и такое знакомое, сонное.

Потом мы увидели ходящую по водам. Сейчас я не знаю, видел или не видел я такой сон; но я знаю, что у меня есть любимый брат. Какой я счастливый!

Боря

[1] Датировано по связи с предыдущим и следующим письмами.

118. БЛОК — БЕЛОМУ

24 января 1906. <Петербург>

Милый брат Боря.

Крепко целую Тебя за два последние письма. Пишу Тебе мало. Происходили бесчисленные события — собрания у Вяч[еслава] Иванова и Сологуба, приезд Брюсова (он приходил к нам, и несколько раз мы виделись; я изумился его кротости на этот раз!). Я написал балаган для Факелов, кажется его будут играть на маслянице. [1] Начинаю опять

уставать, а одно время — отдохнул. Буду в «Весах» (стихи). Таким образом, все это время я был на сквознике.

Думаю, что хорошо Тебе ехать к Риккерту. Это — спасение от русских столиц. Тебе надо отдохнуть.

Крепко целую и обнимаю Тебя. Приезжай.

Твой брат
Саша

[1] См. прим. 2-е к письму № 111. Из неизданного письма Г. Чулкова к Блоку от 20 января 1906 г. выясняется, что Вс. Мейерхольд предполагал самостоятельно поставить «Балаганчик» в начале февраля 1906 г., но этот проект осуществлен не был.

119. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<26 января 1906. Москва>[1]

Саша, милый,

спасибо за письмо. Не писал Тебе эти дни. Был болен. Теперь, кажется, поправляюсь. Саша, мне очень хотелось бы быть на первом представлении «Балаганчика», очень хотелось бы. Напиши точно число, когда он пойдет. Тогда я соразмерю свое время, а то у меня в Москве есть и дела, и просто так (хотелось бы посмотреть на приезжих танцовщиц[2]).

Дорогой брат, с какой несказанной радостью я увижу Тебя. Я Тебя так полюбил, так люблю.

Ведь к Тебе, Любови Дмитриевне, Александре Андреевне и Сереже у меня совсем «особое» чувство и притом такое, какого никогда решительно *ни к кому** не было, да потом еще, пожалуй, к Э. К. Метнеру в самой слабой степени. Родная близость, благодарность и любовь, которую испытываю к Мережковским *все еще** далеко не то. Тут что-то совсем особенное.

До скорого свидания, милый.

Письмо Твое со стихами[3] наполнило мне душу сладкою трелью. Стихи твои удивительны.

Любящий Тебя очень, очень
Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока.
[2] Имеются в виду гастроли танцовщицы Артемис Колонны.
[3] Вероятно, имеется в виду письмо № 115 со стих-ием «Милый брат! Завечерело», так как никаких других стихов в дошедших до нас письмах Блока за это время не имеется.

120. БЛОК — БЕЛОМУ

28 янв[аря] <1906. Петербург>

Милый Боря.

Спасибо Тебе за то, как Ты нас всех любишь. Твоя любовь очень нужна нам. Ты ведь знаешь, что и Ты — единственный и особенный для всех нас. Мама так радуется, получая Твои письма.

Ты спрашиваешь о представлении «Балаганчика». Его теперь не будет. Чулков по обыкновению все это рассказывал преждевременно, а теперь оказывается, что и «Факелы» осуществятся не раньше осени (почти наверно). Но все-таки я опять чувствую симпатию к Чулкову — он милый и смешной, хотя и бывает неприятен. Последние дни, впрочем, приближается одиночество. Как-то мысленно блуждая по душам, вижу всюду сопротивление и озлобленность, или нарочитость. Теперь опять

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

страдаю от этого мало, потомучто храню в себе легкость. Но, когда покидает легкость, становится труднее. Между прочим, меня спасает постоянная работа, или, по крайней мере, возможность работы. От этого в самом лучшем смысле забываю себя. Все не могу собраться к Мережковским по-настоящему, отчасти занят, а отчасти — опять разно думаю о них. Я люблю их, но мне часто начинает казаться, что они — ужасные келейники, и потому в них мало легкости и потому же они преследуют келейность, которая чудится им в других. Это чувство пошло у меня в ход с тех пор, как я узнал ближе Тату и Нату. Тата приходит и рисует.[1] Я думаю, при этом со стороны есть что-то смешное и недоговоренное — в общении всех нас с Татой и Таты с нами. Но до сих пор не знаю, что из этого выйдет. А я все на бо́льшее готов, чем до́льше живу. Будет всем нам в будущем хорошо. Приезжай к нам, как пишешь. Люблю Тебя.

Твой брат Саша

[1] См. прим. 3-е к письму № 113.

121. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало февраля 1906 Москва>[1]

Саша, милый,

сегодня Ты так близко от меня. Сегодня нота Твоя звучит, звучит. Сегодня я счастлив и радостен. Милый, хочу видеть Тебя. Скоро увидимся.

Был у меня Брюсов. Многое обсуждали мы: между прочим после длинных обсуждений «Весы» решились бойкотировать «мистический анархизм» (это между нами). В[алерий] Я[ковлевич] просил меня передать Тебе, что «Скорпион» с радостью издаст Твой сборник в первой же очереди. Просит к пасхе приготовить книгу, а после пасхи начнется печатание и пр., чтобы к осени вышла книга. Об условиях печатания Брюсов просил меня передать Тебе лично. В Петербурге передам. Пока прощай. Любящий Тебя нежно.

Боря

P. S. В[алерий] Я[ковлевич] передал мне, что Ты и Любовь Дмитриевна утешили его очень в Петербурге (Вы — самое отрадное, что он встретил в Петербурге).

[1] Датировано по связи с предыдущими письмами.

122. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Первая половина февраля 1906. Москва>[1]

Милый брат Саша,

на-днях поеду в Петербург. Хочу проститься с Мережковскими[2] и главное повидать Тебя, Любовь Дмитриевну и Александру Андреевну. Прочел и оценил Твою статью[3], хотя для вкусности хотелось бы мне и написать возражение. Ты в этой статье занял очень для Тебя вкусное положение. Мне для вкусности одно время захотелось поспорить. Твое стихотворение «Влюбленность»[4] — замечательно. Я только теперь оценил его по достоинству.[5]

Милый брат, хочется нежно поцеловать Тебя, потому что сердце у меня цветет и радуется на Тебя, на Любовь Дмитриевну. Есть у меня сестра и брат. Какое счастье.

Милый, никогда не забывай меня: мы очень тесно связаны. Мне это так ясно, так ясно теперь, сейчас, когда небо такое голубое и нежное. Сегодня буду смотреть танцовщицу.[6] Милый, милый, весна опять, опять приближается весна. Что мне делать с моим восторгнутым сердцем?

Твой Боря

P. S. Дорогой Саша, если в Пет[ербурге] будет Колонна, то возьми для меня билет, если концерт объявлен после 15-го.

[1] Датировано по связи с предыдущими письмами.
[2] Мережковские собирались уезжать в Париж.
[3] «Краски и слова» — в «Золотом руне» 1906, № 1 (перепечатано в «Собр. соч.», т. IX, стр. 53—57).
[4] Было напечатано в «Золотом руне» 1906, № 1.
[5] Блок послал Белому стих-ие «Влюбленность» в письме от 2 октября 1905 г. (№ 95).
[6] Имеются в виду гастроли Артемис Колонны (см. заметку С. Соловьева «Артемис Колонна в Москве» — «Весы», 1906, № 2, стр. 65—66).

123. БЛОК — БЕЛОМУ

<Первая половина февраля 1906. Петербург>[1]

Боря, милый брат.

Приезжай; я нежно люблю Тебя и рад Тебя видеть. На-днях я узнал наверно, что весна началась. Необычайное веселье сопровождало это узнавание. Но вообще — грустно. Получив «Золотое Руно», я стал Каннитферштаном. Я ничего не прочел там, кроме стихов. Твоей мистерии[2] не прочел. Не смущайся моей статьей[3], я от нее не отказываюсь, но не узнаю ее на этой бумаге, и нахожусь с ней в светских и холодных отношениях. Артемис Колонна уезжает от нас после четверга, мы ее так и не видали, и с Тобой видеть ее не удастся. Ты расскажи. Лучше не буду Тебе писать сейчас много, скоро приедешь и мы поговорим. Крепко целую Тебя и жду.[4]

Твой брат Саша

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом и по упоминанию об отъезде Артемис Колонны (четверг приходился на 16 февраля).
[2] «Пасть ночи (отрывок из задуманной мистерии)» — «Золотое руно» 1906, № 1. стр. 62—71.
[3] «Краски и слова» (см. прим. 3-е к письму № 122).
[4] Белый приехал в Петербург между 15 и 17 февраля. Об этой поездке он рассказал в мемуарах («Эпопея», № 3, стр. 125—168; «Омут», стр. 74—79).

124. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<18 февраля 1906. Петербург>[1]

Саша, брат милый,

опять я в страхе. Но страх пройдет. Опять у Мережковских пугался, когда был Бердяев. Но это ничего, ничего. Я во сне. Нервы у меня пошатнулись: мне трудно.

Прости мой опустошенный вид, пустые слова мои. Они не от меня а от нервности.

Люблю Тебя, милый, сильный и сильный. Ты ясный, ясный, все просветляющийся.

Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока.

125. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<15 марта 1906. Москва>[1]

Милый Саша,

пишу Тебе несколько строк. Люблю Тебя. Господь да хранит Тебя, милый. Вчера весь вечер читал стихи о «Прекрасной Даме». Было тихо, грустно и ясно — незабвенно. Саша, если будет время, напиши мне хотя бы 2, 3 строчки. Как экзамены?

Любящий Тебя нежно
Борис Бугаев

[1] Датировано на основании пометы Блока.

126. БЛОК — БЕЛОМУ

18 марта 1906. <Петербург>

Милый Боря.

Я знаю, что люблю Тебя, как брата.

Экзамены будут еще и в апреле, ни о чем не в состоянии думать, кроме них. Ужасно устаю. Получил 5 отметок (только две — весьма), остается еще четыре, очень трудных.

Обнимаю Тебя крепко. Люблю Тебя.

Твой брат Саша

127. БЛОК — БЕЛОМУ

4 апреля <1906. Петербург>

Боря милый.

Сегодня пришла Твоя телеграмма[1], я не отвечал, потомучто Люба вчера написала, верно Ты получил. Я ужасно плохо себе чувствую от экзамена. У Любы несколько ужь дней сильный жар, она лежит, повидимому инфлуэнца. Гюнтер просил передать Тебе, что он послезавтра или еще днем позже будет в Москве. Он—очень хороший. Люблю Тебя.

Твой Саша

[1] Среди писем Белого не обнаружена. Очевидно, Белый телеграфировал о своем скором приезде в Петербург.

128. БЛОК — БЕЛОМУ

6 апреля <1906. Петербург>

Милый Боря.

Не приезжай пока ни в каком случае. Я тебе напишу, когда. Люба лежит, ей надо совсем не говорить и быть как можно спокойнее. Она просто простудилась и бронхит. У меня самый трудный экзамен.

Твой Саша

129. БЛОК — БЕЛОМУ

9 апреля 1906. <Петербург>

Боря.

Пишу Тебе сейчас искренно, как думаю и себе верю. Я очень люблю мою маму и теперь окончательно чувствую, что Ты оскорбляешь ее незаслуженно. От того, что Ты адресовал письма к Любе — маме,— мне очень грустно. По моему определенному мнению это очень нехорошо. Ты принимаешь маму не за то, что она есть. Ты можешь мне не верить, но

больше не пиши так маме и не подозревай ее в том, в чем она не виновата. То, что Ты написал, показывает не только нелюбовь, но и недоброту к маме.[1]

Саша

[1] Об этом эпизоде см. в мемуарах Белого («Эпопея», № 3, стр. 169; «Омут», стр. 79); письма Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух и Л. Д. Блок неизвестны.

130. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<10 или 11 апреля 1906. Москва>[1]

Саша,

родной, милый, люблю Тебя вечно, нежно, с болью. Да, я не хорошо поступил. Да, я виноват перед Александрой Андреевной, но я не могу извиняться или раскаиваться, потому что ничего не понимаю, потому что боль и душевное расстройство застилают мне глаза. Я болен, болен. Я теперь чуть ли не на крик кричу. Что делал, не понимал. Послал открытки в трансе. Я люблю и уважаю Александру Андреевну. Я не хотел, видит бог, оскорбить ее. Но что же вышло? Вышло, что я оскорбил. Если да, разве я могу тут извиняться, разве я понимаю, как это вышло. Скажи это Александре Андреевне. Я болен, нервно расстроен, убит. Нервы у меня ослабели, все во мне крик и надрыв. Все — безумие во мне.

Но Тебя, милый, бесценный брат мой,— Тебя я нежно люблю. Никогда не перестану любить. Скажи, любишь ли Ты еще меня, и что мне делать: как мне сказать Александре Андреевне? Я ничего, ничего не знаю: я только безмерно устал и безмерно потерял равновесие.

Люблю, люблю Тебя. Боря

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом. Следующие три письма Белого (два от апреля — мая и одно от 5 мая 1906 г.) опущены. В апреле Белый жил в Петербурге; о его напряженных отношениях с Блоком в это время см. «Эпопея», № 3, стр. 169—174; «Омут», стр. 79—81.

131. БЛОК — БЕЛОМУ

22 мая 1906. Шахматово

Милый Боря.

Очень нехорошо, если моя рецензия о «Своб[одной] Совести» была хоть отчасти причиной Твоего ухода оттуда. Конечно они совершенно правы, не взяв моих стихов. Рецензия могла бы быть написана (если ужь нужно мне было ее писать) хоть более литературно, а я написал желчно и хулигански. Действительную вину чувствую перед Григорием Алексеевичем и Кобылинским, чувствую, что своими темными наклонностями обидел хороших и достойных всякого уважения людей. В случае, если когда-нибудь зайдет об этом речь с кем-нибудь из них, прошу Тебя передать им, что я чувствую себя действительно виноватым и впредь буду, если случится, выражать свои мнения более порядочным тоном.[1]

Живу очень тихо. Дождик идет. Отдыхаю от экзамена. Обрабатываю сад и читаю, но не пишу.

Твой Саша

[1] Резкая рецензия Блока о «литературно-философском» сборнике «Свободная совесть», кн. I (М, 1905) была напечатана в «Весах» 1906, № 2 (перепечатана в «Собр. соч.», т. X, стр. 277—282). Г. Рачинский и Эллис (Л. Кобылинский) принимали, наряду с П. Астровым, ближайшее участие в издании этого сборника, впоследствии охарактеризованного Белым как «тупейший, ничтожнейший» («Омут», стр. 465). Сам Белый поместил в двух книгах «Свободной совести» ряд стих-ий, рассказ «Мы ждем

КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

«Что снится иногда врагам великого человека»

(В. Брюсов и А. Белый)

Государственный Литературный музей, Москва



КАРИКАТУРА А. БЕЛОГО НА В. БРЮСОВА

(В. Брюсов и А. Белый)

Карикатура иллюстрирует следующие строки стихотворения В. Брюсова «Бальдеру Локи»:

Светлый Бальдер! Мне навстречу
Ты, как солнце, взносишь лик...
На тебя, о златокудрый,
Лук волшебный наведен.

Государственный Литературный музей, Москва



Милому брату
въ знакъ дружбы и не-
рушимой связи.
3 дек. 06 года. Борисъ Бугаевъ.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Фотография 1906 г. (Мюнхен) с дарственной надписью Александру Блоку: «Милому брату в знак дружбы и нерушимой связи. 3 дек. 06 года. Борис Бугаев»

Институт литературы Академии Наук СССР, Ленинград

132. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

26 <мая>* [19]06. <Дедово>

Милый Саша,

очень рад получить от Тебя письмо. Мне ужасно совестно, что Ты придаешь такое значение Твоей рецензии. «Св[ободная] Сов[есть]» — учреждение нестерпимое. И я все равно ушел бы оттуда. Ненапечатание Твоих стихов — капля в море всяких других несообразностей Астрова. Между прочим на-днях в Дедове был Кобылинский. Он нисколько на Тебя не обижен; наоборот: он питает к Тебе самые искренние симпатии. И это не слова только. Как раз с его приездом выяснились некоторые самовольные поступки Астрова (его постоянная ложь и даже превышение полномочий). Поэтому мы все втроем (я, Сережа и Лева) написали укоризненное письмо Астрову. Сережа и Кобылинский тоже выходят из «Св[ободной] Сов[ести]», потому что Астров без нашего ведома издал одну отвратительную книжечку, пользуясь маркой «Св[ободной] Сов[ести]». Между прочим я написал рецензию об этой книге, перед которой Твоя — образец корректности. [2]

Пиши мне иногда. Я всегда так рад получать от Тебя вести. Живу очень тревожно. Нервы шалят. Стараюсь уйти всецело в созерцание красот природы и местоположения.

Остаюсь любящий Тебя

Твой Боря

[1] Имеется в виду книжка проф. П. Знаменского «Православие и современная жизнь». Изд. «Свободная совесть», М., 1906. Резко отрицательная рецензия Белого об этой книжке, «единственный интерес которой заключается в неприличных семинарских выходках против революционного движения», — была помещена в «Золотом руне» 1906, № 6, стр. 100—101.

133. БЛОК — БЕЛОМУ

9 августа 1906. Шахматово

Боря!

Сборник «Нечаянная Радость» я хотел посвятить Тебе, как прошедшее. Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя. Только потому не посвящаю Тебе этой книги. [1]

Ал. Блок

[1] 8 августа (дата установлена по неизданному дневнику М. А. Бекетовой) А. А. и Л. Д. Блоки приехали на один день в Москву для объяснения с Белым. Среди писем Блока к Белому сохранились две недатированные записки, относящиеся к этой поездке в Москву:

«Приехали говорить, сейчас возьмем комнату по близости и пришлем за Тобой»,

«Боря, приходи сейчас же в ресторан Прагу. Мы ждем. Саша».

Рассказ Белого о его свидании с Блоками в ресторане «Прага» см. в «Эпопее», № 3, стр. 185 — 186 и в «Омуте», стр. 89 — 90.

134. БЛОК — БЕЛОМУ

12 августа 1906. <Шахматово>

Боря, милый!

Прочтя Твое письмо [1], я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе, или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было

---

* У Белого описка: «апреля», исправленная Блоком.— Ред.

для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня будто и нет. По всей вероятности,— чем беспокойнее Ты,— тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что в е р ю с е б е в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. [2] Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в П[етер]б[ур]г, — и лучше р е ш и т е л ь н о д л я в с е х н а с.

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько нужно, чтобы у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах — только больное и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря, милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать», и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать — и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: *не* посвящаю ее Тебе; во-первых, потому, что не вижу теперь — «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения стали глубже и они не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где ты», и посвящение было бы внешним.[3]

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и без лжи. Крепко целую Тебя.

Твой Саша

[1] Опущены два письма Белого: одно — недатированное — от 9 или 10 августа, другое — от 10 августа.

[2] 10 августа 1906 г. Белый вызвал Блока на дуэль. Письменный вызов его (до нас не дошедший) передал Блоку Эллис, ездивший для того в Шахматово. В результате переговоров Эллиса с Блоком вопрос о дуэли отпал (см. «Эпопея», № 3, стр. 188—190; «Омут», стр. 92).

[3] В опущенном ответном письме от 13 августа Белый писал: «Действительно лучше, что Ты отменил посвящение мне Твоей книги».

135. БЕЛЫЙ — БЛОКУ [1]

<18 августа 1906. Москва>[2]

«Багряницу несут
„И ч е т ы р е к о л ю ч и х в е н ц а“.

(А. Белый—Блоку)[3]

Дорогой Саша!

Я могу теперь писать только изваянные слова. Поэтому воздержусь от ответа, пока Ты не скажешь мне, писал ли Ты *до*, или п о с л е получения моей клятвы.[4] Э т о мне важно знать, чтобы мочь ответить от ч и с т о г о с е р д ц а.

С нетерпением жду только одного слова — *до* или п о с л е.

Получив ответ, сейчас же отвечаю *на все.* *

Любящий Тебя
Боря

[1] Это письмо не было вскрыто Блоком. Белый адресовал его в Петербург, тогда как Блок в это время был еще в Шахматове.

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

[2] Дата почтового штемпеля.
[3] См. «Золото в лазури», стр. 245 и стр. 55 наст. издания.
[4] Имеются в виду письма Блока от 9 и 12 августа и опущенное письмо Белого от 10 августа.

136. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

20 августа 1906. <Москва>

Саша,

до 25-го жду Твоего ответа на просьбу разъяснить Твои письма от 9-го и 12-го августа. Если до 25-го не получу ответа, сочту долгом ответить Тебе без Твоих разъяснений по моему крайнему разумению.

Твой Борис Бугаев

137. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<21 (?) августа 1906. Москва>[1]

Дорогой Саша,

буду в Петербурге утром 23-го. Безумно хочу сериозно с Тобой говорить. Жду Тебя вечером у Палкина чай пить (часов в 8). Не могу быть у Тебя до разговора с Тобой. Я чувствую себя настоящим с Тобой не у Тебя, а где угодно: в ресторане, в Москве, в Киеве. У тебя я — не я. Ты не откажешь мне в свидании. Я могу свести его до minimum'а: но, милый, будь в 8 часов у Палкина. Жду. Если не можешь, извести до 8 часов. Адрес: С.-Петербург. Угол Невского и Караванной. Мебл[ированные] комнаты Париж.

любящий Тебя глубоко

Боря

P. S. Любови Дмитриевне мой привет и уважение.
Si tu ne me trouve pas, alors je suis arreté.

B. Bougaieff *

[1] Условно датировано по упоминанию о дне приезда в Петербург. Об этой поездке см. в мемуарах Белого («Эпопея», № 3, стр. 190—195; «Омут», стр. 93—100).

138. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 августа 1906. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Я в Петербурге. Хочу не ** мешать Тебе. Когда могу видеть. Могу ли сегодня?

Остаюсь любящий Тебя всегда

Боря

[1] Датировано на том же основании, что и предыдущее письмо.

139. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

23 августа [19]06. <Петербург>

Саша, бесконечно милый, бесконечно ценный мне друг,

прости, прости, прости! Я глубоко виноват. Я позволил мареву, выросшему из долгих часов уединенной тревоги, овладеть собою. Я позволил себе заслонить Твой образ. Верь, что только бессмыслица и непонимание Твоих хороших слов, которые казались мне совсем нехорошими, заставило меня с отчаяния отвлечься от Тебя и стать на формальную, пустую, истерическую точку зрения. Это ужасно: как мало людей, нет людей, не на ком остановиться; я чувствовал, что теряю единственное, последнее, незабываемое. Кроме того: мне показалось, что Ты не

---

* Если ты меня не застанешь, значит я арестован. Б. Бугаев.
** Подчеркнуто дважды.— Ред.

понимаешь моих поступков с обидной мне точки зрения: я разучился в продолжение последних месяцев ужаса и кошмара ясно видеть и ясно слышать. И вот с отчаяния я решил, что только, когда я пойду под выстрелы, я сумею доказать, что я не то, что Ты обо мне можешь думать. Меня преследовал кошмар, что я могу иметь превратный вид, что у меня не лицо человека, а мертвая рожа.

И вот все вместе создало путаницу: мне казалось, что только трагедия очистит мрак, сгустившийся над моей головой.

Но я ошибся, прости бесценный друг, прости, прости! Я постараюсь своим будущим поведением относительно Тебя загладить ужас своих кошмарных подозрений и заслужить Твою ясность. Сейчас я даже не умею выразить чувств нежности и расположения к Тебе, которые меня охватили. Напиши мне сейчас же, сможешь ли Ты меня простить.

Остаюсь любящий Тебя

Боря

Целую Тебя!

140. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<28 августа 1906. Петербург>[1]

Милый, глубокоуважаемый и близкий душе моей Саша,

я не знаю, получил ли Ты мое заказное письмо.[2] *Но* еще раз прошу у Тебя прощения. Дуэль, которую я хотел предложить Тебе, вытекала не из личного чувства неприязни, а из полного недоумения, непонимания ни себя, ни Тебя, ни всего окружающего. Я запутался: марево привалилось к очам — все закрыло: и в этом облаке мрака я ощущал невидимого, старинного, всю жизнь стерегущего меня врага. Я знал, что марево рассеется только от личных отношений, а не литературных, письменных, а Вы все противились моему переезду. Тут я увидел что-то провиденциально злое, и мне хотелось погибнуть лучше (я конечно не стал бы в Тебя стрелять), чем оставаться навсегда при ужасе. Вот как появилась моя клятва, в которой я видел единственное средство мирным путем спасти что-то огромное, дорогое и незабвенное в себе. Прости, прости, прости меня: я никогда не питал зла лично к Тебе, а только к силам, которые иногда, мне казалось, становились у Тебя за плечами и действовали непроизвольно против святыни моей души. Все это марево: всеми силами души постараюсь развеять его. А это невозможно на расстоянии. Не сердись на мой приезд. Почти на коленях я прошу снисхождения. Я так устал, так безумно устал. Прости — усталость моя во мне говорила, когда я так грубо отнесся к Твоему такому хорошему, такому ласковому письму. Милый брат, можешь ли Ты меня простить?

Любящий Тебя

Твой Боря

P. S. Мой адрес. Меблированный дом «Париж», № 20. Караванная улица. Угол Невского проспекта № 28—66 (вход с Караванной).

[1] Датировано на основании пометы Блока.
[2] Имеется в виду предыдущее письмо от 23 августа.

141. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{\text{23 ноября}}{\text{6 декабря}}$ 1906. Париж>[1]

Милый Саша! Верь или не верь, а я Тебя люблю. Или если не любовь, то нечто большее между нами. Во всяком случае отношения наши не могут оборваться так тупо, без одного разговора с глазу

на глаз, важного, как жизнь. Этот разговор только имеет косвенное отношение ко всему, что случилось между нами. Центр его в другом. Ты не можешь уклониться от него, как и я не могу не говорить с Тобой в последнем обнажении правды. Этого обнажения в *последней правде не было между нами* *. Оттого, быть может, в моем отношении к Тебе было так много лжи. Но одного не было: не было злонамеренности. То, что мне писала Л[юба] о «Кусте»[2] — ложь. Я это отрицаю и потому не считаю себя причастным неправде здесь. Неправда моя к Тебе совсем в другом, как и Твоя неправда ко мне от нашей немоты друг перед другом в последнем обнажении. Этой немоты не должно быть между людьми. Когда я приеду, мы будем говорить. Я не знаю, буду ли я говорить с другом, или врагом, но с Тобой будет говорить только друг. Прощай. Если не хочешь, не пиши. Прими это уведомление, как начало моего сериозного поворота к Тебе в дружбе вне всего побочного между нами. Ты не можешь обрывать со мной все, потому что в противном так обрывать мог бы провалившийся и погибший без возврата. Я не верю и не хочу верить ничьей гибели. Хочу света. Верю, хоть тяжело.

Б. Б.

P. S. Посылаю Тебе свою карточку в знак примирения.[3] Надеюсь на ответную в знак начала Твоего ко мне прим[ирения].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] «Куст» — рассказ Белого («Золотое руно» 1906, № 7—9, стр. 129—135). См. об этом рассказе у Белого в книге «Омут», стр. 138.

[3] На этой фотографической карточке (воспроизведенной в настоящем издании) имеется следующая надпись Белого:

«Милому брату в знак дружбы и нерушимой связи. 3 дек[абря 19]06 года. Борис Бугаев».

Другая надпись — на обороте:

«Жду очень „Нечаянной радости". Хочу писать о Тебе».

142. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<24 ноября> / 7 декабря 1906. Париж

А. А. БЛОКУ

Я помню — мне в да́ли холодной
Твой ясный светил ореол,
Когда ты дорогой свободной —
Дорогой негаснущей шел.

Былого восторга не стало.
Все скрылось: прошло — отошло.
Восторгом в ночи пропылало
Мое огневое чело.

И мы потухали, как свечи,
Как в ночь опускался закат.
Забыл ли ты прежние речи,
Мой странный, таинственный брат?

Ты видишь — в пространствах бескрайных
Сокрыта заветная цель.
Но в пытках, но в ужасах тайных
Ты брата забудешь: — ужель?

Тебе ль ничего я не значу?
И мне ль ты противник и враг?

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

Ты видишь — зову я и плачу.
Ты видишь — я беден и наг.

Но, милый, не верю в потерю:
Не гаснет бескрайняя высь.
Молчанью не верю, не верю.
Не верю — и жду: отзовись.

Боря

Мой адрес. France. Paris. Passy (XVI). Rue du Ranelagh № 99.

[1] Это стих-ие напечатано Белым не было и публикуется здесь впервые.

143. БЛОК — БЕЛОМУ

6 декабря <1906>. Петербург
Пет[ербургская] ст[орона]. Лахтинская 3, кв. 44.

Боря.

Я получил и письмо и фотографию и стихи, но не отвечал тебе отчасти потому, что уезжал в Москву на конкурс Зол[отого] Руна. [1] Главное, впрочем, не мог тогда ответить, потомучто не достаточно просто относился. Теперь — проще, и могу писать, но постараюсь писать меньше, чтобы не было неправды. И, конечно, прежде всего, только за себя одного. При теперешних условиях, когда все и всюду запутано, самое большое мое желание быть самим собой. Так вот ты знаешь, что я не враг тебе сейчас и что о «Кусте» я совсем не думал и не думаю и не могу обижаться. Ты пишешь по-моему очень верно, что ложь в наших отношениях была и что она происходила от немоты. Тем более необходимо теперь, когда мы оба узнали, что ложь была, всячески уходить от нее. И это, очевидно для меня,— единственный долг в наших отношениях с тобой. Ты же пишешь принципиально, что «немоты не должно быть между людьми». Я могу исходить только из себя, а не из принципа, как бы он ни был высок. Потому говорю тебе: сейчас я думаю, что я ниже этого принципа, и, если и могу нарушить свою немоту по отнош[ению] к тебе, то только до изв[естной] степени, но не до конца. Если я позволю себе это относительное нарушение немоты,— опять будет ложь. Почему не могу до конца, ты знаешь: преимущественно от моего свойства (которое я в себе люблю): мне бесконечно легче уйти от любого человека, чем придти к нему. Уйти я могу в одно мгновение, подходить мне надо очень долго и мучительно; теперь во мне нет мучительного по отнош[ению] к тебе, и потому еще нет путей. Навязывать себе какие бы то ни было пути я ни за что не стану, тем более в таких случаях, как наш; важность его я знаю очень хорошо и не могу не знать: не было бы всего, что было, если бы было не важно.

Теперь: если я еще не могу идти навстречу тебе и говорю тебе об этом, — то также не чувствую, что ты идешь мне навстречу. То, что ты пишешь, — и карточка и стихи и письмо, — я думаю, не полная правда, потому, что ты говоришь, например, в письме о примирении, а в стихах: «Не гаснет бескрайняя высь». Для меня вопрос дальше примирения, потомучто мы еще до знакомства были за чертой вражды и мира. А «бескрайняя высь» все-таки — стихи. И из всего остального — из слов и лица на фотогр[афической] карточке — я не вижу в тебе того, кого могу сейчас принять в свою душу. Для себя я и в этом еще вижу неправду, или, говоря твоим словом, еще не знаю твоего имени.

Но ведь, раз это важно, узнаю. Все, что необходимо, случится. Ты видишь, как я теперь пишу тебе, стараясь быть как можно элементарнее суше и проще. Как же нам теперь говорить? Говорить всегда возможно

но нужно ли всегда? Я не понимаю твоего слова «обрывать», это совсем не то слово. «Обрывают» только те, кто заинтересован или увлечен друг другом. А я глубоко верю, что мы были дальше этого.

Если хочешь, можно и говорить, но думаю, что полной правды не выйдет и что немота еще есть. Я же не боюсь такой неправды и <не> очень склонен ее забывать скоро. Думаю только, что именно теперь нам особенно должно было бы избегать лжи. Если хочешь, будем писать друг другу, но только тогда, когда есть полная внутренняя возможность, как сейчас у меня. Знай только, что не «сержусь», не «обижаюсь», не могу говорить о «примирении». Совершенно могу так же, как ты, прислать карточку (только у меня нет теперь) и написать стихи тебе. Но для меня это еще не настоящее. И вот сейчас я тебя люблю так же, как любил, но и это еще не то.

Конечно, пришлю тебе «Неч[аянную] Радость», когда она выйдет. Пожалуйста, пиши мне «ты» с маленькой буквы, я думаю, так лучше.

Ал. Блок

[1] Блок входил в состав жюри объявленного редакцией «Золотого руна» конкурса литературных и живописных произведений на тему «Дьявол»; 2—4 декабря 1906 г. он участвовал в присуждении премий.

144. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<15>/28 декабря <1906>. Париж

Дорогой Саша!

Письмо Твое получил. Сначала было смутно. Оценил тон Твоего письма — хороший, верный. Это порадовало. Показало мне, что мы можем писать друг другу. Не понравилось только то, что Ты, кажется мне, не вполне почувствовал, с чем я Тебе пишу. Обратил внимание больше на форму моих случайно набросанных слов, нежели на мотивы моего обращения к Тебе. Ведь и открытка, и стихи, и карточка только предлог обратиться к Тебе. Согласись, я не знал, как Ты смотришь во внешнем на наши отношения: о сущности их я не сомневался. Я знал, что есть, должна быть вечная точка этих отношений. Следовательно, ни Ты, ни я не можем никак не относиться: а молчать, не переписываться, значит утверждать ничто, значит позволить торжествовать бессмыслице. А чем больше дать воли ничему, тем тяжелее, запутанней будет в будущем. А что это будущее будет, ручательством тому хотя бы Твои же слова: «до знакомства были за чертой вражды и мира». Но об этом потом.

Итак чувство радости несколько парализовалось во мне тем, что мне показалось, будто Ты слишком психологически отнесся к карточке, стихам и пр.... А все это было очень просто: что имел под руками, то и послал.

Но потом понял, что Ты не мог бы отнестись к моему письму совсем просто. Может быть потом отнесешься иначе.

Во всяком случае спасибо за ответ, честность и правду которого я вполне оценил.

Я не изменял в корне своего отношения к Тебе после того, как мы виделись в Петербурге; а тогда мне почудилось, что я уже знаю, где твердый фундамент наших отношений, глубина которых до сих пор не находила как будто этого фундамента (я пишу о Тебе и себе — только. Об отношениях одного к одному Тебе, личности к личности).

Я не писал Тебе до тех пор, пока не узнал в себе, что будущая основа этих отношений, несказанных не со вчерашнего дня, во мне окрепла. Но совершенно независимо от этой внутренней работы в отноше-

нии выяснения нашей связи — в событиях, касающихся не чисто меня и Тебя, как свободных личностей, произошла безобразная путаница и бессмыслица; выяснять ее я не мог: 1) не было никаких средств 2) да и было ниже моего достоинства (человек, облитый ведром грязных помой, не пойдет ведь рассматривать, из какого ведра его окатили, а поспешит переменить одежду).

Между тем все это могло повлиять во внешней механике отношений на Тебя и отраженно от Тебя на меня. Вот почему я и писал так внешне, и когда говорил об «обрывании отношений», говорил только о механике, а не сущности.

Что побуждает меня обратиться к Тебе? То, что я, подойдя вплотную к смерти, прожив всю ночь в не бытии (как труп), понял одно: свет во мне не погас, а потому никакая романтика смерти (романтика надрыва) не оправдает безобразия того предательства над Духом, которое я хотел совершить своим самоубийством. Никогда не вернусь на этот путь.

Мне остался путь цели и смысла. И никакие жизненные оскорбления не загасят во мне Меня; наоборот: возвысят, осмыслят. Но я знаю, что где Свет дается людям в их одиноком самоуглублении, там же предъявляются строгие требования быть с людьми. Один человек не спасется. Никогда не знал я так реально, так жизненно, как знаю теперь. И потому-то жизненным подвигом считаю я выяснять связь свою с людьми и работать над ней во Имя.

Не много людей я знаю в пути, т. е. в несказанном (5, 6 — не больше.) И потому-то всю силу осмысливания Света я полагаю в работе над этими мне посланными связями, чтобы был путь, были люди, идущие и яснеющие от взаимности. Больше нет цели: все иное — надрыв или упорство косности. И если было между нами несказанное; то оно — только несказанное. И если мы связаны несказанным (ни враждой, ни миром), то оно должно сказаться. Ни я, ни Ты не властны ни упредить сказ, ни упорствовать в «ничто», а выяснять, итти. И потому-то, я уже из своих глубин (хотя бы только из своих) утверждая нужность и ценность Слова Жизни, должен стремиться к ясности, а не немоте: ибо в ясности только спасусь: с людьми спасусь, с людьми готов и страдать и радоваться: это самое последнее о мне самом. Это — о каждом. Между нами была немота. Она создала ложь (я пишу только об одном Тебе и об одном себе, т. е. о нас с Тобой). В этой лжи готов согласиться, что я виноват больше: но и Ты, и Ты виноват очень (пойми, что я стою вне обвинений, а в точке правды). Мне кажется — я начинаю понимать механику наших «лжей». Знаю, как моя ложь выростала (беру *только** свое отношение к Тебе). Хочу со временем Тебе признаться явно в ней. Но этим признанием (необходимым) я получаю право и Тебе предложить вопросы, долженствующие выяснить мне то, чего я в Тебе не понимаю (на что прежде с истерикой злился, называл в себе Тебя неискренним лицемером и т. д.), а теперь только объективно устанавливаю.

Знаю, что письмами мы ничего не выясним: выяснит жизнь и слова жизни — слова наших, личных, непосредственных бесед. Но правдивые письма—верю—подготовят спокойную почву, приготовят нас к тому, что мы хотя бы отчасти поймем, кто в чем находится; но главное: письма помогут разрушить паралич наших внешних отношений (отношения и внешние тоже могут влиять отраженно на путь, т. е. на несказанное). А вот когда нет между нами той минимальной сигнализации, которая все же возможна в письмах, и воцаряется безликое, темное ничто, то в темноте этой могут возникать кошмары и сны.

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

может рости новая ложь (в темноте можно себе что угодно представить, и это ложное представление к несчастью не может не превратиться в навязчивую идею, с которой трудно бороться даже реальностью).

Возобновление нашей переписки считаю я правдой, могущей парализовать многое: ведь все равно мы не разойдемся: сошлись не случайно — значит, с этим грех бороться.

Почему Тебе пишу? Знаю свет (как он звучит во мне — свет один ведь). В несказанном сказе моей встречи с Тобой лично еще до знакомства провидел (да и потом не раз видел) свет: поэтому провожу линию от себя к свету и от света к Тебе: хочу Тебя Осветленным. Так же провожу линию света ко всем, мне посланным (6-ти) — от личности к личности по разному (мои устанавливающиеся отношения к Мережковскому, например, индивидуально несказанны, но не так, как к З[инаиде] Н[иколаевне]); но потом уже осмысливаю в общем свете.

Моя неправда к Тебе выражалась, между прочим, и в том, что я допустил неслучайность появления Тебя лично связать с некоторыми другими невыявленными отношениями и сквозь все смотрел на Тебя: тут ложь и неправда — это я знаю. Тут уклон самого незабвенного в сферу «всех и каждого». Я же хочу безликое «все и каждый» повернуть в «каждый» (посланный мне на пути то на крест, то на радость) и все. Если каждый, то и все, а не если все, то и каждый. Люди, мне посланные на пути,— Ты, Мережковский, Сережа, З[инаида] Н[иколаевна], Философов. Мне думается, что к этим посланным (посланникам от бога) принадлежит и Твоя жена. Буду учиться все осмысливать, к каждому искать пути во Имя То, которое послало: буду угадывать каждого в свете. Знаю, что мой путь, есть путь, назначенный каждому, кто хочет несомненно света до конца. А не может не хотеть, кто свет в людях поставил над тьмою, или над электрическим, газовым освещением тьмы механикой отношений. Но путь мой — от каждого, как данного, ко всем, как спасенным. То, что я иногда опрокидывал и хотел итти то от всех к каждому (мертвая схема), то только от одного (через одного) сразу ко всем,— то была ложь. Это ложь запутала мои к Тебе чувства (когда я смотрел на Тебя через все, а не прямо проводил линию света от Себя к Тебе). Но прости. В письме все это уж зазвучало метафизикой. Иначе быть и не может. Не смысл этой метафизики мне важен сейчас в отношении к Тебе, а только то, чтобы Ты понял меня в общем. Это общее — желание водворить между нами обоюдно честное отношение и совместно стремиться к правде нас с Тобой не другого; я не коснусь субстанции этой правды, не коснусь пока (быть может, долго) деталей былой лжи. Не в этом полагаю я нужность мне моих писем к Тебе. Я хотел бы себе подготовить нормальную почву к тому, чтобы ощутить силу к разговору с Тобой, который будет со временем (не знаю, когда).

Нечего прибавлять, что я Тебя люблю и не могу не любить (это звучало бы фальшью), а хочу сказать только, что даже в самые ужасные минуты я вспоминал все хорошее, что было. Но несколько месяцев я шел явным путем к гибели (с лета) и дошел до предела. Прошел демонизм, но не погиб. Овладел, и уж теперь только одно живо: спастись, быть нужным богу и людям. Вот все. Истерика бывает, но теперь (это звучало бы фальшью), а хочу сказать только, что даже в самые сразу стать зеркалом): но бури нет.

Пиши же. Пиши, когда хочешь и как хочешь. Не смущайся словами: захочется ругать, ругай. Но пусть умаляется ложь наших личных с Тобой отношений.

Адрес. Paris. Passy (XVI). Rue du Ranelagh 99. Жду книги.[1]
Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Желаю радостной встречи Нового Года.

Могу писать Тебе и личные письма (о нас с Тобой), и бытовые (о Париже).

P. S. Хотел отправить, но потом распечатал, чтобы вписать несколько слов уже субъективных — то, что переживал сейчас. Не ставь рядом «postscriptum» с объективным моим письмом. Просто лирическое излияние. Аладьин должен был читать лекцию. Не попал. С бойкого многолюдного Монпарнасса возвращался в тихий Пасси. Думал. Пришла знакомая боль (боль со мной всегда и только иногда доходит до почти физического ощущения: стиснешь зубы, выбежишь из комнаты, где люди, и ждешь, пока пройдет пароксизм — я к боли отношусь спокойно, даже с улыбкой в тот самый момент, когда стискиваешь зубы, чтобы не закричать). Как все страшно и важно! Вижу, вижу — новые чаши ярости божией прольются на человечество, запутавшееся в одном кошмаре Никто сам не хочет делать, решать, дерзать, искать слов о пути. Со всеми делается. А надо, чтобы делали. Старая истина — слышал много раз, и только недавно во всей глубине восчувствовал. Оттого-то революция еще пока лишена смысла, оттого-то и мерзости буржуазной лжи (во всех сферах жизни) оказываются устойчивее бунта. Мерзости делают, а люди от этого не становятся, с ними только делается. Сколько знаю в Москве сериозных и честных людей, с которыми только все делается, они страдают. Наконец мист[ические] анархисты «делается» возвели в норму (так и надо). Ужас ужас, ужас! Мерзость! Между нами многое делалось. Я по крайней мере хотел делать, но только наполовину, уступал тому, чтобы делалось — и гнусность! Так да не будет, не надо!

О, сколько у меня сил утверждать определенность слов и жизни по свободному почину во Имя: нечеловеческая мука, чуть не убив. открыла медленно и верно только одно: нет «никчемных» переживаний, не может быть невысказанных слов. Что невысказано, скажется. И мне страшно за того, кто не будет бороться за то, чтоб сказалось: потому что тогда вступает в свои права «делается», из которой не может быть выхода без поисков Имени и слов, охватила безумная жалость к тем, кто во власти кошмара, кто рабство называет свободой. А кругом только того и ждут, чтобы совершился подлог!

Так думал. Болел за людей, за себя, за важность бремени, просил дерзновений.

Пришел к Мережковскому. Один (З[инаиды] Н[иколаевны] и Философова не было) — читает, кроткий, ясный. Развели на керосинке чай и пили болтали, но за всем вставала глубина, а угли в камине вели свою тихую речь — еле слышное стрекотанье.

Мне захотелось вдруг внутренне поцеловать его ноги, поклонившись до земли. Слабый, малый, а один сколько сделал!

Боль угомонилась, притупилась.

Несу крест свой твердо и бодро, хоть все ноет.

[1] Имеется в виду сборник «Нечаянная радость».

1907

145. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

5 марта [19]07. Москва

Многоуважаемый и дорогой Саша!

Обременяю тебя просьбой.

Вера Николаевна Фидровская (France, Paris (XIV) Rue Couche 9. A madame Fidrovsky), пишущая в Сорбонну диссертацию о русском символизме, убедительно просила меня передать желание иметь Твои книги и стихи.

Пользуюсь случаем поблагодарить Тебя за любезную присылку книги.[1]

Борис Бугаев

Еслибы Ты передал Соллогубу и Иванову письма? Я не знаю адресов обоих.

[1] Сборник «Нечаянная радость» (вышел в свет во второй половине декабря 1906 г.).

146. БЛОК — БЕЛОМУ

24 марта 1907. Петербург

Милый Боря.

Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о «Неч[аянной] Радости», которую Ты поместил в «Перевале».[1] Она имела для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опаснейших для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание Твои заключительные слова о «тревоге» и «горячей любви к обнаженной душе поэта», я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать «Балаганчика» и подобного ему — за «горькие издевательства над своим прошлым». Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и **должен** итти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности,— это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой под **детское** или просто **идиотское**» — слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Пишу это Тебе *не* казенно, а надеюсь, что Ты услышишь меня, как услышал в отзыве о «Неч[аянной] Радости».

Александр Блок

P. S. Не зная Твоего адреса, посылаю письмо через «Скорпион».

[1] См. «Перевал» 1907, № 4 (февраль), стр. 59—61 (перепечатано в «Арабесках», стр. 458—463). В этой рецензии Белый писал, между прочим:

«Блок — один из виднейших современных русских поэтов. Поклонники могут его восхвалять. Враги — бранить. Верно одно: с ним необходимо считаться. Рядом с именами Мережковского, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус и Сологуба в поэзии мы неизменно присоединяем теперь имя Александра Блока. Первый сборник стихов поэта появился только в 1905 году. Тем не менее есть уже школа Блока. Недавно хлынула на нас волна бальмонтистов. Большинство молодых подражает ныне Валерию Брюсову. Тем не менее есть у нас и „блокисты"»:

«Критика часто выводит русский символизм из французского. Это ошибочно. Русский символизм и глубже, и почвеннее. Виднейшие его представители кровно связаны с отечественной литературой и поэзией... Лучшие поэты наших дней кровно связаны с нашим славным прошлым, хотя подражатели их, соединенные с ними только общими недостатками, ничего не имеют с классиками. Блок принадлежит к первым. „Блокисты" — ко вторым...

«Хотя бы поверхностное рассмотрение поэзии А. Блока убеждает нас в несомненном влиянии на него Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева, Гиппиус и Сологуба. Из иностранных поэтов больше других влиял на него Метерлинк...

«Каково идейное содержание высокочтимого поэта? Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. „Стихи о Прекрасной Даме" (1-й сборн. стихов) окрашены совершенно определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение „вечно-женственного начала" жизни... Тема его — глубокая. Цель его — значительная.

«Вдруг он все оборвал...

«В драме „Балаганчик" горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гёте, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательств.

«И вот во втором сборнике мы узнаем, что „Прекрасная Дама" не путешествует на пароходах. Вместо „Сиянья красных лампад" мы видим болотных чертенят, у которых „колпачки задом наперед". Вместо храма — болото, покрытое кочками, среди которого торчит избушка, где старик, старуха и „кто-то" для „чего-то" столетия тянут пиво. Нам становится страшно за автора. Да ведь это не „Нечаянная Радость", а „Отчаянное горе"! В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона...

«Но, сбросив с себя идейный балласт, поэзия А. Блока расцвела махровым, пышным цветком! Темы настроений утончились, стих стал виртуозней, гибче, роскошней. Прежде нам приходилось спорить с одним известным поэтом, утверждавшим, что «Стихи о Прекрасной Даме» не выражают истинный лик поэта. Поэт оказался прав. «Нечаянная радость» глубже выражает сущность А. Блока. В этом отношении Блок настолько же выиграл, как поэт, насколько он упал в наших глазах, как предвестник будущего, потому что мы предпочитаем оставаться при загадках, загаданных мудрецами (пусть не решенных, но требующих от нас жизни для решения), нежели при издевательствах (хотя бы и поэтических, прекрасных) над этими загадками...

«Страшно, страшно, итти больше некуда в отчаянии, когда и в „Нечаянной Радости" (см. последний отдел сборника) из огорода капустного приходит к поэту все тот же оборотень „Единый, Светлый — немного грустный", когда такую картину рисует поэт своей нечаянной радости:

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

«Уж подлинно не зачаешь такой радости! Уж подлинно нечаянная она!

«„Новой радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли"» (Вместо предисловия).

«Перед лицом народов сложные задачи; они требуют определенного образа решений, определенного, ясного, как божий день, слова. И радоваться только тому, что из-за узкого мыса плывут корабли, еще рано: большие корабли часто приносят большую заразу...

«Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые чертеняткам, подчас сквозь подделку под детское или просто идиотское обнажается вдруг надрыв души глубокой и чистой, как бы спрашивающей судьбу с удивленной покорностью: „Зачем, за что?" И увидав этот образ, мы уже не только преклоняемся перед

крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники,— мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни»

147. БЛОК — БЕЛОМУ

6 августа 1907. <Шахматово>

Многоуважаемый и дорогой Борис Николаевич.

За последние месяцы я очень много думал о Тебе, очень внимательно читал все, что Ты пишешь, и слышал о Тебе от самых разнообразных людей самые разнообразные вещи. Повидимому и Ты был в том же положении относительно меня; ввиду наших прежних отношений и того, что мы оба служим одному делу русской литературы, я считаю то положение, которое установилось теперь, совершенно ненормальным. Не только чувствую душевную потребность, но и считаю своим долгом написать Тебе это письмо.

Начну с того, что было последней побудительной причиной. Тастевен сейчас написал мне те условия, на которых Ты согласен возвратиться в «Зол[отое] Руно».[1] Первое: чтобы «Руно» перестало опираться на группу, идейное значение которой равно нулю. Я не понимаю, какую группу Ты разумеешь; «Руно» определяет ее чисто внешним образом: «петербургские литераторы» и разумеет под этим в данный момент Вяч[еслава] Иванова, Городецкого и меня. Если ты считаешь, что эти трое и внутренним образом составляют группу, и ищешь в ней значения, как «в группе», то Ты жестоко ошибаешься; впрочем я буду говорить только о себе и только за себя, ибо в последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — оставаться самим собой. Между тем, собрав отзывы обо мне из Твоих статей и заметок в «Весах», «Перевале» и Киевском журнальчике[2], я увидал, что Ты: 1) противоречишь себе на каждом шагу, а именно: называя меня одним из «корифеев русской литературы» (название, конечно, злое и ироническое)[3] и намекая на мою «скромность и честность» (?)[4], находишь в моих стихах «идиотское»[5] (вяжется ли это с «корифейством?»), говоришь, что я «неустанно кощунствую»[5] и что я хвалю Чулкова за то, что он меня похвалил (где же тогда честность? Где Ты прочитал, что я его хвалю, или как мог счесть за похвалу цитированье одного удачного стихотворения? Ужь не думал ли Ты, что я его называю «светловзором»?[7]).

2) Исходя из понятия ненавистного Тебе «мистического реализма», ты наклеиваешь на меня этот ярлык, с которым я ничего общего не имел и не имею, и с этой точки зрения критикуешь меня, уверяя, что я «описываю крендель булочной так, что волосы становятся дыбом» (?) и что я хуже Чехова (утверждение справедливое, но странное).[8]

Имею ответить на все это следующее:

1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться.

2) с «мистич[еским] реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом» никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего. Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт если бы все Вы его не раздували так отчаянно.

3) Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе особенно Зин[аида] Гиппиус в статье о «Перевале», по пов[оду] меня

и Чулкова) — не признаю. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя.[9]

4) Не считаю допустимым намеков на личные отношения в литера-т[урной] полемике.

5) К Георгию Чулкову имею отношение, как к человеку, и возмущаюсь выливанием помоев на голову его, как человека. Считаю это непорядочным. Вяч[еслава] Иванова ценю, как писателя образованного и глубокого, и как прекрасного поэта, мировоззрение же его («мифотворчество») воспринимаю, как лирику. Сергея Городецкого ценю, как прекрасного поэта. Твои произведения высоко ценю и со многими из Твоих принципов соглашаюсь.

6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу.

7) Думаю, что все до сих пор написанные мной произведения, которые я считаю удачными (а таковых немного) — символические и романтические произведения.

8) Считаю, что стою на твердом пути, и что все написанное мной служит органическим продолжением первого — «Стихов о Прекрасной Даме». Ввиду этого, не понимаю Твоего отношения к моей литературной деятельности, поскольку ты считаешь мои новые произведения не связанными с прежними.

9) Упрек в кощунстве принимаю только ограничительно, считая, что все мы повинны в нем, и я не более остальных. Никакого «оргиазма» не понимаю и желаю трезвого и простого отношения к действительности.

Что касается второго условия, которое Ты поставил З[олотому] Руну, я не понимаю, почему Ты требуешь себе и В. Я. Брюсову права veto, которого нет у «петерб[ургских] литераторов». Я считаю, что было бы справедливым иметь равные права обоим лагерям, если это действительно реальные, а не бутафорские лагери, в чем я сомневаюсь.

Считаю долгом сообщить тебе, что я принял приглашение «Зол[отого] Руна» вести критич[еский] отдел независимо ни от кого, и ничьих влияний и давлений испытывать не согласен. Считаю, что по отношению к людям, я minimum имею право требовать от них честного и прямого к себе отношения — и обязанность — учиться у них тому, чего во мне недостаточно. Maximum'ов, т. е. любви, комплиментов и проч. (что часто связано с незаметным насаживанием на плечи) я не только не требую, но часто избегаю, ибо считаю себя достаточно сильным, чтобы быть одним.

Прошу Тебя ответить мне на это письмо. На Твои вопросы я готов отвечать. Что касается журнальной полемики, то я считаю своим неприятным долгом (потомучто полемика, по-моему, слишком мелочна и ставит втупик читающую публику) кратко высказаться в post-scriptum'е одной из моих критич[еских] статей в «З[олотом] Руне».[10]

В заключение прошу Тебя, хотя бы кратко указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения. Этого пункта я не улавливаю, ибо, повторяю еще раз, к новейшим куцым теориям отношусь так же, как Ты.[11]

Жму твою руку

Александр Блок

Адрес мой до *15 августа**: Н[иколаевская] ж. д., ст[анция] Подсолнечная, с[ело] Шахматово.

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

[1] Письма Г. Тастевена к Блоку не сохранились. Обстоятельства, при которых Белый порвал с «Золотым руном», освещены во вступительной статье.

[2] Имеется в виду издававшийся в Киеве двухнедельный иллюстрированный журнал «В мире искусств», посвященный литературе, музыке, живописи и театру (выходил с 1907 по 1909 г.).

[3] «Корифеем российской словесности» Блок назван в рецензии Белого на драму Г. Чулкова «Тайга» («Весы» 1907, № 6, стр. 70).

[4] В статье «Штемпелеванная калоша»: «Восхищаются тому, что символ последнего дерзновения — золотой „б у л о ч н ы й“ крендель, как о том возвестили. Но автор золотого кренделя скромен и честен» («Весы» 1907, № 5, стр. 52; «Арабески», стр. 342—346.— Имеется в виду стих-ие Блока «Незнакомка»:

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач).

[5] В рецензии на сб. «Нечаянная радость» (см. прим. 1-е к письму № 146). Также — в рецензиях на альманах «Белые ночи»: «Подделка под гримасу идиотизма» («Весы 1907, № 7, стр. 73) и на альманах «Шиповник»: «Бессмысленные, идиотские бесчеловечные гримасы» («Перевал» 1907, № 5, март, стр. 51).

[6] В рецензии на альманах «Цветник ор»: «Хотя бы Блок. Он неустанно кощунствует» («Весы» 1907, № 6, стр. 67).

[7] В той же рецензии на альманах «Цветник ор» Белый писал: «Грязен, как всегда в стихах г Чулков. Мы бы не помянули о нем; право он неоскорбителен в стихах (ибо чтобы оскорбить стих, надо быть все же чем-либо). Но г. Блок, в статье неосторожно задевший покойного Канта, восхвалил таинственного „светловзора“ (решившего то, что не решил Кант) и потом неожиданно провозгласил поэтом г. Чулкова, что после восхвалений Чулковым Блока как-то... неожиданно» («Весы» 1907, № 6, стр. 68 — 69). Белый здесь имеет в виду статью Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» («Золотое руно» 1907, № 2). В этой статье Блок писал о «каких-то тихих болотных „светловзорах“, носителях русской «народной души», и дал портрет «одного такого светловзора», в котором действительно можно усмотреть намеки на Г. Чулкова (об этом свидетельствуют данные биографического порядка — ссылка Г. Чулкова в Сибирь и т. д.). В конце статьи Блок целиком приводит стих-ие Г. Чулкова «Стоит шест с гагарой».

[8] В статье Белого «Чехов»: «В то же время среди символистов последнего времени процветают тенденции, извне сочетающие реализм с символизмом. После Чехова такое сочетание — абсурд. М и с т и ч е с к и е р е а л и с т ы открывают в баранке и кренделе [намек на стих-ие Блока «Незнакомка» — см. выше, прим. 4-е — *Вл. О.*] что-то особенное; они описывают крендель так, что волосы становятся дыбом» («В мире искусств» 1907, № 11—12, стр. 11; перепечатано в «Арабесках», стр. 395—400).

[9] Блок имеет в виду статью З. Гиппиус «Трихина», напечатанную за подписью «Товарищ Герман» в «Весах» 1907, № 5, стр. 68—72. Статья эта почти целиком заполнена исключительно грубыми выходками по адресу Г. Чулкова и Блока.

[10] Ср. письмо Блока к Г. Чулкову от 23 июня 1907 г. («Письма, стр. 141). «P o s t-s c r i p t u m» в «Золотом руне» Блок не поместил, но высказался по существу полемики в статье «О современной критике»:

«Я думаю, что взаимное сочувствие, которое выражают друг другу бывшие „реалисты“ и бывшие „декаденты“ не имеет ничего общего ни с „мистическим анархизмом“, ни с „мистическим реализмом“, ни с „соборным индивидуализмом“. Не имеет уже по тому одному, что эти немецкие сочетания не выражают собою ровно ничего: неудачные статьи Георгия Чулкова и Модеста Гофмана, которыми „философия“ указанных слов (кроме „мистического реализма“) и исчерпывается, — еще не создают теории. Я думаю, что писателей с такими кличками вообще не может существовать, и потому этими кличками вовсе не исчерпываются суждения даже о самих авторах их — Георгии Чулкове и Модесте Гофмане. Что же касается „мистического реализма“, то это крылатое слово, кажется, даже не имеет автора.

«Названий, подобных указанным, развелось в наше время очень много. Под эти названия стараются часто затащить писателей, как в участок — „для порядку“, или чтобы „не ходили несчитанные“, как говорится в одной сказочке Ф. Сологуба. Чрезвычайное размножение подобных названий я готов объяснить только тщательной культурой их со стороны критики. Так, например, критический отдел летних нумеров „Весов“ чуть ли не сплошь посвящен остроумнейшему высмеиванию и злостному гонению „мистического анархизма“.

«Талантливые русские писатели уже поставили крест на „мистическом анархизме“, а теперь не хватает даже материала, потому что „мистико-анархические“ вылазки почти прекратились. За неимением материала, некоторые критики прибегают к самым нежелательным приемам: принимают того или другого писателя за „мистического анархиста“ — и под этим названием изобличают его (это относится, например, к Андрею Бе-

лому); или же, справедливо разнеся в пух и прах теорию, принимаются за представителя этой теории и поносят его (это относится, особенно, к Антону Крайнему и товарищу Герману [псевдонимы З. Гиппиус.—*Вл. О.*]; последний, например, в № 5 «Весов» в статье „Трихина" — о журнале „Перевал" говорит, что надо „уважать человека", если даже дела его — „сплошное убожество"; а через три страницы — сообщает сведения об этом человеке, основанные, надо полагать, на личном знакомстве, а на голову другого — выливает ведро помоев. — Ведь это же о человеке, а не о писателе вы говорите, товарищ Герман!» (газета «Час» 1907, № 61 от 4 декабря; «Собр. соч.», т. X, стр. 127—128).

На эту статью Блока Белый резко ответил в фельетоне «О критических перлах»; статьи Блока в «Золотом руне» названы здесь «совершенно неталантливыми, запутанными и объемистыми» (газета «Раннее утро» 1907, № 15 от 5 декабря).

[11] Ср. письмо Блока к Е. Иванову от 9 августа 1907 г.: «Ты знаешь, как он [Белый.—*Вл. О.*] отзывался в последнее время обо мне в „Весах". Недавно приезжавший ко мне секретарь „Зол[отого] руна" [Г. Тастевен.—*Вл. О.*] сообщил о его состоянии, крайне изнервленном, и отказался повторить те выражения, которые он употреблял в разговоре с ним обо всех „петербургских литераторах", и обо мне, вероятно, в том числе. Судя по всему этому и помня наши прежние отношения с ним, я решил, что он совершенно забыл меня, или никогда не знал; кроме того, сплетни оказали большое действие. В этом духе я написал очень определенное письмо, прося его точно указать пункты нашего с ним разногласия» («Письма к Иванову», стр. 58—59).

148. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<5 или 6 августа 1907. Москва>[1]

Милостивый государь Александр Александрович.

Спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение сериозно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «прошение», pardon, статья о реалистах появилась в «Руне»[2], где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что, еслибы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь. Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее.[3]

Примите и прочее

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании следующих данных: 1) было написано до получения письма Блока от 6 августа (см. письмо Блока к Е. Иванову от 9 августа — «Письма к Иванову», стр. 59), 2) корреспонденция из Москвы в Шахматово доставлялась обычно на второй или на третий день.

[2] См. вступительную статью.

[3] По поводу этого письма Блок писал 9 августа Е. Иванову: «Письмо написано в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом» («Письма к Иванову», стр. 59).

149. БЛОК — БЕЛОМУ

8 августа 1907. Шахматово[1]

Милостивый государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время «следили за мной

Боръ.

№ 6

Милый братъ! Завечерѣло.
Чуть слышны колокола.
Надъ равниной побѣлѣло —
Сонноокая прошла.

Проплыла она и стала,
Незамѣтная, близка.
И опять намъ, какъ бывало,
Ноша тяжкая легка.

Межъ двумя стѣнами бора
Рѣдкій падаетъ снѣжокъ.
Передъ нами — семафора
Зеленѣетъ огонекъ.

Небо — въ заревѣ лиловомъ,
Свѣтъ лиловый — на снѣгахъ.
Словно мы — въ пространствѣ новомъ,
Словно — въ новыхъ временахъ.

Одиноко вскрикнетъ птица,
Отряхнувъ крылами ель,
И засыплетъ намъ рѣсницы
Бѣлоснѣжная метель.

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна.
Скоро Финскаго залива
Намъ откроется страна.

Ты поймешь, какъ въ этомъ морѣ
Облегчается душа,

ПИСЬМО А. БЛОКА к А. БЕЛОМУ ОТ 14 или 15 ЯНВАРЯ 1906 г. (№ 115)
Первая страница
Уменьшено в 1½ раза
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

И кони гаснутъ. Зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжемъ
Передъ печкой на коврѣ
И тихонько перескажемъ
Все, что видѣли, сестрѣ.

Кончимъ. Тихо встанетъ съ креселъ,
Молчалива и строга.
Молвитъ каждому:— будь веселъ.
— За окномъ лежатъ снѣга.

Саша

13 января
1906.

ПИСЬМО А. БЛОКА к А. БЕЛОМУ ОТ 14 или 15 ЯНВАРЯ 1906 г. (№ 115)
Последняя страница
Уменьшено в 1½ раза
Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

издали»,— и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете», и никто, кроме Вас, не умеет страдать,— все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, милостивый государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном *до* получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того чтобы Вы — или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите,— или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры.[2]

Александр Блок

[1] В бумагах Блока сохранился черновик этого письма, датированный 7 августа (цифра «7» в черновике переправлена на «8»). На черновике помета: «Бугаеву 8 августа (послано 10 авг[уста], срок — 18 авг[уста])».

[2] В письме к Е. Иванову от 9 августа, изложив содержание письма Белого (№ 148) и своего ответа ему, Блок писал: «Ровно год тому назад, как ты помнишь, он вызвал меня на дуэль... Теперь думаю, что иначе поступить совершенно не могу; для меня ясно, что, если он не сумасшедший, то дуэль неизбежна; для меня совершенно ясно, что действовать нужно решительно: если он сумасшедший, то его бесконечно жалко, и я готов более чем примириться с ним; если же нет,— то необходимо прекратить его поведение, а для этого единственный теперь выход — дуэль. Думаю так, передумав очень много и взвесив все» («Письма к Иванову», стр. 60). Блок просил Е. Иванова быть его секундантом, на что тот ответил отказом (см. там же, стр. 118—119).

150. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

10—11 августа [19]07. Москва[1]

Милостивый государь
Александр Александрович!

Имею честь ответить Вам на Ваше пространное изложение спорных пунктов наших *литературных* * недоразумений.

Рекомендуя «Руну» не опираться на идейную группу, значение которой есть нуль, я прежде всего разумел неопределенно-расплывчатую группу лиц, прямо или косвенно проповедующих то «многоликое» миросозерцание, которое, если глядишь с одного боку, аттестуется «соборным индивидуализмом», с другого боку — «эротизмом», или «мистическим анархизмом». Все же вместе так вообще в неопределенном и туманном смысле «мистическим реализмом» — он же «мифотворчество». (См. заявление Чулкова в «Товарище», где поставлен знак равенства между мифотворчеством и мист[ическим] реализмом[2], но ведь и ложь тоже мифотворчество). Анализируя весьма поверхностно термин «соборный индивидуализм» (понять точный смысл претенциозной статьи Гофмана[3] нет никакой возможности, ибо это — суп из всех возможных на свете соборностей), мы ничего не усматриваем в нем: все религии мира, если они — продукт мифотворчества, имеют отправной точкой «соборные индивидуализмы». Анализировать термин «эротизм» еще бесплоднее. Какой эротизм? В какой трактовке? Все вышеизложенные «измы» суть — кое-как сшитые кафтаны из ста-

рого хлама (иногда очень ценного): тут и лоскут парчи гностиков, и кусок из хитона, и ситец и бархат и т. д. + безграмотность философская авторов (Иванова, Чулкова, Гофмана и пр.). Вопрос о методе отсутствует: а методов десятки. И потому все эти новые теории имеют «многосмысленный смысл». Многосмысленность хороша, когда одним методом (принятым за основной) освещают все иные методологические решения по данному вопросу, но при первом требовании: «Объяснитесь реальнее», охотно идут на самый строгий анализ. Мистического анархизма нет: существует «настроение», так определяемое. Ну, а ведь только полная безграмотность в области специальной философии (которая, т. е. философия, при желании преодолевается, но *не обходится** просто: так было бы легко все на свете разрешить) — я говорю только полная безграмотность способна из настроения создать теорию: может быть теория настроений, но не может быть из настроения — теория. Все эти анархизмы, эротизмы и пр. я понимаю, как веяние (хорошее, дурное, необходимое, случайное — это другой вопрос), но из веяния ничего не получается, ничто не преодолевается и т. д.: следовательно и крикливые заявления о преодолении символизма — «вздор», ибо символизм помимо «теории из настроения» способен дать теорию самих переживаний. Мы приглашаем заняться разработкой теории символизма: без этого предается наследство недавнего прошлого. Здесь же, т. е. на почве символизма, решаются проблемы индивидуализма и соборности не на почве легковесного строительства из настроения. Мы говорим: кто же в принципе против соборного творчества, но как это творчество реализовать в пределах существующей исторической фазы человечества? Нам как бы отвечают: «Вы еще не восчувствовали, а мы восчувствовали нечто». Предоставляю область реализации «восчувствованного» области искусства и определенного культа. В последнем случае об опыте реализации скромнее молчать, ибо тут начинается область эзотеризма, область действительной мистерии, а не криков о ней. Да и наконец сильно подозреваю, что и то немногое действительно восчувствованное принадлежит по праву тем, кто в настоящую минуту с полным правом нападают на весь этот вздорный гам (1) на том основании, что нападающие опытнее в сфере восчувствований и сериознее относятся к действительным ценностям, 2) на том основании, что считают такие слова, какие раздаются кругом, профанацией у них же экспроприированного материала).

Но я уклонился в сторону. Возвращаюсь к основному предмету.

Итак существует неопределенная группа лиц, которая преодолела все сложности философской мысли, антиномии в области морали и весь еще неразработанный материал, который принесло нам современное и прошлое искусство. Кто же эти герои? Я не разумею определенно никого, но я не имею права считать таковым одного Чулкова, ибо он говорит «мы, мы». И ссылается то на Вас, Александр Александрович, то на Иванова. Иванов на Городецкого, Городецкий еще на кого-нибудь. Итак образуется теплая дружеская компания (в нашем представлении: здесь из Москвы не видно же действительных отношений к тем или иным идеям, а слышен то дружный гам: «Мы, мы, мы, которые умнее, новее, смелее» и т. д., то гробовое молчание, когда, столкнувшись с тем или иным лицом, пробуешь себе объяснить, как оно в действительности относится к этой литературной провокации).

Далее: направление, которое считает себя на почве чистого символизма и признает всю трудность работы для укрепления своих позиций, представляется отжившим часто лицами, которые обязаны развитием

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

своих идей этому же направлению. Мы говорим тогда: «Хорошо: вы нас преодолели; но ведь ваши исходные пункты в нас; и в этих исходных пунктах вы признаете нас стоящими на верном пути»; а мы говорим вам: «Наши позиции еще не защищены от целого ряда вопросов, которые вы игнорируете только потому, что не знаете их. Хорошо: мы перестаем вас считать своими и ставим вас лицом к лицу с действительными врагами: психофизиологией, теорией познания, этикой и т. д. Пишу лишь о теоретическом обосновании того или иного течения, ибо смешно спорить о художественных вещах. Ведь весь спор не в том, кто пишет лучше стихи, а в том, что есть искусство, религия, мистика, философия и т. д. Впрочем иногда кажется, что новейшим соборникам до этого нет никакого дела, т. е. нет дела до культуры: ну тогда какое же право они имеют что-либо провозглашать: странно ведь, если кафедру астрономии займет «костромской мужичок». Общее впечатление от новых теоретиков в их споре с культурой за варварство сводится к следующему диалогу между астрономом и пьяницей: Астроном: «Земля вертится, это доказал Коперник». Пьяница: «Коперник целый век трудился, чтобы доказать земли вращенье. Дурак, зачем он не напился: тогда бы не было сомненья». Статьи в «Факелах» с пресловутым «Как же иначе»[4], или книга Чулкова о мистическом анархизме[5], поскольку тут есть вылазки против символизма, производит именно такое впечатление. И потому-то сериозной полемики со всем этим вздором быть не может. Поскольку же недисциплинированные умы «так вообще» интересующейся всем новым публики становятся от всей этой путаницы еще недисциплинированнее, постольку тактически приходится бичевать всю эту дикую неразбериху.

Ввиду внесения варварской струи в наиболее сложные и еще далеко не ясные вопросы современности «Весы» (после раздумья игнорировать им все это или нет) решили посвятить несколько №№ решительному избиению соборного гама, чтобы потом поставить крест на всем этом «шуме» Петербурга, который не хочет спорить с более культурными соперниками и отвечает контр-полемикой — «шумной рекламой» своих (Чулков, Волошин, Иванов): это — приемы, столь дурно пахнущие, что они заслуживают самого жестокого бичевания.

И в то же время многие из петербуржцев открещиваются в частных письмах от того, чему они соучастны в печати, не протестуя против причисления себя к лику апологетов вздорных теорий. Хотя бы *Вы,* Александр Александрович. Вы в письме ко мне открещиваетесь от всякой школы, а разве Вы не зарегистрированы в мистико-анархисты, когда «Mercure de France» объявляет об этом на всю Европу.[6] Когда меня не в печати, а в частном только письме причли к мистич[ескому] анархизму, я постарался всячески печатно подчеркнуть о своей полной несолидарности. Впрочем тогда еще анархизм не распустился во всей своей «махровой пустоте». Мы ждали, что Иванов и Вы, как сериозные люди и художники, не вынесете этого крика и печатно заявите о своей несолидарности с лицами, руками и ногами утаскивающими вас в свой базар слов. Вы этого не сделали. Мы изумлены. Поймите, что и не в терминах тут дело: может быть, завтра появится глубокое исследование об «анархизме мистиков»; тогда мы первые подчеркнем это. Пока же перед нами хвастливо машут неоплаченными идейными векселями на громадную сумму. Вот отчего «Весы» раздувают всю эту чепуху; не чепуху раздувают, а подчеркивают спекуляцию идеями, что всегда было нам чуждо. Как могли вторгнуться спекулянторы к нам, всегда идейно гордым. Вот в чем я вас упрекаю (в потакательстве); я не думал Вас тащить в школу (я знаю, что Вы идете

своим путем). Столь же твердо я знаю, что и я иду своим путем, настолько своим, что не боюсь себя признавать символистом, ибо вопрос о школе есть вопрос об трактовании метода мысли, творчества, а не о субстанции пути, который у художника не может не быть своим. По-моему Вы обязаны заявить печатно о Вашей неприкосновенности к той тенденции, которую Вам навязывают. Иначе получается впечатление, что Вы идете на идейных помочах Георгия Чулкова. И это вовсе не мое мнение, а мнение большинства москвичей из «Перевала» и «Весов». «Весы» с особенным интересом следят за Вашим идейным самоопределением, ибо «Весам» более чем кому-либо дорог Ваш всяческий облик (художественный и идейный). До публичного заявления о Вашей самостоятельности заявления в письмах не имеют цены. С одной стороны частное письмо, где Вы называете «куцыми теоретиками» Ваших друзей, с другой стороны «Mercure de France», провозглашающий о Вашей солидарности с этими «куцыми теоретиками». И «Весы» считают Вас мистическим анархистом.

11 августа (письмо Ваше негодующее получил: ответ отправлен [7], возвращаюсь к чисто литературной стороне).

Итак я остановился на некоторой двуличности многих из тех, о которых заявляет Чулков: «Мы, мы, мы», по отношению и к Чулкову, и к противникам Чулкова. Почему мистических анархистов нет, а мистический анархизм есть. Или потому, что нет теории, а просто людей подмывает к хаотизму. Почему эти фокусы с превращениями: целил в анархиста, а он оказался просто умным, симпатичным Иваном Ивановичем? Почему 10 Иванов Ивановичей, милых каждый в отдельности, в целом образуют нечто инстинктивно отталкивающее? Если Брюсова, например, отталкивает общая некультурность, профанация и т. д., то меня помимо всего отталкивает нечто инстинктивно враждебное (мистически враждебное) во всем этом «несуществующем» течении. Я вижу здесь еще робкую зарю грандиознейшего мистического хулиганства и вторгательство безусловно враждебных сил: и эта моя ненависть к еще не рожденной (но в потенции глубокой) теории коренится в очень глубоких моих убеждениях, что эта теория пойдет наперерез моим святым заветам о мистике, как пути свободном и ценном в противовес грядущей мистике спиритической (мистике одержимости), соблазнительной и неминуемо ведущей к провалу души (изнутри) и к порнографии (извне). Если же глубоких, еще неосознанных черт нерожденной доктрины не существует в общем духе Петербурга, если отречение от «своих» только показатель внутреннего холода, то я не могу не подозревать бессознательного или даже сознательного (у Чулкова) шарлатанства; и когда я анализирую, в чем же основа этого шарлатанства у крикунов (вроде Чулкова, Гофмана и пр.), я начинаю думать, что это — карьеризм. Тогда зачем же Вы все потакаете? Отчего не открещиваетесь? Или я старомоден во всей своей сериозности, и Вы просто смеетесь над людьми, всерьез принимающими провозглашение несуществующей доктрины, однако же осуществленной в целой книге (Факелы). Объясните мне все это, Александр Александрович: я тут ровно ничего не понимаю.

Вам Эллис пишет: «Чулков хулиган». [8] Это резко, но я понимаю Эллиса. Человек глубоко образованный в вопросах общественности (специалист финансового права, знаток Маркса, Родбертуса, Лассаля), [9] сам сломавший свою жизнь над одной общественностью и вторично переживающий трагедию индивидуализма, имеет право детские «свистульки» вроде соборного индивидуализма и прочего называть свистунством и хулиганством. Вы в ответ полу-соглашаетесь с ним. Это приводит его в вящщее негодование. Он спрашивает себя, почему же Вы ногами и ру-

ками не открещиваетесь. Он пишет Вам (правда) резкое письмо, но идущее от действительного знания и переживания: Вы в ответ становитесь на формальную точку зрения. [10] Вы или глухи, не понимаете подлинности его негодования (Вы ведь не изучали года то, над чем он сломал голову). Или Вы думаете, что и тут «клеветничество». Другой случай со мной: по совершенно иным мотивам, мне так важно было себя и Вас проверить: я полтора года кричу Вам то письмами, то просто внутренним обращением к Вам: «Пойми же, пойми: ведь не личные отношения только в основе моего недоверия, непонимания Тебя!» Если цель всего — балаган-«чик», то ведь кажущиеся совпадения в самом Главном — обман; а я хотя и разбился от ряда ошибок, но я не предал последнего: я знаю, я верю. И Вы — молчите. Наконец я теряю голову, пишу Вашей жене обвинение против Вас в Вашем поведении относительно 1) меня и Вас (в нашем личном), 2) в отношении нас троих. Вы — ни звука. Я из целой совокупности непонятого, наконец, пишу резко, быть может, вовсе несправедливо, но от искреннего непонимания. Вы вместо ответа или играете молчанием, или вдруг вызываете меня на дуэль, находите во мне клеветничество! Или это система, метод, или мы с разных планет: но мне думается, что я более способен понять мимику португальца, объясняющегося по-русски, чем Вас, которого так долго считал «близким».

Я пишу о Вас лишь, как о примере какого-то расхождения Петербурга и Москвы в самом интимном и сокровенном; неудивительно, что и во внешнем это сказывается во всей полемике нас, Москвичей, против Петербурга. «Мистических анархистов нет» — да: но тенденция мистическая, очень враждебная, неуловимая, как неуловим «чорт с хвостом, как у датской собаки» [11], есть. Вы пишете: зачем раздувать несуществующее; я, Брюсов, Эллис, Соловьев и многие другие в Москве полагают обратное: потому-то и следует раздувать, что «новейшая тенденция» неуловима. О холере поздно горевать, когда она уже пришла: раз есть основание полагать возможность ее появления, следует произвести строжайшую дезинфекцию. И если наша дезинфекция есть «клевета», намеки на «личное» — Христос с Вами: Вы глубоко ошибаетесь. А если Вы настаиваете, мы говорим: «Значит во что-то попали». И недаром столь разные люди сходятся на нелюбви ко всей этой закваске Петербурга. Неспроста это.

Сейчас весь вечер говорил с А. Мейером. [12] Вот первый человек, который, отстаивая тенденцию, еще скрытую в Петербурге, говорил дельные вещи, хотя и безусловно мне враждебные. Вот если бы Вы все писали, как он говорит (у него есть и философская эрудиция и способность теоретизировать). Вы же все в статьях ужасные путаники: читаешь и не знаешь, где, что и о чем. То глубина переживания, а рядом философская наивность, а то (рядом же) апелляция к туману, «большим кораблям» [13], «как же иначе» [14] — не то невольное шарлатанство, не то невыясненность — но все под фирмой и маркой всеобъемлющих синтезов, которыми нас не удивите: мы в свое время сами этим занимались и прекрасно понимаем, где проваливаются синтетические дерзания: нужно много лет еще молчания внутри, или эзотеризма в дерзаниях, а на поверхности — работа, работа, работа. Говорил с Мейером долго. Он меня понял: понял мое негодование на профанацию Чулкова, детскость Иванова; но не понял, конечно, на чем основано наше негодование. Хотя бывшим у меня он *не* * понравился.

Итак Вы *не* * анархист: Чулков оказывается, по Мейеру, тоже *не* * анархист. М. Волошин, когда ему в глаза резко бросают осуждение,

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

когда «громят» его друзей, только пыхтит и обливается потом. «Я тут-де в стороне». Дают ему рукопись моей «Штемпел[еванной] калоши». Отвечает: «Хорошо написано» (?!!??!). И только? Почему же он тоже предает своих друзей??[15] С. Городецкого спрашивают о его нищенском лепете в «Факелах».[13] Он отвечает — «это шутка». Как шутка? Извините, в ответ на это может только последовать «конфузливое молчание»; и это молчание не в пользу Городецкого.

Итак тени руками Городецкого, Чулкова, Мейера (Мейер тоже открещивается) заявляют о философском течении, преодолевающем то, что нам с Вами (Вы ведь по Вашему письму тоже символист) не преодолеть. А при личном объяснении с этими «отсталыми» символистами ретируются, потому что нечего сказать: раздаются печатные крики: «Мы, мы, новое учение» и скромно заявляется, что таковое наверное... когда-нибудь будет. Это ли не «хлестаковство»? Вопрос о рекламе выдвигается невольно у меня, Брюсова и мн[огих] других на авансцену петербургского движения. Многие, как Вы, молчат; молчаливо сочувствуют крику, в частных письмах сообщают, так сказать врагам по литературному лагерю («И мы с Вами») и удивляются, что мы их считаем «мист[ическими] анархистами» в неопределенном и подозрительном смысле этого слова. Если Ваши друзья плодят «куцые теории» и выдвигают Вас на своем знамени, почему же Вы не протестуете? Ведь если это квиэтизм, то он именно не есть показатель своего пути, а наоборот — какой-то непонятной «покорности». Разве мне не было тяжело резко выступить против уважаемого мной В. Иванова, разве приятно рвать целый ряд отношений, выслушивать комплименты: «Клеветник». Удобнее было бы молчать и кивать на провокацию. Я считаю своей обязанностью выступить против Петербурга. Когда будет сериозная теория, или соглашусь, или буду сериозно полемизировать, а пока же вижу «вредное беспочвенное многообразное шатание», совращающее и публику, и обесценивающее все ценности, все проблемы.

Вы фальшивы (может быть, вполне бессознательно), или когда заявляете мне, что Вы символист, или когда молчите в ответ на провозглашение Вас одним из знамен подозрительной и несуществующей теории.

Вот мой пространный ответ на то, что я разумею под группой, идейное значение которой равно нулю.

Я не знаю, принадлежите ли Вы к этой группе, как не принадлежит к ней каждый из порознь взятых — Иванов, Мейер, Вы, Городецкий. Чулков и присные. Но каждый из Вас что-то такое считает в нас отжившим, что-то новое каждый из Вас намеком провозглашает. Мы спрашиваем: «Что, объяснитесь подробнее». И все Вы ускальзываете. И мистического анархизма нет. И Вас как бы нет. А факт «большого крика» налицо.

Посему не могу, не могу ответить точно на Вашу просьбу: «Прошу Тебя, хотя бы кратко, указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения». Я во-первых не знаю точной формулы Вашего миросозерцания, Вашего литературного, общественного, религиозного, этического, философского credo. Свое credo формально при Вашем желании могу охарактеризовать. Думаю, что сейчас Вам это не интересно. Я знаю и глубоко люблю Вашу поэзию. Последние периоды Вашей поэзии объективно (как искусство) ценю; многое по «настроению» мистически кажется мне абсолютно враждебным. В «Драмах» Ваших вижу постоянное богохульство; оно с моей точки зрения может иметь и нравственно высокий и очень низкий смысл. Не знаю, из

каких оно фондов, ибо, повторяю, «внутренне» потерял Вас из виду. В статьях Вы пишете образно; из-под образов трудно уловить формальный смысл, а форма — единственный компас при внутреннем непонимании. Ничего не знаю, схожусь или расхожусь. Для этого нужен ряд вопросов, которые не умещаются в пределах и без того растянутого письма.

Вы вероятно многое из моих нападок вообще на Петербург слишком принимаете на свой счет; иногда непроизвольно получаются «намеки», не адресованные ни к кому лично, но предполагающие каких-то лиц с крайне враждебной мне мистической и этической физиономией. Когда я пишу о «кренделе», «чике»[17], адресую не к Вам, а вообще ко всему кругу литературы, в котором Вы вращаетесь. Но и не могу не нападать. Я в данном случае выразитель лишь вообще настроения многих лиц в Москве, не кричащих о соборности, дерзаниях, «333» объятиях[18], но вовсе не считающих себя отсталыми, декадентами, индивидуалистами; «индивидуализм» среди нас (многих) есть лишь маска стыдливости и боязнь профанировать то, что еще очень смутно и ценно в душе.

Перехожу на последний пункт: по вопросу о «veto». Вас вероятно превратно известили. Когда я требовал «veto», то знал, что мое требование не будет принято. Хотелось оборвать переговоры с «Руном». Я ушел из «Руна» после дикого произвола Рябушинского над помощником: этически счел себя в праве проучить «кулака», полагающего, что деньги позволяют ему оскорблять сослуживцев по журналу. Я сначала рекомендовал «Руну» иметь ответственного редактора, указывал на Вас, Иванова, даже Чулкова. И когда «Руно» отказалось, то я потребовал «контроля» над Рябушинским. К этому сводилось мое «veto» с Брюсовым. Если бы Вы, Иванов и пр. были в Москве, я указал бы на Вас. Но, согласитесь, сноситься из-за каждого пустяка с Петербургом немыслимо. Повторяю, мое «veto» было лишь средством скорее оборвать переговоры с «Руном».

Все, что касается у Вас в письме о «veto», есть или превратно понятое (Вы вероятно не так были осведомлены); или Вы не захотели понять:

Мое заявление о том, что Вы — один из корифеев — искренно. «Гримасы идиотизма» — считаю, что они есть у Вас в поэзии, и мне видится тут стилизация, вместо непосредственно детского. Но разве это «инсинуация?» Разве Бэрдсли не «гримасник?» А неужели я не ценю Бэрдсли?

Вот исчерпывающий ответ Вам, милостивый государь; теперь судите, должны ли мы объясниться лично, или разойтись безвозвратно. Я думаю, будущее это покажет.

Примите мои пожелания Борис Бугаев

P. S. Прилагаю мой ответ Рябушинскому.[19]

[1] Это письмо было начато сразу по получении письма Блока от 6 августа (№ 147). Когда же была написана примерно половина этого письма, 11 августа, Белый получил дуэльный вызов Блока (№ 149) и в тот же день отправил ответ (см. письмо № 151). Таким образом, 10—11 августа Белый написал Блоку два письма (№ 150 и 151), из которых первое было начато раньше второго, но отправлено позже его.

[2] Имеется в виду программная статья Г. Чулкова «Молодая поэзия» (газета «Товарищ» 1907, № 337 от 5 августа). Здесь Г. Чулков писал: «Символизм, окрашенный в цвет философского идеализма, стал эволюционировать в сторону нового реализма известного теперь под именем „мистического реализма"... Новые поэтические переживания породили и новую теорию поэзии. Вяч. Иванов провозглашает принципом новой поэзии принцип мифотворчества: тема поэтического творчества для поэта священна, и вокруг той реальности, которую он воспевает, создается некоторый культ».

[3] Имеется в виду брошюра М. Гофмана «Соборный индивидуализм», СПБ, 1907.

«Теория» М. Гофмана — вариация идей Вяч. Иванова и Г. Чулкова о «соборности» в «мистическом анархизме»; никаких самостоятельных мыслей Гофман не высказал.

[4] Имеется в виду помещенная во втором выпуске альманаха «Факелы» (СПБ. 1907) статья С. Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба с точки зрения мистического анархизма». Статья начинается фразой: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе?» Над этой «аргументацией» Городецкого долго потешались в печати. Спустя много лет Белый пародировал статью Городецкого в романе «Петербург».

[5] «О мистическом анархизме». Со вступительной статьей Вяч. Иванова «О неприятии мира», СПБ, 1906.

[6] В органе французских символистов «Mercure de France» 1907, № 242 от 16 июля, была помещена статья Е. Семенова «Lettres russes. Le misticisme anarchique». В этой статье все виднейшие русские поэты-символисты были распределены по трем группам: д е к а д е н т о в (в свою очередь разделенных на «парнасцев» — В. Брюсов, С. Соловьев, М. Волошин и др., и «чистых декадентов» — К. Бальмонт, Ф. Сологуб., М. Кузмин), н е о х р и с т и а н с к и х м и с т и к о в, или «чистых символистов» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Белый) и м и с т и ч е с к и х а н а р х и с т о в, к которым наряду с Вяч. Ивановым, Г. Чулковым и С. Городецким был отнесен Блок. В символистских кругах сложилось убеждение, что статья Е. Семенова была инспирирована Г. Чулковым (подтверждение этому находим в письме Блока к Белому от 15—17 августа, № 152). Классификация поэтов, предложенная в статье Е. Семенова, вызвала всеобщие протесты. Блок и Белый неоднократно возвращаются к этой статье в последующих письмах (см. также прим. 11-е к письму № 152 и прим. 2-е к письму № 158).

[7] См. письма № 149 и 151.

[8] Это письмо Эллиса не сохранилось. Об отношении Блока к Эллису см. во вступительной статье.

[9] Судя по мемуарам Белого, Эллис в молодости действительно занимался социологией и «читал Маркса». О степени глубины этих увлечений достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что впоследствии он стал ортодоксальнейшим мистиком, правоверным католиком и проповедывал воскрешение «святой инквизиции».

[10] Письма Блока к Эллису неизвестны.

[11] Выражение Д. Мережковского.

[12] Белый пишет в мемуарах, что А. Мейер был прислан «петербуржцами» в Москву с заданием «склонять „Перевал" к их воинственной литературной политике» («Омут», стр. 247—248).

[13] Имеется в виду предисловие Блока к сб. «Нечаянная Радость» (1907), где сказано: «Слышно, как вскипают моря и воют корабельные сирены. Все мы потечем на мол, где зажглись сигнальные огни. Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли» (ср. выдержки из рецензии Белого на сб. «Нечаянная Радость» — прим. 1-е к письму № 146).

[14] См. выше, прим. 4-е.

[15] М. Волошин не был связан с «мистическими анархистами» сколько-нибудь прочно и в полемике участия не принимал.

[16] См. выше, прим. 4-е.

[17] Имеются в виду стих-ие Блока «Незнакомка» (см. прим. 4-е к письму № 147) и его лирическая драма «Балаганчик», по поводу которой Белый писал в статье «Синематограф»: «Все, что угодно, только не балаган„ч и к". Уж, пожалуйста, без „ч и к": все эти „ч и к и„ — ехидная и, признаться сказать, гадкая штука...» и т. д. («Весы» 1907, № 7, стр. 51; «Арабески», стр. 351).

[18] Имеется в виду стих-ие Вяч. Иванова «Veneris figurae» («Весы» 1907, № 1 стр. 16):

Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда,
Где страстная ранит разно многострастная услада,
На два пола — знак Раскола — кто умножит, может счесть:
Шестьдесят и шесть объятий и шестьсот приятий есть...
и т. д.

[19] «Ответ» Белого Н. Рябушинскому при письме не сохранился. См. «Письма в редакцию» Белого (газеты «Столичное утро» 1907, № 58 и 62; «Час» 1907, № 23) и Н. Рябушинского («Столичное утро» 1907, № 60 и 66).

151. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

11 августа 1907. Москва

Милостивый государь Александр Александрович!

Меня до крайности удивило Ваше решительное письмо, основанное на извращенном, вероятно, понимании подлинного смысла письма. Ваш

отправленного. В этом письме я Вас уведомлял о том, что отныне Вы чужды мне, как совершенно посторонний человек. Вас это, вероятно, и удивило. А между тем, что же тут удивительного. Просто я понял, что мы говорим на разных языках; то, что Вы называете, например, «корзинкой», я называю «сахарницей» и т. д.

То, что Вы пишете («я склонен приписать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня»), очевидно, совершенно справедливо. Но вот уже 1½ года, как Вы все сделали для того, чтобы недоразумение мое о характере Вашей личности не рассеялось, а наоборот укрепилось. 1) После наших прошлогодних (в августе) недоразумений[1], я открыто сказал себе: «Должно быть я неправ: надо выяснить». Я повернулся к Вам с полной готовностью принять Ваши объяснения о характере наших отношений. Вы промолчали довольно оскорбительно для меня в ответ на мое желание выяснить Вашу личность (а я так нуждался в том, ибо действительно питал к Вам в глубине души такую симпатию, какую редко к кому питал). Я уехал за границу только потому, что питал к Вам симпатию (к Вам и к Вашей супруге); я думал, что расстояние внешнее рассеет путаницу наших отношений (в которой я был, быть может, столь же неправ, как и Вы; но я хотел правды, хотел честно произнесенных слов, а не неопределенно-бездонных молчаний). Я ошибся. Когда, по прошествии 4-х месяцев, я отправил Вам письмо, стихи и карточку[2] (поступок, который Вы извратили), я сделал это под влиянием хорошего, честного чувства. Я Вас продолжал ужасно любить и верить в Вас. Но недоумения мои о нравственном характере Вашей личности, требовали, чтобы я Вас уведомил, что я нуждаюсь в личной беседе с глазу на глаз (где без посторонних свидетелей я мог бы как на духу Вам открыть мои мысли о Вас и без всякой предвзятости, наоборот, с верой, выслушать Ваш ответ). Я хотел нашей перепиской подготовить почву, чтобы гнетущее меня молчание (Вам, как мне казалось, выгодное) рассеялось и чтобы мы, наконец, при личной встрече увидели подлинные лица. Вы ответили опять письмом, общий тон которого мне показался обидным. Мне оставалось сказать себе: «Он паразитирует на моем вынужденном в отношении к нему молчании» (это паразитизм нравственного порядка). Тут я и перестал Вам писать; и объяснения с Вами получили для меня характер «привлечения к ответу». Вы скажете: «это — насилие». Но и насилие это вытекало из желания моего перед лицом моей правды оправдать Вас. Тут я и начал вчитываться в Ваши строчки, перечитывать Ваши письма, стихи; жадно ловить каждую Вашу печатную строчку. Наконец, я часто и много слышал о Вас от посторонних. Вот этот-то интерес к Вашей личности и побудил меня сказать Вам, что я давно за Вами слежу. Вы поняли в буквальном и точном смысле («шпионство»). Вольно ж Вам так понимать. Вот когда я увидел, что пропасть между нами выросла до последних пределов, я и написал Вам, что все между нами кончено; т. е. человек, которого я любил где-то в глубине глубин, стал для меня один из многих. Раз это так, все недоумения мои, мучающие меня, когда они направлены к близкому, теряют свой смысл, когда усилием воли я близкого превращаю в далекого. Падает пресловутое «шпионство» и «лакейство» (хорошие словечки, не правда ли?). И уж тем менее охоты мне принимать Ваш вызов на дуэль (дерутся там, где глубина сошлась с глубиной и нельзя распутать узла: так было в прошлом году, когда я Вас вызывал: теперь не так. Теперь Вы для меня — посторонний, один из многих, а со всеми не перередешься).[3]

Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о «прошении», фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в минуту раздражения, когда после прочтения Вашей статьи, где Вы восхваляете глубоко бездарные «очерки» Скитальца[4], мне передали люди, возмущенные Вашей статьей, что будто Вы черновик читали Л. Андрееву. Быть может, все это и не так (фактически), но что-то во мне вспыхнуло негодованием, и я тут же написал Вам в тоне, действительно оскорбительном. Охотно беру назад слова о «прошении», потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, Милостивый государь, могу сказать только одно: мы друг другу чужды. И если когда-нибудь мы встретимся (не формально), то только тогда, когда Вы искренно захотите объясниться со мной не в превратно понимаемых письмах, не при помощи полемики (о ней я Вам пишу в неотправленном еще письме в ответ на Ваше письмо о литературных делах), а в личной беседе с глазу на глаз, где я мог бы Вам высказать все накопившееся за 1½ года мои недоумения и выслушать какие угодно обвинения меня с Вашей стороны. Как скоро Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только но и сердцем понять, что же это наконец происходит между нами.

Примите и прочее

Борис Бугаев

P. S. Сегодня же постараюсь отправить ответное письмо о литературных «делах».[5]

[1] См. письма № 134—140 и примечания к ним.

[2] Имеются в виду письма № 141 и 142.

[3] В «Воспоминаниях о Блоке» Белый следующим образом объясняет свой отказ от дуэли: «Я задумался над письмом своим [№ 148.— *Вл. О.*]; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку; поводов к дуэли, действительных, не было; в третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет „дуэли"; и слова нарушить не мог» («Эпопея», № 3, стр. 270).

[4] О Скитальце Блок писал в статье «О реалистах» («Золотое руно» 1907, № 5; «Собр. соч.», т. X, стр. 31 — 60) следующее: «Очень характерный безбытный писатель — Скиталец. В недавно вышедшем втором томе его „Рассказов и песен" (изд. „Знания") есть талантливая повесть совсем Горьковского типа. Она называется „Огарки". Это термин, обозначающий Горьковских „бывших людей"... Вся повесть наполнена похождениями огарков, от которых, я думаю, отшатнется „критик со вкусом". Такому критику, я думаю, противен пьяный угар и хмель, но этим хмелем дышат волжские берега, баржи и пристани, на которых ютятся отверженные Горьковские люди, с нищей и открытой душой и с железными мускулами. Не знаю, могут ли они принести новую жизнь. Но странным хмелем наполняют душу необычайно, до грубости, простые картины... Думаю, что эти страницы представляют литературную находку, если читать их без эрудиции и без предвзятой идеи, не будучи знакомым с „великим хамом". И есть много таких людей, которые прочтут „Огарков" — и душа их тронется, как ледоходная река, какою-то нежной, звенящей, как льдины, музыкой».

[5] Имеется в виду письмо № 150.

152. БЛОК — БЕЛОМУ

15—17 августа 1907. Шахматово

Милостивый государь Борис Николаевич.

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прошении, так и я беру назад «словечки о шпионстве и лакействе», вызванные озлоблением.

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопрос о наших личных и литерат[урных] отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь

объяснить, как все началось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне.[1] Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших темпераментов и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами таинственную близость, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистич[еских] переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. Теперь вся разница только в том, что надо мною «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем».[2] Благодаря холоду белого дня, я нахожу в себе трезвость и бо́льшую работоспособность, чем прежде, но и только. По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне — во мне все те же огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно — по пов[оду] «Снежной Маски» — В. Я. Брюсов[3]; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью+трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что по существу — не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драм[атическую] симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. Я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно понимать Вас и писать Вам. Я объяснял это — ленью. Ровно через год мы встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своей ленью. Но это было *не* * единственной причиной... Причина, вероятно главная, сказалась при след[ующих] обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом — м[ожет] б[ыть] — моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы «разного духа», что мы — духовные враги. Но я — очень скептик, тогда был мучительно скептик,—и следующее утро разогнало мой страх. Мне было попрежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения. Потом — пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились, благодаря тому что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узна-

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

вать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но не узнаю, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до с[их] п[ор] не преп[ятствует] моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу душной атмосферы, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, уверяю Вас, эти сообщения ничего не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и уменье быть человеком — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не даст Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это *не* признания, *не* выкрики, *не* фразы, *не* «гам». Все это я пережил и ношу в себе — свои психологич[еские] свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологич[еских] свойств: я предпочитаю людей идеям. Мож[ет] быть, это значит: я предпочитаю бессознательных людей, но пусть и так. Вы должны, если захотите, понять, в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. — Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь — милый, но 10 этих милых — нестерпимая теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, «попускаю». Вина моя перед литературой — велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги перед русской литературой: я допускаю, чтобы Чулков таскал по всем квартирам свою дурацкую схему поэтов [4], уверяя всех, оспаривающих ее, что она «верна только в данное мгновение и что отнюдь не следует ее принимать „вообще"» (или что-то в этом роде), и чтобы он же всучил ее какому-то идиотическому Семенову из Merc[ure] de France (в чем я не был уверен до Вашего письма, п[отому] ч[то] не читаю M[ercure] de Fr[ance]). (Кстати: я напишу на этот раз письмо в ред[акцию] «Весов», где публично, как Вы советуете, отрекусь от мист[ического] анарх[изма]. Но мне нужно для этого знать точно, как именно выражается Семенов, чтобы, опровергая, не проврахться. Потому — откладываю это до П[етер]бурга). Но, послушайте: неужели Вы думаете, что я «предаю друзей врагам», когда пишу Вам или Эллису насмешливо о Чулкове, а потом — «противоречу себе». Когда мне говорят: не правда ли — Чулков подозрителен в таком и таком-то отнош[ениях]? — я уклоняюсь, виляю (да, да), боюсь признаться другому в том, что подозреваю сам. Ведь, когда один человек думает о другом, он свободен, когда же об

этом другом уже «перемигнутся двое» — дело кончено, затравлен человек и от травли еще увеличатся его пороки и еще уменьшатся добродетели. Когда же мне говорят: если Вы честный человек, Вы обязаны признать, что Чулков — негодяй — я отвечаю злостно (о, это не формализм и не чиновничанье!).

Как все это сонно, томительно и странно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно. [5] Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю — и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он — представитель 40-а простых миллионов, а я — представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделать не может с тем, что он темен, а я с тем, что я — еще темнее, даже с «мистич[еским] анархизмом» ничего не могу поделать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь в с е п р о щ е, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это—лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев (какой еще сплетник сообщил Вам, что я читал «черновик» Андрееву? Ни черновика, ни Андреева не было. Ох, уж эти Тата, Зина, Чулков, Вяч[еслав] Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц. Этой зимой вышло однажды из этих рассказов, что я уже умер), но и Л. Андреев, которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, — зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мое хватанье за Скитальца; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что э т о — искусство.

Чувствую, что всем, что пишу, делаюсь еще более чуждым Вам. Но я в с е г д а был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?», спрошу в свою очередь.

Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — л и р и к. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. Е с л и б ы я н е н о с и л н а г л а з а х э т о г о с о н н о г о п о к р ы в а л а, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет т о л ь к о м о я д у ш а, — я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах? (кроме Балаганчика). Почему кощунственны строки: «в подушках, в креслах, на диване...» [6]. Это просто — скверные строки, как п о ч т и все мои стихи — в «Цветнике Ор». Сверх того, именно эти строки еще банальны и «дурного тона». Другое дело — стихи о «Весне» — они кощунственны. [7] Но объясните, что кощунственнее всего и что такое — кощунство? Когда я издеваюсь над своим святым — б о л е ю. Но «Б а л а г а н ч и к у» Вы придаете смысл чудовищный — зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы — он омерзителен, вреден, пожалуй «мистико-анархичен». Поверните

проще — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества и с какими-то типиками — неудавшимися картонными фигурками живых людей.—

Мои «хроники» в Руне суть рассуждения на изв[естные] темы. Никаких синтетических задач не имел, ничего окончательного не высказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, м[ожет] б[ыть], никому ненужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором, или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет на то ни образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем войске (войске людей с отточенными мировоззрениями) действовать я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое, попрежнему, лежит ближе к Вам, чем к факельщикам. Вот почему мне бывает больно, когда Вы, или лица из Вашего кружка, относятся ко мне, как к совершенно чужому. Среди факельщиков (неуловимых, как я с Вами совершенно согласен) стоит особняком для меня Вяч[еслав] Иванов, человек глубоких ума и души — не пустышка.[8] Мы оба — лирики, оба любим колебания друг друга, так как за этими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую, мы расходимся с Вяч[еславом] Ивановым. К пунктам расхождения, очень важным, принадлежит, например, Л. Андреев, или мистич[еский] анархизм.

Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же — сомнения и страхи находят и на часового. Если мы действительно расходимся с Вами «в глубине глубин», то значит основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной Маски» (впрочем, кое-что и я *подозреваю* * в «Снежной Маске», но и *здесь* * кощунство тонет в ином — высоком).

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы верить лирику, каков я, т. е., в худшем случае,— слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит нет, чем да. Примите во внимание, что речь идет обо мне, никогда не изменявшемся по существу. В таком случае, если и Вы — неизменны — нет причин не верить теперь, или не было причин верить тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, не изменяет Вас по существу; Вы — все тот же, каким я Вас знал и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, ужь я наверное знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: надоело Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы — перед Вашим делом, что во мне есть то, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в идейном смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е. не сходиться так, как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я храню его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда, Вы, я допускаю, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

и неверной, чем Ваша. Но тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы — вернее меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я верен. Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу — слова, слова, слова. Но, право, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит не Балаганчик, клянусь. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажании символа на пароход»[8], которые, опять таки,— поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать — чорт с ним.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании из литературы мистич[еского] анархизма, которому он потакает да и еще кое о чем — более важном». Хорошо, я буду отвечать Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еще хаотичнее. Потому, м[ожет] б[ыть], лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». Теперь, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву; м[ожет] б[ыть], это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю, как могу.

Да, мистич[еский] анархизм, соборн[ый] индивидуализм, эротизм, мистич[еский] реализм — я анализировать также не считаю возможным в том виде, в каком они существуют или не существуют в книгах Чулкова и Гофмана. Да, я разделяю Ваши опасения относит[ельно] «зари мистич[еского] хулиганства». Да, я признаю себя виновным в «потакательстве», которое выражалось в том, что я допускаю такие заявления, как в «Mercure de France». Не оправдываюсь. Потому, сочту своим долгом сказать нет этим теориям в письме в ред[акцию] «Весов». Считаю, что должен это сделать скорее, потому обращаюсь с просьбой к Вам; не имею в Москве другого источника. «Merc[ure] de France» я не имею возможности видеть, Вы же бываете в «Весах». Если бы Вы выписали мне точно ту фразу, в которой я причисляюсь к мист[ическим] анархистам, я был бы Вам очень обязан. Подписана ли статья Семеновым или кем-ниб[удь] другим? Это — первое. Впрочем, прибавлю все-таки: неужели я литературно подавал повод причислять меня к мист[ическому] анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весы» и Вы имеете лишь формальные поводы причислять меня к эт[ому] направлению (на основ[ании] статей Чулкова и пр.), но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня.

Мое письмо в редакцию будет иметь для меня значение развязыванья рук и окончательного разрыва с теми тенденциями, которые желают поставить на первый план мою зыблемость (мистич[еский] анархизм и значит — адогматизм, иррационализм и т. д.), между тем как я сам ставлю на первый план мою незыблемую душу, «верную, сквозь всю свою неверность».

Далее: при всей неточности своего мировоззрения, я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Поэтому я издавна отношусь к вышеук[азанным] теориям, как к лирике — и никогда не возвожу их в теории, принципы, пути. Но за-

чем Вы говорите о карьеризме и т. п. Всем нам приходит это в голову. Но, ради бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или наклонностей к порокам — раздувает их, треплет и губит человека, а не писателя. Можно ли, например, писать, как З. Н. Гиппиус: «Чулков пристал к Блоку».[10] Ведь это — неуважение к самой себе.

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним — из всего остального.[11]. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. М[ожет] б[ыть], если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинности друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом — невозможно. Ну, так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое Пока же примите мое уверение в уважении к Вам.

Александр Блок

Забыл сообщить: пишу Тастевену[12], что, по моему личному мнению, Ваше письмо в ред[акцию] Зол[отого] Руна с возражением Вольфингу следует поместить. Если же в этом письме содержатся «резкие выходки», как утверждает Рябушинский, то пусть редакция оговорит их в примечании.[13]

[1] О. М. Соловьева писала матери Блока — А. А. Кублицкой-Пиоттух 22 декабря 1902 г.: «Боря [А. Белый] очень хочет написать Саше [Блоку], но не решается и просит, чтобы я спросила, не сочтете ли вы это странным или неловким» (неопубликованное письмо в Гос. литературном музее).

[2] Из стих-ия Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами».

[3] «Нам кажется, что именно снежность, вечная холодность составляет самое существо А. Блока, и что огненные вихри его переживаний подымаются только с ледяных полей его души» («Весы» 1907, № 5, стр. 67).

[4] См. прим. 6-е к письму № 150.

[5] Это письмо (от 14 августа) до нас не дошло.

[6] Из стих-ия «Послание», напечатанного в альманахе «Цветник ор», СПБ, 1907, стр. 97:

В подушках, в кресле, на диване
Живут стыдливые слова,
Мечта твоих благоуханий
На смятой ткани все жива.

По поводу этих стихов Белый писал в рецензии на «Цветник ор»: «И у лирика есть круг обязанностей: держать высоко знамя искусства. Но [Блок] кощунствует и на лирику, признавая Чулкова поэтом, надоедая дешевым и приевшимся модернизмом, доходя до таких стихов:

В подушках, в кресле, на диване
Живут стыдливые слова...».

(«Весы» 1907, № 6, стр. 97). Перепечатывая «Послание» в сб. «Земля в снегу» (1908), Блок исключил эту строфу (нет ее также и во всех остальных изданиях его стихов).

[7] Имеется в виду цикл «Ненужная весна» (из трех стих-ий), напечатанный в «Цветнике ор» (стр. 99—101). Белый в указанной выше рецензии, процитировав стихи Блока о «Весне»:

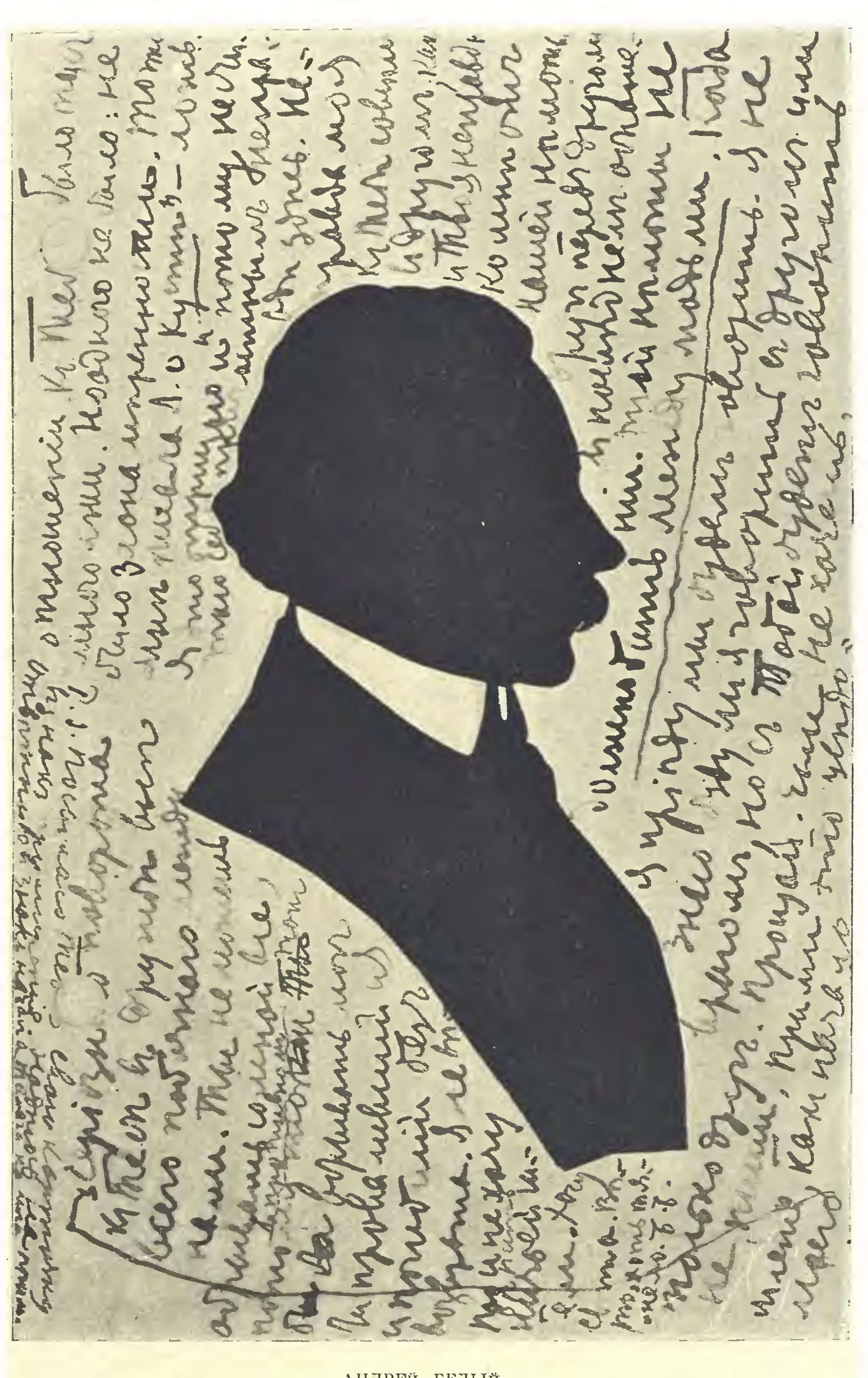
Она сера и неумыта,
Она развратна до конца,—

писал: «Ах, Весна ли развратна? Весна безразлична сама по себе; всякий вносит в Нее свое содержание. На кого же сердиться поэту, если и Весна для него развратна? И хочется вздохнуть: «Надоели ералашные глубины: будьте хоть лириком, г. Блок, если вы не мистик; а то вы по старой привычке все еще провещиваетесь там, где, вопрос только в отделке стиха» («Весы» 1907, № 6, стр. 68). Цикл «Ненужная весна» не был включен Блоком ни в один из его стихотворных сборников.

[8] Ср. заметку Блока в «Записных книжках», стр. 75.

[9] Имеется в виду стих-ие «Поэт» (1905):

...Ему хочется за море,



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Силуэт с текстом письма к А. Блоку от 23 ноября / 6 декабря 1906 г. (№ 141)

Увеличено почти в 1½ раза

Государственный Литературный музей, Москва

А. А. Блоку

Я помню — мне в вечер холодной
Твой ясный светилъ ореолъ,
Когда ты дорогой свободной
Дорогой нечающей шелъ.

Былого восторга не стало.
Все страшно: прошло — отошло.
Восторгомъ въ ночи пропивало
Мое огневое чело.

И мы потухали, какъ свечи,
Какъ въ ночь опускался закатъ.
Забылъ ли ты прежнія речи
Мой странный, таинственный братъ?)

Ты ~~зн~~ видишь — въ пространствахъ безкрайныхъ
Сокрыта завѣтная цѣль.
Но въ пыткахъ, не въ ужасахъ тайныхъ
Ты [illegible] за звезды:— ушелъ?

Тебѣ ль ничего я не значу?
И мнѣ ль ты противникъ и врагъ?)
Ты видишь — зову я и плачу
Ты видишь — я одѣнъ и нагъ.

Но, милый, не вѣрю, въ потерю [redacted]:
Не гаснетъ безкрайняя высь
Молчанью не вѣрю, не вѣрю.
Не вѣрю — и жду: отзовись

Боря.

[illegible]

ПИСЬМО А. БЕЛОГО к БЛОКУ ОТ 24 НОЯБРЯ/7 ДЕКАБРЯ 1906 г. (№ 142)
Слегка уменьшено
Государственный Литературный музей. Москва

— А эта Дама — добрая?
— Да.
— Так зачем же она не приходит?
— Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе.

Белый обрушился на эти стихи в рецензии на сб. «Нечаянная радость» (см. прим. 1-е к письму № 146).

[10] В какой именно статье З. Гиппиус содержится приведенная Блоком фраза — установить не удалось.

[11] О впечатлении, произведенном на Блока письмами Белого, см. во вступительной статье. 17 августа Блок писал Е. Иванову: «Все обошлось, Андрей Белый отказался от своих слов. Мы с ним в обширнейшей переписке. Теперь я не думаю, что он — сумасшедший, письма пишет умные» («Письма к Иванову», стр. 61). В тот же день, 17 августа, Блок написал Г. Чулкову: «Вот в чем дело. „Весы" меня считают „мистическим анархистом" из-за „Mércure de France." Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом Андрей Белый, с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму по существу я совсем не имею никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою зыблемость, неверность. Я же

Неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду,
Храня незыблемую душу
В моем неслыханном аду.

Это — первое. Второе — это то, что я не относился к мистическому анархизму никогда, как к теории, а воспринимал его лирически. По всему этому не только не считаю себя мистическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатано, в письме в редакцию, например, «Весов». Пока это не сделаю, меня все будут упрекать в том, к чему я не причастен» («Письма», стр. 142; цитированы, не совсем точно, стихи С. Городецкого. См. также письмо Блока к Г. Чулкову от 26 августа — там же, стр. 143—144).

[12] Письма Блока к Г. Тастевену неизвестны.

[13] Речь идет о «Письме в редакцию» по поводу статьи Э. Метнера «Борис Бугаев против музыки», напечатанной, за подписью «Вольфинг», в «Золотом руне» 1907, № 5. Письмо Белого было помещено в «Перевале» 1907, № 10, стр. 58—60. Здесь Белый заявил: «Это письмо было отвергнуто редакцией „Золотого руна" на том основании, что я не захотел вернуться в состав сотрудников. Между прочим мне было указано на то, что в моем письме есть „выходки" против некоторых писателей. Предоставляю на суд публики, представляет ли мое письмо „выходку", или нет».

153. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<19 августа 1907. Москва>[1]

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Ваше письмо произвело на меня глубокое и сильное впечатление. Многое понял о Вас я достоверно. Весь трагизм, постепенно выроставшего непонимания Вас с моей стороны, быть может от того, что это письмо написано не полтора года тому назад. Я вовсе не хочу слов, формул, как цели, но хочется формулой успокоить ум, чтобы тем вернее верить людям, а не идеям; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи и тут-то становишься на строго-моральную точку зрения. Когда изменяют ценности, как слепой, руководствуешься только долгом. Вероятно Вы не подозревали о том, как перемучился я сомнениями о Вас за истекшие полтора года, подкрепляемые Вашим (в моем представлении намеренным) молчанием, т. е. (опять таки по-моему намеренным) нежеланием сказать вслух о том, что каждый из нас (про себя) мог думать друг о друге. Наконец полемика между Москвой и Петербургом окончательно затушевала Вас.

Ваше письмо для меня — факт громадной важности, ибо я действительно считал всегда наши отношения роковыми (независимо от разности или сходства, *независимо* * от созданного положения вещей между нами).

* Подчеркнуто трижды.— Ред.

Я знал, что из «Праги» за мной посылали *Вы* (конечно чутьем) и тем больнее мне было, когда я вернулся (уходил к незначительным знакомым отдохнуть от суеты дня); я ждал утром, что вот меня позовут. Но, может быть, это к лучшему; ведь только о такой письменной подготовке наших отношений, какая создалась Вашим письмом, я и мечтал, когда имел честь писать вам из Парижа.[2] Тем больнее мне было, что Вы тогда (как мне казалось) не хотели понять этого моего желания быть проще, проще, проще.

Мне думается, было бы важно, нужно нам увидаться. Если бы Вы сочли возможным приехать в Москву, я считал бы очень важным для себя, для нас поговорить с Вами сериозно и искренне как о том, что не вполне укладывается в письмах, так и о прочем (литературном). В случае, если Вам трудно приехать, известите. Тогда я отвечу Вам подробно на Ваше письмо, сообщу фразу из «M[ercure] de Fr[ance]», и т. д.

Жду очень или Вас, или письма с указанием на Ваш адрес. Верьте, я принял Ваше письмо с той же глубиной искренности, с какой оно написано Вами. Спасибо!

Крепко жму Вашу руку.

Глубокоуважающий Вас Борис Бугаев

[1] Датировано на основании следующего письма Белого от 19 августа, где сказано: «Я отправил Вам сегодня письмо...».
[2] См. письмо № 141.

154. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

19 августа 1907. Москва

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

я отправил Вам сегодня письмо, но спохватился: отправил его не заказным. Ввиду частой потери писем считаю нужным повторить Вам резюмэ отправленного письма еще раз.

Ваше письмо для меня — событие большой важности. Я радуюсь во-первых тому, что Ваш образ выясняется в моей душе, приближаясь к тому месту, которое он должен занимать независимо от того, сходимся мы или нет, враждебны мы по духу или сходственны. Все эти различия темпераментов, вкусов, индивидуальности, конечно, имеют значение в определении рельефа отношений, но они не касаются вопроса о нравственном пьедестале личности. Считая, что этот пьедестал независимо от всех моих недостатков, падений, кощунств у меня остался незыблемым, я долгое время не мог сообразоваться, как же мне на Вас смотреть (сверху вниз, снизу вверх, на одном уровне). А я всегда бы хотел Вас видеть независимо от всех возможных сближений и удалений психологических для себя на пьедестале. Ваше письмо открыло мне глаза на многое. Лирический пафос души, предполагающий слова о несказанном, я способен и ценить, и понимать; я никогда не требую объяснений; но раз многое во взаимной лирике столкновений переходит в диссонанс, то нужно для исчезновения химер взаимного недоверия перейти к твердыням трезвого уяснения. И вот тут-то и невольно хочешь, чтобы туман несказанности на время рассеялся и обозначилось то, что под ним: вершина или болото. Ваше письмо меня во многом успокаивает раз навсегда.

Во-вторых я рад, что Вы стали на ту точку зрения по отношению ко мне, на какую я пытался стать по отношению к Вам еще в бытность

мою в Париже; но вероятно письмо мое не выражало сущности моих намерений и Вы отнеслись к нему лишь как к лирическому моменту, а не как к трезво обдуманному решению. Это и породило дальнейшую неясность наших отношений. Сегодня я в первый раз за полтора года чувствовал себя нравственно успокоенным: это показывает Вам без слов, насколько тяжело мне было мое вынужденное отношение к Вам и насколько я люблю Ваш образ в своей душе (каким бы он ни был, родственным или враждебным) видеть на подобающем пьедестале.

Александр Александрович, Вы напрасно полагаете, что я забыл Вас: вопреки кажущейся экспансивности и легкости я никогда ничего не забываю. Но я был вынужден не смотреть в те области наших отношений, где все у меня звучало «симфонией». Это было вероятно тяжелее всего мне самому. Но я решил не щадить во имя (правильно или неправильно) понятого долга ни себя, ни кумиров, ни тем более друзей. С своей точки зрения я нес тяжелый и добровольный крест; насколько объективно правильна была моя точка зрения, это другой вопрос.

Ваше письмо успокоило меня: Ваша ясная и безусловная искренность пробила глубокую брешь в моем непроизвольно выросшем за полтора года недоверии к Вам, как объективно высокой и благородной личности. Есть сфера глубоких и интимных отношений наших, где я хотел бы выяснить «наши провинности» друг относительно друга (если желаете только формально, если желаете и интимнее); и потому-то мне было бы дорого видеть Вас в Москве; это было бы очень важным для меня быть может, это было бы нужно и Вам — не знаю... *Я жду с нетерпением* * Вас в Москве (чем скорее, тем лучше) или же уведомления о Вашем точном адресе; в последнем случае я отвечу Вам возможно искреннее и подробнее в ответ на Ваше письмо, не обязывая Вас, конечно, отвечать (не напрашиваясь на переписку — сохрани боже!). Я сообщил бы Вам тотчас подлинную выдержку «M[ercure] de Fr[ance»] (буду в «Весах» только послезавтра, а потому и не привожу ее в отсылаемом письме). *Я очень* * хотел бы видеть Вас, но... при условии, что Вы сочтете и для себя нужным наше свидание.

Вообще я хотел бы абсолютной свободы, простоты, честности и возможной открытости в наших отношениях и потому бога ради не делайте никаких вынужденных поступков ради меня.

Смотрите на меня, как на человека, который при всей своей слабости, неуверенности, тактике поведения в последнем счете с Судьбою не стремится ни к чему иному кроме Правды. Если он выбирает не те пути, если запутывается в сложности «многоликости» и «двусмысленности» явлений жизни, если в борьбе с кажущейся ему «многоликостью» надевает подчас разные маски, он искренно стремится к единому лику цели, он считает свои маски только забралами опущенных на лицо шлемов, когда враждебные силы наносят меч над тем, что ему дорого.

В течение последнего года смерть не раз глядела в мои глаза, и я полюбил ее тихое дуновение, ее «синие пустыни». Каким бы я ни казался Вам издали, мне терять нечего, ибо все временные ценности заколебались предо мной, а сердце не устало биться навстречу ценностям вечным. И «летейский шопот» слушаю я сквозь всю суету внешних отношений, литературной тактики и пр. со сладкой грустью.

---

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

Я не боюсь смерти, но и не ищу ее. Я знаю, она меня найдет; но я не устал верить, что через смерть я приду к воскресению.

Простите меня за это невольное признание. Оно вызвано тем лирическим подъемом, который пробудило во мне Ваше письмо.

Остаюсь глубокоуважающий и признательный Вам за Ваше дорого мне прозвучавшее письмо.

Борис Бугаев

155. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

21 августа 1907. Москва

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

Пишу Вам чисто литературное письмо. Прилагаю точную выдержку из статьи Семенова в «Mercure». «J'ai eu l'occasion», пишет Семенов, «de mentionner parmi les nouveaux courants de la littérature russe, l'anarchisme mystique, et de citer un de ses protagonistes, Georges Tchoulkoff, directeur des Flambeaux. Comme nous allons le voir tout de suite, l'anarchisme mystique n'est pas une école mais un courant de la nouvelle poésie russe, comme l'appellent beaucoup [курсив мой] de jeunes qui se parent d'un titre générique ou plutôt générale de symbolistes et qu'on peut diviser en trois branches: décadents, romantiques néochrétiens et anarchistes mystiques, lesquels se subdivisent encore. Les décadents sont: 1) Les Parnassiens: Valery Brussov, Serge Soloviev, Max. Volochine etc. 2) Les décadents purs: K. Balmont, Féodor (почему не Théodor?) Sologoub, M. Kouzmine etc. Les romantiques néochrétiens ont les meilleurs noms: D. Merejkovsky, Z. Hippius, D. Philosophoff (это поэт-то?), Berdiaieff (???), André Biely etc....Enfin les anarchistes mystiques sont représentés par le groupe de: Viatcheslav (почему не Vinceslav?) Ivanoff, Alexandre Blok, Serge Gorodezky, Georguy Tchoulkoff». * Далее Семенов приводит чулковский вздор, имеющий вид манифеста и заключает чуть ли не так: «Ainsi parla Tchulkoff» ** (Так говорил Заратустра!). Глубокоуважаемый Александр Александрович, глубоко приветствую Ваше намерение «заявить о Вашей самостоятельности относительно м[истического] анархизма, реализма, соб[орного] индивидуализма». Сознайтесь, ведь там пахнет провокацией (я не о людях, а о коллективном уклоне в хулиганство). «Весы» с большим удовлетворением примут это заявление, как доказательство Вашей «самости».

До Вашего извещения об адресе или быть может личного свидания?

Примите уверение в совершенном почтении и преданности

Борис Бугаев

[1] См. газету «Свободные мысли» 1907, № 13 от 13 августа,— фельетон П. Пильского «Палка хромого».

---

* Говоря о новых течениях в русской литературе, мне уже случалось упоминать о мистическом анархизме и цитировать одного из стоящих во главе его лиц, Георгия Чулкова, руководителя изд-ва «Факелы». Как мы сейчас убедимся, мистический анархизм является не школой, а течением новой русской поэзии, как называют его многие (...) из молодежи, которые украшают себя родовым, вернее общим, званием символистов и которых можно разделить на три направления: декаденты, неохристианские романтики и мистические анархисты, имеющие дальнейшие подразделения. К декадентам принадлежат: 1) Парнассцы: Валерий Брюсов, Сергей Соловьев, Макс. Волошин и т. д. 2) К чистым декадентам: К. Бальмонт, Федор (...) Сологуб, М. Кузьмин и т. д. К неохристианским романтикам принадлежат лучшие имена: Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов (...), Бердяев (???), Андрей Белый и т. д.... Мистические анархисты, наконец, представлены группой: Вячеслав (...) Иванов, Александр Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков». — Ред.

** За последнюю фразу не ручаюсь ибо сегодня ее глазами не видал, но помнится, будто прежде читал; наконец ее процитировал П. Пильский в газете «Свободные Мысли».[1] [Перевод: Так говорил Чулков.— Ред.].

156. БЛОК — БЕЛОМУ

22 августа <1907. Шахматово>

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич,

За письмо — спасибо Вам. На этих днях хочу приехать в Москву, поговорить с Вами. О том, что Вы мучались за последние полтора года — я знаю. Но всем трудно, всем тяжело. Спасибо за то, что Вы захотели принять мое письмо так же искренно и просто, как оно написано.

Искренно Вас уважающий

Ал. Блок

P. S. Приеду, м[ожет] б[ыть], 24-ого вечером, зайду к Вам, если у Вас вечер занят, оставьте записку, подожду до утра.[1]

[1] 24 августа Блок приехал в Москву и имел с Белым двенадцатичасовый разговор (с семи вечера до семи утра), подробно пересказанный Белым в его мемуарах («Эпопея», № 3, стр. 270 — 280; «Омут», стр. 327 — 330). См. вступительную статью.

157. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

26 августа <1907>. Москва

Милый Саша,

я считаю долгом — радостным и вместе спокойным — сказать Тебе, что я считаю наш с Тобой разговор настолько твердым и решительным, что мое отношение к Тебе вероятно определилось на все те годы, которые суждено мне прожить на земле. Во мне Ты уж больше не пошатнешься: образ Твой мне близок и ясен таким, каким Ты предстал мне в Москве. Многое из того, что приближало меня к Тебе в прошлом оказалось моей фикцией, но за то другое, что я в Тебе ценил, и что было у меня к Тебе во время нашей переписки (до знакомства), определилось и обозначилось: и еще кое-что, чего я не видел, или чего в Тебе не было еще выявлено, тут я понял: понял и полюбил. Я пишу нарочно о себе, потому что 1) мое отношение к Тебе теперь (ясное и в высшей степени дружественное) не зависит от того, как Ты ко мне относишься: все равно: близок я Тебе или далек, Ты мне близок: и я сам для себя молчаливо изваиваю на камнях скрижали завета моего отношения к Тебе: вера, уверенность и *любовь-солидарность.* * 2) Я верю, что и Тебе будет теперь легче ко мне относиться в те минуты, когда захочешь ко мне повернуться лицом. У нас друг к другу теперь дружба освобождающая, а не порабощающая, как прежде.

Спасибо Тебе, спасибо! Спасибо за то, что Ты — такой, а не другой.

Я считаю долгом Тебя предупредить, что в ближайшем № «Весов» Ты найдешь заметку о соборном гаме[1], которую я писал в эпоху моего письма к Тебе (за которое Ты меня вызвал на дуэль). Она направлена против Петерб[ургской] атмосферы: она гораздо сдержаннее («Синематографа»[2]), но и там есть небольшие черты, которые как будто между прочим обращены против Тебя: *но тогда я ничего не знал* *, я видел вместо Тебя — ужас. На другой день после нашего свидания хотел ее изменить, но «Весы» сказали, что номер на-днях выходит, что поздно что-либо менять, решительно отвергли мои просьбы, ссылаясь на технику печатания. Если бы заметка моя была в стиле «Синематографа», я во что бы то ни стало остановил бы №, но поелику она сдержаннее, я подчиняюсь. Выругай меня печатно

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

за нее. Вообще не стесняйся и ругай меня в печати: это не может изменить моего гранитно-дружественного и близкого отношения к Тебе отныне. В заметке моей есть следы морального пафоса против провокации: отныне в статьях против Петербурга я Тебя отделяю от всех прочих для меня подозрительных, ибо *теперь я знаю, кто Ты.* * Я хотел бы, чтобы следы прошлого не посягали против того, что соединило нас солидарностью в Москве. Это — убегающая тень: вот она истает. Мне радостно, что я Тебя нашел: я уверен, что я Тебя не потеряю.

Остаюсь радостно любящий Тебя

Боря

P. S. Фельетоны о театре Коммиссаржевской[3] и о «Жизни Человека»[4] пришлю. Мой привет и уважение Александре Андреевне.

[1] «На перевале. IX. Детская свистулька» («Весы» 1907, № 8, стр. 54—58; перепечатано в «Арабесках», стр. 263—268). Под «певчей птицей» в этой статье Белый имел в виду Блока (см. «Эпопея», № 3, стр. 260).

[2] «На перевале. VIII. Синематограф» («Весы» 1907, № 7, стр. 50—53; «Арабески», стр. 349—353).

[3] Два фельетона — «Символический театр (к гастролям Коммиссаржевской)», напечатанные в газете «Утро России» 1907, № 1 от 16 сентября и № 11 от 28 сентября (перепечатаны в «Арабесках», стр. 299—313). Здесь Белый подробно писал о постановке «Балаганчика», которую смотрел в сентябре 1907 г. во время московских гастролей театра В. Ф. Коммиссаржевской.

[4] «Смерть или возрождение?» («Жизнь Человека» Леонида Андреева) — в газете «Литературно-художественная неделя» 1907, № 1 от 17 сентября (перепечатано в «Арабесках», стр. 491—497).

158. БЛОК — БЕЛОМУ

26 августа 1907. <Шахматово>

Глубокоуважаемый и дорогой Боря.

Всегда буду помнить ночь и утро, которые мы провели с Тобой в Москве. Чувствую ясно, какой тишиной и печалью великой важности они были овеяны. Не думай, что я забуду. Мы разно живем, совсем разно, но у нас взаимно нет и не должно быть ничего нарушающего и оскорбляющего нашу роковую близость. Помни меня и Ты, как я буду помнить Тебя. Уезжаю отсюда с чувством простым и ясным к Тебе.

Прошу Тебя — отдай сам в «Весы» прилагаемое «Письмо в редакцию (и проставь № «Mercure de France»).[1] Письмо Твое получил, и цитата из Семенова побуждает меня решительно к определ[енному] действию. Хочу только, чтобы это было именно в такой форме — и не упоминаю имени гонимого бедняги Чулкова.[2] Ввиду того, что письмо опровергает Семеновскую статью, нахожу невозможным тут же упоминать и «соб[орный] индивид[уализм]» и «мист[ический] реализм». Мне, конечно, приятнее всего, чтобы дело это шло через Твои руки, потому прошу Тебя.— Адрес мой сообщу Тебе, когда найду квартиру (уезжаю отсюда 28-го). Когда вздумается — напиши мне.

Глубоко преданный Тебе

Александр Блок

[1] Это «Письмо в редакцию», помеченное 26 августа, было напечатано в «Весах» 1907, № 8, стр. 81 (перепечатано в «Собр. соч.», т. X, стр. 345—346). Текст его следующий:

«В № „Mercure de France" от 16 июля этого года г. Семенов приводит какую-то тенденциозную схему, в которой современные русские поэты-символисты рассажены в клетки „декадентства", „нео-христианской мистики" и „мистического анархизма". Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев,

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с „мистическим анархизмом", о чем свидетельствуют мои стихи и проза».

² Г. Чулков в неизданном письме к Блоку от 20 августа 1907 г. написал: «Ничего не имею — конечно — против желания Вашего отказаться печатно от мистического анархизма, но очень прошу Вас об одном: позвольте мне предварительно ознакомиться с этим Вашим „письмом в редакцию". Ведь я нигде и никогда—насколько помнится—в печати Вас не называл „мистикоанархистом" и за мнения других не отвечаю. Вас „мистикоанархистом" называли мои критики, а не я. Я дружески прошу Вас не придавать Вашему письму такой формы, которая дала бы повод думать, что именно я Вас записывал в адепты моей теории: это было бы неправдою. Я сам пишу статью по поводу „Mercure de France" (в о з р а ж а ю Семенову), где и заявляю о том, что не считаю возможным кого-либо приписывать к „мистическому анархизму" в качестве его сторонника и выразителя... Я, конечно, предпочел бы, чтобы Ваше „письмо" появилось в „Золотом руне", а не в „Весах". Ведь в „Весах" оно появится рядом с новым манифестом и для читателей будет ясно, что Вы солидарны с теми, которые бросают в меня камни».

26 августа Блок сообщил Г. Чулкову текст своего «Письма в редакцию» и объяснил, почему именно в «Весах» он решил его опубликовать: «Я сделаю это в „В е с а х", потому что глубоко уважаю „Весы" (хотя во многом несогласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с „Новым Путем". „Весы" и были, и есть событие для меня, а, по-моему, и вообще — событие, и самый цельный и боевой теперь журнал... Имени Вашего в „письме" этом не упоминаю, как видите. Подчеркнуть мою несолидарность с мист[ическим] анархизмом в такой решительной форме считаю своим м и с т и ч е с к и м д о л г о м т е п е р ь. Мист[ическому]анархизму я никогда не придавал значения и он был бы, по моему мнению, забыт, если бы его не раздули теперь» («Письма», стр. 143—144).

159. БЛОК — БЕЛОМУ

1 сентября 1907. Петербург

Милый Боря.

Уезжая из Шахматова, я на станции получил Твое письмо. Это было последнее летнее впечатление — светлое, радостное, надежное, ободряющее. Будь уверен, что Ты — из близких мне на свете людей — один из первых: очень близкий, таинственно и радостно близкий. Все эти дни я думаю о Тебе много и светло, с настоящей любовью и верой. Наша встреча в Москве имела для меня значение, какого я не ожидал: после нее — каждый день прибавляет мне знания о Тебе и веры в Тебя. Это — какое-то новое знание, не прежнее, и, действительно, о с в о б о ж д а ю щ е е, говоря Твоим радостным словом. Оно открывает мне Тебя впервые как ч е л о в е к а прежде всего — человека, измученного глубоко и реально и всегда носящего в себе правду и верность. Образ Твой ношу в с е б е и л ю б л ю в ы с о к о й л ю б о в ь ю.

Судя по некоторым встречам, пока, мне кажется, нынешний Петерб[ургский] «сезон» будет совсем не похож на предыдущий. Не могу еще судить достоверно, но, мне кажется, что хулиганский уклон уже сознан. «Письмо в ред[акцию]» В е с о в, которое послал Тебе, считаю важным для себя и все укрепляюсь в сознании необходимости его для меня. Чулков, говорят, совсем удручен всей травлей, но я буду его утешать по-человечески, а не по-мистико-анархически, как склонен был утешать прежде. Еще не видал его. Что касается Твоей заметки в след[ующем] № Весов [1], то заранее ничего не имею против нее по отн[ошению] к себе, тем более, что Ты объяснил мне ее происхождение.

Эту неделю я живу временно: Демидов переулок, д. 16, кв. 35. Сентября с седьмого окончательно переселяюсь: Г а л е р н а я 41, к в. 4; это будет п о с т о я н н ы й адрес. Пиши мне, когда захочешь, также буду и я. Кроме того, я надеюсь и хочу видеть Тебя в Петерб[урге], хотя бы на лекции. [2]

Целую Тебя крепко и радостно, милый друг.

[1] См. прим. 1-е к письму № 157.
[2] Намечавшаяся в Петербурге лекция Белого не состоялась.

160. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Сентябрь 1907. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Михаил Иванович Сизов мой близкий и любимый друг. Я так хотел бы, чтобы он лично передал Тебе мой привет.

Остаюсь любящий Тебя

Твой Боря

[1] Датировано по связи со следующим письмом.

161. БЛОК — БЕЛОМУ

23 сентября 1907. Петербург

Милый Боря.

Отзовись. Мне кажется, что впечатления от «Балаганчика» на сцене[1] вновь подтвердили Твои опасения относительно меня. «Утра России» я не мог достать потомучто оно не продается здесь, и не читал Твоего фельетона, о котором только слышал от чужих.[2] Пришли.

Дело не в «Балаганчике», которого я не люблю, не в том, что физиономия Петербурга этого сезона совершенно иная, чему способствует уже и будет способствовать Л. Андреев (я с ним познакомился; он уж очень простоват и не смотрит прямо). Дело в том, что растет какое-то тяжкое беспокойство. Я боюсь за будущее всех нас. При всей сложности и запутанности здешних отношений и «вопросов» — во мне преобладает бодрая печаль.

Мне очень надо услышать слово от Тебя. Если бы я был уверен, что мне суждено поставлять на свете только «Балаганчики», я постарался бы просто уйти из литературы (может быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления. Могу и один, хотя бы меня травили со всех сторон. Но мне нужно знать теперешнее Твое отношение ко мне. Наше московское свидание оставило на мне глубокий след. Мне нужно или Твоей дружеской поддержки, или полного отрицания меня. Только — не подозревай, потомучто я всеми силами хочу признаться в своей вине перед всеми, насколько и как только сознаю ее. Я допускаю, что я имел дурное влияние на Чулкова (в чем он упрекает меня), что я-то и есть настоящий мистический анархист (что утверждают Чулков и Философов[3]), что я был настоящим элементом разложения. Но все это — не подлинный я. И мое «письмо о мист[ическом] анарх[изме]» (в «Весах») исходило от меня подлинного, но, мож[ет] быть, благодаря своей печатной и широковещательной форме, приняло *форму* «сверхчеловеческой мании величия» и т. п. Но я не страдаю манией величия, я не провозглашаю никаких черных дыр, я не приглашаю в хаос, я ненавижу кощунство в жизни и литературное кровосмесительство. Я презираю утонченную ироническую эротику. Поскольку все это во мне самом — я ненавижу себя и преследую *жизненно* и *печатно* сам себя (напр[имер] в статье «О лирике»[4]), отряхаю клоки ночи сам с себя, по существу светлого.

Ответь.

Любящий тебя глубоко

Саша

М. И. Сизов передал мне Твое письмо. Мы говорили с ним, но еще не довольно, и он не совсем ясен мне. Он привез с собой много Москвы.

[1] Во время Московских гастролей театра В. Ф. Коммиссаржевской.

[2] Имеется в виду первый фельетон «Символический театр», напечатанный в газете «Утро России» 1907, № 1 от 16 сентября.

[3] В статье «Дела домашние» (газета «Товарищ» 1907, № 379 от 23 сентября) Д. Философов пытался доказать необоснованность протеста Блока против причисления его к группе «мистических анархистов»: «А. Блок удостоверяет, ссылаясь на свои стихи и прозу, что он не мистический анархист,— писал Философов.— Но мне эти стихи и прозу изучать пришлось, и по совести утверждаю, что г. Блок именно мистический анархист».

[4] Эта статья была напечатана в «Золотом руне» 1907, № 6 (перепечатана в «Собр. соч.», т. X, стр. 61—90).

[5] Блок писал матери 28 сентября 1907 г.: «Еще приходит иногда Борин друг — Сизов...— очень серьезный и значительный человек» («Письма к родным», стр. 173).

162. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<27 сентября 1907. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша,

одно скажу: грустно. И конечно я о п я т ь верю в Тебя вопреки всему, всем видимым недоумениям, сомнениям. Неужели Ты думаешь, что наше свидание в Москве прошло бесследно. Если я в Главном поверил Тебе, то все, ч т о я мог бы иметь против Тебя, стало поверхностью. Но чтобы сжечь эту поверхность, необходимо время, необходима работа духа, чтобы уничтожить те недоумения, которые росли и крепли долгими месяцами молчания, непонимания. И в минуту уныния, нервной слабости нет-нет и впадаешь в сомнения, потому что, раз усумнившись в том, в чем я полагал достоверность, я стал мнителен и недоверчив до чрезвычайности. А внешних поводов много: хотя бы Твоя статья в «З о л[о т о м] Р у н е» с которой я н е с о г л а с е н а б с о л ю т н о.[2] Не будь у меня веры, что <Ты> е щ е существуешь, как я е щ е существую (а сколькие *уже* * *не* существуют), я усмотрел бы бог знает что в Твоей статье. Она поразила, как громом: Сережу[3], Леву, окружающих, искренне удивила Брюсова. Все заговорили о мотивах Твоей тактики и мне было больно, больно слышать. *Но* я остался е щ е верен Тебе (а ведь я никому уж не верю, Брюсову тоже еще верю и уже <не> верю). Но хочу укрепить, утвердить вечную точку: ведь кругом все клубится, все чревато и «г о л о с в с е т о т ж е з в у ч и т в т и ш и н е б е з у к о р а»[4]: «Не опускай меча; еще рано. Еще плотнее закуйся в броню: плотнее надень шлем. Еще неизвестно, что будет». И я ни за кого, ни против кого, я только за Правду, за голос Искренности, как я понимаю его по своему крайнему разумению. А разумения и сил у меня мало. И вот слабыми силами своими еще стараюсь что-то спасти от поругания в литературе, чтобы и слова шли от прямоты: и пусть лучше суровые будут слова, пусть скудное они выражают, я за скудность, за хмурость, лишь бы «душа» слов была убежденная.

А иногда мне начинает казаться, что наше дело, дело достойного ношения знамени, безвозвратно погибло; и тогда хочешь просто уйти, выйти из жизни: верить людям и их путям и уже огульно коситься на литературный ритуал.

Но одно скажу: я хочу еще раз узнать Тебя, проверить себя Тобой, пути проверить души своей, потому что все более и более смещаюсь в своем отношении к будущему «н а ш и х г о р е н и й» в темных душах современников — смещаюсь в сторону плача. Плач и рыдание да воца-

* Подчеркнуто дважды.— Р е д.

рятся: еще не все погибло. Омоем слезами наши засоренные души: но пусть этого никто не видит, не слышит.

Я не знаю, зачем я пишу так, а не иначе. Просто горько; у меня инцидент за инцидентом. Я все хожу к людям и предупреждаю, и сомневаюсь о них: и все чаще говорю просто, что я думаю. А они устраивают «инцидент». Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из «Недели».[5] Пришлось им сказать, что они задали хулиганский тон. Меня потребовали к ответу. Я пришел и повторил все, что имел против них, чуть ли не со слезами. А они не услышали о ч е м я: притворились юридическими крючками. Стали на точку зрения «и н ц и д е н т а». Я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением; они исповеди не захотели принять и потребовали извинения. Я повторил, что тон их органа — хулиганский, махнул рукой и пошел прочь: Зайцева одного п р о ш и б л о: тот шел за мной, я взял его за руку: он расплакался. Стражев чернел, как сажа, от злости: стоял, застыв в злобе.[6] Было что-то из «ужасных» сцен Достоевского: думал что Зайцев вдруг освободится и «с к а ж е т». Через два часа получаю от него письмо. Вижу и он н е и м е л с и л ы в з г л я н у т ь, в с п о м н и т ь, и с п о в е д а т ь с я: значит — сел в литературное кресло: значит — спокойно просидит жизнь в «генеральских чинах».

Теперь меня верно вызовут на третейский суд, или опять поднимется инцидент («Золотое Руно» № 2[7]), но я больше не объясняюсь: а меня ждет кара.

Почему это пишу? Потому что вижу потрясенное Зайцевское лицо (о, как хотелось мне его братски поцеловать, гладить по голове: бедный, бедный — плачь, и не забудь Вечное, в с п о м н и, ах, вспомни): но я только взял его руку и сказал: «Знаю, кто вы?» А он опустил голову и плакал.

А вот потом пришел в себя и вспомнил о «л и т е р а т у р н ы х п р и л и ч и я х»: л и т е р а т о р победил ч е л о в е к а: так будут в нем вспыхивать искры, и будет он рваться к чему-то, кого-то звать и просто писать рассказы —

и всякий раз будет усаживаться в кресло: в кресле жизнь свою проведет. «А м о г л о б ы б ы т ь, д а н е в ы ш л о».

Я не знаю, куда я иду, быть может, туда, где «вечный покой» — это в жизни, а в литературе все больше и больше сбиваюсь в плач, гнев, воздыхание: но есть тишина за моим криком. Я познал в шуме «Голос Безмолвия».

*

Итак что же?

Подумаем, помолчим вместе, решим: так, ведь, нельзя — я знаю: я знаю — Ты брат, милый, любимый мне брат: так было, так будет и броня из гримас между нами истает.

Скоро я приеду к Тебе: встретимся в ресторане или у меня. Ведь я же должен знать, помнить.

И Сережа мне брат, милый, любимый. У меня завет: не оставлят его одного: сейчас отошел, но зорко за ним слежу. Я д о л ж е н знат из каких глубин Ты о Сереже: откуда «э т о» у Тебя о нем: с поверхнсти или «о т т у д а». Слова Твои знаки ли, или «п р о с т о т а к т о л ь к о» разбор — что-то не верю.[8]

А если не «п р о с т о т а к т о л ь к о», делу надо помочь.

Да не знаю я, понятен ли? Очень уж трудно писать: еще труднее говорить (сегодня попробовал — и вышла сцена из «Достоевского»).

Ах — широкие поля, широкие раздолья! Ах, леса и хижина.

Там покой, а все иное — суета сует и всяческая суета.

Обнимаю Тебя, милый брат, и целую крепко.

Твой Боря

P. S. Вот несколько моих фельетонов (из последних).[9]

Продолжение фельетона о Комисаржевской вышло слишком длинно для газеты: его только со временем напечатают.[10]

Фельетон Философова [11] — гадость: я ему напишу: он уже вычеркнут из «Весов».[12]

P. P. S. Не рассказывай никому о Зайцеве: он теперь будет стыдиться, что плакал.

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] «О лирике» («Золотое руно» 1907, № 6; «Собр. соч.», т. X, стр. 61—90).

[3] С. Соловьев имел особые основания быть недовольным статьей Блока, так как его стихи были подвергнуты в этой статье уничтожающей критике.

[4] Из стих-ия Вл. Соловьева «Сон наяву».

[5] Имеется в виду газета «Литературно-художественная неделя», выходившая в Москве с 17 сентября по 8 октября 1907 г. под редакцией поэта В. Стражева.

[6] Об этом инциденте Белый рассказал в книге «Омут», стр. 252—253.

[7] То-есть инцидент, подобный тому, который произошел у Белого с редактором «Золотого руна» Н. Рябушинским (см. вступительную статью).

[8] Имеется в виду статья Блока «О лирике», VI глава которой посвящена критическому разбору стихов С. Соловьева.

[9] Среди бумаг Блока сохранились вырезанные из газет следующие фельетоны Белого (присланные самим Белым): «Пшибышевский» («Час» 1907, № 18 от 2 сентября), «Смерть или возрождение» («Литературно-художественная неделя» 1907, № 1 от 17 сентября), «Иван Александрович Хлестаков» («Столичное утро» 1907, 18 октября) и ряд других, более поздних и, очевидно, также присланных Блоку самим Белым. Из ответного письма Блока от 1 октября видно, что Белый прислал ему при письме от 27 сентября также свой первый фельетон «Символический театр».

[10] Имеется в виду второй фельетон «Символический театр», напечатанный, вопреки сообщению Белого, в газете «Утро России», № 11 от 28 сентября (т. е. на следующий же день).

[11] См. прим. 3-е к письму № 161.

[12] Начиная с № 9 «Весов» Д. Философов, действительно, не упоминается в списке сотрудников.

163. БЛОК — БЕЛОМУ

1 октября 1907. <Петербург>

Милый и дорогой Боря.

Спасибо Тебе за письма и фельетоны. «Символич[еский] театр» (твоя статья) для меня имеет значение объемистой книги, собираюсь писать о ней.[1]

Внимательно и тихо слежу за всеми Твоими словами. Никогда не упускаю Тебя из виду. Слышу, как Ты мучаешься в Москве и чувствую Твою мнительность (и по отношению ко мне также), потомучто для меня она имеет значение бесконечно больше, чем литературное. Жду Тебя здесь с нетерпением, как только приедешь, дай мне знать. Пока же говорю Тебе, что я не забываю Вечности даже среди «темных душ современников». Многое трудно мне, может быть я до сих пор кое в чем срываюсь. Но все глубоко серьезно в жизни моей и в жизни близких мне, и все так трудно, что нет больше места, куда бы ворвались плясать и паясничать скоморошьи хари. Очень странно, иногда дико, но всегда значительно слагаются события моей жизни. И на то, что могут думать и говорить обо мне знающие меня поверхностно, я совсем махнул рукой — до полного игнорирования их, несоблюдения «приличий» и т. д.

«Горение» мое, должно быть, иное, чем Твое, но оно — горение. До тления, на границе которого я прошел в прошлом году (это Ты почувствовал болью сердца), я не допущу себя. Оно далеко от меня теперь — и

соответственно отошли от меня люди, которых я могу подозревать в поддержании тления.[2]

Я редко тоскую и унываю, чаще — бодр. Предо мною плывет новое, здоровое, надеюсь, сильное. Как человек с желанием здоровья и простоты, я и пишу, или стараюсь писать. Например «О лирике»: я верю в справедливость исходной точки: я знаю, что в лирике есть опасность тления и гоню ее. Я бью сам себя, таков по преимуществу смысл моих статей, независимо от литерат[урных] оценок, с которыми можно не соглашаться сколько угодно (да я и сам признаю неправильность кое в чем). Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других. Но ценя высоко лирический лад души, который должен побеждать лирическую распущенность, я не люблю, когда стараются уладить все средствами, посторонними лирике, хотя бы — «градом, обещанным религиями».[3] Отсюда — моя статья о Сереже[4], в которой Ты, как знающий меня и Сережу, можешь прочесть между строк бесконечные ненаписанные примечания — о моем отношении к Сереже, о моей осторожности, хотя бы относительной. Наконец, там прямо высказано мое бережное и тихое знание о «рыцаре монахе, что закован в железо»[5], о том, на что я в жизни моей только раз, в тоске и отчаянье, поднимал бессильную руку: в «Балаганчике». Но рука упала и я не осквернил ни святого, ни себя.

Ты можешь счесть то, о чем говорю, смешением понятий. Можешь сказать, что «не весна виновата», что «лирика» сама по себе также безразлична, как весна.[6] Но я говорю о лирике, как о стихии собственной души, пусть «субъективно». Будут несколько людей, которые почувствуют истинное в этом и, мож[ет] быть, воздержатся от того, от чего не воздержались бы иные, хотя бы по тому одному, что против лирики говорит лирик. Я не определяю подробностей пути, мне это не дано. Но я указываю только устремление, которое и Ты признаешь: из болота — в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе — ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни.

Напиши мне пока несколько слов, а потом приезжай, я буду глубоко рад увидеть Тебя.

Любящий Тебя
Саша

[1] «Лучшее, что появилось за это время — фельетон Бори „Символический театр"» — писал Блок матери 28 сентября 1907 г. («Письма к родным», стр. 172). Специально о театральных фельетонах Белого Блок не высказался, но упомянул о них в статье «Пеллеас и Мелизанда», написанной в октябре 1907 г. и оставшейся ненапечатанной: «Я сошлюсь на явление очень важное с моей точки зрения, именно, на два фельетона Андрея Белого... Фельетоны эти, носящие заглавие „Символический театр"... настолько богаты мыслями, обобщениями, формулами, требованиями, которые автор предъявляет к новому театру, что стоют, по моему мнению, иной объемистой книги» («Собр. соч.», т. XII, стр. 14—15).

[2] Имеется в виду Г. Чулков.

[3] Имеется в виду следующее место предисловия С. Соловьева к сборнику его стихов «Цветы и ладан» (М., 1907, стр. 8—9): «Я часто слыхал и, вероятно, еще не раз услышу обвинение в несовременности моей поэзии, в ее отчужденности от злободневных интересов. Такое обвинение весьма для меня лестно. Да, моя поэзия чужда духу нашего времени, взятому в целом. Ибо дух нашего времени я понимаю так. С падением религиозных норм человечество начало руководствоваться в своем поведении природными началами... В самой природе заключены противоположные потенции; в ней переплетены мировые Да и Нет; жизнь и смерть; любовь и похоть. Освободившееся от религии человечество пошло по пути вторых потенций природы; из них возникло здание современной цивилизации, образом которого является город. Город — это реальное Нет, безобразное дитя природы, созданное духом похоти и смерти. Этот город человечество выбрало взамен града, обещанного религиями. Искусство также исходит из природы; но оно отправляется от первых ее потенций,

творит вечное Да, исходя из духа любви. Этот мир, созданный из положительных потенций природы, и есть Новый Иерусалим, мистический град, в противоположность современному г о р о д у». По поводу данного рассуждения С. Соловьева Блок писал в статье «О лирике»: «Благодаря этому мысль автора пренебрегает не только городом, но относится с полным презрением ко всему миру явлений природы, что явствует хотя бы из того, что количество банальных или нелепых суждений о природе безмерно превышает количество оригинальных и здравых наблюдений над ней» («Собр. соч.», т. X, стр. 84).

[4] То-есть, VI глава статьи «О лирике».

[5] Из стих-ия С. Соловьева «Свете тихий!» («Цветы и ладан», М., 1907, стр. 39).

[6] См. прим. 7-е к письму № 152.

164. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Середина октября 1907. Москва>[1]

Саша,

родной, милый: спасибо Тебе за то, что Ты такой. Я так рад: я очнулся от долгого, долгого сна. Увидал любимых после долгой разлуки. Пусть они и не такие, как я. Но они — есть. А я думал, их у ж е нет и вместо них — химеры, чудовища.

И вот неправда.[2]

Приеду в конце октября совсем в Петербург. А пока дела. 1) «V o x C o e l e s t o s» не будет: Эллис возвращает стихи.[3] 2) Альманах Высоцкого не состоится также (увы 200 рублей!). Сейчас уже в сети дел. «Голос Москвы» платит по 25 к. за строчку. Гарантирует м и н и м у м 200 рублей в месяц. К первому ноябрю соглашение вступает в силу.[4] Пока пишу для «У т р а Р о с с и и».[5] Читаю лекцию в Рел[игиозно]-фил[ософском] кружке 26 октября (за плату).[6]

Милый, с восторгом думаю, что уеду отдыхать и работать из Москвы.[7] Буду писать свою И г л у»[8] и другое. Радостно, что будем видаться.

А здесь, как приехал, все навалились, затрещал телефон, посыпались письма.

Радостное у меня воспоминание о Петербурге — о Тебе, о Любе.

Прощай. Любящий Тебя нежно

Боря

P. S. А здесь трудно. Лева рвет, мечет, кувыркается. Бедный он: так люблю его.

Прости меня за внешние слова о Тате. Она — милая.

До свидания в конце октября.

Если вздумаешь мне чиркнуть слово, сообщи и адрес Ал[ександры] Андреевны. А то я его потерял.

[1] Датировано на основании данных, указанных в следующем примечании.

[2] Имеются в виду следующие события. Числа 1—2 октября Блок получил от Белого телеграмму с просьбой принять участие в «Вечере нового искусства», организуемом в Киеве редакцией местного журнала «В мире искусств». Блок телеграфно же ответил согласием (телеграммы Белого и Блока не сохранились) и вечером 2 октября выехал в Киев, где встретился с Белым и 4 октября выступил с чтением стихов на вечере в Киевском городском театре. Белый на этом вечере выступил с лекцией «Об итогах развития нового русского искусства» и со стихами; кроме того, 6 октября он прочитал другую лекцию — «Будущее искусство» (см. «В мире искусств» 1907, № 16, стр. 20 и № 17—18, стр. 7—9). 8 октября Блок вернулся в Петербург вместе с Белым, который прожил в Петербурге примерно до середины октября, часто встречаясь с Блоком. См. об этой поездке в мемуарах Белого («Эпопея», № 3, стр. 284—306; ...ут», стр. 330—335) и в письмах Блока к матери от 9 и 13 октября 1907 г. («Письма к родным» стр. 173—177).

[3] «V o x C o e l e s t o s» — альманах, задуманный Эллисом. Очевидно, будучи в августе 1907 г. в Шахматове, Эллис предложил Блоку принять участие в этом альманахе. Сохранилось недатированное письмо Эллиса к Блоку, в котором тот писал: «В ваших стихах о Пр[екрасной] Даме есть нечто истинно-с р е д н е в е к о в о е. Вы

абсолютно поняли меня, предлагая вещи из того же цикла. Это — сущность „Vox Coelestos". Буду очень рад именно таким вещам! Конечно, выбор предоставляется вам!»

[4] При октябристской газете «Голос Москвы» было предположено с ноября 1907 г издавать еженедельные литературные приложения под редакцией В. Брюсова и при ближайшем и постоянном участии Блока, Белого и Ф. Сологуба. Однако, как писал Блоку в конце октября В. Брюсов, «октябристы после победы [при выборах в Государственную думу. — *Вл. О.*] оказались гораздо менее сговорчивыми, нежели были до выборов. С другой стороны, Бор[ис] Ник[олаевич] [Белый], вспомнив вдруг, что он — левый, отказался от участия в „Голосе". В результате вся комбинация с этой газетой расстроилась» (неизданное письмо; ср. письмо Блока к матери от 31 октября 1907 г.— «Письма к родным», стр. 178).

[5] Очевидно, имеется в виду фельетон «Мережковский (Силуэт)», напечатанный в газете «Утро России» 18 октября 1907 г. (перепечатан в «Арабесках», стр. 409—415).

[6] 25 октября 1907 г. Белый выступил в Московском религиозно-философском обществе с рефератом на тему «Символизм и религиозная проблема» (см. газету «Утро России» 1907, № 32 от 23 октября).

[7] Белый предполагал переехать в Петербург на постоянное жительство.

[8] Задуманный Белым исторический роман «Адмиралтейская игла» анонсировался в журнале «Перевал» 1907, № 10 (август), стр. 51. В июле 1908 г. в газете «Вечер» (№ 31 от 3 июля) сообщалось, что Белый «закончил» этот роман. Однако такое произведение Белого до нас не дошло.

165. БЛОК — БЕЛОМУ

18 октября <1907. Петербург>

Милый Боря.

Спасибо Тебе за письмо и за сведения. Знаю, что мы близки с Тобой, а то, что мы во многом непохожи друг на друга, я думаю, только хорошо. Пожалуй, что очень тонкие и слишком поразительные сходства и ведут к химеризму. Надо, чтобы в каждом оставалось нечто для другого неизвестное, по-хорошему неизвестное — не возбуждающее сомнений и вопросов. Надеюсь, что мы с Тобой достигнем этого. Жду Тебя, милый, и люблю. На всякий случай — вот адрес мамы: Ревель, Малая Батарейная 10. Но она на-днях приедет на неск[олько] дней в Петербург, потому не пиши ей сейчас.

Любящий Тебя

Саша

Вот, наконец, моя карточка.[1] Мне хочется послать ее Тебе до Твоего приезда в Петербург.

[1] Воспроизведена на стр. 000 наст. издания.

166. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Октябрь 1907. Москва>[1]

Милый, целую Тебя.
Спасибо за портрет, спасибо!
Увидимся скоро.

Любящий Тебя

Боря

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

167. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало ноября 1907. Петербург>

Дорогой Александр Александрович,

Не устроишь ли Ты какое-нибудь стихотворение Матвея Исаков Гольдфарба (Amonos) в «Образование», или в «Современный мир», ил в «Трудовой Путь»

Хотелось бы повидаться. Постараюсь выбрать время и заехать. С Тобой нужно еще поговорить о тактических делах очень.

Остаюсь искренне любящий
Борис Бугаев

[1] Белый приехал в Петербург в первых числах ноября (не позже 5-го) и пробыл там до 18 ноября (см. «Записки мечтателей», № 6, стр. 118; «Эпопея», № 3, стр. 309; «Омут», стр. 335; «Письма к родным», стр. 179).

168. БЛОК — БЕЛОМУ

<Между 12 и 15 ноября 1907. Петербург>[1]

Боря милый,

ради бога, согласись читать 17-ого в пользу с[оциал]-д[емократов]. Я уезжаю в Ревель и не могу.

Твой А. Б.

[1] Датировано на основании письма Блока к матери от 12 ноября 1907 г. («Письма к родным», стр. 180).

169. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Ноябрь 1907. Москва>[1]

Милый Саша,

пользуясь случаем (мой очень хороший знакомый едет в Петербург и остановится у меня в комнате[2]: она — до 6-го декабря за мной), я сообщаю Тебе некоторые данные: сегодня получил я от господина, имевшего намерение организовать мою лекцию, известие о технических неудобствах фиксировать ее на 4-ое. Вместе с тем он очень просит меня ее прочесть для тех же целей в январе 1908 года. Ввиду того, что у меня было письмо к Тебе (не успел опустить), где я умоляю устроителей ввиду моей усталости освободить меня от чтения, то письмо отвечает моим желаниям всецело. Со скрежетом думал я о необходимости тащиться в Петербург на 1 день для лекции.

Если же господин (карточку его потерял), уверяющий меня в нужности моей лекции, как теоретически, так и практически (для хороших целей), настаивает на прочтении, то я готов ее прочесть в январе (так от 10-го до 20-го) 1908 года. Мы с мамой собираемся в Петербург в январе так, для рассеяния. Вероятнее всего, что в первых числах это будет трудновато. Итак от 10-го до 20-го можно лекцию и фиксировать.[3] Мне неловко отвечать господину устроителю, ибо отчества и фамилии его не знаю (карточку потерял). Но зная, что Любовь Дмитриевна или г-жа Веригина имеют отношение к устроителям, я покорно прошу Тебя устроить так, чтобы устроители были извещены о моем решении. Вместе с тем, если будешь мне писать, сообщи любезно имя отчество и фамилию лица, взявшего на себя труд организации лекции.

Пишу мало и внешне, ибо тороплюсь. Не забывай меня.

Твой Боря

Любовь Дмитриевне мой привет. Было бы приятно иметь адрес Александры Андреевны, хочу ей писать, но адреса нет.

С Вячеславом мы встретились исключительно, хорошо, верно.

Это было мне утешением и подспорьем. Когда встретишь его, скажи ему, что люблю его.

[1] Датировано по связи с ответным письмом Блока. Ср. прим. 1-е к письму № 167.

[2] Приехав в Петербург в начале ноября 1907 г., Белый снял комнату на Васильевском острове (см. «Эпопея», № 3, стр. 309).

[3] Речь идет о лекции «Искусство будущего», прочитанной Белым в Петербурге, в Тенишевском зале, 15 января 1908 г. (лекция напечатана под заглавием «Будущее искусство» в книге «Символизм», стр. 449—453). Организаторами лекции были актрисы В. В. Иванова и В. П. Веригина.

170. БЛОК — БЕЛОМУ

29 ноября <1907. Петербург>

Милый Боря, это писала Тебе Иванова, которая уехала за границу, потому, если что нужно будет, пиши мне. Веригиной я передам, что Ты можешь прочесть лекцию 10—20 января.[1] Вот Тебе адрес мамы: Ревель, Малая Батарейная, 10. Целую Тебя крепко.

Твой Саша

[1] Опущены: 1) краткое письмо Белого, извещающее о его согласии прочесть лекцию между 5 и 15 января, 2) ответная телеграмма за подписями Блока и В. П. Веригиной: «Зал снят пятнадцатого января».

171. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 декабря 1907. Москва>[1]

Дорогой Саша,

в Москве в Благородном Собрании (лучшая зала в Москве на 3000 чел.) предполагается благотворительный вечер, который состоится только если Ты, Соллогуб или В. Иванов (все или по крайней мере двое из Вас) согласятся приехать. Предполагаемые участники литер[атурного] отделения: Зайцев, Брюсов, Л. Андреев (который наверное согласится: при мне он давал согласие на вечер в Бл[агородном] Собр[ании], я и не обратил внимание устроителей на это), Ты, Соллогуб, Иванов, я. В музыкальном отделении выступят лучшие пьянисты Москвы. Вечер предполагается в 20-х числах января (к концу месяца). Проезд и содержание обеспечены.

Отвечай немедленно.

Остаюсь искренне любящий Тебя

Б. Бугаев

Поздравляю с праздником.

[1] Дата почтового штемпеля.

172. БЛОК — БЕЛОМУ

28 декабря 1907. <Петербург>

Поздравляю Тебя с Новым Годом, милый Боря. Не приеду в Москву, очень не хочется. Я и вообще перестал совсем читать на вечерах, и почти не вижу людей. У меня очень одиноко на душе, много планов, много тоски, много надежды и много горького осадка от прошлого. По всему этому хочется быть одному, там, где холодно и высоко.

Твой Ал. Блок



АЛЕКСАНДР БЛОК

Фотография 1907 г. с дарственной надписью А. Белому: «Милому, нежно любимому брат Боре. СПБ. Окт. 1907»

Собрание К. Н. Бугаевой, Москва

77

Милостивый Государь
Борис Николаевичъ.

Ваше поведеніе относительно меня, Ваши сплетническіе намеки въ печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, въ которомъ Вы, унизительно клевеща на меня, заявляете, что все время „следили за мной издали", — и, наконецъ, Ваше хвастливое печатное и письменное заявленіе о Васъ, что Вы только одинъ на всемъ свѣтѣ „страдаете", и никто, кромѣ Васъ, не умѣетъ страдать, — все это въ достаточной степени надоѣло мнѣ.

Оскорбляться на все это мнѣ не приходило въ голову, ибо я не считаю возможнымъ оскорбляться ни на шпіона, выслѣживающаго меня, ни на лакея, подозрѣвающаго меня въ нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Васъ въ лакействѣ и шпіонствѣ, я склоненъ приписывать Ваше поведеніе — или какому то грандіозному недоразумѣнію и полному незнанію меня Вами (о чемъ я писалъ Вамъ подробно въ письмѣ, отправленномъ до полученія Вашего), или особаго рода душевной болѣзни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшія Ваши

...

как и на меня, я предоставляю Вамъ десятидневный срокъ со дня, которымъ помѣчено это письмо, для того, чтобы Вы — или отказались отъ Вашихъ словъ, въ которыхъ Вы не увѣрены, — или прислали мнѣ Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужденъ буду самъ принять соотвѣтствующія мѣры.

Александръ Блокъ

8. VIII. 07.
Н. ж. д. Подсолнечная
С. Шахматово.

ПИСЬМО А. БЛОКА к А. БЕЛОМУ ОТ 8 АВГУСТА 1907 г. (№ 149)
Страницы первая и последняя
Уменьшено в 2 раза

Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина, Москва

1908

173. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

5 января 1908. Москва

Дорогой Саша,

поздравляю Тебя с Новым Годом. Все хочу Тебе писать, и все некогда: дела, а то праздники, т. е. праздничный угар, развлечения и т. д. Поэтому и сейчас пишу только о внешнем. Дело вот в чем: я получил около месяца тому назад телеграмму, уведомляющую меня, что помещение для лекции (предполагавшейся) снято на 15-ое.[1] Мне нужно знать точно и теперь же, состоится лекция, или нет. По правде сказать, не очень хочется мне ехать в Петербург, ибо связан. Но во всяком случае, если механизм заведен, приеду.

Будь так любезен, сообщи организаторам, чтобы я был своевременно уведомлен о дне лекции. Если лекция состоится, сообщи им, что я привык читать стоя, я не сидя (в каждой аудитории имеется если не кафедра, то приспособление, напоминающее аналой, для чтения стоя). Я был бы обязан устроителям, еслибы они учли это обстоятельство.

В случае, если лекция состоится, я прошу меня уведомить о дне и *часе* * и *адресе* ** помещения, ибо могу приехать в Петербург только 15-го утром. Если лекция состоится в этот день, я вероятно поспею только на лекцию и оттого час и адрес помещения мне необходимо знать.

Хотелось бы (между нами говоря), чтобы лекция не состоялась. Что сказать pro domo sua? Кажется, ничего. Да вот: ужасно весело было устраивать ёлку, опутывать ее путаницей. Что Вячеслав, что Петербуржцы? Ни о ком ничего не знаю. Да: Ауслендер говорит, что Кузмин дружит с Анной Рудольфовной Минсловой — этой «дойной коровой» с мокрым носом. C'est épatant! ***

Милый Саша, нежно целую Тебя.

Твой Борис Бугаев

[1] См. прим. 3-е к письму № 169 и прим. 1-е к письму № 170.

174. БЛОК — БЕЛОМУ

7 янв[аря] <1908. Петербург>

Дорогой Боря, билеты уже продаются, вероятно Ты получил уже извещение: лекция в зале Тенишевского Училища (Моховая 33) 15-ого января в 8½ час. вечера.

Твой А. Б[лок]

---

* Подчеркнуто дважды. — Ред.
** Подчеркнуто трижды. — Ред.
*** Это поразительно! — Ред.

175. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<25 января 1908. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Что же Ты не прислал мне фельетоны?[2] Мне они нужны. Верни в Москву по адресу: Москва, Арбат, д. Новикова, кв. 7. Буду их ждать.

Остаюсь любящий Тебя
Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любови Дмитриевне.

P. P. S. Фельетоны жду.

[1] Датировано по связи со следующим письмом.

[2] Трудно сказать, о каких именно фельетонах Белого идет речь (ср. прим. 9-е к письму № 162).

176. БЛОК — БЕЛОМУ

26 января 1908. <Петербург>

Милый Боря.

Посылаю Тебе заказной бандеролью все фельетоны, кроме прилагаемого, который боюсь.[1] Это мне нравится больше всего. Хотел принести Тебе на лекцию[2], да очень хорошо писалась пьеса[3], потому не пришел. Очень хорошо, что мы увидались с Тобой у Палкина. Сохраняю от этого разговора очень хорошее воспоминание.[4] Целую Тебя крепко и люблю.

Александр Блок

[1] См. прим. 2-е к письму № 175.

[2] 25 января 1908 г. в Петербурге, в Тенишевском зале, Белый читал лекцию «Фридрих Ницше и предвестия современности» (литературная обработка лекции—статья «Фридрих Ницше», напечатанная в «Весах» 1908, № 7 и 8 и перепечатанная в «Арабесках», стр. 60—90).

[3] «Песня Судьбы».

[4] Блок писал матери 25 января 1908 г.: «Сейчас Боря читал вторую лекцию, я не пошел, потомучто драма хорошо писалась. У нас он не был, но третьего дня мы с ним несколько часов хорошо поговорили у Палкина. Установили дружеские личные отношения и вражеские — литературные» («Письма к родным», стр. 191. — Палкин — ресторан в Петербурге).

177. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец января 1908. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша,

спасибо за милое письмо. Оно мне дорого. Ужасно Тебя люблю. Рад, что повидались. Читал ли Ты, как Тебя ругал Розанов в «Русском Слове». Обиделся за религиозно-философские собрания.[2]

Со мной произошел скандал. Опоздал (намеренно) на лекцию в Москве. Теперь на меня сердятся.

Буду замкнуто работать. Если напишешь два, три слова, буду рад. От времени до времени буду тебе кратко писать. Писать много не могу.

А очень дух Москвы разнится от Петербургского духа... не в пользу Петербурга. Ужасно полюбил Кузмина в этот приезд.

Милый, прощай.

Любящий Тебя
Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любови Дмитриевне.

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Имеется в виду фельетон В. Розанова «Автор „Балаганчика" о петербургских религиозно-философских собраниях», напечатанный, за подписью «В. Варварин», в газете «Русское слово» 1908, № 21 от 25 января. В этом фельетоне В. Розанов, один из «столпов» Религиозно-философского общества, в необычайно грубой форме отвечал на статью Блока «Литературные итоги 1907 года» (помещенную в «Золотом руне» 1907, № 11—12), где Блок с глубоким возмущением писал о «представителях религиозного сознания», которые в тяжелые годы реакции, после поражения революции 1905 г., «вновь возобновили свою болтовню (и только болтовню), зная, что за дверьми стоят нищие духом, и что этим нищим нужны дела». В письме к Е. Иванову от 31 января 1908 г. Блок писал по поводу фельетона В. Розанова: «Я машу рукой, и без того дела много. Это — литературно неприлично. Всю ругань я, конечно, принимаю к сердцу, и думаю, что ругаться можно и должно. Хочется выворачивать на изнанку свою душу, чтобы разругались все до конца, наконец. Но когда при этом сочиняются легенды, очень стыдно за авторов, и не хочется быть с ними знакомыми. Потому за Розанова я действительно покраснел: ничего он не понимает здесь, полагая, что мне „так" весело. Не теряя к нему уважения вообще, не хотел бы подавать ему руки» («Письма к Иванову», стр. 63—64).

178. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<5 марта 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Большое спасибо за книгу.[2] Прочел с нежностью. Что-то близкое, дорогое в «Незнакомке» и «Короле на Площади». Спасибо, милый, спасибо.

Удивительный аккорд в книге: точно взвеяна она из лепестков (цветочных, снежных).

Целую Тебя.

Твой Б. Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Сборник Блока «Лирические драмы» (изд-во «Шиповник», СПБ, 1908), в который вошли «Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка».

179. БЛОК — БЕЛОМУ

6 марта 1908. <Петербург>

Милый Боря, спасибо Тебе за письмо. Я сейчас живу один совсем (Л[юба]—в поездке), тихо, много работаю, 18-ого буду читать« О театре»[1], много переводов.[2] Отдыхаю от страшно болезненной зимы. А Ты что? Продолжаешь ли писать в газетах? Или—пишешь роман?[3] Моя драма[4] опять застряла. Людей вижу немного. Целую Тебя.

Любящий Тебя

Ал. Блок

[1] Лекция, прочитанная Блоком 18 марта 1908 г. в петербургском Театральном клубе и напечатанная в «Золотом руне» 1908, № 3—4 и 5 (перепечатана в «Собр. соч.», т. XII, стр. 19—53).

[2] Блок переводил в это время трагедию Ф. Грильпарцера «Праматерь» и стихи М. Мэтерлинка (переводы последних не сохранились).

[3] См. прим. 8-е к письму № 164.

[4] «Песня Судьбы».

180. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Март 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

не откажи в одной нашей общей просьбе, моей и некоторых лиц, прочти, если есть только какая-нибудь возможность, лекцию в Москве

с благотворительной целью. Расстояние от Москвы до Петербурга ничтожно: переезд займет у Тебя немного времени, а Москве будет приятно Тебя послушать.

Надеюсь Ты не откажешь, если будет хоть какая-нибудь возможность.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании ответного письма Блока (№ 182).

181. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

20 марта 1908. <Москва>

Милый Саша,

все собирался Тебе писать, но вот уже четыре недели, как засел дома, нигде не бываю, никого не вижу: стал тяжел на подъем. И никому не писал. Много читаю, занимаюсь. Кроме того: пишу повесть.[1] В общем чувствую себя недурно, когда один. В газетах не пишу. Надоели все газетчики, и вообще литературная атмосфера, из которой я не без усилия вырвался. Моя полемика в итоге отшатнула от меня решительно всех литераторов, так что я теперь совсем чужой всем. И я доволен. Чувствую, впадаю не то в дряхлость, не то в детство; а весну люблю.

Милый Саша, напиши мне несколько слов о себе. Как Ты? Скоро ли выйдет Твой сборник стихов?[2]

Целую Тебя.

Остаюсь любящий Тебя.

Борис Бугаев

P.S. На старости лет занялся музыкой. Много играю Моцарта.

[1] «Серебряный голубь».

[2] Третий сборник стихов — «Земля в снегу» (вышел в издании «Золотого руна» в первой половине июля 1908 г.).

182. БЛОК — БЕЛОМУ

25 марта <1908. Петербург>

Спасибо Тебе за письмо, милый Боря. Живу совсем тихо, один. Хорошо. Усиленно работаю — перевожу старую романтическую трагедию Грилльпарцера[1] — со страхами и привидениями, с героиней совсем с кипсэка. Мою драму[2], наконец, кончил почти совсем, очень переболел ею и, пожалуй, вышло что-то лучшее, чем предъидущие. Очень хотелось бы, чтобы Ты ее узнал.

Читал лекцию о театре — успешно.[3] Во многих мыслях мы с Тобой сходимся.

Напиши, ради бога, прилично ли дать стихи в «Белый Камень»? Тут приезжал какой-то его хулиганский издатель, в чем-то полу-извинялся, обещал, что там сотрудничает Бунин. Будет ли сотрудничать кто-либо из Вас?[4]

Трижды звали меня в Москву — читать (спасибо в том числе за Твое письмо, переданное мне дамой), но не могу и как-то не хочется; опять растеряешься. А теперь я ужасно отдыхаю за работой, собираю себя и коплю силы, забываю тяжелую зиму и просто радуюсь весне. Убеждаюсь, что не «примелькались еще ночи и дни», хотя и «нет никого на земле...» и т. д.[5]

Очень, очень понимаю Твое письмо. Но мы долго еще будем живы и сильны. Еще все не исполнилось.

Досадное чувство возбуждают во мне парижские книжники.[6] Бывает, что собака совсем чужая и так, чорт ее знает, почему и за что,—облает. И собака-то ничего не сторожит, и хвост-то у нее куцый, а все-таки — досадно. Так вот теперь для меня — мережковское.[7] — Напиши мне еще, милый. У Вас теперь Вяч[еслав] Ив[анов], я как-то опять его почувствовал и полюбил.[8]

Любящий Тебя А. Блок

[1] «Праматерь».

[2] «Песня Судьбы».

[3] См. прим. 1-е к письму № 179.

[4] В альманахе «Белый камень» (изданном мелким литератором А. Бурнакиным) Блок не участвовал, равно как никто из московских символистов.

[5] Стихи В. Брюсова (сб. «Me eum esse», М., 1897):

И ночи, и дни примелькались,
Как дольние тени волхву...
И нет никого на земле
С ласкающим горестным взглядом.

[6] Имеются в виду Д. Мережковский, З. Гиппиус и Д. Философов, жившие в это время в Париже.

[7] 24 марта 1908 г. Блок записал (очевидно, под впечатлением прочитанного фельетона Д. Мережковского «Асфодели и ромашки», напечатанного в газете «Речь» 1908, № 71 от 23 марта): «Мережковский — поганая лягушка — критик. Собака чужая совсем, а вдруг возьмет и облает: всегда досадно. И собаке-то ни к чему, чорт ее знает. Плюнуть хочется. Книжный критик» («Записные книжки», стр. 82).

[8] «А вот, кого опять я понял, это — Вяч. Иванов, — писал Блок матери в апреля 1908 г.—Перед его отъездом в Москву... мы говорили долго и очень откровенно Он совсем уж перестает быть человеком, и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой» («Письма к родным», стр. 202).

183. БЛОК — БЕЛОМУ

5 апреля 1908. <Петербург>

Спасибо Тебе, милый Боря, сейчас получил я Кубок Метелей.[1] Ты, пожалуй, не можешь сейчас представить, с каким чувством я приступлю к нему. Теперь моя жизнь как-то совсем по-необычайному поворачивается. Извне — необычайная тишина, в глубине — просветленная, чистая совесть. Живу, попрежнему, совсем тихо, один, много работаю, и глубоко просто. Музыку неслыханную слушаю.

Ты спрашивал у меня адрес мамы,—вот он: Ревель, Малая Батарейная, 10. Я знаю, как она оценила бы, если бы Ты прислал ей симфонию.[2] Сделай это, если у Тебя еще есть.

Крепко целую Тебя и люблю
Твой Ал. Блок

[1] 17 апреля 1908 г. Блок сообщил матери, что Белый прислал ему «Кубок метелей» — «с нежной надписью» («Письма к родным», стр. 205). Надпись эта не известна, так как дарственный экземпляр книги в библиотеке Блока не сохранился.

[2] «Кубок метелей» имеет подзаголовок: «Четвертая симфония».

184. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

6 апреля 1908. <Москва>

Милый Саша,

спасибо за хорошее Твое письмо. Ласково оно меня утешило. Милый Саша, я так Тебя начинаю опять любить. Верю я, что какой-то тяжелый период приходит к концу. И зори опять нас посетят. Я долго не писал Тебе: хотелось разобраться в себе самом и никому, никому не

говорить о себе; а в письме всегда приходится говорить о себе. Радуюсь Тебе, что Ты в тишине и сосредоточенности. Когда видел Тебя в последний раз[1], мне казалось, что вокруг Тебя тучи; впрочем мы виделись так коротко. Да и я в Петербурге всегда не я: Петербург для меня теперь синоним истерики, не люблю его.

Ты спрашивал меня о Вяч[еславе] Иванове. Да, он был; два раза читал свой доклад[2]: в «Кружке»[3] и в «Рел[игиозно]-филос[офском] обществе». 1) Доклад неумный, 2) коварный и двусмысленный. В первый раз, когда слышал его в Кружке, он прозвучал как что-то нехорошее против Москвы (и при этом это «косоглазие» на Москву—тайное, не открытое). Я нарочно возражал ему сухо и оффициально, так сказать, поднимая брошенную перчатку. Он ответил, что плоскость его реферата (об идеализме и реализме в символизме) вне плоскости обычного смысла, установленного за идеализмом и реализмом. Тогда в философском обществе за этот ответ не по существу (так иные игроки рукавом передвигают шашку) я высказался несколько горячо против его теорий. Но он опять перчатку не поднял. Через два дня был у меня, был ласков до-нельзя: меня законфузил. Что-то было во всем этом «непрямое»: 1) передержки в прениях, 2) исподтишка мина против Москвы, 3) елейная ласковость обращения. Буду теперь ему писать о всем этом письмо: на чистоту.[4]

Дорогой Саша, напиши мне, если Тебе не трудно, что Ты скажешь о «Симфонии».[5] Она самая искренняя моя из всех 4-х; наиболее трудная для понимания; и увы — с механической маской на лице. Никто ее, кажется, не принимает. Не верят, что от очень большой искренности она писана. Как странно: она — паспорт к моей душе.[6]

Получил почему-то книжку А. М. Ремизова[7] с надписью «заходите», будто он думает, что я буду в Петербурге.

Дорогой Саша, напиши мне долго ли еще Ты будешь в Петербурге и где намерен проводить лето. Целую Тебя.

Искренне любящий
Борис Бугаев

[1] См. прим. 4-е к письму № 176.

[2] «Две стихии в современном символизме» (было опубликовано в «Золотом руне» 1908, № 3—4 и 5; перепечатано в книге Вяч. Иванова «По звездам», СПБ, 1909, стр. 247—290). В этом докладе Вяч. Иванов наиболее подробно обосновал свое понимание «реалистического символизма» и «мифотворчества» и сформулировал свой основной лозунг: «a realibus ad realiora» * (см. вступительную статью).

[3] Имеется в виду Литературно-художественный кружок, о котором см. в книге Белого «Начало века», стр. 208—215.

[4] Белый печатно возражал Вяч. Иванову в статье «Realiora» («Весы» 1908, № 5, стр. 59—62; перепечатано в «Арабесках», стр. 313—318), вызвавшей, в свою очередь, ответ Вяч. Иванова — «Б. Н. Бугаев и „Realiora"» («Весы» 1908, № 7, стр. 73—77). Эта полемика была продолжена в статьях Белого — «Символизм и современное русское искусство» («Весы» 1908, № 10, стр. 38—48) и Вяч. Иванова — «Эстетика и исповедание» («Весы» 1908, № 11, стр. 45—50).

[5] 17 апреля 1908 г. Блок писал матери: «Боря ведь выпустил Симфонию, прислал мне ее с нежной надписью. Я читал. Читая, получил его беспокойное письмо что я скажу о Симфонии. Но я ничего не могу сказать ему: мало того, что она мне не нравится (она никому не нравится), но еще я имею многое против ее духа. И не отвечу ему ничего» («Письма к родным», стр. 205).

[6] В предисловии к сборнику «Пепел» (СПБ, 1909, стр. 9) Белый писал, что «Кубок метелей» — «единственная книга, которой [он] более или менее доволен, и для понимания которой надо быть немного „эзотериком"». «Брань, которой встретила критика мою книгу, и непонимание ее со стороны лиц, сочувствовавших доселе моей литературной деятельности,— писал Белый,— все это укрепляет меня в мысли, что оценка этого произведения (окончательное осуждение или признание) в будущем: судить можно то, что понимаешь, а наиболее сокровенные символы души требуют вдумчи-

* От реального к реальнейшему. — Ред.

вого отношения со стороны критиков: неудивительно, что произведение, выношенное годами, они встретили только как забавный парадокс». См. также предисловие Белого к «Кубку метелей».

[7] Роман «Часы», СПБ, 1908.

185. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Апрель 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

я забыл, кажется, Тебе сказать, что, конечно, пошлю «Симфонию» Александре Андреевне, но что сейчас у меня не было под рукой экземпляров: все роздал. Скоро будут экземпляры: тогда пошлю.

Поздравляю Тебя с праздником. Видел ли ты книгу Сережи[2] и что Ты о ней думаешь? Там есть полемика против Брюсова и против Тебя.[3]

Где думаешь провести лето?

А я чувстую теперь себя неважно. Надеюсь поправиться летом. Разделю вероятно лето между Тульской губернией, Москвой и Крюковым. Впрочем ничего не знаю.

Будь здоров. Желаю Тебе мира, бодрости и тишины.

Любящий Тебя
Борис Бугаев

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] «Crurifragium», М., 1908.

[3] В книге С. Соловьева «Crurifragium» имеется заключительный отдел — «Полемика», состоящий из двух статей: «Ответ Валерию Брюсову» (по поводу его рецензии на книгу С. Соловьева «Цветы и ладан» — в «Весах» 1907, № 5) и «Г[осподин] Блок о земледелах, долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом» (стр. 153 — 169). В этой крайне резкой и развязной по тону «антикритике» С. Соловьев отвечал на статью Блока «О лирике» («Золотое руно» 1907, № 6), в которой стихам Соловьева была дана отрицательная оценка (см. письма № 162 и 163, также прим. 3-е к письму № 163). Не считая демагогических обвинений Блока в «глумлениях» над «угнетенными», «бедными тружениками» и утверждений о его «несостоятельности в роли мистического пророка, рыцаря Мадонны»,— главный удар С. Соловьева был направлен против тезиса Блока о «свободе» и «стихийности» лирического творчества. «Так я хочу. Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, — он перестанет быть лириком, — писал Блок. — Поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома». С. Соловьев в соответствии со своей религиозно-мистической концепцией искусства отвечал на это: «Необходимое условие художественности творчества есть сознание иной высшей воли. Истинный лирик творит не во имя свое».

186. БЛОК — БЕЛОМУ

24 апреля 1908. <Петербург>

Милый Боря.

Я долго не отвечал на Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел «Кубок Метелей» и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу.[1] С моей точки зрения там очень много кощунственного, но, так как Ты находил со своей стороны кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что симфония эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не поймет. Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю (но и никто не понимает). К этому присоединяется ужасно неприятное впечат-

ление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гиппиус, «обозной сволочи».[2] Я не могу не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чем-то бо́льшем, чем мы, потому что за это всегда говорили и говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина»[3] мистического порядка, и с точки зрения этой истины я принужден признать твою симфонию враждебной мне по-существу.

Что касается Сережиной «полемики» (?), то я должен сказать, что он понял меня и то, что я писал, столь же тонко, сколько может понять любой высокомерный директор департамента. Мог бы сказать много, но не хочется.[4]

Твой Ал. Блок

[1] 21 апреля 1908 г. Блок писал матери: «Я зол на Москву. Боря пишет мне встревоженные письма (обещает, между проч[им], прислать тебе Симфонию), а я ему не в силах ответить. Ибо неуловимо<.....> выходки есть в этой Симфонии против меня, а в только-что вышедшей книге Сережи — целая очень уловимая< ..... > статья обо мне. Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индийские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп. Чорт с ними» («Письма к родным», стр. 207—208; пропуски — в тексте этого издания).

[2] Имеются в виду: статья о Ф. Сологубе — «Далай-лама из Сапожка» («Весы» 1908, № 3, стр. 63—76; под заглавием «Ф. Сологуб» перепечатана в книге Белого «Луг зеленый», М., 1910, стр. 152—177), рецензия на книгу Антона Крайнего [З. Гиппиус] — «Литературный дневник» («Весы» 1908, № 3, стр. 86—89; «Арабески», стр. 441—445) и статья «Вольноотпущенники» («Весы» 1908, № 2, стр. 69—72; «Арабески», стр. 311—335). В последней статье Белый писал об эпигонах символизма, аттестуя их как «обозную сволочь»; перепечатывая статью в «Арабесках», он заменил это выражение словами: «обоз», «обозники».

[3] Из стих-ия В. Брюсова «Неколебимой истине» («Urbi et Orbi», М., 1903, стр. 148).

[4] См. прим. 3-е к письму № 185. По поводу книги С. Соловьева «Crurifragium» Блок резко и насмешливо высказался в статье «Письма о поэзии» («Золотое руно» 1908, № 7—9 и 10; см. в «Собр. соч.», т. X, стр. 173—175).

187. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<3 мая 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Очень благодарен за Твое правдивое мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. Ты утверждаешь, что все же мистические факты нас связывают; я утверждаю, что их нет и не было вовсе (то, что Ты называешь «мистикой», очевидно не то, что разумею я). Ввиду «сложности» наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапочного знакомства и пр.).

Не отвечай.

Всего хорошего.[2]

Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Ср. высказывание Белого о «Кубке метелей», приведенное в прим. 6-ом к письму № 184. — О последующих враждебных отношениях Блока и Белого (в 1908—1910 гг.) — см. во вступительной статье.

1910

188. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец августа — начало сентября> 1910. Москва> [1]

Глубокоуважаемый и снова близкий Саша,

прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в «Аполлоне» [2], я почувствовал долг написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту правду несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть, или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во-внешнем быть и не быть между нами разрыв — все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а во имя долга. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал.

Аминь...

А теперь внешнее; совершенно независимо от моих слов к Тебе (личного характера) — вот дело от К[нигоиздательст]ва «Мусагет». К[нигоиздательст]во «Мусагет» издает альманах стихов. Желательны из Петербурга Ты, Иванов, Кузмин, Бородаевский и несколько других. Более всего, конечно, украсили бы альманах — Ты и Вячеслав. Понятно, что «И[здательст]во» обращается к Тебе. Наш секретарь Александр Мелетьевич Кожебаткин будет у Тебя с этим письмом и переговорит о Твоем согласии и несогласии.

Остаюсь искренне преданный и любящий

Б. Бугаев

[1] Датировано по связи с ответным письмом Блока. 6 сентября 1910 г. Блок писал Е. Иванову: «Получил здесь очень важное для меня письмо (от А. Белого), которое хочу тебе показать» («Письма к Иванову», стр. 84).

[2] «О современном состоянии русского символизма» («Аполлон» 1910, № 8; «Собр. соч.», т. IX, стр. 76—87) — доклад, прочитанный Блоком 8 апреля 1910 г. в Обществе ревнителей художественного слова (см. об этом докладе во вступительной статье).

189. БЛОК — БЕЛОМУ

6 сентября 1910. Шахматово

Милый и дорогой Боря.

Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более, чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече (впрочем, и Тебе).[1] Но внутренно я давно с Тобой, временами страшно близко, временами — с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе.

Недавно где-то близко от нас с Тобой прошла Минцлова и покачался Вячеслав.[2] Мне от этого было хорошо, тут было со стороны их обоих — много нежности и... такта.

Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня,— но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что есть, за что прощать друг друга; потомучто, действит[ельно], то, что было,— было, это *не* пустое место, это «бес всех нас попутал».

Еще — мне очень дорого Твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренно, почти бессознательно, справлялся у Тебя, отсутствующего: «так ли?» Да, по-братски.

Ну, так правда торжествует. И я скажу: аминь.

Конечно, я с огромным удовольствием пришлю стихов для альманаха «Мусагет». Могу прислать на-днях, но хотел бы узнать сначала, сколько можно? Можно ли цикл (небольшой), или лучше — отдельное стихотворение? Сообщи мне об этом, пожалуйста, или Ты, или попроси А. М. Кожебаткина написать. Жаль, что он не застал меня, но я давно уже в деревне и не знаю, когда вернусь в Петербург. Может быть, долго не вернусь, там нет теперь и квартиры.

Люблю Тебя до дна души и уже совсем без слов.

Твой Ал. Блок

[1] Имеется в виду случайная встреча в Петербурге на вечере памяти В. Ф. Коммиссаржевской 7 марта 1910 г. Белый так описал эту «неловкую» встречу: «...В пустой лекторской остались неожиданно три человека, которые наименее всего в то время хотели встретиться,— А[лександр] А[лександрович], Г. И. Чулков и я. Помнится, мы сухо протянули с А[лександром] А[лександровичем] друг другу руки и тотчас же заходили взад и вперед, не произнося ни одного слова и стараясь друг на друга не глядеть. А[лександр] А[лександрович] ходил от стены к стене, я тоже, но в направлении перпендикуляра, а Г[еоргий] И[ванович] измеривал пространство комнаты по диагонали. Это неловкое молчаливое хождение друг перед другом длилось несколько минут, но я чувствовал уже в глубине души, что путаница между мной и А[лександром] А[лександровичем] ликвидирована, что то безусловное, верное и духовное, чему основа заложена нашим двенадцатичасовым разговором в Москве [см. прим. 1-е к письму № 156. — *Вл. О.*], развивается в нас вопреки всем формам духовного понимания и непонимания, вопреки всякой полемике, нас отделяющей» («Записки мечтателей» № 6, стр. 118).

[2] «Вячеслав Иванов за это время много поработал, чтобы нас примирить» — писал Белый в книге «Омут» (стр. 402).— 16 февраля 1910 г. Вяч. Иванов писал Блоку: «Мне было бы радостно, если бы Вы пришли в четверг в Академию, где будет говорить о ямбе Андрей Белый. Я знаю, что теперь ни Вы, ни он не услышите друг друга. Я Вас понимаю во всем и во всем люблю. Мирить, не думайте, не хочу вовсе. Но все же я знаю, за что и почему могу любить его, т. е. Бориса, и люблю, хотя и знаю ту его виноватость, которой он не может еще всецело постичь» (неизданное письмо).

190. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Сентябрь 1910. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша,

Спасибо, глубоко тронут — в с е т а к.

Как-нибудь напишу: сейчас просто тихо радуюсь.

Но спешу о делах:

Для альманаха надеемся на цикл. Итак ждем стихов: конечно, как угодно и в какой угодно форме. Если бы у Тебя нашлась драма для нас, то, конечно, мы были бы в восхищении.

Итак ждем.

Искренне любящий и преданный

Б. Бугаев

P. S. Тебе напишу, как только освобожусь от хлопот.

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

191. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Сентябрь 1910. Москва>[1]

Дорогой и глубоколюбимый Саша,

откладываю ответ на Твое письмо; Ты сам понимаешь, что такие письма, как Твое, слишком важны, чтобы отвечать сразу; если не отвечаю долго, знай,— это от вескости; духом с Тобой, как духом и с Вячеславом.

Это письмо деловое: 1) Ждем стихов, или драмы, или поэмы для альманаха, 2) К[нигоиздательст]во «М у с а г е т» устраивает серию лекций; будут читать из философов «Л о г о с а» Гессен, Степпун,— далее я, Соловьев; желательны — Ты, Брюсов, Иванов. К[нигоиздательст]во «М у с а г е т» просит меня предложить Тебе прочесть у нас лекцию; тема, время, условия — все это в свой черед; это мы спишемся. А теперь желательно принципиальное согласие или нет. Гессен и Степпун читать будут, вероятно, о философии культуры: Ты, еслибы согласился,— что бы читал? Тогда я мог бы выбрать темой своей лекции смежную с Тобой, чтобы было «в ы с т у п л е н и е п р о г р а м м н о е»; на-днях отправил в «А п о л л о н» ответ Брюсову на его статью; становлюсь на точку зрения Твою и Иванова п р о т и в Брюсова.[2] Было бы возможно перенести и расширить обмен мнений публичным выступлением — хочешь?

Остаюсь крепко любящий Тебя

Б. Бугаев

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Имеется в виду статья В. Брюсова «О „речи рабской", в защиту поэзии» («Аполлон» 1910, № 9, стр. 31—34), представляющая собой возражение на доклады Вяч. Иванова — «Заветы символизма» и Блока — «О современном состоянии русского символизма». Вопреки поддержанному Блоком основному положению Вяч. Иванова о теургической природе символизма как религиозно-художественного мировоззрения В. Брюсов, выдвигая принципы эстетизма и формализма, доказывал, что символизм «х о т е л быть и всегда б ы л т о л ь к о и с к у с с т в о м», что пути искусства и мистики не пересекаются и что «символисты останутся поэтами, какими они и были всегда». — Ответ Белого В. Брюсову — статья «Венок или венец» — был помещен в «Аполлоне» 1910, № 11, хроника, стр. 1—4. Здесь Белый, «будучи несогласен в корне со статьей В. Я. Брюсова», полностью солидаризовался с Вяч. Ивановым и Блоком.

192. БЛОК — БЕЛОМУ

29 сентября 1910. Шахматово

Дорогой и милый Боря.

Долго не отвечаю Тебе потому, что все собирался послать стихи; но все еще не могу составить цикла. Во всяком случае, пошлю скоро, и именно стихи, потомучто ничего другого нет.

Все Твои письма получил. Каждое мне радостно, хотя бы деловое,— просто самый факт нашей новой встречи. Получил также все книги [1], за которые благодарю Тебя горячо. Все они у меня есть (кроме стихов Сидорова [2]), но за «Символизм» я принялся вторично и как-то по-другому (надпись на книге часто мешает, но Твоя — приближает и делает яснее [3]): Хотя многие страницы «Символизма» продолжают оставаться недоступными для меня, мне эта книга очень нужна и — представь себе — близка, притом совсем не только там, где она касается меня лично. Один из самых чудесных фактов моей жизни — связь с Тобой.

Примирение со мной Эллиса [4] я оценил по-новому еще после того, как ответил ему [5], припомнив разное (дрянное и важное). Мы с ним на редкость чужие во всем внешнем (хотя ведь и с Тобой кое в чем внешнем мы чужие), но во мне есть по отношению к нему еще нечто, кроме искренней веры в его ноуменальное благородство.

Я очень рад, что Ты отвечаешь Брюсову в «Аполлоне», но сам не хотел; по-моему в статье Брюсова много просто наивного; было слишком известно, что он скажет; но тяжеловесные колкости показывают, что он очень рассердился, а это ценно. [6] — Не знаешь ли Ты, где сейчас Вячеслав Ив[анов]?

Ты пишешь о лекции. Позволь мне сейчас не решать этого вопроса окончательно, теперь я слишком склонен сказать «нет». Несколько позже я тоже скорее откажусь, конечно, не принципиально,— потом напишу Тебе подробнее, почему. Главным образом потому, что боюсь повторять то самое, что читал весной в академии (статья в «Аполлоне») [7], а повторять это т е п е р ь для меня неизбежно, какова бы ни была тема. Взвешу еще это серьезно, во всяком случае, очень благодарен к[нигоиздательст]ву Мусагет за приглашение.

Напишу Тебе еще некоторые соображения о «практике» символизма, а теперь кончаю письмо.

Любящий тебя Ал. Блок

[1] Издания «Мусагета» и «Альционы».

[2] Ю р и й С и д о р о в. Стихотворения. Вступительные статьи А. Белого, Б. Садовского, С. Соловьева. Изд-во «Альциона», М., 1910.

[3] На сохранившемся в библиотеке Блока экземпляре книги Белого «Символизм» имеется следующая надпись: «Александру Александровичу Блоку от А. Белого».

[4] Среди бумаг Блока сохранилась титульная страница, вырванная из книги: Б о д л е р. Стихотворения в прозе. Перевод Эллиса. «Мусагет», М., 1910 — со следующей дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Александру Александровичу Блоку эта моя запоздалая книга с чувством примирения и симпатии. Эллис». Здесь же Эллисом выписана цитата из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма»: «Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, который, придя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу».

[5] Письма Блока к Эллису не известны.

[6] Блок писал В. Брюсову 3 сентября 1910 г.: «На Вашу статью в „Аполлоне" я могу ответить Вам по всем пунктам, но ведь не стоит затягивать печатные споры. Такие статьи, по-моему, всегда роковым образом догматичны, а вписанные между их строками личные правды убедительны для постороннего читателя только один раз, когда он делает выбор между тем или иным мироотношением. И уже этот выбор — навеки» («Печать и революция» 1928, № 5, стр. 75; «Литературный современник» 1936, № 9, стр. 203—204).

[7] См. прим. 2-е к письму № 188.

193. БЛОК — БЕЛОМУ

22 октября 1910. Шахматово

Милый Боря.

Продолжаешь ли Ты относиться к моей статье о символизме с прежним доверием? Спрашиваю Тебя об этом сейчас по нескольким причинам. Во-первых, если бы *теперь* могла возникнуть между нами хоть тень недоразумения, это было бы просто *нелепым* фактом, не могло бы иметь ни малейшего внутреннего значения; во-вторых: я уверен, что Ты понял статью, как никто, взвесил все выводы из нее, как только возможно; и, однако, достаточно ли ясно она написана, и следоват[ельно], *достаточно* ли ясна она для Тебя? Т[о]-е[сть], учел ли Ты то обстоятельство, что я остаюсь самим собой, тем, что был всегда, т. е. статья *не есть покаяние*, отречние от своей *породы*; я бы мог назвать ее «исповедью», если бы то мое лицо, от которого она исходит, *могло* исповедаться. Но *там* я не исповедуюсь, потому что это *больше* «кающегося дворянства», «интеллигенции и народа», и т. д. Это — я сам, неизменный, и *никогда не противоречивший себе*. Исповедь есть размягчение душевное, желание «исправиться»; но *там* я говорю холодно, жестоко (и к самому себе), прямолинейно, без тени психологии: «вот что произошло со мной в частности и, по моему наблюдению, также и с теми. о ком я могу сказать „мы, символисты". Происшедшее — совершившийся факт, хорошо или плохо — другой вопрос (т. е., лучше сказать — *более, чем плохо*, вне категории „плохого" и „хорошего"). Но это „более чем" (или эту *гибель*) я *лично люблю*».

Так вот, учел ли ты то, что я *люблю гибель*, любил ее искони и остался при этой любви. Настаиваю на том, что я никогда себе *не противоречил в главном*. Мне остается только подчеркнуть в данный момент и для Тебя то свойство моей породы, что я, *любя и понимая*, мож[ет] быть, более всего на свете людей, собирающих свой собственный «пепел» в «урну»[1], чтобы не заслонить света своему живому «я» (Ты, Ницше[2]),— сам остаюсь в тени, в пепле, любящим гибель. Ведь вся история моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также — последующие книги, «Балаганчик», «Незнакомку» и т. д. Указать, что они *мои*; я могу отрекаться от них, как угодно, но не могу не признать их своими.

Ближайшим поводом к упорному задаванию Тебе этих вопросов о себе служит следующее: недавно в <....> газетке я прочел выдержки из фельетона Мережковского о статье Вяч[еслава] Иванова и моей.[3] К сожалению, могу только догадываться о том, что пишет Мережковский, но, кажется, я прав: Мережковский *ничего не захотел понять* (или действительно не понял? оттого я спрашиваю, ясно ли написана статья). Сверх того, Мережковский решил, что статья суть проявление «мании величия» на почве больной русской общественности. Если это так, то мне больно, что Мережковский отнесся так именно к той статье, которая наиболее исходит от *меня — человека*; пока я «получеловечно» писал о промежуточном — об «интеллигенции», например, или о Л. Андрееве и Городецком, — Мережковский принимал; когда заговорил *человек*, он закричал о мании величия. Но это уклонение в сторону; дело в том, что я заподозрел на основании фельетона Мережковского ясность своей статьи.

Другой повод — Твое предложение от «Мусагета» прочесть лекцию на тему *смежную с тобой*, чтобы было «программное выступление». Я упорно «искушаю» Тебя в видах дела. Зная пафос «дела», отношение

к нему Твое, я спрашиваю Тебя начистоту: может ли у Тебя до сих пор возникнуть опасение, что я могу повредить делу? Право, я спрашиваю Тебя без тени психологии и ложного стыда. Спрашиваю потому, что верю в Твой путь; спрашиваю во имя дела. Без Твоего ответа, самого прямого, у меня связаны руки и в решении о лекции.

Еще иначе формулирую свои вопросы: я всегда был последователен в основном (многие, заводя обо мне речь серьезно, т. е., не касаясь «собутыльничества» и т. п., считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным); я последователен и в своей любви к «гибели» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д. — свойства моей природы, более, чем психологические). Теперь: Ты знаешь меня давно, между нами прошло многое, что больше нас обоих, что должно было заслонять нас друг от друга. Теперь, когда мы можем стоять лицом к лицу, веришь ли Ты мне, *всему* * моему «*я*», или только тому, от которого исходит статья о символизме, понятая Тобой лишь частично — (так как, мож[ет] быть, она написана неясно, и в ней не видно всего, хотя она и исходит от всего меня — человека)?

На этом заканчиваю это тяжеловесное письмо. Извини меня за тяжеловесность, происходящую от того, что я совсем разучиваюсь говорить и особенно затрудняюсь говорить о том, что может оказаться излишним (как все мои вопросы этого письма). Я верю, что Ты меня любишь и знаешь, но хочу еще знать, можешь ли Ты мне во всем верить? Отчасти расчищаю эту дорогу так особенно старательно, потомучто озлоблен и утомлен (как, вероятно, и Ты и все «мы») бесконечной сетью кляуз, обманов, передергиваний и сплетен, которые вьются вокруг нас всех все последние годы (исходя и от семитов, и от арийцев, и от друзей, и от врагов, и даже — от самих себя). Особенно существенно и сейчас, когда Мережковские кивают на mania grandiosa**, <....> пресса радуется что «декаденты избавили себя от общественности»; и т. д. и т. д., — чтобы наш путь друг ко другу был, по крайней мере, расчищен до конца.

Прилагаемый цикл стихов, который я хотел бы увидать в «Мусагете», посылаю Тебе после долгих колебаний. Напиши мне свое откровенное мнение. Если Тебе очень не нравится, я мог бы заменить отдельными стихами (не циклом).[4]

Прошу Тебя, ответь мне поскорее. Во-первых, Твой ответ для меня существенно важен, во-вторых я скоро уеду (куда еще не знаю, пока — почти наверно в Петербург).

Любящий тебя глубоко

Александр Блок

[1] Имеются в виду стихотворные сборники Белого — «Пепел» и «Урна».

[2] В тот же день, 22 октября, Блок писал матери: «... Читал Ницше, который мне очень близок» («Письма к родным» II, стр. 92).

[3] Имеется в виду статья Д. Мережковского «Балаган и трагедия» (газета «Русское слово» 1910, № 211 от 14 сентября) по поводу докладов Вяч. Иванова и Блока о символизме. Д. Мережковский, выступавший в ту пору в роли «общественника», с необычайной резкостью обрушился на слова Блока: «Революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России... И сама Россия в лучах новой гражданственности оказалась нашей собственной душой». Мережковский обвинил Блока в «измене тому святому, абсолютному, что было в русской революции»: «По мнению декадентов,— писал он,— русская революция — балаган, на котором Прекрасная Дама — свобода — оказалась „картонной невестой" и „мертвой куклой" и человеческая кровь — клюквен-

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

** Манию величия. — Ред.

ным соком... Я не удивлюсь, если завтра Вяч. Иванов, Ал. Блок и прочие окажутся вместе с Илиодорами и Гермогенами. Кому же кажется нынче свобода „картонной невестой?" Кто не плюет на потухающий жертвенник? Чье ослиное копыто не лягает мертвого льва? И не видят они, что если в душе у них „сорвалось", кончилось „балаганом", то в России продолжается трагедия, и что надо быть черной сотнею, чтобы считать человеческую кровь за клюквенный сок» (см. ниже — прим. 4-е к письму № 197). Статью Д. Мережковского в полном виде Блок прочитал не раньше двадцатых чисел октября, получив ее от А. Скалдина (см. «Письма», стр. 186 и 190).

[4] В альманахе «Антология» («Мусагет», М., 1911) был помещен цикл Блока «Ночные часы», из трех стих-ий: «Вступление» («Когда, вступая в мир огромный»), «Искуситель» («Ты в комнате один сидишь») и «Посещение» («То не ели, не темные ели»).

194. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец октября 1910. Москва>[1]

Милый Саша,

не случайно я молчу в ответ на Твое последнее письмо: то, что имею Тебе сказать не весомо, не укладывается оно в слова письма. Кроме того: мы живем здесь в Москве в такой напряженной атмосфере; мне лично приходится много работать и одному, и по делам Редакции [2], и с кружком студентов [3]; кроме того: у меня на ответственности одно о ч е н ь в а ж н о е д е л о. [4] Если прибавить еще к тому то обстоятельство, что в моей личной жизни очень много важного и трудного, хотя и радостного [5], то Ты поймешь, что моя немота от перегруженности важным; работаю я, как последний чернорабочий [6]; а знаешь, как-то неловко говорить (да еще в письме — все письма суть печальная необходимость), не отмыв лица и рук от рабочей пыли. Кроме того, эмпирически я смертельно устал, зол и сух, и не хотелось бы, чтобы тень чисто физической усталости, внешней сухости и злости пала на мое письмо к Тебе. И т а к в о т п о ч е м у я м о л ч у.

Дорогой, старинный друг, бывший не раз и моим врагом (верю — это уже сожжено раз навсегда), да, я Тебе верю; принимаю всяким. Все личное между нами, психологически затруднявшее меня, сгорело бесследно: могу относиться к Тебе спокойно. И в этом спокойствии нахожу в себе мою любовь к Тебе: кто бы Ты ни был, принимаю; если Ты хочешь г и б е л и с е б е, или вообще г и б е л ь преобладает в Твоей душе, я могу нежно жалеть, что душа Твоя еще в «п е п л е»; но умалит ли п о г и б е л ь н о с т ь Твоих переживаний любовь мою к Тебе? Если Ты вообще хочешь гибели всем, если Ты активно от п о г и б е л ь н о г о и деятельность Твоя сеет смерть, то я объективно бы это почувствовал, и не написал бы Тебе письма. Более того: Ты не писал бы того, что Ты пишешь, ибо Твою статью в «А п о л л о н е» я понимаю и принимаю д о к о н ц а, д о д н а. Ты пишешь мне, что «Б а л а г а н ч и к» и «Н е з н а к о м к а» — Т в о и: не сомневаюсь. Но в эпоху появления этих драм мне казалось, прости меня если я ошибался, ч т о у ж а с н о е п о д р а з у м е в а е м о е с о д е р ж а н и е Ты преподнес нам всем с каким-то тайным злорадством. «На-те», «с ъ е ш ь т е». Этот аккомпанемент, быть может, послышался мне потому, что между нами стояла стена взаимных подозрений; все, что Ты писал, воспринимал я сквозь туман болезненных отношений между нами. И потому не стою на своем; не в факте существования «Б а л а г а н ч и к а» и «Н е з н а к о м к и» суть дела, а в отношении автора к ноте гибели в себе; одно дело, если он говорит своей нотой «н е ч у в с т в у ю, ч т о с в е т п о б е д и т т ь м у»; другое дело, если он говорит «р а з р у ш у в в а с с в е т». Итак: знаю, что «Б а л а г а н ч и к» — Твой до конца (ведь и у меня есть свой «Б а л а г а н ч и к» — «Панихида» [7]); и все-таки п р и е м л ю Т е б я.

Статья Мережковского есть п о з о р и г а д о с т ь; слышать о ней не хочу; после этой статьи, как и многого другого, я просто без всякого

объяснения отвернулся от Мережковских; фактически я отвернулся от них два года; есть в памяти любовь к людям; полемизировать и бороться с ними не хочу, как не хочу вообще ни с кем никакой полемики; просто фактически молчаливо я ушел от них. Статья же о Тебе и Иванове есть форменная провокация; смысл: символисты «начали сладью — кончили гадью» (слова Мережковского). Блок изобразил революцию в виде «Балаганчика» (это — донос читателям «Рус-с[кого] Слова»). После статьи я написал было Мережковскому: «Разрываю с Вами все». Но не послал: они поняли бы, что это — истерика; а у меня никакой истерики нет; все, что делаю, делаю четко и холодно. И я холодно закупорился от них еще более. Между нашими отношениями — горы льдов. Вот все, что чувствую к Д[митрию] С[ергееви-чу]. И странно: Булгаков, Бердяев, Гершенсон ближе мне Мережковских.

Мне было бы обидно за Тебя, если бы Ты не дал понять так или иначе Мережковским, что данная статья о символистах не есть просто «полемика», а либеральный дешевый донос <.....> на своих друзей.

Вот что я почувствовал в статье Мережковского; после нее еще более уверовал в нужность Твоих слов.

Я молчал эти недели потому еще, что было очень много черной работы. Наш оффициальный Редактор Метнер, как португальский король[9], сбежал за границу с мая; и с начала августа до последних дней мне пришлось фактически входить во все детали издательства. В месяц мы напечатали большой том «Логоса» (№ 2-ой), Гераклита; выпустили «Камену» Садовского[10], готовим Гильдебрандта «Проблему формы», допечатываем «Арабески» (вышел большой том), «Музыку и модернизм»[11]; все лежало на мне. Кроме того: сейчас при «Мусагете» маленькие курсы. I. Семинарий по эстетике Канта (с рефератами и обсуждениями).[12] II. Работы по ритму (отнимающие много времени). Человек 15 здесь работают жарко; у нас создалась своя как бы лаборатория ритма.[13] III. Курс по Фету (Садовского). IV. Курс по истории французского символизма (Эллиса). Три вечера уходят на курсы. Прочие вечера на подготовления. Сейчас нужна огромная созидательная, подземная работа. Весь «Мусагет» есть попытка сохранить символизм, но пересадить его на кремнистую почву подтянутости и энергии из болот «психологических туманов». Настроение у нас вот какое: вчера над морем плавали символические корабли; но была «Цусима». Думают, что нас нет и флот уничтожен. «Мусагет» есть попытка заменить систему кораблей системой «подводных забронированных лодок». Пока на поверхности уныние, у нас в катакомбах кипит деятельная работа по сооружению подводного флота. И мы — уверенны и тверды. И без Рождественского (Брюсова) мы только выигрываем.

Пишу это все, чтобы Ты понял, до чего я занят; до чего трудно писать, а особенно Тебе после нашего двухлетнего молчания. Не хочу психологических излияний и уверений, но внутренне твердо и уверенно жму Твою руку.

О лекции... прежде вот о чем: через 1½ месяца (это между нами) я поеду отдохнуть за границу; после годовой упорной работы над «Мусагетом», «Символизмом», «Голубем» и другим я чувствую крайнее физическое утомление; за границей пробуду не меньше году (надо спокойно дописывать трилогию «Восток или Запад»[14]); итак, вопрос о лекции Твоей усложняется; на-днях с Метнером (только-что вернувшимся) мы обсуждаем или отвергаем план публичных лекций; в случае Твоего желания, мы, конечно, устраиваем Твою лекцию в Москве.[15] Но чтобы была согласованность, ритм выступления, которое принципиально считаю важным, нужно бы повидаться. Конечно, я не хочу с Тобой говорить о личном (сохрани меня бог!). Просто

надо увидеть друг друга; да о многом не скажешь в письме; «Мусагет» страстно хочет мира и единства между «символистами»; в прошлом году Вячеслав Иванов жил в «Мусагете». Пока он был у нас, он многое создал. «Мусагет» считается с Вячеславом, как безусловно со своим. И Ты мог бы внести в деятельность «Мусагета» свою ноту, ибо «Мусагет» не есть предприятие чье-либо; кто к нам придет с добрым словом, кто научит нас своему, тому мы предоставим возможность и осуществлять свое.

Полемика «Весов», деление на Москву и Петербург, в связи с ростом <.....> и рекламности принесло только вред, расстроила личные отношения. Мы все как бы не знаем друг друга — еще косимся. Познакомься с нами, как познакомился с нами Вячеслав. Поживи у нас хоть с недельку. Это не я, Андрей Белый, зову Ал[ександра] Блока; это «мы» все (я один из...) зовем к себе почитаемого брата. Не прошлое притягивает нас друг к другу, а возможное лучшее будущее. Вот мое предложение: вопрос о лекции вытечет само собою. (Конечно, формально мы беремся тотчас устроить лекцию, но будет ли она так ритмична, как выступление Вяч[еслава] Иванова в прошлом году [16], когда взаимное понимание создало из его выступления «событие»...). Внешне приезд Твой был бы тем удобнее, что в «Мусагете» мы отвели бы Тебе комнату, в которой жил Вячеслав. Внешне «Мусагет», конечно, был бы счастлив принять Ал[ександра] Блока, видеть его своим гостем.

Но если Ты считаешь, что нам встречаться неловко (чего я не думаю), то, конечно, я Тебя не зову. Понимаю и принимаю. Продолжаю любить издалека.

В последнем случае, благодаря моему предполагаемому отъезду на год, мы невольно остаемся с взаимной любовью и общей целью, но с трудом реализуемой во-вне.

Итак, жду ответа. Кроме того: у нас в «Мусагете» дружба с Религиозн[о]-Филос[офским] Обществом и с издательством «Путь», задача которого — Россия.[17] Как это ни странно, но «Мусагет», «Веховцы» [18] и еще кое-кто—пока вехи какого-то издали намечаемого единства. Фанатик Эллис, я, весовская «собака» Садовской, Гершенсон, Булгаков, Бердяев как-то ближе друг к другу, чем к Брюсову, Серг[ею] Соловьеву.[19] Мы все-таки в Москве — семья. И я предлагаю Тебе читать лекцию и в «Мусагете», и в «Религ[иозно]-Филос[офском] Обществе, где тема, Тобой уже высказанная в «Аполлоне», встретит сочувствие со стороны очень и очень многих. С Тобой будет Гершенсон, Рачинский, Эрн, Булгаков, Бердяев, я (мы все почти члены совета); и только будет тупо (но без злобы) не понимать необидный Евгений Трубецкой.

Между прочим: в понедельник 1-го ноября в закрытом заседании я читаю в «О[бщест]ве» доклад «Трагедия творчества у Достоевского» (тема все та же); вот предлог идейно понять друг друга, познакомиться с нами. Если бы Ты захотел приехать, приезжай к 1-ому.

Но, повторяю: все это лишь предложение, не меняющее сущность наших отношений, очень твердых, очень не-психологичных.

Остаюсь любящий Тебя неизменно

Б. Бугаев

P. S. За стихи спасибо. Конечно, все подойдут; стихи — превосходны; они будут украшением альманаха (это вполне искренно). Напиши об условиях Твоих: ставишь ли ты условия нам, или «Мусагет» должен Тебе предложить свои условия?

[1] Датировано по связи с предыдущим письмом.

[2] Издательство «Мусагет».

[3] Кружок по изучению стихового ритма (см. «Омут», стр. 392—396).

[4] Вероятно, имеется в виду инцидент с Эллисом, обвиненным в порче книг Румянцевского музея (см. «Омут», стр. 368—373).

[5] Белый имеет в виду отношения с А. А. Тургеневой — своей будущей женой (см. «Омут», стр. 362—368, 380, 396—401).

[6] См. «Омут», стр. 376—379.

[7] Лирическая поэма (полностью напечатана в «Весах» 1907, № 6, стр. 5—14), являющаяся, по определению Белого, «сплошной депрессией» («Омут», стр. 138).

[8] Блок сообщил матери 31 октября 1910 г.: «Боря пишет, что фельетон Мережковского обо мне есть действительно мерзкий либеральный донос... на символистов» («Письма к родным» II, стр. 96).

[9] Имеется в виду король Мануэль, свергнутый с престола 5 октября 1910 г. и бежавший от революции за границу.

[10] Сборник статей Б. Садовского «Русская Камена», изданный «Мусагетом» в 1910 г.

[11] «Модернизм и музыка» — книга статей Вольфинга (Э. К. Метнера).

[12] Под руководством Ф. А. Степпуна.

[13] Под руководством Белого (см. выше — прим. 3-е).

[14] В предисловии к отдельному изданию романа «Серебряный голубь» (М., 1910) Белый назвал его первой частью задуманной им трилогии «Восток или Запад»; второй частью трилогии должен был служить роман «Путники» — будущий «Петербург». (см. «Воспоминания» Белого — «Литературное наследство» № 27—28, М., 1937, стр. 453 — 454).

[15] Блок с лекцией в Москве не выступал, и вообще весь план организации публичных лекций от имени «Мусагета» в это время реализован не был.

[16] Доклад, прочитанный в московском Обществе свободной эстетики и положенный в основу статьи «Заветы символизма».

[17] Издательство «Путь», принадлежавшее крупной капиталистке М. Морозовой, объединяло группу философов-идеалистов, последователей Вл. Соловьева, и ставило своей задачей разработку вопросов «русской религиозной мысли и русского самосознания» в аспекте неославянофильских теорий (см. декларацию издательства в его «Сборнике первом — О Владимире Соловьеве», М., 1911).

[18] Группа участников нашумевшего сборника «Вехи» (1-е изд. 1909 г.): Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский; П. Струве, С. Франк. По определению В. И. Ленина, сборник этот знаменовал собой «крупнейшие вехи на пути полнейшего разрыва русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями» («Сочинения», изд. 2-е, т. XIV, стр. 217).

[19] Касаясь событий 1910 г., Белый писал: «Наши идейные пути с Соловьевым вполне разошлись; и с той поры не было уже между нами былой жизненной связи; в заседаниях [«Мусагета». — *Вл. О.*] он не участвовал, нас избегая» («Омут», стр. 375).

195. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<25 ноября 1910. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша!

Верю, что наша встреча[2] — залог будущих наших ясных и неомраченных отношений; верю, что Твое присутствие в «Мусагете» есть залог будущего согласия среди символистов; верю, что Твое участие в «Мусагете» выразится не только в виде книг, печатаемых нами; хотелось бы думать, что и советом Ты нас не оставишь. Тем более хотелось бы Твоего видимого и невидимого участия, что сейчас я уезжаю, Вячеслав не пишет и из писателей кроме Эллиса и Метнера никто не остается в «Мусагете». Есть еще «Путь», но «Путь» не «Мусагет».

Пишу кратко и лаконически; через 3—4 дня еду в Сицилию; прощай; буду из-за границы Тебе писать. Сейчас же в бегах.

Остаюсь любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Привет общим знакомым. Особенный Вячеславу.

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] 1 ноября 1910 г. Блок приехал из Шахматова в Москву и присутствовал на лекции Белого «Трагедия творчества у Достоевского» (в Религиозно-философском обществе). «Мы встретились в переполненном зале дома Морозовой, куда он попал прямо с поезда,— рассказывает Белый.— Перед самым началом лекции, увидав Блока, я пробился к нему и крепко поцеловал... а следующие дни пребывания Блока в Москве были для меня предъотъездными хлопотами, между которыми спешно, почти случайно, но горячо, мы встречались с поэтом, обсуждая план собрания стихотворений его в „Мусагете"; он сам предложил нам его; и я всячески доказывал Метнеру культурную важность такого издания; был он и в кружке ритмистов моих; сидел в уголке и прислушивался к специальным разговорам о ритме» («Омут», стр. 403, подробнее — «Эпопея», № 4, стр. 185—200). На этот раз Блок провел в Москве три дня (до 4 ноября).

196. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец ноября — Начало декабря 1910. Палермо> [1]

Милый Саша!

Привет из Палермо! «Kennst Du das Land, wo die Citronen blühten?» [2] Бирюзовое море, пальмы, сикоморы, громадные розы в цвету, кактусы, оливки, рододендроны, пальмы! До 16 градусов и больше тепла. Глупо радостно. Кругом города, апельсиновые рощи, множество золотых апельсинов; выше — амфитеатр гор с камнями и кипарисами; впереди — невыразимая голубизна: море. Живу в отеле, где хозяин помнит еще Вагнера; в этом отеле Вагнер кончал Парсифаля.[3]

Целую

Боря

[1] Датировано на основании письма Блока к матери от 13 декабря 1910 г., где сказано: «Я получил от Бори открытку из Палермо» («Письма к родным» II, стр. 105).

[2] Стих Гёте: «Ты знаешь край, где цветут лимоны?»

[3] О Палермо см. у Белого в «Путевых заметках», стр. 55 сл. (или «Офейра», стр. 34 — 79), также — «Литературное наследство» № 27 — 28, стр. 414 — 415.

197. БЛОК — БЕЛОМУ

19 декабря <1910. Петербург>

Милый Боря.

Я не знаю, куда писать Тебе; думал, что Ты уедешь скоро из Палермо. Получил и Твое московское письмо и итальянскую открытку.

В Петербурге трудно и туманно. Живу тихо и жду лучшего.

Приезжал Э. К. Метнер.[1] Соловьевский вечер здесь не удался, лучше было бы совсем не устраивать.[2] В Москве, надеюсь, будет лучше и строже.

Пиши мне иногда. Часто думаю о Тебе. Я перечитывал «Кубок мятелей» — совсем по-новому; но когда-нибудь буду перечитывать его еще иначе и еще лучше.

Я написал Д. С. Мережковскому несколько резких писем.[3] Он отвечал так, что лучше бы и совсем не отвечать. Больше не буду делать попыток к сближению; для меня неприемлем Мережковский, как его сверстники — Розанов и Минский. Бог с ними.[4]

Завидую Тебе, что Ты в Италии; впрочем, вероятно, и сам там буду.[5] Хочу списаться об издании с Э. К. Метгнером. Мне окончательно ясно, что не надо издавать «Собрания сочинений», а только — «Собрание стихотворений» (3 тома); «Стихи о Прекрасной Даме» разрослись.[6] Да, прибавляются и «Эллины», о которых Ты говорил на вокзале.[7]

Люблю Тебя, пиши.

Твой Ал. Блок

[1] Э. Метнер посетил Блока 7 и 9 декабря (см. «Письма к родным» II, стр. 104 и 105).

[2] Вечер памяти Вл. Соловьева, состоявшийся в десятую годовщину его смерти — 14 декабря 1910 г. — в Тенишевском зале. На этом вечере Блок выступил с речью «Рыцарь-монах» (повторно — в Религиозно-философском обществе 19 января 1911 г.). Ср. «Письма к родным» II, стр. 106.

[3] По поводу его статьи «Балаган и трагедия» (см. прим. 3-е к письму № 193). Письма Блока к Д. Мережковскому не известны.

[4] 22 ноября 1910 г. Блок писал матери: «...Я решил отвечать Мережковскому на его гадости. Лучше хоть поздно. Написал письмо и буду опровергать печатно.. Сегодня изнервлен этими отписками Мережковскому. Это просто противно. Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие символизм с запада (Мережковский, Минский), растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же, они мелкие люди — слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают все в одну кучу (религию, искусство, политику и т. д. и т. д.) и предаются истерике. Мережковскому мне просто пришлось прочесть нотацию. Они уже больше, кажется, ничего не чувствуют и не понимают» («Письма к родным» II, стр. 99—100). 26 ноября Блок получил ответное письмо Д. Мережковского, по поводу которого писал матери (29 ноября): «Лучше бы он не писал вовсе, я окончательно разозлился. Письмо христианское, елейное, с уверениями в „искренности" и „взволнованности", с объяснениями, мертвыми по существу. На это я ему написал еще длиннее и еще резче... Печатно возражать не буду — поздно и Женя [Е. Иванов.— *Вл. О.*] отговорил. Во всяком случае, с этим покончены счеты, как они вообще поканчиваются со многими, по моей инициативе» (там же, стр. 102). Незаконченное Блоком «Открытое письмо Д. Мережковскому» опубликовано в «Собр. соч.», т. IX, стр. 88—91.

[5] Предполагавшаяся Блоком поездка в Италию не состоялась.

[6] «Собрание стихотворений» Блока в трех книгах было издано «Мусагетом» в 1911—1912 гг. Историю этого издания см. в моей статье «Литературное наследство Александра Блока» («Литературное наследство» № 27—28, 1937, стр. 521—524).

[7] Вероятно, имеются в виду стих-ия Блока (1900 г.): «Поклонник Эллинов — я лиру забывал» и «В полночь глухую рожденная» (где также упоминаются «Эллины»), вошедшие в первую книгу «Собрания стихотворений», изданного «Мусагетом» (стр. 39 и 44). В первом издании «Стихов о Прекрасной Даме» (1905) первое из этих стих-ий не было помещено вовсе, а во втором были опущены две строфы — именно те, в которых упоминаются «Эллины».

198. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 декабря 1910 / 5 января 1911. Тунис>[1]

Дорогой Саша!

Привет из Туниса, и с Новым Годом! Тунис великолепен: арабы превосходны; вчера накупили благовоний: мускуса и какой-то розовой, восточной эссенции. Каждый араб — художественное произведение. Европейский город, как везде; арабский кольцом его окружает; он прямо сказочен.[2] Адрес: Tunis, Poste restante.

От Аси Тургеневой привет.

Любящий Тебя

Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] О Тунисе см. у Белого в «Путевых заметках», стр. 173 сл. (или «Офейра», стр. 117—149), также — «Литературное наследство» № 27—28, стр. 416 сл.

199. БЛОК — БЕЛОМУ

<Конец декабря 1910>. Петербург[1]

Милый Боря, с Новым Годом. Привет Твоей Спутнице.[2] Люблю Тебя.

Ал. Блок

[1] Датировано по содержанию.

[2] А. А. Тургеневой.

1911

200. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<2 января> / 15 января 1911. Радес

Милый Шура,

пишу Тебе тотчас по получении Твоего письма. Его получил я лишь в Тунисе (ездил в Тунис). Мой точный адрес: A f r i q u e. T u n i s i e Maxulla-Radès (près de Tunis). A Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне.

Живу в арабской деревушке, ослепительно белой, ослепительно чистой с плоскокрышими, высокими, похожими на башню трехэтажными домиками, с рядом снежно-белых каменных куполов, прекрасным минаретом, рядом гробниц (Марабу), осененных пальмами, оливками и фиговыми деревьями. Мы живем с Асей в настоящем, арабском доме, одни, занимаем 3 этажа с крохотными, затейливыми, очаровательными комнатушками, то сплошь состоящи[ми] из чудесных окон, то без окон вовсе; у нас — изразцовые полы, простенки, крутая лесенка и громадный, прямо на полу лежащий восточный диван; в комнатах курим арабские благовония. Кругом арабы: хозяйка наша — единственная француженка во всем селе (Радесе); в ½ версте, за горой—село M a x u l l a, где устроены виллы французов; в Радесе же ничего европейского нет. Арабы — великолепны: это какой-то сплошной sui generis прерафаэлитизма — их жизнь. Все в жизни их размеренно, обдуманно, начиная с прекрасного одеяния, туфель, кошельков, чашек, и кончая домами с плоскими крышами: у нас с Асей великолепная плоская крыша и мы по вечерам подолгу сидим там на ковре, подгибая ноги калачиком; а недалеко (20 минут ходьбы) сверкает бирюзовое, Средиземное море.[1] Я превратился в глупого, довольного эпикурейца: собираю ракушки, читаю арабские сказки, и говорю глупости Асе: даже странно: в своем квиэтизме дошел до того, что стал плоско каламбурить.

Но я доволен, счастлив, чувствую, как с каждым днем приливают силы: наконец-то, после 6 безумных лет, состоящих из сплошных страданий, я успокоился. Я беспокоюсь только, что счастье, мне посланное, вдруг... оборвется.

Милый Шура, беги Ты от суеты, Петербурга, литераторов: все это— мерзость, <.....>, гниль и безрезультатная истерика. Жизнь может быть прекрасной, а ее портят... л ю д и.

Ну что ж — пусть будет «С о б р а н и е   с т и х о в»...[2] Мне бы хотелось, чтобы скорей у нас появилась Твоя книга.

Пишу быстро и скомканно, ибо уже 12 часов. Я встаю в 8, а ложусь уже в 11, и неодолимо хочется спать.

Пиши, милый, хоть несколько слов. А за письмо — спасибо.

Я проживу в Radès'е по крайней мере 2 месяца. Письма идут дней 10—12; итак только через месяц могу ждать ответа. Ну, всего светлого, милый. Люблю Тебя.

Твой Борис Бугаев

[1] О Радесе см. у Белого в «Путевых заметках» стр. 237 сл. (или «Офейра», стр. 150—199), также — «Литературное наследство» № 27—28, стр. 416—417.

[2] См. прим. 6-е к письму № 197.

201. БЛОК — БЕЛОМУ

$\frac{17}{30}$ января 1911. <Петербург>

Милый Боря.

Пришло Твое прекрасное письмо, я очень радуюсь за Тебя.[1] Давно знаю то, что Ты пишешь. Давно уже живу в Петербурге, как в деревне, мало с кем вижусь. Все, что растет во мне съизнова, должно закрепиться где-нибудь далеко, вне Петербурга, или даже совсем вне города. Вероятно, и я современем «уеду за границу».— В феврале еду в Москву — читать на Соловьевском вечере.[2] Послал уже в Мусагет первый том.[3]

Сообщаю Тебе большую просьбу, заранее. Здесь затевается журнал. Ближайшие сотрудники: Вячеслав Иванов, Аничков, Пяст, Верховский, Ремизов, Княжнин и я. «Редакционная комиссия» — Пяст, Аничков и я. Затеяно все Пястом. Все это — проба, и, притом, с внешней т[очки] зр[ения] — очень непрактичная, потому что денег почти нет. Я лично считаю, что этот журнал будет только бескорыстным застрельщиком — наметит главные точки и расчистит место для будущего. Все мы принципиально изгоняем литературщину, «декадентство», <.....>, хулиганство и т. д., и т. д. Нумера (маленькие — листа 3 — 12 раз в год) будут состоять из 1) рассказа, 2) нескольких стихотворений, 3) трех-четырех статей. Перечисленные сотрудники—только «ближайшие». Рядом с ними, конечно, желательны еще некоторые — прежде всех — Ты. Совещаясь с Пястом, мы решили не звать в число этих «ближайших» Тебя потому что: 1) Ты — в Африке и 2) о Тебе предполагается писать, если же Твое имя будет в числе наших, то выйдет, что мы сами себя хвалим. Если же Ты дашь нам — или рассказ, или статью, или стихотворения, или даже просто несколько страниц тунисских впечатлений,— мы будем Тебе особенно благодарны. До лета должно выйти 6 №№ (каждые 20 дней с 15 февраля). Поддержи нас.[4] Целую Тебя крепко. Будь светел.

Твой Ал. Блок

[1] «От Бори я получил хорошее письмо из Африки,— писал Блок матери 13 января 1911 .— Он живет в деревне около Туниса, страшно доволен жизнью и „счастьем после 6-ти лет страданий". Я очень рад за него» («Письма к родным» II, стр. 111)

[2] 10 февраля Блок должен был читать в Московском религиозно-философском обществе свою речь «Рыцарь-монах» (см. прим. 2-е к письму № 197), но 8 февраля захворал и в Москву не поехал; речь была прочитана за него другим (см. «Письма к родным» II, стр. 119—120).

[3] Первый том «Собрания стихотворений» был послан Блоком в изд-во «Мусагет» 9 января 1911 г. (см. «Письма к родным» II, стр. 110).

[4] О своем проекте издавать журнал В. Пяст сообщил Блоку 5 января 1911 г. Журнал предполагали озаглавить «Символист», либо «Стрелец», либо «Путник» и с 1912 г. издавать в более широких масштабах. Блок, по словам В. Пяста, «принимал неизменное и горячее участие во всех — как заседаниях, так и „хождениях" (для обдумывания) по поводу журнала». Но уже 21 января 1911 г. он писал матери: «Журнал (т. е. проект его) влачит довольно жалкое существование под напором Вяч. Иванова и его несогласий. Я не могу разобрать, охладел я окончательно или не охладел... Вячеслав убеждал меня издавать „дневник писателя", а теперь, после моего

отхода, предлагает издавать дневник трех писателей, с совершенно независимыми тремя отделами, объединенный только тем, что все три (А. Белый, он и я) «живут об одном». Этот последний план всех заманчивей, конечно. Остается решать нам с Пястом. Аничков охладевает к журналу, а мы — к Аничковским пылким статьям». Два дня спустя, 23 января, Блок уже сообщил матери, что «журнал расстраивается» и тогда же писал В. Пясту: «Все эти дни я искал „в себе" журнала — и не нашел ни следа. Прочной связи нет. Из всех сотрудников (исключая Вяч. Ив[анова] который окончательно против — сегодня я опять получил от него письмо) связаны т о л ь к о мы с Вами — но *не* журнально (о Княжнине не знаю). Рассказы Ремизова, Зиновьевой-Аннибал, Ивана Странника могут быть везде. В Верховском мы уже возбудили несвойственные ему чувства. С Аничковым нам не связаться никак... Пишу А. Белому отказ» (см. следующее письмо Блока — № 203 и прим. 5-е к письму № 217). Однако, проект организации журнала возникал в кругу Блока — Вяч. Иванова — В. Пяста, в разных вариантах, вплоть до лета 1911 г. Так, например, 8 мая Блок писал А. Ремизову: «Было... совещание у Аничкова о журнале — Вяч. Ив[анов] говорил, конечно, главн[ым] образом: представил проект журнала. Говорили четверо (Аничков, Вяч. Ив[анов], Пяст и я), и выяснилось уже ясно, что настоящей связи нет („во Имя")». См. по вопросу об этом журнальном проекте: «Письма к родным» II, стр. 109—113; В. П я с т. Воспоминания о Блоке, П., 1923, стр. 16, 43 и 87—88; «Литературный современник» 1933, № 5, стр. 145.

202. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{19 \text{ января}}{1 \text{ февраля}}$ 1911. Радес>[1]

Милый Саша!

Спасибо за память. На-днях пишу. Очень и очень люблю Тебя. У меня с собой «Земля в Снегу» и мы с Асей ее читаем.

Любящий Тебя

Б. Бугаев

Адрес: Afrique, Tunisie. Maxulla-Radès (près de Tunis). Chez Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне.

[1] Дата почтового штемпеля.

203. БЛОК — БЕЛОМУ

$\frac{23 \text{ ян[варя]}}{5 \text{ фев[раля]}}$ 1911. <Петербург>

Милый Боря.

Много трудного.— Журнал, конечно, расстраивается, так что все мои просьбы к Тебе — напрасны.[1] — Живи, живи так хорошо, как пишешь, радуюсь за Тебя; и сам, может быть, когда-нибудь, заживу. Господь с Тобой

Твой Саша

[1] См. прим. 4-е к письму № 201.

204. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{13}{26}$ февраля 1911. Кэруан>[1]

Милый Саша, пишу Тебе наскоро. Сейчас в Кэруане, священном городе Тунисии. Когда вернусь в Радес, отвечу. Будь тверд. С журналом ужасно жаль, но... может ли сейчас быть журнал? По-моему еще... н е м о ж е т: действительный. Мы все еще устали: соберемся же с силами для... р у с с к о г о д е л а. Верю — когда будут силы, будет журнал. Как сейчас здесь странно: только-что проблистало небо русским закатом. Сейчас мы недалеко от начала пустыни. Непременно увижу пустыню; если не ливийскую, то начало Сахары.

Любящий Тебя нежно Б. Бугаев

Пишу на адрес Вячеслава: Твой адрес остался в Радесе.

205. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{22\ \text{февраля}}{7\ \text{марта}}$ 1911. Тунис>[1]

Милый Шура!

Получил ли открытку из Кэруана: все не могу собраться написать: эту неделю — сплошь дела. Спасибо, что не забываешь. Как здоровье? Знаю, что не был в Москве.[2] Наш адрес: Afrique. Egypte. Kaire. Poste restante. Милый, милый,— обнимаю.

Любящий Тебя очень

Б. Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] См. прим. 2-е к письму № 201.

206. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{26\ \text{февраля}}{11\ \text{марта}}$> 1911. Море

Милый Саша!

Только теперь Тебе пишу. И Ты, вероятно, еще долго не получишь моего письма. Последнее Твое письмо было грустное. Ничего — все хорошо. Чувствую, что не будет черных времен, как прежде. Долго, долго еще нам ждать успокоения; и успокоение не будет даваться нам. *Но — ничего.** Все — хорошо.

Сейчас как-то особенно мирно настроен; долго сейчас с Асей мы стояли на корме парохода, глядя на бурю летящих, свистящих и клокочущих вод: что за цвета! Чернолиловый, многовесный, мгновенно меняющий очертанье камень — вот море; оно вовсе не пучина, а упругая, желатиновязкая среда, по которой можно бегать свободно, если намазать салом сапоги да срезать с них каблуки. И по этому чернолиловому и кубовому с празеленью камню — пена чуть-чуть розоватая, белая и лазурная; лазурная пена — пена подводная. Сейчас летели брызги в этом лазурнобелом и чернолиловом гременье; коричневатый, тусклый, матовогрустный закат. Третий день уже, как мы не видим земли; до Порт-Саида еще два дня плавания; теперь справа от нас проходит Крит, слева же Триполи; уже мы почти на уровне западной границы Египта. Становится теплей... Плывем на «А r с а d і а», идущем в Китай и Японию с грузом рельс для <. . . . .> чертей; команда вся почти состоит из китайцев; 45 китайцев и 15 европейцев. Из пассажиров — мы одни; пароход немецкий из Гамбурга, добродушный бородач капитан в кают кампании по вечерам говорит об угле, культуре и Канте и угощает пирогом с яблоками и домашним печеньем; на палубе гуляет баран и весь день свистит канарейка. Качка, но мы уже привыкли (в море — четвертый день; день еще плыли от Туниса до Мальты, но поганец италианец собственно говоря нас выгнал: сицилийцы и южные итальянцы — носачи и поганцы!..). Мирно, тихо, уютно даже... комфортабельно; плыть бы да плыть без земли, без устали; завидую команде, плывущей к Филиппинам, Иокагаме, Шанхаю мимо Индии. Капитан добродушно зовет с собою... Ася первые переезды наши лежала (от Неаполя до Палермо, от Палермо до Туниса и от Туниса до Мальты); теперь же привыкла; еще день, два, и покажется, что на пароходе родился, но через два дня уж и Порт-Саид. (Едем не на Александрию). Из Египта едем в Иерусалим, Смирну, Афины, Константинополь, Россия. В Египте побудем с месяц. Пиши: так хочется иметь вести из России, особенно от Тебя...

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

Отрывали... сейчас ужинали; моряки угощали меня русской водкой; ужасно уютно мирно болтать среди свиста и хохота волн; сейчас сказали, что ввиду качки не двое, а еще трое суток до Порт-Саида: ветер сильный и встречный, и пароход идет вдвое медленнее... Впрочем, что я пишу! О водке, о пароходе... Но, друг, сейчас в голове пусто, спокойно, и мыслей никаких, кроме горячего желания Тебя обнять и сказать, что люблю, радуюсь нашему примирению, верю, что оно — прочное.

Любящий Тебя нежно

Борис Бугаев

P. S. Если Александра Андреевна и Твоя жена ничего особенного против меня не имеют, то передай и им привет.

207. БЛОК — БЕЛОМУ

3/16 марта 1911. <Петербург>

Милый Боря.

Ну, вот — китайская война.[1]

Поздравляю Тебя со всеми новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро.[2] Все-таки, возвращайся в Россию. Может быть, такой — ее уже недолго видеть и знать.

А наши письма — все еще натянутые. Пусть так, это еще необходимо должно быть; все, что было, нелегко.

Живу сосредоточенно. Пишу поэму.[3] Открытки из Кэруана не получал.[4] «Мусагет» что-то не дает о себе никаких вестей.

У меня много планов. Не знаю еще, как и где проведу лето.

Целую Тебя крепко. Господь с Тобой.

Твой Ал. Блок

[1] О Китайской войне Блок писал в связи с напряженными в то время русско-китайскими отношениями и, очевидно, под впечатлением газетных сообщений о возможности оккупации русскими войсками Кульджи (см. «Речь», № 60 от 3 марта 1911 г.).

[2] 8 марта 1911 г. Блок писал матери: «Правительства всех стран зарвались окончательно. М[ожет] б[ыть], еще и нам суждено увидеть три великих войны, своих Наполеонов и новую картину мира. Китай нас не минует — не сегодня — завтра» («Письма к родным» II, стр. 132). Ср. замечания Блока об ощущавшемся зимой 1911 г. «запахе гари, железа и крови» — в предисловии к поэме «Возмездие».— Об идее «Востока и Запада» («Китая», «панмонголизма», «желтокровия» и т. д.) в системе философско-исторических концепций Блока и Белого — см. во вступительной статье.

[3] «Возмездие».

[4] Имеется в виду письмо № 204 (от 13/26 февраля), посланное Белым на адрес Вяч. Иванова и переданное последним Блоку с запозданием — только 4 марта 1911 г. (эта дата установлена на основании неизданного письма Вяч. Иванова к Блоку от того же числа).

208. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало марта 1911. Каир>[1]

Милый Саша!

Вчера была для меня незабываемая минута. Я глядел с полчаса, не отрываясь, в глаза сфинксу[2]; из песков над песками глядит сфинкс огромными живыми глазами; и каждую минуту меняется выраженье его чудовищного лица: сначала он был грозный, потом насмешливый, испуганный, грустный, нежный, как ангел, прекрасный. Луна ослепительно горела, освещая пустыню. Черные привиденья феллахов одиноко застывали здесь и там. И надо всем два безумных конуса — пирамиды.

Нежно любящий

Б. Бугаев

[1] Датировано по связи со следующим письмом (дата почтового штемпеля неразборчива).

[2] О «Сфинксе» Белый писал в очерке «Египет» («Современник» 1912, № 6, стр. 186—193). Тема «Сфинкса» нашла интересное отражение в романе «Петербург» (см. 1-е изд.— П., 1916, стр. 274—275); ср. «Литературное наследство» № 27—28, стр. 434.

209. БЛОК — БЕЛОМУ

$\frac{12}{25}$ марта <1911. Петербург>

Милый Боря, сегодня узнал из Твоего письма о сфинксе. Да, есть *и* это. Я бы, может быть, испугался сейчас. Сейчас — грустная минута: после напряжения многих дней—чувство одиночества. Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем. Уже «меня» (того ненужного, докучного, вечно самому себе нравящегося или ненравящегося «меня» — мало осталось, почти нет; часто — вовсе нет; чаще и чаще). Но за плечами — все «мое» и все «не мое», равно великое: «священная любовь», и 9-е января, и Цусима [1] — и над всем единый большой, строгий, м и л ы й, с в я т о й крест. Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце,— и о д и н: бодрый, здоровый, *не* «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловеченье».

Может быть, мы не вместе сейчас, но из будущего гляжу на Тебя взглядом нежного друга; в настоящем — целуюсь при встрече с Тобой, но в глазах у нас — д е л о: более, чем когда-нибудь, мы на «флагманском корабле»; не знаю, какую работу исполняю я,— но исполняю, как-то каждый день готовлюсь к сражению.

Крепко целую Тебя и жму Твою руку, милый друг.

Твой Ал. Блок

P. S. Получаю корректуры из «Мусагета». [2]

[1] Как раз в эти дни, 8—12 марта, Блок с увлечением читал книги о русско-японской войне 1904—1905 гг., между прочим, «очень интересную и жуткую» книгу В. Семенова «Расплата»; 12 марта он писал матери: «Сегодня поглощен японской войной (Вл. Семенов и мн. др.)» («Письма к родным» II, стр. 133—135).

[2] Корректуры I тома «Собрания стихотворений» (в листах) Блок получал 4—16 марта (см. «Письма к родным» II, стр. 132 и 136).

210. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{15}{28}$ марта 1911. Каир>[1]

Дорогой Саша,

Крайне взволновало меня Твое письмо. Да, слышу, знаю — о Востоке. Знаю и то, откуда идет чума. Знаю и то, что как во все это мы замешаны судьбами. Скажу дальше больше: знаю, кто сорвал наши зори 1900—1901 года: «Ж д а л и У т е ш и т е л я, а н а д в и г а л с я М с т и т е л ь» (Симфония) [2], «М ы д р а л и с ь с ж е л т ы м м о н г о л о м, а т е п е р ь м ы б у д е м у м и р а т ь» (Симфония) [3], «И б л и з к о п о я в л е н ь е, н о с т р а ш н о м н е: и з м е н и ш ь о б л и к Т ы» («Пр[екрасная] Дама»). [4] Знаю бесконечно более, чем могу передать словами. Нас, слишком рано заговоривших, провокационно стукнули лбами. Нас заманили ложными зорями. И скажу прямо: Твой грех был в недостаточно резкой черте между Прекрасной Дамой и Незнакомкой. Мой грех — сначала в истерическом, слишком явном выкрикивании, отчего приключился... сначала «Lapan» [5], а потом — не стану говорить: слишком

все это тяжело.[6] И в результате в полях русских заводил нас леший: И вот у Тебя: «зеленеют колпачки задом наперед».[7] У меня: «исчезни в пространство, исчезни — Россия, Россия моя»...[8] В это время мы ненавидели, любя друг друга: Ты винил меня, я — Тебя. Мы одинаково виноваты, или... одинаково невиноваты, ибо леший, водивший нас, оказался... японским шпионом. Штука попросту разрешилась. И то, что мутило наши души, теперь оно начинает грохотать на востоке: скорей бы... «Куликово поле», милый—то «Куликово поле», которое показало мне, что и Ты... Ты знаешь.[9] Стало быть наши дороги, не нами избранные, до смерти одного из нас будут всегда неожиданно... (сейчас погасло электричество: не верю — дрянной бесенок, японский «шпиончик» пугает хлопушками)... сходиться.

И какая тут прямая, явная, ясная линия — в этих ломаных, которые мы с таким упорством рисовали все эти годы друг для друга и... для себя.

Не скрываю... Гибель подстерегает, каждого из нас ежеминутно всякими неожиданностями, но подстерегает нас гибель, как русских, ибо русские... среди интеллигенции... все наперечет, все друг друга знают, и все... кому не след знать... о нас знают. Но наплевать. Даже и смерть... на поле Куликовом... ясная смерть.

Принимаю Твои слова об испытании, быть может, уже близком. Жму руку.

Мы скоро вернемся. Каир ужасен, грязь, скоты феллахи, еще более скоты... англичане, наибольшие же скоты... египетские студенты (так кажется). Они в прошлом году освистали Рузвельта. И кажется «свобода» и «цивилизация» у них в ходу.

Цивилизация для них — фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Тютчев

Нет и следа милой Тунисии, где мы с Асей так отдохнули в белоснежном Радесе. Нет и следа милых арабов.

Пока сидим, ждем денег, чтобы удрать. Едем в Иерусалим. Еду туда, как-то особенно. Может быть, ужас. Может быть—... Через две недели наверное в Греции, где пробудем недели две. Адрес: Grèce, Athènes. Poste restante.

Лето с Асей проводим в Луцке. В августе я в Москве.

До будущего года, наверное, не увидимся, милый друг.

На «Мусагет» не сердись, если не отвечает. У Кожебаткина манера не отвечать. Если хочешь навести справку, пиши А. С. Петровскому (адрес Мусагета) или Э. К. Метнеру (эти ответят).

Проводим время так. Утром пишу, или идем куда-нибудь. После завтрака разглядываю марки (у меня есть коллекция марок). Потом часто сидим на веранде над Нилом. Вечером с Асей играем в дурачки.

Серьезных книг не читал уже более полугода, от литературы отстал. Думаю только летом вернуться к «Г[олубю]».[10]

Крепко жму руку и нежно люблю.

Твой Б[оря]

P. S. От Бориной «спутницы» — привет.*

Как хотел бы, чтобы вернулось то время, когда, как прежде, мы тихо беседовали — втроем: я, Ты и... Сережа. Факт, что Вы с ним хотя бы оффициально примирились [11], для меня... громаден: это указывает

* Эта строка написана рукой А. А. Тургеневой.— Ред.

на то, что какой-то большой шести-семи летний цикл завершился. Замкнулся круг подозрений. Князья должны вновь сойтись и выкурить... трубку мира. Поиграли в «разбойники» — шесть лет разбойничали — довольно (помнишь в Шахматове я сказал: «Поиграем в разбойники». Ты сказал — «Поиграем». Через три дня я уехал. Через пять дней уехал Сережа).[12] Но цикл замкнулся. Конец стоит при начале. А начало — наши давние встречи втроем.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] «Симфония», стр. 195.

[3] Там же, стр. 217.

[4] Из стих-ия Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо».

[5] Lapan — персонаж гротескной пародии, сочиненной С. Соловьевым, — французский религиозный философ XXII века, решающий вопрос о существовании в начале XX столетия «секты блоковцев». Вспоминая поездку в Шахматово летом 1904 г., Белый писал: «Утра с С. М. Соловьевым и Блоками шли под „Lapan"'овским знаком, все мы усвоили стиль размышлений „Lapan"; и по-своему каждый „лапанизировал"» («Эпопея», № 1, стр. 271—272; ср. «Записки мечтателей» № 6, стр. 57 и 92). В позднейших мемуарах («Начало века», стр. 343—347) Белый совершенно иначе интерпретировал этот гротеск.

[6] Белый имеет в виду конфликт с Блоком, возникший в 1906 г. на почве личных их отношений.

[7] В стих-ии «Болотные чертенятки» (ср. прим. 1-е к письму № 146).

[8] В стих-ии 1908 г. «Отчаянье» («Пепел», стр. 4).

[9] Летом 1910 г. в Боголюбах (Волынской губернии) Белый случайно прочитал стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом» и «был потрясен силой этих стихов»: «Как цикл шахматовских стихов знаменовал для меня первую встречу с А[лександром] А[лександровичем], — писал Белый, — ...как чтение „Балаганчика" в феврале шестого года открывало для меня вторую тяжелую фазу наших отношений, так „Куликово поле" было для меня лейт-мотивом последнего и окончательного „да" между нами. «Куликово поле» мне раз навсегда показало неслучайность наших с А[лександром] А[лександровичем] путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас... В десятом году я уже задумывался над темою „Петербурга". И пусть „Петербург" носит совершенно иной внешний вид, чем „Куликово поле", однако глубиной — мотив „Петербурга", неудачно выявленный и загроможденный внешней психологической фабулой, едва слышимой читателю, укладывается в стихи А[лександра] А[лександровича] „Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал — молись" (а вся психологическая фабула „Петербурга" есть подлинный рассказ о том, какими оккультными путями злая сила развязывает „дикие страсти под игом ущербной луны" и рассказ о том, как „не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой")» («Записки мечтателей» № 6, стр. 119—120). Под впечатлением этих блоковских стихов Белый и возобновил в конце августа — начале сентября 1910 г. переписку с Блоком.

[10] То-есть к продолжению романа «Серебряный голубь», мыслившемуся Белым как вторая часть трилогии «Восток или Запад» и впоследствии оформившемуся в качестве отдельного романа «Петербург» (см. прим. 14-е к письму № 194).

[11] 23 ноября 1919 г. Блок получил от С. Соловьева письмо, в котором тот писал: «Я уверен, что время нашей встречи близко, но оно еще не совсем назрело. Мне надо говорить с тобой... много и до конца» (неизданное письмо). В тот же день Блок ответил С. Соловьеву: «Твое письмо очень радостно мне. Да, надо и будем говорить...Я был бы рад видеть тебя скорее» («Письма», стр. 81—82). По свидетельству С. Соловьева, толчком к примирению с Блоком послужили для него (как и для Белого) стихи Блока «На поле Куликовом» и статья его «О современном состоянии русского символизма» (см. там же, стр. 33—34).

[12] Об этом эпизоде с игрой в «разбойники», затеянной в Шахматове летом 1905 г., Белый рассказал в мемуарах («Эпопея», № 2, стр. 253 сл.; «Омут», стр. 26 сл.).

211. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<20 марта> / 3 апреля 1911. Каир

Милый Саша!

Сегодня получил Твое письмо в день трудный: гора неприятностей из Москвы, всякая путаница, сложность. И как же меня порадовало Твое письмо. Многое или даже почти все — мне родное; и чувство будущего и «флагманский корабль»: «флагманский корабль» — и: «эскадра плывет» пока что по тихим водам, но... по направлению

к неприятелю. Знаю, знаю — родной, близкий, милый: как все это и — «м о е» тоже. Только мне хотелось бы задержать эскадру где-нибудь на острове в о к е а н е (на пути к Желтому морю) — продлить плавание на несколько лет. Одной готовности быть на своем месте, даже героически умереть — м а л о: мудрости, змеиной мудрости, выдержки пока что у нас мало, обходных движений еще мы не всегда умеем распознавать. Слабы мы, мало нас — ссорятся еще уделы, не вся р а т ь стоит под знаменем, хочется подождать на дороге оставшихся, наших, но не ведающих, что они с нами; оттого — в глазах д е л о, забота.

Трудно!...

За одно благодарю небо — не одинок: мне тепло, я н е о д и н...

Странно, почти жутко от невероятности. Ты — в Питере; я — в Каире; но пространства д л я к о р а б л я н е т.

Мне знакомо и то, что мое — н е м о е; теперь, когда господь послал мне личное счастье и успокоенье, я благодарю небо за былые года испытаний, во время которых судьба одно время жестоко столкнула наши пути. Годы боли, разуверенья и непрестанного ощущения личного умирания создали во мне единственное стремленье найти себя вне своей боли; «б о л ь» была — *«я»* и «м н е; убегая от боли я пришел к н е я, н е м н е; мое стало — близкое; я полюбил дело, труд, утомление и биение жизни в т о в а р и щ а х по пути; и странно — тогда-то пришла тишина, смиренье и — м о е, м н е; м о е, м н е в е р н у л о с ь, когда я с готовностью отказался от л и ч н о г о с ч а с т и я. И тут — великая правда.

А теперь л и ч н о е не мешает радоваться и огорчаться н е с в о и м. И много радостей, и много слез.

Да будет!

Сейчас пишу тебе с перевязанной головой; весь день ругался, злился и писал злые письма, так что отчаянная от того развилась мигрень; и вот все же — важно, радостно, тихо.

И поддержка мне — Твой «ф л а г м а н с к и й к о р а б л ь».

Пусть мы разные, но то «п с и х о л о г и я», но Русь, будущее, ответственность — не «психология» вовсе, и как же не радоваться: м ы — р у с с к и е, а Русь — на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и *ее* чутко слушают. *Я, Ты* мы не покинуты в сокровенном; за нами следят б л а г и е с и л ы, не покинут нас, поскольку мы — р у с с к и е.

Тише, скрытнее, медленнее, важнее — вот мое желание. А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»...[1] И от поля Куликова по всем полям русским прокатится: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»...

Аминь.

В субботу едем в Иерусалим. Выяснилось, не хватает сотни рублей, может быть, сядем на мель, ибо до Греции неоткуда ждать денег (на почве денег и злился сегодня), но.... побывав в Египте, как же не и з о й т и и з н е г о в З е м л ю О б е т о в а н н у ю, спасаясь от казней египетских, в числе к о т о р ы х во-первых ч у м а (нам предстоит в Яффе карантин), во-вторых б а к ш и ш (начай) и в-третьих, что всего у ж а с н е е, блохи.

Ну милый, целую, спасибо: не знаю отчего, но тихо радуюсь Твоему письму. Христос с Тобой.

Б[оря]

P. S. От Аси привет. А Египет хорош: только з л о й и посылающий н и

[1] Искаженная цитата из повести Гоголя «Тарас Бульба» (гл. VIII,— или гл. VI первой редакции).

212. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{\text{22 марта}}{\text{5 апреля}}$ 1911. Каир>[1]

Милый Саша!

Все эти дни почему-то с Тобой...

Сейчас с Асей тихо качались на Ниле в примитивной египетской ф е л ю г е (лодке) с парусом. Беззорные египетские сумерки мягко горели на Ниле рыжими светами: мертвое, зеленоватое небо, тусклая мгла востока, в которой тонули пальмы и молодой месяц сверху. Хорош Египет!..

Мы молча сидели, и мне хотелось бы, чтобы чудом Ты перенесся в фелюгу к нам. Сумерки Египта золотокарие, беззорные; в беззорном свеченье мглы черные тени феллахинь с огромными кувшинами. И потом падает ночь.

А как хороша пустыня! Недавно мы с Асей проехали то по пескам, то пальмовым лесом на осликах верст 25. Осматривали древний Мемфис, дальние Пирамиды, подземелье Сераписа; вернулись — огненные от загара. Здесь есть на что посмотреть. Ливийская пустыня вплотную лежит у города. Египет — странная страна; ряд оазисов, да узкая лента тропической растительности по обеим сторонам Нила (верст 6), а то — пески, белесовато мертвенные, с рябью...

Не знаю отчего все это пишу. Хочу просто общенья с Тобой.

Любящий Тебя крепко

Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

213. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{\text{Конец марта}}{\text{Начало апреля}}$ 1911. Иерусалим>[1]

Милый Саша!

Измученные семью казнями египетскими: 1) блохами, 2) «б а к ш и ш о м», 3) грязью, 4) х а м с и н о м (ветром пустыни), 5) зубной болью, 6) англичанами и 7) невозможностью выехать за неимением денег,— бежали в о б е т о в а н н у ю с т р а н у.

Но как же мы удивились, что Иерусалим несказанен, древен, вечногрядущ, сказочен, что Храм гроба господня н е т о, что можно думать издалека; это—в о п л о т и в ш и й с я в е ч н ы й с о н. А у гроба господня соединенная церковь (католик и православный). Нас тронул мусульманин в чалме, пришедший поклониться гробу. Не снимая чалмы он широко перекрестился. Палестина рдеет цветами. Иерусалим бледно-желтый, переходящий в блеклое золото. Сидели долго у Соломонова храма.

Христос воскресе!

Ура России! Да погибнет европейская п о г а н ь.

[1] Датировано на основании письма № 211, где сказано: «В субботу едем в Иерусалим» (суббота приходилась на 25 марта по ст. ст.). Дата почтового штемпеля неразборчива.

214. БЛОК — БЕЛОМУ

11/24 апреля 1911. Петербург

Христос воскрес, милый друг Боря. От Тебя четыре письма, а я все не пишу Тебе; сначала было слишком напряженно хорошо и по-весеннему; на страстной, напротив, оборвалось что-то, и до сих пор не могу поправиться и стать собой. Все—«семейное»; боюсь э т о г о больше всего; здесь всего страшнее, потомучто з д е ш н и е призраки умеют нанести удар, откуда не ждал; бывает, что ждешь отовсюду,— только не оттуда, откуда приходит внезапное и непоправимое. Становлюсь все злее, потомучто ни в чем, кроме злобы, иногда нельзя найти защиты.

Через 1—2 недели поеду в деревню, а оттуда, если бог поможет, за границу.

Привет Асе Тургеневой. Я не знаю ее отчества, потому очень извиняюсь перед ней, что так называю. Но, право, приветствую от души и Вас обоих вместе и Вас порознь. Если Вам хорошо, тихо приветствую Вас.

Конечно — да будет флагманский корабль. Ничто этому не помешает, кроме смерти. Другого смысла жизни и нет.

Любящий Тебя А. Блок

215. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

29 апреля <1911>. Луцк <Боголюбы>

Милый Саша,

где Ты! Что? С Каира нет о Тебе вестей. Ответь — куда писать летом. Мы в Афины не заезжали: понежились в стране обетованной недельки две, встретили пасху (Христос воскресе!) и после 11 дней прокачались от Яффы до Одессы. Первое впечатление от р у с с к о г о (не России): пароходная грязь, заставила меня выругать вслух пароход; но к моему удивлению (так странно после иностранного быта) прислуга, команда, служащие, чуть ли не сам капитан были в восторге от моей брани и стали все еще пуще ругать высшее пароходное начальство; пароходная горничная Нина заявила во всеуслышание, что у нее нервный смех, а пароходный доктор мрачно заявил, что он никогда не лечится, ибо не дорожит жизнью (надо сказать, что с первым нашим случайным знакомцем-русским в Иерусалиме мы в пять минут пришли к убеждению, что пора всем сойти с ума... к сожалению он скоро уехал приводить в исполнение свое намерение на Принцевы Острова); один из первых русских на берегу с негодованием нам заметил, что разгромлен московский университет, гордость России [1]; предварительно этот п р о т е с т а н т перерыл наши сундуки, ища контрабанду (он был таможенным чиновником), но не найдя оной, хотя мой сундук только и был, что сплошная контрабанда, состоящая из привозных мелочей, заговорил о политике.

Эти о ч а р о в а т е л ь н ы е впечатления хочется отметить прежде всего... А потом пошла уже менее очаровательная, но не менее удивительная музыка: мы видели марширующие по случаю царского дня гимназии с барабанным боем и развернутыми знаменами, ведомые м а р ш и р у ю щ и м (!) преподавательским персоналом в белых перчатках и при орденах; и тут пахнуло таким «м е л к и м б е с о м» [2], что ой-ой-ой... Лица преподавателей выражали чрезвычайное удовольствие по этому поводу, с томным налетом грусти о том, что им не привелось еще маршировать на карачках; но после того, что увидел, я думаю, что в следующий проезд через Одессу я буду осчастливлен этой последней идиллией...

Таковы были первые аккорды России...

Прости за пустяки, но пишу это письмо только для того, чтобы Ты знал летний мой адрес. Вот он: Луцк (Волынской губернии). Боголюбы. Владимиру Константиновичу Кампиони. Мне. Буду в Москве около 8-го до 15-го. Затем снова в Луцке.

Странная вещь: как все навыворот. Вдоль берега Сирии на горах лежал еще снег. У Константинополя потеплело, но каштаны еще не цвели; в Одессе стало теплей и каштаны оказались уже в цвету; в Киеве оказалось еще теплее; в Луцке стоит жара, стало-быть в Петербурге вы рискуете сгореть; на полюсе же, конечно, земля плавится. Обнимаю. Нежно целую.

Бугаев

[1] В результате реакционной политики правительства и мракобесной деятельности министра народного просвещения Л. Кассо, вызвавших в начале 1911 г. длительную студенческую забастовку, из Московского университета ушла вся либеральная часть профессуры.

[2] В романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» изображен провинциальный учитель Передонов, имя которого стало синонимом человеческой подлости.

216. БЛОК — БЕЛОМУ

8 мая 1911. <Петербург>

Милый Боря.

Ты уже в России, а я писал Тебе после пасхи в Афины; впрочем, письмо было печальное, угнетенное, лучше, что Ты его не получил.[1] У меня планы: около половины мая еду в Шахматово, а в июле поеду по Европе — много куда, если удастся. Сейчас чувствую себя плохо, у меня цынга, возобновившаяся с позапрошлого года.

Видел ли Ты мою книгу?[2] Пошлю Тебе ее в Луцк, я еще не получил ее (все экземпляры). По-моему, издано превосходно — скромно, книжно, без всякого надоевшего декадентства. И Кожебаткин очарователен — в нем какая-то мягкая человеческая нежность.

До ужаса знакомо то, что Ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: моросящий дождь — стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувствую, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция «Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер).[3] — В этих глубоких и тревожных снах мы живем и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — все больше.

Все дело в том, есть ли сейчас в России *хоть один человек*, который здраво, честно, наяву и *по-божьи* (т. е., имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное «Да»), сумел бы сказать «*нет*» всему настоящему[4]; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой я не оставляю. Пишу и хочу писать об этом, но в письмах — не стоит и не выйдет. — Мы виделись с Сережей.[5] Он прекрасен. Крепко целую тебя.

Твой Ал. Блок

[1] Имеется в виду письмо № 214 (от 11/24 апреля), пересланное Белому из Афин.

[2] «Собрание стихотворений», книга первая — «Стихи о Прекрасной Даме», изданная «Мусагетом» в 1911 г.

[3] Ср. относящийся к 1909 г. очерк Блока «Wirballen» — из неоконченной книги итальянских впечатлений «Молнии искусства» («Собр. соч.», т. IX, стр. 129—130), «Записные книжки», стр. 125 (запись от 21 июня 1909 г.) и письмо к матери от 22 июня 1909 г. («Письма к родным», стр. 272—273).

[4] Ср. стихи Блока («Да. Так диктует вдохновенье»), вчерне написанные в сентябре 1911 г. и первоначально входившее в поэму «Возмездие».

Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет!

[5] Соловьев посетил Блока (впервые после ссоры) в апреле 1911 г. (см. «Письма», стр. 34).

217. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Конец мая 1911. Боголюбы> [1]

Адрес: Луцк (Волынской губ,) Лесничему
Владимиру Константиновичу Кампиони, для меня.

Милый Саша!

Отвечаю Тебе на два письма: на письмо, полученное из Афин, и на то, которое получил по Мусагетскому адресу. [2]

Но прежде всего — предложение, просьба, если хочешь. Ты не можешь себе представить, как нужен Ты мне по мусагетским делам. Печально то, что Мусагет есть кружок чутких, умных, интеллигентных людей; все это, может быть, более, чем писатели; но вот беда: все это не писатели вовсе. Положение дел таково: Сережа уважает Мусагет, но порхает в стороне; Э. К. Метнер живет в деревне, Эллис в своей штейнерьяде [3] вовсе забыл Мусагет. А теперь, когда изменилась моя жизнь [4], не могу и не хочу с утра до вечера просиживать в Редакции; словом — Мусагет дело хорошее, а инициативы все как-то мало; мне Метнер сообщал конфиденциально о желании Твоем и Вячеслава издавать «Дневник поэтов» втроем (Ты, Вячеслав, я — участники). [5] Меня очень порадовала Твоя инициатива (как и Вячеслава) в Мусагете. Пойми, что для меня было бы счастьем превратить Мусагет в наш общий орган (основания для общей платформы, после факта нашей дружбы и взаимного доверия через все, более чем есть). У меня в Каире независимо от сообщения Метнера созрел аналогичный план. И вот прежде всего важно теперь за лето реализовать намерение; для этого нам следовало бы повидаться... Это во-первых.

Во-вторых Ася очень хотела бы Тебя видеть и поближе узнать; мы с Асей очень Тебя любим и часто теперь Тебя читаем в деревне по вечерам. Вспоминаешься Ты, и я чувствую по временам волну нежной (и на этот раз окончательной) к Тебе близости... Тебя не хватает...

В-третьих: Ты в конце июля едешь за границу; следовательно, Ты проедешь недалеко от нас и в том случае, если едешь на Границу (совсем близко), и в том случае, если едешь на Александрово (от Бреста до нас каких-нибудь 4-5 часов езды). И вот у нас с Асей созрел план, которому в Боголюбах все рады: звать Тебя к нам; у нас просто и хорошо; что Тебе стоит приехать на несколько дней в Боголюбы. Мы так давно не видались, так много могло бы возникнуть от этого в Мусагете; кроме всего, Ты бы просто, еслиб хотел, мог у нас помолчать. Я не зову Тебя нарочно, но если бы Ты захотел приехать, независимо от проезда за границу, мы бы очень радовались тому.

Итак?

Мы с Асей будем около Москвы (должно быть, у Морозовой) уже 9-го августа: итак до 6 августа, начиная хоть с завтрашнего дня, мы бы были рады Тебе. Вот, что хотел сказать предварительно, а теперь — к письмам...

Огромное спасибо за книгу [6] и за надпись: мы радуемся с Метнерс что у нас вышел Блок; вчера читал вслух «Стихи о Прекрасн Даме»; опять, и опять, и опять радовался, что такие стихи есть русской литературе; и вот что главное: ничто не угасло того, о чем стихи; все только перенесено в другую плоскость; все ре ниво оберегается молчанием, но оно есть в сердцах...

Милый друг, нам ли удивляться срывам; Ты пишешь, что на страст ной все сорвалось у Тебя... Вся Россия идет от срыва к срыву, все только срывается; но то, что срывается, и то, где срывается, есть все та же действительность («современность»), которой Ты хочешь сказать свое «нет». Пусть срывается; пусть даже во все стороны рассыпаются осколки человеческих душ; мы, усталые, кошмарные, слабые, оказавшиеся в безумии своем крепче здоровых и крепких, и все же уцелевшие, полюбившие Россию — мы тоже люди духовные Душа наша погибала не раз, и бездушные марионетки, мы, корячились на «площадях, в переулках, в извивах» [7]; потом мы бегали в кинематограф подозрительно озираясь на всех, себе подобных. И все-таки за бездушным обликом нашим стоял Дух; душу свою мы в срывах не сберегли, но как знать,— Дух угасили ли? И если все еще мы есмы — живем, утверждаем, болеем за родину нашу и любим — то Дух не угас в нас. Как знать, не калится ли пламенней он в пепле душевном. И не пора ли относиться к каждому новому срыву, как к новой единице, прибавляемой к общей сумме... Много было у меня срывов, и я устал от них; я устал даже им верить, и тогда вдруг в глубине души моей ощутил я Дух (смотри пред[исловие] к Урне [8]); и робкая улыбка зари, и новое верное счастье улыбнулось мне жизнью; и я понял, что душа моя умирала иллюзорной смертью (См. Пепел, Панихиду [9]). И опять и опять старое.

«Все кружась исчезает во мгле...
Неподвижно лишь Солнце любви...» [10]

Пусть же носятся мглистые вихри; оставь их, сожмись, уйди в себ пусть меркнет свет вокруг, Ты закрой лишь глаза. И Свет Духа, сво собственный свет, прикосновеньем к все новым ранам, опять и опять, опять будет Тебя исцелять... Пусть даже Ты переживаешь срыв, Ты скажи себе только: «В который раз»...

Я не имею под руками сейчас Арабесок. Конечно осенью пришлю их Тебе. Ты не сердись, что в старом архиве «Дневник публициста» перепечатана старая истерика [11]; при личном свидании объясню Тебе, как все это произошло. Мне только больно, что о Теб там лишь в тенях... [12] О другом в Твоей поэзии собираюсь написат иначе...

Итак жду ответа... Надеюсь, что, быть может, еще и летом свидимся. Крепко жму руку, старинный, старинный друг.

Христос с Тобой.
Борис Бугаев

P. S. Как здоровье? С чего это у Тебя цынга?.. Разве Ты плавал сев[ерному] полюсу?

P. P. S. Тебя приглашает София Николаевна Кампиони (Асина мать)

Приехав в Луцк, надо нанять извозчика в Боголюбы к лесничему (там знают).

Приехав в Луцк, надо дать телеграмму. Выедут встречать. *А[ся]*

Боюсь, что Боря недостаточно предупредил вас о всевозможных неудобствах, которые вам тут встретятся, как то — плохая комната, беспорядок, собаки и т. д. Если вы всего этого не боитесь, будем рады. *Ася Тургенева.* *

У нас хорошо: живем на опушке леса; лес большой, коряжистый; есть в окрестностях вепри, серны, барсуки; на полях — аисты; из окон — большое поле с закатом. Приезжай.

Б[оря]

¹ Датировано по связи со следующим письмом.

² Имеются в виду письма № 214 (от 11/24 апреля) и 216 (от 8 мая).

³ Эллис стал антропософом, последователем Р. Штейнера, в 1910 г., на два года раньше Белого.

⁴ Белый имеет в виду женитьбу на А. А. Тургеневой.

⁵ Идея издания «Дневника поэтов» принадлежала Вяч. Иванову и была выдвинута им в противовес предложению В. Пяста издавать журнал с более широким кругом сотрудников под названием «Символист» (см. прим. 4-е к письму № 201). 20 января 1911 г Вяч. Иванов писал Блоку: «Если Вам думается, что Вам рано писать Дневник писателя одному и ради этого Вы оглядываетесь по сторонам, ища — не найдется ли, хотя бы на прокат, какого-либо „мы", то... давайте издавать Дневник трех поэтов, в котором на первом месте заявим, что пишем вместе, под одним заголовком, потому что просто так хотим, но не стремимся ни к единогласию, ни даже к гармонии трех безусловно не зависящих один от другого отделов,— не боимся даже и тройных повторений одной мысли, если таковые случатся, одним словом — не читаем друг друга, и все это потому, что знаем, что жили и живем об одном. Трое, конечно,— Вы, Андрей Белый и я. Можем как-нибудь сложиться что ли, Вы, „Мусагет" и „Оры" — или же, быть может, издание возьмет на себя «Мусагет». Ведь „Мусагет" и я давно, как Вы знаете, подумывали о периодическом издании совсем иного, чем обычно бывает, порядка» (неизданное письмо). В ответном письме (до нас недошедшем) Блок, очевидно, предлагал на первых порах издавать журнал по проекту В. Пяста с тем, чтобы впоследствии перейти к форме, предложенной Вяч. Ивановым. 21 января Вяч. Иванов снова писал Блоку: «Нельзя говорить „мы" из уступчивости, нельзя — с обидным снисхождением, нельзя — на время, нельзя — нецельно. Вам, лично Вам можно говорить „мы" только тогда, когда это слово значит: „во Имя". — Нельзя, идя в путь на дело, растрачивать силы по дороге. Заключая союз, нельзя думать о разводе... Соединяться нужно с тем, кто душевно нужен; союз с тем, кто внешне нужен или только пригоден и почетен,— ложь. Попытка предварительного, половинного действия возьмет больше сил, чем Вы думаете. Боюсь, как бы эта попытка не ослабила Вас, а ее неудача — действенности Вашего влияния... „Дневник троих" не осуществится, если будет сначала „ни то ни се — семерых". Умолкаю. Писал по чувству долга. Должен был напомнить „во Имя", — спросить: во имя чье и какое соединились те, кто соединились, чтобы натянуть лук и спустить стрелу?» (неизданное письмо). К вопросу о «Дневнике троих» Блок и Белый неоднократно возвращаются в следующих письмах. В 1912 г. проект этот предполагалось реализовать при организации журнала «Труды и дни», но, руководитель «Мусагета» Э. Метнер, по словам Белого. «изнасиловал» идею такого дневника («Омут», стр. 383 и 385).

⁶ См. прим. 2-е к письму № 216.

⁷ Искаженная цитата из стихов Блока; нужно: «В кабаках, в переулках, в извивах».

⁸ «В „Урне" я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому „я". Мертвое „я" заключаю в „Урну", и другое, живое „я" пробуждается во мне к истинному. Еще „Золото в лазури" далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева омывает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится...» («Урна», стр. 11—12).

⁹ В качестве лирической поэмы «Панихида» была напечатана в «Весах» 1907, № 6, стр. 5—14; отдельные фрагменты ее в переработанном виде вошли в сб. «Пепел».

¹⁰ Из стих-ия Вл. Соловьева «Бедный друг! истомил тебя путь».

¹¹ В сборнике статей «Арабески» в отделе «Литературный дневник» Белый объединил статьи и заметки, напечатанные в «Весах» в годы ожесточенной полемики с петербургскими символистами (1906—1908). В предисловии Белый писал о своем несогласии (в 1911 г.) с «полемическим пылом» некоторых заметок (в частности, о Блоке) и просил авторов, с которыми он в свое время полемизировал, «не обижаться на то, что иные статьи помещены в той резкой форме, в какой они некогда были написаны».

¹² В «Арабесках» помещены две резко отрицательные статьи, специально посвященные Блоку «Нечаянная радость» и «Обломки миров».

---

* Этот абзац написан рукой А. А. Тургеневой.— Ред.

218. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<1 июня 1911. Боголюбы>[1]

Милый Саша,

Я Тебе написал большое письмо, и отправил заказным; но в Луцке сказали, что заказная корреспонденция отправляется с Подсолнечной на почтовую станцию. Пока пишу об этом. Содержание письма повторю, на-днях... Будь здоров и счастлив.

Любящий Тебя Б. Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

219. БЛОК — БЕЛОМУ

6 июня 1911. Шахматово

Милый Боря.

Я получил Твое большое письмо, только не успеваю Тебе ответить. Во-первых — большое спасибо за приглашение обоим Вам; но не могу приехать: во-первых — еду очень скоро за границу, во-вторых — не через Границу, а через Стокгольм.[1] И сейчас — я совсем не здесь, а уже там, и там надеюсь утвердиться в том, что зреет во мне. Очень, очень многое изменилось во мне (во внутренней жизни; во внешней перемен нет, и я не хочу их). Между тем, я чувствую, что мы с Тобой друг друга очень давно не видали, как следует; что наши так странно сходные во многом и радикально несходные в меньшем, но тоже существенном, жизни — должны встретиться как-то по-особому, совсем не так, как встречались даже в прошлом году в Москве (не говоря уже о прежнем). Вы вдвоем теперь; и это опять знаменует, что мы должны встретиться совсем, совсем по-новому. Передай, пожалуйста, Асе Тургеневой, что я радуюсь тому, что она мне пишет, и что Ты пишешь о Вашем отношении ко мне; ведь всем нам необходимо знать друг друга не только вместе, но и каждому каждого. И тут я боюсь всегда, что другие (родные) могут помешать; Ты прекрасно знаешь, как это бывает при самых лучших отношениях. Вот почему я боюсь к Вам теперь приехать; а совсем не от «плохой комнаты, собаки» и проч.

Милый друг, между нами стояли и наши матери, и бесконечные друзья и враги, не говоря о самом важном; и все это еще тогда, когда мы оба по-разному, но и чудесно сходно, были так далеки от «воплощения», или «вочеловечения»; когда мы оба вступали в ночную глушь, неизбежную для увидевших когда-то слишком яркий свет. Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески несказанное, или неполюдски ужасное, страшное, иногда — уродливое. Теперь все меняется для нас обоих (опять-таки), мы выходим из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы; по разным дебрям — и по-разному выходим; долгие годы не слышали голоса друг друга, а, если и доносился иногда голос, то лесные дебри преломляли его, делали иным. Все это я чувствую за плечами, точно прожито сто лет; но для меня это были годы, умерщвляющие душу, но освежающие дух, и я их всегда благословлю. Верно — и ты. Сходились нечеловечески, сходно переживали этот долгий и странный поединок души и духа, сходно окончившийся (частичным) поражением души; должны выйти из ночи — *чудесно разные**, как подобает человеку. Сходствуе[т] несказанное или страшное, безликое, но человеческие лица различн[ы]. Сходны бывают «счастливцы» («счастливчики»), осужденные *не* вопл[о]титься, носясь по океану удач и легких побед. Воплощенный — всег[да]

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

«несчастливец», лик человека — строгий и сумрачный (Вольфинг) — «нуждой и горем вдаль гонимый».[2]

Думаю, что ты согласен со всем этим, пишу Тебе, потомучто думаю об этом давно.

Не думай, что я могу сердиться на полемику, перепечат[анную] в «Арабесках». (я их получил от Кожебаткина). Во-первых — я почти под всем, что обо мне тогдашнем (полемического), подписываюсь; единственно, что мне необходимо ответить Тебе, как самому проникновенному критику моих писаний, — это то, что таков мой путь, что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «трилогия вочеловечения»[3] (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес * — к отчаянью, проклятию, «возмездию» и..— к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души)[5]. Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда, неопытным юношей, задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя. Потому отныне я не лирик. Кстати: получил «Антологию» «Мусагета»: зачем она? Время альманахов прошло; я думаю, что это — лишняя книга. Талантливое движение, называемое «новым искусством», кончилось; т. е., маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло, чем могли, влились в него. Теперь уже есть только хорошее и плохое, искусство и не искусство. Потому я думаю и «смотров» довольно (Ты говоришь, что антология Мусагета есть смотр). И зачем вдруг — Потемкин, или Л. Столица? Это уж какая-то нестроевая рота.— Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта (по имени Мандельштам)? Таких замечаний я бы сделал много, но по-моему, главное — вся книга лишняя и совсем не Мусагетская.[6]

Ты пишешь о журнале (не поэтов отнюдь, а писателей!). Это — инициатива Вячеслава — конечно; мы столько говорили об этом в последние месяцы (притом о журналах не одного, а трех уже типов), что в письме не изложить и, конечно, надо говорить об этом лично. В частности, я не уверен в необходимости журнала, состоящего из нас троих. Все еще так висит в воздухе, так во многом нужно сговориться.[7]

Еще хочу сказать Тебе в ответ на Твои слова о «Мусагете», что у меня с ним связано всегда некоторое беспокойство, которого я не умею преодолеть: я боюсь Эллиса, что-то в нем чужое — ужасное, когда не милое, и только милое, когда я его увижу и он повернет ко мне одно из своих многих лиц. Глубоко уважаю, ценю и чувствую тайную нежность к Э. К. Метнеру (Вольфинг) — и дичусь его. Сережа — он, конечно, «не у дел». К Сереже особенное отношение, но совсем не связанное с «Мусагетом»: милый Сережа, блестящий человек, будущий ученый филолог, брат по духу и по крови, великолепный патриарх, продолжатель рода (а я истребитель), и т. д.

Ну, кончаю письмо — все еще недоговоренное, по обыкновению. Спасибо Асе Тургеневой и Тебе за приглашение и Софии Николаевне Кампиони за гостеприимство. Крепко Тебя** целую и люблю.

Твой Ал. Блок

Отсюда уеду, вероятно, в 20-х числах июня. Мо[жет] быть, побываю в Москве. Может быть, успеешь написать еще сюда, или в Петербург (М[алая] Монетная 9, кв. 27) — до 1 июля?

* «Нечаянная Радость» — книга, которую я за немногими исключениями терпеть не могу.[4]

** Подчеркнуто дважды.— Ред.

[1] 5 июля 1911 г. Блок выехал за границу, но не через Стокгольм, а через Вержболово — Эйдткунен.

[2] Источник цитаты установить не удалось.

[3] Ср. помеченное 9 января 1911 г. предисловие Блока к «Собранию стихотворений», изданному «Мусагетом»: «...Каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать „романом в стихах": она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни» (ср. набросок послесловия к «Собранию стихотворений» в «Записных книжках», стр. 153).

[4] В. Пяст передает, что Блок в последние годы жизни говорил: «Терпеть не могу людей, которым больше всего нравится второй том» (сб. «Об Александре Блоке», П., 1921, стр. 213—214).

[5] Эти признания Блока нужно поставить в связь с его общественной и литературной позицией в 1911 г. (см. вступительную статью). Тема «художника, мужественно глядящего в лицо миру» намечена в прологе поэмы «Возмездие».

[6] «Альманах „Мусагета" — никуда не нужная книга. „Стихи в большом количестве — вещь невыносимая" — очень справедливо. Надоели все стихи — и свои» — записал Блок 4 июня 1911 г. («Записные книжки», стр. 152).

[7] См. прим. 4-е к письму № 201 и прим. 5-е к письму № 217.

220. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Июнь 1911. Боголюбы>

Дорогой Саша,

получил на-днях Твое письмо, долго вчитывался; несколько мест поразили меня близостью к тому, что переживал я. Сначала отмечу места близости. «От слишком яркого света через необходимо болотистый лес... к рождению человека общественного»...

Два года тому назад (в 1909-ом году), после ужасов 05, 06, 07 и 08 года, после непрерывного умирания 6, 7 и 8-го годов, только в 1909-ом году я почувствовал, что максимум смертности уже за плечами и что то, что, как надежда, брежжит (надежда не на слишком яркий свет, а на окончание чудовищно ужасного), уже тем самым смягчала жгучесть переживаемого все еще ужаса. И вот тогда-то я сразу понял неизбежность того, что было. Что же было? Несколько одиноких путников въехали на холм; и на холме встретились: позади их местность равнинная, прихлопнутая войлоком туч (чеховщины), грозносинеющих у холма (Ибсен, декаден[т]ство, кошмаризм). В эту зону декаден[т]ства вступил я в 1897 году, и свет блеснул с холма в 1900 году. Северная симфония отметила холм: «Мчался вперед безумный кентавр (на холм), крича, что вдали он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет».[1] На холме встретил меня Вл. Соловьев, а потом раздались тревожные, жгуче близкие Твои песни, сливаясь с 2-ой симфонией. Кучкой людей, вместе глядящих на зорю, были мы: «Возвращается... Опять возвращается: невозможное, грустное, милое, старое и новое во все времена» (2-ая Симф[ония] [2]). «Предчувствую Тебя» (Ст[ихи] о Пр[екрасной] Даме).

Мы не увидели, что по ту сторону был лес; тропинки с холма расходились, затучиваясь в глуши; идя на встречу заре, мы удивились, что завеса заколдованного леса, выростая, заслонила зорю. Мы обернулись друг к другу: между нами стояли стволы; между стволами мелькали оборотни. Мы думали, что мы уже провозвестники света, и что за плечами одержанная победа; а свет — был лишь приглашением к будущему испытанию; мы себя вообразили уже рыцарями, а рыцарство должно увенчать в будущем наш тернистый путь.

Так я себе сказал. И это было началом отрезвления. С этого периода я понял, что Пепел мой уже за плечами, что он то, что для

Тебя «Нечаянная Радость», а «Четвертая Симфония»[3] во мне адекватна Твоим драмам. Тогда же в предисловии к «Урне» я это высказал, но высказал опять-таки в наивно глупой форме.[4]

За Пеплом меня встретило общественное: проблема Востока и Запада, Серебряный Голубь, или вернее Оловянный Голубь химер, навождения над Россией: я нашел бодрость в том, что судьба моя, нечеловечески гадкое 1906—1908 года, есть отражение навождения над всей Россией: «злое око, Россию ненавидящее»[5] (посылающее и монголов, и евреев). То, в чем я сорвался, я назвал впадением в монгольство. Вдохновение от зари подменил я шаманством. Любовь к дали и подвигу подменил «заколдованной, темной любовью» — навождением.

«Только скоро ль погаснут огни
«Заколдованной, темной любви?»[6]

Но когда я понял, что заколдованный круг образовался от медиумизма всех нас, и что главный виноватый — «злое око, Россию ненавидящее», чары смертного сна стали тихо спадать.

Я услышал вновь и «Голос Безмолвия», и твердую руку, пожавшую мою со словом: «Мужайтесь», и заря личного счастья вернулась (встреча с Асей) тогда, когда всем существом своим подлинно от себя я готов был отречься.

Последние два года, 1910—1911, я уж еду с предчувствием, что лес редеет (пролеты между дерев, после гущины издали брежжит заря), а главное — шум моря впереди (верный знак окончания леса).

Это море я слышал и два года тому назад: я себе сказал: «Будет берег моря, будет отдых на берегу», чтобы потом началось плавание.

Корабль, команда, ответственность, разность функций на корабле (тот — рулевой, этот — кочегар) — разность индивидуальности плывущих — все это будущее пронеслось мне с чувством уже зачисленности в число мне неизвестных матросов будущего (и сейчас не знаю, кто они): еще вокруг остатки леса, еще моря не видно (только шум приближается), а уже знаю, что команда корабля (мне за лесом невидные путники) есть.

Не хочу упреждать событий, но жду, верю в миссию, в твердую, нужную работу.

В Твоей прошлогодней статье[7] расслышал в Тебе себя — написал. Вот основания нашей все еще будущей встречи: при всей разности нас, при разных функциях, которые мы будем нести на будущем корабле, мы встретимся, если верно то, чем обмениваемся мы в письмах; основания моей веры — вот они: оба мы видели свет с холма, оба ехали тем же лесом; море, к которому сбегает лес,— одно; берега его пустынны; здесь нет городов. Нет и кораблей: корабль, высланный к пустынному берегу, куда немногие попадают (большинство даже еще не в лесу, а на холме перед лесом, либо в зоне моих 1896—1900 годов, в зоне декаден[т]ства). Многие бывшие спутники заплутались в лесу, иные погибли; немногие оставшиеся выйдут к берегу: следовательно, они останутся либо между морем и лесом, либо — поплывут на корабле, где неожиданно встретятся: желание нести ответственность, чувство общественного долга, родина — вот условие стремления к кораблю.

Еще до письма к Тебе, в эпоху 1910 года, мы с Вячеславом говорили о далеком будущем, когда мы вновь неожиданно встретимся.

И встретимся...

Ты понимаешь теперь, почему слова Твои о свете и болоте, о человеке, задумывающемся над контурами добра и зла, мне близки.

Мусагет еще не дело; журнал не дело; все это символы ознакомления друг с другом для... быть может, уже недалекого. Когда люди впервые знакомятся, они говорят пустяки; но за пустяками встает нечто; я хочу вновь знакомства и один из символов ознакомления — встреча в литературе. Но за всем тем еще как[ая]-то проблема.

Читаю «Войну и Мир» и мне ясно: 1912, 1913, 1914-ый годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица; и поступь грядущих вторжений видимых (монголы, евреи), невидимых осознаем одинаково («Куликово поле» [8]).

Мы оба любим Россию...

Герои «Войны и Мира» сначала танцовали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... все сошлись на полях сражений. Все были под одним Бородином.

Так и мы.

Может быть, действительная наша встреча еще далека, но даже сознание возможности этой грядущей встречи есть уже начало всяких малых встреч, отрешенных от психологии.

Еще раз повторю: я встречаюсь с людьми, теперь только воодушевленный одним сознанием: нужно, чтобы уделы русские положили оружие: скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья еще ссорятся.

Да не будет Калки! [9]

Я знаю, что тут, в этом сознании, Ты — брат мне (по какому-то); как брат мне и Вячеслав; то же, что связывает нас всех, не может разбиться; если бы могло разбиться, то уже разбилось бы; факт, что мы говорим о том, о чем говорим, после всего бывшего, показывает, что после всего бывшего основания возможной связи — не литература, не психология, еще менее симпатия или антипатия друг к другу... Пока и этого сознания достаточно.

Жалею, что нам не суждено встретиться теперь. Ты не совсем прав, когда пишешь, хорошо ли бы было, если бы мы встретились бы в Боголюбах; все условия здесь подходящи; нет психологии, люди здесь живут каждый в своем углу, не мешая друг другу. Стадности, разговоров, умностей нет никаких.

Ты был бы предоставлен самому себе...

Мне хотелось бы, чтобы Ты узнал Асю, мою жену, ближе, и Наташу, ее сестру...

Ну, желаю Тебе всего лучшего. Пиши мне с линии Твоего пути. Как знать, может быть, мне придется Тебе писать много и долго. Я не знаю чисел и сроков, но теперь времена важные, и потому, например, мне страшно потерять Твой след этой осенью. Может быть, встретимся осенью. Я до 9-го августа здесь; потом адрес — «Мусагет».

Остаюсь искренне любящий и близко чувствующий Тебя

Борис Бугаев

[1] «Северная симфония», стр. 13 (цитировано не точно).
[2] «Симфония», стр. 141 и 221 (цитировано не точно).
[3] «Кубок метелей».
[4] См прим. 7-е к письму № 217.
[5] Источник цитаты не установлен.
[6] Из стих-ия Блока «Одинокий, к тебе прихожу» (1901).
[7] «О современном состоянии русского символизма».
[8] Стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом».
[9] Несколько позже Белый писал в романе «Петербург» (1-е изд., П., 1916, стр. 141): «Бросятся с мест своих в эти дни все народы; брань великая будет, — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля европейские океанами крови; будет, будет Цусима! Будет — новая Калка!.. Куликово Поле, я жду тебя!».

221. БЛОК — БЕЛОМУ

26 июня 1911. Шахматово

Милый Боря, благодарю Тебя за письмо, ясно и отчетливо слышу Твой голос: да, мы еще под Аустерлицом и знаем пока много «несчастных Маков».[1] Да — да не будет Калки.

Сегодня уехал отсюда Сережа, которого я очень рад был видеть и который привез с собой все прекрасное, что в нем есть.[2]

На-днях уезжаю в Петербург и за границу. Крепко целую Тебя.

Твой Ал. Блок

[1] «Vous voyez le malheureux Mack» — говорит генерал Карл Макк в романе Л. Толстого «Война и мир» (т. I, ч. II, гл. 3-я).

[2] О своей поездке в Шахматово в июне 1911 г. С. Соловьев пишет в «Воспоминаниях об Александре Блоке» («Письма», стр. 35—37).

222. БЛОК — БЕЛОМУ

<Первая половина августа 1911. Аберврак>[1]

Милый Боря, скучаю и купаюсь в море в этой деревушке, на севере Бретани.

Целую Тебя, привет Анне Алексеевне. На-днях еду в Quimper и Париж.

Твой А. Б.

[1] Датировано по содержанию (Блок выехал из Аберврака в Кэмпер 14 августа н. ст.).

223. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<30 сентября 1911. Видное>[1]

Милый Саша,

пишу Тебе после долгого и вынужденного молчания. Уже с месяц, как у меня к Тебе для меня — важное дело, но все не знал Твоего точного адреса и откладывал письмо.

Живу я по следующему адресу: Павелецкая ж. д. Станция Расторгуево. Видное. Дача А. Н. Депре. Мне. Бываю я раз в неделю в Москве, приурочивая все дела к этому дню. Другой мой адрес — Мусагет.

Я более не могу жить в городе. Городская беспочвенность, суета и праздные разговоры, разводящие микробы истерики не совместимы с отдыхом и напряженной умственной работой. Умирать не собираюсь, оттого и поселились мы с Асей в деревне. Сейчас золотые листья и ранний снег. Тишина. С ужасом совершаю мои паломничества в Москву, где меня ждет бездна дел самого разнообразного содержания. Мой ответ Тебе замедлился именно благодаря моему отсутствию из Москвы.

Ввиду экономии времени пишу Тебе только деловое письмо о предполагаемых нами хрониках; все же личное, интимное, даже все, мотивирующее мою просьбу к Тебе, я откладываю до письма из деревни. Здесь, в городе, все слова сухи, все часы разобраны.

Мысль о хрониках у меня возникла в Африке. В Каире узнал о Вашем плане «Дневник Поэтов».[2] Ввиду молчания Вячеслава, Твоего отсутствия из России, а также ввиду необходимости сейчас же приступить к организации, я взял на себя инициативу того, что сейчас

сложилось в «Труды и дни» (подраз[умеваю] наши). Начну с формы:

Труды и дни Мусагета (выходят 6—7 раз в году с подпиской), № — 4 печатных листа (40,000 букв).

1 отдел

Логос, Орфей, Мусагет[3] в сжатых, лаконических, застегнутых статьях (в этом смысле аполлиничных) платформируют свое отношение к арийской культуре, символизму и друг к другу. 1) К культуре (что есть культура для совр[еменной] философии, искусства, мистики), 2) Что есть символизм. В чем вяжущее единство нашей будто бы разноголосой, а на самом деле кровно спаянной триады — Логос (философия), Мусагет (символизм), Орфей (мистика). Форма статей — сухие, неразведенные водой духи; размер от 7 до 10, 12 страниц формата «Весов»; заглавие — какое угодно, содержание: Культура и символизм, К[ульту]ра и философия, К[ультура] и искусство, К[ультура] и мистика, К[ультура] и проблема Востока и Запада, К[ультура] и Греция, К[ультура] и Россия, К[ультура] и Индия, К[ультура] и Италия, все переложения и сочетания из К[ультуры], символизма, мистики, религии, эстетики, философии. Не необходимо, чтобы тема была общая. Например, если взять Пушкина, Врубеля, Ницше, Вагнера, Соловьева и кого бы то ни было и ориентировать в культуре, философии, эстетике и т. д., то можно. Твои статьи были бы очень, очень, очень и очень желанны. Более того, я смотрю на Тебя и Вячеслава как на отсутствующих в Москве руководителей «Трудов и дней Мусагета». Не рассчитывая на ближайшее Ваше участие, мы бы не предприняли хроник.

2-ой отдел

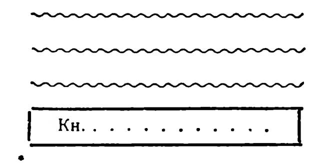
Второй отдел прямо погибнет без Тебя и Вячеслава, ибо в нем вся соль и сила. Если первый отдел жест в сторону всех, парламентская декларация со стиснутыми зубами о том, что осозналось в итоге переживания и страдания лет, то второй отдел воистину суть самые эти переживания. Если в первом отделе Логос, Мусагет, Орфей в тоге Аполлона, то второй отдел есть Дионис этого Аполлона, прекрасный хаос, питающий логизирующую форму первого. Это воистину как бы «Дневник поэтов» и ближайших друзей поэтов; под поэтами этого отдела мы прежде всего разумеем: «Тебя, Вячеслава, меня»; но если Брюсов дает нам свою лирику «Miscellanea», то мы не отказываемся.[4]

В этом отделе вижу лирические статьи à la твоей о «Символизме»[5], напечатанной в Апполоне, верней не статьи, а признания. Вижу наброски мыслей, страницы, вырванные из дневника Твоего, Вячеславова, вижу афоризмы. Предела интимности не вижу для некоторых мест этого отдела. Допускаю даже в принципе напечатание отрывков из писем, которыми мы обменивались и обмениваемся о предметах важных (кстати, за неимением пока Тебя в первом №, не разрешишь ли напечатать какой-либо фрагмент из Твоих писем мне, разумеется, касающийся не наших отношений, а предмета искусства, литературы, мистики? Жду ответа: фрагмент будет Тебе, конечно, предварительно послан для одобрения). Будет в этом отделе подотдел: «О чем говорят» (под иным названием).[6] Тут будут представлены в диалогической форме схемы споров и бесед на темы нам дорогие (в принципе было бы желательно схемы бесед у Тебя в доме, на башне[7], в Мусагете, Пути).

Без Тебя тут мы погибнем, ибо самая форма этого отдела есть форма для того, чтобы Ты, Вячеслав, Я ее создали, как наиболее в ней заинтересованные.

3 отдел

Если первый отдел Аполлон, второй — Дионис, то третий — хитрый Гермес, просовывающий свой палец в книжное дело. Ты читаешь книги: три, четыре книги совершенно особенно поразили Тебя: то, чем поразили, Ты делаешь стержнем обзора, а книги лишь рекомендация Твоя. Трафарет мы взяли у издательства Дидерихс; идет статья:



вдруг разорванная обведенным рамкой аннонсом о вышедшей книге.[8]

Призываю Тебя, ради бога, смотреть на «Труды и дни», как на свое дело. Трафарет мы были вынуждены выработать для сравнительно внешних нашему делу. Главная задача — дать пластическую гибкость для высказывания Тебя, Вячеслава, Меня. Мотивацию всего этого предприятия изложу на-днях. Теперь же прошу Тебя, милый, писать нам — хоть по пяти страниц (право, не трудно, если не думать о форме, содержании). Каждое одно лишнее написанное искренне письмо без обращения «Дорогой... и остаюсь и т. д.» — вот уже статья, фрагмент, афоризм нам. «Труды и Дни» не журнал, а хроника pro domo sua. Первый номер выходит в ноябре.[9] Желательно иметь к тому времени материал на 3—4 №.

Пока (условно) содержание первого «№»: *

1 отдел

Три предварительных статьи обещаний:
О Мусагете Метнера,
О Логосе Степпуна,
Об Орфее В. Иванова.

Желательна сюда еще одна небольшая статья, платформирующая, но не от трех лиц Троицы (М[усагет], Л[огос], О[рфей]). Вот бы Ты написал!

2 отдел

Философия тосканского пейзажа (лирика) Степпуна,
Нечто о мистике моя,
Miscellanea Брюсова.
Диалоги: 1) О двойной истине,
2) о метафизике.
(нехватает Тебя! Ждем.)

3 отдел

Обзор К[нигоиздательст]ва «Мусагет» (мотивы издания нами изданных и предполагаемых книг).[10]

Я отношусь пока горячо к предприятию под условием деятельного отношения Твоего и Вячеславова. Деятельность Вашего отношения мы предполагаем потому, что хотим у себя для Вас создать место: то, что Ты не понес бы в прессу, Ты понес бы к нам.

* Весь материал имеется в портфеле редакции.

Милый, милый, на-днях пишу лично Тебе. А пока — только рассказываю детальный план издания. Жду всяких рукописей.[11]

Остаюсь искренно любящий

Б. Бугаев

P. S. Я ручаюсь, что каждая строка Твоя и Вячеслава будет напечатана.

[1] Датировано на основании пометы Блока (ср. «Письма к родным», II, стр. 185,— письмо № 392).

[2] См. прим. 5-е к письму № 217.

[3] В числе изданий, намеченных (и отчасти осуществленных) «Мусагетом», ряд произведений мистической литературы был выделен в особую серию, озаглавленную: «Орфей»; главную роль в редактировании этой серии брал на себя Вяч. Иванов. Специально философским вопросам был посвящен организованный при «Мусагете» журнал «Логос»—русское издание «Международного ежегодника по философии культуры». Вокруг «Логоса» объединились западно-европейские и русские философы-идеалисты (главным образом, неокантианцы, последователи Г. Риккерта); главную роль в «Логосе» играли Ф. Степпун, Б. Яковенко и С. Гессен.

[4] Заметки В. Брюсова «Miscellanea» в «Трудах и днях» не появились и были напечатаны значительно позже — в альманахе «Эпоха», кн. I, М., [1918], стр. 211—232; кн. II, М., [1919], стр. 111—117 (здесь они датированы 1905—1907 гг.).

[5] «О современном состоянии русского символизма».

[6] В «Трудах и днях» был учрежден отдел именно под таким заглавием.

[7] «Башней» в символистских кругах называлась петербургская квартира Вяч. Иванова.

[8] Такая форма в «Трудах и днях» не применялась.

[9] Первая книжка «Трудов и дней» вышла в свет только в середине марта 1912 г.

[10] В процессе подготовки к печати первой книжки «Трудов и дней» этот план претерпел значительные изменения. Состав книжки — следующий: От редакции (предисловие общего характера, написанное, очевидно, Белым), Вяч. Иванов — «Мысли о символизме». А. Белый — «О символизме», В. Пяст — «Нечто о каноне», Вольфинг [Э. Метнер] — Лист», М. Кузмин — «„Cor ardens" Вячеслава Иванова», Э. Метнер — «Мусагет (Вступительное слово редактора)», Вяч. Иванов и А. Белый — «Орфей», Ф. Степпун — «Логос», Ophis [А. Топорков]—«Идея», Cunctator [А. Белый]—«О журавлях и синицах».—Предполагавшиеся в 3-ем отделе аннотации об изданиях «Мусагета» были помещены в каталоге издательства, приложенном к первой книжке журнала.— Из остальных перечисленных в письме Белого статей в следующих книжках «Трудов и дней» появились—в № 2: А. Белый—«Нечто о мистике», Ф. Степпун — «К феноменологии ландшафта», Cunctator [А. Белый]—«О двойной истине» и в № 3: Cunctator [А. Белый]—«Метафизика».

[11] 2 октября 1911 г. Блок писал матери: «Получил длинное письмо от Бори. В Москве устраивается наш маленький журнал („Труды и дни Мусагета"). Буду там писать» («Письма к родным» II, стр 185). Об отношении Блока к «Трудам и дням» см. письмо № 241 и примечания к нему.

224. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<20 октября 1911. Видное>[1]

Дорогой и горячолюбимый Саша!

Я написал Тебе чисто деловое письмо. Собирался тотчас же написать Тебе письмо личное, но пролетело около двух недель... Дело в том, что я по уши ушел в «Голубя», т. е. во вторую часть его, которая называться будет «Лакированная карета»...[2]

Милый, я от Тебя получил письмо[3], но сидя уже две недели в деревне, я не мог его получить и написал на повестке, чтоб переслали в Москву на «Мусагет» (заказные письма не пиши мне в деревню).

Твоего письма я еще не читал.

Мы с Асей мило устроились под Москвой в лесу, среди ветра и дождей в маленьком домике. Нам уютно вместе и хорошо: много работаем, много читаем, много по-хорошему, отдыхая, молчим; раз в неделю приходится иметь дело с городом; угорелые, через день, мы бросаемся в бегство, прихватив с собой пук газет, которые в городе даже нет времени почитать: всякий раз сваливаются сюрпризы: война[4], гадость,

волнение, купринский инцидент[5], смерть Петра Николаевича Трубецкого и т. д. и т. д.

У меня в деревне на столе лежит громадная книга «Свобода и Евреи», принадлежащая... Шмакову (??). Ты не думай, что я стал черносотенец.

Но сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость все слышней и слышней движение грядущее расс.[6] Будет, будет день, и народы, бросив занятия, бросятся друг друга уничтожать. Все личное, все житейски пустое, как-то умолкает в моей душе перед этой картиной; и я, прислушиваясь к шуму времени, глух решительно ко всему.

Теперь два слова о «Днях и трудах Мусагета». Это прежде всего место, где хотелось бы соединиться в тихих речах друг с другом: друг с другом и друг о друге думать, разделенные пространствами. Наша духовная связь должна же питаться общением; письма и личное общение все еще не то: личное общение: слишком много в нас еще всяческой психологии; она неминуемо во имя душевного рассечет, разделит наш дух: вот такое-то общение духом я мечтал в виде маленького журнальчика. Вот единственная, краткая моя мотивизация важности Твоего близкого участия в журнале. Здесь в Москве есть несколько человек, соединенных стальной спаянностью (вне психологии). Мы — хотели бы, чтобы было такое же братство между нами и Петербургом.

Ну, милый, пока прощай. По прочтении письма подробно отвечу.

Любящий Тебя

Б. Б[угаев]

[1] Датировано на основании пометы Блока. Ср. «Дневник 1911—1913», стр. 25 (запись от 21 октября).

[2] Речь идет о романе «Петербург», который Белый здесь и в дальнейших письмах называет «Голубем» (поскольку «Петербург» мыслился сначала как продолжение романа «Серебряный голубь»).

[3] Это письмо до нас не дошло.

[4] Имеется в виду гражданская война в Китае (10 октября вспыхнуло восстание в Учане, 14 октября войска Юань Ши-Кая выступили против революционеров).

[5] В октябре 1911 г. в бульварной прессе много писали о частном быте А. И. Куприна.

[6] «Слова Бори — о „Грядущей борьбе рас" в письме на-днях» — записал Блок в дневнике 26 октября 1911 г. («Дневник 1911—1913», стр. 27).

225. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

30 октября 1911. Видное.

Милый Саша!

Твоего письма не получил (о журнале); вообще, не пиши мне заказные письма на Расторгуево. Лучше на «Мусагет». Отвечаю так поздно на Твое письмо[1], потому что две недели не был в Москве, и Твое письмо пролежало более недели в «Мусагете».

Милый, Твои письма меня все радуют; в Твоем письме мне ничего не почудилось; наоборот: как всегда, я за ним отдыхал; я вообще очень прост и несложен, и потому все, относящееся к психологии, мне чуждо. А вот, может быть, Тебе в моем письме почудилось нечто? Может быть, тон его не такой? Тон моих писем сейчас вообще скуден: это происходит от тяжелой работы над «Голубем».[2] Когда пишу много, письма всегда у меня оскудевают. Не взыщи, если тон их Тебе не много говорит.

Страшно понимаю Твое недовольство лит[ературной] средой. Я уже два года изъял себя окончательно из всякой литературной среды. У меня начинается вроде нервной болезни при виде нескольких литераторов, собранных вместе; имя этой болезни — непроизвольная неискренность: мгновенно все в душе нудно натягивается, и я слышу в своем

собственном голосе нудные нотки, отчего вдруг внутренно начинаешь махать руками и сразу соглашаешься на все, слышанное кругом. «Да, да, да — да, да, да» отвечаешь на всякую гиль.

Просто, мгновенно разлагаюсь среди литераторов. И вот, самосохранения ради, я уже давно не только не хочу нигде бывать, но и вынужден не бывать. А сейчас я и фактически вне города.

Теперь о журнале. Журнал — не журнал; журнала не хотим, а «Труды и дни Мусагета» будут выходить.

Только...

У меня падают руки. От Вячеслава ни звука, от Тебя ни строки.

Пойми, если я писал Тебе и Вячеславу подробнейшее изложение деталей «Трудов и дней» при моей перегруженности (8 часовом рабочем дне); если на изложение частностей о журнале в двух письмах потерял два дня (ведь мне к 15 декабрю, чтобы не умереть с голода, надо представить 15 печатных листов[3]), то это — не фантастический проект, и мои слова надо понимать не в плоскости «так сказать», а в буквальном точнейшем смысле. Я рассчитывал журнал на нас троих, а не на одного (рабочей клячей быть не хочу, я и так сейчас — кляча); остальные только так. Теперь Вячеслав мне ни звука не ответил (на око[ло] 20 страниц письма). Заключаю отсюда, что ему интереснее болтать с первым встречным, и все мистические и иные разговоры глубокие и чреватые (какие мы вели некогда, между прочим, и о необх[одимости] такого маленького органа) я должен относить в плоскость «болтовни». Вообще этого словесного ликования (мы де будем действовать) и праздной болтовни (нужен журнальчик) не выношу за последнее время.

Ввиду неполучения от Тебя письма о журнале, и молчания Вячеслава, а также ввиду незнания Твоего отношения, у меня отвалились руки. Материал для первого № есть, но ввиду отсутствия Вас (Вячеслав прислал 2 месяца тому назад, до моего письма, 5 писаных страничек для проспекта) номер вышел наполовину наполненным мной; наполовину собранный случайно.[4] До января я не могу работать, наполняя собой номера.

Стало быть: мое отношение к журналу зависит от Тебя и Вячеслава. Если оба Вы не будете в нем существенно, «je m'en fiche...».*

Милый друг, не сердись на мой раздраженный тон. К чорту журнал: будет он или не будет, не это последнее. Во всяком случае он будет, но, может быть, ввиду Вашего отсутствия и вследствие этого моей апатии, он будет вовсе не тем; каким я его хотел видеть...

Теперь о Кожебаткине. Он, чорт знает что: никому, никогда не отвечает. Во время моей поездки за границу он, только он, с запаздыванием в высылке денег, с неответами и т. д. довел меня до того, что я ругался из Африки, как сапожник. Странное дело (кстати сказать): писал в «Пут[евых] Заметках» о том, что Африка проснется и арабы скоро заявят о себе[5]... ну, вот: начинает осуществляться ранее, чем я даже думал.[6]

Адресуйся о делах Метнеру: он только-что приехал, а с Кожебаткиным... оставь надежду навсегда (он 5 месяцев не двинул палец о палец).

Милый, милый, как хотел бы Тебя видеть.

Жду письма.

Остаюсь искренно любящий Тебя

Борис Бугаев

---

* «Посылаю его к чорту...» — Ред.

P. S.

Милый, это ужасно жаль, что Ты — в Петербурге, а я — в Москве. Пространство в деловом смысле ужасная штука: оно — химерит, дождит химерами; даже не психологическими, а хотя бы почтово-телеграфными...

Нам с Асей тихо и уютно; только, пожалуй, и отдыхаю с Асей. Все же прочее кругом — неприятно чуждо. И к тому же... чорт знает что: эксплоатация труда. Денег почти нет: не на что жить. У меня же между тем до 10 печатных листов; два большие этюда о «Египте» и «Радесе», написанные весьма тщательно (два месяца работал над ними); и — никому не нужны, как и я вообще, вместе со своей литературной деятельност[ью] никому не нужен. Струве и Брюсов утеснили и подвели с «Голубем».[7] У меня 3000 долг. У меня залежи хороших рукописей, а мне отвечают: «не напишете ли статейку», «не напишете ли рецензийку», т. е. нагло утесняют со всех сторон. От заработка во всех журналах я отрезан теплой компанией литер[атурных] жуликов (Абрамовичами, Чулковыми и К°). Я — объект эксплуатации: одни (вроде Вячеслава) эксплуатируют превозвышеннейшими разговорами, другие (Брюсов) — работой.

Ну да к чорту все это! Да хранит Тебя бог!

P. P. P. S. Милый, милый друг!

Прости меня: это письмо писал старый, полулысый ворчун, с трубкой в зубах, греющийся у камина. Не обращай на ворчуна внимания, ибо в момент ворчанья старый ворчун иронизирует над самим собой. Старый ворчун удивительно преувеличивает все житейские трудности до обеда: после обеда старый ворчун успокаивается на том, что все «суета — сует». Ася наказывает ворчуна, даже следит за его письмами, как бы он не написал чего лишнего в припадке мизантропии.

Милый друг, хотел бы сейчас Тебя видеть!

День мы проводим монотонно; утром встаем: у меня бывает 5 минут ворчанья до выхода к кофе, ворчанья на то, что хочешь — не хочешь — пиши. До обеда пишешь (чтоб писать, отпаиваю себя сливками, точно на убой). После обеда добреешь. Мы с Асей играем неизменно партию в хальму (яп[онская] игра). Потом пишу, занимаюсь коллекцией марок (у меня коллекция в 1785 марок). Потом с Асенькой читаем вместе (ужасно уютно глядеть в книгу вдвоем); потом тихие речи, и... (уже к 11½) спать. Так идет день за днем (газет не получаем). По приезде в Москву узнаем, что такая-то страна вознеслась, и еще такая-то...

Кругом — ветер шумит голой березовой чащей, да слышны издали свистки паровоза.[8]

[1] См. прим. 3-е к письму № 224.

[2] См. прим. 2-е к письму № 224.

[3] Романа «Петербург»,— в редакцию журнала «Русская мысль».

[4] См прим. 10-е к письму № 223.

[5] См. «Путевые заметки», стр. 293 (или «Офейра», стр. 187). Впоследствии Белый писал, что, осознавая кризис буржуазной цивилизации как упадок культуры, он «в противовес ей выдвигал культуру арабов, увиденную романтически... увлекался остатками патриархального, арабского быта, не видя, что корни последнего гнилы» («Литературное наследство» № 27—28, стр. 413).

[6] Имеется в виду подъем национал-освободительного движения арабов в связи с аннексией Триполи итальянскими империалистами.

[7] То-есть с продолжением романа «Серебряный голубь», будущим «Петербургом». Историю своего конфликта с редакцией журнала «Русская мысль» (во главе которой стояли П. Струве и В. Брюсов) Белый рассказал в письме № 229. См. также «Воспоминания» Белого — «Литературное наследство» № 27—28, стр. 455—456.

[8] Того же числа, которым помечено это письмо, 30 октября, Блок послал Белому письмо, до нас недошедшее. См. запись Блока в дневнике: «Пишу большое письмо Боре... Пишу Боре и думаю: мы ругали „психологию" оттого, что переживали „бесхарактерную" эпоху, как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сгорать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское» («Дневник 1911—1913», стр. 28).

226. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<3 или 4 ноября 1911. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Твоего письма о Журнале *не* получил.[2] Журнал будет. Твое коренное участие необходимо. Я счастлив получать от Тебя письма (что Ты выдумал о тоне писем).

Пишу лаконично; ибо в Москве на 2 дня и притом: 1) Сережа (Ты — знаешь? Дважды покушался на самоубийство: нервно-психич[еское] расстройство[3]), 2) сестра жены[4] родила девочку, 3) Ася нездорова, 4) готовлюсь к лекции.[5]

Сумма всего этого лишает меня полной возможности писать. Пиши мне в Москву. В Расторгуеве все письма пропадают: писать бессмысленно туда.

Когда освобожусь, напишу подробнее. Впрочем до января я пленник. Надо мне 15 печ[атных] листов Голубя написать.[6]

Если буду писать и подробные письма, сойду с ума.

Любящий Тебя

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании пометы Блока (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 32,— запись от 6 ноября).

[2] См. прим. 3-е к письму № 224.

[3] 31 октября 1911 г. С. Соловьев пытался выброситься из окна со второго этажа (см. заметку «В поисках смерти» в газете «Утро России» 3 ноября 1911 г.; ср. «Дневник 1911—1913», стр. 29).

[4] Н. А. Поццо.

[5] Лекция «Страна бреда и ужаса. Египет», прочитанная Белым 5 ноября 1911 г. в аудитории Исторического музея (см. «Русские ведомости» 1911, № 255 от 5 ноября).

[6] См. прим. 2-е к письму № 224.

227. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<4 ноября 1911. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Пишу тебе опять летучую заметку, ибо: 1) Сережа[2], 2) Нат[алия] Ал[ексеевна] (родила дочку), 3) Нин[а] Ив[ановна] умирает.

Видишь? Это не литературные дрязги.

Читаю лекцию завтра, ибо, если не прочту, мы с Асей умрем с голоду. И вообще: литературщина (кстати сказать: я принужден искать работы для пропитания, а не для литературы — и кстати сказать еще: я вышиблен за порог литературы Вашими Петерб[ургскими] прохвостами à la Чулков[3] и, кстати сказать, опять-таки: Ты пишешь в бесконечно бо́льшем количестве журналов и, судя поверхностно, я мог бы заключить, что не я, живущий в деревне, а Ты, пребывающий в Петербурге и появляющийся в органах печати, по уши в литературных дрязгах).

Все это к одному: мы действительно «психологически» ничего не знаем друг о друге.

А что касается Матисса — какая ерунда!! 2 года не был ни в одном литер[атурном] собрании («Путь» и кружок Морозовой не принимаю в соображение). В первый раз затащили, и из-за невладения русскими художниками фр[анцузским] языком меня упросили художники задать Матиссу два-три вопроса. А ты уже заключаешь, что де я путаюсь с Матиссом.[4]

Все это возмутительное порождение нашей разъединенности.

Но к чорту все это. Если скоро выпутаюсь с тяготами (матер[иальной] необеспеченности), буду писать долго. А пока крепко целую. И, спасибо за письмо: оно меня по-хорошему задело.

Любящий Тебя крепко

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании упоминания о лекции, прочитанной Белым 5 ноября 1911 г.— Это письмо является ответом на недошедшее до нас письмо Блока.

[2] См. прим. 3-е к письму № 226.

[3] «Боря негодует на эксплоатацию его труда, на наших „жуликов" (Чулков), которые его выперли из всех журналов...» — записал Блок в дневнике 6 ноября (цитир. по рукописи).

[4] 29 октября Блок записал в дневнике: «В Москве Матисс, „сопровождаемый символистами", самодовольно и развязно одобряет русскую иконопись—„французик из Бордо"» («Дневник 1911—1913», стр. 27—28). О своей встрече с Матиссом в московском «Обществе свободной эстетики» Белый упоминает в книге «Омут», стр. 222.

228. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Около 10 ноября 1911. Видное>[1]

Дорогой Саша,

Наконец-то я выбрался из города, с неделю метался, как полоумный. Ввиду Твоего подозревающего письма[2] и обидных предположений о том, что я метался с Матиссом и пересчитывал в Кружке французские булки, вот Тебе compte-rendu* моего недельного пребывания в Москве, первого после 8 сентября (а до этого времени бывал не более как на день, полтора, два). Едва в понедельник на той неделе я собирался начать работать и с величайшим ужасом помышлял о городе, как меня сорвали с места известием о Сереже[3]: ну, конечно, поехал в Москву и, конечно, прямо попал в гущу тревог: имел беседы с друзьями, теткой Сережи и психиатром. На другое утро опять выяснялось положение Сережи (теперь он в психиатрической лечебнице; месяцев 7 леченья и, авось, бог даст, поправится); сидел у него; имел опять разговор с психиатром, и — в деревню, к Асе, на несколько часов отдохнуть, притти в себя (Сережа ведь мне ближе чем брат: и меня совершенно расшиб инцидент с ним). Среда. К середине дня попал в Москву; опять совещания; далее: вечером сложный и многочасовой разговор с Метнером о положении в Мусагете (который только что вернулся из-за границы). Четверг. Утром: совещание о том, быть или не быть «Логосу» у нас, с логосами и Метнером (вопрос о контракте), подача прошения о разрешении журнала, хлопоты с «Р[усской] М[ыслью]» об извлечении из нее одной мне нужной рукописи (что делать, и это — «литература», ибо есть хочется); совещание с Григ[орием] Алексеев[ичем], наконец концерт д'Альгейм, на который нельзя было не пойти (долго объяснять почему). Пятница: Зубной врач, на которого не мог попасть; возня с извлечением из «Пути» нужнейших мне 100 рублей; ловля по соверш[енно] необходимому делу неуловимого Рачинского, разговор с приехавшим на один день Гессеном по поводу опять-таки «Логоса», далее реферат Гессена о «Ласке»[4] (если это по-Твоему литература, то, извини: для меня «Логос», его судьба, есть реальное дело, тоже

* Отчет.— Ред.

вопрос о том быть или не быть свободному от <...> арийству, но Тебе философия чужда, и для Тебя эта моя реальная боль, одновременные союз и борьба с «Логосом» непонятны). Суббота. Выработка контракта: совещание «Логосов» (Метнер, Яковенко, Степпун, Гессен, Метнер и я), дела о кавказском имении [5], посещение находящейся на волоске от смерти Нины Ивановны, наконец лекция моя [6] (вечером), ибо без нее не мог бы прожить ноябрь месяц.

Я пишу Тебе нарочно о том, что я делаю, ибо Ты упрекаешь меня... чорт знает в чем!! Да пойми: что вся неделя (единственная неделя в Москве) была сплошь соткана из необходимейших поступков. До этого — я бывал по дню (редко по два дня) в Москве, и единственное место моего бывания — Мусагетские вечерние собрания (тоже необходимые). До этого времени я в августе 10 дней приискивал зимнее помещение, до этого времени 3 месяца сидел в деревне; ранее — весной: десять дней жил в Москве, и в эти десять дней разрешал скопившиеся дела за мое 6-месячное отсутствие. Еще ранее — сидел в Африке.

Да пойми Ты, что, например, я два-три года не видал, какие такие литераторы, два года не был в театре, только на-днях впервые после 1½ года слушал сериозное пение (без музыки же я жить не могу). Есть мне время заниматься всякой белибердою. Стыдись: Твой неосновательный упрек есть именно тот безжалостный по отношению к ближнему «психологизм» (не основанный на чуткости душевной), подлинное имя коему — химера, химера, химера.

Должен Тебе сказать, что легко Тебе, у которого на душе нет ответственности за целое учреждение (у меня «Мусагет» висит на душе и я болею каждою деталью его существования), который за одни стихи, печатаемые во всех журналах Российской империи, получает в четыре раза больше чем я (года четыре тому назад Ты мне говорил, что зарабатываешь до 500 руб. в месяц; в то время я зарабатывал дай бог полтораста); мне же приходится думать о том, откуда достать каких-нибудь 50—40 рублей и волноваться всеми мелочами жизни, от которых Ты, должно быть, избавлен.

Теперь: Ты пишешь: «есть ли у Вас железная спаянность?» Я говорю — да: и при этом я не разумею «Мусагет». В «Мусагете» есть разноголосица: но в людях, в душах, несогласных друг с другом в Редакции, разноголосицы нет и быть не может. Я не знаю Ваших петербургских литературных «конфигураций», разлагающихся через два-три месяца, и я не знаю Твоих личных друзей.

Мусагет — это кружок прежде всего глубоко мне близких людей, из которых каждого глубоко уважаю, но из которых лишь ¼ — «литераторы», следовательно литературщины нет и быть не может. Приедешь к Вам в Петербург: «А» с «Б», «С» с «Д»; приедешь через месяц: «А» уже с «С»; «Д» с «Б». Вспомни, сколько раз Ты, я, Вячеслав были в разных лагерях; это оттого, что человеческое между нами неизменно пылилось «химеризмом» и «психологизмом», т. е. между господствовал господин «изм»; он вставал и побеждал душевное друг к другу влечение.

С Метнером, А. С. Петровским, Киселевым, Сизовым, Рачинским, Сережей психологических кошмаров у нас *не** бывало, злобы друг на друга не было (бывали благородные расхождения), вонь литературщины не омрачала душевного влечения. С Рачинским, Петровским, Метнером я был и тогда, когда в 1904 году был с Тобой, и тогда, когда в 1908 году был против Тебя и Вячеслава, и в 1910 году, когда вновь

---

* Подчеркнуто трижды. — Ред.

мы встретились. «Мусагет» есть, «Мусагета» не было, «Мусагета» не будет: «X» «Y» «Z»—начало или учреждение, символизирующее связь душ, связь кружка, братство наше останется [в] 1924 году таким же, каким было оно и в 1902 году. То, что началось вокруг круглого стола соловьевской квартиры[7], продолжается и за круглым столом «Мусагета», как продолжается оно и в Бобровке Рачинского, как продолжалось оно с Минцловой: все это — одно: и этой верности друг другу, этой братской помощи (духовной, душевной, физической, даже материальной) Вам, петербуржцам, подозревающим, ругающимся, мирящимся, и вновь ругающимся, следовало бы поучиться.

Когда в 1910 году Вячеслав через меня и Минцлову подходил к нам, мы его пустили в «Мусагет» с восторгом, предложили ему пасти «Орфей»[8]; но в наше как бы братство мы его не пустили, а он пробирался. Узнал сперва линию нашего пути, и Ты поймешь, что помимо моих двух обликов «мигающего» (созданного отчасти из Твоей химеры), сидящего в деревне (и Тебе близкого) есть еще «Я», железно спаянный с московским коллективом (не с Брюсовым же, конечно! не с Кожебаткиным же!).

Жалею, что у Вас, в Петербурге, железного кольца дружбы нет! Может быть, ошибаюсь: прости; но я не видел.

Милый, милый, не сердись на это письмо: оно просто ответ на несправедливость.

Теперь: Ты пишешь, что между нами должно быть знание друг друга: большее знание, чем теперь, не думаю, чтобы было. Мы всегда видимся из пыли, сквозь фату сегодняшней моей и Твоей усталости, или наспех, или из истерики, как в былые годы.

Милый, видишь — и у меня сквернословие: но, к чорту его! И — как хочется в ответ на Твои обвинения прижать к сердцу Тебя! Молча усадить у нас пить чай; как хочется вообще в тишине пожить вместе, даже не обращая внимания на Тебя; просто гулять на закате в ноябрёвских полях, а вечером у самовара тихо, безнадрывно беседовать о том, что есть «Мусагет», что такое «железная спаянность», почему в письмах не хочу психологизма; в тихом, совместном житье хочу не психологизма, а душевной нежной близости, участия.

Но... это не возможно!..

Если бы Ты приехал к нам в деревню пожить в лесах и полях, где так уютно, но где так тесно и неудобно, если бы Ты хотел в тишине отдохнуть от литературщины, дрязг,— «сквернословие» Твое разрешилось бы тихо по отношению ко мне.

Но ведь Ты не приедешь.

Но если бы Ты сказал: «приеду», я удивился бы и обрадовался.

Но, пойми, я-то... не зову; не относи приглашения к навязчивости.

То же и по отношению к журналу: я внешне журнал объяснил; Ты не понял, как Тебе непонятен и «Мусагет». Разъяснять в письмах вообще — бесцельное занятие: не разъяснишь, все равно.

Пожили бы вместе, о сколь многое разъяснилось бы...

Ну, прощай: «сквернословь», ругай меня, «Мусагет», Эллиса сколько угодно (как все это понятно мне), и не думай, что во мне хоть на иоту изменится к Тебе что-либо; хотя — «отругиваться буду», ибо я — присяжный ругатель.

Обнимаю и нежно люблю.

Б. Бугаев

P. S. От Аси привет.

[1] Датировано на основании записи Блока в дневнике от 11 ноября: «Длинное письмо от Бори» («Дневник 1911—1913», стр. 37).
[2] Очевидно того самого, ответом на которое является предыдущее письмо Белого.
[3] См. прим. 3-е к письму № 226.
[4] Имеется в виду философ Э. Ласк.
[5] Унаследованное Белым от отца имение на Кавказе, которое он безуспешно старался продать или заложить.
[6] См. прим. 5-е к письму № 226.
[7] Имеется в виду квартира М. С. и О. М. Соловьевых.
[8] См. прим. 3-е к письму № 223.

229. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<15 или 16 ноября 1911. Видное>[1]

Дорогой Саша!

Пишу Тебе не в порядке наших личных отношений, а в порядке просьбы подать совет.

Дело вот в чем: у Вас в Петербурге все журналы, все организации литературные, словом вся техника литературы. В Москве же ничего нет. У меня в Москве единственный журнал «Р[усская] М[ысль]». Но Брюсов меня обмерил и обвесил. С лета до зарезу мне были нужны деньги; личных денег у меня нет ни гроша, литературного же заработка нет, ибо в журналы вообще меня не приглашают (нет такой «моды» меня приглашать). Я просил Брюсова дать мне работу и он через «Мусагет» просил меня написать об Африке. Все лето я писал о Радесе и Египте (около 10-ти печатных листов), рассчитывая жить зимой на литературный труд и поэтому откладывая «Голубя».[2] Лето потерял, десять печатных листов написал (и написал — хорошо), и вот мне говорят, что «Р[усская] М[ысль]» перегружена географией, стало быть, мой труд не нужен. Кроме того Брюсовым и Струве поставлены условия, чтобы к 1-ому январю я написал «Голубя» и представил 15 печатных листов (по 100 р. за лист). Я просил аванса, мне отказали. Теперь я в невозможнейших условиях: чтобы к 15 январю представить рукопись, я не могу ни одной рецензии написать для заработка, а денег у меня — ни гроша; и я все эти 4 месяца кое-как перебивался. «Р[усская] М[ысль]» своим обманом меня (праздной работой над Радесом и Египтом, а потом и Голубем) посадила в лужу. Имение мое продастся дай бог через 1½ года, а пока я сейчас — в ужаснейшем материальном положении. Я должен или бросить литературу и околачиваться в передних попечителя округа, или потребовать у общества, чтобы А. Белый, могущий писать хорошие вещи, был обществом обеспечен. И я требую от всех людей, кому я, как писатель, нужен, чтобы писателю не дали умирать с голоду: мне нужны до февраля месяца (когда я справлюсь с Голубем) 400—500 рублей; у меня есть около 10 печатных листов описаний Египта и Тунисии. Кто может 1) или дать мне взаймы (в счет гонорара за Голубя) 500 рублей, которые обязуюсь отдать по представлении рукописи в «Р[усскую] М[ысль]», 2) или дать 500 рублей за материал (хороший), праздно лежащий у меня? Нет ли в Петербурге такого человека, или журнала, который не даст подохнуть А. Белому и не заставит его клянчить у меценатов о возможности существовать? «Мусагет» сам нуждается. «Мусагету» должен я 3000 (путешествие), которые уплачу по продаже имения и который соглашается ждать, но который не может без явного ущерба изданиям помочь мне сейчас.

Пишу Тебе, не как другу, а как петербуржцу: к кому мне обратиться? Ни журналов, ни людей я не знаю: вы все вращаетесь в лите-

ратурной среде, а я с Асей — мерзну в деревне и ни с кем не общаюсь. Ты рекомендуешь мне презреть суету сует и писать Голубя.[2] Милый друг, рекомендуя мне покой, рекомендуй мне и возможность работать без спешки и без заботы о том, как просуществовать декабрь и январь месяц.

Не знаю, на что Ты живешь, и знаю, что А. Белому литературой жить невозможно, а денег своих — ни гроша. У меня на сердце жена, Ася. Для себя не стал бы я просить. Но мысль подвергать Асю голоду, ревматизмам и пр[очим] принадлежностям литерат[урной] деятельности меня ужасает.

Ты — судья моего поведения: так будь же не обвинителем только, а постарайся меня как-нибудь устроить: или дай совет, как быть. Мне 500 рублей нужны сейчас до зарезу. Нельзя ли честно получить за праздно скопившийся у меня лит[ературный] труд, а не то через две недели я зареву благим матом у всех порогов богатой буржуазной сволочи: «Подайте, Христа ради, А. Белому». Зареву с гордостью, ибо я — божией милостью художник, который по крайней мере обществом должен быть обеспечен хлебом и одёжей. Или искусство, литература, мысль, образы никому не нужны. Ну, тогда я буду себе искать место хоть лакеем в ресторане: так и буду знать, что А. Белый никому не нужен, ибо его оставляют на произвол судьбы голодать.

Итак жду от Тебя или совета, или какой-нибудь помощи, т. е. не попросишь ли Ты у кого-нибудь из писателей пристроить мои рукописи, или у какой-нибудь редакции дать мне в 500 рублей аванс. Главное мне нужны деньги.

Ответь тотчас же. Ибо время для меня не терпит; если ничего нельзя для меня устроить, то я должен это заранее знать, чтобы во-время обивать пороги Щукиных и К°, прося денег. Конечно, я не обижусь, если Ты тотчас же ответишь, что ничего сделать нельзя. Я обращаюсь к Тебе, ибо никого в Петербурге не знаю, не знаю даже, кто за меня, кто против меня: знаю только, что Твои былые друзья (Чулков и К°) создали для меня полную невозможность писать где-либо (ибо они — везде: следовательно я — нигде).

Остаюсь любящий Тебя

Б. Бугаев

[1] Датировано на основании записи Блока в дневнике от 17 ноября: «Отчаянное письмо Бори — о деньгах» («Дневник 1911—1913», стр. 41).

[2] См. прим. 2-е к письму № 224.

230. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<19 ноября 1911. Москва>[1]

Милый Саша,

Твое сегодняшнее письмо меня совсем оглушило своей неожиданностью.[2] И мне теперь совестно одного: как бы Ты не подумал, что мои жалобы на матерьяльные трудности не были предлогом просить у Тебя денег... (Тьфу: пишу вовсе не то и не так!..). Письмо Твое меня глубоко порадовало и испугало: порадовало тем хорошим чувством, которым оно продиктовано. Испугало: явился соблазн воспользоваться Твоим благородным почином меня поддержать материально. Милый друг, знаешь, я пожалуй воспользуюсь Твоим предложением, но только при одном условии: чтобы Ты четко мне ответил и пристально поглядел мне в глаза. Во-первых: действительно ли Ты можешь мне месяца на три

одолжить 500 рублей? Если это Твои гонорарные деньги, я брать отказываюсь: я слишком знаю, как трудно добывается гонорар, и как быстро необходимые потребности поглощают его. Если же у Тебя случайно оказалось несколько сот рублей и они Тебе в продолжение 3-х месяцев не нужны будут (я Тебе их верну в середине февраля, если не в конце января), я с огромной благодарностью (Ты не можешь себе представить, как Ты меня выручаешь) принимаю Твое предложение, принимаю так же доверчиво, как Ты мне по-хорошему предложил, ибо все равно иначе пришлось бы унизиться перед Щукиным, который бы мне, может быть, и дал бы, но прочел предварительную нотацию, что он принципиально благотворительностью не занимается и предоставляет мне решить, согласен ли я по своей воле нарушить его принцип; и мне пришлось бы нарушить его принцип; и после того он рассказывал бы по Москве, как он облагодетельствовал Андрея Белого. Видишь — я все же мог бы занять у него, но... если действительно Ты можешь мне одолжить (т. е., если Тебе ни капли это не стеснительно), я, конечно, предпочитаю занять у Тебя, причем вероятно через недели полторы возвращаю Тебе небольшую сумму (около пятидесяти рублей); в декабре возвращаю около ста рублей, а в конце января, начале февраля остальные.

Теперь я должен Тебе объяснить, почему я заимствую у Тебя. Дело в том, что меня обмерил и обвесил Брюсов, частью в буквальном, частью в переносном смысле. Я дал обещание весной представить к концу 1911 года мой роман.[3] Времени было достаточно, и я бы представил, но... Пока я писал бы до января, мне не на что было бы жить, ибо с весны у меня ничего почти нет; пока я был один и жил у мамы, меня ни капли не беспокоило безденежье; но теперь, когда на моей ответственности Ася, такая маленькая и такая хрупкая, которую надо оберегать от житейской грубости, как зеницу ока, все эти вопросы заработка меня волновали ужасно. И вот я писал Брюсову дать мне возможность каким-нибудь способом заработать. Он мне отвечает: «Пишите связные очерки о Египте и Радесе». И вот, чтобы очистить себе свободное время для Голубя[4], я все лето потратил на небольшие фрагменты о Тунисии и приготовил статью «Египет» (страниц 110) и «Радес» (стр[аниц] 60). Брюсов палец о палец не двинул, чтобы Струве принял мои писания, хотя Брюсов лично и расхваливал их. Таким образом время прошло, осталось два с половиной месяца; мне надо накатать 15 печ[атных] листов и вся летняя упорная работа пошла прахом. Теперь Брюсов требует представления рукописи, закидывает мелочной работой; я отвечаю: «Я работаю как вол и, чтобы выполнить Ваши условия, мне нужно сидеть с утра до ночи над романом». Я прошу аванс: «Р[усская] М[ысль]», подведя меня с очерками, не дает ни гроша аванса. Кроме того: Брюсов за роман сперва обещает 150 рублей (печ[атный] лист). Потом 125. И наконец объявляет, что «Струве дает 100». Я иду на все уступки. Теперь, когда надо писать, писать и писать, у меня остается сейчас около 35 рублей и нигде ни гроша денег не предвидится до 15 декабря. «Речь» соглашается (через Гессена сына) напечатать несколько отрывков. Я прошу Брюсова мне разрешить это (как разрешила «Р[усская] М[ысль]» Мережковскому): Брюсов запрещает мне печатать. Я говорю: «Вы меня посадили на мель с очерками, не дали аванса, на ⅓ сбавили гонорар: поймите — мне жить не на что!». Брюсов продолжает со мной говорить не по-человечески, а по-скотски, и я заявляю в присутствии нескольких лиц именно в этих терминах: «Меня обмеривают и обвешивают». Мне сейчас тем более трудно, что

с наступлением холодов обнаружилось, что мы с Асей буквально погибаем от холода (около 8° в комнатах), и вот мы бежим в Москву почти без денег и без пристанища (теперь кое-как с пристанищем устроились). Пойми, пока все это происходит, почти не могу работать от волнения за Асю. Этим волнением и усталостью обусловливается тон моих последних писем Тебе, ибо я уже недели три при встрече с людьми стискиваю зубы. Теперь Матисс.[5] Ты попал в больное место. Ведь если я изредка бывал в Эстетике[6], если белиберду говорил с Матиссом, так ведь это из внешней любезности к Брюсову, в расчете, что он хоть на иоту окажет мне содействие в моих делах с «Р[усской] М[ыслью]». Наконец вчера меня взорвало, и я бежал с «Эстетики», наговорив грубостей Брюсову.

Я так устал выпутываться из месяца в месяц. Но не беспокойся: я Тебе выплачу через 3 месяца. Если у меня будет 500 рублей, я смогу спокойно дописать роман, за который «Р[усская] М[ысль]» обязалась мне выплатить единовременно по получению рукописи (около полторы тысячи). Видишь: деньги у меня будут, а пока нет: не могу спокойно писать, а если не допишу к середине января, пролетают и полторы тысячи. Писать-то я напишу, но только тогда, когда будет сознание, что на время писания будут деньги.

Вот основание моего положения: через год, полтора я продам кавказский участок земли, а пока — уж как трудно: тем более, что негде печататься; может, и есть где, но не зная людей, не знаешь — друзья или враги, не шлешь рукописей.

Милый, итак, если действительно Тебе можно мне одолжить, огромное, бесконечное спасибо, ибо Ты выручаешь меня из действительно безвыходного положения.

Никогда не забуду, как Ты по-хорошему, просто предложил мне занять. Ведь я никогда в жизни еще частным образом ни у кого не занимал, и если с благодарностью принимаю Твое предложение, то это потому, что во-первых предлагаешь Ты и так по-хорошему.

Спасибо, милый! Спасибо!

Если Тебе можно выслать, то вышли (но прежде взвесь, действительно ли можешь, ибо иначе я глаз на Тебя со стыда не подниму) по следующему адресу:

Москва. Плющиха. Шестой Ростовский переулок, дом Орлова. Кв. 2. Квартира Александра Михайловича Поццо (Поццо — муж сестры жены). Для Бориса Николаевича Бугаева.

Еще раз — милый, хороший!

Остаюсь глубоко Тебе преданный и благодарный

Борис Бугаев

[1] Датировано на основании записи Блока в дневнике от 20 ноября: «Письмо от Бори (хорошее)» («Дневник 1911—1913», стр. 43).

[2] В этом недошедшем до нас письме Блок, «в деликатнейшей форме уговорил [Белого] принять от него в долг пятьсот рублей, бросить мелкую работу и сосредоточиться на „Петербурге"». «Это был решительный импульс к работе для меня,— пишет Белый,— и я считаю, что А[лександр] А[лександрович] косвенно вызвал к жизни мой „Петербург"» («Записки мечтателей», № 6, стр. 120; ср. «Эпопея», № 4, стр. 214—215; «Литературное наследство» № 27—28, стр. 455—456 и «Дневник писателя» Белого — «Записки мечтателей, № 2—3, П., 1921, стр. 120).

[3] «Петербург» (по первоначальному замыслу Белого — вторая часть трилогии «Восток или Запад», продолжающая роман «Серебряный голубь»; намечавшееся заглавие ее — «Лакированная карета»).

[4] См. прим. 2-е к письму № 224.

[5] См. прим. 4-е к письму № 227.

[6] В «Обществе свободной эстетики».

231. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<26 ноября 1911. Москва>[1]

Милый, милый,

Спасибо.

Никогда не забуду Твою, воистину большую, услугу. Крепко жму руку и целую Тебя. Деньги я третьего дня получил. Послезавтра отсылаю Тебе 35 рублей[2]; и в скором времени отсылаю еще. Мне несравненно проще и легче выплачивать Тебе маленькими частями, при первой возможности, нежели отдать сразу потом.

Письмо Твое несколько успокоило меня (относительно наследства)[3], но все-таки... еще раз, крепкое спасибо. Письмо Твое ужасно взволновало меня, радостно взволновало: все, что Ты пишешь мне, полунамеками более чем знакомо: желтая прелесть — поддайся и — автомобиль, татары, японские гости, далее — Финляндия, или «нечто», имеющееся в Финляндии, далее — Гельсингфорс, Азеф, революция — та же все гамма.[4] Если и живы чем, так:

Змей не виден подводный,
Да и скал не видать.[5]

Случай с Сережей[6] ужасно меня застиг, в две недели измучился я с Сережей: ведь одна из преследующих его ныне идей — лицо восточного человека.

Будем крепки. Мы — крепки, потому что мы (это правда) многое знаем, чего не знают другие. В единении знающих — сила. Единение есть: я несколько фраз Твоего письма прочел в тесном кругу (трех, четырех) собирающихся только для передачи «Летописей Мира».

Ибо Мировая История ныне больше чуется не там, где кричат, а там, где тихонько шепчут у себя в катакомбах.

Я 30-го на 10 дней уезжаю; адрес: Тверская губерния. Виндавская дорога. Станция Оленино. Имение Бобровка. А. А. Рачинской. Мне.

Из Бобровки пишу подробно: сейчас то в бегу, то в угаре работы. Из Бобровки будет все видней и слышней.

Так. Пишу.

Кстати: передай, если увидишь Сюннерберга, что статей его просим и просим.

Сегодня, 26-го, наш с Асенькой юбилей: мы его тихо празднуем. Вспоминали Тебя. В моей личной жизни возвращается что-то от далеких прекрасных годов. Но угар периода 1903—1908 еще не успокоился. Ася просит Тебе передать свой сердечный привет.

Любящий нежно Борис Бугаев

[1] Датировано по содержанию («Сегодня, 26-го...»).

[2] Сохранилась опущенная нами записка Белого Блоку на отрезном купоне почтового денежного перевода (дата штемпеля — 29 ноября 1911 г.): «Дорогой Саша! Посылаю Тебе 35 рублей. Итого буду должен тебе 465 рублей. Остаюсь преданный Борис Бугаев». 1 декабря Блок записал в дневнике: «Боря прислал 35 рублей. Повидимому, он относится к деньгам с такой же щепетильностью и беспокойством, как в нашей семье» («Дневник 1911—1913», стр. 48).

[3] Очевидно, в недошедшем до нас письме Блок заверял Белого, что посылает ему деньги не «гонорарные», а из полученного им (в 1909—1911 гг.) наследства.

[4] См. в романе Белого «Петербург» сцену появления в автомобиле «именитых японских гостей» (1-е изд.— П., 1916, стр. 142). Ср. записи Блока в дневнике за октябрь — ноябрь 1911 г. («Дневник 1911—1913», особенно стр. 27, 39—40, 44.).

[5] Из стих-ия Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи».

[6] См. прим. 3-е к письму № 226.

232. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало декабря 1911. Бобровка>[1]

Милый друг!

Пишу Тебе из деревни (адрес до 20 декабря — Московско-Виндавская ж. д., станция Оленино. Село Бобровка. Имение А. А. Рачинской), где тишина — снег, сосны, и где не раз уже в жизни со мной происходили какие-то благодатные переломы после нервно напряженных дней, и где успокаивается всякая злость, и всякий надрыв разрешается в легкую, музыкальную ноту. Разрешилась и теперь сумятица Москвы (Сережина болезнь, денежные затруднения, незнание, куда деваться от деревенских холодов, неприятности с Брюсовым) — все это разрешилось в ту же легкую музыкальую ноту; — спокоен, и — веришь в свой долг.

Сюда впервые попал я совершенно растерзанный, с разбитой душой, после осени 1908 года и непосредственно разбитый моим скандалом в Кружке[2]; и вдруг — песни из другой оперы: что ни книга, то книга нужная (из старой, огромной библиотеки); здесь опять, по-новому, я стал мистиком, не прежним (не мистическим анархистом — все мы были ими!), а новым: в руки попались хорошие старые книги в кожаных переплетах; здесь впервые столкнулся с астрологией, учился составлять гороскопы, встал весь «С е р е б р[я н ы й] Г о л у б ь» и пронесли[сь] в душе б л а г и е г о л о с а; и дано было предвестие Аси. Здесь же главным образом я работал для себя над ритмом. Здесь окончил «Г о л у б'я» (через год), здесь учился тем крохам п р а к т и к и, которые мне посчастливилось когда-то выслушать. Здесь впоследствии решительно для меня встала судьба—Ася; здесь была Минцлова[3]; и вот опять здесь—уже с Асей.

Милое место, тихое.

И из этого тихого места хочется Тебе, друг, протянуть руку и сказать: пройдет много лет, много дел свершится, много будет горя, печали, треволнений и радостей,— через много же лет мы протянем друг другу руки: это — будет; тут — теперь не изменится...

Ты удивляешься: я Тебе ничего не пишу о Сереже... Но Сережа — самое мое больное место сейчас. Так это все тяжело, грозно и трудно, что пока он еще н е о к о н ч а т е л ь н о здоров, лучше будет действенно думать о нем, и лучше не говорить: ведь сейчас он борется между б ы т ь и н е б ы т ь.

Милый друг, буду Тебе отсюда от времени до времени посылать короткие вести. Не оставляй меня без вестей о Себе.

Ася Тебе кланяется.

Любящий нежно

Бор. Бугаев

P. S. Пусть Сюннерберг в журнал присылает статьи. Получил ли Ты 35 рублей? Скоро, по возвращении в Москву, пришлю еще небольшую порцию.

[1] Датировано на основании пометы Блока.

[2] Об этом эпизоде и жизни в Бобровке (в январе — феврале 1909 г.) Белый рассказал в книге «Омут», стр. 351—354; см. также—«Литературное наследство» № 27—28, стр. 454—456.

[3] Об А. Р. Минцловой см. в книге «Омут», стр. 355—362.

1912

233. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<18 января 1912. Москва>[1]

Дорогой, близкий друг!

Прости мне мое долгое молчание: оно — вынужденное; я работал, как диавол; в 2½ месяца, даже менее (много дней у меня пропало даром: Сережина болезнь, Мусагет) написал около 15 печатных листов[2]; если принять во внимание, что я работаю медленно над прозой, то эта работа невероятна. Можешь себе представить, в каком я сейчас виде! Оттого и не писал.

Теперь же, два-три дня отдыхаю: но отдых не в отдых. «Р[усская] М[ысль]» ввиду того, что я не представил конца романа, отказалась мне дать хотя бы что-нибудь. У меня даже нет сил возмущаться: это поступок, которому нет названия; теперь, из Москвы, воюю со Струве, требую, чтобы он заплатил мне хотя бы долг, в который меня ввела «Р[усская] М[ысль]» (разумею Твои 500 рублей); я, конечно, не говорю, у кого я брал, но утверждаю, что они меня поставленным условием лишили на 3 месяца возможности где бы то ни было искать заработка и, следовательно, юридически будучи правы, нравственно обязаны мне заплатить, я не представил конца романа не потому, что я ленился, а потому, что роман разросся; я обещал 12 печатных листов (и весь роман), дал же около 15-ти листов (но окончание не готово); прошу отсрочки на 3 месяца и обязуюсь в 3 месяца закончить; их же прошу оплатить мне представленную часть рукописи.

Ответ «Русской Мысли»: никакого аванса до окончания романа. Ну не <.....>ли? И на этот раз не Брюсов, а Струве. Ведь писателю после этого остается кричать караул! Подумай: три месяца я живу надеждой на роман; существую в долг и думаю, что только бы натянуть на 10 печ[атных] листов; пишу не 10 а 15. Радостно несу рукопись; и ответ: Вы не выполнили условия и, как бы, договор разрывается.

Что я могу предпринять?

Кричать об этом, протестовать — но ведь я всем известный скандалист.

Вот он — путь *не* продавшегося <.....> писателя!

Пишу это, милый, чтобы, во-первых, пожаловаться (вчера Брюсов мне преподнес этот сюрприз — и даже кровь бросилась в голову: весь день пролежал в мигрени, так было обидно); во-вторых, пишу для того, чтобы объяснить Тебе, почему я не выплачиваю Тебе часть долга: по моим расчетам я бы мог Тебе выплатить значительную часть долга на сумму помимо гонорара «Р[усской] М[ысли]», а теперь на эту сумму приходится жить.

Извини меня, милый друг: придется еще повременить; если война моя со Струве (ему пишет и Булгаков) окончится в мою пользу, я Тебе смог бы на этих же днях вернуть часть долга. А теперь, пока, не могу. Но довольно о гадостях.

Мы с женой рассчитывали в этих числах быть в Петербурге, чтобы лично мне поговорить с Тобой и Ивановым по делам «Трудов и Дней», выходящих уже в начале февраля (№ 1-ый набирается уже). В письме все равно не договориться, а разговор с Тобой и Ивановым у меня сериозный, деловой, от которого зависит все мое отношение к Журналу, ибо без поддержки с Вашей стороны Журнал неизбежно свалится в сторону «Логоса», и конечно для меня станет не своим, родным.[3]

Да вот Струве подвел — и теперь не знаю, попадем ли в Петербург. Хотелось бы кроме всего еще организовать Петербургский состав сотрудников.

Кстати о Сюннерберге: безумно длинна его статья; я бы за нее не прочь (не ах какая, но почтенная, вдумчивая), но подумай: ведь у нас же тип карликового, лапидарного журнала, лапидарного в интимном, и в оффициальном отделе. В статье же Сюннерберга чуть не 40 страниц.[4]

Посуди сам, что с ней делать? Я еще о нем подумаю.

Все-таки, может быть, как-нибудь попаду.

В надежде с Тобой лично видеться и говорить и под прессом работы я и не писал.

Милый друг, спасибо за книгу о Твоем отце[5]: я ее читаю; книгу же для рецензии передал в «Логос», и они обещали непременно в ближайшем № дать отчет.[6]

Что сказать?

Трепетно слушаю 12-й год, а пока — ничего. На поверхности много всяких гадостей, а внутри как-то стало яснее и чище.

Ах Саша, Саша — как многое у меня скопилось теперь к Тебе неделового: откладываю до свидания. Думаю все же увидеться.

Остаюсь близко любящим Тебя

Борис Бугаев

P. S. От Аси привет. Читаю Тебя. Ничего ведь выглядит 2 часть Собрания Стихов.[7] А издание наше «Ночных Часов» менее (даже вовсе не нравится).

О «Ночных Часах» хочу долго и много с Тобой говорить; в письме не напишешь.

[1] Датировано на основании записи Блока в дневнике от 20 января 1912 г. «Письмо... вчера от Бори» («Дневник 1911—1913», стр. 79).

[2] Романа «Петербург».

[3] Опасения Белого были не напрасны: группа философов-неокантианцев из редакции «Логоса» играла в «Мусагете» ведущую роль, и вскоре Белый отказался от руководства журналом «Труды и дни». «„Мусагет" для меня агонировал с осени 1910 года,—пишет Белый в мемуарах;—Метнер, не понимая причин охлаждения, в пику сильней педалировал говорунами из „Логоса"; и нельзя уже было понять: „Логос" ли „Мусагет", иль последний — придаток при „Логосе"» («Омут», стр. 384). О распаде символистской группы, образовавшейся вокруг «Мусагета» и «Трудов и дней» см. во вступительной статье.

[4] Речь идет, очевидно, о статье К. Эрберга (К. Сюннерберга) «Искусство — вожатый», напечатанной в «Трудах и днях» № 3, стр. 10—17 (в сокращенном виде).

[5] Е. Спекторский. Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава, 1911. Блок 7 декабря 1911 г. получил от автора 25 экземпляров этой книжки (см. «Дневник 1911—1913», стр. 50).

[6] Рецензия на книжку Е. Спекторского не была помещена в «Логосе».

[7] «Собрание стихотворений. Книга вторая — Нечаянная радость (1904—1906)». Изд. 2-е дополненное. «Мусагет», М., MCMXII.

234. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<21 января 1912. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Сегодня приехали с женой. Есть у меня помимо желания Тебя видеть и еще многое.

Ужасно хотели бы Тебя видеть, но не знаю, где встретиться.

Будем сегодня часа в 3 у Вячеслава. Посылаю письмо с посыльным. Не хочешь ли встретиться 1) сегодня у Вячеслава часов от 3, 4 и далее. 2) Или вместе позавтракать в «Вене» завтра, в воскресенье 22-го, часа в 2.

Если Ты дома, то напиши письмо и пошли моего рассыльного к Вячеславу от 3 часов.

Не даю нашего адреса, ибо и сам его точно не знаю: нас сегодня возили по Петербургу 2 часа и нигде ни одного свободного номера; наконец завезли куда-то на угол Садовой и Вознесенского: только и помню. При первом удобном случае переедем.

Остаюсь искренне преданный и любящий
Б. Бугаев

P. S. От жены привет.

[1] Датировано на основании пометы Блока и записи его в дневнике от 21 января: «Неожиданно утром — письмо от Бори, приехавшего с женой. Пишу ему, что я болен, никуда не выхожу, может быть, через несколько дней» (цитир. по рукописи). Ответное письмо Блока до нас не дошло

235. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<25 января 1912. Петербург> [1]

Адрес: Таврическая 25, кв. В. И. Иванова.

Дорогой Саша,

как Твое здоровье? Неужели мы не увидимся? Мне надо с Тобой видеться хотя бы деловым образом; пойми, без Твоего внутреннего касания Журнала меняется самая структура его. Смущать Твоей тишины не хочу; полагаю, что деловой разговор никак Тебя не заденет. Итак: в случае Твоего невыхода из дому мог бы к Тебе приехать на час-два. Уезжаю 30-го. Остается несколько дней. И как увидеться?

Остаюсь нежно любящий Б. Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 79, — запись от 25 января).

236. БЛОК — БЕЛОМУ

<Черновое> [1]

<25 января 1912. Петербург>

М[илый] Б[оря]. Я лежу в пост[ели] совс[ем] больн[ой] и не могу вид[еть] Тебя. Мое письмо[2] разошл[ось] с Т[воим], это мне более, чем дос[адно]. Если бы я и был здор[ов], я сейчас не владею собой, мог бы видеть Т[ебя] только совсем отдельно и особенно без Вячеслава Ив[анова], кот[орого] я люблю, но от котор[ого] далек.

Вы сейч[ас] обсужд[аете] журнал. Я менее, чем когда-либо, подготовл[ен] к ж[урнал]у. Быть сотрудн[иком], присл[ать] статью я могу. Но я один, измучен, и особенно боюсь трио (с В[ячеславом] И[вановым]).

В письме в Москву я Т[ебе] писал, почему мне страшно увид[еться] даже с Тобой одним, если бы я б[ыл] здор[ов]. Кр[оме] того, пис[ал], что нахожусь под знак[ом] Стриндберга.

В осеннем письме, кот[орого] Ты не получ[ил], я писал, что мне доступнее всего второй отдел.[3] Он наиболее вне литер[атуры]. Я продолжаю писать очень мало, однако; но и сквозь тяжелое равнодушие, ког[орое] мной овладело эти дни, постараюсь написать. Потом будет виднее.

Главное, что я могу сказ[ать] Т[ебе] сейчас неравнод[ушно] — это о том, что Пяст, по-моему, нужнейшее лицо в этом журн[але]. Пишу Т[ебе] сухо поневоле, п[отому] ч[то] Ты будешь чит[ать] письмо вне моего круга — в доме В[ячеслава] И[ванова]. Прошу Тебя, оставь для меня Твой след в П[етер]б[ур]г[е]; это еще прич[ина], по кот[орой] я хот[ел] бы, чтобы Т[ы] увиделся с П[ястом]. Через него Ты коснешься моего круга, что важно нам об[оим]. Атм[осфера] В[ячеслава] И[ванова] сейчас для меня немыслима.

Адрес П[яста]...

Люб[ящий] Т[ебя] А. Б[лок]

[1] Печатается по рукописи дневника Блока (запись от 25 января 1912 г.).
[2] Очевидно, недошедшее до нас письмо от 21 января (см. прим. 1-е к письму № 234).
[3] См. письмо Белого от 30 сентября 1911 г. (№ 223).

237. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<6 февраля 1912. Петербург>[1]

Милый, милый Саша,

нарочно не писал Тебе эти дни.

Ты пишешь, что — один, один.

Милый друг, мы все — одни. Самое чувство одиночества, такого одиночества, какое Ты испытываешь, есть уже светлая весть.

Мир не приемлет Тебя: мать земля расступается, и Тебе кажется, что Ты проваливаешься. О, поскорей бы мы все вывалились из культуры, из всего, из чего только можно вывалиться.

Только тогда образуется катакомба, о которой все что-то грезится.

Верю в Тебя, и все-таки, хоть и один Ты, протягиваю руки. Пусть Тебе кажется, что Ты один, *а я* скажу — я с Тобой. Хочешь или не хочешь. Я где-то рядом, хотя Ты меня можешь не видеть и не слышать.

О Стриндберге. Ты конечно разумеешь Inferno.[2] Когда я читал Inferno, то я был глубоко потрясен своим, родным страданием. И была мне радость в том, что вот не один... И Стриндберг — тоже.

Разве от этого не легче.

И будет все хуже и хуже. И Европа провалится: будет потоп. И чего же хорошего ждать. Ройте скорей катакомбы — стройте Ноев ковчег.

Аминь.

Целую братски, бесконечно нежно любящий

Боря

Ася приветствует. Уезжаю в среду вечером.[3]

[1] Датировано на основании пометы Блока: «в Спб. 6 февр[аля] 1912. Ответ в тот же день». Ответное письмо Блока до нас не дошло.
[2] Блок читал «Ад» Стриндберга в январе 1912 г. (см. «Дневник 1911—1913» стр. 77—78).
[3] Белый уехал из Петербурга только в конце февраля.

238. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<24 февраля 1912. Петербург>[1]

Милый! До какой степени я счастлив, что видел Тебя![2] До какой степени я счастлив, что Ты был со мной так прост и прям. Знаешь ли — что Ты для меня? Если Ты погибнешь, я отказываюсь от спасения. Ты — богоданный нам, вещий поэт всей России — первый среди поэтов! Только Тебе я мог сказать то, что сказал. И Ты сохранишь слова мои в Тайне, даже от ближних Твоих.[3] Милый, спасибо за все. Милый — глубокое удовлетворение для меня от нашей встречи. Знай, что наш Журнал хотел бы *ждать** от Тебя директив. Но если Ты, первый поэт земли русской, не хочешь быть фактическим редактором, мы приемлем Тебя отрешенным. Ибо я, Метнер, Петровский, Киселев считаем тебя *первым** поэтом земли русской. Милый: знай, что Тебя у нас *реально** любят. Милый! Спасибо! Христос с Тобой. Пиши нам, если пишется. Привет дружеский Любови Дмитриевне. Моя жена ее любит.

Боря

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Блок и Белый встретились в ресторане Лейнера 24 февраля. «Сегодня мы целый день провели с Борей»,— писал Блок матери 24 февраля; и в другом письме, от 25 февраля: «В лице Бори есть что-то напоминающее о жизни совершенно другой... Сегодня я получил от Бори еще письмо. Мы говорили вчера 6 часов» («Письма к родным» II, стр. 190 и 193). Ср. запись в дневнике от 26 февраля: «24-го весь день провел с Борей (у Лейнера). Облик Бори, впечатление от него и от его слов. Очень важное сообщение» («Дневник 1911—1913», стр. 83). Белый рассказал об этой встрече в «Воспоминаниях о Блоке»: «Помню еще одну незабвенную встречу с А[лександром] А[лександровичем] в феврале двенадцатого года в Петербурге, в один из периодов, которые назывались в петербургских литературных кругах периодами мрачности А[лександра] А[лександровича], когда его нельзя было увидеть. В этой полосе мрачности он находился, когда мы с женой жили в Петербурге у В. И. Иванова, на „башне". А[лександр] А[лександрович] не виделся в ту пору ни с кем решительно и особенно трудна была ему атмосфера „башни". С В[ячеславом] И[вановичем] он почему-то не хотел встречаться. И я не хотел смущать его покоя, но он сам уведомил меня запиской, которую мне передали тайно от В[ячеслава] И[вановича], что он желает меня видеть, но просит сохранить наше свидание в тайне, дабы не обидеть друзей, с которыми он не видится. Он мне назначил свидание, не помню где, кажется в каком-то третьеразрядном, глухом, никем не посещаемом ресторанчике. И тут мы встретились и провели несколько часов вместе. Этот наш разговор, редкий, но меткий, как все наши встречи этого периода, мне показал, какого друга я имею в лице А[лександра] А[лександровича]. Помню, я ему рассказал все обстоятельства моей так странно складывающейся жизни и все события, бывшие со мной за период от девятого до двенадцатого года, события, определившие мою встречу с Штейнером в мае двенадцатого года. Он слушал меня молча, сосредоточенно, хотя оформление моего пути было чуждо ему. Однако, ядро моих недоумений и запросов было ему и приятно, и близко. До позднего вечера просидели мы с ним и, как заговорщики, разошлись в разные стороны желто-туманной, слякотной февральской улицы. Мы ясно пожали тогда друг другу руки, как „дети России", именно, „как дети страшных лет". Мой скорый после того приход к антропософии, ему чуждой, он понял для меня и за меня, но нисколько не удивился ему,— он был подготовлен к нему теми нашими разговорами» («Записки мечтателей», № 6, стр. 120—121; ср. подробнее — «Эпопея», № 4, стр. 217—238).

[3] Ср. приведенные в предыдущем примечании записи Блока в дневнике («Очень важное сообщение») и рассказ Белого.

239. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<8 или 9 марта 1912. Москва>[1]

Милый, дорогой, бесконечно близкий!

Только сейчас, после возвращения из Петербурга, немного пришел в себя. Москва навалилась множеством неприятностей, и я десять дней только и делал, что распутывал узлы. Бесконечно Ты прав, избегая лю-

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

дей. Редко люди умеют друг другу дарить свою душу: обычно же они требуют себе душу близких. Так и в Москве: в Петербурге мы с Асей вращались среди людей, как иноземцы; и несмотря на всю суету умели сохранять себя; а за десять дней жизни в Москве я совершенно измучился, ибо слишком много людей здесь связаны какою-то роковою цепью; и поскольку сейчас приходится больше отзываться на темное, поскольку всюду видишь ряд нападений, постольку общая наша московская друг с другом связь есть связь в какой-то никому лично не принадлежащей истерике, где источника истерики нет, а все только проявления: уберечься от этого невозможно.

Милый, вспоминаю нашу встречу светло, светло — радостно, радостно: пусть будет и впредь — так.

Едва я приехал, как мне подвалили груду корректур, ряд деловых совещаний, ревизия «Мусагета», сложности в отношении между Кожеб[аткиным] и «Логосом», обиду «Логоса» за наш Coup d'état с журналом (первый № выходит через два дня; второй — через две недели); сложности между 1) «Мусагетом» и «Путем», 2) Рачинским и Метнером, 3) Метнером и «Домом Песни»[2] и т. д. и т. д. + еще ряд печальных известий. Во все это пришлось тотчас войти — нет: бежать, бежать, бежать!

Между прочим: передай Александре Андреевне, что пишу ей, что 1) спасибо за хороших несколько слов, 2) что хотел ей тотчас ответить, но не мог до Москвы, 3) что в Москве закружился, 4) что в довершение всего потерял ее адрес. Милый, напиши мне адрес Александры Андреевны.

Чтоб покончить с внешне-деловым скажу о журнале, что мы от Тебя ждем для второго номера. Номер первый выходит в таком составе на-днях:

I отдел. Слово от редакции. В. Иванов: Мысли о символизме. А. Белый. О символизме. Пяст: О внутреннем каноне. Вольфинг: Лист. Кузмин: Cor ardens.

II отдел. Метнер: «Мусагет». В. Иванов: «Орфей». А. Белый: «Орфей». Ф. Степпун: «Логос». Ophis. Об идее. Cunctator. О журавлях и синице.

Содержание второго №:

I. Алекс[андр] Блок. Бальмонт и польская душа.[3] А. Белый. О символизме. Вольфинг. Об элементах в музыке. Недоброво. О метре и ритме. Бугаев «Ночные часы» А. Блока. В. Иванов. Критика.

II. М. Сизов. Культура. Ф. Степпун. Философия тосканского пейзажа. А. Белый. Нечто о мистике. Б. Яковенко. Прагматизм. Cunctator. Диалог. (И, если хватит места) Б. Садовской. О городе и деревне (диалог).[4]

Предполагаемое содержание третьего, осеннего, номера (выйдет к 1-му сентябрю, 4-ый — в октябре, 5 — в ноябре, 6-ой — в декабре):

1) Нужен непременно А. Блок, А. Белый и В. Иванов — дадут среди лета. Волфинг — даст. Сюннерберг. Искусство вожатый (есть). В. Иванов. Критика.

2) В. Иванов «Дикие колосья» (дописываются). Ophis. Платонизм эпохи возрождения (есть). Яковенко (пишет). Хорошо бы Блока. Cunctator. Диалог (есть). Н. П. Киселев. О книге (пишется). Неллендер. Обзор орфической литературы (есть). Вот предполагаемое содержание 3-го номера.[5] Теперь: милый, видишь до чего сию минуту нам важно иметь Твою статью не потому, что без нее не будет у нас материала, а потому, что ближайший участник, если он не будет во 2-ом номере, то нам будет горько. Итак: условия таковы, что статью ждем со дня на

день: милый, не оставь нас. Если же у Тебя нет ни вышепомеченной статьи («Бальмонт и польская душа»), ни другой какой-нибудь, что ж делать: с горечью мы Тебя напечатаем в 3 номере (осенью). *Это не у меня горечь* *, а у всех нас, мусагетцев.

Но, милый, к третьему № уже Ты дай непременно. Теперь: личная просьба — поговори с Пястом, уговори его за лето приготовить нам статью — какую, это ему будет виднее: через Тебя Пяст входит к нам: он — наш: и потому-то, если он напишет, то мы его печатаем осенью. Передай и мою горячую просьбу ему, чтобы он написал.

Теперь: спрашиваю Твоего совета. Раз Яковенко нам становится ближе (внутренно, вопреки гносеологизму и «Логосу», он — наш), то нельзя ли просить С. Н. Булгакова дать маленькую статейку во 2-ой отдел (о культуре), как и Н. А. Бердяева. В обмене мнений по вопросу о культуре точка зрения «Пути» должна быть представлена, раз представляются точки зрения: 1) «Мусагета», 2) в частности — наша, русская, 3) логосовская. Но не хочу приглашать без Твоего мнения по этому поводу. Конечно Булгако + Бердяев = Булдяев будет в минимальном виде, как и Гессеякенко (Гессен + Яковенко).[6] Они — рама в картине журнала, которого ядро — Ты, я, Иванов, т. е. первый отдел.

Пояснения. Cunctator — я; Ophis — молодой, прекрасный философ, оставл[енный] при университете и вплотную подошедший к оккультизму: знаток Платона, Филона и гностиков. Фамилия его — Топорков. Не суди его по плохим рассказикам и по «Золотому Руну». У нас он представлен философски нам близко и сериозно.

Убеждаюсь все больше: журнал имеет смысл, ибо задача его: взаимное ознакомление и сближение немногих Москвы и Петербурга. Этими немногими в Петербурге считаю: Тебя, Вячеслава, Пяста, Скалдина, может быть, Недоброво, может быть, Сюннерберга, Аничкова. В Москве: Метнер, Яковенко, Топорков, я, Киселев, Петровский, Рачинский—может быть, Булгаков. И еще, кажется, намечается один человек: Дурылин.

Вот, кажется все.

Считаю нужным Тебе все это вкратце сказать, чтобы Ты был o courant**. Очень важны Твои характеристики мной отмеченных Петербуржцев. Если я кого-нибудь пропустил, то дополни мой список. Вообще, что Ты думаешь?

Да, Саша, милый: может быть, Ты бы захотел для 3 номера дать свои мысли о Стриндберге. Стриндберг нам близок очень и очень. Если можешь, скажи о нем: ведь первый отдел допускает все. И не прозвучат, верь, всуе Твои слова.[7]

Милый, как в глубине души поет весна; и какая-то чуется мне свобода; и хочется: Тебя по-детски поцеловать, обнять и сказать: «Будет, будет: не спроста мы маялись, не спроста будем мы маяться и впредь». Пишу Тебе через великую усталость, от множества треволнений и огорчений: ведь небо над нами; и слова небес—те же. И зори,— каждый вечер бывает заря. О, милый!

Саша... Как писать Тебе... Мне трудно: ужасно трудно...

Но прежде вот что, чтобы Ты понял, в чем суть.

«Русская Мысль» надула. Разговоры с Аничковым о новом журнале обусловили то, что я дал слово Вячеславу не решать с романом 1) до разговора с Метнером en trois***, 2) я отклонил реальные разговоры

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.
** В курсе.— Ред.
*** Втроем.— Ред.

а) с Евг[ением] Ляцким [8], b) «Шиповником», с) «Группой писателей». [9] Метнер сказал, что для нового журнала достанет деньги к концу 1912 года. Иванов попросил Метнера обеспечить меня, чтобы я мог роман мой дописывать с совершенным спокойствием и дать его в наш будущий общий журнал (не «Труды и дни»). [10] Редакция бы тогда заплатила бы «Мусагету». Метнер обещал. Я разорвал все разговоры согласно товарищескому слову, данному Иванову (как будущий член редакции члену редакции). Приезжаю в Москву — сюрприз: Метнер говорит, что 1) денег не будет (журнал пролетает), 2) Мусагет получил до сентября вдое меньше, чем ждал, и не может дать аванса под роман, который в 1913 году печатается. Между тем: 1) работать в Москве нельзя, 2) Ася уже дала слово учителю [11], который ее ждет (она страшно горюет). Ко мне на помощь приходит «Путь», заказывая монографию (большую) [12] и дает в рассрочку аванс; но только с середины апреля; на этот аванс можно жить, но нельзя уехать. И мы обречены: безумствовать в Москве, ибо ехать на Волынь [13] неудобно сейчас, а в Бобровку сейчас нам нельзя (все это сложности, о которых долго писать).

Милый: я 5 дней был в отчаянии: жить вдвоем в комнатке, пространство которой 4 шага, где 2 постели, два стола, гравировальные принадлежности, вещи, одежа, книги, груды своих и чужих рукописей, в вечном притоке людей; ходят ко мне—мои, к Асе—асины, к Поццо—его, Наташе — ее и т. д.— с утра до вечера рой людей + московская неразбериха, сложности, Мусагет — ну как тут работать; между тем переговоры о романе я могу вести (надо заново начать его устраивать) лишь по окончанию; на окончание надо 3 месяца. Бельгия для меня стала символом моей трудовой кельи, для Аси — символом окончания ее образования у Данса (ей осталось два месяца); и вот все — рухнуло: мы уехать не можем: арестованы.

Голубчик, я поручаю здесь заложить имение: которое закладываю за 7 тысяч, Недоброво навел соответств[ующие] справки, указал учреждения и к осени я получаю залог в 7 тысяч: это — точно. Тогда — расплачиваюсь с Мусагетом (3 тысячи), с Тобой и спокойно продаю имение, не торопясь пристраиваю роман и т. д.

Милый, а пока: до осени к стыду своему обращаюсь к Тебе с просьбой (да останется она до осени между нами): хочу занять у Тебя в последний раз 350 рублей. Вот для чего: чтобы уехать и приехать; на житье минимум будет, а на проезд нет. А ужасно: из-за 350 рублей протомиться 2½ месяца бесцельно, глупо, без работы, лишить Асю возможности окончить худ[ожественное] образование и все прочее.

Милый ответь: если не можешь выслать, ответь просто: не могу; если можешь, глубокое спасибо — и мы освобождены от сутолоки до осени (из Бельгии вернемся на Волынь). Я Тебе оттого пишу так просто, что знаю, что имение заложено — будет. Но на всю канитель уйдет месяца 3—4. Я здесь поручаю дело адвокату. Сведения о залоге — верные. И потому знаю, что занимаю до осени; и как только получаю залог, выплачиваю сразу Тебе все деньги. Милый, ответь же: если можешь, мы сразу же берем заграничные паспорта. [14]

Ну Христос с Тобой, жду ответа, милый. Не стесняйся отказом: пойму все. Целую.

Твой Боря

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 10 марта 1912».

[2] «Дом Песни» — художественно-артистическая организация, учрежденная в 1907 г. в Москве П. И. д'Альгеймом и его женой, известной певицей М. А. Олениной-д'Альгейм (см. о «Доме песни» у Белого в книге «Начало века», стр. 388—401).

[3] С речью на эту тему Блок предполагал выступить в заседании петербургского Неофилологического общества, посвященном двадцатипятилетию литературной деятельности К. Бальмонта. В протоколах Общества сказано, что речь Блока «не могла быть произнесена по [его] нездоровью» (см. «Записки Неофилологического общества», вып. VII, СПБ, 1914, стр. 56), но на самом деле она и не была написана (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 85,— запись от 5 марта).

[4] Фактический состав второй книжки «Трудов и дней» следующий: А. Белый — «О символизме», А. Блок — «От Ибсена к Стриндбергу», Н. Недоброво — «Ритм и метр», Э. Метнер — «Маленький юбилей», Вольфинг [Э. Метнер] — «Инвективы на музыкальную современность», А. Белый — «Нечто о мистике», Ф. Степпун — «К феноменологии ландшафта», Cunctator [А. Белый] — «О двойной истине», Б. Садовской — «Жизнь и поэзия», Б. Яковенко — «О сущности прагматизма», Чемберлен — «„Моя жизнь" Вагнера.— Mi-la. Ответ эмоциональной эстетике».

[5] Третья книжка «Трудов и дней» составилась из следующих статей: Ю. Верховский — «О символизме Баратынского», К. Эрберг — «Искусство — вожатый», Вольфинг [Э. Метнер]—«Инвективы на музыкальную современность», Югурта — «Логика и риторика», М. Седлов — «Кремль», Cunctator [А. Белый] — «Метафизика», Р. Демель — «Книга и читатель», А. Сидоров — «В защиту книги».

[6] С. Булгаков и Н. Бердяев к участию в «Трудах и днях» привлечены не были.

[7] Блок предполагал к августу 1912 г. написать для «Трудов и дней» статью о Стриндберге (см. «Дневник 1911—1913», стр. 104), но намерение это осталось невыполненным.

[8] Е. Ляцкий состоял членом редакции журнала «Современник».

[9] Издательское предприятие, оставшееся неосуществленным.

[10] Вяч. Иванов выдвинул проект организации журнала «Петербургский вестник» — специально для того, чтобы напечатать в нем «Петербург» Белого.

[11] Граверу Дансу, у которого (в Брюсселе) училась А. А. Тургенева.

[12] О поэзии Фета (не была написана).

[13] То-есть, в Боголюбы, где жили родные А. А. Тургеневой.

[14] Как видно из следующего письма, Блок выслал Белому нужную ему сумму.

240. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

4/<17> апреля <1912. Брюссель>

Дорогой Саша,

Наконец-то пишу Тебе. Все эти дни стремился Тебе писать. Все эти дни, т. е. около месяца, сложность за сложностью. Еще раз спасибо за помощь, которую Ты мне оказал: благодаря нее мне удалось избежать много неприятных, унижающих душу минут.

По приезде в Брюссель не писал, потому что никак не нашли себе помещения. Наконец нашли и свалились с Асей в 40 градусном жару: у нас сделались сильнейшие бронхиты. И вот еще 8 беспомощных дней: только теперь выкарабкиваемся из болезни.

Милый, Христос воскресе! Прошлую пасху встретили мы в Иерусалиме при звоне колоколов у храма гроба господня. Нынешнюю пасху встретили в жару и недугах.

Был ли Ты в Брюсселе? Если был, то наверное знаешь старый, старый собор: S-te Gudule. Вот на этой-то площади мы живем. Наш адрес: Belgique. Bruxelles. Place S-te Gudule 25.

Брюссель мне нравится: здесь есть старая, старая площадь Grande Place, состоящая сплошь из домов XVI столетия с ратушей и другими оффициальными домами. На этой площади базар цветов. Теперь всюду множество белой сирени. Поражает меня и Асин учитель: Dance. Это — великолепный, ископаемый старик, пользующийся уважением и известностью в Бельгии. Ему уже 86 лет: у него длинная белая борода и белые всклокоченные волосы; гравирует он великолепно. До 30 лет он был простым рабочим и только с 30 отдался гравюре; и вот 56 лет с той поры с неуклонным упорством трудится.

Мне здесь тихо: кажется, буду работать: набегает роман; надо его в 3 месяца кончить. На-днях поедем в Брюгге, от которого недалеко.

В Берлине, в Кельне и здесь любуюсь старыми немцами и фламандцами. Как-то судьба посадила меня на них (итальянцев мало я видел сравнительно): вероятно оттого-то я и люблю так старых немцев. В берлинском музее напал на Штригеля: Штригель, Вольгемут и Грюневальд — три Гиганта: я удивляюсь, что о них мало говорят, мало их знают. О Грюневальде писал только Гюисманс. Видел множество Ван д'Ейков и Лука Кранахов. Лука Кранах не утомляет никогда. Насколько его Адам и Ева благороднее Ван-дейк'овских.

Знаешь ли Ты фламандцев Боша и Бутса? Странно напоминают они химеристов модерн.

Милый, у меня к Тебе просьба: вчера получил номер первый нашего журнала.[1] Теперь мне важна всяческая критика его. Напиши мне откровенное впечатление Твое от целого и от частей: в чем полагаешь Ты центр его? Куда этот центр следут передвинуть? Буду Тебе ужасно благодарен. Вчера получил весть от Ахрамовича, что Ты статью для № 2 прислал: как Тебя благодарить, милый! Это «От Ибсена к Стриндбергу»? Спасибо.

Буду на-днях писать Тебе подробно и много, а пока прощай: пиши о себе. Пришла наша хозяйка, пришла непонимающая ни по-каковски прислуга, и я не могу писать.

Остаюсь любящий Тебя крепко.

Борис Бугаев

От Аси привет.

[1] «Труды и дни».

241. БЛОК — БЕЛОМУ

<Черновое>[1]

< $\frac{17}{<30>}$ апреля 1912. Петербург>

Первый № сразу заведен так, чтобы говорить об искусстве и школе искусства, а не о человеке и художнике. Этим обязаны мы Вяч[еславу] Иванову. Мне ли не знать его глубин и правд личных? Но мне больно, когда он между строк полемизирует (вспоминаю Твои слова о полемике) с... Гумилевым[2], когда он восклицает о κάϑαρσις'е[3] тем же тоном в 1912 г., как в 1905; и особенно, когда он тащит за собой Кузмина, который на наших пирах не бывал... Какие-то «кони, стонущие с нежным ржанием»,—ведь это мерзость.[4]

Впечатл[ение] от ст[атьи] В[ячеслава] И[ванова], несм[отря] на все ее глубины,— душное и тяжелое. Твоя статья[5], в большой части посвященная ограничению значения «символической школы», которую Вяч[еслав] проповедует упорно и, я сказал бы, без музык[ального] слуха (помнишь, ты говорил об отсутствии музык[ального] слуха у Мережк[овского]? — Рядом с этой статьей В[ячеслава] И[ванова],— и фельет[он] М[ережковского] — симфония),— Твоя статья производит впечатление форточки, открытой в накуренной комнате; но форточки узкой, п[отому] ч[то] и Ты говоришь, закрыв лицо. Ведь для вочеловечения сходимся мы в «Т[рудах] и Д[нях]», а все, что есть пока в перв[ом] отд[еле], могло бы быть и в «Аполлоне». 1 № — № В[ячеслава] Иванова: над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях, он с приятностью громыхнул жестяным листом,— только так я слышу это режущее мне ухо восклицание о κάϑαρσις'е. И поэтому бросаюсь я от этого жестяного грохота к умной и страстной статье Метнера[6],—

пускай на тему, далекую мне: за ней я вижу это печальное, человеческое лицо, гонимого судьбой. Оттого-то я сам хочу говорить о Стриндберге[7] (кстати, Пяст пишет об Э. По, глав[ным] обр[азом], каж[ется], опираясь на Σύρικα и биографию).

Всю кашу заварил В[ячеслав] Иванов; можно повернуть оптимистически и сказать: Вяч[еслав] И[ванов], грозно нападая на кого-то, потрясает манифестом о символ[ической] школе,— и горе тому, кто не с ней; Ты всячески стараешься свести эту «школу» к minimum'у: она, в к[онце] к[онцов], только «внутренний канон»; наконец, Пяст объясняет, что внутр[енний] кан[он] есть... $2 \times 2 = 4$.[8] Завершив, након[ец], как бы по необход[имости], этот круг, созданный не потребностями «Мусагета», но Ивановским желанием властвовать над какой-то страной во чтобы то ни стало, даже при отсутствии поданных, — «Т[руды] и Д[ни]» переходят к делу в статье Метнера; здесь появляются имена, за именами встают лица, а лица освещаются вспышками человеч[еского] духа, при свете которых открываются глуби времен; это и есть, я сказал бы, немеркнущий свет «общих начал», в котором мы все, разные,— одно, которые связуют нас так, как не свяжет никакая «символическая школа» в мире.

Раз «Т[руды] и Д[ни]» — «внутр[енний] двор казармы», из ворот кот[орого] должны выйти готовые к бою солдаты,— это стезя мужественная[9]; а у В[ячеслава] И[ванова], надо, каж[ется], понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его женский (о личн[ом] отн[ошении] к нему— «роман», а не дружба, не любовь).[10]

[1] Печатается по рукописи дневника Блока (запись от 17 апреля 1912 г.: «Наконец, отвечаю Боре о „Трудах и днях"»,— далее следует текст письма).

[2] К этому месту в рукописи Блока имеется сноска: «Не из письма: утверждение Г[умиле]ва, что „слово должно значить только то, что оно значит", как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Ив[анова] и даже, как желание развязаться с его авторитетом и деспот[измом]». Блок имеет в виду в данном случае статью Вяч. Иванова «Мысли о символизме», помещенную в первой книжке «Трудов и дней». Полемику с Н. Гумилёвым — лидером нарождавшейся в то время «школы» акмеистов — можно усмотреть, в частности, в следующих строках статьи Вяч. Иванова: «Символизм умер? — спрашивают современники. Конечно, умер! — отвечают они же. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на нашей тризне,— что смерти нет».

[3] Заключительные слова статьи Вяч. Иванова таковы: «Истинный символизм... ставит себе цель: освобождение души (κάθαρσις, как событие внутреннего опыта)».

[4] В первой книжке «Трудов и дней» была помещена статья М. Кузмина «„Cor ardens" Вячеслава Иванова», заканчивающаяся следующим образом: «Поэзия Вяч. Иванова — звук труб и флейт, шум крыльев, бег белых коней, которые стонут с нежным ржанием только в час жертвенной тишины...»

[5] «О символизме» («Труды и дни» № 1, стр. 10—24).

[6] «Лист» (напечатана за подписью: «Вольфинг»). Ср. в письме Блока к матери от 24 [?] апреля 1912 г.: «В Трудах и днях просмотри хоть самую „понятную" статью —...Метнера» («Письма к родным» II, стр. 196).

[7] См. прим. 7-е к письму № 239.

[8] См. статью В. Пяста «Нечто о каноне» («Труды и дни», № 1, стр. 25—35).

[9] О значении для Блока стриндбергианской идеи «мужественности» см. во вступительной статье.

[10] Непосредственным продолжением наброска этого письма в дневнике Блока служит следующая запись: «Соображения попутные (не из письма): В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. „Символическая школа" — мутная вода. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы („Новый Путь", „Весы") боролись с умирающим плоско-либеральным псевдо-реализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадаем под знак вырождения. Для того, чтобы принимать участие в „жизнетворчестве" (это суконное слово упоминается в слове от редакции „Трудов и Дней"); надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы» («Дневник 1911—1913», стр. 96—97).

242. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<1/14 мая 1912. Брюссель>[1]

Милый, бесконечно дорогой друг!

Давно уже мысленно говорю я с Тобою. Оттого-то я не писал. Не отелось писать наскоро, путать внутреннее со слепым и случайным. Да кроме того: мы с Асей переживали «события странные». О них не тако легко написать.

Пусть письмо это останется между нами: тогда опишу Тебе нашу рюссельскую эпопею — развязка которой произошла в Кельне. Но прежде, чем подступить к этой эпопее, скажу Тебе о Рудольфе Штейнере, то он есть, каким является в книгах, каково отношение у нас сложилось нему в Москве, ибо Штейнер — герой эпопеи нашей.

Если взять списочек книг, выпускаемых теософическим обществом, де наряду с перлами вроде «Свет на пути», «Багавад-Гитой», опулярными, иногда интересными, но невысокого полета книжечками изант и Ледбитера, ученым-филологом теософом Мидом и пр., попадаотся и книжки Р. Штейнера (на русском языке имеются «Путь к посвящению»* и «Феософия» — обе не интересны для нас с Тобою); рочтя эти книжки, скажешь невольно: «Или это рядовой теософский пиатель, или это сознательный педагог, миссия которого растолкать спячку емецких „тетушек", прикрывающий свои знания общетеософскими рюизмами, или это эстетически безвкусный человек». Но сказав так, задумаешься: иные места книг сквозят огромной близостью (так среди пустыни бывает иногда заброшен едва заметный прелестный цветочек).

Несколько лет тому назад я прочел его книгу «Мистерии христианства и мистерии древности». И, прочтя, сказал себе: «Вот скучный человек». Сказал и забыл. Тогда Штейнер впервые оявился на теософском горизонте; с ним меня познакомил некогда I. Н. Батюшков (помнишь — смешной человечек с огромным носом: не то рузинский князек, не то индусский святоша)...

Несколько лет спустя я слышал в одном кружке чтение ремингтонированной лекции какого-то теософского автора; лекция была главой эзоерического курса; кружок был кружок избранных. И представь: голова меня закружилась от бури света, от молний какого-то ясновиденья; и все написанное было каким-то нашим, родным. Когда я спросил, кто автор, мне сказали: «Штейнер» (впоследствии этот отрывок я встретил скучном и разбавленном виде в его книге «Geheimwissenschaft»...**).

Один и тот же человек, писавший для немецких тетушек, написал и вещи, которые не снились Вл. Соловьеву. С тех пор имя Рудольфа Штейнера прозвучало иначе. В то время я был враг теософии (московкие теософы с Павлом Николаевичем Эртелем и госпожей Писаревой во лаве набили мне оскомину: осластили надолго теософию какою-то гниоватою патокой — в теософских домах прилипали от сладости кресла моему сюртуку, а рука сжималась в кулак). В то время я не хотел никому признаваться, что Штейнер глубоко вошел в мою душу, ибо Штейнер был в моем представлении зауряднейшим теософом. Но с той самой поры я старался как-то украдкою (от себя и других) доставать интимные лекции Штейнера для немногих; это была всегда эссенция, настоенная на звездах и горном воздухе: из одной капли такой эссенции, разве-

* Ася говорит, что из «Пути к посвящению» все-таки кое-что при умении подступить выловить можно.

** Тайное знание.— Ред.

денной ведром воды, и состоят книги Штейнера, предназначенные для широкого чтения. Я стал, где можно, собирать о Штейнере сведенья: и вот что узнал; я узнал, что Штейнер стал во главе теософского движения, реформирующее самое теософ[ское] движение; он-де переводит индуизм и браманизм официальной теософии на новый язык, выдвигая Средние Века и розенкрейцерские истины; словом, теософию акцентуирует в христианстве он, которому придает особый рыцарский мужественный отпечаток; что в Теос[офском] Об[щест]ве на него косятся, что за ним всюду следует экстренный поезд германских тетушек. И т. д. Тенденция Штейнера показалась мне симпатичной (конкретизировать тесофию): теоретически я себе тогда выделил Штейнера из плеяды теософских деятелей.

Но все это внимание мое было каким-то случайным: помню в Мюнхене, в роковой для меня 1906 год, я случайно встретил там Минцлову, с которой был едва знаком; она звала меня тогда посетить лекцию Штейнера: я прозевал вечер и, конечно, на лекцию не пошел: Минцлова в то время была близкой его ученицею. По возвращению в Россию чаще и чаще приходили вести о Штейнере: то тот, то другая возвращались из Германии, полоненные им. В Москве где-то под боком с символизмом приютилось какое-то странно-нелепое гнездо штейнерианок и штейнерьянцев. По Москве проходили все чаще, какие-то самые последние сведения о предметах высоких; в астральной атмосфере Москвы астральные газетчики продавали «Вечерние приложения Летописей Мира». Там были и сплетни о революции, и сплетни о символизме, и сплетни о Конце Мира. В Москве завелись «Летописи Мира». «Летописи Мира» издавались в астральной типографии московской секции штейнеровских «тетушек». Эти приложения всегда было интересно читать (Штейнер не виноват тут).

Вот...

С 1909 года, когда я узнал, как близко проходит линия Штейнера от всего того, что стало для меня «Светом на пути», я повернулся к нему с глубоким благоговением. Я понял, что то, что эсотерически для меня «Чаемый Свет», то свет и для Штейнера: я узнал, что он живет в самом свете, а все его дело — все штейнерьянство — необходимое Германии, есть педагогика, приготовительный класс, без которого нельзя подойти ни к чему; в то время, как Штейнер уподобляем пушкинской поэме, дело Штейнера — азбука (не научившись читать вообще, нельзя читать Пушкина). И вот, зная, кто он и что он, я не присоединился к штейнерьянству, к отблеску отблеска Света, ибо не отблесков отблеска ждал я себе, а... хотя бы отблеска.

Штейнерьянство — одно; немногие, окружающие Штейнера среди сотен поклонников и учеников — другое; сам Штейнер — третье. Я уже знал, что из всех раздающихся голосов в Европе, которые должно ловить и нам, единственный и важнейший — его голос. Но я ждал другого голоса. И о Штейнере я молчал.

Биография Штейнера. Когда-то ученик Геккеля, натуралист; 20 лет был женат на вдове (мегере) с многими детьми; писал и в газетах фельетоны; был школьным учителем. 20 лет молчал, ничего не сказал, ничего своего не написал. И вдруг открылся (20 лет молчания были реально проходимым Путем). Не желая пока дробить теософического движения, условно присоединился к теософам: данное ему знамя укрыл до времени теософским флагом; но, став условно и временно вообще теософом, реально сдвинул теософию в Германии. Говоря о теософии вообще, следует помнить, что теперь есть две различные теосо-

фии: теософия Блаватской и Безант, передающей мудрость богов; и теософия Штейнера, передающая мудрость иных... Обе теософии пока самым внешним образом для внешних сплетаются (блок кадетов с прогрессистами в точке предвыборной агитации).

Таков Штейнер.

С 1910 года по многим причинам, о которых Тебе писать в письме не могу, Штейнер стал со всеми нами в особенно резких и интимных контактах: одни слепо бросились к нему, как Эллис, другие не слепо идут с ним, как Волошина, третьи украдкой совершают к нему паломничества, четвертые, как Рачинский и Московское Религ[иозно]-Философское О[бщест]во, уже два года смотрят на него, как на грядущую опасность (Булгаков сказал мне как-то: «Неокантианство, это — что: подступает уже настоящая бездна — Штейнер). С осени 1911 года Штейнер заговорил изумительнейшие вещи о России, ее будущем, душе народа и Вл. Соловьеве (в России он видит громадное и единственное будущее. Вл. Соловьева считает замечательнейшим человеком второй половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что закаты с этого года переменились: если бы это не был Штейнер, можно было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и «2-ую симфонию»). В 1911 году в Москве была настоящая Штейнериада: pro и contra Штейнера не раз колебали самое существование «Мусагета».

Пишу все это, чтобы Ты понял, что развязка (или, наоборот, завязка) со Штейнером кармически для меня назревала давно. Я знал, что встречи с ним не миновать (характера встречи не представлял), но думал, что это будет — через год, через два. Уезжая из Москвы, я ехал работать в Брюссель.

Тут-то и начались у нас с Асей «приключения странные».

Вот — неправда ли — пространное предисловие; в заключении прилагаю портрет Штейнера, выдранный из книжки (плохенькое воспроизведение); все-таки портрет этот говорит: рассмотри его на досуге.[2]

С прошлого года у нас с Асей иногда выпадают особые полосы.

«Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
«Кто-то здесь... Мы вдвоем...»[3]

Или: вернее — втроем.

Это было в Монреале, в Сицилии (местность, где Вагнер закончил «Парсифаля»): одно странное, благодатно мне говорящее лицо я увидел в трамвае... Потом полосы гонений (каирская страда, когда в Москве, то — японские и татарские рожи на улицах)... Прошумел особенно Иерусалим... Все лето на Волыни гремела на дороге невидимая телега; стуки, искорки, топот босых ног и шопот все лето не давал спать нам в дому. Потом в Расторгуеве раз что-то было. Было что-то особое и в Бобровке. Словом, то — ожидание, то — нападение; и почти всегда душный химерный дым всюду в обществе. Мы из Москвы спаслись бегством (и огромное спасибо Тебе!) буквально.[4]

Прибегаем в Брюссель и сваливаемся оба; у обоих жар 40°... Я читаю Асе одну рукопись, говорящую близко к тому, что говорит Штейнер. Оба засыпаем — оба видим один сон: зала, по зале проходит Штейнер, окруженный толпою; у Штейнера другое, не штейнеровское лицо; вот что мы видели оба, я более детально не видел: Ася видела все подробнее. Она видела, что Штейнер не Штейнер, а какой-то

другой с островыраженными чертами лица; через мгновенье лицо его сменилось другим лицом, а голос сказал: «Что Вы все ищете Штейнера, когда он тут». Это тут звучало, как: «Тут — в Брюсселе»... Когда мы проснулись и пересказали друг другу сны, то мы не удивились: общие сны уже не раз случались у нас. Удивительно прозвучал лишь невыразимый в словах темп сна. Скоро мы его вовсе забыли. Этот сон был в первые дни русской пасхи. В эти дни (по письмам из Москвы я узнал впоследствии) в Гельсингфорсе двое из наших встречали со Штейнером русскую пасху, разговлялись вместе (в Гельсингфорсе были лекции Штейнера); в эти же дни тайно от немцев (чтобы их не обидеть) Штейнер говорил долго о значеньях и судьбах России кучечке русских, приехавших к нему из Москвы; о содержании лекции писали мне, что его передать невозможно, что «будущего России нельзя ждать, что это — чудо, можно лишь его призывать». И еще вот его слова: «Она (Россия) так долго плакала детскими слезами, и еще ей предстоит этими же слезами столько же проплакать...» С этими словами он подошел к окну, взял портрет Вл. Соловьева и долго в задумчивости смотрел на него... В эти же дни мы видели его во сне... После нашей болезни и совершенно на время забытого сна мы были на трех Вагнеровских спектаклях с байретскими исполнителями («Лоенгрин», «Тристан», «Валькирия»). И дни были окрашены Кольцом. Однажды Ася возвращается от учителя своего, Данса, и говорит мне, что в трамвай (по дороге к Дансу) к ней вошел человек с изумительно-напряженным и как-будто знакомым лицом, где-то виденным, и упорно всю дорогу особенно смотрел на нее; что острота его взора наполнила весь трамвай совершенно особым напряжением; когда он вышел из трамвая, то повернулся и смотрел на нее все время, пока трамвай уходил, точно ждал, что и она за ним выйдет; Ася сказала, что было мгновение, когда она чуть не заговорила с незнакомцем (незнакомцу было лет пятьдесят). В этот вечер было столь сильное, напряженное чувство ожидания; и прошла Светлая радость; и было вновь:

«Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
«Кто-то здесь: мы — втроем...»

Это был в четверг. Четверги же для меня звучат по-особенному. С 1910 года (не могу сказать почему). И потом четверг наиболее благодатный день — день сафира и планеты Юпитера.

Следующие дни (мы позабыли об Асиной встрече) мы почему-то на всякий случай написали в Москву А. С. Петровскому узнать, где Штейнер летом в Германии, чтобы, возвращаясь в Россию, проездом послушать его публичную лекцию. И, отославши письмо, забыли о нем.

Ровно через неделю, опять в четверг, мы оба ехали к Дансу обедать (трамвай пересекает к нему весь город и углубляется в пригород). Посредине дороги в трамвай входит человек лет пятидесяти — я увидел лишь его огромные, нестерпимо сверкавшие глаза, властный вид, огромный рост и седеющую голову (он был бритый), и точно электричество прошло по телу. Смотрю на Асю и вижу, что она видит; и что она, как я. Господин сел против нас и до неловкости все время не спускал глаз с меня и Аси. Через минут 5 он вышел, и мы видели, как ключом он открывал дверь своего дома, при этом он оглянулся на нас и словно приглашал нас в дом; номер дома нам бросился в глаза: 79-ый. Я сказал Асе только: «Было? Да?». Она ответила: «Да, да». Но господин этот был другой, не тот, кого видела Ася, но того же типа, того особого выражения; опять Асе показалось, что она его видела. Вечером этого

дня, четверга, опять было какое-то ожидание, и прошла Светлая радость, и было вновь:

«Лишь забудешься сном...» и т. д.

В эти минуты, Ася вдруг вскрикнула: «вспомнила! эти два лица я видела во сне: они мне подставлялись вместо Штейнера и о них голос сказал: „Что вы все ищете Штейнера, когда он — тут (т. е. в Брюсселе)". Замечательно то, что второй господин сошел с того места, где четвергом ранее вошел первый...» Все это было слишком значительно и слишком не иллюзия. Точно нам делали знаки, звали и ждали лишь ответного отзыва. Мы решили, что отзыв должны мы подать; и — вот безумие — написали письмо по номеру таинственного дома с надписью «A Monsieur».* В письме мы просили, чтобы они, если неслучайно было их прохождение мимо, в определенный день поставили в окнах дома цветы, что тогда мы откроем наш адрес и явимся прямо.

Вечером на другой день мы пошли бросить письмо в ящик для писем дома № 79-ый. В середине дороги хватились письма: забыли. Все же мы решили рассмотреть улицу, дом. Входя на улицу, снова все стало как во сне: напряженно до невозможности, на улице показались две какие-то отвратительные старухи с особым выражением спин. Подошли к дому: дом старинный, барский, строгий: на двери никакой фамилии. Постояли под дверью — прошли дальше, перешли улицу к дому наискось, где Асе переделывали шляпу: когда выходили от шляпницы, то я ясно видел, что дверь дома раскрыта и на нас с порога смотрит почтенный лакей, точно следя, где мы были; но когда мы взглянули на него, он закрыл дверь; проходя мимо двери, мы увидели, что на огромные окна упали сверху ставни и дом стал со слепыми окнами. Что-то нас удерживало в этом месте: мы тихо, тихо стали спускаться вниз по улице: мимо нас тогда проехала карета — в карете сидела седая старуха с чудесным лицом — на груди ее был старинный русский крест... Спустившись немного ниже, мы не в силах были уйти и опять повернули к дому — из-за угла стремительно выбежал японец с отвратительным лицом, и едва не наткнулся на нас: точно он нас хотел спугнуть, отогнать; почти тотчас же от дома к нам — мы увидели — медленно поплелся прекрасный старик с таким добрым и ласковым лицом (мы не видели, откуда он взялся) и внимательно оглядев нас, пошел тихо за нами. Чтобы проверить, следит ли он за нами или нет, мы остановились у магазинной витрины; старичок (бритый, как те двое) остановился через витрину и стал бросать на нас взгляды. Мы пошли к нему, он пошел впереди нас, но так медленно, чтобы мы обогнали его: мы замедлили шаг, так что теперь все спуталось, и нельзя уже было сказать, кто за кем идет, и кто за кем следит. Наконец мы пошли с ним почти рядом. Стало невыносимо: оставалось или тотчас уйти, или подойти к старичку и сказать: «Вы что? Вы за нами?» Согласись, это было бы уже сплошным безумием, и видя, что Ася сейчас это сделает, я схватил ее за руку и стал тащить на противоположную сторону улицы. Мы улицу перешли. Перешел и старичок и опять выжидательно посмотрел на нас. В это время подошел трамвай, и я увлек в него Асю: старичок в трамвай не сел (хотя все время, как мы, стоял в нескольких шагах на рельсах). Трамвай точно оторвал нас насильно от странного места. Едва проехали ту улицу, как на площади (где остановка трамвая) мы увидели того японца с совершенно-трупно позеленевшим лицом: он стоял и кого-то искал глазами (не нас ли?); мимо него прошел наш трамвай, но японец нас не-

* Господину.— Ред.

видел. Все эти 25 минут (стояния и хождения под окнами дома) мы были точно во сне и очнулись на нашей площади глубоко взволнованные и усталые. Сумма всего этого — могла ли быть случайностью? Мы поняли, что игра, догадка уже переходит в нечто и следует перейти какой-то Рубикон, сделать жест навстречу зовущей ноте, то-есть, письмо отправить.

Но на следующий день все было столь серо и прозаично: мы проехали мимо дома: ничего... Мы решили подождать, ибо что-то говорило нам — в день представления «Гибели богов» будет продолжение тайны.

В день «Гибели богов» вдруг получаю два письма: 1) от Эллиса из Берлина, 2) от Петровского. Эллис — медиум — пишет мне почему-то: «Твой час пробил» (до этого 4 месяца мы не переписывались). Петровский сообщает ряд адресов штейнеровских штабов, разбросанных по разным городам Германии и пишет между прочим (письмо пришло 4-го мая нов[ого] стиля), что 6, 7 и 8 мая Штейнер в Кельне и сообщает адрес лица, могущего указать на место Кельнской Ложи (Кельн же от Брюсселя в нескольких часах).

Сначала мы решаем, что надо кончить с домом № 79, и что потом, летом поедем к Штейнеру (мы ждали почему-то свидания в театре на «Гибели богов». Но в театре ничего, никого: только — Вагнер, Вагнер и Вагнер; и — гибель богов). Но надо дальше: нельзя же, чтоб Валгалла сгорела!! На следующий день, 5-го мая, с неопущенным письмом в кармане мы проходим в ресторанчик обедать. И вдруг становится ясным: «Кто же во всей Европе, кроме Штейнера, сумеет рассказать об нашем общем сне, двух господинах, о том, опускать или не опускать письма в почтовый ящик дома № 79-ый. К тому же: только Штейнеру я мог поставить ребром вопрос об одном недоумении, в котором я нахожусь ровно 17 месяцев...» В $2\frac{1}{2}$ мы решаем ехать в Кёльн; в $3\frac{1}{2}$ берем билеты. В пять — уезжаем. В 11 ночи мы в Кельне с нелепой мыслью добиться свидания с Штейнером, не будучи лично знакомыми, не будучи членами Ложи. Свидания же назначаются им даже членам Ложи с большим трудом: надо сперва пройти через канцелярии бесчисленных «старух», окружающих Штейнера. Я же к тому едва-едва могу три слова связать по-немецки, а разговор должен быть бог знает о чем.

Согласись, это — безумие. Но раз приехали в Кельн, надо пробиться к Штейнеру.

Продолжаю.

День грозовой, душный: в окнах громадный, кружевной Кельнский собор. Выходим, берем извозчика.— проезжаем по берегу Рейна (за день мы видели, как дочери Рейна просили у Зигфрида рокового кольца: вот он — Рейн): становится жутко. Разыскиваем подъезд, звонимся: выходит старушка-скорлупка — бледная, тощая «тетушка», но с хорошими глазами. Мнемся — передаем письмо. К нам выходит стареющая дама и говорит на чистом русском языке: «Вы — к доктору? Вы из того московского кружка, который» и т. д. Оказывается русской М. Я. Сиверс, секретаршею доктора, много лет безотлучно находящейся при нем. «Подождите»... Ждем. Выходит Сиверс и говорит: «Доктор, хотя вы и не члены Ложи, в виде исключения просит Вас через два часа на заседание Ложи. Свидание же доктор Вам даст после — сегодня или завтра»... Через два часа возвращаемся: комнаты полны народом; нас вводят в удлиненный зал темносинего цвета: всюду на дверях и окнах синие занавеси; впереди возвышение; в стенном углублении громадный крест; на нем — венок из красных роз ⊕; на столе —

громадный букет из тех же роз, наверху золотой знак ✡ и инициалы *лозунга*. Зал наполнен «*тетушками*» и господинами; мелькают *очень значительные лица*; большинство же — «тетушки».

Мы втискиваемся и садимся у боковой двери. Ждем. Занавес двери раздвигается, но комната за занавесью пуста: сейчас войдет Штейнер. Меня почему-то охватывает страшное волнение, беспокойство — точно кто-то насквозь видит, поворачиваюсь к двери и вижу на минуту мелькнувший *край щеки какого-то лица* — *но край щеки сквозной, световой* и знаю, что это Штейнер, но *край щеки лица* уже скрылся (после Ася, которая все время глядела в дверь, мне сказала, что в двери показался на мгновение Штейнер, которого и она увидела сквозным, световым (в буквальном смысле), посмотрел на нас — в это время и я ощутил необъяснимое волнение — и скрылся, так что я увидел лишь *край щеки*.

Первое появление Штейнера для обоих нас было *световым явлением в буквальном, а не переносном смысле*: но световое явление скрылось...

Минуты через 3 вышел Штейнер (уже не световое явленье), маленький, сухой, остроотточенный, с отпечатком выражения, виденного нами у господина в трамвае (такой же, какой на прилагаемом снимке, но — лучше), взошел на кафедру и стал говорить; что он говорил — об этом я мог бы исписать 10 страниц (но всего не напишешь). Говорит Штейнер зло, сухо, басом, иногда начинает кричать, иногда бархатно петь, но говорит так, что каждое слово извивается неизгладимым значком в душе твоей. Все, кого я когда-либо слышал, щенки по сравнению со Штейнером в чисто внешнем умении красиво говорить, иногда Штейнер кидается ладонями на слушателей, и Ты от жеста ладоней получаешь почти физический удар по лицу. На лице его разрывается лицо, оттуда смотрит другое, чтобы в свою очередь, разорвавшись, высвободить третье лицо.

В течение лекции передо мной прошло десять Штейнеров, друг из друга вышедших, друг на друга непохожих, но пронизанных чем-то Единым: в течение лекции он был и испанцем, и Брантом, и католическим кардиналом, и школьным учителем, и северным богатырем. Сила и властность его взора такая, какой опять-таки *я ни у кого не видал*. Вокруг него — световые пучки; на груди плавает световое облако, изменяющее цвет: мы с Асей видели перемену цвета в одно и то же мгновение. *Аура* его невероятна и почти видна всегда, а во время напряжения речи становится ослепительной (я не знаю, видишь ли Ты ауру — я стал уже более году видеть по временам). В лице безмерность часто человеческого страдания, смесь нежности и безумной отваги.

Таково было первое впечатление.

После лекции подходим к Сиверс: «Когда же Доктор нас примет?» — «Ах, знаете ли, не сумею сказать»... — «Но мы приехали нарочно к нему из Брюсселя: нам необходимо его видеть...» — «Приехали для свидания с ним десятки лиц, а он в Кельне — три дня: не знаю, успеет ли Доктор повидаться с вами... Будьте сегодня вечером на публичной лекции...» Мы уходим, как в воду опущенные.

Вечер. Старинная зала: на стенах картины. Шум, гам—сотни народа. Мы сидим — случайно опять у боковой двери. Опять ощущаю волнение: поворачиваюсь к двери — из полуоткрытой двери на нас смотрит Штейнер; но когда я посмотрел на него, боковая дверь закрылась — Штейнер скрылся, но мгновенье спустя выходит из двери какая-то дама, пробирается через ряды, садится рядом с нами на пустом месте и говорит нам: «Доктор вас ждет завтра у себя — в два часа дня».

Через минут пять — звонок: начинается лекция. Тема ее: «Христос и XX век».

<. . . . .>

Вечером после лекции сидим в кафе и пьем пиво; музыка играе вальсы; по электричеством освещенной улице Кёльна хлещет дождь гремят пролетки. На следующий день утром зашли в собор — долг молчали; оттуда — к Штейнеру. Дважды звонились: никто не отпирает ждали — ждали. Вдруг за спиною шаги; оглядываемся — и лицом к лиц сталкиваемся со Штейнером: спускается с верхнего этажа вежливый сухой, немного сердитый и точно проглотивший палку; с ним Сиверс — переводчица для нас. Попросил войти. Сел — сухой, злой, точно проглотивший палку.

Самое главное, что было за 2 года, изложил в 15 минут, точно проче деловое прошение, обращенное в N. N. Департамент. Он, точно Директо N. N. Департамента, слушал,— сухой, злой, точно проглотивший палку

Потом так же деловито заговорила Ася о сне, встрече в трамвае и — как же дальше? Говорил долго: когда речь зашла о господина в трамвае, вдруг ласково улыбнулся и чуть-чуть подмигнул, будто зна не удивился, но о господинах в трамвае — ни звука... Проглоти будто и не говорили... Смысл слов: «Русская народная душа бесконечн глубока, но русские люди не доросли до русской народной души — ни какой выправки, все только теоретизируют — их бы в ежовые рукавиць воинскую повинность отбывать: еще через несколько лет будет да России выразитель души народа, русский Учитель, а пока — руки п швам и учиться азбуке!» Вот смысл слов, но чем более говорил, те добрей становился, и старческие морщинки змеились вокруг глаз. «Вы ничему, никому не измените, если приедете ко мне в Мюнхен в июле поживете с нами, и если вам по душе — оставайтесь на августовски курс. А там — видно будет»... Дал адрес. На прощанье ласково улыбнулся невыразимо-прекрасной улыбкой, а Асе как-то особенно подмигну (она маленькая и выглядит почти девочкой), будто хотел с ней по играть — будто маленький козлик, собирающийся боднуться.

Вечером опять лекция в Ложе: опять удивительности. На друго день мы уехали в Брюссель. Приехали в 6. А в 7 были на чествовани Метерлинка: Метерлинк седой болван—Слон Слонович, таким показалс после Штейнера.

Ну, конечно: мы едем в Мюнхен отбывать «воинскую повинность» без измены чему бы то ни было.

Вот, милый друг, не письмо, а сухой объективный доклад Тебе того что было с нами в Брюсселе и Кёльне.[5] Почему-то именно с Тобой хоч поделиться. Что Ты на все это скажешь?

В то время, когда писал это письмо, приходит Твоя статья «О Ибсена к Стриндбергу». Статья прекрасна и значительна: прочт статью, я обрадовался, что написал то, что написал.

Пиши нам, милый, в «Труды и Дни». Первый номер убог — н да выправим.

Уже 6-й час утра. Изнемогаю от сна. Горячо целую Тебя.

Нежно любящий брат

Боря

P. S. Критику Твою первого № принимаю сполна. Второй № выпу скается без меня, и боюсь — напортят: там моя дрянная статья о симво лизме, написанная в жару и болезни, кое-как: не суди меня за нее.

Ася сердечно шлет привет.

Наш адрес до начала русского июля: Belgique. Bruxelles. Place S-te Gudule 25. Мне.

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] Портрет этот сохранился среди бумаг Блока.
[3] Стихи Вл. Соловьева.
[4] См. письмо № 229 и прим. 2-е к письму № 230.
[5] Опущено следующее письмо Белого от 19 мая (1 июня) 1912 г. (из Брюсселя), в котором он мистически интерпретирует различные «странные явления», сопровождавшие его приобщение к штейнерианству (см. вступительную статью). Подробно о своих брюссельских переживаниях и о встрече с Р. Штейнером Белый рассказал в мемуарах — «Из воспоминаний: 1. Бельгия. 2. Переходное время, 3. У Штейнера» («Беседа», № 2, Берлин, 1923, стр. 83—127).

243. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

< 10/23 июня 1912. Буа-ле-Руа>[1]

Дорогой Саша,

получил Твое письмо.[2] Спасибо: О «Трудах и Днях» спасибо Тебе. Ты — прав. Все то, что Ты пишешь, происходит от 1) разносторонности устремления основного ядра, 2) от чувства неудовлетворенности какою бы то ни было платформою. Мне сейчас чужды вообще все журналы, но по ряду соображений, о которых долго писать, все же буду много работать в «Тр[удах] и Днях».

Милый друг, где Ты? Что с Тобою? Давно уже от Тебя не имел известий. Чем больше живу вне Москвы, тем с большим ужасом мыслю о том прóклятом месте, кишащем истерикою и химерами. О, с какою б охотою я не жил бы в Москве, как не жил бы сейчас в Петербурге, хотя много работаю над романом «Петербург». Живу я в укромном месте, под Парижем, в Париже не бываю: был лишь раз по делам, но поспешно бросился из этого зачумленного места.

Уже много лет я мечтаю о спокойной и тихой жизни в деревне: никогда деревня не изменяла мне. Город — всегда.

Что касается нашей штейнерьяды с Асей, то она как-то круто вдруг оборвалась, едва мы покинули Брюссель. Ничего — ничегошеньки не могу прибавить к последнему моему письму, даже странно: из полной напряжения и невероятно странной жизни — прямо в здоровую, крепкую тишину. Вероятно в Мюнхене будет все по-иному: может быть, это отдых перед новой волной всякого.

В Мюнхене мы будем числа 24-го июня по русскому стилю. И пока наш адрес: Deutschland. München. Poste restante.

С романом я измучился и дал себе слово надолго воздержаться от изображения отрицательных сторон жизни. В третьей части серии моей «Востока и Запада» буду изображать здоровые, возвышенные моменты «Жизни и Духа». Надоело копаться в гадости.

Милый, милый друг, крепко жму руку. Всего крепкого и счастливого. Остаюсь нежно любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Ася приветствует Тебя.[3]

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] Недошедшее до нас письмо от 27 мая 1912 г.
[3] В день получения этого письма, 13 июня, Блок отметил в дневнике: «Письмо от Бори — спокойное — из Франции» («Дневник 1911—1913», стр. 107; ср. «Письма к родным» II, стр. 203). Ответное письмо Блока от 16 июня (в Мюнхен) — до нас не дошло.

244. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

< 10/23 ноября 1912. Штутгарт>[1]

Дорогой, близкий, любимый Саша!

Как тебе объяснить мое 5-месячное молчание? Уж и не помню ответил Тебе или нет на Твое мюнхенское письмо.[2] Если ответил, то вероятно, спешно; полагая, что отвечу подробно вскоре.

Во всяком случае не думай, что мое молчание обусловлено чем либо: я все время был с Тобой, всегда думал, всегда помнил.

И... молчал.

Молчал потому, что все эти 5 месяцев упорно, долго, многообразно работал; молчал потому, что говорить о внешнем или полувнешнем с Тобою мне невмоготу; а делиться мюнхенскими впечатлениями о моей работе у Доктора, свиданиях с ним и разговорах — да Ты сам однажды мудро мне написал: довольно, слишком... (это на мои безумные брюссельские письма).

И я понимаю, почему. Мои письма достигли того критического пункта, где глупо писать, где надо быть вместе, чтобы вместе видеть и вместе молчать.

Да и кроме того: то, что писал Тебе из Брюсселя, было ново для меня, но наивно и по-детски с точки зрения оккультиста. Ведь я писал не зная как, не зная о чем: это были письма застигнутого врасплох. При Докторе есть люди, идущие реально путем ок[культ]ного обучения по 5, 6, 7 лет (люди ок[культ]но одаренные); и эти люди обыкновенно хранят молчание и скупы на слова там, где я «орал»...

Словом: попав в Мюнхен, мы с Асей очутились между Доктором и 2-3 действительными учениками его и сотнями теософов. А рядовой теософ в теософии ничем не лучше Якова Година (в модернизме). На поверхности движения трещат, злословят, рассказывают небылицы, сплетничают, флиртируют — словом: как везде.

А действительные работают у себя наедине: Доктор (единственное, несравненное, в мире небывалое явление) единственно соединяет тех и других, жертвуя себя сотням рядовых совершенно сознательно для очень важных последствий близкого будущего.

Но только Доктор соединяет тех и других.

Из Мюнхена я не мог Тебе писать ни о чем, потому что весь Мюнхен для нас с Асей был сплошным перебоем: упорная работа, как окк[ультн]ая, так и школьническая (немецкий, чтения курсов, конспекты, упражнения, переводы и т. д.) перебивалась событиями странными, небывалым энтузиазмом, величайшею фальшью и плоскостью (теософы), усталостями, неприятностями с Москвой и новыми взлетами. В этой напряженно-трудовой, гениально-странной и тупо-пустой атмосфере мы, новички, школьники, просто долгое время ничего не понимали, да и не смели иметь своего суждения: ведь мы попали в студенты (на первый курс) к строгому эзотерическому, контролирующему мысли профессору, перед которым тайное на ладони.

И мы просто слушали, молчали, учились, уставали и сдавали экзамены (каждое свидание с Доктором — экзамен).

Что тут писать?

За это время прослушали курс, видели мистерии[3]; потом поехали в Базель на новый курс Доктора «Ев[ангелие] от Марка»... Говоря внешне: ничего гениальнее я не слышал.

В Базеле сдали отчет Доктору (чертежами, рисунками); и поехали в Vitznau (в Швейцарии) работать над уроком Доктору (теперь у нас

с Асей по докладу ему). Мы месяц жили в полном уединении, среди гор, в деревушке. Время шло так: с утра до ночи работа (медитация, Vortrag* Доктору, роман «Петербург», немецкий, циклы лекций для изучения, статьи в «Труды и Дни»). Буквально не выходили месяц из комнат.

После нас позвала одна из лучших учениц Доктора работать с ней под Штуттгарт (в тихое местечко около леса); и здесь мы прожили опять-таки более 4-х недель; и опять: работа, медитации, роман, схемы.

И вот завтра едем в Мюнхен, где встретимся с Доктором и сдадим ему отчет (и устный, и писанный); в Мюнхене решится наше дальнейшее пребывание. Или Доктор нам велит быть при себе, в Берлине, или отошлет вновь в уединение работать.

Ему виднее.

И то, и другое хорошо.

Вот мое резюме: после 4-месячной работы итоги — открылись безмерные горизонты; страшно прибавилась четкость и строгость к себе; в одном отношении совершенно измучены медитациями, в другом отношении: бодрей, крепче. Ты спросишь: нашли ли мы то, чего искали? Отвечу: да, да и да!... Но то, что казалось в розовом свете, оказалось исполненным терниями.

<. . . . .>

Ты спросишь, а результаты?

Отвечу: бесспорны, математически точны; Твои ощущения, безумнейшие, точно измерены, взвешены, исчислены, предопределены. Доверие к Доктору на этом пути безусловно.

Ты спросишь: «А прошлое? Искусство, жизнь, связи?..» Отвечу: «Ничего не откидывается: все пресуществляется, все горит в новом свете. Скажу только: воспоминания, связи, прошлое резонирует сильнее всего в эфирном теле[4], а работа начинается с чистки эфирного тела, к[оторая] отражается на необычайной живости всех переживаний; в центре всего стоит:

«Переживи себя»...

Опять, вновь, сызнова — все, без прикрас: еще раз!

И вот сколько раз переживал нашу связь: и все не писал.

Не писал по очень серьезным причинам. О них, и о деле одном (нашем с Тобой) до следующего письма из Мюнхена (нет бумаги, поздно, завтра утром уезжаем).

Ну, Христос с Тобой, дорогой, близкий, любимый брат.

Есть свет, есть свобода: есть будущее!!

Нежно Твой Боря

P. S. От Аси привет.

[1] Датировано на основании фразы: «Завтра мы уезжаем...» (Белый выехал из Штутгарта в Мюнхен 24 ноября н. ст.). Настоящее письмо затерялось в бумагах Белого и было отправлено им по адресу только в декабре 1912 г., при письме № 247 (см. стр. 308 наст. издания).

[2] См. прим. 3-е к письму № 243.

[3] Еще с 1907 г. наряду с лекционными курсами Р. Штейнер вел пропаганду своего «учения» посредством драматических представлений — «мистерий». Для начала в Мюнхене были представлены дополнения к «Элевзинским мистериям» и «Дети Люцифера» Шурэ, а позже — четыре мистерии самого Р. Штейнера («Врата посвящения», «Душевный искус», «Блюститель порога» и «Пробуждение душ»). Для представления мистерий и был построен штейнерианцами «Goetheanum» возле Дорнаха (см. вступительную статью).

[4] «Эфирное тело» — оккультный термин, принятый у антропософов (в отличие от физического тела).

* Доклад.— Ред.

245. БЛОК — БЕЛОМУ

<Черновое>[1]

$\frac{15}{28}$ ноября 1912. Петербург

Офицерская 57, кв. 21.

Милый Боря.

Пишу только деловое письмо: в жизни произошло столько, что письмом — не скажешь; да и дойдет ли до тебя эта записка? Если дойдет, прошу Тебя, ответь скорее хотя бы только деловым письмом.

В Петербурге основывается новое большое книгоиздательство под названием «Сирин». Во главе его стоит М. И. Терещенко — человек очень милый и скромный, глубоко культурный и просвещенный. Обладая большими средствами, Издательство хочет служить искусству и худ[ожественной] лит[ературе]; хочет дать возможность русским писателям работать спокойно; хочет поставить дело на реальную почву, не меценатствуя, но и не занимаясь эксплуатацией, как это свойственно издателям-евреям. Дело еще в самом начале.

Разумеется, речь уже заходила о Тебе. М. И. Терещенко поручил мне просить Тебя прислать Твой новый роман[2] для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах.[3] Он лично особенно любит и понимает «Серебряного Голубя».

Если роман кончен, если ты согласен выкупить его у Некрасова, которому, если не ошибаюсь, его продал, пришли его в «Сирин». Я, как ты можешь предполагать, особенно поддерживаю эту просьбу и внутренно и внешне: и потому, что издательство сразу отметится знаком, как ты знаешь, заветным для меня; и потому, что это будет попросту легче и выгоднее всего для Тебя, так как Ты получишь во-первых, ответ об условиях — без промедления, во-2-х — гонорар максимальный из возможных, во всяком случае, не меньший чем у Некрасова или в любом другом месте. При этом, за благородство, бескорыстие и вкус издателей я могу Тебе поручиться от чистого сердца.

Ответь мне, прошу Тебя, поскорее, согласен ли Ты на это? Если да,— присылай роман прямо мне; это потому главным образом, что мне особенно приятно было бы передать его Терещенке своими руками.

Кончаю письмо, боюсь, что Ты не получишь его. Отвечай. Крепко Тебя целую.

Любящий Тебя
Ал. Блок

[1] Печатается по черновику, сохранившемуся среди бумаг Блока.
[2] «Петербург».
[3] Альманах «Сирин», в трех выпусках которого и был опубликован роман Белого «Петербург».

246. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{\text{Начало декабря}}{\text{Середина декабря}}$ 1912. Берлин>[1]

Милый, милый Саша!

Вот так судьба! В Штутгарте, накануне отъезда в Мюнхен (24 ноября н[ового] ст[иля]), написал Тебе длинное письмо о том, как соскучился по Твоему голосу и отчего молчал так долго: но в спешке укладки не успел письма отправить и куда-то запаковал: в Мюнхене оно запропало и теперь лежит где-то в океане бумаг.[2]

Получ. 5(18) III 1918. Начало В. Посл.

Дорогой, Милый, близкий Саша —

Какая странная Судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». Верю, что Ты пишешь в мудрости с душою всего что не нести: С такими чертами я ниско [illegible]. Я это знаю

из Твоих фельетонов в «Знам. Труда» и не сочувствую, но подозреваю отвагу и мужество Твои. Одно: Ты весь нам нужен в ... еще выше трудном будущем нашем... Будь мудр: соедини с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя и люблю. К[illegible] [illegible].

Твой неизменный брат

Б. Б.

ПИСЬМО А. БЕЛОГО к А. БЛОКУ ОТ 17 МАРТА 1918 г. (№ 263)

Страницы первая и последняя

Слегка уменьшено

Государственный Литературный музей, Москва

Дорогому, близкому Са-ше съ неизмѣнной лю-бовью и вѣрой въ не-го. Андрей Бѣлый

1-го января. Ст. ст. 1919 года.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛКОНОСТЪ».

НАДПИСЬ А. БЕЛОГО НА ЕГО КНИГЕ «КРИЗИС МЫСЛИ» (П., 1919), ПОДАРЕННОЙ А. БЛОКУ

Институт литературы Академии Наук СССР, Ленинград

Дорогой, близкий! Пишу кратко; молчание мое от двоякой причины; от того пути, на который вступаю (та стадия моего отношения к Доктору, в которой я нахожусь, могла бы быть названной молчальничеством); мое молчание Тебе обусловливается перезакупоркой интимнейших слов и мысленных обращений, которые всегда поднимаются во мне: часто ночью и в тихие дневные часы долго, упорно, тревожно, то радостно, но всегда нежно думаю о Тебе.

И знаю:

Из всех людей, Ты более всех можешь понять мое молчание к близким без долгого внешнего пояснения.

Молчу оттого, что Ты мне близок.

И пока довольно; пишу Тебе лично на-днях.

Спешу ответить на деловое.

Спасибо Тебе за память обо мне и за приглашение участвовать в издательстве «Сирин». Если против меня не имеется ничего, то я согласен и благодарю Тебя.

Относительно романа «Петербург» вот как обстоит дело.

Я продал Некрасову роман (до XX печатных листов) за 2200 рублей. Первую половину давно получил и прожил; Некрасову же представил до 14 печатных листов, обязуясь до июля представить следующие 6—8.

Но: случился Доктор. Все полетело к чорту. Я мог работать с редкими промежутками.

Кроме того осенью я начал перерабатывать первые главы. Написано 6 глав. Остается большая 7-ая (около 100 рукописных страниц), остается до-переработать первую и далее: переработать 2-ую главу. И далее переписать 6-ую. Работы месяца на 2 (будь я не в активной работе у Доктора, живи я на одном месте, то 3 недели упорной работы были бы достаточны для окончания).

Итак.

В принципе я готов бы был отдать «Сирину» при следующих многосложных условиях.

1) Если бы «Сирин» заплатил мне за роман значительно более 100 рублей за печатный лист.

2) Если бы согласился ждать $2\frac{1}{2}$ месяца рукописи.

3) Если бы Некрасов добровольно согласился бы уступить без претензии (не формально, а по-хорошему), в противном случае я морально обязан Некрасову.

Видишь, как многосложно!

В случае, паче чаяния, согласия на это, уведомляю, что главы:

a) 1-ая, 2-ая, 3-ья, 4-ая и 5-ая находятся у Некрасова.

b) Что главы 1-ая, 2-ая, 3-ья в измененном виде находятся в переработке у меня. Лишь 4-ая и 5-ая главы в окончательной версии годны в Некрасовской рукописи (копий с этих глав у меня нет).

c) Глава 6-ая находится в черновике у меня.

d) Глава 7-ая не написана.

Пишу это Тебе, чтобы Ты сделал сам вывод, подходит это или не подходит, трудно или не трудно.

За «Сирин» у меня соображения:

a) то, что *Ты* там и *Ты* меня зовешь: стало-быть, мне это желанно.

b) вопрос гонорара: я все время сложно выпутываюсь и сложно устраиваюсь с долгами и возможностью жить.

Мой долг «Мусагету» и отсутствие средств у «Мусагета» сильно запутывает меня.

Если нельзя с романом, то я мог бы предложить мою книгу

«Пут[евые] Заметки», которую материально долго еще затрудняется издавать «Мусагет».

Но, отрезанный от России, я совершенно беспомощен в отыскании себе литературного заработка и гора долгов над моей головой растет, как лавина.

Поэтому, если можно мне будет каким-нибудь способом литературно существовать, будучи полезным и К[нигоиздательст]ву «Сирин», то, милый, подумай обо мне.

Пользуюсь случаем коснуться еще дела.

Я Тебе должен, дорогой друг: не думай, что я забыл. Все эти месяцы ожидаю результатов одного хода: заклада в частные руки моего имения (банки не принимают) для того, чтобы заплатить Тебе ⅔ долга, «Мусагету» ½ и освободить себя на житье у Доктора на несколько месяцев.

Но это сложное дело при почтовой путанице, переездах, моей заграничной жизни ползет черепашьими шагами, откладываясь с месяца на месяц, а пока — лавина долгов и неопределенность.

Вот почему я ухватываюсь за Твое предложение в принципе. Предлагаю Тебе за меня это взвесить.

Писать что-либо определенное, ничего не зная о «Сирине» и не имея никаких реальных предложений с его стороны или знаний о нем — не умею.

Но в принципе схватываюсь: я более чем кто-либо нуждаюсь в материальной поддержке со стороны издательства. Ведь я совсем не обеспечен, а теперь положение очень сложное: уехать от Доктора уже не могу реально (могу сойти с ума: нельзя бросать ок[культного] пути, вступив на него: более году я связан при Докторе; а эта моя связанность лишает меня реальных сношений с литературными издательствами).

Еще раз спасибо, мой милый, милый друг за дружеское участие и ласку.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Письмо лично Тебе скоро пошлю. Реально о «Сирине» хотел бы узнать.

Мой адрес: Berlin. Scharlottenburg. Lüther Strasse. 27. Pension Wegner (II Stock). Herrn Boris Bugaieff.

От Аси привет.

Еще раз спасибо.

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 7. XII и ответил тогда же» (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 148,— запись от 7 декабря). Ответное письмо Блока до нас не дошло.

[2] Имеется в виду письмо № 244.

247. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

13/26 декабря 1912. Берлин

Дорогой Саша,

спасибо Тебе за хороший, скорый ответ.[1]

В принципе я согласен и на «Петербург» и на «Путевые Заметки», но прислать тотчас же не могу, ибо не знаю, как мне быть: как приступить к объяснению с Некрасовым, ибо не имею никакого формального права нарушить добровольный словесный договор с ним. Попрошу Э. К. Метнера посоветовать мне, как поступить.

О «Путевых Заметках» тоже пишу Метнеру. «Путевые Заметки» состоят из отделов: «Сицилия» (находится в «Мусагете»), «Тунисия» (ряд глав — находятся в «Мусагете»), «Радес»—находится у меня и «Египет»—напечатано в «Современнике»[2]: про последнее ничего не знаю — ежели рукопись мою они напечатали без выпусков и если мало опечаток,— я бы тогда просто сослался на №№ «Современника», ибо рукопись у меня «Египта» есть, но «Современник» печатал с проправленного мной экземпляра («Современник» 5 месяцев не платит мне гонорара и 5 месяцев не выслал ни гранок, ни оттиска, ни №№ с моим «Египтом»: зная по опыту, что делают с рукописями журналы, я не могу, не проверивши текста журнала, сослаться на «Египет» в версии печати «Современника»).

Видишь, как сложно. Милый, прошу Тебя, если это не составит Тебе труда, найди №№ «Современника» с Египтом и пришли мне; о «Путевых Заметках» хотелось бы много и долго писать, или говорить: дело в том, что «Мусагет» решил печатать их с Асиными набросками с натуры, ею зарисованными в «Сицилии», «Тунисии», «Египте»: рисунки — к тексту. Часть рисунков находится в «Мусагете», часть у Аси.

Эмилий Карлович мне пишет: «Если Вы верите тому, что поверх всех наших недоразумений продолжает жить моя любовь к Вам и если доверяете моей деловитости, то прошу Вас уполномочить меня немедленно письмом на ведение переговоров с Терещенко...»

Ввиду того, что «Мусагет» более всего в курсе моих рукописей и может при случае легче снестись с Некрасовым и мне посоветовать, как в сем деликатном случае надлежит поступить, то для удобства поручаю Э. К. Метнеру деловые переговоры (так любезно мне их предложившему). Могу же я прислать «Путевые Заметки» лишь собравши их: 1) «Современник», 2) «Мусагет», а для этого мне нужно формально заручиться согласием «Мусагета», а я завтра уезжаю в Кельн (на неделю): видишь, милый пока что: время утечет; абсолютно веря Тебе и Э[милию] К[арловичу], я очень прошу вас обоих, если что нужно будет за меня решать, то решайте, если вам это не составит труда.

Мои отправные пункты: полное доверие и глубокий интерес к «Сирину» (с Твоих слов и со слов Э. К. Метнера), огромная любовь и доверие к вам обоим (несмотря на ряд недоразумений с Э. К. Метнером); задолженность и «Мусагету» и Тебе, заставляющая меня изыскивать средства для расплаты с долгами, материально стесненное положение «Мусагета» в этом году и полный крах всех материальных надежд у меня при полной невозможности уехать от Доктора (только что отправил письмо Тебе о надежде устроиться с имением, и трах: получаю письмо, в котором узнаю: слухи о войне уже повлияли на постройку Черном[орской] жел[езной] дороги; а с отменой в настоящее время постройки пала возможность заложить в частные руки под дорогу: 4 месяца я жил надеждою к январю уплатить долги и хоть год пожить обеспеченно, работая тихо над 3-ьей частью «Трилогии» и работая Доктору. Все рухнуло: и я даже не думаю, что будет с нами через месяц, полтора — видишь: кроме всего я хватаюсь за надежду хоть как-нибудь материально выпутаться).

Итак, все вышесказанное, с присоединением оторванности от России, ставит меня в затруднения вести переговоры с «Сирином» реально: если бы Вы (Терещенко, Ты и Метнер) сговорились относительно меня, если бы стоило мне приехать в Россию, чтобы самому реально оформить что-либо деловое, я на все готов, тотчас бы приехал; но пойми

меня: мне нужна тишина, и сознание, что мы не подохнем с Асей с голоду в течение ряда месяцев; а вывертываться на месяц из материальных затруднений, хлопотать из-за 200 рублей, чтобы через месяц снова схватиться за голову от тревоги за Асю и нашу жизнь у Доктора (при оккультной изнуряющей работе и писании романа) — при одной мысли об этом становится жутко.

И решаешь: будь, что будет.

Ты пишешь, что Терещенко будет на рождестве за границею: если он поедет через Берлин, то знай — я на рождестве буду в Берлине (в Кельне я до 4 января нового стиля, т. е. к 25-му декабрю старого стиля я в Берлине: Scharlottenburg. Lüther Strasse 27. Pension Wegner; в случае необходимости что-либо меня уведомить экстренно, знай: адрес мой от 28 декабря до 3-ьего января нового стиля: Кельн. Poste-restante; потом опять — старый).

Я бы с охотою встретился с Терещенко и поговорил с ним, если это нужно.

Милый, милый друг: спешу окончить это письмо. Если что будет от Метнера, извещу Тебя: пока же доверяю Метнеру говорить Метнеру обо мне и за меня с Терещенко, как и Тебя при случае прошу заранее решить: за все был бы благодарен. У меня есть проэкт (если «М у с а г е т» согласится) предложить «С и р и н у» всю Трилогию «В о с т о к и[л и] З а п а д» (третью часть обязуюсь представить через 1½, максимум 2 года. Если бы можно мне было ее продать «С и р и н у» так, чтобы это дело дало возможность мне спокойно работать, я благодарил бы судьбу и, конечно, написал бы III-ью часть лучше I-ой и II-ой, когда работал под прессом и разрываясь на части).

Милый, Христос с Тобой. Поздравляю Тебя с наступающим праздником. Прилагаю письмо, только-что найденное и написанное в Штутгарте.[5] Скоро буду писать подробно.

Любящий Тебя нежно Борис Бугаев

P. S. Лично, внутренно буду Тебе скоро писать.

[1] См. прим. 1-е к письму № 246.

[2] См. «Современник» 1912, № 5, стр. 190—214, № 6, стр. 176—208 и № 7, стр. 270—288.

[3] 14 декабря.

[4] «Восток или Запад» (третью часть трилогии должен был составить роман «Невидимый град», оставшийся ненаписанным).

[5] См. письмо № 244. Ср. запись Блока в дневнике от 16 декабря: «Вечером — большое письмо (двойное) от Бори из Берлина» («Дневник 1911—1913», стр. 151).

248. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<28 декабря 1912.> / 10 января 1913 Берлин

Дорогой, глубоколюбимый Саша!

Поздравляю Тебя с Новым Годом, желаю бодрости, света и сил: Ася просит Тебя приветствовать.

Милый друг, сперва деловое: мы недавно вернулись из Кельна и дома меня ожидали: Твое маленькое письмо[1] и 2 огромных пакета от Э. К. Метнера; ввиду того, что п а к е т ы Э[милия] К[арловича] взывали к немедленному ответу п а к е т а м и-же, я сперва ответил на них, и вот — Твое второе письмо.[2] Спешу ответить: мы все время в Берлине (Berlin. Scharlottenburg. Lüther Strasse 27. Pension Wegner); и М. И. Терещенко, если уведомит заранее, или зайдет часов в 6, то всегда нас застанет до-

ма. Очень хотелось бы поговорить о делах; да и просто познакомиться; от Э[милия] К[арловича] я слышал о Терещенко очень, очень хорошие отзывы. Кроме того, Э[милий] К[арлович] передавал мне некоторые стороны разговора Терещенки с ним об издании моих сочинений [3], столь выручающие меня, столь успокаивающие нас с Асей относительно нашей участи за 1913 год, что... я просто не верю: не хочу заранее возрадоваться, чтобы не постигло разочарование, как не раз оно уже постигало нас в 1912 году в деле с имением... В числе предложений М. И. Терещенке у меня есть проэкт предложить ему и всю трилогию «Сер[ебряный] Голубь» [4], ибо, будь я обеспечен за эти 2 года, имей я возможность, не раскидываясь, работать над большими полотнами, то вскоре по окончании 2-ой части Голубя («Петербург») принялся бы я за третью «Невидимый Град» и за другие. У меня полоса — работать, работать, работать; все более и более сознаю себя беллетристом par éxelence, а не критиком; чувствую всякий раз отвращение при мысли о статьях; а между тем именно обязательство писать статьи так сказать ссаживает меня с работы и более того, резким клином врывается в мою интимную работу Доктору: писание романа не нарушает этой работы, а наоборот, а вот «суета сует», полемика, критика,— от всего этого я просто разбаливаюсь: разговор Э[милия] К[арловича] с Терещенко преисполняет меня надежд, которым пока боюсь верить; но участие Твое в этом деле радует безмерно меня. И за все, все — спасибо...

Пока же мы — или выручены, или летим с треском в пучину внешней безвыходности. Но авось: бог не выдаст, свинья не съест. И еще как-то верю в провидение: провидению угодно было не раз бросать меня в тяжелое положение, и всегда в последнюю минуту — что-то случалось. Бог видит, что нам сейчас нельзя покинуть Доктора, что это было просто риском сойти с ума. И верю: провидение в виде «Сирина» выручает нас за этот год...

Милый друг: хочется Тебе сказать, как под внешними сложностями, «прями» с людьми, под естественной беспричинной тревогою, являющейся всегда в начале оккультной работы, под тысячами новых, то болезненных, то бодрых, но небывалых прежде ощущений — слышим мы с Асей: крепкий прилив физических, моральных, даже... умственных сил. Знаешь: ведь мы уже ряд месяцев в положении, аналогичном линьке: мы линяем, шерсть старого клоками слезает с нас; и часто бываешь в положении, будто с Тебя содрали кожу (хочется кричать, как кричат от зубной боли); но зубная боль никого не привела к самоубийству (я помню, что во время сильнейшей зубной боли писал стихи); и даже чувствовал из-под боли приливы смеха, игривости; крича от боли, сам понимал комичность своего положения с подвязанной щекой.

И вот теперь — мы точно в таком положении: измученные, изнеможденные, с тысячами ощущений — и все же бодрые от сознания, что где-то в центре, в глубине растет непоколебимая твердыня чего-то светлого, крепкого — того, что на периферии вызывает линьку: линьку старой душевности под напором изнутри наружу вламывающихся в душу духовных сил: старая душа — помесь чего-то духовного, но пропыленного истекшим десятилетием (прями; литературой; мальчишеством, умственным блудом, смешением перспектив и неумением отстоять свое под гипнозом в душу лезущей улицы) — эта-то старая душа, пропыленная калоша, с болью отпадает кусками; и как после линьки пушные звери щеголяют лоснящейся шерстью, так — верю — через год, полтора вернемся в Россию мы для работы: с запасом сил; ибо только вопрос в силах и выдержке, ибо

«Много слов проносится знакомых
«И на сердце много детской веры»

(Фет)[5]

Да, милый друг: знаешь ли, что эти 5 месяцев (с Мюнхена) мы с Асей переживаем *сквозь все* старое, вечно-знакомое, милое и грустное[6]: переживаем сознательней и полнее — все то же: эпоху «*Прекрасной Дамы*» и «*2-ой симфонии*»: в 1912-ом году — 1902-ой год. *Но повторяю*: на этот раз переживаю я все это не как одержимый, влюбленный в неизвестное, а как муж:

«Образ возлюбленной — Вечности
«Встретил меня на горах

и т. д.[7]

Веришь ли, что — да? Верь милый, верь: когда смогу твердо Тебе сказать, когда настанет пора мне мне близким говорить, а эта пора — придет, то — хочешь Ты или не хочешь: я приду к Тебе, обниму и постараюсь в Тебя вложить всю силу моей новой радости и на этот раз знания: *Свет — есть, Он и во тьме светит: тьма не объяла Его*...

Знаешь ли, дорогой, эти пять месяцев я Тебе не писал, ибо все эти 5 месяцев ходили мы с Асей *потрясенные*: *потрясение* — вот точное название того, что с нами было и есть. Это *потрясение* в древних мистериях совершалось искусственно. Это *потрясение* было результатом крещения Иоанна Крестителя. Это *потрясение* есть сотрясение и сквозь физический организм *эфирного и астральных* тел: вся обстановка жизни у Доктора располагает к тому, что если Ты серьезно желаешь, как ученик, сесть у ног учителя и *слушать*, то незаметно, медленно, почти механично *сотрясение* атмосферы невидимой вокруг Тебя потрясает до глубины глубин Тебя — и это независимо от Твоего темперамента, скепсиса или веры, — это просто от количества и качества сотрясений: хочешь не хочешь — Ты *потрясен*: и как только Ты потрясаешься, все обычное, дневное, будничное начинает менять свои контуры; все вокруг превращается:

«На суку извилистом и чудном
«Пестрых сказок пышная жилица» и т. д.

Ты скажешь: но ведь стихотворение Фета кончается:

«Переходят радужные краски,
«Раздражая око светом ложным...
«Миг еще — и нет волшебной сказки
«И душа опять полна возможным».

Фет[8]

Тут должен я сказать нечто, испытанное опытно: растягивая проволоку и потом снимая с нее тяжесть, я возвращаю проволоку в обычное нерастянутое состояние; эту способность *возвращаться* к старому состоянию физики называют упругостью проволоки; но физики знают, что у упругости (т. е. косности) есть предел; за этим пределом наступает то, что физики называют *деформацией упругости*: перегруженная проволока, вытянувшись, уже не возвращается в обычное состояние; т. е. применяя к словам Фета, можно сказать:

«*Миг еще*: — душа все в той же сказке;
«Невозможное навеки с нами»

Но не есть ли мистериозное потрясение души — деформация ее, т. е. безумие; да, при чрезмерности потрясения, неумелости — судьба всякого потрясения перейти в манию или меланхолию, и Ницше тому пример*. Розенкрейцерский путь начинается у того предела души, за которым начинается или деформация здоровья, или конформация духа; окк[ультный] метод развития есть мудрое знание о том, как конфирмировать там, где обычное человеческое здоровье и отсебятина деформирует. Деформация, переживаемая нами, если хочешь, есть деформация эстетического скептицизма (не творчества), есть отрезывание последних двух строк приведенного четверостишия: убийство возможного, будней и утверждение сказки, ибо у Тебя получаются реальные, опытные доказательства, что сказка не сказка. И подобно тому, как рассуждения обывателя о том, что невозможно спектральным анализом доказать присутствие гелия на Солнце, даже не волнуют приват-доцента физики (для него это — очевидность), так точно тезис «сказка — не сказка» есть проверенное опытом положение для Роз[енкрейце]ра: отсюда извне сухость, схематизм, кажущаяся мертвенность в изложении многих доктрин: (измеряют миллиметрами ступни архангелов, как в «Апокалипсисе»...). Но то, что извне кажется неинтересною и даже сухою невероятностью, изнутри есть для суховорящего оккультиста (в смысле Доктора):

«Миг за мигом: сказки, только сказки —
«Сон — не сон: и сладко в верной вере...»

(Прости за безобразие транскрипции Фета: но не в том суть).

Дорогой друг: при всей разности наших темпераментов, у нас нечто общее, что отличает нас, символистов, от Гумилевых: наше творчество было не эстетическим скептицизмом, а четверостишием Фета: некогда мы видели зори, зори были чем-то столь важным, что у нас и не возникало слов, искусство это или не искусство; прежде всего «это», а потом уже ярлычки. И вот поверь мне: я теперь знаю, что это было не только искусство; многое в нашем творчестве было не от ковки форм, а от медитации, т. е. от бессознательных, часто оккультных движений чего-то в своей душе; мы были в положении любителей, случайно забредших в паровоз и в неведении повернувших рычаг неизвестной машины: вдруг машина взревела и мы стремительно понеслись в роковое, неизвестно куда, неизвестно зачем; вместо зори — столб дыма в глаза; вместо духовного тепла — паровой котел паровоза. В итоге: столкновение поездов, стоны раненых. Вот как восприняли мы само собой очевидное для эстетика-скептика:

«Миг еще — и нет волшебной сказки».

Вместо пути в Академию, вместо классицизма и культа красоты: «Снежная маска», «Пепел»: распыление мира в метели.

И вот когда на смену нам появились здоровые, юные, прямо-таки начавшие с перифразы Фета:

«Не надо нам сказок, не надо чудес...»
«Возможное — только оно и прекрасно».

Мы — калеки, потерпевшие катастрофу с зарей — вдруг дружно сказали: «Нет: мы не приемлем этого». Оба мы одинаково возлюбили народную душу (знаю я теперь отчего); и оба встретились вновь, «после долгой

* Подчеркнуто карандашом, очевидно Блоком.— Ред.

разлуки», как символисты (Твои слова о Капелле[9], мое письмо к Тебе после этого[10]). Это мы называем символизмом, а когда пытаемся оформлять, то сходимся оба, что в искусстве есть еще нечто... Дело не в слове, не в оформлении (Ты можешь соглашаться и не соглашаться с моими статьями, оба мы можем даже по-разному понимать «Символизм» — дело даже не в слове) — так в чем же? В служении родине? Да, но надо уметь ей служить. Нет сил сызнова над собою работать, нет сил сызнова вернуться к юности.

«Молчите, проклятые книги,
«Я вас никогда не писал...»

А. Блок[11]

«Нет, спрячусь под смертные плиты,
«Могила, родная мать...»

А. Белый[12]

Опять-таки — соответствие.

И вот я знаю теперь; то, что выводит из состояния гипнотического уныния, то, что нужно таким, как мы, это — потрясение, потрясение, потрясение, называемое по-иному очищением. Очищение вовсе не есть намерение, мысль, самобичевание, самоуничтожение. Очищение есть нечто бездонно конкретное; и такие, как мы, не могли бы иначе очиститься, как очищением, проницающим тела наши реально. Хочешь, я Тебе назову, то что привело нас по разному сначала к заре, а потом к катастрофам. Это, вызвавшее и нашу внешне-литературную деятельность (Ты писал стихи, я—«Симфонии») было необычным творчеством, а творчеством медитативным (в роз[енкрейцеров-ск]ом пути «медитация» есть термин, обозначающий нечто очень сложное — если хочешь, когда-нибудь я Тебе подробно охарактеризую значение и смысл того, что в розенкр[ейцер]стве понимается под медитацией); мы бессознательно медитировали (заклинали, ворожили).

«Ворожбой полоненные дни
«Я вызываю года — не зови...»[13]

А свойство медитации таково, что если неверно медитируешь, то накликаешь стихийные силы на себя, делаешься игрушкою чар и сил, которые уже потом Тебя гонят, а Ты не знаешь ни причины появления злого рока, ни средств остановить его приток (положение туриста, случайно повернувшего паровозный кран и летящего вдоль рельс к неизбежной катастрофе без возможности остановить паровоз); это медитативное свойство наших душ, отражаясь как магия в иных чертах нашего творчества, и как злой рок, гонение преломляясь в нас, — подлинная и единственная причина всего непостижно-странного и злого.

И само собой разумеющееся для Гумилевых и Брюсовых

«Миг еще — и нет волшебной сказки».

Для нас «ужас и петля Тебе, человек»[14], ибо сказка для нас — «царевна», т. е. она же «Мать Сыра Земля» («Россия» и т. д.).

Теперь-то я знаю реально, что такое сказки для нас, т. е. что такое игривое отношение с телом христовым (землею), к нам взывающей русской народной души (это к ней вопил Гоголь: «Что Ты смотришь на меня» и на этот вопль отвечает нам Штейнер: «Ваша народная душа ждет от Вас, чтобы Вы (русские) поняли, расслышали ее слова»).

Полусознательными медитациями (ворожбою) мы бессознательно кощунствовали, лишь кокетничая с Великою Страдалицею Землей Русской; оттого-то были верны наши предчувствия:

«Ворожбой полоненные дни».

Дни наши после и стали «*ворожбой полоненными*»... Средство выправить кривую линию наших прежде времени созревших в душе и поэтому *полуистинных* медитаций — притти к подлинной медитации, понять глубоко-оккультный, одновременно и опасный, и глубокоблагостный, смысл ее. Но даже и притти к пониманию необходимости для меня серьезно оккультно работать (не только во имя свое, но и во имя нас, близких, России), медитативно очиститься — даже притти к этому нельзя, ибо 1) у меня не было даже веры в серьезность этого, 2) не было веры, что в любой час дня, времени можно сказать своему пути: «Сызнова, еще раз!» Самая возможность этого не достигается согласием или несогласием с той или иной доктриной, теоретической верой или неверием в того или иного, человека, в то или иное знание. Самая возможность решения работать возникает как молния, как молниеносный, реальнейший факт.

С самого нашего путешествия в Африку с нами (мной и Асей) бывали зарницы будущей молнии; и видя зарницы, мы даже не предчувствовали Молнии. Все, что я Тебе писал о Брюсселе, было вдруг градом зарниц; встреча со Штейнером первой *молнией* и первым громом; после этого был период двухмесячной тишины (между Брюсселем и Мюнхеном); мы продолжали жить в Брюсселе, жили у д'Альгеймов. Много спорили с д'Альгеймами, говорили, отбивались от нападений на Доктора. Все это были «*умные*» разговоры и бесконечные «споры». Лишь по обязанности как-то поехали в Мюнхен мы,— и вот: ряд разговоров с Доктором, *мистерии*, курс — все это было интересно, умно, глубоко, гениально, изумительно — далее: но не умным, гениальным увлекались мы, да и не увлекались, а констатировали: что сначала чуть-чуть, потом больше невидимо сотрясало атмосферу вокруг, потом стало сотрясать наши эфирные тела (данные нам медитации, которым механически мы предались, создавали удобные условия для эфирных колебаний) — и через это сперва физическое, потом эфирное *сотрясение* стал сотрясаться мозг, мысль, линии мыслей, а за ними сотрясались чувства и даже дрогнула воля; и вот: цепь постепенно усиливавшихся сотрясений обернулась вдруг в громадное *душевное потрясение*. То, к чему приступили мы, как к чему-то формальному, оказалось *в итоге* реальным. Уезжая из Базеля, мы были уже *потрясенными*. *Потрясенные* мы вот уже 5 месяцев скоро. И да: теперь я знаю многое, многое, что не откроется никому из мудрецов, *и что открываемо при случае и малому человеку*, то — что поверхностно звучит так бледно, сухо, неталантливо: *оккультная работа*.

<. . . . .>

Прими во внимание, что каждое утро и каждый вечер мы упорно, *медитативно* работаем сами, что кроме того готовим Доктору письменные отчеты *о виденном*, понятом, пишем схемы, читаем циклы; что атмосфера странничества (*wandern*), вменяемая Доктором, как полезный *entourage работы*, всегда с нами, что каждое свидание *личное* с ним есть событие, что каждая лекция *потрясает*, а этих лекций слышали мы с июля числом 45, то: Ты поймешь, что состояние *упорной работы, непрерывной потрясенности* создает атмосферу, без которой *пока* мы не могли бы *работать*. Результаты же

этой работы — огромная волна бодрости и реальных увидений в глубине души.

И вот единственный ужас наш это тот, что мы могли бы быть насильно оторваны от Доктора отсутствием денег (но теперь есть надежда на «Сирина»).

Прости за всю галиматью. Но верь — галиматья это реальное нечто. И строка «миг еще — и нет волшебной сказки» не может приключиться с нами.

Целую Тебя нежно. Твой Б. Бугаев [15]

[1] Это письмо до нас не дошло.

[2] Это письмо также до нас не дошло.

[3] Ср. запись Блока в дневнике от 17 декабря: «Терещенко сегодня в Москве — говорит с Метнером?» («Дневник 1911—1913», стр. 151).

[4] То-есть «Восток или Запад», первой частью которой являлся роман «Серебряный голубь».

[5] Из стих-ия «Фантазия». Цитировано не точно; у Фета: «И на сердце много сладкой веры».

[6] См. «Симфония», стр. 221.

[7] Из стих-ия Белого (1903 г.) «Образ вечности» («Золото в лазури», стр. 38).

[8] Это — предпоследняя, а не последняя строфа стих-ия «Фантазия».

[9] Заключительные слова статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (см. прим. 4-е к письму № 192).

[10] Письмо № 188.

[11] Из стих-ия «Друзьям». Цитировано не точно; у Блока: «Я вас не писал никогда!»

[12] Из стих-ия «Матери» («Пепел», стр. 159). Цитировано не точно; нужно: «Нет.— Спрячусь под душные плиты».

[13] Из стих-ия Блока (1901 г.) «Одинокий к тебе прихожу». Цитировано не точно; нужно: «Я лелею года,— не зови...»

[14] «Ужас и яма, и петля тебе, человек» — говорит герой романа Белого «Серебряный голубь» (М., 1910, стр. 266).

[15] Получение этого письма отмечено в дневнике Блока: «...Письмо от Бори — двенадцать страниц писчей бумаги, все — за Штейнера; красные чернила; все смута» («Дневник 1911—1913», стр. 163—164).

1913

249. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

< $\frac{8}{21}$ февраля 1913. Берлин>[1]

Дорогой Саша!

Отчего от Тебя ни звука? Подозреваю, что это оттого, что писал Тебе о Докторе.[2] Если написал что-либо не то, или не так, прости. Но помню, что писал то, и так; впрочем на молчание не удивляюсь: я вообще замечал, что если я в письмах коснусь чего-либо, связанного с Доктором (хотя я и касаюсь Доктора сравнительно по-внешнему, т. е. пишу о том, о чем писать и можно, и должно), то перестают отвечать, будто обижаются.

Здесь одна русская дама мне недавно говорила: «Погодите: когда вернетесь в Россию, то Вы заметите один странный факт; едва у Вас проскользнет что-либо радостное, касающееся Вас, касающееся Вашей радости, что на свете есть Доктор, как окружающие будут делать недовольные мины и у Вас получится впечатление, что Вы их обидели; со мной было так долго, пока я поставила себе целью упорно молчать о том, что и есть единственный мой принцип общения с люд[ьм]и; да оно и понятно: как мне не нести моей радости людям, когда у них так печально...»

Судя по тому, что мое невольное касание Доктора (около чего живешь, о том, естественно, говоришь) вызывает либо раздражение: «Отстаньте пожалуйста», либо молчание, я и полагаю, что Твое молчание оттого, что я писал о Докторе. Милый друг, ведь признайся, что отчасти это и так; но я могу о своем не писать Тебе, потому что помимо своего, Главного, я страшно интересуюсь, что сейчас делается в мире. Особенно же хочу знать что-либо о Тебе.

М. И. Терещенко мне очень понравился: какая у него деликатная манера говорить с людьми. Впрочем мы беседовали менее часу.[3]

Пишу эти несколько слов, чтобы Ты не думал, что со мной можно переписываться лишь на темы вокруг Доктора и чтобы узнать, не обидело ли Тебя мое письмо.

Ну, господь с Тобой. Пиши мне, отчего не ответил. По своим причинам или потому, что у меня в письме что-либо «не так»? Если Тебе не пишется, то это я понимаю более, чем кто-либо. Если же Ты не пишешь оттого, что не так написал Тебе, то мне было бы грустно и заранее меня прошу извинить.[4]

Остаюсь нежнолюбящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. От Аси привет Тебе.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] О враждебном отношении Блока к антропософии см. во вступительной статье 20 января 1913 г. Блок записал в дневнике свой разговор с Э. Метнером «О Боре и Штейнере. Все, что узнаю о Штейнере, все хуже... В Боре в высшей степени усилилось самое плохое (вроде: „Я не знаю, кто я ... Я, я, я,..., а там упала береза") ...Материальное положение Бори („Мусагет", М. К. Морозова и „Путь" провал с именьем). Неуменье и нежеланье уметь жить... Несколько практических разговоров о „Мусагете", „Сирине", Боре...» («Дневник 1911—1913», стр. 170—171)

[3] М. Терещенко встретился с Белым в Берлине (см. «Дневник 1911—1913», стр. 171,— запись от 23 января).

[4] В день получения этого письма, 10 февраля, Блок отметил в дневнике: «Обиженное письмо от А. Белого...», а на следующий день записал: «А. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто не из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе, это вечное наше „Ты" (с большой буквы)» («Дневник 1911—1913», стр. 177—178).

250. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

< 16 февраля / 1 марта 1913. Берлин >[1]

Дорогой Саша!

Пишу Тебе в крайнем волнении и в порядке личном: заклинаю Тебя ответить прямо и категорически на следующие вопросы.

1) Каковы переговоры мои с «Сирином?»

2) Как обстоит дело с романом? [2]

Дело в том, что переговоры вел Э. К. Метнер, и я, буквально завися в завтрашнем дне от исхода переговоров, пока ничего не знал о деталях.

Э[милий] К[арлович] был так добр, взяв все на себя.

2 месяца тому назад я был совершенно уверен, что в 2 месяца определится характер переговоров и, следовательно, моя судьба. Но недели текли: и вот пришла крайняя пора мне или мгновенно бросить все, Доктора, необходимый курс и т. д., спасаться бегством в деревню, ибо 2[-я] половина февраля последний окончательный срок мой, когда я мог ждать: до сих пор (1 месяц тому назад) Э[милий] К[арлович] писал: «Живите спокойно, я буду вести переговоры»; но уже месяц тому назад, видя, что переговоры затягиваются, я мотивировал Э[милию] К[арловичу] в ряде писем необходимость к первому марту, чтобы все устроилось, и не получал ничего определенного. Все же я думал, что все благополучно идет своим чередом..

И вдруг получаю следующие слова:

«Скорее присылайте те части рукописи, которые у Вас имеются, ибо Некрасов уперся и не выдает рукописи, чем задерживает заседания „Сирина", на кот[орых] должен быть прочитан Ваш роман. Кроме того Некрасов грозит в случае проволочки выпустить в свет отпечатанные 9 листов. А это Вам будет неприятно, т[ак] к[ак] Вы началом романа были недовольны и его переделали».

Все тут меня ужасает: 1) то, что требуется от меня вся рукопись сполна для принятия. Между тем 4 и 5-ая главы имеются у Некрасова в единственном списке (у меня лишь черновые эскизы), что Некрасов не выдает.

Итак принятие романа зависит от прочтения рукописи целиком, которой наиболее лучшие части Некрасов не дает, грозясь 1) искалечить мой роман выпуском еще не переделанных глав.

Единственно, что я могу сделать, это прислать 3 первых главы в переделанном виде «Сирину» для чтения с указанием, что обе пе-

имеющиеся главы гораздо удачнее первых 3-х (в них-то и начинает разыгрываться фабула). Если и этого «Сирину» мало, то что ж мне делать? Остается молить Некрасова.... грозить, что я печатно откажусь от своего романа, если он появится не целиком, а в черновике и обрывочно (ибо это издевательство над автором).

Но не это важно.

3 месяца тому назад я писал, что через 2 месяца мне быть иль не быть, ибо отъезд от Доктора надолго есть для меня почти физическая гибель; меня успокаивали: устроится с «Сирином» и Вы будете получать в счет продажи собрания сочинений.

Я успокоился. Уже месяц, как я пишу тревожные письма, мне отвечают успокоительно — и вот: через две недели у меня нет ни копейки денег *(в долг я решил не брать, а Мусагет не может авансировать*)* Итак все время жил надеждой на продажу собр[ания] сочинений (как 3½ месяцев тому назад на продажу имения, все время волнуясь), а тут о продаже собр[ания] сочинений ни звука, да и с романом все рушится. Отчего же во-время меня не уведомили, протомили 2 месяца и, доведя до последней черты надеждой (опять torture par l'esperance), когда на этой надежде построены планы и огромной важности курс[3], внезапно обрывают все и пишут в смысле: «Не понимаем-де на что Вы рассчитываете? Чего Вы сами о себе не подумали прежде...» Ведь это ужасно: оккультно уехать нам нельзя надолго от Доктора, далее мы должны были ехать в Гаагу, и — вдруг: во-время не предупредив, мне накануне безденежья пишут: «Ничего неизвестно!» Неужели 2½ месяца нельзя было так написать?

И вот, ввиду того, что если с «Сирином» не сразу устраивается (мне же писал Э[милий] К[арлович], что сумма от продажи соч[инений] мне будет высылаться помесячно, а вопрос о продаже скоро решится), умоляю тотчас же по получении письма ответь:

1) Как обстоит дело с продажей сочинения,

2) Стоит ли присылать 3 главы романа на суд редакции (с ручательством, что 4-ая и 5-ая главы удачнее первых трех, ибо они — лишь подготовка к действию), или не стоит, ибо 4-ая и 5-ая в эскизах (рукопись у Некрасова: помнится я и Тебе и Метнеру об этом писал 2 месяца тому назад),

3) Адрес редакции прошу — сообщи, куда высылать.

Реально все это мне нужно вот для чего: 1) 1-го марта ни гроша денег и надо быть уже в деревне, чтобы там переждать безденежье (хотя я больше, кажется, и не буду писать: я сломился — я не могу работать в такой атмосфере тревоги), 2) до отъезда надо сделать ряд необходимых дел (мы кровно связаны с Доктором и погибнем вдали от него...).

Мы же думали 2½ месяца тому назад, что

1) через 2½ месяца выяснится с «Сирином»,

2) Я буду получать жалованье за продажу собрания сочинений,

3) Мы поедем на необходимейший курс в Гаагу и потом, 3 месяца отдохнувши в деревне, поедем учиться к Доктору (в Москву я все равно не вернусь: Москва нам — яд).

Вместо же этого — и на этот раз подведен: 1) надо, стремительно бросив все, ехать в деревню, 2) романа я не кончу уже, ибо я работать в ужасе не могу (ибо ужас для нас, уже перешедших рубикон, сейчас расстаться с Доктором), 3) да и вообще литературу бросаю: я как писатель никому не нужен все равно...

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

Милый, прошу Тебя

1) Если возможно, ответь немедленно,

2) Если ответ неблагополучен для меня, то быть может телеграфируешь: тогда телеграфируй одно только слово «у е з ж а й». Я укладываю сундуки и уезжаю, чтобы за 3 месяца как-нибудь выкарабкаться и приехать к Доктору. Если нет, не удастся — я о с т а н у с ь в Волынской губернии и стану искать себе места ч е г о у г о д н о, хоть с т о р о ж а, а в Москву, Петербург и все эти рассадники ужаса н е в е р н у с ь.

Лихорадочно жду ответа. Обнимаю.[5]

Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] «Петербург».

[3] Курс лекций Р. Штейнера.

[4] У родных А. А. Тургеневой.

[5] «Отчаянное письмо от А. Белого» — отметил Блок в дневнике 18 февраля и в тот же день, а также 19 февраля отправил Белому две телеграммы, до нас недошедшие (помета Блока об их отправке имеется на данном письме Белого). Содержание этих телеграмм неизвестно, но о затруднениях, возникших в связи с изданием сочинений Белого в «Сирине», можно судить по записям в дневнике Блока. Так, еще до получения «отчаянного» письма Белого, 15 февраля, Блок записал: «Не хотят издавать в с е г о А. Белого — до 30 томов! („топить и его и себя"). Очень не нравится начало романа („Петербург") в том виде, как набрано у Некрасова. Не нравятся также „Путевые заметки"»,— и на следующий день — 16 февраля: «Обсуждение больных вопросов — об А. Белом (роман, путевые заметки, собрание сочинений — не полное, письма Метнера — уже настойчивые и грозящие потомством, дурное отношение к А Б[елому] Иванова-Разумника)». 19 февраля было вынесено решение: «Собрание не издавать, романа ждать, „Путевые заметки" — отдельной книгой». Очевидно, тогда же Блок телеграммой просил Белого выслать рукопись первых трех глав романа «Петербург». 20 февраля он получил от Белого письмо (№ 251) и телеграмму следующего содержания: «Manuscript geschickt Antwort kommt Bugaieff». 23 февраля рукопись была получена Блоком и передана им в «Сирин»: «Очень критиковали роман, читали отдельные места,— записал Блок в дневнике.— Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда,— повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы [„Возмездие"]); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; з л о е произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); не нравится свое — перелистал Розу и Крест — суконный язык.— И, при всем этом, неизмерим. А. Белый, за двумя словами — вдруг притаится иное, и все становится и н ы м. Какова будет участь романа в Сирине — беспокоит меня» (ср. в письме Блока к В. Княжнину от 3 ноября 1913 г.: «Спасибо Вам за слово о „Розе и Кресте", но не об А. Белом. Впрочем, все его ругают, я только одного человека встретил сочувствующего, кроме себя» — «Письма», стр. 203). 24 февраля Блок записал: «Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого», а 25 февраля: «Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему» (см. «Дневник 1911—1913», стр. 181, 183, 185 и 186; цитир. по рукописи с исправлением ошибок печатного текста; ср. «Записки мечтателей», № 6, стр. 121).

251. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<$\frac{18\ \text{февраля}}{3\ \text{марта}}$ 1913. Берлин>[1]

Дорогой, милый Саша!

Не думай, что слова Твоего письма[2] меня задели; наоборот вижу, что в моем большом письме[3] есть что-то — н е т а к: н е т а к сказано, н е т а к выражено; это н е т а к простирается не на то, что чувствовал, а на *то*, что сказал: н е т а к сказал.

Вот оттого-то я иногда и замыкаюсь в молчание, ибо если я пишу от Души, то пишу о м о е м, об «А н д р е е Б е л о м», а не докторе Штейнере; но что же делать, если «д о к т о р Ш т е й н е р» стал лучшей частью души Андрея Белого. В себе не ведаю деления на «с в о е» и «ш т е й н е р о в с к о е».

И пишучи своим о своем, только и могу писать о «докторе Штейнере». А слова о «докторе» неприятны.

И в итоге:

«Молчи, скрывайся и таи —
«И чувства, и мечты свои»...[4]

Постепенно и прихожу, к этому — без «нарочитости», досады, а — просто. Но, повторяю, Ты нежно и осторожно дал мне урок: как не надо писать.

Ну... так не буду писать. Вот и все: и без слов, «писаний», молча обнимаю Тебя, всегда люблю, помню.

В плоскости внешней, поколику слова Твои высказывают не только музыку души (эту первую — «музыку» — понимаю), но и суждения, которые, как известно, обсуждаемы, то... слов, суждений Твоих не понимаю, ибо суждения Твои о[б] обновлении души под чужим руководством (и о Твоей самостоятельности) просто кажутся мне не имеющими ни малейшей убедительности и не соответствующими действительности. Представь себе человека, произносящего суждение об Ибсене [в] 1896 году на основании критических заметок в русской прессе и без прочтения его драм. В 1896 году я был врагом Ибсена. В 1896 году я прочел Гедду Габлер и стал поклонником. Таковы Твои слова о розенкрейцерском движении.[5] Все болтаемое в России (хотя бы болтали умнейшие люди) и все напечатанное из Доктора (в печати[6]) есть не более, как пресловутый «Холм богатыря» (так, кажется) — первая драма (юношеская) Ибсена.[7]. И по «Холму» ли критически оценивать автора «Когда мы мертвые [проснемся]» и т. д.?.. Поскольку я нежно слышу музыку Твоих слов (слов ко мне и обо мне), постольку с ледяной холодностью на все Твои суждения о Докторе и пути отвечаю лишь: «Ничего не понимаю: все, что Ты пишешь обо мне в отношении к моему пути, столь же подходит ко мне, как к корове седло. Ну не сердись, милый: это я в плоскости внешней.

Обнимаю Тебя, и нежно люблю. Христос с Тобой.

Твой Борис. Бугаев

P. S. Адрес меняю[8]; извини меня за сумасшедшее письмо (о делах), но из Москвы меня пришибли...[9]

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Очевидно, в этом недошедшем до нас письме Блок в ответ на «штейнерианские» письма Белого откровенно высказал свое нелестное мнение о Р. Штейнере (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 186: «Боря прислал ответ — *не* обижен»).

[3] Имеется в виду письмо № 248.

[4] Из стих-ия Тютчева «Silentium».

[5] Ср. запись Блока в дневнике от 20 января 1913 г. (по поводу Р. Штейнера, со слов Э. Метнера): «Подозрения, что он был в ордене (Розенкрейцеров) и воспользовался полученным там („изменник")» («Дневник 1911—1913», стр. 170).

[6] То-есть в общей печати, так как большинство «трудов» Штейнера публиковалось в изданиях, распространявшихся только среди членов Антропософского общества.

[7] Имеется в виду драма «Богатырский курган» — первая пьеса Г. Ибсена, поставленная на сцене (но не вообще первое его произведение).

[8] Среди писем Белого к Блоку сохранилась телеграмма от 23 января 1913 г. (из Берлина): «Adresse Loutzk Bugaieff» (ср. «Дневник 1911—1913», стр. 186).

[9] Имеется в виду письмо № 250.

252. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<23 февраля / 8 марта 1913. Берлин>[1]

Дорогой и любимый брат!

Спасибо за хлопоты (две телеграммы): стыжусь, что Тебя, быть может, обеспокоил.[2] И еще не сердись на маленькое, последнее письмо: его написал действительно в ужасно плохом самочувствии, так

сказать, из-под града хлопот, тревог, беспокойств, огорчений, неопределенностей; но как-то случилось, что день получения от Тебя Твоего письма[3] был днем получения ряда неприятных писем. И невольно, в ответе моем Тебе, так чувствуется неприятный день.

Сперва пишу деловое.

А. Рукопись романа выслал (телеграмму Ты получил).

1) Рукопись состоит из первых трех глав (всех глав 7 с эпилогом, или 8) (восьмая, если и будет, будет маленькая).

Эти три главы — наименее удачная часть романа; кроме того: эти три главы непонятны (своими длиннотами), если не принять во внимание, что со следующей главы до конца события стремительны (план построения романа: 1) томление перед грозой и 2) гроза; томление — первые три главы; гроза — последние 4 главы с эпилогом). Имея эти три главы без 4-ой, 5-ой, 6-ой, следует помнить, что томление здесь — сознательный прием; и длиннота отчасти намеренная.

2) К 3-м главам приложен полу черновик начала четвертой главы; если для суждения о романе требуется знание и следующих глав, я могу выслать черновые наброски 4-ой и пятой (не сполна); но рукопись 4-ой и 5-ой главы в единственном экземпляре — у Некрасова.

3) Рукописи 4-ой и 5-ой главы таковы по внешнему виду: они состоят из 3-х тетрадей: a) ½ (ремингтонированная) 4-ой главы, оканчивающаяся тем, что Никол[ай] Апол[лонович] Аблеухов убегает с бала, b) вторая ½ 4-ой главы (писаная); нумерация отрывков этой главы идет опять... 1, 2, 3, ибо писал ее в Брюсселе, не зная, на каком отрывке остановился, c) 5-ая глава писаная; все три тетрадки по 50 (кажется) страниц; итого 2 главы — 150 страниц. Пишу все это ввиду подозрительных приемов Некрасова, дабы в случае получения от него 4-ой и 5-ой главы К[нигоиздательст]во «Сирин» могло проверить по этим, Тебе сообщаемым, признакам, действительно ли Некрасов все отдал. О получении им обеих порций (из Брюсселя и Мюнхена) он меня уведомил.

4) Среди присланных трех глав только первая, по-моему, удовлетворительно переработана заново и переписана. Когда М. И. Терещенко был у меня, то сказал, что с переработкой нечего торопиться, что я могу прислать и после Гааги. Поэтому 2-ую и 3-ью главу следовало бы мне стилистически прочертить и заново переписать. *Но:* 1-ая неделя после М. И. Терещенки была неделей Генерального Собрания Теос[офского] О[бще]ства, где мы отложились от Безант, и Генеральным Собранием Антропософического, открываемого О[бщест]ва; далее: неделей курса, и града докладов. Приходилось по 10 часов в день высиживать на собраниях. 2-ая же неделя была неделей тревог и писем в Москву (который раз Москва меня бесцельно снимает с работы!). От того-то 2-я и 3-ья главы переработаны лишь в архитектонике, но не в стиле (я за перепиской правлю стиль: переписать не удалось, — и вот стиль не исправлен: авось исправлю в корректуре).

5) 4-ая и 5-ая главы стилистически проправлены в Некрасовском тексте.

6) 6-ая глава (страниц до 60) имеется у меня вся в черновых набросках; она готова и мне остается ее исправить и переписать, на что нужна неделя, не более, но неделя спокойная (когда пишешь, нужен пост и молитва: а этого поста, этой молитвы у меня нет, пока не определятся наши ближайшие недели).



ГРУППА УСТРОИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА В КИЕВЕ 4 ОКТЯБРЯ 1907 г.

В первом ряду (слева направо): И. А. Новиков, А. А. Блок, Н. И. Петровская, Г. Бурданов; во втором ряду: И. Дриллих, А. П. Филиппов, А. Белый, С. А. Кречетов (Соколов), гр. Ф. де ла-Барт.

Собрание В. Н. Орлова, Ленинград



АЛЕКСАНДР БЛОК
Фотография 1916 г.
Государственный Литературный музей, Москва

7) Итого: a) выслано 210 (кажется) страниц,
b) написано сверх того 210 страниц (150 Некрасовских + 60 стр[аниц] 6-ой главы),
c) не написано 100—120 страниц (работа 3-х, 4-х недель спокойного труда; буду писать в Боголюбах, или где бы мы ни были после Берлина, здесь — невозможно).

8) Из этого Ты видишь, что в течение мая роман весь могу выслать «Сирину»...

9) В случае принятия романа и возвращения Некрасовым 4—5-ой глав «Сирину», я бы просил на неделю мне эти главы выслать (предварительно я дам точный адрес).

Милый Саша, пишу так подробно о романе для отчетливости. Ты, если можно, спрячь эти пункты для «Сирина», чтобы не вышло какой путаницы.

Это деловое о романе.

Теперь деловое о «Путевых Заметках».

1) Ты пишешь, что «П[утевые] З[аметки]» приняты, я же не знаю, что прислал в «Сирин» Ахрамович. Он должен прислать план книги и ряд отдельных глав, расположение которых значится в плане.

2) Схема плана «П[утевых] З[аметок]» такова:

I. Сицилия
II. Тунисия:
a) Тунис
b) Радес
c) Керуан
(Все эти рубрики состоят из ряда отрывков.)
III. Египет.

3) Мне своевременно не было сообщено, что рукописи «Пут[евых] Зам[еток]» переданы «Сирину».

4) У *меня** рукопись «Радеса» и я ее должен выслать; без «Радеса» «П[утевые] З[аметки]» не имеют значения; Радес — важная составная часть.

5) До 6 раз я умолял своевременно меня известить о том, достали ли они «Египет», напечат[анный] в «Современнике».[4] Ни звука... Между тем Египет есть вся III часть «Пут[евых] Заметок».

6) Я не видал №№ «Современника» (быть может, «Египет» мой исказили в печати: я должен наверное знать:
a) Имеется ли «Египет» в доставленном «Сирину» тексте?
b) Должен прислать «Радес».
c) Должен лично проверить текст «Египта»).

7) Обо всем этом я писал множество раз. Но на все запросы — молчание.

8) Я боюсь, что «Сирину» передали не текст «Пут[евых] Заметок», собранный и рассортированный по плану, а конгломерат отрывков.

9) В этом конгломерате могут отсутствовать: a) Египет, b) несколько глав, не внесенных в план и присланных из Брюсселя («Базары», «Карфаген» и т. д.), c) в нем нет «Радеса», рукопись которого у меня.

Ах, Саша, Саша!

Если б Ты знал, как мы с Асей безмерно, безмерно устали... — Москвой!

---

* Подчеркнуто дважды. — Ред.

Я ведь Тебе ничего не рассказывал, что пришлось нам пережить, и до чего у нас развился страх пред...— Москвой!

Столько несправедливостей, напраслин, почти грубого непонимания мы вынесли за этот год.

Ни о чем я Тебе не писал.

Если [бы] рассказал, то Ты понял бы, почему мы с Асенькой, будучи и духом и физически здоровы, совершенно измучены душевно, что, может быть, сквозит и у меня в письмах, но полтора года мы вечно тревожимся о завтр[ашнем] дне и полтора года я выбарахтываюсь из ряда недоумений и недоразумений (и все из Москвы нас подчуют).

Милый, у меня право соблазн Тебе в качестве пояснения хотя бы $^1/_{10}$ того, что за эти 10 месяцев пришлось пережить, послать не Тебе написанное письмо, причем прошу Тебя этого письма не показывать никому. Ты поймешь, почему я кроме всего еще и нервно волнуюсь, а объяснять Тебе некогда, ибо все сошлось: 1) отъезд, 2) укладка, 3) завтра ответственный разговор с Доктором.

Поэтому прямо посылаю Тебе письмо, ибо Алеше Петровскому посылать теперь его тщетно, и поздно: я никого в Москве не виню, я лишь жалуюсь на отчаянную путаницу, систематическую, бестолковую.

Прочти и никому не показывай: это лишь уголышек того, чем нас поливают из Москвы (с весны того года). [5]

А Тебе, милый друг, уже лично напишу из Боголюб.

Обнимаю Тебя, нежно люблю.

Борис Бугаев

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] См. прим. 5-е к письму № 250.
[3] См. прим. 2-е к письму № 251.
[4] См. прим. 3-е к письму № 247.
[5] В этом неотправленном адресату (А. С. Петровскому) и сохранившемся среди бумаг Блока огромном (на 28 страницах) письме Белый в крайне раздраженном тоне подробно излагал историю своего конфликта с Э. Метнером. Конфликт между ними возник на почве финансовых недоразумений в связи с вопросом об издании романа «Петербург» и другими издательскими проектами Белого. Э. Метнер, в свою очередь, в письмах к Блоку всячески порицал Белого и Эллиса.

253. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

< $\frac{25 \text{ февраля}}{10 \text{ марта}}$ 1913. Берлин >[1]

Милый Саша,

пишу много и по-хорошему. Прости все эти расстроенные письма; но я действительно был сбит с толку и успокоился только, когда Доктор позволил уехать (месяца от 2 до 4-х), давши много работы.

Еду дописывать роман.[2] Получил ли рукопись?

Ужасно жалею, что не мог выслать 4 — 6 главы: они удачнее (несравненно) присланных.

Наш адрес:

Россия. Луцк (Волынской губ.). Лесничему Владимиру Константиновичу Кампиони. Мне.

Письмо обрываю, ибо укладка: завтра едем.

P. S. Ответь: пришла ли рукопись?

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] «Петербург».

254. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало марта 1913. Боголюбы>[1]

Милый Саша!

Бесконечное Тебе спасибо за все то участие и любовь, которые Ты выказал по отношению ко мне... У меня нет слов благодарности: Твое письмо[2] снимает с нас действительно громадную тяжесть и просто развязывает руки на очень многое; если действительно то, о чем Ты пишешь, есть факт, то мы обеспечены на год, а это очень важно хотя бы для того, что теперь, по окончании романа, я могу отдаться спокойно исполнению своих литературных планов, могу писать, ибо по окончании романа (к маю) я после паузы могу приняться за следующее, стоящее на очереди произведение и через год, надеюсь, предложить его «Сирину»[3]; далее, теперь выясняется, что дело с залогом имения в частные руки может еще и наладиться и, таким образом, 1914 год я могу и прожить на свои средства, и расплатиться с долгами. Кроме того, моя свобода у Доктора обеспечена, ибо для меня теперь понятие свободы есть понятие свободы при Докторе... от Москвы, а не обратно: от Доктора.

Москва за 1912 год действительно посягала (дружески) на нашу свободу... вплоть до дружеского ареста; если бы вовремя я не вырвался за границу, то... составил бы кампанию Гр[игорию] Ал[ексеевичу] Рачинскому в его периодических путешествиях в Ригу...

Теперь в Боголюбах гостит Сережа с женой (оба только-что вернулись из Италии). Он — великолепен, блестящ, но... когда он рассказывает о своих терзаниях в лечебнице Лахтина, меня охватывает ужас: его действительно упекли; Наташа и Ася весной 1912 года к нему прорвались с д'Альгеймами сквозь полицейский кордон докторов, бабушки[4] и Рачинских: это было началом его быстрого выздоровления. Дружеская любовь и искреннее желание блага ближнему не мешает, как видишь, упеканию этого ближнего в «сумасшедший» дом (вместо санатории); ибо, как никак, упекатель — Рачинский. И даже на него нельзя сердиться: ведь ездил же Гр[игорий] Ал[ексеевич] Рачинский, упекши благородно Сережу, отдыхать в... Ригу (Гр[игорий] Ал[ексеевич] уезжает в Ригу в знакомую санаторию). Как видишь, свобода нам нужна теперь так, как никогда; моя теософия (между прочим я *не теософ**) есть объект столь усиленных, решительных и подчас оскорбительных кривотолков в Москве, что, не будь у меня возможности соблюдать пафос дистанции относительно многих людей и учреждений, от которых я в деловом смысле зависел, я не знаю, к чему бы привел нас с Асей вынужденный возврат в первопрестольную столицу Российской империи. Благодаря Тебе, Твоему благородному и любовному вмешательству и помощи мне в деле с «Сирином», мы — свободные и вольные птицы год (с надеждою и на дальнейшую свободу в будущем — имение).

Спасибо же!..

Спешу о делах.

Все подробно на-днях пишу Р. В. Иванову, а Тебе лишь сообщаю.

1) Меня удивляет, что Некрасов утверждает, будто я у него брал авансом 1600 рублей, ибо я в счет гонорара получил 1100 рублей (300 в Москве и 800 получил в Брюсселе); может быть эти 500 рублей, которые он накидывает на сумму, мной от него полученную (1100) есть

---

* Подчеркнуто дважды.— Ред.

то отступное, которое он предъявляет «Сирину?». В таком случае мне не ясен его поступок?

2) За вычетом 1600 из 5000 и 600 («Пут[евые] Заметки») мне остается приблизительно 4000 рублей. Если 4000 : 12, то получается месячный аванс в 333 рубля. Если не 4000, а менее, то скидывая 33 рубля, получаем 300 × 12 = 3600; эта сумма великолепно нас устраивает.

3) На-днях высылаю «Радес».

4) Дней через 7 высылаю 6-ую главу.

Надеюсь лично привезти в «Сирин» окончание романа (в середине, конце апреля, в начале мая), когда, возмещая курс Доктора в Гааге, поедем на курс в Гельсингфорсе (числа курса не установлены). Тогда надеюсь проездом с Тобой видеться, побывать в «Сирине», мож[ет] быть, лично установить порядок рукописей «Путев[ых] Заметок» и разбить на главки и заглавия 4-ую и 5-ую главу романа, которые, вероятно, к этому времени окажутся у М. И. Терещенки. Милый, только об этом моем проезде чрез Петербург никому не говори; мне не хочется видеть людей, кроме Тебя, да тех, с кеми придется, может быть, говорить о делах (М. И. Терещенко, А. М. Ремизов или Иванов-Разумник). Мы будем день, два — не более — проездом.

Вот вкратце главные черты делового, а обо всем этом подробнее напишу в «Сирин».

Милый Саша, я, конечно, нисколько не претендую на Твои слова («музыку слов») о Докторе, ибо очень Тебя понимаю и не требую какого-то «теософического» взгляда на него (да и мой взгляд иной, иной, свой, личный).

Что же касается до письма Петровскому, которое вдруг послал Тебе[5], то относительно него меня мучила совесть, но... при личном свидании объясню Тебе «психологию» тех берлинских дней и мотивы такого поступка. Верь мне одно: я очень люблю А. С. Петровского и тех москвичей, на которых жалуюсь ему в письме; пуще же всего люблю я Э. К. Метнера, с которым давно и кровно связан — почти так, как с Тобой; и если я сетую, обвиняю, жалуюсь, то это — самозащита против систематических порывов благородного, неизреченно хорошего отношения ко мне Э[милия] К[арловича] — прорывов, необъяснимых для меня, заставляющих меня издалека волноваться и тревожиться за самочувствие Э[милия] К[арловича], которому так плохо, что иногда это плохо оборачивается у него в необъяснимую жесткость, черствость, «пунктики», одержание.

И поскольку я за эти 1½—2 года многократно являлся козлом отпущения (невольно, в силу деловой связанности) этих «прорывов» его поведения, постольку у меня иногда является идея самообороны, почти граничащая с нападением.

Впрочем, этого не объяснишь без конкретных пояснений, неизменно растянувших бы это письмо.

Верь мне: Э. К. Метнер — честнейший, благороднейший, прекраснейший и ценнейший человек, но невменяемый в иных случаях, именно в тех, где деловые отношения перекрещиваются с идеологией; и в этом смысле я чувствую себя буквально освобожденным от плена с минуты, когда в делах, переписке, отчетности, почтовых посылок, рукописей, высылки денег буду зависеть от «Сирина», представители коего (секретарь, редактор-издатель) не мусагетские — интимные друзья.

Ну довольно. Спешу окончить письмо. Скоро напишу Тебе лично.

Еще раз громадное спасибо, милый, глубоколюбимый друг: крепко буду помнить Твое нежное участие ко мне.

Ася просит Тебе передать свой сердечный привет.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Адрес: Луцк (Волынской губернии). Лесничему В. К. Кампиони. Для меня.

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 11 марта 1913. Ответ 15.III». Ответное письмо Блока до нас не дошло.

[2] Это письмо до нас не дошло.

[3] Белый, вероятно, имел в виду роман «Невидимый град», задуманный им в качестве заключительной части трилогии «Восток или Запад».

[4] А. Г. Коваленской.

[5] См. прим. 5-е к письму № 252.

255. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

20 марта 1913. Боголюбы

Дорогой, близкий и милый Саша!

Спасибо Тебе за успокоительное, хорошее письмо.[1] Я написал Р. В. Иванову подробное письмо и отослал в «Сирин» рукопись Радеса. Теперь у меня уже переписана 6-ая глава[2] и я ее отсылаю, как и это письмо, с первой оказией (в деревне зависишь от лошадей, распутицы, и оттого не всегда все делаешь с должной стремительностью).

Окончание романа привезу с собой в мае; оно будет состоять или из 7-ой главы с эпилогом, или из 7-ой и 8-ой (маленькой) глав.[3]

Спасибо, Ты разъяснил мне Некрасова. Конечно, он юридически прав, но меня удивляет, как мог он напечатать две первые главы[4], 1) зная, что я их перерабатываю (это было условлено еще прошлой весной), 2) без предупреждения, т. е. против воли автора, 3) произвольно дробя отдельное издание романа на две (не существующих) части; и удивило тем более, что Некрасов вел себя образцово корректно.

Ну довольно: это — дела.

О себе скажу: я невыразимо счастлив в деревне, солнышком и распутицей; свищут мартовские ветра, распускается медуница; недавно летели журавли...

В душе ясно и спокойно, лишь миновали внешние треволнения; и работа — кипит. Как мало надо все-таки человеку: уверенность, что немного обеспечен и солнышко, да отсутствие ругатни, недоразумений.

И вот, как-то детски счастлив я, что устроен роман, что доктора насильственно не оторвет от меня год судьба, что... солнышко и цветут медуницы.

<. . . . .

. . . .

. . . .>

Хорошо жить в России, но... ужасно умирать в русских столицах. Про Петербург пишу ужасы, а, ей-ей, Петербург, как город, я люблю сейчас, ибо проклятой связи с ними нет, ибо... в Петербурге я турист, наблюдатель, не житель; эта проклятая (октябрёвская какая-то) связь с Москвой у меня есть и романа «Москва» не написал бы, ибо слов нет у меня живописать московский ужас. Оттого и не поеду в Москву: сцапают там равно — и друзья, и враги, и враги-друзья, и друзья-враги (есть у меня и такие категории). День проводим так:

гуляем, работаю, читаем с Асей вслух, собираем цветы. Здесь гостит Сережа с Таней. Оба приехали из Италии и — хорошие. Здесь же Наташа, и таким образом живем родственно (в хорошем смысле слова). Сережа просит Тебе передать привет; говорит, что сам оттого не пишет, что очень давно не писал, а когда давно не пишешь, то далее уже не пишешь лишь оттого, что давно не пишешь. И т. д.

Милый друг! Мы с Асей будем в Петербурге, вероятно, в первых числах мая (точнее напишу скоро). Надеюсь хорошо свидимся, и потом опять до... через год... Ну, обнимаю Тебя, милый, желаю спокойствия и тишины.

Нежно любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Ася просит меня передать Тебе привет

[1] Это письмо до нас не дошло.
[2] Романа «Петербург».
[3] Первопечатный текст романа «Петербург» (в трех выпусках альманаха «Сирин», 1913—1914 гг., и отдельное издание «Сирина», 1916 г.) состоит из восьми глав с прологом и эпилогом.
[4] Издательством К. Некрасова были отпечатаны к концу 1912 г. девять печатных листов «Петербурга» (почти целиком две первые главы романа), а также набраны еще полтора листа продолжения. Эти материалы составляют неопубликованную, так называемую, «вторую редакцию» романа (см. статью Иванова-Разумника «К истории текста Петербурга», в его книге «Вершины», П., 1923, стр. 90—91).

256. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

6 апреля <1913>. Боголюбы

Дорогой Саша, Христос воскресе!

Пишу Тебе эти несколько слов в скорой надежде увидеться: мы будем в Петербурге числа 11—12 мая проездом в <Гельсингфорс>*; 9-го, вероятно, выедем в Гельсингфорс из Боголюб. Курс[1] в Гельсингфорсе начинается 15-го мая и кончается 24-го; стало-быть, если 11—12 мая Ты не будешь в Петербурге, или не будет в Петербурге никого из Редакции «Сирин», я могу быть проездом здесь (на обратном пути) мая 26—27-го (старого стиля). Кроме делового просто страшно хотелось бы повидаться с Тобой.

Черкни, в какой период удобнее встретиться нам (11, 12, 13-го, или 26—27-го?).

Получил очень милое письмо от Разумника Васильевича Иванова с присоединением листка (счетного). Передай Р. В. Иванову мою благодарность и надежду с ним встретиться в эти числа. Кстати: если будешь в «Сирине» или увидишь кого-либо из Редакции, спроси, пожалуйста, получена ли моя 6-ая глава романа, которую 2 недели тому назад я отослал. Мне бы очень хотелось посмотреть проездом на рукописи «Пут[евых] Заметок» и на 4-ую—5-ую главы романа (если они получены от Некрасова). Может быть, я просил бы те и другие рукописи на вечерок (для просмотра и приведения в порядок).

Привезу с собой 7-ую главу, над которой работаю.

О себе сказать почти нечего. Проводим время с Асей монотонно и тихо. Ужасно хорошо в деревне. С Москвой почти не сношусь. Не пишется, да и мне никто не пишет: стал я всем, как чужой. Может быть, это к лучшему.

* У Белого описка: «Петербург».— Ред.

Милый Саша, обнимаю Тебя нежно. Напиши о себе — как Ты? Впрочем, если не хочется, не пиши: мы скоро увидимся.

Остаюсь крепко любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. М. И. Терещенко и А. М. Ремизову мой привет.
Ася приветствует Тебя.[2]

[1] Курс лекций Р. Штейнера.
[2] На этом письме имеется помета Блока: «Послано в „Сирин" заказн[ым]. Я отв. 23.IV». Ответное письмо Блока до нас не дошло.

257. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Около 25 апреля 1913. Боголюбы>[1]

Милый Саша!

Получил ли Ты мое письмо — давно уж написанное? Мы с Асей будем проездом (на день, два) в Петербурге 11-го, 12-го мая.

Страшно хотелось бы с Тобой повидаться. И не знаю, как Тебе удобнее: в начале мая, или — в конце? Мы будем в Петербурге еще 26, 27-го мая, проездом к маме, у которой будем гостить дней 10 (под Клином). Может быть, если Ты будешь в это время уже в Шахматове, Ты приедешь к нам в Демьяново (это под Клином — провести денек, два...).

Мы засели в Боголюбах и так вросся я в деревню, что не хочется из тишины ехать в шум, в города, даже... в Гельсингфорс, ибо там будет много русских знакомых (между прочим Н. А. Бердяев). А я стал такой враг «с п о р о в и р а з г о в о р о в», что одна мысль о словесном общении угнетает: хочется молчать, сидеть, смотреть на зарю, что я и делаю здесь, если не пишу и не мерзну (у нас после 18° в тени вдруг навалился холод до 0 градусов, а мы живем в новом, еще отстраиваемом доме, в лесу — и холодно).

Давно нет от Тебя вести. И не знаю: не обидел ли я опять Тебя чем-нибудь?

Хорошо здесь: так бы и остаться надолго, надолго; но видно судьба нам с Асей жить странниками, преодолевать пространства.

В этом тоже свой уют: нигде не дома, то есть, везде дома, потому что возишь свой дом с собой. И — у себя: а где-то на фоне — Россия, Германия, Швейцария. И скользит, убегает все: куда-то во мглу.

«Неподвижно лишь Солнце Любви».[2]

Обнимаю Тебя. Ася шлет Тебе привет.

Твой Борис Бугаев

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 28 апр[еля] 1913».
[2] Из стих-ия Вл. Соловьева «Бедный друг! истомил тебя путь».

258. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Начало мая 1913. Боголюбы>[1]

Дорогой Саша!

Спасибо за Твои четкие ответы.[2] Спешу уведомить, что мы будем в Петербурге 11-го к вечеру, а уедем, вероятно, 13-го (крайний срок). Поэтому думаю 12 утром (не знаю приемных часов в «С и р и н е») быть в «С и р и н е», а 11-го вечером Тебя уведомить (может быть, Ты зай-

дешь к нам?) об адресе. Впрочем, если Ты занят, устал или нерасположен, ради бога не стесняйся, а приходи, когда Ты имеешь расположение.[3]

Остаюсь любящий Тебя
Борис Бугаев

P. S. Ася шлет Тебе привет.

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 10 мая».

[2] Не сохранились.

[3] Белый приехал в Петербург 11 мая. См. запись от этого числа в дневнике Блока: «Днем звонил приехавший Боря (Андрей Белый), я позвал их с женой сегодня вечером, а завтра — обедать» («Дневник 1911—1913», стр. 213). По возвращении из Гельсингфорса Белый снова был у Блока: «Три свидания с Андреем Белым и его женой,— записал Блок 29 мая.— Второе было ужасно тяжелое. После него — Interno...» (там же). 2 июня 1913 г. Блок сообщал А. Ремизову: «А. Белый с женой были у меня три раза — и до Гельсингфорса и после. Говорили все больше о Штейнере. Оба они худые, некормленные, странники. Если бы знали о Штейнере только от А. Белого, можно бы было подумать, что А. Белый сам его сочинил; говорит он все то же и все так же. Анна Алексеевна мне понравилась, она — простая» («Звезда» 1930, № 5, стр. 161).

1916

259. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<Около 23 июня 1916. Дорнах> [1]

Милый, милый, милый Саша,

когда Разумник Васильевич оповестил меня о том, что Вы хлопотали с ним о «романе», что Вы предприняли сами его издать, что Вы провели это скучное для Вас и хлопотливое дело [2], что, далее, Вы хлопотали обо мне в «Литературном Фонде» и что Вам я обязан субсидией, которая меня выручила [3],— когда все это я узнал, то я был (это не сантиментальность!) потрясен, глубоко взволнован: и горячая волна благодарности поднялась во мне; я был почти растроган до слез; и долгое время стыдился ответить, чтобы мое неумелое слово не оплотнило бы мое разряженно-ясное чувство благодарности не на словах, а в... душе; действительно: мысль, что у меня есть в России друзья, которые меня любят и не забыли,— есть огромная нравственная мне поддержка, а я был в момент получения письма от Разумника Васильевича именно в состоянии душевного разлада, подавленности вследствие условий моей 2-летней жизни здесь, о которых я ничего не могу рассказать, которые морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны, несмотря на то, что мой ангел хранитель, Ася, со мною и что д[окто]р, которого мы обожаем, бывает с нами; не то, что Вы меня материально выручили (а субсидия «Фонда» меня воистину выручила), меня волнует, а то, что Вы были мне дорогою — родною весточкой издалека, из «России» и что то, что Ты именно принимал участие в хлопотливых и скучных перипетиях моего «выручания», Ты, которого я неустанно люблю где-то там, в уголке своей души, и с которым мне было бы невыносимо переписываться целый период времени моего погружения в *то,* что Тебе было бы чуждо, а мне надо бы (теперь я уже не по-гружаюсь, я *вы*-гружаюсь из очень многого; и стало быть: начинаю получать дар речи); так вот: это все показалось мне не спроста, а овеянным именно тем, чего алкала душа: дружеской улыбкой без слов, рукопожатием без слов; и вот мне открылась картина этой зимы: воет ветер, в оконные стекла бьет жалкая изморозь; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек [4]; Ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально из «кантины» (т. е. досчатого барака, где мы пьем кофе в 5 часов после работы) [5]: из-за загородки перекрестных «злых», «ведьмовских» взглядов, опорачивающих Тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда, как русского, [к] которому с симпатией относится д[октор]: с сознанием,

что еще ряд безысходных месяцев Ты будешь обречен вращаться среди полусумасшедших «оккультических» старых дев и видеть, как жена Твоя, превращенная в почти работницу, стучит молотком по тяжелому дереву, выколачивая свои силы (такова ее охота!), в облаке гадких сплетен и неописуемо враждебно-мерзкой атмосфере этой самой нашей «кантины» обреченная жить; — вот с таким сознанием возвращаюсь домой и, принимаясь растапливать печи вонючими «брикетами» (зная, что теперь пойдет «брикетная вонь»), я бывал охвачен воистину безысходностью[6]: поднимались в душе все теоретические умственные трагедии, переживаемые в условиях нашей жизни конкретно (например «восток или запад»), подымались все мои личные трагедии, как понятные Вам, если бы я их рассказал, так и полупонятные Вам, как не членам нашего О[бщест]ва: в аккомпанементе пушечных громов и воя ветров все это усугублялось; усугублялось и на почве расстроенного моего здоровья и т. д.; тогда: я уже не существовал (я — «давно умер»); я как-то странно заживал в мире чувств прошлого, в друзьях, в событиях жизни, в вне-личном: я брал Твою книжку («Ночные Часы»): и не мог оторваться; я вчитывался в строки так, как никогда: и, о, как отзывало мне: Твое слово Поэта. Оно — напоминало, звало; я вспоминал Тебя. И именно в это время Ты действенно, реально, упорно помогал мне. Вот что еще взволновало меня, почти до слез взволновало; видишь ли: я боюсь, что мой «лирический» тон Тебе покажется неприятен, а он — просто фальшивое отражение в слове происходящего в душе: ну что ж: позволь мне быть лирически настроенным и сказать Тебе, что, несмотря на наше молчание друг к другу 3 года, я всегда лишь Тебя любил, что ни одно облачко «недоразуменности» даже не пронеслось от меня к Тебе. Я просто понял из последнего нашего свидания[7], что 1) Ты меня любишь и я Тебя; но что 2) то, во что я лишь начинаю уходить, погружаясь с головой, Тебе будет чуждо; 3) что я не хочу Тебе лгать: ни писать Тебе на Тебе любезные темы, как бы тая от Тебя «мне любезное» — я не мог; бессознательно приставать к Тебе «о своем» — не хотел. И я понял, что мы в нашем молчании друг к другу—поняли друг друга; и что это молчание есть наша взаимная друг к другу чуткость, сохраняющая «свежесть» мне моей любви к «Твоему». И я был прав: мне надо было глубоко-глубоко пережить смерть всего, что может быть смертью: смерть старой жизни, смерть былого круга отношений с людьми, умереть как бы для родины даже, быть бездомным «странником»: жить в мирах своей мысли и беспрепятственно пересекать «континенты» узнаний; такие были мы с Асей среди грохота наглой берлинской жизни, внешне — одинокие, всегда вдвоем (и лишь потом вчетвером: Наташа, Асина сестра, с мужем приехала к нам и живет до сих пор: мы здесь «четыре», но и до сей поры «четыре» заброшенные — среди «волков и тигров» здешней жизни: почти «красные шапочки» без бабушки, но с «волками»).

Такие же были мы с Асей в горах Норвегии (между Христианией и Бергеном), в Кёльне, в Мюнхене, в Швейцарии, в Нюренберге, в Швеции, на старом Рюгене, где жил некогда старославянский бог «Световит». И вот «родиной воспоминаний», новым образовавшимся континентом мы жили (построенным «домом») из переживаний узнаний: не было у нас пристанища: несколько моментов в Бергене, несколько дней в «Норд-Чёпинге» (старый шведский городок), Копенгагене, несколько интимнейших моментов с д[октор]ом в старом Нюренберге, Аркона, снежные горы — здесь, в Швейцарии: и — незабываемое, огромное «старое и новое во все времена»[8] — доктор с нами: Берген, Христиания, Норд-Чёпинг и т. д. окрашены его жестом к нам; так жили

мы до часа войны: мысли умерли, слова застыли; я не мог бы с Тобой говорить, потому что в течение 12 месяцев я говорить разучился, как и Ася: и мы тихо молчали: слушали, слышали, улыбались себе и друг другу — становилось «до слез» хорошо; становилось «до слез» дурно; а мы — сидели, ходили, плыли по воде, летели на поездах: из страны в страну, из города в город: и выяснялось все более (еще до войны):

«Твой час настал: теперь — молись».[9]

Что было за последние два года, 1915—1916 — закрываю завесу: было все: смерть, разложение, зарытие заживо, гроб, осмеяние, заушение, оплевание; и... «те же мы»: я, Ася; и тот же с нами — наш доктор. Но: «шум времени» отряхнул и вывернул: мы после «должного» сна уже просыпаемся (и это «должно»); не погружаемся, а вы-гружаемся; и весь мой жест не от периферии к центру, а из центра к... периферии: к Асе, к близким друзьям, к... вообще друзьям, к... людям, даже... к «литературе», «дневнику происшествий», фельетону, к газете...

И вот хочется мне одного из первых обнять Тебя и сказать Тебе: мы «под громом событий» те же братья, как и встарь, и события мира нас по-прежнему спаивают: я Тебе ни «антропософ», ни и т. д., а брат, «Боря»: хочу им быть; хочешь Ты меня или нет — Твое дело: я несу давно уже Тебя в своей душе, как несу я в душе своей многих былых друзей, которые меня вероятно «и знать-то не хотят». Тебя, одного из первых, целую: скажи кого любишь, так и я его люблю; скажи, кому хочешь, что я его приветствую: у меня нет врагов, для меня нет «направлений»; есть братья и сестры далекие и есть братья и сестры близкие. И Ты — первый среди них, которого я люблю.

Прощай. Христос с Тобой.

Боря

P. S. Я Тебе должен, милый: теперь видишь, что я действительно не в силах отдать что-либо: до «войны» я надеялся к весне быть в России и устраивать свои дела (продавать собр[ание] сочин[ений]): война — отрезала. Но, милый, я выплачу Тебе: по возвращению из «фронта» (мы с Тобой скоро идем ведь?)[10], я примусь за дела...

Адрес: Dornach (près de Bâle). Maison Emil Thomann. Suisse.

[1] Датировано на основании неопубликованного письма Белого к Р. Иванову-Разумнику от 23 июня 1916 г., в котором сказано: «... перешлите Блоку прилагаемое при сем письмо ему». Получение этого письма отмечено в записной книжке Блока под 16 июля 1916 г.

[2] Речь идет об издании романа «Петербург» отдельной книгой в издательстве «Сирин» (книга вышла в 1916 г.). В записной книжке 1915—1916 гг. Блок скопировал письменное распоряжение владелицы изд-ва «Сирин» П. И. Терещенко, адресованное «Книжному складу Стасюлевича» и датированное 6 января 1916 г. Здесь сказано: «Разрешаю вырезать из 3-х сборников Сирина, в колич[естве] 6 000 экз. каждый, роман А. Белого «Петербург», выпустить его в продажу особо и считать собственником выпущенной книги автора «Петербурга» А. Белого — Бориса Ник[олаевича] Бугаева».

[3] В той же записной книжке Блока имеется черновик следующего «обязательства», датированный 8 марта 1916 г.: «Мы, нижеподп[исавшиеся], обязуемся возвратить Ком[итету] Лит[ературного] Фонда, выданные им Б. Н. Бугаеву (А. Белому) 300 рублей через шесть месяцев, в случае, если эту сумму нельзя будет покрыть путем продажи романа А. Белого «Петербург» (кто, кроме Блока, подписал это «обязательство»,— не установлено). Белый писал в «Воспоминаниях о Блоке»: «... В шестнадцатом году, зная критическое положение нас, русских, отрезанных от России, [Блок] с Р. В. Ивановым энергично принимается за выпуск «Петербурга» отдельным изданием от моего имени, устраивая мне материальное существование, помогая мне расплатиться с долгами, берет на себя бремя хлопот и всевозможных забот» («Записки мечтателей», № 6, стр. 121).

[4] В Дорнахе была слышна канонада сражений, происходивших в Эльзасе.

[5] Белый в числе прочих антропософов работал на постройке «Иоаннова здания» в Дорнахе (см. вступительную статью).

[6] Свою жизнь в Дорнахе и отъезд оттуда (в августе 1916 г.) в Россию через Францию, Англию, Северное море и Норвегию Белый описал в романе «Записки чудака» (полное издание в двух томах — Берлин, 1922; начало первой части — «Возвращение на родину» — было опубликовано в журнале «Записки мечтателей» № 1 и 2—3, П., 1919 — 1921; продолжение этой публикации было издано отдельной книжкой — «Возвращение на родину. Отрывки из повести», М., 1922). В романе вся обстановка Дорнаха сильно идеализирована и приукрашена; данное письмо служит своего рода реальным комментарием к роману. Ср., например, в «Записках чудака» описание «кантины»: «Мы работали с девяти до двенадцати; ровно в двенадцать веселыми толпами мы спускались к кантине, под холм, где готовился вкусный обед; после мы отдыхали до двух в животечных беседах, и в смехе порою...»

[7] В мае 1913 г., — см. прим. 3-е к письму № 258.

[8] См. «Симфония», стр. 141.

[9] Из стих-ия Блока «Опять над полем Куликовым» (цитировано не точно).

[10] Белый, как и Блок, подлежал призыву в армию в июле 1916 г.

1917

260. БЛОК — БЕЛОМУ

27 апреля 1917. Петербург
Офицерская 57

Милый Боря.

Сейчас пришло твое письмо к Марии Андреевне.[1] Спасибо тебе за возвращение денег прежних и за те, которые ты собираешься выслать. Прежде, чем выслать (можно на мое имя сюда), узнай у Пашуканиса, не должен ли ты только 200 рублей, потомучто, кроме двух получек от тебя (по 250), однажды от Пашуканиса было получено мамой лишних 100 рублей (13 декабря), которые я считал полученными от тебя. Так[им] обр[азом], неизвестно, заплатил ты в счет своего долга 500 или 600 рублей. Еще раз, спасибо.

В Москве я хотел взглянуть на тебя.[2] Пока я здесь, а что дальше со мной будет, не знаю, так как на фронт ехать больше не хочу, за что меня скоро откомандируют, о чем я уже получил телеграмму.[3] «Душевно» я совершенно разбит; духовно и телесно — нет еще.

Крепко целую тебя

Любящий тебя Ал. Блок

P. S. Мои книжки[4] я отдам тебе при случае, посылать — громоздко. Тетя[5] просит передать тебе поклон.

[1] Сохранились два письма Белого — к А. А. Кублицкой-Пиоттух (от 3 января 1917 г.) и к М. А. Бекетовой (от 24 апреля 1917 г.), касающиеся его денежных расчетов с Блоком.

[2] «Страшно горюю: у меня был Саша, но — не застал (я был в Посаде)» — писал Белый М. А. Бекетовой 24 апреля. Блок был в Москве с 13 по 17 апреля.

[3] См. «Записные книжки», стр. 187—188 (записи от 30 апреля и 5 мая 1917 г.).

[4] Очевидно, четырехтомник «Стихотворений» и «Театра», изданный «Мусагетом» в 1916 г.

[5] М. А. Бекетова.

261. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

29 апреля [19]17. Москва

Милый Саша,

Бесконечно рад получить от Тебя весть. Я не писал Тебе, потому что знал, что Ты меняешь адрес. Да и время такое: не до писем. Бесконечно опечалился, что Ты был у меня и не застал.[1] Я был у Сережи в Посаде.[2] Когда увидимся не знаю. Увидимся ли — не знаю. Ничего не знаешь. Грустно мне. Да и тоскую, что Аси нет со мной.[3]

Летом я буду делить время между Крюковым и Клином.[4] Если бы Ты был в Шахматове, то хорошо бы было поглядеть на Тебя. Не приедешь ли Ты к нам на дачу? Был бы счастлив Тебя увидать.

Милый Саша, с благодарностью высылаю Тебе 300 или 200 рублей (в зависимости от Пашуканиса) после завтра, в понедельник (завтра закрыта почта). Но теперь обращаюсь к Тебе с огромною просьбою. Ты не помнишь ли точно, какую сумму я Тебе должен. По моим соображениям я был Тебе должен 800 рублей (но это — круглая сумма); я могу остаться Тебе должен еще. Прошло столько времени; за это время у меня были и другие долги, так что я легко мог перепутать цифру долга и не доплатить Тебе. Если я ошибся в определении суммы долга, ради бога поправь меня.

Я написал о Тебе статью (должна была пройти в 2-х фельетонах в «Русских Ведомост[ях]»). Но, повидимому, Мануйлов испугался статей, и они пролежали 2 месяца в Редакции, откуда я с трудом выцарапал их. Теперь передал статью в сборник московского «Клуба» писателей (есть такой). Когда появится в свет этот сборник, никто не сможет сказать.[5]

Остро, трудно, тревожно, но... уповаю все же: надеюсь, что чудо спасет Россию от возможных развалов. Я тоже бодр духом, хотя и душа и тело болят. Целую.

Остаюсь крепко любящий и верящий в Тебя

Борис Бугаев

[1] См. прим. 2-е к письму № 260.
[2] Сергиев Посад (под Москвой).
[3] А. А. Тургенева осталась в Дорнахе.
[4] Под Клином, в имении В. Танеева Демьяново, находилась дача матери Белого.
[5] Речь идет о написанной в 1916 г. статье «Поэзия Блока», напечатанной в альманахе «Ветвь» («Сборник Клуба московских писателей»), М., 1917, стр. 269—283 (перепечатана в книжке Белого «Поэзия слова», П., 1922, стр. 106—134).

262. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<3 мая 1917. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Отправляю Тебе 200 рублей, а 100 возвращаю Пашуканису. Если что не так, то вышлю 100. Спасибо еще раз за добрую Твою помощь мне в трудный момент.

Крепко целую.

Б. Бугаев

[1] Отрезной купон почтового перевода. Дата штемпеля. Из пометы Блока в записной книжке выясняется, что 9 мая он послал Белому ответное письмо, до нас не дошедшее.

1918

263. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<17 марта 1918. Москва>[1]

Дорогой, милый, близкий Саша, —

какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещие те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: я это знаю. То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает крах такой же, как и у нас: я это знаю... наверное... Еще многое будет...[2] «То было в Богемии дальней»... (твои стихи)...[3]

Сказка иль сон?

«Доспех тяжел, как перед боем!.. Теперь — молись...»[4] В горах Швейцарии я давно уже распрощался со старым миром... В Англии воочию видел: «Пора смириться, сёр»...[5] и «И в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть...»[6] Если Россия и Европа не стряхнет с себя «железную пяту»[7] — скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения... Лучше анархия, гибель, смерть, чем то, что замыслил «сёр» из Твоего стихотворения: казнь первенцев замыслена...[8]

По-моему Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не «простят» «никогда»... Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знам[ени] Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим[9].

Помни: Ты всем нам нужен в ... еще более трудном будущем нашем... Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя и люблю, как никогда.

Твой «невольный» брат

Б. Б[угаев]

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 5 (18). III. 1918. Начало в[еликого] поста».

[2] О «скифстве» Блока и Белого см. во вступительной статье.

[3] Из стих-ия «Было то в темных Карпатах, Было в Богемии дальней».

[4] Из стих-ия Блока «Опять над полем Куликовым».

[5] Из стих-ия Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный».

[6] Из стих-ия Блока «Есть игра: осторожно войти».

[7] «Железная пята» — обобщенный образ капитализма в одноименном романе Дж. Лондона (1907).

[8] Ср. мистифицированный образ «сёра» в романе Белого «Записки чудака». Образ этот интерпретирован Белым как «имагинация некоего мирового мерзавца», как «химера ужасного сёра, повара войны» — в сопоставлении со стих-иями Блока «Осенний

«Вечер был...» и «Есть игра: осторожно войти». «Родственность наших переживаний,— писал Белый,— уже позднее установили мы с Блоком» («Омут», стр. 317).

[9] В газете «Знамя труда» в январе—марте 1918 г. был напечатан цикл статей Блока «Россия и интеллигенция». В состав цикла вошли в переработанном виде статьи 1907—1913 гг. и одна новая — «Интеллигенция и революция», в которой Блок заявил о своем безоговорочном принятии Великой Октябрьской социалистической революции.

264. БЛОК — БЕЛОМУ

9 апреля 1918. Петербург

Милый Боря!

Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь.[1] Для себя назвал это Erdgeist'ом *. Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как-будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.

В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от непрошедшей еще усталости.

Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга, а мне показалось, что Ты «испугался», как 11 лет назад, — «Снежной Маски» (тоже — январь и снега)[2]. Хочу, чтобы письмо передал Тебе Разумник Васильевич, с которым мне часто бывает хорошо и «особенно» (уютно и тревожно вместе).

Крепко Тебя целую.

Твой Ал. Блок

[1] «Во время и после окончания „Двенадцати",— писал Блок в 1920 г.,— я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно шум от крушения старого мира)» («Собр. соч.», т. VIII, стр. 239, ср. «Записные книжки», стр. 198,— записи от 9 и 29 января 1918 г.).

[2] Свой необычайный творческий подъем, при котором в январе 1918 г. была создана поэма «Двенадцать», Блок сопоставлял с таким же подъемом в январе 1907 г., когда в течение двух недель были написаны стихи цикла «Снежная маска». «В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907...» — писал впоследствии Блок («Собр. соч.», т. VIII, стр. 239).

265. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

10 августа [19]18. Москва

Дорогой Саша,

пользуюсь случаем, чтобы обнять Тебя, и поблагодарить за книгу стихов[1] и «12»...[2] И еще спасибо за то, что «Ты — Еси» вообще. Слов у меня к Тебе внешних нет, а внутренних очень, очень много. Часто думаю о вас, петербуржцах: держись крепко.

Левые «эс-еры» во всех отношениях путаники: запутали меня с Академией[3], сами из нее вышли, а меня подвели — тем, что в «Известиях» появилось извещение о том, что я выбран «профессором». Я, разумеется, отказался: очень жаль, что все это время я не вижу ни Тебя, ни Разумн[ика] Вас[ильевича] — просто в смысле информационном я один: никого не вижу, ни у кого не бываю, ни от кого никаких вестей не имею.

Евг[ений] Герм[анович] Лундберг тоже путаник. От всех «путаников» устал; и — пошел служить в «Архив». Теперь — помощник Ар-

* Духом земли.— Ред.

:иивариуса; и это меня очень занимает. Если увидишь Раз[умника] Ва-[ильевича], обними его от меня и передай, что нехорошо нас так забы-ать.

Остаюсь искренне любящий
Борис Бугаев

[1] Вероятно, имеется в виду отдельное издание поэмы «Соловьиный сад» (вышед-ее в свет 19 июля 1918 г.), или один из томов «Стихотворений» издания 1916 г., так к первый том нового издания «Стихотворений» вышел позже — в сентябре 1918 г.

[2] «Двенадцать. Скифы». Изд-во «Революционный социализм», СПБ, 1918 (книга шла в свет 3 июня 1918 г.).

[3] Имеется в виду «Социалистическая академия» (см. о ней в Указателе имен и званий).

266. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

31 августа 1918. Москва

Дорогой Саша,

я — редактирую в Москве «А л ь м а н а х о м», посвященным рево-оции; меня просили просить Тебя в него: просить Твоих стихов. При-оединяю горячую просьбу; мне, как редактору стих[отворного] отдела, ыло бы крайне радостно получить от Тебя стихов; надеюсь на получе-ие; надеюсь, что Ты ради м е н я т о ж е дашь, если у Тебя найдутся тихи, связанные с революцией: совершенно не важна т е н д е н ц и я; ажна органическая (пусть внутренняя) связь с переживаемым (рево-[юционным]) периодом времени.

За стихи Тебе, как и Брюсову, Иванову и другим приглашаемым оэтам предлагает Издательство 3 рубля за строчку; но, увы, я не мог тстоять «м е н ь ш и х» поэтов; им предлагается меньший гонорар; посы-ай прямо мне стихи (Москва. Кудринская Садовая, д. № 6, кв. 2). Если Тебя есть интересные поэты, пришли их; я собираю весь стихотвор-ый материал, но совсем не знаю «поэтов»; за помощь буду благодарен.

Гробовое молчание Раз[умника] Вас[ильевича] меня удивляет; писал: е отвечает. Между тем, так во многом надо было посоветоваться; пока се: отказался от профессуры в Соц[иалистической] Академии, отказался т «П р о л е т к у л ь т а»: причины — «э к о н о м [и ч е с к и й] м а т е-[и а л и з м]», насаждаемый ими. Ничего не пишу: тяжело, душа мол-ит... От Аси ни слуху, ни духу [1]; страшно нуждаюсь в деньгах; месяц лужил в «Архиве», было хорошо, да «п р о ф е с с о р а» не утвердили; еперь всякими правдами и неправдами приходится зарабатывать: редак-ирование — заработок.

Итак, поддержи меня, дай стихов.

Остаюсь глубоко любящий Тебя
Борис Бугаев

[1] См. прим. 3-е к письму № 261.

267. БЛОК — БЕЛОМУ

5 сентября 1918. <Петербург>

Дорогой Боря, с удовольствием посылаю Тебе: 1) цикл — «На ру-беже двух миров» — 7 стихотворений («внутреннюю связь», конечно, айти можно). Стихи — старые, но все — переработанные. Имей в виду, что *2* и *6* залежались в редакции «Жизни», но ведь она, вероятно, не возникнет; что *5, 6* и *7* — в а р и а н т ы стихотворений, напечатанных

давно (но *не* в книгах, а в газетах)[1]; 2) новое стихотворение, посвящен ное Зин[аиде] Николаевне.[2] — Был бы рад, если бы Ты все это напечата (м[ожет] б[ыть], в разных местах альманаха?), и если бы издатель вы слал деньги (всего — 103 строки, т. е., 309 руб.), а впоследствии — экзе пляр альманаха. — Из молодых некого посылать сейчас, нет у ме прямо относящегося к революции, да я и мало вижу поэтов.

Теперь — о Твоих делах: сейчас говорил с Раз[умником] Вас[ильев чем]. Он писал Тебе дважды (простые письма), которые, очевидно, пр пали. Кроме того, в начале той недели в Москве будет К. А. Сюнне берг, который привезет Тебе довольно подробное письмо от Р[азумник В[асильевича] и 707 р. 62 коп. за II № «Наш[его] Пути». Кроме то сам Р[азумник] В[асильевич] сейчас будет делать небольшую операци (резать лоб) и, когда поправится (недели через 1½), приедет в Моск и привезет (п о ч т и наверное) Твои 1200 рублей за «Скифов»[3] (из 15(которые должны «Скифам» областные комитеты, бравшие экземпляр и которые они намерены отдать на-днях). — Р[азумник] В[асильеви просит тебя обнять и передать, что он сочувствует причинам, по к т[орым] Ты ушел из С[оциалистической] А[кадемии] (как и я, к нечно).

Целую тебя крепко, извести, когда получишь это (все пропадает и задерживается). Мне тяжело тоже, но надежд у меня (*не* личны столько же, сколько и планов — много.

Любящий Тебя Ал. Блок

P. S. Алянский, кот[орый] у Тебя был, человек деятельный, «амер канец». Думаю, что у нас с ним выйдут дела.[4]

[1] Альманах, для которого Блок послал стихи, издан не был. Состав цикла «Н рубеже двух миров» выясняется из неопубликованной заметки Блока в записной кни ке: 1) «Жизнь — как море она — всегда исполнена бури» (1898), 2) «Над старым мр ком мировым» (1899), 3) «Когда же смерть? Я все перестрадал» (1899), 4) «Поэт изгнанья и сомненья» (1900), 5) «Смеялись бедные невежды» (1900), 6) «Мы — че нецы, бредущие во мгле» (1902) и 7) «Сфинкс» (1902)». Стих-ния № 5—7 в первон чальных редакциях были напечатаны в следующих повременных изданиях: «Вершин 1915, № 6; «Нива» 1908, прилож. № 8; «Речь» 1908, № 1 от 1 января.

[2] «З. Гиппиус. При получении „Последних стихов"» «(Женщина, безумная го дячка!»), написанное 1 июня 1918 г. (впервые было опубликовано уже после смер Блока).

[3] Имеется в виду альманах «Скифы» (П., 1917 — 1918), в двух выпусках кот рого был напечатан роман Белого «Котик Летаев».

[4] Имеется в виду организация издательства «Алконост».

268. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<27 сентября 1918. Москва>

Дорогой Саша,

спасибо за стихи и за письмо. Стихи, разумеется, пойдут. Деньг будут высланы на-днях. Я употреблю все усилия, чтобы выслать и Что же касается до того, что часть их была напечатана, то это ничег

Спасибо, милый, большое спасибо за несколько слов о Себе: я чув ствую Тебя все время близко-близко, хотя мы и не видимся и не переп сываемся. Страшно хочется Тебя видеть. Я тоже бодр: у меня мног проэктов, но, увы, материальные соображения и нужды парализуют ра боту: думаю писать роман, а все приходится выкарабкываться. Есл увидишь Разумн[ика] Вас[ильевича], скажи, что просто до зарезу нужн деньги: и за «Наш Путь», и за «Котика».[2] Если Сюннерберг не едет

Раз[умник] Вас[ильевич] не приедет, то, может быть, деньги можно было бы переслать с оказией другой. Жду не дождусь их.

Остаюсь нежно любящий и преданный неизменно

Б. Бугаев.

P. S. Александре Андреевне мой горячий привет.

[1] Датировано на основании пометы Блока: «Получ. 28 (15). IX».
[2] См. прим. 3-е к письму № 267.

1919

269. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

12 марта [19]19. <Москва>

Дорогой Саша,

ты, вероятно, удивишься, что я Тебе пишу (наши отношения года уже протекают без писем, но — все равно: я всегда ощущаю факт Твоего бытия). Я пишу на этот раз под впечатлением «Катилины». Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет, и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме; и в ритме прочел, что сейчас Ты мог бы сказать многое. Признаюсь, насколько я люблю Твои стихи, настолько иные из Твоих прежних статей оставляли во мне впечатление, что *Ты* мог бы сильней выразиться в них. «К а т и л и н а» вполне соответствует Тебе (автору «Двенадцати», «Куликова Поля» и т. д.). Это не статья, а — «драматическая поэма»; и — главное: это — первый акт драматической поэмы; ряд актов — в Твоем (не знаю, в сознании ли, в подсознании ли?). И потому — пиши, пиши; пиши: «Катилина» дает о Тебе знать, что Ты — в Духе; а писать сейчас, это — больше, чем учреждать 10 университетов. Каждая книга — осуществленная Академия; и $^9/_{10}$ из проектов — «неосуществимый проэкт». Если бы Ты писал в «З а п и с к а х М е ч т а т е л е й», — как это было бы важно. Если бы Ты, Разумник Вас[ильевич], я и Вячеслав писали бы о с а м о м Главном сейчас и перекликались бы, то — «Записки Мечтателей», если бы вышло лишь 6—7 №№, были бы э п о х о й.

Звезды благоприятствуют им, звезды благоприятствуют (во внутреннем смысле) тому, что из этого объединения вокруг «Записок Мечтателей» может создаться настоящее дело. Но внешние трудности будут расти (Ариман приложит все усилия, чтобы извне препятствовать: для этого найдутся какие угодно отвлечения... дела, «Театр[альный] Отд[ел]», бумага и т. д.). У меня есть чувство: мы д о л ж н ы н а ч а т ь «В о л ь н о-Ф и л о с о ф с к у ю А к а д е м и ю» маленькой кучкой писателей именно на страницах «З а п и с о к М е ч т а т е л е й». Я смотрю на них, как на самое близкое дело свое не потому, что я хочу там много писать, а потому, что там мы можем встречаться (Ты, Вячеслав, Я) без посредников, «М е т н е р о в», «к р и т и к о в», «р у к о в о д и т е л е й» нашими внутренними голосами: говорить от сердца с собой и друг с другом. Милый, милый, — пиши: положи на сердце себе «З а п и с к и М е ч т а-

телей». Пусть они будут нашим общим «детищем»; знаю, как никогда, это — нужно: нужно, чтобы они были.[1]

Радуюсь за Тебя, что Ты оставил председательствование в «Т[еатральном] О[тделе]». Как бы мне хотелось отвлечь от него совершенно «оказенившегося» там Вячеслава, на которого грустно смотреть. Братски обнимаю Тебя и — очень люблю.[2]

Б. Бугаев

[1] О брошюре Блока «Катилина» (П., 1919), о журнале «Записки мечтателей» и о Вольной философской ассоциации — см. во вступительной статье.

[2] На письме помета Блока: «При этом — поэма „Христос воскресе"». Экземпляр поэмы (изд-во «Алконост», П., 1918) сохранился в библиотеке Блока; на нем дарственная надпись Белого: «Дорогому милому Саше с любовью и преданностью. Б. Бугаев (А. Белый). 11 марта 19 г.».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

А

* Широко известные имена оставлены без разъяснений.

Б

Г

Д

Е

Ж

З

И

Н

О

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1905

1906

1907

1912

1913

1916

1917

1918

1919

ДОПОЛНЕНИЯ

Стран.	Строка	Напечатано:	Следует читать:
47			Письмо В. Я. Брюсова, которое цитируется А. Белым, опубликовано А. И. Островским в „Литературном критике“ 19[illegible] г., № 10—11, стр. 236—237.
55	3 св.	Источник цитаты установить не удалось	Из стихового наброска Блока, датированного 17 июня 1903 г.
59	10 св.	Источник цитаты не установлен.	Из романса „Сомнение“ („Уймитесь волнения страсти“) — слова Н. В. Кукольника, музыка М. И. Глинки (1838).

ИСПРАВЛЕНИЯ

Стран.	Строка	Напечатано:	Следует читать:
8	21 сн.	Лотус	Лотце
26	24 сн.	день	год
166	5 св.	но	не
185	5 сн.	(это звучало бы фальшью), а хочу сказать только, что даже в самые	это скорей — мертвая зыбь после бури (море после шторма не может
222	2 сн.	Атопоз	Aidoos
225	15 св.	я	а
293	12 сн.	Николаевичем	Николаевичем,
299	15 сн.	часто	чисто
328	13 св.	Interno	Inferno

Отв. редактор Влад. Бонч-Бруевич. Техн. редактор Г. Н. Шевченко.
А31057. Сдано в набор 4/III—1939 г. Подписано к печати 15/IX—40 г. Заказ № 759.
Тираж 4 000 экз. Формат бумаги 72×110/16. Адрес редакции: Москва, 19, Моховая, 6.

Типография газеты „Правда“ имени Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24.


2010513408